

Л. С. КЛЕЙН

Этногенез
и археология
Теоретические
исследования

Л. С. КЛЕЙН

Этногенез и археология

I

Теоретические исследования

I



ЕВРАЗИЯ

Е В Р А З И Я



Л. С. Клейн

Этногенез и археология
Том 1
Теоретические исследования



Санкт-Петербург
2013

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»*

Клейн Л. С.

К48 Этногенез и археология. Том 1: Теоретические исследования. — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2013. — 528 с.: ил.

ISBN 978-5-91852-063-5(общ)

ISBN 978-5-91852-064-2

Двухтомник «Этногенез и археология» представляет собою сборник статей известного археолога и филолога Л. С. Клейна, профессора, работавшего в Санкт-Петербургском университете и в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Проблемы происхождения народов составляли важную тему в его научных исследованиях. Здесь представлены как работы, напечатанные в специальных и научно-популярных журналах, так и нигде не публиковавшиеся тексты.

В первом томе собраны исследования теоретические и методологические. Это теоретический разбор понятия «этнос», методологические штудии по проблемам этногенеза и реконструкции древних миграций, статьи о гаплогруппах, а также историографические работы о миграционизме, косиннизме и т. п.

Книга может заинтересовать археологов и историков, а также широкие круги читателей.

ББК 63.4/63.5

УДК 902

ISBN 978-5-91852-063-5(общ)

ISBN 978-5-91852-064-2

© Клейн Л. С., текст, 2013

© Шляго А. С., дизайн макета, 2013

© Лосев П. П., дизайн обложки, 2013

© Оформление, ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ», 2013

Предисловие

В этой книге собраны мои работы, опубликованные и неопубликованные, по проблемам этногенеза и связанным с ними.

Занимаясь теоретическими проблемами археологии, я разделил все археологические теории на три группы. К первой относятся теории, прилагаемые не к предмету археологии, а к самой археологии как науке (это, собственно, сфера науковедения). Я назвал их *метаархеологическими*. Во вторую, которую я назвал *параархеологической*, входят теории, касающиеся понятий, важных для археологии, но не входящих в ее предмет. Эти понятия, иной раз фундаментальные для археологии, коренятся всё-таки не в ее предмете и не в ней находят свое обоснование. Разумеется, разбор их интересен и для других дисциплин. Третью группу составляют теории собственно археологические, внутриархеологические. Это теории, прилагаемые к ее предмету, к ее объектам непосредственно. Эту группу я назвал *эндоархеологической*. Итак, три сферы для теоретических работ: метаархеология, параархеология, эндоархеология.

Свои работы по метаархеологической проблематике, вышедшие на протяжении полувека, я обобщил, и результатом явились мои монографии «Принципы археологии» (2001) и «Введение в теоретическую археологию. Часть I» (Клейн 2005; Klejn 2004). Последняя из этих двух книг содержит систематическое изложение метаархеологических теорий. Части вторую и третью мне уже не успеть сделать (мне девятый десяток, и я неизлечимо болен). Поэтому я решил собрать свои статьи, относящиеся к тематике этих двух частей (таких работ всё же немало), в несколько книг.

Эндоархеологической тематике посвящены мои монографии «Археологические источники» (Клейн 1978; 1995) и «Археологическая типология» (Клейн 1991; Klejn 1982; 1988), но они не исчерпывают эту тему, покрывая только ее части.

Параархеологические работы частично сведены мною в 2007 г. в книгу «Культура и эволюция» (пока не издана).

В представляемой здесь книге собраны работы, которые частично относятся к параархеологической, частично к эндоархеологической тематике. «Этнос» — понятие параархеологическое, «этногенез» и «миграции» — эндоархеологические (относятся к археологической интерпретации источников, к археологической реконструкции исторических явлений). Между собой сведенные в эту книгу работы, параархеологические и эндоархеологические, связаны предметно — все они относятся к этнической атрибуции в археологии, к решению вопросов этногенеза. Общие соображения по этой проблеме сформулированы в книге «Археологическое исследование» (2012–2013), в главах об этносе и этногенезе.

В данной же книге представлены и некоторые мои исследования, посвященные приложению этих теоретических разработок к конкретным вопросам исследовательской практики. Я, конечно, не претендую на то, что мои решения этих вопросов, единственно верные; для некоторых ныне, на основе новых данных, моими учениками предложены другие решения, более убедительные. Но интересными, как мне кажется, остаются пути и методика решения. Факты пополняются быстро, а пути решения более устойчивы. Надеюсь, что другим исследователям они пригодятся.

I. Этнос

Этот раздел содержит восемь статей.

*«Этнос», фундаментальное понятие этнографии и этнологии, занимает также видное место в археологии и культурной антропологии. В русском просторечии оно фигурирует как «национальность», «народ», что и означает по-гречески *ἔθνος*. Но у греков «народ» — это еще и «демос». «Демос» — это народ как простонародье, в противопоставлении верхним классам, а также («весь народ») в противопоставлении власти и отдельным личностям, а «этнос» — это народ в сопоставлении с другими народами. Но этого недостаточно для определения. Ясно, что это некая группа людей, но чем она отличается от других групп — класса, корпорации, конфессии, расы и т. д.? Задача определения оказалась очень непростой. На какой основе образуется этнос?*

Я включился в эту работу в конце 60-х гг., исходя из своих интересов к этногенезу — происхождению славян, происхождению индоевропейцев, — и из необходимости решить проблему интерпретации археологической культуры: совпадает ли она принципиально с этносом, можно ли отождествлять древние культуры с народами, с предками нынешних народов? Для этого мало было понять, что такое археологическая культура, какие у нее свойства. Нужно было также знать, что такое этнос. А это оказалось неясным и спорным даже для современности. В 1970 г. я уже выступил с большой статьей об археологической культуре (Клейн 1970), в которой вопрос о принципиальном совпадении с этносом решался отрицательно, хотя возможность совпадения не отвергалась. Обсуждения этих вопросов в дискуссиях и в печати вылились в соответствующие главы в моей монографии «Археологическая типология» (Клейн 1991: 145–153).

К тому времени в археологической литературе уже была подвергнута острой критике концепция «этнических признаков» археологической культуры

(имелись в виду опознаватели ее этнической принадлежности — например, специфический способ погребения, керамические формы и орнаментация). Присоединяясь к этой критике, я добавил два обстоятельства:

«Во-первых, само понятие “этнос” оказывается чрезвычайно неопределенным. Одни считают этнос по сути своеобразной модификацией языковой общности (слегка усложненной: добавляются в качестве второстепенных некоторые дополнительные признаки, лишь иногда приобретающие дифференцирующее значение — например, в отделении австрийцев от немцев). Другие отождествляют этнос с общностью биологического происхождения (исходя, например, из отнесения всех евреев к одному этносу). Третьи считают этнос чисто культурной общностью, оставляющей точный сколок в материальной культуре (в этом случае тезис о совпадении археологической культуры с этносом означает просто тавтологию). Наконец, в недавнее время распространилось мнение, что этнос вообще не имеет четкого и постоянного смысла, являясь отражением разных типов общности в коллективном сознании — в одних случаях одного (скажем, языка), в других — другого (скажем, политического единства), в третьих — третьего (скажем, религии) и т. д.

Во-вторых, какой бы из этих признаков этноса ни взять (кроме, разумеется, самой материальной культуры), его совпадение с элементами культуры также не подчиняется постоянным правилам. Каждый из исследователей, выдвигавших тот или иной элемент культуры на роль этнического показателя, мог привести некоторое количество этнографических примеров в пользу своего предложения — но лишь примеров. Всегда находятся и контрпримеры. Суть дела, очевидно, в том, что с этническими признаками (скажем, с языком) в одних случаях действительно совпадает в своем ареале керамическая орнаментация, в других — техника выделки керамики, в третьих — устройство жилищ, в четвертых — способ погребения и т. д. В каждом отдельном случае приходится искать этот показатель (или показатели: они могут и совпасть) заново, особым исследованием — сопоставляя с письменными источниками, если есть, с данными лингвистики, с археологическими и антропологическими свидетельствами о миграциях и автохтонности и т. п. Но это уже следующий этап работы — интерпретационный, а не тот ранний,

классификационный, на котором мы приступаем к выделению археологических культур» (Клейн 1991: 148).

Более подробные мотивировки этой установки содержатся в моих статьях разных лет, преимущественно 70-х. Это мои выступления в дискуссиях с Ю. Н. Захаруком, Л. Н. Гумилевым, Ю. В. Бромлеем. Также в работах 90-х лет — продолжение спора с Гумилевым и Бромлеем, осмысление в лекционном курсе.

Стоит ли сейчас вспоминать эти дискуссии и повторять эти аргументы? Стоит, потому что часть этих аргументов так и не прозвучала в свое время — они не прошли в печать. Другая часть была напечатана в малотиражных изданиях и не была замечена. Но и те, которые тогда были замечены, получают сейчас новую весомость в связи с изменившимися реалиями жизни. В новых условиях и старые аргументы звучат по-новому. Вообще в существовании этносов за полвека не произошло ведь никаких радикальных перемен, которые могли бы воздействовать на определение и понимание этноса. В методике исследования этноса тоже. Изменения произошли только в умонастроениях конкретных сообществ исследователей в связи со сдвигами в идеологии и политике соответствующих стран. При таких сдвигах подчас старые идеи обретают новое звучание и новую жизнь, особенно если они были порождены не конъюнктурными соображениями и не модой, а искренним желанием независимо додуматься и понять.

1. Этнос

(Генеалогическая антропология II. Этноантропология.

Лекция из курса «Культурная антропология»)

[Курс культурной антропологии был сделан мною в 1994 г. для философского факультета Санкт-Петербургского университета, и я читал этот курс несколько лет (до 1997 г.). Он был рассчитан на первокурсников кафедры философской антропологии, но я читал его также в Европейском университете Санкт-Петербурга аспирантам, не имевшим антропологического или этнографического образования. Разумеется, для разработки этого курса я пользовался своими заметками и картотекой, копившимися с конца 1960-х годов.

Текст лекции восстановлен по конспекту, дополненному после прочтения лекции в аудитории моими пометками (о реакции слушателей).

По хронологии появления эта лекция должна быть в числе последних в этом томе, но поскольку она дает общее, вводное представление о моих взглядах на этнос, я поставил ее в начало тома.]

1. Введение. *[Представление лектора, обозначение названия курса и темы лекции. Затем вопрос к аудитории:]*

Как по-вашему, какой я национальности?

[Неуверенные голоса с мест:

– **Вроде, немец?...**

– **Нет, скорее еврей.]**

– Как вы это определили?

[– Фамилия немецкая...

– **Но имя и отчество еврейские.**

– **Ну и какие-то внешние признаки: брюнет, нос с горбинкой, глаза навывкате...]**

Фамилия моя может читаться с немецкого, может с еврейского-йидиш, который есть в сущности диалект немецкого. Что касается имени и отчества, то имя чисто русское: Лев Толстой, Лев Гумилев, Лев Пушкин — это имя носили дед, дядюшка и брат поэта... Но после того как Лев Толстой высказался против антисемитских погромов, имя стало очень популярным среди российских евреев. Отчество, конечно, библейское, а значит, еврейское, но вместе с другими библейскими именами — Иоанн, Иосиф, Мария, Гавриил, Даниил — оно было распространено и среди прочих наций, в том числе среди англичан и американцев (Сэмьюел, дядя Сэм) и среди русских — отсюда русская фамилия Самойловых.

По паспорту я действительно еврей. Сказывается ли это как-то на моем поведении? На моих идейных позициях? На моем социальном положении? ...
[Молчание.]

Загвоздка в том, что я не чувствую себя евреем. Точнее, чувствую лишь иногда — когда сталкиваюсь с неудобствами, с проявлениями антисемитизма (это бывает крайне редко). В остальном же я русский. Русский язык — мой родной, это мой первый язык, язык моего детства. Я говорю на нескольких языках, но еврейского среди них нет — ни йидиша (языка восточноевропейских евреев), ни иврита (реконструированного по древнееврейскому языку Израиля). Не было практической надобности изучать эти языки — нужнее были английский, немецкий, европейские. Я родился в Белоруссии, воспитан в русской культуре, мой дом — в Петербурге. Иудейской религии не придерживаюсь, потому как вообще атеист, и отец, и дед были атеистами. Мои ближайшие друзья в основном русские. В Израиле евреев, прибывших из Советского Союза зовут русскими — они в Израиле говорят по-русски, читают (и издают) русские газеты, слушают русское радио, поют русские песни. В Америке американцы не различают среди приехавших из России русских и евреев — все они для американцев русские. Во всех странах, куда я приезжал с лекциями, я — русский ученый.

Исаак Левитан — русский художник (как и армянин Айвазовский); Павел Антокольский — русский скульптор; основатели Московской и Петербургской консерваторий братья Рубинштейны — русские музыканты; для всего мира Пастернак, Мандельштам, Бродский — русские поэты, Бабель и Эренбург — русские писатели. Вот Шолом Алейхем — еврейский писатель (он писал на идише для евреев), а они — русские писатели.

Те евреи, которые уехали в Израиль, сделали это не по этническим причинам, а по политическим. Бежали от притеснений, от экономических неурядиц, от неудобного для жизни режима. Как многие из них говорили, — ради детей. Значительная часть использовала выезд в Израиль как трамплин для эмиграции в Америку. Оставшиеся в Израиле (их много) постепенно будут включаться в народ Израиля, но очень долго будут в нем иммигрантами. Вот их дети органично войдут в народ Израиля. А те евреи, которые остались здесь, принадлежат русскому народу. Они различимы в русском народе, как различимы некоторые другие его части. Среди русского народа евреи сейчас — нечто вроде касты (не каста, конечно, а нечто вроде). Подобно казакам. Их отличает и объединяет особая историческая судьба. Есть у евреев и некоторые другие отличия: предпочитаемые профессии, опознаваемые фамилии, отличимые от остальной массы физические особенности. Но это всё.

Так что кто я по национальности? Я — русский еврейского происхождения. Как Пушкин — русский частично африканского происхождения. Как Фонвизин, Фет и Брюллов — русские немецкого происхождения. Как Тургенев, Рахманинов, Карамзин и Аксаков — русские татарского происхождения. У русского композитора Чайковского один дед — француз, другой — из поляков. Циолковский и Высоцкий, Дзержинский, Тухачевский и Рокоссовский — польские фамилии (при этом у Высоцкого отец — еврей). Брюсов? Нет, шотландское звучание его фамилии обманчиво: его дед из крепостных графа Брюса, петровского сподвижника, а тот был из Шотландии. Но вот Лермонтов, скорее всего, не без оснований вел свое происхождение от выходца из Шотландии Лермонта. Я уж не говорю обо всех Рюриковичах — датского или шведского происхождения (варяги) или Романовых — немецкого и датского. Русский народ обладает большими способностями ассимиляции инородных включений.

Какую роль вообще играет *происхождение* в определении этноса? Очевидно, немалую. Этнос оказывается напрямую связанным с генеалогией. Вот поэтому я и назвал раздел антропологии, которому посвящена сегодняшняя лекция, *генеалогической антропологией*. Можно назвать его также *этноантропологией*.

2. Основное понятие, его значение. Термин «*этнос*» в переводе с греческого означает 'народ'. Но наше просторечное «народ» — слово многозначное,

с расплывчатым значением. Это и 'население государства', и 'люди, говорящие на одном языке', и 'люди общего происхождения', и 'простые массы' по отношению к элите. Слово «этнос» в греческом столь же многозначно, но в русском оно чужое и введено как термин, чтобы обозначить понятие более точное, более ограниченное и в то же время универсальное. Мы применяем термин «этнос» к такому употреблению слова «народ», в котором оно покрывает определенную общность людей — не всякую: не социальный слой, не чисто лингвистическую общность, не географическое объединение, а — какое?

Понятия «нация», «национальность», «народность», «племя» рассматриваются как виды этноса. То есть мы интуитивно чувствуем, что есть нечто общее, что их связывает и отличает от других общностей — класса, партии, расы, профессиональной корпорации, мафии.

Благодаря всеобщности и точности «этнос» всё чаще заменяет «нацию» в теоретических и политических суждениях (точнее, слово «этнос» вытесняет слово «нация»). Мы говорим о межэтнических конфликтах, а не о межнациональных — на Кавказе, в Югославии. Мы говорим о праве этносов на самоопределение, обсуждаем (доказываем или отрицаем) право этносов на отделение от того или иного государства, на сепаратизм. Что есть этнос? Чего достаточно для его самостоятельности, для права на выделение, на отделение?

Мы говорим о теории этноса Гумилева: о цикличности, о пассионариях, о стадиях жизни этноса — а в какой стадии находится русский народ? Гумилев утверждает: есть этносы-паразиты. Это евреи, но не в Израиле, а здесь. Там они перестали быть паразитами, а здесь были и остаются паразитами. Подразумевается, что их труд (в интеллигентных профессиях или в торговле и финансах) — не труд. Трудом достоин называться только физический.

Советский академик Бромлей (кстати, из рода капиталистов английского происхождения) пишет, что признаком этноса является *эндогамия* — браки только внутри этноса. А как быть со смешанными браками, которых всё больше? Как вообще определить этническую принадлежность?

Мне однажды паспортистка перепутала местами записи и внесла в графу «национальность» определение «учащийся». Пять лет я был единственным представителем этой национальности в стране. Зато в графу «социальное положение» паспортистка мне закатала: «еврей!» (**Смех**). Учитывая тогдашнюю национальную политику, это имело некоторый смысл. Помнится, профессор-историк А. Л. Шапиро рассказывал, что ему советский паспортист, прочитав в дореволюционном документе на соответствующем месте «иудей» (тогда же отмечали не национальность, а вероисповедание), прочел это по-своему (он

был по-советски чужд религиозных тонкостей и вообще не шибко образован) и записал в графу «национальность» черным по белому «ИНДЕЙ» (**Смех**). Когда, заметив ошибку, Шапиро вернулся к паспортисту и потребовал исправления на «еврей», тот долго раздумывал, как исправить, не заменяя документа и не подчищая его и, наконец придумал: нужно дописать слово. И Шапиро получил паспорт, в котором стояло: «ИНДЕЙский еврей» (**Общий хохот**).

Можно вообще не вписывать в паспорт ничего этнического, как это и делается во многих странах на Западе [позже российские власти пошли по этому пути]. Исчезнет ли от этого сама проблема? Перестанут ли люди ощущать свою национальность, различать себя и других по этническим характеристикам? [Когда отменили необходимость вписывать в паспорт национальность, ожидалось, что это одобряют все народы России, кроме русского, но оказалось наоборот: возражения раздались именно со стороны бывших «младших братьев» — они почуяли в этом угрозу русификаторского нажима].

В современной англоязычной литературе более употребительно для обозначения этнических различий не слово «этнос» (*ethnos*), а слово «ethnicity», которое можно перевести как «этничность». В этом слове я по употреблению нашел следующие значения:

- 1) этническая общность, этнографическая группа, этнос;
- 2) этническая самобытность, этническое своеобразие;
- 3) этническое самосознание, сознание принадлежности к этнической группе.

Есть там еще и термин «этническое сообщество» (*ethnic community*). Различаются следующие его виды:

- «этническая категория» — совокупность признаков, иногда и совокупность людей;
- «этническая группа» — совокупность людей, организованная и самоидентифицирующаяся;
- «этнация» — этническое сообщество, претендующее на политический статус и нередко добывающееся его.

3. Истоки традиционных определений. Первое научное определение понятия этноса, первое не только для нашей литературы, но и, насколько я могу судить, для мировой дал С. М. Широкогоров — русский этнограф, оказавшийся в Гражданской войне на белой территории Дальнего Востока и оставшийся с белоэмиграцией в Китае. В 1923 г. он издал в Шанхае книгу «Этнос». На границе двух империй, на стыке двух великих наций, двух миров, в пору вели-

ких испытаний для русского народа, когда его части оказались в рассеянии, было естественно обратить внимание на их этнические особенности, контрастирующие со всей социокультурной средой, на то, что они унесли с собой и сохранили на чужбине.

Широкогоров (1923: 13, 122) определил этнос так:

«Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимыми и освящаемыми традицией и отличающимися ею от таковых других групп».

Как видим, на втором месте стоит происхождение. То есть этнос фактически приравнивается к расе. В соответствии с этим Широкогоров (1923: 28) причислял этнос к биологическим общностям. Это было понятно на стыке двух столь разных физически этносов как русские и китайцы. К тому же такое понимание соответствовало бытующему наивному представлению самих народов и не раз смутно проявлялось в литературе.

Несмотря на эту ограниченность и на тавтологию (зачем два термина для одного понятия?), это было чрезвычайно ёмкое, продуманное и практичное определение. Многие последующие были слабее и хуже его, но оно было надолго забыто. На Западе — потому что было опубликовано малоизвестным автором в малотиражной книжке на русском языке. У нас — потому что принадлежало белоэмигранту и находилось под запретом.

Кроме того, первоначально советские исследователи вообще отвергали интерес к этносу. По тогдашнему марксистскому представлению, нездоровый интерес к этносу был признаком национализма и путем к шовинизму. В. И. Равдоникас в знаменитой брошюре «За марксистскую историю материальной культуры» в 1930 г. утверждал: «носителем, субъектом, материальной культуры является общество, а не так называемый этнос, — понятие, в сущности, фиктивное ...» (Равдоникас 1930: 21).

Интерес к этносу возродился только к концу 30-х годов, когда назревала война и чувства национальной гордости и патриотизма стали остро необходимы. Советский начетнический, схоластический марксизм исходил (и должен был исходить) из сталинской дефиниции. У Сталина не было определения этноса. Сталин не пользовался этим термином. Но у него еще в 1913 г. в статье «Марксизм и национальный вопрос» было дано определение нации. Оно было общеизвестно в Советском Союзе, его заучивали в вузах наизусть. Сейчас я его наизусть и продиктую:

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».

Общность происхождения и расы здесь отсутствует вообще.

Это определение появилось до революции в борьбе против австрийских марксистов. В Австро-Венгерской империи подвластным нациям жилось лучше, чем в царской России, по крайней мере австрийские марксисты были в этом убеждены. Они считали, что в будущей социалистической революции венграм, чехам, словакам, словенцам, хорватам и другим отделяться от Австро-Венгерской империи не нужно. Достаточно добиваться культурной автономии в рамках Австро-Венгерской империи. Империю не нужно разрушать, а нужно строить социализм всем вместе в одной общей стране. Поэтому австрийской марксист Отто Бауэр (1909: 136) не признавал территориальную целостность и обособленность признаком нации (скажем, немцы в империи жили не только на сплошной немецкой территории Австрии, но и рассеянно в Чехии, в городах славянских регионов). Не считал он признаком нации и особую экономику, для него достаточно было общности характера на почве общности судьбы плюс (с колебаниями) общность языка.

Сталин же принадлежал к русским марксистам-большевикам. Эти видели слабость русского рабочего класса и, ведомые Лениным, рассчитывали в революции на большую помощь не только со стороны беднейшего крестьянства, но и со стороны национально-освободительного движения окраин России. Разжигая сепаратистские настроения, большевики приманивали союзников лозунгом национального самоопределения вплоть до отделения. Таким образом, Ленину и Сталину нужно было такое определение нации, которое давало бы ей безусловное право на территориальное и государственное отделение. Так сформировалось сталинское определение нации — к признакам, собранным австрийскими марксистами, было добавлено то, что нужно для обособленного государства — отдельная территория и самостоятельная экономика, а для этого и единый язык. Это способствовало борьбе против властей Российской империи, но это же впоследствии облегчило распад Советского Союза.

Таким образом, это определение было создано не для выяснения научных истин, не для понимания истории, а для удобства партийной политики. Большевики были вообще не за национальное, а за территориальное и производственное объединение единомышленников. Оно давало им дополнительные преимущества: в таких условиях было легко добиваться раскола общества по

классовым основаниям, а в рассеянных сообществах трудно проводить такой раскол, там сами обстоятельства требуют объединения по языку, а не по классу. Евреям России было не рекомендовано создавать свою отдельную социалистическую партию (Бунд), нужно было вступать в территориальные партии.

Да и впоследствии территориальность создавала удобства администрирования: есть территория — есть нация, нет территории — нет нации. Рассеянные — не нация. Есть проблемы с нацией — выселить и расселить: нация исчезает (немцы России, татары Крыма, чеченцы, ингуши, калмыки).

Правда, в Советском Союзе оказалось много таких национальных общностей, которые нациями было трудно признать: некоторые признаки отсутствовали. Не говоря уже о рассеянии русских за пределами сплошной русской территории (принадлежат ли они к русской нации?), а также татар, немцев, ряд наций просто рассеян по всей стране, не имея сплошной территории, — евреи, цыгане. Ну, евреям искусственно создали крохотную национальную территорию на Дальнем Востоке — Биробиджан. Но евреи туда не спешили собираться. Кроме того, многие племена Сибири явно не доросли до формирования наций — их территория, хотя и сплошная, не обладала ни единым управлением, ни экономическими связями. Для обозначения всех этих общностей и пришлось вводить сначала термины, отличные от термина «нация», но родственные ему — «национальность», «народность», «племя», а потом и более общий термин, *охватывающий их все*. Тут и был использован термин «этнос», уже бытовавший в этнографии для схожих надобностей.

Советские обществоведы, нуждавшиеся в марксистских опорах для теории этноса и привыкшие к начетничеству, быстро сообразили, что коль скоро нация — современный вид этноса, то для марксистского (идеологически выдержанного) определения этноса можно использовать Сталинское определение нации. Нужно только отнять от этого определения специфический признак, характеризующий именно нацию (отличающий ее от родственных образований), и в остатке получим набор признаков, общий для всех видов этноса, — определение этноса.

Какой же признак отличает нацию от других, более ранних образований? Ну, нации сформировались в XVIII — XIX веках как следствие развития капитализма, роста буржуазии, и большинство обществоведов пришло к выводу, что этот признак — экономическое единство. Отнимите этот специфический признак нации — и на ее месте оказывается более общее понятие — этнос (эта логика прямо изложена в статьях Каммари 1949; Козлов 1967).

В зарубежной науке определения «этничности» искали более свободно, но, как правило, тоже на основе сочетания разных признаков.

4. Этнические признаки. Так в науке сложилось представление об *этнических признаках*. Советскую науку отличало представление о четком наборе этих признаков. В мировой науке набор был шире и свободнее. Да и в советской науке после смерти Сталина и разоблачения «культы личности» придерживаться стандартного набора стало необязательно.

В американской литературе этнические признаки называются *индикаторами этничности* или *этническими маркерами*. Считается, что они наследуются, а определяются персональным выбором. То есть что маркеры — это объективные реалии: они существуют, даже если не признаются самими носителями или другими индивидами.

С самого начала определение этноса через список признаков наталкивается на огромные трудности. В советской науке этот вопрос обсуждался особенно упорно в первые послевоенные и послесталинские десятилетия. Рассмотрим же эти признаки в их определительной функции.

1) **Язык** — во всех определениях первый признак. Многие придают ему решающее значение в определении этноса и склонны считать, что в подавляющих случаях его одного достаточно. Но на английском языке говорят ныне многие нации — англичане, американцы, австралийцы, канадцы, это также государственный язык в Индии и Южной Африке. На немецком языке говорят немцы Германии, австрийцы, часть Швейцарии. Другие части швейцарской нации говорят на французском и итальянском. Бельгийцы говорят на двух разных языках: французском и валлийском, но считают себя одной нацией. Украина говорит на двух разных языках: западная Украина — на украинском, восточная — на русском. Евреи мира вот уже больше тысячи лет говорили на двух неродственных языках — идиш и ашкенази, оба не связаны ни с древнееврейским, ни с иврит. Значит, общности языка недостаточно для определения этноса, и не всегда она вообще значима (Токарев 1964; Агаев 1968).

2) **Территория** у многих этносов сплошная и единая. Но не у всех. Не говоря уже о том, что у многих народов есть *диаспора* — рассеянная по другим странам часть народа, некоторые народы имеют *анклавы* в других странах (оторванные куски сплошного заселения) — например, немцы Поволжья, а есть и народы, вообще не имеющие сплошной территории и живущие только рассеянно, повсюду, как цыгане и как до недавнего прошлого евреи. С другой стороны, единая сплошная территория не гарантирует этнического единства. Немцы Германии и Австрии рассматривают себя как самостоятельные этносы, хотя у них один язык и они заселяют сплошную территорию. Территории румын и молдаван сомкнуты, да и язык у них по сути один, но это разные нации, разные этносы. У них разные государства, разные элиты (Кушнер 1951; Козлов 19716).

3) **Культура**, на первый взгляд, столь же характерна для этноса, как язык (Пименов 1975). Но на деле еще менее показательна, ибо значительно легче заимствуется и распространяется (Арутюнов 1980). Это легче увидеть на примере материальной культуры. В Восточной Прибалтике живут три народа — эстонцы, латыши и литовцы. Границы между ними проходят по горизонталям. А в культурном отношении Прибалтику делят на две зоны, граница между которыми проходит по меридиану, прорезая все три этнических ареала. Материальная культура России за послевоенное время столь кардинально, повсеместно и всесторонне изменилась, что археолог будущего мог бы принять это за завоевание России западноевропейским народом [(Härke 2004)]. А на деле было противоположное: в войну Россия победила Германию. С этносом может совпадать не полностью весь комплекс культуры, а только некоторые компоненты, а какие — заведомо не установить (Шенников 1967).

4) **Психика, психический склад** — это то, что часто именуют национальным (этническим) характером (Арутюнян 1966). Ну, это и вовсе почти неуловимо. Или скорее определимо только в общенародном масштабе, а не у каждой отдельной личности. Иными словами, это признак только интегральный, а не дифференциальный. То есть можно сказать, что итальянцы в массе, в среднем темпераментнее, чем финны, но любой отдельный финн может оказаться темпераментнее отдельного итальянца, почему пользоваться этим признаком для отнесения к конкретному этносу нельзя (Джанджильдин 1971: 146–152). Не говоря уже о том, что в большинстве эти признаки оказываются при ближайшем рассмотрении не объективной реальностью, а традиционными клише, мифическими стереотипами соседей (легкомысленные любвеобильные французы, жадные евреи, глупые чукчи) или националистическими самообольщениями (русская духовность) (Козлов и Шелепов 1973). А когда в редком случае натолкнешься на реальный, экспериментально установленный признак, он оказывается характерным для нескольких этносов сразу (Кон 1968, 1971). По словам Токарева (1964: 44), понятия «психический склад», «национальный характер» в проблему определения этнической общности ничего, кроме тумана, не вносят.

С этим признаком мы окончили стандартный, восходящий к Сталину набор и переходим к признакам из более широкого репертуара.

5) **Единство происхождения** — признак, выдвинутый Широкогоровым (1923) и поддержанный Шелеповым (1967). Это признак еще библейский — в Библии народы различались по происхождению от единого предка, и это было в древности общим местом. Все скифы — от Скифа, все эллины — от Элина. Но на деле в русское население вошли балтские народности от Прибалтики до Поволжья, севернее от них — финские народности лесной

полосы до Урала [(Балановская и Балановский 2007)], татары и ираноязычные сарматы в степях. Русский народ и сейчас продолжает пополняться из разных источников. Английский народ сложился из нескольких корней: германоязычные англо-саксы, кельтоязычные бритты и франкоязычные норманны. Компоненты французского народа — германоязычные франки и кельтоязычные галлы. В то же время евреи и арабы — одного племенного корня: семитского, но это разные этносы, да и арабы делятся на разные, нередко враждующие этносы.

6) Название и самоназвание — признак, который некоторые считают важным для обособления этноса. Но этнические ярлычки очень непрочно связаны с этносами. Многие названия — не самоназвания, а даны соседями (Бромлей 1983: 45–48, 56–58; Дьяконов 1984). Сами немцы называют себя не «немцами» и не «германцами», а «дойче». «Руоиси» было первоначально финским названием «шведов», а славян они называли «веняя» (видимо, от венедов); только после воцарения в славянских землях норманской династии Рюриковичей, подвластных им славян стали называть «Русью». Французы получили название от германского племени «франков». Осетины раньше назывались ясами, до того — аланами. У Гомера греки не назывались греками, и даже более древнее имя эллины как общее название всего этноса не употреблялось. Греки назывались в эпосе то ахейцами, то данаями, то аргивянами. Все народности, проживавшие в Северном Причерноморье, назывались у греков скифами. Всех, кто прибывал на Русь с Запада, восточные славяне называли немцами — вероятно, потому, что те не могли разговаривать славянской речью и были для славян немцами. А свой язык был для славян «язык словенск» — словесный (язык означало на древнерусском и 'народ').

7) Самосознание — вроде бы более присущее этносу свойство. Этнос должен осознавать свое отличие от других, свою общность (Кушнер 1949; Козлов 1967а; 1967б; 1974; Агаев 1967). Но для больших народов это свойство проявляется отчетливо только на его окраинах. В центральных областях, откуда до границ и не добраться, люди могут жить веками, не имея контакта с чужими для осознанного противопоставления себя другим. Да и не всегда в условиях контакта противопоставление акцентируется. Белорусы западных областей на вопрос об их национальности часто отвечали: «мы тутэйшыя» (здешние), или «вясковыя мы» (деревенские), либо называли себя то русскими, то поляками (в зависимости от ситуации). Самосознание может отличаться от определения по другим признакам. Я уже упоминал, что ощущаю себя русским, но по паспорту, родству и восприятию меня другими я еврей. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что самосознание — явление вторичное,

производное от объективных факторов» и отказывают ему в ранге «решающего свойства этноса, его своеобразного демиурга» (Бромлей 1983: 196).

8) **Религия** — то, что сплачивает людей в конфессиональные общности, нередко совпадающие с этническими, более того — это бывает и разделительным признаком этносов: поляки — католики, русские — православные. Еще того сильнее: людей одного и того же языка часто религия разделяет: в Югославии славяне одного языка давно разделились на три этноса: сербы (православные), хорваты (католики) и боснийцы (мусульмане). С другой стороны, немцы-католики и немцы-протестанты не стали двумя этносами, также как французы-католики и французы-гугеноты. Стало быть, религия важна как признак этноса, но она то сплачивает людей в этносы, то нет, то разделяет этносы, то нет (Пучков 1973).

9) **Экономика** — признак, подходящий только нации (по исходной логике рассуждения от нации к этносу), но возможный при расширительном толковании и для этноса: общность не как связи, а как сходство экономических показателей. Но и это далеко не всегда налицо (Козлов 1970; Бромлей 1972).

9) **Государство** — еще один объединительно-разделительный признак. С теми же качествами. Многие национальные государства объединяют в основном людей одного языка, культуры, религии и проч. (Франция, Дания, Швеция, Норвегия, Польша). Но есть государства, которые объединяют по несколько, даже по много этносов — Россия, Индия, в прошлом — Австро-Венгрия, Османская империя. А есть государства, которые разделяют один этнос: Сербия и Черногория, Албания и Косово, некоторые считают, что таковы Германия и Австрия, Румыния и Молдавия. Я уж не говорю о случаях, когда этнос разорван между инациональными государствами: курды в Ираке, Турции и Иране.

10) **Раса** — признак вроде бы опознавательный. Но опознать по расовым признакам национальность можно лишь иногда, по контрасту с окружением в результате дальней миграции. Евреев по типу лица, носа, глаз можно выделить в России, потому что, происходя генетически от населения аравийских степей, евреи сильно отличаются своим физическим типом от славянского населения Восточной Европы, но в Италии и Испании отделить евреев от местного населения, испытавшего в средние века сильную примесь арабов, почти невозможно. И наоборот, русские севера и русские с Кубани и Дона сильно отличаются друг от друга физически. На Кубе живут разные расы, но все они, включая негров и мулатов, — кубинский этнос. В Мексике и Перу часто уже трудно различить, кто индеец, кто португальского или испанского происхождения, кто метис, хотя там есть и сохранившиеся чисто индейские племена. Даже среди евреев нет расового единства. Несмотря на длительное отсутствие больших примесей

среди евреев есть голубоглазые, есть блондины с веснушками, много рыжих, хотя среди родственных арабов таких нет (вероятно, это результат нашествия XIII в. до н. э. из Европы на Палестину и Египет, где это были «народы моря»). Наибольшая расовая чистота — на окраинах материков (Норвегия, Корея), всё остальное население сильно перемешано (Козлов и Чебоксаров 1982).

Итак, ни один из признаков, выдвигавшихся на роль этнических показателей, не является ни достаточным для этнического различия, опознания и определения, ни необходимым для него. Он может быть определяющим, может и не быть.

Однако если каждый не решает, то, возможно, нужно брать все признаки вместе, а если нет всего набора, то нет и этноса. Но коль скоро каждый признак в отдельности не обязателен, то и все вместе тем более не обязательны. Тогда быть может, какую-то часть набора? Но какую именно часть? Сколько признаков и какие?

Ведь если исходить из прошедшей перед нашими глазами реальности, то годится любой набор! Это значит: то одно, то другое сочетание, то третье. Похоже, что так. Но тогда какое-то строгое определение просто невозможно. Где же для него основа? Невозможно ясно указать, в каких случаях, с какими сочетаниями признаков есть этнос, а в каких его нет.

В начале XX века в этом духе высказался немецкий марксист Карл Каутский, очень ясно и трезво мысливший — он лучше всех переложил «Капитал» Маркса (в его изложении всё понятно) и оказался прав в споре с Лениным о диктатуре пролетариата во главе с коммунистической партией. Он говорил, что диктатура пролетариата неизбежно сведется в к диктатуре партии над пролетариатом, а диктатура партии неизбежно сведется к диктатуре ЦК над партией, а диктатура ЦК столь же неизбежно выродится в единоличную диктатуру вождя над всеми. Ленин с пеной у рта уверял, что «демократический централизм» предотвратит это зло. Прав оказался социал-демократ Каутский. Вот этот самый Каутский писал:

«Национальность — это общественное отношение, которое постоянно меняется, которое при разных условиях имеет различный смысл — словно Протей, постоянно ускользающий из наших рук, когда мы хотим его схватить...» (Каутский 1908: 4).

5. Основные концепции. Ясно, что если не примиряться с этой пессимистической сентенцией, то надо найти некую основу для выбора такого сочетания признаков или такого условия для сочетания признаков, которое бы удовлетворило реальному положению дел. Современные концепции этноса ищут такие условия.

1. Основная советская концепция зарождалась спонтанно и никем индивидуально не формулировалась как нечто оригинальное. Она естественным образом вытекала из всего корпуса советской обществоведческой науки, идеологически выверенной и на истмате основанной, — из стандартных учебников истмата, из многих серых диссертаций, из столь же серых лекций и докладов. Из всей атмосферы. Опорной формулировкой оставалось сталинское определение нации. Почти все плясали от него. Только постепенно начинали и в нем сомневаться.

Этнос, по этой концепции, есть социально-историческая категория и не может быть иной. В лучшем случае (это поновее) социокультурная. Социокультурная — значит не биологическая. Она выражена в объективных явлениях, которые и надлежит определить. Противоположное не рассматривалось, потому что это был бы субъективный идеализм.

Далее не выраженный в словах ход рассуждений — на поверхности. Раз не биологическая, значит, в признаки могут входить язык и культура, но не могут входить раса и происхождение. Раз объективная реальность, значит, в признаки может входить территория, но не может самосознание.

Порок концепции был в том, что она была мертворожденной. Сама же советская власть на практике с ней не считалась: в документах национальность определялась не по социальному состоянию, месту жительства, языку или культуре, а исключительно «по крови» — выбирать можно было только из национальностей родителей (при происхождении от смешанного брака).

2. Этноландшафтная концепция Гумилева. Концепция эта развивалась с 1964–1967 годов выпущенным из лагеря талантливым историком Л. Н. Гумилевым (Гумилев 1964–73; 1967а, 1967б, 1979/1989), которого официальная наука не признавала, но которого скрепя сердце допускала, рассматривая это как экспериментальный шаг, как доказательство своей либеральности. Сын расстрелянного поэта Николая Гумилева и преследовавшейся поэтессы Анны Ахматовой, он вызывал всеобщее сочувствие. В официальную историю (журналы, институты) его не пускали, а пристраивали его в географии, этнографии и археологии. Однако не только историки, но и археологи и этнографы (не только придерживавшиеся партийной линии, но и инакомыслящие) — все до одного — его идей сторонились, а полуобразованная публика валом валила на его лекции и копировала его машинописные тексты. Идеи его были нестандартными и уже одним этим привлекательными.

С другой стороны, и Гумилев, наученный горьким опытом, вел себя сдержанно, прикрывался ссылками на Маркса и Энгельса, принимал некоторые

постулаты правящей идеологии (даже критиковал Широкого за «механическое перенесение зоологических закономерностей на историю» — 1989: 70) и сходился со всё более заметным уклоном верхов к русскому национализму.

Гумилеву, естественно, претила советская идеология, хотя отдельные мысли Маркса и Энгельса, отдельные положения марксизма он принимал, но никак не крайний экономизм и социологизм, сводившие всё и вся к обществу, его экономике и политике. В коммунистической идеологии ему был противен также безудержный интернационализм, вылившийся в национальный нигилизм ранних советских лет. В тяжелые годы репрессий его поддерживало сознание того, что он по рождению принадлежит к старой русской национальной элите, к дворянству (хотя дворянство получил только его дед). Надо полагать, ему было неприятно наводнение обеих столиц и органов власти нацменами из самых низов. В то же время он знал, что в его матушке вроде бы есть татарская кровь. Отчасти поэтому с теплотой воспринял в 1956–1966 годы от П. Н. Савицкого идеи евразийства и отрицал татарское иго. Кроме того, Гумилев — человек верующий, атеистический материализм также был ему чужд, разгадки этноса он склонен был искать скорее в духовной сфере. Этот комплекс идей — анти-социологизм, национализм, элитарность, обращение к психике и таинственным силам космоса — сказались в его концепции.

По Гумилеву, этнос — природное явление, форма существования вида *Homo sapiens*. «Этнос в своем становлении — феномен природный» (1971б; 1989: 20). Он тесно связан с ландшафтом, природной средой. Изучать его должна этнология в рамках географии (тут сказала и его личная судьба — его прибежище в географии). Этнос, — утверждал он, — это порода людей, почти вид (1989: 41). Но если «порода», то это уже не география, а биология. И действительно, в другом месте Гумилев добавляет: выделение этноса «отражает некую физическую или биологическую реальность» (1989: 94). Так что критика Широкого была только маскировкой.

По мнению Гумилева, принадлежность к этносу «воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружающими констатируется как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе этнической диагностики лежит ощущение» (1989: 49). Но что же люди ощущают? Если всмотреться, что Гумилев подразумевал в основе такого ощущения «окружающих», то это «этнические стереотипы поведения», нормы, которые формируются средой и передаются традицией — воспитанием. То есть это культура.

Этнос он определял так:

«устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени» (Гумилев 1989: 131).

Выходит, найден самый бросающийся в глаза признак? Но тут противоречие: в культуре, явно противостоящей природе и лишь взаимодействующей с ней, пусть и в рамках ландшафта, Гумилев не позволял себе усмотреть системообразующую силу. Нет, это не единственный признак и не главный. Нужно вернуться к сочетанию, а какое сочетание выбрать — неясно.

Гумилев с ехидством посмеивался над попытками отыскать решающее сочетание признаков этноса: «Нет ни одного признака, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет» (1989: 94). Ключик к выходу он нашел в системном подходе биолога Берталанфи, сформулированном после войны. Этнос — это не перечень признаков, не скопище людей, похожих друг на друга, «не арифметическая сумма человеко-единиц» (1989: 99), а система, которая характеризуется прежде всего *связями между своими компонентами*. Что же поддерживает эти связи, эту целостность системы этноса? Чтобы ответить, нужно обратиться к возникновению каждого отдельного этноса — что его выделило и сплотило?

С одной стороны, Гумилев был ярким сторонником чистоты этноса. Для устойчивой передачи «стереотипов» важна эндогамия — браки должны заключаться только внутри этноса, не с чужаками. Он громогласно выступал против смешанных браков, благоразумно не называя это *апартеидом*. Даже перевирал биологические законы, утверждая вредность и гибельность метисации. Говорил о «народах-химерах», «народах-паразитах». С другой стороны, он знал и не отрицал, что в каждом этносе намешано множество компонентов: в русском — финно-угры (меря, мурома, мещера и др.), балты (голядь), сарматы, половцы, татары (многие дворянские фамилии) и т. д. Как же разрешить это противоречие? Что за «фактор икс» противоречие снимал?

Идея Гумилева такова: смешения только тогда благотворны, когда вдруг обильно, кучно нарождаются особо одаренные и энергичные личности (он назвал их «пассионариями» — на термине сказала несомненно кличка лидера испанской компартии предвоенных и военных лет страстной Долорес Ибаррури — «Пассионария»). Происходит это очень редко и лишь в некоторых местах вследствие биологических мутаций под действием излучения из космоса. А ландшафт — это как бы плавильный котел этногенеза.

Что за излучение? Какими физическими приборами улавливается? Как воздействует на человеческие яйцеклетки? Почему только в некоторых местах земного шара? Почему следствием оказывается рождение пассионариев, а не дебилов? Никаких доказательств не приводится. Их нет. Гумилев мог подразумевать вмешательство Всевышнего, но тогда это другой разговор не научный, а теологический. Слабы и другие положения.

«Этнос ... явление не социальное, потому что он может существовать в нескольких формациях» (1989: 35, также 39–40, 70, 240). А брак, собственность, дипломатия и многое другое тоже ведь существуют и при рабовладении, и при социализме, и при капитализме — что же, и они не социальные явления?

Гумилев заявлял: от нации так же невозможно отрешиться, как от пола. Ан нет, возможно! Я знаю русского человека, которому наша жизнь, советская жизнь (он ее отождествлял с русской) настолько осточертела, что он еще в советское время досконально выучил немецкий (говорит без русского акцента), воспользовался фиктивным браком, выехал в ГДР, сменил имя и фамилию, и теперь он немец.

Гумилевские «стереотипы поведения» далеко не всегда реальны. На поверку чаще всего они оказываются стереотипами восприятия данного этноса другими этносами с позиций этноцентризма. *Этноцентризм* — явление, замеченное австрийским социологом Людвигом Гумпловичем и разработанное американцем У. Г. Самнером. Явление это заключается в том, что народ обычно воспринимает всё свое и привычное как благо, как красивое и благородное, а всё чужое — как зло, как низкое и смешное. Стереотипные характеристики соседних этносов складываются на основе исторических условий, отношений и профессиональных предпочтений (Le Vine and Campbell 1972).

В русском народном представлении евреи выступали как жадные и трусливые, а грузины — как воинственные. Но войны с арабами показали евреев Израиля как отличных воинов, а война с Абхазией изрядно подмочила воинственную репутацию грузин. В ушах навязли разговоры о русской духовности и западноевропейской бездуховности. Между тем отношение к деньгам, к оплачиваемой работе, к культуре, к искусствам социально обусловлено, и нынешняя возможность сравнений на основе личного опыта (теперь ведь можно ездить и смотреть) демонстрирует полную бездоказательность подобных утверждений.

Концепция Гумилева — излюбленная (и, скажем прямо, благодарная) мишень для критиков (Бромлей 1970а; 1971б; Козлов 1971а; 1974а; Артамонов 1971; Итс 1989; Лурье 1990; Клейн 1992; Белков 1993 и др.).

Концепции, подобные Гумилевской, можно встретить и на Западе. Так, в книге П. Л. ван ден Берге «Этнический феномен» (Berger 1981) этнос тракту-

ется как врожденное свойство человека, как проявление неодолимых, «самоопределяющихся» генов. На Западе сторонников таких взглядов называют «примордиалистами»: для них этнос основан на первозданных (primordial) узлах — расовой общности, общности происхождения, наличии общих предков.

3) Новосоветская концепция Бромлей — появилась в печати с 1968 года (Бромлей 1969, 1970б, 1971а, 1973, 1983). Ю. В. Бромлей, подобно Гумилеву, тоже из верхов советской интеллигенции: он сын известного античника профессора Сергеева, родился от незарегистрированного брака с машинисткой, происходившей из рода заводовладельцев Бромлеев, эмигрантов из Англии. Дед его (отец Сергеева) — знаменитый артист Станиславский. Но Бромлею повезло — лагеря его миновали. Благодаря способностям, хорошему образованию и протекции он сделал успешную научную карьеру, стал директором Института этнографии, позже академиком. На нем лежала задача противопоставить концепции Гумилева что-то достаточно новое и достаточно советское.

Бромлей отверг географический уклон Гумилева. Этнос по Бромлею — никак не природное явление, а, конечно, социально-историческое. Чтобы выявить главный, решающий среди признаков, Бромлей предложил взять этнос в ситуации критической, угрожающей его целостности — какие признаки окажутся самыми прочными. Он имел возможность опереться на советскую реальность: к постсталинскому времени Москва и Ленинград были наводнены приехавшими на постоянное жительство людьми из национальных республик и евреями, а в республиках появились массы русского населения. Было уже много смешанных браков.

Озабоченный сохранностью этносов, Бромлей ввел в перечень признаков новый признак — эндогамию (предпочтение браков внутри этноса) как стабилизатор этноса (Бромлей 1969). Это эндогамия теперь то и дело нарушалась. В такой ситуации остальные признаки этноса ведут себя по-разному: одни оказываются прочно привязанными к этносу, сохраняясь за его осколками и в диаспоре (рассеянии), другие — нет.

Группируя признаки по-новому, Бромлей разделил этнос на два аспекта — интегральный и дифференциальный. Интегральные проявления — те, что выступают только в целом народе, описывая всю массу людей, но не обязательно каждую личность, — он отнес к понятию «этнос в широком смысле», а те, что выступают в каждой личности, дифференциальные, он отнес к «этносу в узком смысле». Первый он назвал «*этносоциальным организмом*» (сокращенно — *эсо*), второй — «*этникосом*» (в переводе с греческого 'этнический'). Скажем, русское гостеприимство характеризует весь народ, но какой-то отдельный

русский может быть и негостеприимным. Это признак эсо. А вот русский язык — на нем говорят все русские, каждый в отдельности. Это признак этника. Общность территории, экономики и государственности суть признаки этноса в широком смысле, но не каждый член этноса привязан к ним — на диаспору они не распространяются. А вот культура, стереотипы поведения — признаки этноса в узком смысле (Бромлей 1970б; 1971а).

Признаки эсо закреплены за ним слабее — при раздроблении эсо люди могут и не унести с собой эти характеристики, а вот признаки этника держатся очень прочно. Однако рассмотрим их. Даже язык — непрочный признак этника: его можно сменить, как и религию. Культурные навыки тоже. Эндогамия слабеет. Собственно, прочными признаками этника остаются только расовые особенности и их основа — общность происхождения. Как производный — самосознание.

Для основы понятия, его логически цельной структуры, осталось то же, что у Гумилева. За пределами декларации — всё те же «психические стереотипы» и та же «эндогамия». У Бромлея нет филиппик против смешанных браков, нет оскорблений в адрес других народов, но суть концепции та же!

Оба ученых столкнулись лоб в лоб в журнале «Природа», развернувшем в 1970 г. дискуссию об этносе (Гумилев 1970, 1971б; Бромлей 1970, 1971б). Спор был жаркий, но спорили-то два варианта одной концепции, причем за Гумилевым был приоритет.

Ученик Гумилева К. Иванов опубликовал статью (1985), в которой весьма ясно писал о заимствовании Бромлеем идеи концепции у Гумилева [(позже выяснилось, что Гумилев был реальным соавтором этой статьи — Лавров 2000: 329)]. Перед смертью Гумилев и сам ясно высказался, что его теория «приписана академику Ю. В. Бромлею, цитировавшему положения автора без отсылающих сносок» (Гумилев 1993: 11).

Различия между концепциями, конечно, есть, есть и оригинальные идеи Бромлея. Но обе концепции, при всем различии их формирования, отражают один и тот же рост этнических акцентов в послевоенном и постсталинском советском мировоззрении, рост националистических чувств в противостоянии с западным миром. Снижение веры в близость коммунизма и в непреложность вообще пути к нему незримо назревало в советском обществе и ослабляло все советские идеологические позиции. Поэтому спасение было в переносе акцентов на национальные отличия, на исконность традиций, на кровное родство всех, кто на нашей территории. По крайней мере, всех основных. Всё русское поднималось на щит как особенное и заведомо лучшее, чем на Западе. Одновременно шла либерализация — можно было чуть отклоняться от догм.

4) социально-психологическая (или социопроективная) концепция. Более того, в закоулках тихих академических институтов шло частичное и подспудное, без громких деклараций, освобождение от вульгарных марксистских догм. Проводили его иногда вполне в остальных отношениях идеологически выдержанные товарищи, иногда нейтральные эмпирики, иногда скрытые диссиденты. Но их всех жизнь толкала в одном направлении.

Отличную от Гумилева и Бромлея концепцию предложили В. И. Козлов (с 1967 г.), К. В. Чистов (с 1972), и я к ней присоединился (в печати Klejп 1981). Козлов тогда ортодоксально придерживался партийной идеологии и боролся с ее нарушениями (в том числе и с Гумилевым — 1971б, 1974а), но, обладая строптивым нравом, сохранял независимость суждений. Чистов был вдумчивым интеллигентным эмпириком, упирившим на здравый смысл. Я сомневался в марксизме и часто выступал на краю дозволенного (а мыслил за краем). Наша концепция отрешилась от догмы считать все культурные явления непременно материальными. Да оно и марксизмом разрешалось, только не проводилось на практике. Академия истории материальной культуры была создана в первые же годы советской власти и существовала десятилетиями, существует и до сих пор — в виде Института. А Вольная академия духовной культуры была закрыта немедленно.

С точки зрения социопсихологической концепции, этнос потому и неуловим, изменчив, что не является материальной субстанцией, единицей классификации реальных общественных явлений. Он есть общность субъективных представлений, то есть категория *социальной психологии*, а не истории материальной культуры или истории других реалий.

По Козлову (1967; 1974б) и Чистову (1972), основной признак этноса — *общность самосознания*, выраженная в самоназвании. Другое дело, что общность эта не самопроизвольна, не свободна от всякой зависимости от реалий жизни. У нее всегда есть объективная основа. Основа для этого психического единства — объективная общность, общность реалий, — но любая, любых признаков, как угодно сложившаяся. Где одних, где других. Где языка, где религии, где территории, где государства и т. д.

Я внес поправку: это общность не самосознания, а просто *сознания*. Ибо важно не только то, к какому этносу ты себя относишь сам, но и то, к какому этносу тебя относят другие. Будучи чукчей, ты можешь объявить себя англичанином, но другие этого не поймут.

Мотивировкой самосознания (как и сознания соседей) является убежденность (не обязательно верная) в *общности происхождения*. Пришлые люди или местные, но непременно требуется, чтобы они, по общему представлению,

появились на этой территории вместе. От одного предка или разных, но давно — так сказать, исконно вместе. Под общим происхождением, как угодно мифически оформленным и бытующим в народном сознании, выступает реальная *общность исторических судеб*.

На Западе также есть близкая концепция, и, пожалуй, она является на Западе преобладающей. Так Д. Хайем пишет:

«Класс и этничность являются, конечно, двумя основными измерениями социального порядка, которые обычно воспринимаются американцами как взаимно перпендикулярные друг к другу. Этничность — это узы, сравнимые с родственными, они основываются на предположении об общих предках и сетью традиций связывают людей, стоящих на разных уровнях социальной иерархии» (Higham 1982).

Этнонациональную группу рассматривают как близкую к «родственной» также Кейес, Кван и Шибутани, У. Коннор и др. (см. Glazer and Moynihan 1975).

Отрадно, что у нас эта концепция, по всей видимости трезвая и здравая, возникла независимо от Запада, еще при советском режиме, при засилье догматической идеологии. Есть и заметные отличия советских сторонников этой концепции от западных. Поскольку, по крайней мере, некоторые из западных рассматривают этнос как ситуационный образ, как организационную конструкцию для реализации коллективных целей, их в Америке называют «инструменталистами». В инструментализме есть привкус неверия в историческую обусловленность формирования этноса, отзвук убеждения в полной свободе воли, пусть и коллективной. Советские ученые этой убежденности чужды. Но основной спор между инструменталистами и примордиалистами шел по линии признания или непризнания реальной биологической основы у этноса. Социопсихологическая концепция этноса не признает важной роли «породы людей» в основе этноса.

Биологизирующая идея присутствует и в этой концепции, но лишь как миф, осознаваемый учеными. По этой концепции этнос есть *народная биологизация социально-психологической общности, опирающаяся на какие-то объективные, наглядно объединительные признаки*. В конкретных ситуациях этнографии и истории социально-психологическая общность представляется как кровное родство, как племенная общность. Нужды нет, что в реальности этого может и не быть — за этносом кровное родство может не стоять и чаще всего не стояло. Но оно есть в головах, в идее.

Для начала *русская идея* это идея о кровном родстве всех русских. Она, конечно, миф. Но свою роль в консолидации этноса этот миф сыграл. Негативная сторона этой мифологизации, однако, в том, что в нынешних условиях, в условиях многонациональных государств и усиливающейся межнациональной чересполосицы этот миф стал играть вредную роль, становясь базой для разжигания межнациональной розни и для распада многонациональных государств. В то время как в Европе наблюдается противоположная тенденция — к формированию многонациональной общности, к разрушению мифов о кровном родстве. В этом контексте полезно помнить, что у нас за плечами — не кровное родство, а общность исторических судеб. Она, конечно, сплачивала людей в народы, нередко противопоставляла одни народы другим, но и соединяла.

Поскольку этносы существуют повсеместно и нет людей вне этносов, значит человеку свойственно подводить свои социальные связи под отношения родственные. Если человеку свойственна такая биологизация социальных отношений, а эта биологизация опасна, то не состоит ли интеллигентная рефлексия в дебиологизации?

6. Специфика этнического. В чем же суть отличия этнической общности от других видов общности — языковой, территориальной, профессиональной, классовой? Обнаружение места этничности в социальной психологии, перемещение понятия этноса туда не снимает этого вопроса. Ведь есть своя особая психология, свое самосознание и у класса, и у граждан государства, и у обитателей страны, и у носителей определенного языка.

Многие психологи указывают на этническую *солидарность* как определяющую особенность этноса. В психологии издавна подчеркивается важность психологического деления: «мы — не мы», «свои — чужие». Эта обособляющая и сплачивающая идея лежит в основе этноса и порождает чувство этнической солидарности, заставляющее членов этноса поддерживать друг друга, предпочитать общаться с одноплеменниками, придерживаться эндогамии, сплачиваться в войне и т. д.

Но есть ведь и классовая солидарность — ее нещадно эксплуатировали большевики: «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Есть партийная солидарность, поскольку членов партии объединяют общие политические цели. Есть профессиональная, корпоративная солидарность, поскольку есть общие интересы у всех, скажем, медиков или у всех учителей. У всех студентов. У всех ученых. На этом основано профсоюзное движение и международные организации профсоюзов, научные конгрессы. Словом, есть солидарность разного плана.

Конечно, у членов класса солидарность может и не проявляться, у членов профессиональной корпорации тоже: конкуренция разделяет их и превращает в противников. Могут быть и у жителей страны территориальные раздоры. Но ведь и внутри нации, внутри этноса нередко бывают разлад, склоки, схватки за те или иные блага или за первенство. Это не нарушает общую тенденцию солидарности, к которой апеллируют примирители, и которая в конечном счете восстанавливается. Так чем же этническая солидарность отличается от других?

Я вижу только одно существенное отличие — в целях. Тут имеет значение государственность, но не как необходимый признак, а как цель. Более точное определение этой цели — *социальный организм*. Это понятие введено в нашу науку Ю. И. Семеновым в 1966 г. и повлияло на Бромлеевскую идею этносоциального организма (эсо). Социальный организм — это конкретное общество, обладающее устойчивостью и потенциями самостоятельного существования: оно достаточно велико для самообеспечения в принципе, имеет все необходимые слои и классы (Семенов 1966).

Так вот в отличие от других видов солидарности *этническая солидарность направлена на воспитание или поддержку идеи обособления отдельного социального организма, со всеми классами и слоями, со своим особым управлением, со своей значительной территорией и значительным народонаселением (достаточными для самообеспечения и обороны)*. Имеется в виду *независимое государство или, по крайней мере, автономное образование*. Всякий этнос, имеющий государственное оформление, дорожит им. Всякий этнос, не имеющий его, лелеет мечту о нем. Если такой мечты нет, нет этноса.

Споры о том, являются ли евреи отдельным этносом, шли долго. Те, кто отрицал это, ссылались на отсутствие единого языка и вообще утрату собственного языка. Противники ссылались на цементирующую роль религии. Изгнанные две тысячи лет тому назад из Палестины, евреи молились, повернувшись в сторону Иерусалима, а на праздниках твердили формулу: «Сегодня здесь, а завтра в Иерусалиме». По прошествии двух тысяч лет сохранившие свою идентичность собрались в Палестине, отвоевали свою землю и создали государство Израиль. Доказали свое существование как этноса.

Противоположный случай я вижу в Белоруссии. Там стремление к национальной самостоятельности никогда не было сильным. В Белоруссии это всегда был только вопрос национальной элиты — очень тонкого слоя, к тому же изрядно прореженного сталинскими чистками. Масса населения оставалась к этому равнодушной. Белорусский язык был языком деревни, а деревенская жизнь утратила привлекательность, идеалы ушли в городскую жизнь. «Союзная республика» была сформирована искусственно, в большой мере для показухи.

Всё население говорило и говорит на русском языке, только с белорусским акцентом и небольшой примесью белорусских слов — на «суржике». Белорусский язык — это язык радио и некоторых газет. Мой покойный друг, белорусский писатель и страстный патриот, дома, в семье, говорил по-русски.

В Западной Белоруссии, в городе Гродно, вскоре после войны было открыто около десятка школ, все русские, одна из них — польская и одна — белорусская. В этой белорусской школе только один из нескольких параллельных классов был реально белорусским. Когда польскую школу закрыли, ее сделали русской. Потом передумали и первого сентября объявили, что школа будет белорусской. Услышав об этом, белорусы, родители с детьми, ринулись к дверям. Директор велел запереть двери. Родители с детьми стали прыгать в окна. Так белорусы продемонстрировали свою «приверженность» своему языку.

Демонстративное стремление Белоруссии объединиться с Россией опирается на равнодушие народа к своей особой (нерусской) национальной идентичности. Для национальной элиты это может быть неискреннее стремление (политический маневр), но для народа Белоруссии выбор между двумя перспективами диктуется исключительно соображениями экономической и политической природы.

Иное дело Украина. Там идея национальной самостоятельности всегда теплилась и, по крайней мере, западная часть страны говорит по-украински и стоит на страже своей «самостийности».

Итак, в основе этнического самосознания лежит идея существовать самостоятельной очень-очень большой семьей и жить на отдельной территории, сплошным массивом. Пусть эта самостоятельность и будет относительной (ныне полная независимость от международного сообщества недостижима и не нужна).

Тема этноса этой лекцией не исчерпана. Есть в литературе разработки об этнических процессах, о типах этносов, об этнических взаимоотношениях, об этноцентризме и космополитизме и т. д. Но чтобы заниматься этими проблемами, нужно было прежде всего понять что такое этнос и ознакомиться со спорами по этому вопросу.

В заключение я бы хотел сказать, что белорусский, да и еврейский примеры (если брать не только евреев Израиля, а большинство евреев мира) показательны в одном отношении. Они показывают, что замыкание в рамках этнической идентичности, не является непреложным и неизбежным. Замечательный историк И. М. Дьяконов (1958) показывал что на Древнем Востоке вообще массы людей, при всей приверженности своему языку, пребывали в неопределенном, диффузном этническом состоянии. Нынешний мир, похоже, движется к такому

же положению. Негры в Вашингтоне, евреи в Нью-Йорке, индусы в Лондоне, турки в Берлине, алжирцы в Париже, азербайджанцы в Москве, русские в Риге то порождают конфликты, то сосуществуют в гармонии с коренным населением, но не уезжают, медленно ассимилируются, внося и свои вклады в местную культуру и быт, и все вместе сигнализируют о взаимопроникновении и взаимопереплетении этносов в беспрецедентном масштабе. Не станет ли мир будущего одним многоэтничным мегаполисом? И сохранятся ли в таком мегаполисе этносы в своем нынешнем виде?

Будучи русским еврейского происхождения, находясь на стыке двух этносов, я, быть может, острее многих ощущаю зыбкость этнических рубежей. И учусь понимать, что в душе человека есть ценности помимо принадлежности к этносу и что некоторые, пожалуй, выше.

2. К спору об этносе

[С этой статьей я впервые вынес в 1970 г. подробные размышления об этносе «на люди», за пределы аудитории своего семинара, хотя опубликовать эту статью так и не удалось — она печатается здесь впервые.

К 1970 г. я уже опубликовал дискуссию (в семинаре) об археологической культуре и свою статью об археологической культуре, в которой задевал и проблемы этнического определения — всё это были результаты размышлений конца 60-х. Стимулом для написания данной статьи послужила интересная дискуссия в первых номерах журнала «Природа» за 1970 год со статьями Л. Н. Гумилева и Ю. В. Бромлея. С Гумилевым я был знаком еще со студенческих лет (вместе работали в экспедиции М. И. Артамонова), с Бромлеем знакомство было шапочным, оба были значительно старше меня, но и я был уже не молод — 43. В дискуссии Бромлей со своей академической солидностью вежливо громил ярко талантливую, но явно несостоятельную и к тому же «идеологически невыдержанную» концепцию Гумилева, противопоставляя ей свою.

Завоздка была в том, что я пришел к выводу о чрезвычайном сходстве обеих концепций и решил выступить с критикой обеих. Критиковать Гумилева было, конечно, можно и даже похвально. Но критиковать по полному фронту Бромлея, главу советской этнографии, да еще уравнивать его с Гумилевым — это уже другой разговор.

Поскольку я был старым автором журнала «Природа» и редакция меня любила («таких авторов, как Вы — раз, два и обчелся», — писала мне в 1966 г. старший научный редактор Е. А. Геевская), я надеялся, что моя критика в «Природе» пройдет. Ошибался. Статью «К спору об этносе», отосланную тогда же, в 1970-м, мне тут же вернули, вероятно, показав, как водится, обоим инициаторам дискуссии — Гумилеву и Бромлею (сужу так потому, что в последующих статьях Бромлея и его книге были явно реализованы некоторые мои идеи — отличие этноса от других общностей, разбивка признаков на интегральные и дифференциальные). В 1971 г. «Природа» напечатала повторные статьи Гумилева и Бромлея, статьи Козлова и Артамонова, но не мою. Посылать ее в «Советскую этнографию», то есть в журнал Института этнографии, было бессмысленно.

Через несколько лет, в 1974 г., в 12-м номере журнала «Вопросы истории», головного журнала советских историков, была помещена статья В. И. Козлова, союзника Бромлея в схватке с Гумилевым, возобновлявшая если не дискуссию, то критику Гумилева. Я придрался к этому поводу и, подновив статью, отправил ее в «Вопросы истории». Подновление было небольшим: к статье я добавил три абзаца спереди (с упоминанием новых работ), кое-где вставил такие же добавки и в прежний текст, но в основном оставил анализ обоих выступлений 1970 г., даже не упоминая статьи 1971 г. Так что основания для отказа были. Но они не были использованы. В октябре 1975 г. я получил не отписку от редакции, а, что было необычно, ответ от самого главного редактора — проф. В. Г. Трухановского. Он писал (3 окт. 1975):

«Вероятно, Ваш материал мы не сможем опубликовать в настоящее время. Ведь его публикация означала бы развертывание дискуссии по этому вопросу, но пойти на это следует лишь в том случае, если есть полная уверенность, что дискуссия будет активной и плодотворной. Готовы ли наши «этносологи» к этому?»

Если будете в Москве, заходите в редакцию, побеседуем относительно целесообразности затевать такую дискуссию».

Я ответил письмом в декабре (4 дек. 1975). Вот выдержка из него:

«Моя статья «К спору об этносе» была оформлена мною как отклик на критическую статью В. И. Козлова о концепции Л. Н. Гумилева. Я не имел в виду открывать новую дискуссию. Однако Ваш

вопрос побудил меня задуматься о такой возможности. Я побеседовал с ленинградскими исследователями, широко ориентирующимися в проблематике, ситуации и людях. Прежде всего — с В. В. Мавродиным и Р. Ф. Итсом, беседовал также с молодыми исследователями. Поэтому не спешил с этим письмом.

В итоге этих бесед у меня сложилось общее впечатление, что дискуссия назрела, что она не примет формы драки, что число компетентных исследователей, способных внести в нее вклад (разумеется, не только в Ленинграде), достаточно велико, что результат будет плодотворным.

Дело в том, что в разработке понятия «этнос» советская наука, раньше других занявшаяся этим, пока лидирует в мире. Однако сейчас интерес к этой теме пробудился и за рубежом (в Америке, ФРГ и Японии), и там наметилась тенденция к согласованию разных концепций, к сложению унифицированной терминологии и т. п. Хорошо бы такую предложить раньше.

У нас же есть несколько серьезных концепций этноса (С. А. Токарева, Н. Н. Чебоксарова, Ю. В. Бромлея, В. И. Козлова, П. Н. Третьякова, В. Ф. Генинга и др.), различающихся по методике построения, по составу системы понятий, по дефинициям, по опорному материалу. У каждой концепции своя «сфера влияния», и это не столько от принципиальных разногласий, сколько от ведомственной и, так сказать, кастовой изоляции, от традиционной группировки сил. Хотя есть, конечно, и некоторые разногласия. Книга Бромлея — наиболее фундаментальная разработка.

Чрезвычайно полезно было бы столкнуть эти концепции на страницах одного и при том достаточно широко читаемого издания. При этом выявились бы общепризнанные постулаты, а в спорных частях темы определились бы возможности, позиции и аргументы. Это помогло бы всем, кто пользуется понятием «этнос» (историкам, социологам, этнографам, археологам, искусствоведам и др.), избирать решения более ориентированно, осмотрительно и не случайно.

Конечно, каждый из авторов бытующих концепций вряд ли отнесется с энтузиазмом к такой дискуссии, и это психологически можно понять: выпустив недавно свою разработку, он на некоторое время проникается чувством, что сказал последнее слово и что другие не приемлют оное лишь по недомыслию или незнанию. Однако,

встретив в дискуссии возражения, он вынужден будет искать новые аргументы и кое-что перестраивать, в чем-то сближать свою концепцию с другими. Можно ожидать, что и новые соображения появятся (мне называли ряд фамилий исследователей, от которых можно такое ожидать)».

Далее я писал, что если бы моя статья была предназначена для затравки, я бы переработал ее начало, введя обзор всех главных концепций. «Можно было бы больше уделить внимание позитивным сторонам книги Бромлея».

Однако эта подачка не сработала. Редактор решил не вызывать неудовольствие недавнего секретаря отделения истории АН СССР и нынешнего (для того времени) главы этнографии, так что при встрече в 1976-м предложил мне сделать для ВИ статью об американской теоретической археологии. Дискуссия об этносе в ВИ так и не началась, моя статья так и не была напечатана. Здесь я публикую текст статьи по варианту 1975 года, отосланному в «Вопросы истории», но беру добавления к тексту 1970 года в квадратные скобки, чтобы виден был и первоначальный текст.]

1. Проблема. [Критический разбор этноландшафтной концепции Л. Н. Гумилева, опубликованный в «Вопросах истории» (Козлов 1974), в основных положениях убедителен. Хорошо, что он возобновляет дискуссию 1970–1971 гг. об этносе.

Однако было бы нецелесообразно ограничивать обсуждение концепцией Л. Н. Гумилева. Это сужает перспективы рассмотрения проблемы и не позволяет понять, почему концепция со столь очевидными методологическими дефектами разрабатывалась и отстаивалась в нашей науке столь долго (Гумилев 1965, 1967а, 1967б, 1970, 1973), не встречая, по сути, серьезного сопротивления, весомого опровержения и радикального противопоставления.

В советской научной литературе не одна, а по меньшей мере, две концепции этноса представлены в развернутом виде. Обе столкнулись в дискуссии на страницах журнала «Природа», где обобщающей статье Л. Н. Гумилева, подводившей итог серии его работ (1970), была противопоставлена статья Ю. В. Бромлея (1970). Впоследствии концепция Ю. В. Бромлея была более обстоятельно изложена и аргументирована в его книге (1973). Есть и другие концепции (Токарев 1964; Чебоксаров 1967; Козлов 1967б; Чистов 1972 и др.), однако не столь всесторонне и последовательно разработанные, как эти две.]

Концепция Л. Н. Гумилева подкупает широтой и смелостью, я бы сказал экстравагантностью постановки вопроса. Концепция Ю. В. Бромлея привлекает здоровой осмотрительностью и свежими идеями.

Обсуждение в «Природе» создавало впечатление об их полной противоположности, [и это впечатление усугубляется современной критикой]. Действительно, концепция Ю. В. Бромлея лишена ряда методологических недуг, свойственных концепции Л. Н. Гумилева. Между тем, не снимая этого различия, стоило бы задуматься над слабостями присущими обоим концепциям, а может быть и не только им. Без этого не добраться до корня затруднений с понятием «этнос» — затруднений, удерживающих это понятие в разряде столь дискуссионных, что порою утрачиваются порог абсурдности.

По ознакомлении со статьями и книгами обоих авторов остается смутное ощущение, что не так уж ошибался К. Каутский, когда писал: «Национальность — это общественное отношение, которое постоянно меняется, которое при различных смысл — словно Протей, постоянно ускользающий из наших рук, когда мы хотим его схватить... (Каутский 1908). И все же ученые не могут согласиться с Каутским. Ведь если бы у различных меняющихся проявлений этноса не было совсем ничего общего и постоянного, хоть какой-нибудь связующий линии, то термин «этнос» утратил бы право на существование — по крайней мере, в качестве научного понятия. Между тем, необходимость в нем ясно осознается этнографами, археологами, историками и другими учеными. Видимо, есть целая серия явления в материале этих наук, которую необходимо выделять, рассматривать в совокупности и обозначать одним термином.

Мне кажется, что расплывчатость и необязательность заключений авторов обеих концепций проистекают из того, что к исходному этапу своего анализа — определению предмета исследования (у них это вопрос: что такое этнос) — оба автора приступили с неудачно выбранных и нечетко осознанных позиций.

2. Методический подход. Л. Н. Гумилев заранее, априорно установил для себя, какие явления относить к этническим и включать в этногенез, а какие нет. «Так, в древности совсем рядом жили финикияне, филистимляне и евреи, а почему-то уцелели только последние» — пишет он вначале своей статьи (Гумилев 1970 или 1971 б, 1: 47). Уцелели? Так ведь это смотря по тому, считать ли евреев времен Тита и современных одним и тем же этносом, то есть, смотря по тому, как определять понятие этнос. Но для Л. Н. Гумилева это уже дано заранее в условиях этих задач (причем так, что те и эти евреи оказываются одним этносом) «и наша задача заключается в том, чтобы выделить феномены, непосредственно присущие этногенезу, и тем самым уяснить себе, что такое этнос и какова его роль в жизни человечества. Условимся о значении терминов»

(Гумилев 1970 или 1971б, 1: 47). Условиться о значении терминов конечно можно, а о содержании понятий?

С точки зрения Л. Н. Гумилева, единство языка не является необходимым признаком этноса, «ибо есть много двуязычных и трехязычных этносов...» (Гумилев 1970 или 1971б, 1: 49). Но ведь такие этносы можно констатировать только если принять заранее, что единство языка не входит в определение этноса (что как раз требуется доказать), а с точки зрения тех, кто включает единство языка в число необходимых признаков этноса, это бессмыслица. Л. Н. Гумилев в своем выборе субъективен, точно так же, как и они. Границы понятия этнос, предположенные Л. Н. Гумилевым, сугубо условны, и я не вижу, почему я должен это условие принять. Объективное обоснование выбора отсутствует. Между тем в дальнейших рассуждениях Л. Н. Гумилев исходит из своего допущения реальности избранных границ понятия и более к этому не возвращается. Рассуждения повисают в воздухе...

Ю. В. Бромлей отправной точкой для определения интересующего нас понятия избрал обобщение и анализ «уже сложившихся представлений как о термине «этнос», так и относительно других терминов, обозначающих различные этнические общности» (Бромлей 1970: 51). У него определение начинается с того, чтобы «Предварительно выявить некоторые черты существующих представлений об этносе и этнических общностях...» (Бромлей 1970: 51). Может быть, и рационально с этого начать; действительно, было бы «неверно полностью игнорировать» эти представления. Но, на мой взгляд, еще более неверно ограничиться их анализом, особенно если выходить за рамки чисто историографического исследования. Ведь судить о понятии по сложившимся представлениям о нем — значит уклониться от непосредственного изучения объективных данных, подменив его обобщением и анализом субъективного отражения этих данных в сознании людей, пусть даже — в коллективном сознании. Здесь тоже определение этноса, по сути, дано заранее, априорно, до обращения к фактам. В результатах такого исследования тоже способен сказаться субъективизм, только не индивидуальный, как у Л. Н. Гумилева, а коллективный, массовый.

[Другое дело если принять, что только в коллективном сознании этнос и существует, но это будет ясно только после всестороннего исследования вопроса.]

В общественном сознании аккумулировались очень неравноценные представления об этнических феноменах — верные наблюдения вперемежку с искаженными, классово ограниченные, предвзятые (предрассудки) и реалистические оценки с позиций прогрессивных классов, наслышались наследие разных эпох. Обычно такие обиходные представления в отличие от строгих

научных понятий растрепаны и размыты. Они складывались давно на основе узких совокупностей. Позже факты нарастали со многих сторон, четкие границы понятий разрушались, ясная логика группировки исчезала. Возникла потребность в новых логических схемах, в новой группировке, а новом определении границ понятий.

Л. Н. Гумилев стремится в к синтезу естествознания с обществоведением — он видит путь такого синтеза в рассмотрении общественных группировок под углом зрения натуралиста. Но лучшее, чем современное естествознание могло бы обогатить общественные науки, это привычка к естествоведческому стилю мышления, к строгому научному методу исследования, еще очень трудно пробивающему себе дорогу в обществоведение, где роль беспочвенных спекуляций зачастую непропорционально велика и слишком много априорных идей и застарелых обиходных представлений.

Ф. Энгельс критиковал априорный метод «согласно которому свойства какого-либо предмета познаются не путем обнаружения их в самом предмете, а путем логического выведения их из понятия предмета. Сперва из предмета делают себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх ногами и превращают отражение предмета, его понятие в мерку для самого предмета. Теперь уже не понятие должно сообразоваться с предметом, а предмет должен сообразоваться с понятием» (Энгельс 1878/1971: 97). У В. И. Ленина мы находим методологический принцип: «Начинать с вопросов: что такое общество, что такое прогресс? — значит начинать с конца... Пока не умели приняться за изучение фактов, всегда сочиняли а priori общие теории, всегда остававшиеся бесплодными». (Ленин 1984/1967: 141).

Видимо, не стоит начинать с вопроса: что такое этнос. Начать следовало бы с широкого рассмотрения вопроса о том, какие вообще типы человеческих общностей существуют в реальном мире, какие группировки этих типов являются объективными и рациональными в тех или иных аспектах, а затем думать над тем, есть ли среди выявленных объективных групп этих типов такая, которой достаточной близорук по традиционному употреблению термин «этнос».

Иной путь не может обеспечить ни объективности выводов, их ясности в определении места этноса среди других типов человеческих общностей. Оба автора полагают дать общее определение этноса путем обобщения свойств такого-то набора конкретных общностей, почитаемых ими по тем или иным причинам за этносы. Но при таком подходе набор этих конкретных общностей неизбежно останется произвольным, если его предварительно не обосновать другим путем — движением от общего охвата материала. Ведь определить — значит прежде всего найти родовое понятие (в данном случае — «совокупность

людей») и отграничить данное видовое понятие (этнос) от других видовых внутри рода. Ни у Л. Н. Гумилева, ни у Ю. В. Бромлея этого нет.

[Правда, в самое начало своей книги 1973 г. Ю. В. Бромлей ввел главу «О месте этноса в системе человеческих общностей» (с. 10–34), однако и здесь это место определяется не требованиями системы, а только традициями словоупотребления.]

3. Признаки или призраки? Оба автора называют множество признаков, почитавшихся теми или иными исследователями за главные признаки этноса: общность языка, культуры, территории, происхождения, государственной принадлежности и т. п. Л. Н. Гумилев упоминает только часть их, мельком, и сходу отвергает. Ю. В. Бромлей перечисляет их более внимательно (ведь для него накопленные наукой представления — исходный материал для анализа). [Он отыскивает специальную процедуру для отделения основных, неотъемлемых свойств этноса от второстепенных, несущественных. Основными он считает те, которые обладают особой устойчивостью, более цепко держатся, дольше сохраняются при миграциях и внешних воздействиях.

Но, во-первых, уже в этом сказывается априорная заданность: считать этносами только устойчивые, длительно сохраняющиеся общности. Во-вторых, главными, формирующими признаками устойчивых общностей могут оказаться факторы сильные, но неустойчивые, а цепкими и переходящими в реликтовое состояние могут оказаться свойства как раз несущественные: они сохраняются нередко именно благодаря своей несущественности, неадаптивности (как волосяной покров на конечностях у человека). Устойчивость этнических свойств, по Ю. В. Бромлею, «в условиях существенно отклоняющихся от нормы» — в миграциях, особенно в микромиграциях (1973: 35). Но ведь ясно, что в таких условиях имеют лучшие шансы выжить не главные и наиболее важные в нормальных условиях свойства человеческих общностей, а пусть второстепенные и даже вовсе незначительные, но зато инертные, статичные, консервированные и, наконец, самые дифференциально распределенные, наиболее тесно связанные не с целостной общностью, то есть не с этносом, а с его элементами. Этнос расплывается и, по сути, исчезает, а они живут — но ведь уже не как части этноса!

Неудивительно, что главными свойствами этноса при таком подходе получились, с одной стороны, признаки наиболее тесно связанные с биологией человека (психические стереотипы), а с другой — наиболее оторванные от реальной ситуации («этническое самосознание» индивида).]

Биологическим факторам, как и вообще природным, Л. Н. Гумилев сознательно придает решающее значение в формировании и жизненном цикле

этносов. Ю. В. Бромлей с этим не согласен, но ему трудно отключить биологические факторы от определения этноса. Перечислив свои критерии отбора признаков, достойных называться этническими, Ю. В. Бромлей признает: «Всем этим требованиям отвечают внешние отличительные особенности физического типа людей, то есть расовые признаки: отличия цвета кожи, волос, глаз, черт лица, формы черепа и т. д. Характерно, что в житейской практике эти внешние, весьма наглядные, устойчивые дифференцирующие признаки нередко являются отправным, начальным показателем при решении вопроса об этнической принадлежности того или иного человека или группы людей» (Бромлей 1970: 53). Однако Ю. В. Бромлей тут же исключает этот признак из числа существенных на том основании, что практически не существует «чистых», не смешанных в расовом отношении этносов, а между смежными этносами одной расы отсутствуют четкие антропологические границы. А разве существуют «чистые» этнические стереотипы? Даже этническое самосознание нередко весьма «загрязненно», особенно в пограничных районах. В сущности, у Ю. В. Бромлея нет веских аргументов для отказа от этого признака (физического типа), ибо его, Ю. В. Бромлея критериям этот признак соответствует. Но не окажется ли тогда термин «этнос» излишним?

На деле же эта ситуация свидетельствует как раз о недостаточной объективности избранных критериев: с ними только такие признаками и попадают в поле зрения. Кстати, даже в житейской практике расовые особенности служат опознавательными признаками этносов только при столкновении отдаленных по происхождению этносов, расово резко различающихся, а это редкость. Обычно же броскими опознавательными признаками служат одежда, язык (или акцент), реже — обычаи. Никогда таковыми не служат сами по себе психический склад, динамический стереотип поведения. Обобщения наблюдений об их наличии у народа возможны, но принадлежность индивида к тому или иному этносу по ним определить нельзя.

У Л. Н. Гумилева приведен воображаемый пример: четыре одинаково одетых человека, молча, с одинаковыми газетами подмышкой едут в трамвае на работу в один институт. На деле сказать, кто из них русский, а кто немец, татарин или армянин, их соседи по автобусу не могут. Хотя сами четверо знают, кто есть кто — и не только каждый о себе самом, но и друг о друге.

Оба автора считают важнейшим общим признаком этноса самосознание (Гумилев 1970, 1: 47 - 49; Бромлей 1970: 54; 1971б 83). Л. Н. Гумилев полагает, что «тот член, который можно вынести за скобки ... это свойство вида *Homo sapiens* группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и «своих» (иногда близких, а часто довольно далеких) всему остальному миру».

И он видит свою задачу в том, чтобы попробовать «раскрыть природу зримого проявления наличия этносов — противопоставления себя всем остальным: «мы» и «не мы» (Гумилев 1970, 1: 49). Ю. В. Бромлей устанавливает, что важной «отправной точкой для всех представлений о различных видах этнических общностей в конечном счете является антитеза «мы» — «они» (Бромлей 1970: 51).

Но ведь такое самосознание и противопоставление себя другим присуще всякой реальной группировке людей: классу, партии, государственному объединению, религиозной общине, профессиональной общности и т. д. Можно даже ожидать, что у обоих критикуемых мною здесь авторов, несмотря на все их несходства, возникает ощущение антитезы «мы» и «не мы» (последнее буду представлять я), поскольку я критикую обоих и нахожу в них схожие объекты для критики. Таким образом, это качество само по себе не отличает этнос от других общностей, не является его специфическим признаком и немногим может помочь в познании сущности этноса.

Раскрывая природу указанного «зримого противопоставления» и, так сказать, продвигаясь от фактора самосознания вглубь, Л. Н. Гумилев задает вопрос: «Что рождает и питает это противопоставление?» (Гумилев 1970, 1: 48–49). Отвечая, он отвергает единство языка, культуры, идеологии, экономические связи и общность происхождения. Помимо самосознания у этноса, по Л. Н. Гумилеву, два специфических признака: «Каждый этнос имеет свою собственную практически неповторимую структуру и стереотип поведения» (1970, 1: 49; 1971б: 80).

Внутренняя структура этноса расшифровывается Л. Н. Гумилевым как «строго определенная норма отношений между коллективом и индивидом и индивидов между собой» (1970, 1: 49).

Формулировка не очень ясна (под нее вполне могут быть подведены и производственные отношения). Но судя по поясняющим примерам, речь идет об обычаях (то есть о внешних формах проявления тех же производственных отношений, быта и культура). Эти внешние формы могут быть общими на основе политической связи, религиозной общности и т. п. Как выделить те, которые определены этносом, остается неясным: для этого нужно знать, что такое этнос. Круг замыкается.

Стереотип поведения расшифровывается Л. Н. Гумилевым как «традиция и модификация социальных взаимоотношений», как проявление «сигнальной наследственности», как «высшая форма адаптации» и «преемственность цивилизации» (1970, 1: 50). Сюда входят условные рефлексy, переданные путем сигнальной наследственности и регулирующие многое в поведении человека:

«навыки быта, приемы мысли, обращение со старшими между полами» (1970, 1: 50).

Ю. В. Бромлей также придает большое значение психическим стереотипам: они составляют основу механизма воспроизводства культуры, а культура (в широком смысле, то есть включая язык, искусство, обычаи и т. д.) — это результат деятельности людей, групповые особенности которой имеют важнейшее значение для этнического размежевания (Бромлей 1970: 52). Психические стереотипы расшифровываются как «инвариантные образования человеческой психики». Они делятся на «динамические стереотипы, лежащие в основе автоматизированных элементов поведения людей (привычек)» и «стереотипы-значения» составляющие в форме «понятий», «знаний», «умений», «норм поведения» «содержание общественного сознания» (1970: 53). «Поколенная передача этого опыта осуществляется у человека в результате прижизненного усвоения, так называемой социализации личности» (1970: 53).

Но ведь подобные стереотипы — поведенческие, психические, динамические и «стереотипы-значения» — присущи опять же различным человеческим общностям. В том же номере «Природы», что и статья Ю. В. Бромлея, помещены забавные наблюдения К. Димрота о некоторых стереотипах поведения химиков (Владимиров 1970: 128). Чем же они отличаются от этнических стереотипов? Анекдотичностью? Помилуйте, мало ли анекдотов начинается с экспозиции: однажды русский, француз, англичанин и еврей ... И далее идет юмористическое обыгрывание ходячих представлений об этнических стереотипах (при этом их ставят в необычные ситуации) ...

Ю. В. Бромлей, рассмотрев вопрос о стереотипах, добавляет: «Впрочем, нередко можно встретить сетования на то, что психический склад этнических общностей практически неуловим». Что ж, есть выход: «судить об этих особенностях можно лишь на основе вторичных показателей», причем не только по овеществленным формам культуры, но и по действиям, поступкам. Но «большинство определяющих черт характера, таких, скажем, как трудолюбие, патриотизм, мужество, целеустремленность являются общечеловеческими». Следовательно, на долю этносов достаются лишь тонкие различия «в степени и формах проявления» этих черт. «Однако «замерить» и точно охарактеризовать все оттенки подобных различий далеко не просто». Ю. В. Бромлей с сочувствием цитирует И. С. Кона: «... все народы обладают чувством юмора, однако юмор их качественно различен, эти различия мы интуитивно схватываем, но выразить в строгих понятиях не умеем» (Бромлей 1970: 54, прим. 4). Действительно, еще никому не удавалось определить этническую принадлежность человека по качествам его юмора, хотя задним числом мы любим говорить, что

у англичан чисто английский юмор, а у французов — чисто французский. Нет никакой уверенности в том, что армянские анекдоты придумывают армяне, а еврейские — евреи. Одним словом, ускользает Протей.

Ю. В. Бромлей возвращается к спасительному признаку — самосознанию: «Вообще же практически этнос существует до тех пор, пока его члены сохраняют представление о своей принадлежности к нему» (1970: 54). А до каких же пор они сохраняют это представление, и есть ли у него объективная основа, более четкая и единая, чем зыбкий и практически неуловимый в отдельных представлениях этноса психический стереотип?

У Ю. В. Бромлея выдвинут на первый план в качестве определяющего свойства этноса еще один фактор — «эндогамия, то есть преимущественное заключение браков внутри определенной замкнутой в данном отношении группы». Более 90 % членов современных наций обычно вступают в однонациональные браки. «Значение эндогамии как своеобразного «стабилизатора» этноса связано с той особой ролью, которую играет семья в передаче культурной информации». Это «придает этносу характер генетической единицы — популяции», что, однако, характеризуется как побочный продукт эндогамности этноса (Бромлей 1970: 55, 1971б: 84).

Л. Н. Гумилев также придает важное значение в констатировании этносов фактору эндогамности и шире — фактору изоляции. «В сочетании с эндогамией традиция создает устойчивость этнического коллектива, в пределе превращающегося в изолят» (Гумилев 1970, 1: 50). Этнос как популяция — для Л. Н. Гумилева не одиозный королларий, а основной аспект рассмотрения.

Здесь оба автора перешли от признаков, дифференциально распределенных, к интегральным свойствам этноса (определять этническую принадлежность индивида по его выбору супруга явно неплодотворно).

Но и в качестве интегрального свойства эндогамность не может быть отнесена к *differentia specifica* этноса: другие человеческие общности зачастую не менее, а более эндогамны, чем этнос. Таковы религиозная община, каста, сословие, клан, государственно-территориальное объединение, во многих случаях даже общественный класс и политическая группировка. Понятия «морганатический брак», «неравный брак» сложились отнюдь не в межнациональных отношениях; Монтекки и Капулетти принадлежали к одному этносу.

Помимо эндогамности, какие виды изоляции могли бы послужить отличительными чертами этноса? Территориальная изоляция? Она явно выше у государственных объединений и часто выше у отдельных частей этноса (островные изоляторы, глухие районы и т. п.), чем у всей этнической общности. Изоляция культурная? Сама нуждается в объяснении этническими факторами. Одним

словом, различные виды изоляции, даже если они послужили факторами выделения конкретного этноса, не могут быть приняты за коренное отличие этноса от других общностей.

4. Специфика этноса. Не предвешая результатов широкого рассмотрения различных типов человеческих общностей, существующих в реальном мире, не предвешая результатов корреляционно-комбинаторного исследования их связей (а это очень трудоемкое дело), здесь есть смысл и возможность лишь сугубо предварительно прикинуть, какие явления с наибольшей терминологией этнической интерпретации.

Когда на практике определяется этническая принадлежность человека, то принимаются во внимание разные факторы — язык, культура, религия, гражданство, самосознание, физический тип и т. п. Вопрос прост, если они связаны сильной корреляцией и границы их совпадают. Но это в современном мире бывает редко, а в идеале (абсолютное совпадение границ) — вовсе не встречается. *При расхождении же преимущество отдается то одному фактору, то другому, то третьему.* В разных случаях по-разному. Чем же руководствуются в этом предпочтении? Руководствуются ожиданием преимущественной солидарности данного индивида с другими в соответствии с тем или другим объединяющим их признаком. В этом ожидании общество может учитывать самосознание индивида, а может и не считаться с ним, не признавая его самосознание искренним или трезвым или правомерным. Не будем задаваться здесь вопросом, кто прав: общество или индивид. Вероятно, как когда.

Но солидарность может устанавливаться на основе разных общностей признаков, в том числе — признаков, обычно не включаемых в этнические: профессиональная, классовая, партийная солидарность и т. п. Да и по признакам, включаемым в перечень этнических (гражданство, религия, физический тип, язык и т. п.), не всякий раз общность и солидарность рассматривается как этнические. Как этнические рассматриваются такие общности, которые в принципе, «в пределе», способны, обладают объективными основаниями и стремятся выделиться в самостоятельные целостные социальные организмы, и такая солидарность, которая этому способствует.

Какие это окажутся социальные организмы, менее важно — еще весьма аморфные мигрирующие орды (кочевые общества) или территориально-политические единства, автономные единицы или суверенные государства. Территориальная распыленность этноса до тех пор не идентична его ликвидации (несмотря на утрату многих признаков территориального очага, культурной традиции, языкового единства и вообще прежнего родного языка, эндогамности и т. п.), пока налицо хоть какие-то общие признаками и, главное, пока

такая возможность консолидации и выделения, пусть даже абстрактная, по каким-либо причинам сохраняется.

Но нельзя ограничиться утверждением, что этнос — это социальный организм в тенденции и в потенции, не уяснив себе, что лежит в основе этих тенденций и потенций.

5. Основа формирования этноса. Нередко социальные организмы образуются на основе сформировавшихся или формирующихся общностей, обычно не включаемых в этнические, или путем объединения нескольких этносов или части этноса (Рим патрициев и плебеев, исламское государство Пакистан, Армянская республика).

Ю. В. Бромлей (1970: 54) сделал очень ценное наблюдение, заметив что «важным компонентом этнического самосознания является представление об общности происхождения, реальную основу которого составляет общность исторических судеб членов этноса и их предков...». К сожалению, он не стал развивать дальше это наблюдение. Общность исторических судеб тоже можно понимать по-разному: можно, например, говорить с известным резонансом об общности исторических судеб международного рабочего класса. Под общностью исторических судеб этноса понимается тот факт, что, по крайней мере, в прошлом люди этой общности составляли (а в ряде случаев и сейчас составляют) целостное выделенное из всего человечества общество — социальный организм, ограниченный какими-то объективными факторами (естественные рубежи географического района, единство ландшафта или генетическое и расовое родство, административно-политическое вычленение, относительная изоляция различного рода и т. п.) и нередко внутренне связанный помимо того дополнительными факторами (экономические связи, участие в одних и тех же исторических событиях — походах, войнах, миграциях, освоениях земель и т. п.). Элементы подобной трактовки проскальзывают и в работе Л. Н. Гумилева. Так, он пишет, что «иногда коллектив (какой? — Л. К.) предпринимает титаническую работу по перестройке природы...» и, выполнив эту задачу, «коллектив, спаянный общим делом, превращается в этнос...» (Гумилев 1970, 1: 54). Здесь все донельзя упрощено, но ход мысли верен. Только в чем суть превращения?

Само существование такого социального организма с указанными признаками постепенно приводят к сложению общности ряда других явлений (языка, культуры, религии, психологического стереотипа, самосознания и т. п.) и появлению отличий по этим признаками от остального человечества.

В них не «внешняя оболочка» биологически-психологического этноядра, а содержание этноса. Пока этого не произошло, социальный организм не рас-

считается как этнос, когда же это осуществилось, этнос налицо. (Точный момент возникновения, разумеется, может быть обозначен лишь сугубо условно). Таким образом, только устойчивые, длительно существовавшие социальные организмы дают жизнь этносам.

Я не вижу никаких оснований полагать, что такие социальные организмы существовали только на стыках разных ландшафтов, где Л. Н. Гумилев мыслит единственно возможным возникновением новых этносов. Карта Л. Н. Гумилева (1970,1: 53), на которой выделены очаги этногенеза, меня поражает. Ведь все человечество поделено на этносы и нет решительно никаких доказательств, что все вышли из тех шестнадцати ареалов, которые отвел для их возникновения Л. Н. Гумилев. Неужто все этносы Сибири расселились из степного очага № 5? А все этносы Африки из районов 3 и 9? Есть на земле районы, из которых чаще исходили миграции, но не они отмечены на карте. Скорее, это произвольно дополненная карта древнейших цивилизаций, но ведь их изучение это другой вопрос.

Из-за относительной изоляции и естественной (а отчасти искусственной) эндогамности социального организма с ним оказывается сопряженной биологическая популяция, иногда — со сформировавшейся расовой гомогенностью. Эта сопряженность переходит по наследству к этносу. Но даже если этнос и популяция какое-то время совпадают в своих границах, они не становятся равнозначными по содержанию, могут далее развиваться в разных направлениях: скажем, генетический фонд пополняется больше с одной стороны, культурный и языковой — с другой. У них разные законы развития, для их изучения нужны разные методы, разные науки, а особый предмет изучения — их связь.

Таким образом, этнос с одной стороны — это социальный организм в тенденции и в потенции, а с другой — не что иное, как отпечаток устойчивого, существующего и (или длительно существовавшего социального организма в культуре (языке, искусстве, материальной культуре, религии, обычаях, обрядах и нравах и т. п.), а также в психическом складе и самосознании.

Причем в силу относительной автономности сфер культуры социальный организм может в этих разных сферах отпечататься с разной интенсивностью, разной скоростью, разной прочностью. Между этими двумя полюсами (в виде образов социального организма) простирается вся жизнь этноса и ими ограничивается. Отсутствие одного из них означает отсутствие этноса. Та общность, которая не имеет за собой социального организма — не этнос; та, которая имеет, но не отпечатавшийся как-то в культуре — еще не этнос; а которая имеет все это, но не имеет образа социального организма впереди — уже не этнос.

Из этого вытекает, что этнос — чисто историческая, социальная категория. Он связан с географической средой и биологической популяцией лишь постольку, поскольку связан с ними социальный организм.

Отказ от этого принципа в статьях обоих авторов привел, мне кажется, к тому, что дальнейшие построения Л. Н. Гумилева сильно уклонились в сторону географического и биологического детерминизма, оказались сильно уязвимыми в теоретическом отношении и шаткими с точки зрения обоснования фактами, а возражения ему со стороны Ю. В. Бромлея — не вполне последовательными и потому, пожалуй, голословными.

6. Этнос и ландшафт. Конечно, ландшафт оказывал определенное влияние на социальный организм и, следовательно, на облик этноса, но у Л. Н. Гумилева зависимость того и другого (они у него совмещены в одном понятии «этнос») от ландшафта сильно преувеличена. Возникновение новых этносов Л. Н. Гумилев ищет на стыке разных ландшафтов именно потому, что абсолютизирует адаптацию этноса к ландшафту и зависимость от него. С его точки зрения на одноландшафтной территории этнос стабилизируется, образует с ландшафтом «этноландшафтное равновесие» и новых традиций, «которые всегда знаменуют перегруппировку людей в новые этносы» (1970, 1: 54), создать не может.

Развитие производства в старом ландшафте и возможные отсюда стимулы к созданию новой традиции не предусматриваются: новые традиции, по Л. Н. Гумилеву, могут возникнуть только в новом ландшафте. Следовательно, рассуждает Л. Н. Гумилев, необходима либо перестройка ландшафта, создание искусственного ландшафта (на что способны не все народы, а лишь немногие — практиковавшие интенсивное земледелие), либо смелая миграция, переселение в новый, иной ландшафт (обычно же при миграции избирается такой же ландшафт).

То и другое характеризуется как переход из «этноландшафтного равновесия» в «динамическое состояние» (1970, 1: 54–55).

Вся схема опровергается тем простым фактом, что многие этносы обладают многоландшафтными территориями и живут в разных ландшафтах веками, не распадаясь на разные этносы без воздействия других факторов — русские в лесах, лесостепях, степях, на морских побережьях и т. д.; англичане в своих луговых lowlands (равнинах) и лесистых highlands (возвышенностях); «горные мари» и «луговые мари» и пр. Известны этносы, образовавшиеся из консолидации мелких групп в одном и том же ландшафте, без переселения в новый ландшафт (немцы, поляки, финны).

7. Возрасты этноса и пассионарность. Для перехода в «динамическое состояние», по Л. Н. Гумилеву, требовалась способность популяции к «сверхнапряжениям (*tour de force*)» (1970, 1: 55). В свою очередь, это способность обеспечивалась наличием достаточного количества пассионариев — людей со «стремлением... к крайней активности целенаправленной деятельности» по изменению окружения этнического или природного, причем достижение этой цели представляется субъекту ценнее собственной жизни и заботы о сохранении собственного потомства. «Особии, обладающие этим признаком, совершают ... поступки, которые, суммируясь, ломают инерцию традиции и дают толчок созданию новых этносов» (1970, 2: 46).

В чем же коренится пассионарность? По Л. Н. Гумилеву, «пассионарность находится не в сознании людей, а в подсознании» (1970, 2: 46), «заслуга принадлежит не их воле, а их конституции» (1970, 2: 147). Это доказывается тем, что «пассионарии» не могут удержаться от совершения губительных поступков (1970, 2: 46): сознание-де, должно было бы их удержать.

Между тем, именно инстинкт самосохранения удерживает от таких поступков, и именно сознание толкает на них. Так что «пассионарность» могла бы рассматриваться как производное не только от ослабления инстинкта, но и от идеологического напряжения общества, от воспитания и воздействия среды. У Л. Н. Гумилева же она оказывается фактором чисто биологическим. И естественно, коль скоро этнос приравнивается к биологической популяции.

Л. Н. Гумилеву нужно еще ответить на вопрос, почему же пассионариев в одних случаях оказывается много («динамическое состояние», «взрыв пассионарности», возникновение этносов), а в других — мало. То есть на вопрос о том, чем обусловлены спазматический характер этногенеза, дискретность и цикличность процесса, конечность каждого этноса (происхождение по намеченным у Л. Н. Гумилева четырем «возрастам» этноса).

Ответ дается крайне невразумительный «... пассионарность — это органическая способность организма абсорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы». Эволюционный процесс направляет свободную энергию живого вещества в сторону, обратную энтропии. Если сознательная область поведения этнических обществ (кстати, начисто отключенная Л. Н. Гумилевым от процесса этногенеза) «подчиняется закону спонтанного общественного развития», то «эмпирическая» связана с энергетическим толчками. В результате возникает пассионарное поколение, постепенно утрачивающее инерцию пассионарности из-за сопротивления среды и переходящее к реликтовому состоянию этноландшафтного равновесия» (1970, 2: 50). Это очевидно, надо понять так, что когда пассионарии уже «выдали» свою энергию

«в качестве работы», то они выдохлись или погибли, заряд израсходован, а новому поколению неоткуда «абсорбировать» свободную энергию, так как ее с избытком «абсорбировали» пассионарии. Выходит, новое поколение не может стать пассионариями — надо ждать, пока в природе накопится свободная энергия живого вещества, ждать долго (много веков). Нечто вроде закона убывающего плодородия почвы, паровой системы земледелия и т. п.

Мне кажется, что это механистическая вульгаризация и что преимущественное «абсорбирование» энергии каким-то поколением, способное превратить его в пассионариев, никак нельзя представить себе в менее отвлеченном виде, как конкретный биологический или социальный механизм.

Л. Н. Гумилев, видимо, чувствует это. Он признает, что объяснить пассионарность «мы пока можем, лишь приняв гипотезу, то есть суждение, обобщающее отмеченные факты, но не исключающее возможности появления других, более изящных объяснений...» (1970, 2: 50). Может быть, «более изящной» была бы попытка объяснить волнообразные пришествия поколений пассионариев нормальным механизмом эволюции? Пассионарии, не укореняющиеся от гибели и не заботящихся о потомстве, гибнут не оставляя потомства, обладающего генами пассионарности. Пассионарность этноса слабеет, он становится нежизнеспособным. Естественный отбор этносов должен содействовать выработке биологического механизма, согласно которому снижение пассионарности популяции ниже определенного минимума, отражаясь в эмоциях индивидов и гормональной деятельности, оказывалось бы стимулом к рождению нового поколения пассионарным. Этноты, которые развивались в направлении выработки такого механизма, получали больше шансов выжить. Мы знаем, что в военные годы рождается больше мальчиков, что у пожилых отцов чаще рождаются (или вырастают?) гении и т. п.

При такой трактовке, однако, непонятно, почему разрыв между пассионарными поколениями затягивается на многие века, почему эволюционный механизм не вступает в действие значительно быстрее. Кроме того, только входящее в другие этноты, часто именно в новые.

Это и есть генетический фонд новых этносов. Было, правда, время, когда смерть социального организма большей частью совпадала с физической гибелью популяции, и оно было чрезвычайно длительным (палеолит). Но тогда не мог сложиться механизм, срабатывающий столь затяжным образом. Словом, не получается.

Да и факты не укладываются в схему Л. Н. Гумилева. Французский этнос формировался в раннее средневековье, к XI веку основы были уже заложены, но взрывы пассионарности, пользуясь терминологией Л. Н. Гумилева, мы

должны констатировать на протяжении всей дальнейшей истории Франции: крестовые походы, Жанна Д'Арк, Ренессанс, гугенотские войны, мощь государства Людовика XIV, Великая французская буржуазная революция и наполеоновские войны, последующие революции, Парижская Коммуна, создание колониальной империи и движение Сопротивления...

Распад старых этносов чаще происходит сразу в целом ряде стран. Новые этносы вспыхивают залпами: основные этносы современной Европы ведут свою историю примерно с одного рубежа. В рамках концепции Л. Н. Гумилева это необъяснимо: разные ландшафты, разные популяции, различный генетический фон, различные запасы и расходование энергии.

Когда этнические связи слабеют, причины этого надо искать не в биологии, не в сфере подсознательного, а в появлении [природных (тектоника, климат) и] социальных событий и процессов, разрушительно действующих на население, в кризисе старых социальных связей, в социально-экономически обусловленных миграциях и т. п. А эти процессы захватывают сразу огромные территории. Массовое возникновение новых этносов совпадает именно с такими переломными моментами социальной истории и демографии стран и континентов: период военной демократии, переход от рабовладельческого строя (а в ряде стран — от первобытно-общинного) к феодализму, эпоха становления капитализма, эпоха его кризиса и крушения колониальных империй...

Этносы возникают, развиваются и исчезают. Естественно поставить вопрос о выделении этапов жизненного цикла этноса, об обнаружении у всех этносов явлений, специфических для каждого этапа. В советской литературе, кажется, до Л. Н. Гумилева не поднимался этот интересный вопрос о «возрастах» этноса. Вполне законным представляется и предложение изучить роль типичных темпераментов в сложении типичных социальных и этнических характеров, а также роль тех и других в истории. Удивляет не вопрос, удивляет применяемая Л. Н. Гумилевым методика решения вопроса. Очевидно, для объективного исследования этой проблемы требуются:

- а) выделение репрезентативных выборок в обследуемых обществах;
- б) измерение психических свойств индивидов в этих выборках;
- в) группировка этих свойств в комплексы на основе корреляции;
- г) формализация и измерение проявлений социальной активности индивидов;
- д) группировка результатов на основе корреляции (действительно ли существуют три группы: пассионарии гармоничные обыватели и субпассионарные «бродяги-солдаты»);

е) статистико-комбинаторное исследование связей выявленных групп с психическими комплексами и т. д.

Вместо этого мы находим произвольно выбранное и односторонне интерпретированные факты, находим декларативные утверждения, изложенные в стиле прорицаний, находим эклектичное соединение весьма различных теоретических принципов. Вся эта часть рассуждений Л. Н. Гумилева не напоминает серьезные естественнонаучные исследования, хотя автор и подчеркивает, что старается подойти к изучению этноса как естествоиспытатель. Впрочем, в гуманитарных исследованиях тоже есть традиции более строгой методики.

По странной иллюзии, солидному ученому и опытному полемисту Л. Н. Гумилеву кажется, что стоит лишь высказать блестящие идеи и указать на некоторые яркие факты, чтобы все увидели их в том же свете, что и автор идей. О «пассионарности» он пишет «и самое курьезное, что эффект, порождаемый этим признаком, видели и видят все люди...» (1970, 2: 46). Пожалуй, это все-таки не самое курьезное.

3. Определение этноса

Критический обзор советских концепций

[Эта статья также не была опубликована. Я подготовил ее в черновом виде в 1975 г., когда дискуссия в «Вопросах истории» казалась возможной, а кроме того, подключил эту тему к решению вопроса о возможности этнического определения археологической культуры. Здесь я это приложение убираю, так как это другой вопрос, подробно освещенный в моей «Археологической типологии» (Клейн 1991.)]

Понятие этноса разрабатывалось в советской науке, как ни в какой иной. К настоящему времени в ней существует несколько концепций этноса.

1. Комплексная (начетническая). Ее исходный пункт — каноническая в советской науке (сталинская) дефиниция-нации. Сталин определял нацию как устойчивую, исторически сложившуюся общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Итого семь признаков. Нация рассматривается советскими обществоведами как разновидность этноса (то есть как этнос капиталистической эпохи). С принятием этого исходного положения дефиниция этноса может быть вычислена из дефиниции нации. Всякая дефиниция логически образуется указанием более общего понятия (родового) и частных (видовых) признаков

определяемого объекта. Этнос — это нация минус частный признак, наложенный капиталистической эпохой. Этот частный признак — экономические связи (Каммари 1949).

Таким образом, по этой концепции этнос подтягивается к нации, сильно ей уподобляется: это очень прочный и длительный реальный социальный организм — с биологическим воспроизводством и нормальной демографической структурой, которая обеспечивает единство ряда признаков: языка, территории, экономической жизни (если не связей), психического склада, общность культуры. Таково еще и сейчас понимание Генинга (1970).

Между тем, общественные события 1950–1960-х гг. (смерть Сталина и падение «культы личности», хрущевская «оттепель») подорвали авторитет канонической дефиниции нации и вытекавших из нее логических рассуждений. В дискуссии 1966–1967 гг. (Рогачев и Свердлин 1966; Калтахчян 1966; Семенов 1967; Козлов 1967 и др.) один за другим были испытаны все канонические признаки нации, и оказалось, что ни один невозможно однозначно сформулировать, а в реальности он не присущ ни одной очевидной, общепризнанной нации (Козлов 1967).

Вот для другой общности эти признаки действительно характерны — для «социального организма». Социальный организм — понятие, введенное в науку Ю. И. Семеновым (1966) и означающее конкретное общество, способное существовать и существующее независимо от других, способное обеспечить и отстоять себя, то есть обладающее достаточными для этого территорией, народонаселением и структурой (со всеми классами и слоями).

В сущности, сталинская дефиниция нации выведена из сугубо современной политической действительности. Те общности, которые выделены особыми экономическими и другими связями и претендуют на образование самостоятельных государств, суть нации. Те, которые не претендуют, — не нации. Нации не начинаются с буржуазной революции, протонации существовали и раньше, как бы их ни называть.

Исследовательская стратегия сделала поворот на 180°: теперь мысль шла не от дефиниции нации к определению этноса, а от этноса к нации (Козлов 1967).

2. Одноплановые концепции. Отход от такой установки побудил открыть глаза на этническую реальность — нет такой жесткой связи разных этнических признаков непременно внутри одного социального организма. Тот или иной признак может отсутствовать. А могут ли отсутствовать два признака? Ну, если каждый из них может, то и два сразу могут. А три? И т. д. В пределе это

ведет к выделению одного признака, которым и должен определяться этнос. На этот логический путь вступили некоторые исследователи. У одних этот признак — общность языка (Агаев 1968), у других самосознание (Козлов 1967), у третьих культура (Чебоксаровы 1971; Артамонов 1969; 1971). Это, собственно, лишает термин «этнос» смысла и превращает его в дубликат других терминов (ведь понятие, оказывается, одно).

3. Описательная (идиографическая) концепция. Исследователи пытались приспособить понятийный аппарат к отражению исторического процесса в его многообразии общностей (Дьяконов 1958; Токарев 1964; Лашук 1967; Белявский 1967; Воробьев 1967). Одни стали противопоставлять этнос нации как генетически предшествующий тип общности — совершенно иной природы, с другими признаками: общность религии, общность происхождения. Другие, не исключая нацию из видов этноса, старались выделить признак, чуждый ей, но очень важный для этноса в целом, например, общность происхождения (Шелепов 1968).

В этой концепции дефиниция тоже сводится к минимуму признаков, в пределе — к одному.

4. Комбинационная или политетическая концепция. В этой концепции принято мнение, что из большого количества признаков этноса ни один не является всеобщим и достаточным (Токарев 1964), а требуется некое сочетание ряда признаков. Оно может быть разным, но непременно большой набор. Однако в этом случае совокупность этносов получается диффузной, а критерий принадлежности каждой конкретной общности к этническим окажется неясной.

В итоге разработки всех этих концепций становилось всё более ясно, то исходить нужно из общей классификации человеческих групп, обществ и из потребностей дифференциации изучения человечества в разных аспектах — историческом, биологическом, географическом, экологическом, языковом, культурном, политическом и т. д. В этом многоаспектном изучении обратили внимание на остаток, который не укладывается в другие аспекты, но многое в них определяет и требует особой науки — этнографии.

5. Популяционная концепция. Первым эту концепцию выдвинул не признаваемый этнографическим истеблишментом Гумилев (1965–1973), затем с его критикой (дискуссия в журнале «Природа» в 1970–1971 гг.) выступил глава советской этнографии Бромлей (1970, 1973), который, однако, предложил нечто мало отличающееся от концепции Гумилева.

По Гумилеву, правда, этнос — не социально-историческая, а природная категория, биогеографическая. Бромлей не приемлет таких деклараций. Но суть концепций этим не задевается.

Этнос для Гумилева определяется больше всего по стереотипам поведения, а они передаются традицией, воспитанием. Но вырабатываются эти стереотипы первично (формируя этнос) под воздействием определенного ландшафта и неких космических сил, воздействующих на людей. Они воздействуют так, что в этом ландшафте в определенное время рождается необыкновенно много *пассионариев* — страстных и энергичных личностей, создающих все новации и увлекающих всё население за собой. Таким образом, число пассионариев зависит от естественной регуляции энергии, таинственно связанной с состоянием ландшафта. Чтобы сохранить эти традиции, необходимо блюсти *эндогамию* (совершать браки только внутри этноса, избегать смешанных браков, вообще сторониться инородцев). Это этноландшафтный вариант концепции.

Бромлей согласен, что эндогамия — необходимый стабилизатор этноса, барьер на пути его разрушения, и, хотя он критикует Гумилева за декларативное приравнение этноса к популяции, сам он, упирая на эндогамию, делает то же.

Но он подходит к рассмотрению этноса государственно: видит в нем два вида общностей — привязанную к территориально-политическим формированиям и сконцентрированную в личностях. Первая — это этнос в широком смысле (Бромлей назвал ее *этносоциальным организмом*, сокращенно *эсо*), вторая — этнос в узком смысле (Бромлей назвал ее *этникосом*). Эсо характеризуется теми признаками, которые установимы только интегрально, в целостном обществе, но могут и не проявиться в каждой личности по отдельности — общая территория, экономика, государственность, та же эндогамия. Этникос более живуч: он характеризуется именно дифференциальными признаками — личными у каждой личности и установимыми даже в диаспоре (рассеянии): владение конкретным языком, психический стереотип поведения, физические генетически наследуемые черты. Но как раз интегральные качества этноса легче теряются.

Нетрудно сообразить, что к общему понятию этноса (то есть к тому, что вне государственного и политического аспекта) ближе этникос, чем эсо. А этникос оказывается связан узким пучком признаков, среди которых психические стереотипы и генетические черты — очень всё это близко биологии. Это этносоциальный (новосоветский) вариант концепции.

В обоих вариантах важное место отводится эндогамии и психическим стереотипам поведения. Для обоих вариантов характерна биологизация

этноса, ослабление исторического смысла понятия и выпячивание индивидуальных черт.

б. Социопсихологическая (социопроективная) концепция. Она раскрывает секрет той аморфности этноса, которую подметил еще Каутский (1908), когда говорил, что этнос подобен Протею, всё время меняющему свое обличье. Для инициаторов этой концепции, Козлова (1967–1971) и Чистова (1972), главным признаком этноса является этническое *самосознание*, что я поправляю на просто *сознание* (потому что важно не только мнение самого субъекта, но и суждение окружающих). А самосознание и сознание выдвигают на первый план *убежденность в общем происхождении*. Это, конечно, субъективное мнение об общности, пусть и коллективное. Для подтверждения этой общности привлекаются объективные признаки — то один, то другой, то их некая совокупность. В принципе, возможно любое сочетание. Таким образом, по этой концепции, этнос — категория не социологии или истории, а прежде всего *социальной психологии*. Концепция эта очень приближена к демографической практике — критериями в ней служат ведь самые разные признаки.

Для самих обследуемых в определении этнической принадлежности также важен психологический фактор — чувство *солидарности* с людьми своего этноса. И важны они не только для определения своего этноса, но и чужого. Это значит, важно не только то, какую солидарность человек чувствует, но и какую солидарность от него ожидают (основываясь на некоторых объективных критериях). Это деление на потенциально «своих» и потенциально «чужих». Объективируются эти чувства в социальных отношениях, идеологических декларациях, политических акциях.

Существенно (и это также мой вклад в социопроективную концепцию), что не всякая солидарность является этнической. Есть ведь классовая, профессиональная, возрастная, половая и прочая солидарность, солидарность по другим критериям. Отличение этнической солидарности от других видов солидарности как раз и определит суть этноса. Этническая солидарность — это такая, которая направлена на создание, поддержание или возрождение социального организма (в идеале — государства). Этнос — это либо отражение существующего социального организма в сознании и быте людей, либо отпечаток некогда существовавшего социального организма и прообраз будущего социального организма, так сказать, *социальный организм в тенденции и в потенции*.

Таким образом, этнос определяется по-разному. Но сейчас, с моей точки зрения, всё больше выясняется основательность социопсихологической концепции этноса. В ней этнос рассматривается как общность, основанная на любых объективных признаках и осознаваемая как общность происхождения,

что способно вызвать в членах общества чувство солидарности, и окружающие это представляют именно так. В прошлом, настоящем или будущем этнической общности вырисовывается социальный организм — общество, способное существовать отдельно и независимо от других.

Этносы стремятся влиться в государственные формы. Это им видится идеальным соответствием. Но у них это не всегда получается. В реальности силы этносов неравны, и многим этносам трудно добыть и сохранить свою государственную форму. То форма разрушена, то в одной форме (насильственно или добровольно) оказывается несколько этносов, то один этнос разорван на несколько форм. Диалектика метаний этнических элит между идеалом и реалистичной рациональностью составляет изрядную часть содержания международной политики и всемирной истории.

4. 'Этнос' и 'культура' на Ереванском симпозиуме 1978 г.

[В своих выступлениях на Ереванском симпозиуме 1978 года я использовал свои заготовки, в том числе представленные как статья, предшествующая данной в сборнике. Поскольку я уже давно сотрудничал с восточно-германским (ГДР) журналом «Этнографиш-Археологише Цейтшрифт», я получил из редакции приглашение рассказать читателям об этом симпозиуме. Это было тем более интересно, что в ГДР господствовал гораздо более жесткий, чем у нас, идеологический контроль над наукой, и разногласия по существенным вопросам не допускались — всё подчинялось указаниям, спускаемым из ЦК. А у нас была более свободная атмосфера, и на симпозиуме шли споры о фундаментальных понятиях.

Когда я побывал в 1970 г. в ГДР, Ирмагд Зельнов, возглавлявшая тогда этнографию ГДР, спросила меня, как в СССР трактуют Энгельса — понятие военной демократии. Я начал отвечать, что одни ученые рассматривают это так-то, другие так-то. «Нет, — прервала меня дама, — я не спрашиваю о личных мнениях. Меня интересует официальный взгляд — что является правильным, на что нужно ориентироваться». Я отвечал: «Ну, есть ведь спорные вопросы в науке. Полемика позволяет выявить возможности трактовок и выбрать из них наиболее вескую, да и это не всегда возможно. А разве у вас не так?» — «Нет, — вежливо, но жестко сказала дама. — Это привело

бы к разброду и шатаниям. Если возникает неясность в трактовке, мы звоним в ЦК, получаем разъяснение, и тогда уже разрабатываем одну единую точку зрения».

Так что я хорошо представлял себе, каково моим друзьям в ГДР заниматься наукой. Заманчиво было хоть немного помочь немецким коллегам и расшатать «монолитное единство» казенной идеологии примерами от «старшего брата». Единственное, что пришлось замаскировать, это критику канонической сталинской теории нации — критику я, правда, оставил, но имя Сталина пришлось убрать. Пришлось также несколько пригасить уравнение концепции академика Бромлея (раз он директор головного Института, значит это «официальный взгляд») с концепцией неонакратно репрессированного Гумилева.

В своем сообщении о дискуссии на симпозиуме я использовал свои черновые заметки, помещенные здесь перед этим сообщением, несколько их переработав. Поскольку русский оригинал моего текста утрачен, пришлось сделать обратный перевод с немецкого текста (Klejn 1981). Для большей ясности я вставил в квадратных скобках заглавия разделов. Раздел, посвященный концепциям культуры, я убираю из этого текста, поскольку тематически он более интересен для книги о культуре, куда я его и помещаю (см. Клейн: книга еще не напечатана).]

[1. Симпозиум и доклады.] «Методологические проблемы исследования этнических культур» — такова была тема симпозиума, созданного в Ереване 17–18 апреля 1978 г. Его проведение взяли на себя три учреждения: Институт этнографии Академии наук СССР, секция теоретических проблем истории культуры при Научном совете по истории мировой культуры Президиума Академии наук СССР и сектор системных исследований Института философии и права Академии наук Армянской ССР. Во главе двух последних учреждений стоит известный советский философ и культуролог Э. С. Маркарян. Симпозиум создан по его инициативе, и он возглавил оргкомитет.

За огромным круглым столом в купольном зале Армянской академии наук собрались ученые из разных городов: из Москвы прибыли историк и этнограф акад. Ю. В. Бромлей, этнографы Г. Е. Марков, С. А. Арутюнов, М. А. Членов, археолог и этнограф А. М. Хазанов; из Ленинграда — философ И. С. Кон, этнографы и фольклористы К. В. Чистов и Б. Н. Путилов, а также археолог Л. С. Клейн;

из Таллина этнограф А. О. Вийрес; из Ташкента философ Э. С. Абрамян, из Цхинвали (Грузия) этнограф А. И. Козаев. Ереван представляли Э. С. Маркарян и его специализирующиеся по культурологии сотрудники и ученики К. С. Сарингалян, А. М. Гулян, Э. Л. Мелконян, далее этнограф Ю. И. Мкртумян и археолог Г. Е. Арешян. Не смогли приехать, но были представлены своими докладами философ и искусствовед М. С. Каган из Ленинграда и искусствовед Б. М. Бернштейн из Таллина. В заседаниях приняли участие директор Института философии и права Армянской науки ССР И. А. Таманян, языковед С. Р. Вартазарян, этнограф В. Р. Кабо из Москвы и др.

Представленные 20 докладов не зачитывались в заседаниях, так как уже предварительно были изданы небольшим томиком (Методологические проблемы 1978), к сожалению, очень маленьким тиражом (300 экземпляров).

Пять докладов касались методологических предпосылок исследования этнических культур, а также общих понятий. В докладе Э. С. Маркаряна об исходных методологических предпосылках, проводится идея, что «понимание культуры как специфического способа человеческой деятельности, способа существования людей, имеющего конечную адаптивную и негантропийную природу», может послужить ключом к решению многих проблем. «Ведь что представляют собой, — пишет он — этнические культуры как не особые исторически выработанные способы деятельности, благодаря которым обеспечивалась и обеспечивается адаптация различных народов к условиям окружающей их природной и социокультурной среды» (с. 8–9).

В противоположность Л. Н. Гумилеву Маркарян придерживается взгляда, что отличие такой адаптации от действующей в животном мире состоит в том, что здесь адаптивный эффект по своей природе и своим корням нацелен на внебиологические цели. В связи с передвижкой центра тяжести с естественных органов на органы-посредники (орудия) внегенетически программируемая социально организованная деятельность людей приобрела огромную внутривидовую пластичность. Эволюция здесь фиксируется не генетической программой, а культурными традициями. Маркарян размышляет о значении изучения «генерализирующей индивидуализации».

В докладе Б. Н. Путилова об историко-типологическом сравнении этнических культур исследуется значение исторических законов развития. Э. Л. Мелконян, который развивает положения Э. С. Маркаряна о сравнительном изучении этнических культур, различает общеисторическую типологию и локальную историческую типологию. Мелконян упрекает археологов за сужение смысла термина «тип»: культуры и признаки — это тоже типы (или типологические понятия).

В докладе Г. Е. Маркова предпринята попытка истолковать понятие «образ жизни» как «совокупность типических условий жизни, норм и форм жизнедеятельности, взаимоотношений людей, отношения общества к окружающей среде» (с. 17) и проследить его отношения с понятиями «этнос», «культура» и социально-экономическая формация». А. И. Козаев занимается взаимоотношениями понятий «этническое» и «социальное».

Ряд докладов посвящен членению этнической культуры на компоненты и раздельное исследование этих компонентов как выражений этнической специфики. В очень общей форме эта проблема очерчена Ю. И. Мкртумяном в его докладе «Основные компоненты культуры этноса». Состав этнической культуры рассматривается Мкртумяном в двух планах — структурном и генетическом. Предложенное им структурное деление таково: культура первичного производства, культура жизнеобеспечения, соционормативная культура и гуманитарная культура.

И. С. Кон указывает на возможности характеризовать этнокультурную специфику любого народа на основании того, каким этот народ представляет себе образ человека (имплицитная теория личности). Сюда принадлежит аналитическое выделение и сравнение отдельных личностных черт — «дескрипторов» (морально-психологических особенностей), концептуализация картины Я как социальной установки (которая касается уровня самоуважения, устойчивости, целостности и пр.). Близкую, хотя и более специальную тему затрагивает А. М. Гулян в докладе «Система личных знаков в этнической культуре». Другие докладчики касались выражения этнической специфики в материальной культуре (А. О. Вийрес), в фольклоре (К. В. Чистов) и в художественной культуре (М. С. Каган).

Хотя доклад Б. М. Бернштейна озаглавлен «Выражение этнической специфики в этнической культуре», его было бы логичнее отнести к группе тех докладов, которые нацелены на исследование этнокультурных традиций: Бернштейн доказывает в своем докладе, что «В традиции не обязательно входит всё, что хранится в памяти культуры»; он подчеркивает структурность традиции (с. 55) и различает традиционалистские, канонические и динамические культуры.

Общим проблемам исследования традиций посвящен второй доклад Э. С. Маркаряна «Культурные традиции и задача дифференциации ее общих и локальных проявлений». Маркарян сравнивает традиции с генетическими программами, инновациями, с мутациями и рекомбинациями генов и т. д., далее с «прототрадициями» зоологического вида. Э. Г. Абрамян исследует инновацию и стереотипизацию как механизмы развития и различает стандартизацию как

особую форму стереотипизации, при которой стандарт превращается в продукт особого производства, производства стандартов.

Предметом доклада К. С. Сарингулян является ритуал системы этнической культуры. Признаки ритуальной коммуникации Сарингулян видит в слиянии адресатора и адресата, в высокой степени стереотипизации, в несовпадении реального и мотивируемого адресата и в символическом характере коммуникации. Функции ритуала состоят в свою очередь в адаптивном взаимодействии этносоциального организма и природной среды, в этнической консолидации и межэтнической дифференциации, регуляции межэтнических социальных отношений, аккумуляции и диахронной передаче этносоциального опыта.

С. А. Арутюнов исследовал механизмы усвоения нововведений, различая возникшие на месте и иноэтничные. Свой доклад А. М. Хазанов посвятил специально восприятию и усвоению внешних импульсов, исследуя условия такого восприятия (при государственном обособлении этноса, при его расчлененном существовании и т. д.). М. А. Членов рассматривает зависимость этнических процессов (особенно освоения инноваций) от степени прочности норм (особенно в брачных системах, экзогамии и эндогамии). Два доклада (Г. Е. Арешьяна и Л. С. Клейна) разбирали возможности археологии в решении проблем этногенеза.

[2. **Дискуссия.**] Можно распознать, что намерениями организаторов было предусмотрено тематическое дублирование докладов: каждой теме посвящено по меньшей мере два доклада. Этим была создана хорошая предпосылка для столкновения мнений и для оживленной дискуссии. Поскольку доклады не оглашались и их было слишком много, чтобы можно было обсуждать их в деталях, дискуссия не придерживалась подробного сравнения и обсуждения текстов докладов, а отвлекаясь от прямого следования им, развивалась по некоторым общим темам. Доклады же служили отправными пунктами, изложившими предварительно позиции ряда участников, так что не нужно было эти позиции заново объяснять и можно было просто ссылаться на тексты. По предложению Ю. В. Бромля первое заседание было посвящено уточнению общих понятий (особенно «этноса» и «культуры»), второе — составу этнической культуры, третье — ее функционированию в статике и динамике, а четвертое — методам исследования и наметке программы дальнейших исследований.

Дискуссия была чрезвычайно интересна и богата неожиданными поворотами предмета, открывающими новые ракурсы, и обогатила каждого участника ценными идеями. Это был действительно дружеский и исполненный взаимного уважения спор, плодотворный обмен мнениями. Стенографическая

магнитофонная фиксация или хотя бы протокол дискуссии, однако, не были предусмотрены. В продумывании результатов каждому участнику приходится полагаться на свои личные заметки и память, так что каждое изображение дискуссии неизбежно будет нести субъективный оттенок. Вместо того чтобы передавать здесь ход дискуссии, придется ограничиться передачей собственных впечатлений о ее общих тенденциях и результатах и некоторыми представлениями о затронутых проблемах.

[3. **Культура.** Раздел о культуре здесь опущен и перепечатан в другом моем сборнике. В нем был представлен краткий обзор выдвинутых советскими учеными концепций культуры и дефиниций этого понятия.]

[4. **Этнос.**] Относительно этноса в советской научной литературе также выдвинуто несколько концепций. В отличие от понятия культуры, которое издавна разрабатывалось в зарубежной литературе, европейской и американской, «этносом» всесторонне занимались преимущественно советские исследователи, так что вопрос об отличиях советских концепций от зарубежных здесь менее значителен. Здесь важнее представить отличие современных представлений от прежних.

[1. **Традиционная концепция.**] Для *традиционного* способа определения этноса отправным пунктом служила известная каноническая дефиниция нации. Этнос рассматривался как общее, родовое понятие по сравнению с нацией как частным, видовым, так что для дефиниции этноса требовалось ограничение наличной дефиниции нации — изменение или исключение некоторых ее признаков — специфических для нее (Каммари 1949). Исследователи подсознательно старались сильно уподобить этнос нации. Это ограничивало кругозор и вело к тому, что этнос рассматривался как непременно прочный и устойчивый «социальный организм» с биологической воспроизводимостью и демографической структурой, которые гарантировали и связывали общность: языка, территории, экономической жизни и т. д. Такая трактовка встречается еще и сейчас (Генинг 1970; Пименов 1975), но уже не господствует.

[2. **Одноплановые концепции.**] Отказ от такого уподобления, сопряженный с учетом многообразных форм общностей в этнографической реальности, вел к тому, что из канонического состава признаков выступили на первый план те, которые не связаны границами социального организма. Это общность языка и культуры. Этот ход мышления от нации как вида к этносу как родовому понятию ведет в пределе к отказу от обязательного сочетания ряда равно необходимых признаков, к вычленению некоторых из этих признаков как важнейших, или даже достаточных. Такими были объявлены культурная

специфика (Чебоксаров 1967; Чебоксаров и Чебоксарова 1971; Артамонов 1969; 1971а) или язык (Агаев 1968). Это, однако, лишает понятие «этнос» его собственного смысла и превращает его в синоним, в дубликат других понятий: культурной общности, языкового ареала и т. д.

[3. Этноисторические концепции.] Другой путь от понятия нации к понятию этноса избрали исследователи, которые стремились приспособить понятийный аппарат к отражению исторического процесса с его многообразием форм общностей (Дьяконов 1958; Токарев 1964; Лашук 1967; Белявский 1967; Воробьев 1967). В этих попытках они стремились либо противопоставить этнос нации как генетически предшествующее явление, обладающее совершенно иными признаками, либо, не исключая нацию из видов этноса, противопоставить ей предшествующие как обладающие дополнительными признаками, которыми она не обладает, но которые очень важны для понимания этноса как целого. В первом случае дефиниция этноса ограничивается несколькими признаками, отсутствующими в канонической дефиниции нации (общность религии, общность происхождения), а в пределе — одним из этих признаков. Во втором случае нужно либо признаки, отсутствующие в канонической дефиниции, распространить и на нацию (Шелепов 1968), что ведет к преувеличениям (Марков 1970), либо выделить признаки, которые общи для нации и предшествующих форм этноса.

[4. Политетическая концепция.] Можно ли найти много таких признаков? К тому же сужение состава дефиниции к такому минимуму означало бы ненужную дублировку понятий. Для избежания этого была предложена *политетическая* дефиниция: из большого числа признаков ни один не является общезначимым или достаточным, [однако требуется наличие нескольких признаков в свободном сочетании — возможно одно или другое или третье] (Токарев 1964). Такая дефиниция, однако, на практике очень трудно применима: критерий принадлежности конкретных общностей остается неясным.

Эти исследования, однако, расшатали и подорвали каноническую дефиницию нации. В спорах 1966–1967 гг. (Рогачев и Свердлин 1966; Джунусов 1966; Калтахчян 1966; Горячева 1967; Семенов 1967; Козлов 1967; Дроздов 1968) все признаки канонической дефиниции были испробованы один за другим, и оказалось, что ни один из них — ни общность языка, ни общность территории, ни экономическая связь, ни особый психический склад или культурная общность — ни по отдельности, ни все вместе не являются однозначно применимыми ко многим несомненным, общепризнанным нациям (Козлов 1967).

Обозначилась другая общность, для которой сочетание некоторых из этих признаков действительно требуется — это «социальный организм» (Семенов

1966). Стратегия исследований сделала поворот на 180°: не от дефиниции нации к определению этноса, а сначала охарактеризовать этнос, а уж затем, исходя из него, ограничить нацию как его разновидность (Козлов 1967).

При определении этноса советские исследователи исходят теперь не из дефиниции нации, а скорее из общей классификации человеческих групп (общностей) и потребностей дифференцированного изучения человечества в различных аспектах — историческом, биологическом, географическом, экологическом, языковом, культурном, политическом и т. д. Исследователи направляют особое внимание на «костаток», который в другие аспекты не попадает, но еще многое в них определяет, и который требует для своего исследования особой науки — этнографии.

[5. Популяционная концепция.] Всего яснее и последовательнее и в то же время всего обозримее выразил этот новый подход Ю. В. Бромлей (1973). Его концепция встретила широкий интерес. Он установил односторонность и ограниченность, концепций, бытовавших доселе, которые общую категорию — «этнос» — приравнивают то к жестким системам — нации или даже социальному организму, то к очень свободным общностям типа языковой или культурной. Ю. В. Бромлей поставил себе целью разрешить эти внутренние противоречия. По его концепции нужно отличать *этносоциальный организм* (этнос в широком смысле), который сопряжен с территориально-политическим выделением, от *этникоса* (этноса в узком смысле) — некоей субстанции, которая свойственна каждой части этноса, даже таким частям, которые живут в чуждой социальной среде. В этом втором смысле основными признаками этноса должны считаться наиболее устойчивые признаки вышеназванного «остатка», а самыми постоянными — те, что при микромиграциях и при территориальном рассеянии этноса сохраняются дольше всего: *психические стереотипы*. Стабилизирующим фактором и диагностическим признаком этноса тогда выступает *эндогамия*, которая препятствует микромиграциям (Бромлей 1968; 1970а; 1970б; 1971а; 1971б; 1972; 1973).

Сила этой концепции, наиболее широко разработанной по сравнению с другими, состоит в учете большого многообразия группировок и в легком использовании, в практической применимости. Но между этносом и этникосом оказывается щель, которую трудно перекрыть. Далее, как раз интегральные свойства этноса при этом определении упускаются — те, которые у каждого индивида в отдельности выступают не обязательно и при микромиграциях вполне естественно пропадают в первую очередь. Чем ближе признаки биологическим свойствам, тем живучее они оказываются в таких обстоятельствах.

[6. Популяционная концепция, этноландшафтный вариант.] Стоит только абсолютизировать эти черты концепции — и она логически ведет в этом направлении дальше и доходит до крайности, приводя к биологизации этноса, к ограничению его исторического значения и к переоценке индивидуальной роли его выдающихся членов. Тут мы получаем вроде бы иную концепцию, которая в реальности существует, противостоя умеренным высказываниям Ю. В. Бромлея. Она была выдвинута еще раньше с других исходных позиций Л. Н. Гумилевым (1965; 1967а; 1967б; 1970; 1973).

Столкновение двух концепций [или, скорее, двух вариантов одной концепции] было предметом дискуссии 1970–1971 годов в журнале «Природа». В понимании Ю. В. Бромлея этнос — социально-историческая категория, для Л. Н. Гумилева же — биогеографическая. *Популяционный характер* этноса у Бромлея — побочный продукт социально-экономических отношений, для Гумилева же — основа этноса и отправной пункт всех рассуждений. Отличительный критерий этноса по Гумилеву — это крайняя степень *эндогамии* — изоляция, а главный признак этноса, как и у Бромлея, *психический стереотип*, возникающий, однако, не на основе социально-исторических условий, а при приспособлении к природной среде.

Движущая сила этноса у него состоит из выдающихся личностей, упорных и страстных, «пассионариев». Когда их количество убывает, этнос чахнет. Их число зависит от каких-то природных регуляторов энергии, которые связаны с определенной географической средой, с соответствующим ландшафтом. За Гумилевым можно признать ту заслугу, что он первым в советской науке взглянул на этнос как на популяцию, но, к сожалению, он зашел слишком далеко и впал в крайность, абсолютизовав и преувеличив этот способ рассмотрения. В его концепции интересна идея выявить автономные циклы и ритмы в развитии этноса, но попытка всё вывести из биогеографических факторов не выдерживает критики (Артамонов 1971б; Козлов 1974).

[7. Социопсихологическая концепция.] Еще одна современная концепция яснее всего сформулирована В. И. Козловым (1967а; 1967б; 1969а; 1969б; 1970; 1971), а некоторые ее аспекты другим путем развил Чистов (1972). Эта концепция видит в этносе прежде всего категорию исторической психологии. Соответственно этой концепции (а на практике это уже давно признано) наиболее существенным этническим показателем является национальное самосознание. Этнические связи — это особый вид психологических связей, в основе которых лежат как объективные, так и субъективные факторы. Этническое самосознание выдвигает на роль этнического признака то один из

объективных всеобъемлющих факторов, то другие, а осмысляет эту общность обычно в форме убежденности в общем происхождении.

Трактовку этнического самосознания как одного из важнейших этнических показателей можно найти уже у С. М. Широкогорова (1922; 1923а; 1923б), и она была специально разработана П. И. Кушнером (1949; 1951). Практически она была признана более или менее признана представителями всех остальных концепций 60-х годов. Но только в этой концепции ее положили в основу дефиниции. Эта концепция сумела успешно разрешить загадку «аморфного состояния» этноса, которая отмечалась многими авторами — от К. Каутского (1908: 4) до М. И. Артамонова (1971б: 76). Ведь впервые выявлена причина, по которой разные объективные факторы вообще могли выступать как диагностические признаки этноса, то один, то другой, то еще какие-то, порознь и в разных сочетаниях. Впечатляет и близость добытой дефиниции к демографической практике.

На Ереванском симпозиуме у меня возникло впечатление, что этой концепции суждено приобретать всё большее признание. Высказывания (Чистов), которые основаны на ее представлениях, не находили возражений, тогда как другие концепции при обсуждении не выглядели привлекательными. Мне кажется, что намечаются также возможности интеграции обеих влиятельных концепций — «популяционной» (в ее умеренном, «социально-историческом» варианте) и «психологической» концепции. Взаимное понимание покоится на том, что представители всех концепций теперь уже все признают значительную роль самосознания как этнического показателя и что представители психологической концепции признают необходимость объективных факторов для возникновения этнического самосознания. По-видимому, в качестве основы интеграции может служить старое, но недооцененное предложение С. А. Токарева (1964) различать среди факторов те, которые лежат в основе возникновения этноса, и те, которые свидетельствуют о его существовании и являются опознавательными признаками.

У меня, однако, впечатление, что для включения в такую интеграцию психологическая дефиниция этноса нуждается в известном преобразовании. Концепция В. И. Козлова имеет свои слабости. В ней роль субъективного фактора оказывается столь значительной, что конкретные микродиагнозы отданы произволу индивидов. В этой концепции этническое самосознание рассматривается как простая сумма индивидуальных самосознаний. Получается разрыв между объективной основой для образования этноса и ее выражением в психике; причины отбора признаков для этнического самоосознания определенным сообществом остаются неразъясненными. По-видимому, нужно переместить

центр тяжести всего комплекса из сферы индивидуальной психологии в сферу социальных представлений.

На практике при этническом определении даже индивидов исходят не столько из их самосознания и самоназвания, не столько из их индивидуальных изъявлений солидарности, сколько из того, какую реальную солидарность общество от них ожидает, учитывая их определенные качества, важные в соответствующих обстоятельствах. То есть из того, чего среда, соседи, мир от них ожидает; потенциальные «свои» и потенциальные «чужие». Этническое самосознание есть только отражение этого «общественного мнения», социального сознания, которое объективируется в социальных отношениях, политических действиях, идеологических декларациях. В нем отражается корреляция культурных признаков индивида с его социальным положением, его связями и возможностями.

При этом подразумевается не любая солидарность (мы знаем ведь и классовую, профессиональную, возрастную и прочую солидарность), а лишь такая, которая направлена на создание, поддержание, возрождение (соотв. сохранение возможности возрождения) социального организма. Этнос — это с одной стороны отпечаток социального организма (существующего или исчезнувшего) в культуре (в частности языке и сознании), а с другой стороны, это социальный организм в тенденции и потенции. Пока отпечаток (этнос) еще не возник, социальный организм еще не стал этносоциальным, а когда социальный организм исчез, его отпечаток (этнос) уже стал этникосом. В этой динамике и заключается его единство. Конечно, предложенная «социопроективная» концепция нуждается в дальнейшей доработке.

Прошедший в Ереване симпозиум прояснил своим участникам современное состояние проблем и указал пути дальнейшей работы.

5. Этика этногенетики

Горькие мысли «привередливого рецензента»

об учении Л. Н. Гумилева

[В статьях предшествующих лет, критически рассматривая отечественные концепции этноса, я не раз включал в них и концепцию Л. Н. Гумилева. Но к рубежу 80-х и 90-х годов этого сугубо научного разбора оказалось уже недостаточно. С одной стороны, Гумилев из гонимого ученого превратился в популярнейшего, взыскуемого СМИ трибуна, обладающего огромным влиянием на массы. С другой стороны, в его концепции всё более стали проявляться черты крайнего шовинизма, антисемитизма и вообще реакционные политические взгляды. Пропаганда этой концепции стала опасной. Я решил выступить с подробным и популярным разъяснением такой своей оценки этих взглядов и трактовок истории.]

В 1989 г. как раз вышло новое, впервые солидное, университетское издание основного теоретического труда Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», до того лишь депонированного в 1979 г. и распространявшегося копиями по заказам. В том же 1989 г. вышел и труд Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь», где антисемитская настроенность выступила особенно откровенно. На это многие обратили внимание. Но мало кто замечал, что основы

этого мировоззрения изложены, по сути, в старом труде «Этногенез и биосфера Земли», лишь переизданном в 1989. К 1990 г. я написал статью с критическим анализом этой книги и принес ее в редакцию журнала «Нева», не раз меня печатавшего и тогда еще выходившего более чем сотысячным тиражом. К возможности опубликовать мою статью редактор журнала Б. Н. Никольский отнесся без энтузиазма. Гумилев также печатался в журнале, а главное — это был старый больной человек (в 1990 г. Гумилев перенес инсульт), и Никольский не хотел его раздражать. Однако когда Гумилев выступил в начале 1991 г. по телевидению с поддержкой расправы советских войск над демонстрантами в Вильнюсе и объявил себя сторонником «наших» Невзорова, Никольский решился.

С моего согласия черновик статьи показали Гумилеву, чтобы опубликовать с его ответом. При встрече на улице (я помогал ему перейти на другую сторону) он задорно сказал: «Читал ваш опус. У меня ведь найдется, что ответить!». Я в этом сомневался, так как слишком уважал его как человека не только талантливого, но и умного. Ведь предъявленные мною возражения относились не к частностям, а ставили под вопрос суть концепции и состоятельность методики, они были достаточно весомы. И действительно, Гумилев еще неоднократно выступал с интервью, но в редакцию ответ не поступил. Показательно, что и впоследствии его ученики и пропагандисты, яростно опровергая его критиков (А. Янова, Я. С. Лурье и многих других), мою статью, как и текст И. М. Дьяконова, предпочитают не замечать (см., например, книгу С. Б. Лаврова 2000).

Статья вышла в апрельском номере 1992 г. вместе с недоуменным письмом читателя А. Тюрина о странном антисемитизме известного ученого и ответной заметкой замечательного историка и востоковеда И. М. Дьяконова — с изложением опровергающих Гумилева фактов. Оба критиковали книгу «Древняя Русь и Великая Степь». Но «Этногенез и биосферу Земли» Дьяконов хвалил. Моя статья с разбором именно этого основного труда Гумилева по этногенезу шла третьей. Общий заголовок был «Этика этногенетики».

Гумилев, по-видимому, не увидел этой подборки: в апреле 1992-го он был уже в больнице, в июне ему стало хуже, сделали операцию, и 15 июня он умер. Что он признал бы, что отверг бы, мы не знаем. Но, хоть это и было бы любопытно, моя статья адресована не ему и даже не тем, кто ослеплен его авторитетом и его обаянием — фанатикам

его идей. Она — для тех, кто хочет мыслить сам. Кто хочет взвешивать аргументы и контраргументы.

Впоследствии я писал об источниках идей Гумилева (Клейн 2011а, 2011б), но непосредственного анализа его концепции эти мои выступления не содержали, поэтому я их не включил в этот сборник.]

Есть концепции-вампиры, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине дьявольской.

Л. Н. Гумилев (1989: 467)

1. Автор и концепция. Льва Николаевича Гумилева я знаю вот уже сорок лет — с тех пор, как мы вместе работали в экспедиции проф. М. И. Артамонова на раскопках хазарской крепости Саркел, взятой князем Святославом и превратившейся в славянскую Белую Вежу на Дону. Потом мы оба преподавали в Ленинградском университете, он — на географическом факультете, я — на историческом. Могу засвидетельствовать, что в личном общении Лев Николаевич — очень воспитанный и доброжелательный человек, безусловно не антисемит. Но как читатель я должен признать, что в книгах Л. Н. Гумилева, к сожалению, есть основания для тех критических претензий, которые предъявлены читателем А. Тюриным и поддержаны авторитетнейшим ученым И. М. Дьяконовым. И действительно, произведения Л. Н. Гумилева претендуют на то, чтобы стать знаменем для политических группировок шовинистического толка, вроде «Памяти».

Откуда у столь милого человека нашлись такие обидные и хлесткие оценки для целого народа? Конечно, это могло бы быть просто отражением объективной истины, то есть того факта, что евреи-де и в самом деле всегда были лживыми, кровавыми и жестокими угнетателями других народов и что это вытекало из их природной зловредности и из их особо эгоистических традиций. Так и судят о них очень пристрастные и не очень образованные идеологи «Памяти». Л. Н. Гумилев не повторяет их аргументы. Он изыскивает другие, которые выглядят более историческими. Но указанные в комментариях И. М. Дьяконова непреложные факты элементарно опровергают эти построения. Коль скоро так, то очевидно, что выводы Л. Н. Гумилева не основаны на фактах, а наложены на них и призваны подладить, подстроить их под некую схему, что они вытекают не из фактов, а из теоретической концепции.

Эта концепция изложена наиболее полно в книге Л. Н. Гумилева «Этнос и биосфера Земли» (написана в конце 1960-х — начале 1970-х годов, 1-е изд. — Л., ВНИНТИ, 1979; 2-е — Л., Изд. ЛГУ, 1989).

Автор этой книги должен был в конце концов обратить свой пафос против евреев, потому что это несносное племя своим существованием опровергает гумилевскую концепцию о неразрывной связи этноса с территорией. Оторванный от своей исконной территории и расточенный по миру этот народ давно должен был погибнуть, а он существует везде и достиг известных успехов. Соединенные на прежней родине евреи должны были, если следовать учению Л. Н. Гумилева, наконец-то воспрянуть, добиться наибольших высот и создать истинный очаг, притягательный для всех евреев. Но не туда тянет еврейскую эмиграцию, а высшими достижениями еврейской культуры остаются те, что достигнуты в Одессе и Париже, в Нью-Йорке и Будапеште. Впрочем, народ США тоже никак не укладывается в концепцию Л. Н. Гумилева.

Рассмотрим же эту концепцию. Как она построена, откуда выросла, на чем зиждется. Почему ни один (ни один!) серьезный специалист ее не приемлет. И почему она все же имеет свою (хотя и очень специфическую) публику.

2. Жанр и методика. Сначала о жанре книги. В аннотации она названа «монографией», в тексте же автор неоднократно именуется «трактатом» — это более адекватно ее характеру, так как многих характеристик строгого монографического исследования у книги нет. Но и аттестация «трактат» не совсем подходит, ибо трактаты, как жанр давно вышедшие из обихода, всё же строились по определенным нормам и бывали систематичны, хотя и, как правило, спекулятивны. А здесь изложение — яркое, увлекательное, но клочковатое и совершенно непоследовательное, даже местами противоречивое. Количество фактов огромно, но они не упорядочены, и не даны гарантии полноты сводки или строгие критерии отбора. Тут больше вдохновения, чем научности. Это художественно-философское эссе.

Полезно оценить методы, которыми построены разработки Л. Н. Гумилева.

«Методика, — пишет Л. Н. Гумилев, — может быть либо традиционной методикой гуманитарных наук», либо естественнонаучной (с. 19). Автор полон презрения к традиционным методам гуманитарных наук, преподаваемым в университетах. «Чтение, выслушивание и сообщение плодов свободной мысли», — то есть «мифотворчество» — вот как он определяет гуманитарный образ мышления (с. 336—337). «Для гуманитарной науки описание — предел, а истолкование путем спекулятивной философии в наше

время не удовлетворит никого. Остается перейти полностью на базу естественных наук» (с. 160).

Свое изучение этноса Л. Н. Гумилев относит к этнологии, а «этнология — наука, обрабатывающая гуманитарные материалы методами естественных наук» (с. 267). Как бы ни было поставлено обучение в университетах (оно оставляет желать лучшего, но нередко все же дает неплохую школу), какими бы ни были традиционные методы гуманитарных наук (они не всемогущи), но ясно одно: методы исследования должны быть адекватны его предмету. Это один из принципов научного подхода. Нельзя изучать медицину искусствоведческими методами, а филологию — физическими.

Кроме «мифотворчества», которого строгое гуманитарное исследование избегает, кроме «спекулятивной философии», которую оно ограничивает, у него есть много традиционных и нетрадиционных методов, применение которых плодотворно, и есть ряд принципов и критериев, являющихся обязательными. Так, никакое историческое исследование (включая и исследование истории этносов) не может миновать «критику источников». Без критического анализа источников, выполненного по определенной строгой методике, любые факты истории — не факты. Источники часто лгут, искажают истину, замалчивают ее и т. д.

В этой книге Л. Н. Гумилеву не хочется тратить силы на работу с источником: «восстановление его истинного смысла — дело трудное и не всегда выполнимое... Короче, для нашей постановки проблемы источниковедение — это лучший способ отвлечься настолько, чтобы никогда не вернуться к поставленной задаче — осмыслению исторического процесса» (с. 159–160). Критики источников в книге и впрямь нет, как нет и тщательно выверенных описаний, полных перечней, историографических обзоров и многого другого. Но ведь без предварительной критики источников и прочих атрибутов научной обработки фактов «осмысление» как раз и превращается в «спекулятивную философию» и «мифотворчество»!

Л. Н. Гумилев дает философское обоснование своему отказу от критики источников. Он ведь чувствует себя естествоиспытателем. Так вот «вместо философского постулата естественники применяют “эмпирическое обобщение”, имеющее, согласно В. И. Вернадскому, достоверность, равную наблюдаемому факту» (с. 30). Оставим это уравнение эпохе Вернадского (современная наука не столь уверена в чистоте «эмпирических обобщений»). Но ведь в том-то и отличие истории от естествознания, что факты истории (в частности, и этнической истории) непосредственно не наблюдаемы!

Чтобы справиться с этим камнем преткновения, Л. Н. Гумилев бросается в «пассеизм» — так он именуется свою историческую философию, противоположную презентизму. Презентизм — это модный в прошлом среди американских историков скепсис в отношении достоверности истории: реальностью эти историки объявляли только современность. Л. Н. Гумилев ударился в противоположную крайность: «реально только прошлое». Настоящее — лишь момент, мгновенно становящийся прошлым; будущего еще нет. «А прошлое существует; и все, что существует, — прошлое... Наука история изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас» (с. 246). Значит, наблюдать можно только прошлое. Этой нехитрой философией Л. Н. Гумилев оправдывает непосредственное обращение к «реалиям» прошлого, минуя источники. Он путает реальность с действительностью. Да, события прошлого действительны. Но что от них осталось нам? Что реальное позволяет нам судить о прошлом? Прежде всего источники — письменные, археологические, антропологические, этнографические. Но эти реалии находятся в современности, а современность — не только момент, но и, так сказать, «исторический момент», имеющий протяженность.

Разделавшись с университетским источниковедением, Л. Н. Гумилев возвращается к старым, доуниверситетским и дореволюционным способам работы школьников:

«Другое дело — гимназическая методика. Возьмем из источников то, что там бесспорно — голые, немые факты (а как установлено, что они бесспорны? Как они отобраны? — Л. К.), и наложим их на канву времени и пространства. Так поступают все естественники, добывающие материал из непосредственных наблюдений природы. И тогда окажется, что факты, отделенные от текстов (по каким критериям? — Л. К.), имеют свою внутреннюю логику, подчиняются статическим закономерностям, группируются по степени сходства и различия, благодаря чему становится возможным их изучение путем сравнительного метода» (с. 160).

И дальше:

«...достоинство этнологии состоит в том, что она позволяет множество привходящих фактов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи в элементарные...» (с. 335).

Л. Н. Гумилеву кажется, что он все это делает — выявляет статистические закономерности, внутреннюю логику, группирует материалы по сходству и различию, применяет сравнительный метод (а не просто сравнивает), словом, действует естественноведческими методами. На деле ничего этого в книге нет. Нет ни одной статистической таблицы, не говоря уж о корреляционных или регрессионных. Ни одного графика распределений, нет частотного анализа, нет и соответствующих вычислений. Настоящих сравнительных таблиц тоже нет.

Взглянем на иллюстрации между страницами 319 и 330. Кривые на рис. 3, 4 и 6, по сути, подлинными графиками (отображениями функций) или кривыми распределения не являются: на оси ординат не отложены какие-либо измеренные (и измеримые) величины; точки кривой не вычислены, а нанесены произвольно. Карта (рис. 5) не выполнена по каким-то объективным критериям (исключая контуры материков), а придумана по наитию. Всё доказывается не обобщением фактов, а бесконечным парадом примеров. Но примерами можно доказать все, что угодно.

Автор блещет эрудицией, книга изобилует фактами. Горы фактов, факты самые разнообразные, это изумляет и подавляет, но... не убеждает (или убеждает лишь легковверного). Потому что факты нагромождены именно горами, навалом, беспорядочно.

Нет, это не методика естествознания. Л. Н. Гумилев — не естествоиспытатель. Он мифотворец. Причем лукавый мифотворец — рядящийся в халат естествоиспытателя. Ему очень нравятся звучные термины естественных наук: «излучение», «аннигиляция», «импульс инстинкта», «индукция»... Ныне в моде *поля* — о них толкуют экстрасенсы, телепаты, парапсихологи, астрологи, представители «оккультных наук». Л. Н. Гумилев тоже не прошел мимо этого всеобъясняющего понятия. Речь — о преемственности культуры, о культурном наследии. Римский этнос исчез, а культура римлян живет в Европе.

«Но если так, то мы наткнулись на понятие этнической инерции, а ведь инерция — явление физическое (улавливаете? Так, с помощью метафоры, социокультурное явление становится физическим. — Л. К.). Да и как может иметь место инерция тела (уже и тело появилось! — Л. К.), переставшего существовать? Очевидно, в нашем анализе чего-то не хватает. Значит, нужно ввести новое понятие, и, забегая вперед, скажем прямо — в природе существует этническое поле, подобное известным электромагнитным, гравитационным и другим полям, но вместе с тем, отличное от них... Поля эти можно назвать филогенетическими» (с. 291).

Если это логика естествознания, то что такое софистика и вульгаризация?

Л. Н. Гумилев всерьез убежден, что «гимназическая методика» его этнологии «относится к традиционной исторической методике как алгебра к арифметике. Она менее трудоемка» (с. 325). Последнее верно, но это единственное ее достоинство. Как алгебра к арифметике? Да нет, скорее как астрология к астрономии.

Безоглядная смелость идей, громогласные проповеди, упование исключительно на примеры и эрудицию — ведь это оружие дилетантов. Странно видеть профессионального ученого, столь приверженного дилетантскому образу мышления.

3. Предмет. Что такое этнос? В книге предмет рассмотрения изначально не определен, и это позволяет автору одним и тем же термином обозначать то одно, то другое, соскальзывать в своих рассуждениях с доказанных вещей на недоказанные, подменять аргументы и посылки. Речь должна идти об этносе, но что такое этнос?

Автор так аргументирует свой отказ от строгих определений: «Условиться о значении любого термина легко, но это мало дает, разве лишь исходную позицию для исследования» (с. 25, сн. 1). Ну, это не так уж мало! Упомянув о взглядах С. А. Токарева, автор прерывает себя: «спор с этой концепцией был бы неплодотворен, так как он свелся бы к тому, что называть этносом. А что толку спорить о словах?» (с. 61). Если бы спор шел только о словах! Действительно, называть ли *известный* предмет одним *термином* или другим, не принципиально, но ведь само *понятие* не определено!

Автор запросто оперирует термином «этнос», как если бы это было общепонятное слово русского обиходного языка. Но ведь это не так. Перед нами научный термин, которому приписываются разные значения. Предпочтительно употреблять наиболее распространенное — для нового лучше придумать новый термин. Во всяком случае, значение, избранное автором, нужно заранее указать, обосновать и в дальнейшем строго его придерживаться.

Я понимаю, существуют исследования, целиком посвященные задаче выработать дефиницию некоторого явления. В этом случае дефиниция будет дана в конце. Но тогда в начале ставится проблема; описываются исходные материалы, мотивируется отбор.

Снизойдя к подобным запросам (или предвидя их), автор бросает:

«Ну, а если найдется привередливый рецензент, который потребует дать в начале книги четкое определение понятия “этнос”, то можно сказать так: этнос — феномен биосферы, или системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической

энергии живого вещества, в согласии с принципами второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической хронологией исторических событий» (с. 15).

Дав эту нарочито заумную (чтобы не приставали) формулировку, автор не без снобизма замечает: «Если этого достаточно, то можно не читать книгу дальше...» Ну, конечно, недостаточно! Это не определение, а толкование, не ясная дефиниция, а философствование по поводу, формула, которая непонятна без предварительной дефиниции — что именно расценивается автором как «феномен биосферы», как «системная целостность дискретного типа» и так далее.

Дефиницию автор подменяет перечнем, раскрывающим содержание понятия: «Народ, народность, нация, племя, родовой союз — все эти понятия обозначаются в этнологии термином “этнос”» (с. 25, сн. 1). Что же, это допустимый прием, по крайней мере в начале исследования. Но в дальнейшем некоторые понятия из этого перечня (то «народ», то «народность») из-под шапки «этнос» выводятся, а другие ученые рассматривают «нацию» как понятие, не подпадающее под «этнос». Впрочем, приводимый перечень и сам автор рассматривает лишь как временный паллиатив:

«Для нашей постановки темы не имеет смысла выделять такие понятия, как “племя” или “нация”, потому что нас интересует тот член, который можно вынести за скобки, иными словами, то общее, что имеется и у англичан, и у масаев, и у древних греков, и у современных цыган. Это свойство вида *Homo sapiens* группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и “своих”... всему остальному миру» (с. 41).

Но ведь и класс, и государство, и партия, и шайка представляют собой группирования, отличающие «своих» от «чужих». Это критерий совершенно недостаточный. Надо уловить, что лежит в основе группировки. «Все такие коллективы, — пишет Л. Н. Гумилев, — более или менее разнятся между собой по языку, иногда по обычаю, иногда по идеологии, иногда по происхождению, но всегда по исторической судьбе» (с. 48). Я считаю, что указав на общность «исторической судьбы», Л. Н. Гумилев приблизился к работоспособному определению, но не ухватил его. Все другие перечисленные признаки (язык, обычаи, происхождение и так далее) или их комбинации действительно не решают дела, потому что образуют общности, обозначаемые другими словами, порождают другие понятия. Но и «историческая судьба» — признак слишком

расплывчатый и неопределенный. Разве нет своей исторической судьбы у партии, у религии, у государства? Разве нет общности исторической судьбы у членов любого из этих объединений? Что-то иное надо вынести за скобки.

Л. Н. Гумилеву представляется, что таким материальным признаком, выносимым «за скобки» и определяющим этнос, является *стереотип поведения*. «Феномен этноса это и есть поведение особей, его «оставляющих. Иными словами, он не в телах людей (заметим эту декларацию! — Л. К.), а в их поступках и взаимоотношениях» (с. 142). Заселяя новый регион, человек к нему приспосабливается тем, что «меняет не анатомию или физиологию своего организма, а стереотип поведения. Но ведь это означает, что он создает новый этнос!» (с. 172).

Но и со стереотипом поведения не все гладко. Значение этого признака автор иллюстрирует таким примером.

«Представим себе, что в трамвай входят русский, немец, татарин и грузин, все принадлежащие к европейской расе, одинаково одетые, пообедавшие в одной столовой и с одной и той же газетой под мышкой. Для всех очевидно, что они не идентичны, даже за вычетом индивидуальных особенностей... По нашему мнению, любое изменение ситуации вызовет у этих людей разную реакцию... Допустим, в трамвае появляется молодой человек, который начинает некорректно вести себя по отношению к даме... Грузин, скорее всего, схватит обидчика за грудки и попытается выбросить из трамвая. Немец брезгливо сморщится и начнет звать милицию. Русский скажет несколько сакраментальных слов, а татарин предпочтет уклониться от участия в конфликте» (с. 86).

Здесь ученый для доказательства обратился не к действительному статическому анализу реакции представителей разных наций на конфликтные ситуации, а к простонародному шаблонному представлению о разных национальных характерах, к тому самому шаблону, на котором строятся целые серии анекдотов: «Однажды англичанин, русский и еврей...» А эти анекдоты очень изменчивы и зависят от политических ситуаций, от состояния межнациональных отношений и так далее. Вспомните ваших реальных знакомых грузин, немцев, татар и русских и сообразите, поведут ли они себя так, как им предписывает схема Л. Н. Гумилева. Уверен, что схема разрушится. Национальные различия скажутся менее всего, гораздо больше — индивидуальные, а из социальных — связанные с уровнем образования, профессией и так далее. Есть стереотипы

поведения, свойственные учителям всего мира, всем полицейским или всем бандитам. Этнос реализуется не в трамвае.

Далее Гумилев вынужден признать, что этнический стереотип поведения изменяется со временем. И сильно изменяется. «Русский, а точнее — великорусский этнос существует очень давно», — рассуждает Л. Н. Гумилев. Он констатирует значительные перемены в стереотипном поведении русских людей по сравнению с Древней Русью. «Они такие же русские, а разве они вели себя так, как ведем себя мы? Да совсем не так». И позже все еще не нынешние русские: «Пушкин за словесную обиду вызвал Дантеса на дуэль, а сейчас никто так не поступит (впрочем, надо бы добавить, что и в прошлом веке разночинцы и крестьяне так не поступали). «Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом потому, что мы ведем себя иначе? Как будто на это должно ответить утвердительно... А может быть, и нет? Потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы». И чуть дальше: «...По принятому нами принципу, речь в данном случае должна идти о совершенно разных этносах. Но мы-то знаем, что это один этнос» (с. 344—345).

Мы-то знаем,.. Интуиция подсказывает... Так зачем тогда обобщать факты, строить доказательства, искать истину? У Л. Н. Гумилева есть какое-то априорное знание, о котором он не оповестил заранее читателя и которое вытаскивает всякий раз, когда оно продиктует ему очередной временный отказ от провозглашенного только что принципа. А ведь если подходить строго, то либо факт не достоверен, либо принцип не годится.

То априорное знание об этносе, которое подспудно присутствует в рассуждениях Л. Н. Гумилева и которое для него сильнее его декларативных принципов (в частности, и принципа внетелесности этноса), лучше всего выражено в его переводе, истолковании греческого слова «этнос». «Греческое слово “этнос” имеет в словаре много значений, из которых мы выбрали одно: “вид, порода”, подразумевается — людей» (с. 41). Из всех русских значений этого греческого слова, а их много — «общество», «группа», «толпа», «класс», «сословие», «пол», «племя», «народность», «народ», «род» и так далее — обычно этнографы избирают «народ» и «племя», а Л. Н. Гумилев предпочел «вид» и «породу». Почему предпочел? Несомненно, из-за биологических коннотаций этих терминов. «Виды» людей внутри вида *Homo sapiens*. «Породы» людей. Ученый оговаривает, что его «этнос» — не раса. Вероятно, он и сам в этом убежден. Но нам-то как убедиться, что это его заявление — не чисто декларативное? И далеко ли отстоит его «этнос» от общепринятого понятия «раса»? Чем эта «порода» отличается от «расы»? Не тем ли только, что расу определяют по

внешним параметрам (цвету кожи, строению черепа), а «породу», то бишь, этнос — по не очень бросающимся в глаза, но столь же неотъемлемым, столь же соматическим (телесным) и более важным признакам?

Подход Л. Н. Гумилева к проблеме, логику рассуждений в его «трактате» лучше всего иллюстрирует такой его пассаж:

«Историческая наука... не в состоянии ответить на вопрос: почему афинянину был ближе его враг — спартанец, чем мирно торгующий с ним финикиец? Она отмечает лишь, что афинянин и спартанец были эллины, то есть единый, хотя и политически раздробленный этнос. А что такое этнос и чем связаны его члены? — история на этот вопрос не отвечает. Значит, надо обращаться к природе» (с. 288).

Прежде, нежели ставить вопрос, почему афинянину был ближе спартанец, чем финикиец, надо поставить другой вопрос — а действительно ли афинянину был ближе спартанец? То, что кажется естественным для Греции современному русскому, возможно, совсем не казалось таковым древнему греку. С какого времени существует представление об этническом единстве всех греков и общегреческий патриотизм — это серьезный вопрос современной исторической науки. Да и положительное решение вопроса вовсе не однозначно. По некоторым параметрам спартанец был явно ближе афинянину, чем финикиец, и никакая теория этноса не нужна, чтобы увидеть это: по языку, религии, происхождению и территории. Для понимания тут совсем незачем обращаться к природе. А что такое этнос, история и не должна решать, она лишь поставляет материал для решения. А решают этнография и родственные ей науки, вовсе не обращаясь для этого к природе.

Но продолжим чтение.

Уже в одном из первых разделов книги находится утверждение, противоречащее декларациям о том, что этнос — «не в телах» людей. «Этнос в своем становлении — феномен природный... истории природы, находящейся в телах людей» (с. 20). Теперь понятно, почему это «порода людей». Декларации можно отбросить, а суть оставить — текст приобретает внутреннюю связность. Принадлежность этноса к природе аргументируется так: «этнос... как, например, язык, явление не социальное, потому что он может существовать в нескольких формациях» (с. 35). Этот аргумент представляется автору столь важным и убедительным, что повторен неоднократно (с. 40, 70, 240). Но ведь и государство существует в разных социально-экономических формациях (даже одинаковые формы государства: республика, монархия), классы переходят из формации

в формацию, институт брака, собственность, дипломатия и т. д. Все эти явления не социальны? Тогда что социально?

Еще образец аргументации Л. Н. Гумилева (курсив мой. — Л. К.):

«...все необходимое для поддержания жизни *люди* получают из природы. Значит, *они* входят в трофическую цепь как верхнее, завершающее звено биоценоза населенного ими региона. А коль скоро так, то *они* являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя наряду с людьми, domestikаты... ландшафты... и так далее. Эту динамическую систему можно назвать *этноценозом*» (с. 16).

Незаметный перескок — и на месте людей (действительно входящих в трофическую цепь как биологические особи) оказался *этнос*. По той же логике мог бы оказаться и *социум*, ведь «человек существует в коллективе, который, в зависимости от угла зрения, рассматривается то как социум, то как этнос» (с. 18). И этнос, и социум, и армия, и совхоз могли бы выступить как звенья трофической цепи только в одном случае — если их рассматривать исключительно как совокупности биологических особей. Но и этнос и прочие социальные системы представляют собой не совокупности биологических особей, а те явления, те сети связей, которые этих особей объединяют. Что эти явления лежат в сфере природы, а не социальной, это Л. Н. Гумилеву как раз и надо бы в отношении этноса доказать. А доказательства тщетно будем мы искать в книге Л. Н. Гумилева. Кроме предъявленных и оказавшихся негодными.

4. Противоположный взгляд. Поскольку эти заметки посвящены анализу концепции Л. Н. Гумилева, было бы неуместно излагать здесь подробно собственную концепцию, но вряд ли можно обойтись вовсе без хотя бы краткого позитивного изложения своего взгляда. Иначе могло бы создаться впечатление, что мне нечего противопоставить представлениям Гумилева, что, как бы они ни были шатки, других нет.

Это не так. Есть ряд весьма разработанных концепций этноса, признаваемых в советской и мировой науке. Я придерживаюсь одной из них, ныне, пожалуй, наиболее авторитетной. Она связывает этнос со сферой коллективного сознания, изучаемого социальной психологией. В самом деле, если исходить из принятого подведения под понятие «этноса» таких общностей, как племя, народность, нация, то какие признаки являются общими для них всех? По каким признакам люди отличают одну нацию или народность от другой? А как когда. То по языку, то по происхождению, то по религии, то по расе, то по обычаям

или стереотипам поведения (национальному характеру), то по комбинации нескольких из этих признаков. Но если ни один материальный признак не является обязательным, хотя наличие какого-то (или каких-то) необходимо, то как быть? Л. Н. Гумилев ищет разгадку в проявлении неких глубинных стимулов, в крови, в генах. Специалисты по генетике не склонны приписывать генам столь обширное воздействие на поведение людей. Поэтому есть гораздо больше резона обратиться к тому, чем определяется выбор материальных признаков для группировки людей в этнос, для различения этносов, — к социальным стимулам и к их преломлению в сознании и людей.

Моя модификация концепции этноса как явления прежде всего социальной психологии заключается в двух уточнениях. Первое: сторонники этой концепции обычно говорят о роли этнического *самосознания*. Мне же представляется, что нужно более полное определение — речь должна идти о *коллективном сознании* (что думает сам человек или даже группа людей о своей этнической принадлежности, недостаточно, надо учитывать еще и мнение окружающих). Второе уточнение: не всякая солидарность людей образует этнос (народность, нацию и тому подобное), а лишь такая, которая апеллирует к общности исторической судьбы (происхождения), пусть и мнимой, и, главное, которая предусматривает возможность (хотя бы возможность) отдельного территориально-организационного (суверенно-государственного или автономного) существования. Что выступает материальным обоснованием такой солидарности — язык или религия, раса, — не столь важно.

Очень близок был Л. Н. Гумилев к такому пониманию этноса. Он ведь обратил внимание на общность исторической судьбы, на роль сознания. Он отметил, что «в основе этнической диагностики лежит ощущение» (с. 49). А ощущение — это нечто из области сознания. «За существование этноса говорит только то, что он непосредственно ощущается людьми как явление (феномен). Но ведь это не доказательство» (с. 18). Да, это не доказательство концепции Л. Н. Гумилева, но доказательство — иной концепции.

Однажды Л. Н. Гумилев проговорился, отметив, что «этническая принадлежность, обнаруживаемая в сознании людей» (разрядка моя. — Л. К.), не есть продукт самого сознания». Он поспешил устранить нечаянное признание: «Очевидно, она отражает какую-то сторону природы человека, гораздо более глубокую, внешнюю по отношению к психологии...» (с. 60). И еще более четко: «Этнический феномен материален, он существует вне и помимо нашего сознания, хотя и локализуется в деятельности нашей сомы и высшей нервной деятельности» (с. 122). Очень забавно наблюдать, как идеалист и противник материалистической идеологии (видимо, автор считает себя таковым)

не приемлет трактовку этничности как «продукта самого сознания» и упорно ищет те материальные явления, которые в сознании отразились. Наши философские воспитатели могут порадоваться — глубоко же въелся их вульгарный материализм даже в столь мятежные души!

Да, этническая принадлежность обнаруживается в сознании, проявляется прежде всего в «ощущениях» (точнее — чувствах, эмоциях: симпатиях, антипатиях, солидарности, надеждах, мечтах) и относится поэтому к явлениям *социальной психологии*. А является ли она самопроизвольным продуктом сознания — это уже другой вопрос, относящийся не к «данности», не к «природе» этноса, а к его происхождению — на какой основе он возникает. Так является ли?.. Или отражает?.. Нет, не является. Да, отражает. Но отражает-то она разные материальные явления, иногда и природные, но чаще — социальные.

Движимый своей убежденностью, что этнос — природное явление, что этническая принадлежность — в природе человека, в его телесной субстанции, Л. Н. Гумилев утверждает: «Нет человеческой особи, которая была бы внеэтнична» (с. 48), и он твердит это, как заклинание, неоднократно (с. 142, 163, 175).

Это иллюзия, вытекающая из концепции и в большой мере связанная с воздействием социально-исторической среды: демонстративная безнациональность ранней советской власти вызывала у многих чувство протеста, а взрывы национальных конфликтов в предвоенное и военное время подстегивали абсолютизацию этничности, столь характерную для сталинской империи (чего стоит пресловутый пятый пункт в паспорте и во всех подобных документах).

Но в другом месте книги тот же Л. Н. Гумилев припоминает: «Знаменитый ориенталист Чокан Валиханов сам говорил о себе, что он считает себя в равной мере русским и казахом» (с. 60). Таких сейчас очень много. Правда, это еще не внеэтничность, а только двуэтничность. А вот в Западной Белоруссии, находившейся то под российской властью, то под польской, то под немецкой, сельское население просто не понимало вопрос о национальности и отвечало на него: «А мы тутэйшыя (здешние)», язык же свой называло просто «вясковым» (деревенским). Крупнейший наш авторитет по истории Древнего Востока И. М. Дьяконов пришел к выводам, что на Древнем Востоке этническая солидарность, по-видимому, вообще не существовала. Люди группировались по другим критериям, а этносов не было!

Л. Н. Гумилев оперирует вопросом, который ему кажется риторическим: «Можно ли, сделав усилие, сменить свою этническую принадлежность? Видимо, нет!» (с. 72). Но вспомним знаменитого археолога Генриха Шлимана. Он родился немцем, двадцать лет прожил в России [женившись на русской, имел русских детей], и в это время считал себя русским (называл Николая I

«наш монарх», а русских — своими «названными братьями»), затем учился во Франции и владел там домами, потом стал американским гражданином, наконец, 20 лет вел раскопки в Турции, а жил в Греции, был женат [(вторым браком)] на гречанке и дал своим [тамошним] детям древнегреческие имена. Правда, окружающие везде отличали его как не «своего». Но я знаю одного человека чисто русских кровей, который, «сделав усилие», выучил немецкий язык (говорит на нем блестяще), переехал недавно в Берлин, сменил фамилию (русскую на немецкую) и ныне совершенно неотличим от немцев. Для себя и для всех окружающих он немец и счастлив этим.

Никакие гены и традиции ему не мешают. Ностальгии я не заметил. Чтобы оценить, в какой мере этнос — не природное явление, прошу сравнить эту волевою переменную этноса с переменной пола, которую недавно демонстрировали по телевизору (результат медицинской операции). Бывший русский практически нечем не отличается от немца, а бывшая женщина так ведь и не стала настоящим мужчиной (даже по виду).

Как бы это ни было печально для тех, кто заинтересован в идеологии патриотизма, есть немало людей, ставящих ни во что свою национальную принадлежность и ощущающих себя космополитами — гражданами мира. Таким был Карл Маркс. Привязанность к родине определяется для них только привычкой, личными связями и знанием языка. Все три барьера преодолимы. Ибо этнос — феномен сознания, а сознание гораздо более податливо к изменениям, чем телесная природа.

5. Этногенез и пассионарность. После всего сказанного очень трудно говорить о предложенной Л. Н. Гумилевым схеме возрастов этноса или последовательных фаз этногенеза. Ведь если неясно, что есть этнос, то они выделены по фиктивным основаниям. Но в принципе фазы эти — *подъем* (скрытый, а потом явный), *акме* (высшее развитие), *надлом*, *инерция*, *обскурация*, *мемориальная фаза*, фазы *гомеостаза* и *реликта* — это ведь, в сущности, фазы существования любого живого (зарождающегося, развивающегося и отмирающего) явления. По отношению к цивилизации, культурам, этносу подобные концепции выдвигались и раньше — с другим количеством фаз и с другими их названиями, но выдвигались (обычно их относили к разновидностям циклизма).

А вот предложенные Л. Н. Гумилевым обобщения — рубежи периодов (фаз), их длительность, цифры — все это построено на песке. Потому что какой смысл говорить о начале существования этноса или его конце, о его преобразованиях, если неправильно, необубедительно указаны его определяющие признаки, если нет критериев диагностики — один и тот же это этнос или уже новый?

Гораздо большую определенность (и определенность негативную, заслуживающую резкой критики) я вижу в учении Л. Н. Гумилева о пассионарности как первоначальном толчке этногенеза.

«Под пассионарностью автор книги и учения понимает «импульс поведения», который «лежит в основе антиэгоистической этики (разрядка моя. — Л. К.), где интересы коллектива, пусть даже неверно понятые, превалируют над жадной жизнью и заботой о собственном потомстве. Особи, обладающие этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают (и не могут не совершать) поступки, которые, суммируясь, ломают инерцию традиции и иницируют новые этносы» (с. 252).

Попросту говоря, пассионарность — это сильный темперамент и маниакальное стремление к реализации идеи, мания. В пассионариях Л. Н. Гумилев видит «персон творческих и патриотичных, которых начинают называть “фанатиками”» (с. 284). Когда пассионариев много, этнос процветает, когда их мало — он в упадке.

До сих пор автору можно следовать спокойно. Проблему «героев и толпы» наша наука воспринимает сейчас без прежней аллергии. К роли личности в истории наш горький исторический опыт научил нас относиться с должным вниманием. Но суть идеи пассионарности в другом.

По Л. Н. Гумилеву, пассионарность — это «признак генетический» (с. 252), а значит телесный, наследуемый, признак людской природы (напоминаю, «этнос» для автора — «природа людей»). Это «важный наследственный признак... это биологический признак» (с. 272).

Генетикам известно, что темперамент может передаваться по наследству, как и склонность к мании (а также одаренность, способности, предрасположенность к болезням и тому подобное). Это не обязательно осуществляется, но вероятность велика. Однако социокультурная, этическая направленность этих наследственных сил, по генетике, никак не может быть наследственной. Человек может унаследовать от родителей крепкие мускулы, взрывной темперамент, цепкую память и сметливость, но на что он их направит? Он может стать выдающимся полководцем или лихим разбойником, а может — пророком-проповедником или рабовладельцем. Направит ли человек свой темперамент и другие наследственные качества на подвиг или на преступление, станет ли он истовым фанатиком науки или яростным фанатом футбола, будет ли одержим альтруистическими идеями или манией стяжательства и убийства — это

исключительно результат воспитания, воздействия среды и обстоятельств. Вопрос, следовательно, не в том, много ли в некотором обществе (не обязательно в этносе) пассионариев или мало, а в том, куда будут направлены их энергия и энергия всего общества. А это никакими генами не предопределяется. Это функция социальных условий и культуры.

Через пассионарность этногенез у Л. Н. Гумилева тесно, кровно, почвенно связан с территорией, с комбинацией местных ландшафтов, с определенным очагом на земном шаре. Автор формулирует эту связь так: этногенез — изменение материальных объектов, работа... «Любая работа, чтобы быть произведенной, требует затраты соответствующей энергии, которую надо откуда-то почерпнуть».

Стоп. Изменение этносов — не изменение материальных тел, а прежде всего — изменение сознания. Те изменения, которые происходят с материальными объектами при всяких этнических преобразованиях — это сопутствующие процессы. Энергия на них идет не из этнической сферы. Но даже если бы этносы были материальными массивами, их изменения вовсе не обязательно должны требовать какой-то дополнительной энергии извне. Ведь достаточно просто перераспределить наличную энергию, то есть нужны изменения в сфере руководства процессами, нужны идеи, изменения в мозгу. А на них тратятся *микроскопические* дозы энергии.

Но внимаем Л. Н. Гумилеву. Итак, этногенез — тяжелая работа, затрата энергии. Каков ее источник? Читатель ожидает, что далее речь пойдет об экологическом потенциале ландшафта, о включении этноса в «трофическую цепь». Ведь читатель же усвоил идею, что пассионарность — это «врожденная способность абсорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в качестве работы» (с. 308)

Нет, автор продолжает свою мысль иначе: «Так какова же эта энергия, явно не электрическая, не механическая, не тепловая, не гравитационная?» (с. 231). Ответ: «Процессы образования этносов — не эволюционные процессы». Это эксцессы, то есть толчки, вызванные зарождением пассионариев, а оно — результат генетических мутаций (с. 240). «Импульс тоже должен быть энергетическим, а поскольку он, по-видимому, не связан с наземными природными и социальными условиями, то природа его может быть только внепланетной» (с. 312).

И Л. Н. Гумилев рисует яркую, образную картину земного шара, исполосованного энергетическими ударами некоего луча, «идущего не от Солнца, а из рассеянной энергии Галактики» (с. 468–469). Станным образом эта энергия собрана в тонкий луч, который падает только на некоторые участки земной

поверхности: в какую-то эпоху — на один, в иную — на другой, через какой-то интервал — на третий. Вроде метеоритов. Земля покрывается как бы рубцами, к которым тотчас приливает кровь.

Для фантастического романа это неплохо, но для эссе, претендующего на научность, — не годится, хоть к повествованию приложена и карта, на которой изображены эти самые рубцы.

6. Сортировка народов и вопрос о контактах. Меж тем из всей этой фантастики Л. Н. Гумилев извлекает очень практические и небезобидные выводы. Он сортирует народы по их биологическим качествам. Так, некоторым народам он приписывает алчность, страсть к торгашеству и считает это их наследственной чертой. Ребенок родился, а у него уже в крови — алчность. Он обречен быть торгашом. А другому, если он другой национальности, на роду написано стать героем.

М. Вебер считал, что капиталистический дух создается самим капитализмом и тесно связан с протестантским воспитанием, приспособленным к капитализму. В. Зомбарт в книге «Буржуа» отрицал это. Он видел корни буржуазности, сообщает Л. Н. Гумилев, «в душевных предрасположениях, унаследованных от предков... то есть в переводе на понятный нам (Гумилеву. — Л. К.) научный язык: эти наклонности — наследуемый признак» (с. 406). Зомбарт был убежден, продолжает Л. Н. Гумилев, «в биологической природе данного явления» и разделял этносы, движущиеся к капитализму, на два сорта: «народы героев» и «народы торгашей». К первым относил римлян, норманнов, лангобардов, саксов и франков, стало быть, и их потомков — англичан и французов. Ко вторым — флорентийцев, шотландцев с низин, фризов (а значит их потомков — голландцев) и евреев.

«Полагаю, что наблюдения В. Зомбарта верны», — заключает Л. Н. Гумилев и продолжает: «перечисленные В. Зомбартом народы-торгаши все обладают одним общим признаком — высокой степенью метисации. Только этот признак и является общим для всех "народов-торгашей"» (с. 406).

Как, и для евреев?! А я-то думал, что они во всяком случае менее смешанного состава, чем русские или чем англичане и французы! Не проясняет сути и гневная тирада: «Торгаши — бактерии, пожирающие внутренности этноса» (с. 409). Поскольку выявлены целые народы-торгаши, то они, видимо, пожирают свои собственные внутренности. Ну, да ладно. Нас тут больше занимает не благородное дворянское презрение к торгашам, весьма своеобразно гар-

монирующее с пролетарско-большевистским настроением социальной среды, а центральная для Л. Н. Гумилева идея «о губительности смешений этносов, далеких друг от друга» (с. 143).

Для Л. Н. Гумилева слова «свои» и «чужие» — не абстрактные понятия, а ощущения действительно существующих этнических полей и ритмов.

«...Часто бывает так, что этносы “прорастают” друг через друга. Внутри одного суперэтноса это не вызывает трагических последствий, но на суперэтническом уровне такие метастазы создают химерные композиции, ведущие к гибели...»

Возникшая вследствие толчка суперэтническая система тесно связана с природой своего региона. Ее звенья и подсистемы — этносы и субэтносы — обретают каждый для себя экологическую нишу. ...Кровь и при этой ситуации льется, но не очень, и жить можно. Но если в эту систему вторгается новая чужая этническая целостность, то она, не находя для себя экологической ниши, вынуждена жить не за счет ландшафта, а за счет его обитателей. Это не просто соседство и не симбиоз, а химера... В зоологии химерными конструкциями называются, например, такие, которые возникают вследствие наличия глистов в органах животного... Живя в его теле, паразит соучаствует в его жизненном цикле, диктуя повышенную потребность в питании и изменяя биохимию организма своими гормонами, принудительно вводимыми в кровь или желчь хозяина или паразитоносителя... Все ужасы столкновений при симбиозе меркнут перед ядом химеры на уровне суперэтноса...

Естественно, что крепкие, пассионарно напряженные этнические системы не допускают в свою среду посторонние элементы» (с. 302).

Чтобы не приводить слишком близкие примеры, Л. Н. Гумилев обращается к Турецкой империи, где

«настоящие османы были уже в XVIII в. сведены на положение этноса, угнетенного в своей собственной стране (а мы-то думали, что турецкие феодалы угнетали славян, греков и др. — Л. К.). Прилив инородцев калечил стереотип поведения, что сказалось на продажности визирей, подкупности судей, падении боеспособности войска и развале экономики. К началу XIX в. Турция стала “большим человеком”» (с. 86).

Намек ясен? Вот, мол, к чему приводит мирволие инородцам!

Вопреки естествоведческому опыту внутривидовой гибридизации растений и животных Л. Н. Гумилев уверен, что «потомство от экзогамных браков либо гибнет в третьем-четвертом поколении, либо распадается на отцовскую и материнскую линии...» (с. 86). Он явно путает внутривидовую гибридизацию с межвидовой. А может, не путает? Может, считает разные этносы разными видами? «Этнос» — «вид», «порода людей».

Так дает себя знать «исследование гуманитарных материалов методами естествознания», уподобление социальных общностей биологическим организмам. Там метисация далеких друг другу видов неплодотворна или дает нежизнеспособное потомство — и здесь смешение далеких этносов («пород», «видов») должно быть вредным. Даже на семейном уровне — в виде смешанных браков. Не верите? Почитайте: «Вот почему небрежение этнологией, будь то в масштабах государства, родового союза или моногамной семьи, следует квалифицировать как легкомыслие, преступное по отношению к потомкам» (с. 305). Л. Н. Гумилев совершенно серьезно сетует, что «природу и культуру губят свободное общение и свободная любовь!» (с. 89). Отсюда только шаг к тщательным проверкам родословных с целью обнаружения нехороших, «торгашеских» бабушек, к запрету смешанных браков, к ограничениям рождаемости метисов, мулатов и т. п. Непонятно, правда, как быть с Пушкиным...

Может показаться, что ужасные пророчества-предупреждения Гумилева ныне подтверждаются национальными конфликтами в районах смешений — армян изгоняют из Азербайджана, азербайджанцев теснят из Армении, турок-месхетинцев режут в Средней Азии, русских просят из Прибалтики... А Л. Н. Гумилев подводит научную базу — так, де, и должно быть, нельзя создавать химеры.

Но почему на Кубе потомки испанцев и негров не ссорятся? Почему в Гонконге и Сингапуре разные не близко родственные этносы мирно уживаются? Почему в Нью-Йорке, где каждый пятый — еврей, нет и никогда не было еврейских погромов? Потому что подоплека национальных конфликтов всегда — в экономических неурядицах и нередко в провокационных действиях властей, прибегающих к старому рецепту «разделяй и властвуй».

Описывая суть химеры, Л. Н. Гумилев явно уподобляет «торгашей» (например, евреев-капиталистов) паразитам. Странно, но в прошедшем сталинские лагеря ученом оказалось не изжитым даже не марксистское, а вульгарно-марксистское отношение к верхним классам капиталистического мира как к непродуцируемым элементам общества. Ныне мы отходим от этой вредной иллюзии. Даже дворян-землевладельцев вряд ли можно считать совсем уж без-

дельниками, а капиталисты двигали вперед экономику так, как «освобожденный пролетарий» двигать не смог. Известно, что в средние века то один, то другой европейский государь зазывал в страну евреев-капиталистов, чтобы оживить и поднять хозяйство. Ну а пользу ремесел, интеллигентных профессий, пусть и не связанных с непосредственным трудом на земле, надо ли доказывать? Изгоняя из организма таких «глистов», обычно добивались на деле «утечки мозгов» и капиталов.

Смешивание этносов имеет и другой аспект — ассимиляцию одного этноса другим, или, чаще, ассимиляцию небольших включений в этнос. Нередко она осуществляется и добровольно, а этнос ассимилируемый может и не пострадать, если его ядро сохраняется в другом месте. Л. Н. Гумилев и тут непримиримо осудителен.

По его мнению, ассимиляция всегда обидна для человека.

«Объекту ассимиляции представлена альтернатива: потерять либо совесть, либо жизнь. Спаситься от гибели можно путем отказа от всего дорогого и привычного ради того, чтобы превратиться в человека второго сорта среди победителей. Последние тоже мало выигрывают, так как приобретают соплеменников лицемерных и, как правило, неполноценных, так как контролировать можно только внешние проявления поведения покоренного этноса, а не его настроения. ...Примеров слишком много, но дело ясно» (с. 86).

Нет уж, коль скоро Л. Н. Гумилев вопреки своему обыкновению тут не приводит примеры, то обращусь к примерам я — не для доказательства, а лишь для иллюстрации, чтобы действительно ясно было, о чем и ком речь. В России сейчас сотни тысяч евреев не знают еврейского языка (ни древнего, ни «йидиш»), не придерживаются иудейской религии и обычаев, воспитаны в русской культуре и вносят в нее посильный вклад. Даже когда их вытесняют из страны (люди или обстоятельства), 9 из 10 эмигрантов едут не в Израиль. Но даже те, кто оказались в Израиле, издают там русские журналы и газеты, поют русские песни и пишут русские стихи. Что уж и говорить о тех, которые остались. Они давно ассимилировались. По сути это теперь часть русского народа. Их судьбу разделяют многие белорусы, татары, немцы, поляки...

Это ведь им всем (и мне в том числе) Лев Николаевич предъявляет совершенно незаслуженное обвинение в том, что мы потеряли совесть (поскольку мы живы), что мы отказались от всего дорогого, что стали людьми второго сорта. Если он и считает нас соплеменниками, то лицемерными и неполно-

ценными. Не порываться ли нам в его собственной родословной — всё ли там чисто? [Подлинная фамилия матери — украинская: Горенко. Свой псевдоним Ахматова она взяла от фамилии прабабушки по материнской линии, а фамилия это кабардино-балкарская. Фамилия Гумилев тоже происходит от предков по материнской линии, но уже отца, и латинский корень *gumilis* («низкорослый») говорит о происхождении отнюдь не дворянском, а семинарском, то есть разночинном (дворянство получил только дед поэта). По отцовской же линии исконная фамилия была Панов, но происхождение этой фамилии лексикологи возводят к выселенным вглубь России полякам, которых окружающее население называло «панями» или «панками».]

Ведь в русский народ влилось огромное количество инородцев — целые области и народы ассимилировались, то есть русифицировались, стали русскими: сарматы-иранцы, меря, мурома, весь (вепсы), чудь, половцы, голядь и так далее. [Растворились в русском народе огромные массы поляков, немцев, татар, евреев, цыган, разнородных кавказцев.] И переплелись, перепутались родословные. Эта терпимость и восприимчивость — характерная черта истории русского народа, традиционная черта. Не без ее помощи он стал великим. Как раз запрещать, тормозить, пресекать эту традицию и будет не по-русски.

В довершение Л. Н. Гумилев рассказывает историю об одном бирманце, поселившемся среди андаманского племени онгху и начавшем приударять за местной женщиной. Онгхи убили его и сами сообщили об этом начальству, но не как о преступлении, а как о наведении порядка. «Разумеется, о наказании их не возникло и речи». А далее следует неподражаемая реплика Л. Н. Гумилева: «И правильно! Нечего было лезть в чужой этнос» (с. 435).

А ведь это мораль апартеида.

7. Кое-что об этике. Вообще все рассуждения о пассионариях и вся этнология Л. Н. Гумилева разворачивается в плане очень странной «антиэгоистической этики». Странной настолько, что возникает вопрос, верно ли воспринятое название: «антиэгоистической» или «антигуманистической»?

Ознакомимся с рассуждениями Л. Н. Гумилева об «антропосукцессиях, то есть вторжениях в области, кои не всегда можно и стоит заселять, но которые можно завоевать...» (с. 232). Автор уточняет: «сукцессии или агрессии — как угодно читателю». Нам угодно «агрессии» — более привычно, более понятно (к чему лишнее слово? Для маскировки, что ли?). Итак об агрессиях: «их причины лежат за пределами того, что контролируемо человеческим сознанием... Но тогда динамика и статика этногенеза равно закономерны, и в них отсутствуют категории вины и ответственности».

Автор спохватывается: «Нет! Этот тезис не влечет за собою всепрощения! Отдельные люди, конечно, виноваты в совершаемых преступлениях. Но этнические закономерности стоят на порядок выше...» (с. 233).

Споры о «лебенсрауме», о геополитике, о жизненном пространстве — это ведь на этническом уровне, то есть на порядок выше. Немецкому народу было тесно, требовалось жизненное пространство на Востоке [= незачем считаться с поляками, украинцами, белорусами и русскими, надо теснить и завоевывать]. России был нужен выход к морю, а потом Карельский перешеек, чтобы защитить построенную у моря крепость [= даешь территорию, завоеывая финнов и прибалтов]. И Ираку требуется выход к нефти и морю, где расположен Кувейт. Что его жалеть?

Категория жалости чужда пассионарному мышлению. Идеализация любимых автором пассионариев характеризует в известной мере мышление самого Л. Н. Гумилева как автора. «При... повышении пассионарности характерной чертой была суровость и к себе, и к соседям. При снижении — характерно “человеколюбие”, прощение слабостей, потом небрежение к долгу, потом преступления» (с. 411). Прелюбопытнейшая, надо сказать, цепочка...

8. Об адептах. Популярность Л. Н. Гумилева чем-то сродни популярности Пикуля: интеллектуалы пожимают плечами, специалисты возмущаются, а широкие круги полубразованной публики готовы платить за книги кумира бешеные цены. Есть нечто общее и в характеристиках обоих авторов, несмотря на все несходство их происхождения и судьбы. В речи обоих есть упрощенность, которая многим кажется вульгарной и пошловатой. Оба поражают публику объемом своих знаний и оба не могут избавиться от упреков в дилетантизме. Но у обоих есть поклонники, боготворящие своих кумиров.

Теперь задумаемся, в чем причина популярности Л. Н. Гумилева у публики?

Первое. В самом Л. Н. Гумилеве. В его ореоле страдальца и мученика, подвижника и фанатика идеи — ореоле вполне заслуженном. В том, что он сын славных и любимых народом поэтов, тоже гонимых.

Второе. В живом, образном и афористичном языке автора, в увлекательности изложения, в умении детективно построить сюжет.

Третье. В дерзости посягательств. Гумилев издавна отвергал традиционные догмы. Очень долго учение Гумилева преследовалось и замалчивалось, ему препятствовали печатать книги, не давали трибуну, а фронда всегда привлекает симпатии масс.

Четвертое. В эрудиции автора, в его колоссальной начитанности. Нужды нет, что для подлинной науки одной эрудиции мало. Сколько интереснейших фактов! Каких экзотических! Парадоксальных!

Пятое. В простоте ответов на сложные вопросы. Неважно, что упрощенные ответы Гумилева поверхностны, что доказательность их убога. Зато они просты. Есть такая категория читателей, жаждущих получить именно простые ответы.

И, наконец, шестое. В том, что эти ответы как раз те, которые кое-кто из читателей жаждал получить. Эти ответы даны как бы навстречу ожиданиям этой публики, льстят их национальному самолюбию, тешат их предрассудки. Умный, ученый, а говорит то же, что втайне думали мы. Значит, можно не стесняться этих мыслей.

Все мы видели на экране телевизора, в длинной череде передач ленинградского телевидения, с каким благоговением внимала простодушная публика вдохновенным речениям Л. Н. Гумилева. Не знаю, была ли то публика, специально подобранная, или она сама постепенно так отобралась, но ни одного сомнения, ни одного возражения. Только пиетет, только радостный трепет, только соучастие. Скептики (их я видел много среди студентов в университетских аудиториях) на эти лекции не ходят. И книг Л. Н. Гумилева не читают.

9. И все же. А не ходят и не читают, между прочим, напрасно. Не только потому, что возражения и критика, несомненно, нужны самому Л. Н. Гумилеву, хотя бы потому, что в полемике Гумилев остроумнее, ярче, интереснее, Но и потому, что в творчестве Гумилева несмотря на все, что я здесь изложил, есть и очень ценные достижения.

Первое. Л. Н. Гумилева принято изображать уникальным явлением. Да, он очень оригинален, но не изолирован в науке. Он продолжает, пусть и в очень искаженной форме старую традицию российской науки. Эта традиция ведет от знаменитого русского ученого Д. Н. Анучина, стремившегося соединить ряд подходов в изучении человека и общества — географический, исторический, антропологический и археологический, то есть соединить естествознание с социальным знанием. В Москве его ученик Б. С. Жуков стал главой палеоэтнологической школы, в Ленинграде руководителем палеоэтнологического направления был А. А. Миллер и последователем Анучина был Ф. К. Волков (Хведор Вовк), все они имели много учеников, создали обширные школы. В сталинское время эти школы были полностью разгромлены, почти все их сторонники репрессированы и уничтожены. Многие годы провел в тюрьме и ссылке С. А. Руденко, после выхода на свободу занявшийся внедрением естественнонаучных методов в археологию. Руденко пропагандировал географический подход к археологии, а Л. Н. Гумилев — ученик С. А. Руденко. Таким образом, он хранитель и передатчик традиции, которая требует соединения исторических, географических, антропологических и других наук в комплексном изучении человека и его среды, социальной и естественной. Нас не устраивает

та реализация, которую придал этому делу Гумилев, но сама идея, учитывая растущее значение экологии, остается жизненно важной.

Второе. Многочисленные и нередко кровавые межнациональные конфликты последних нескольких лет показали, что неблагополучие скрывалось не только в нашем общественном и государственном устройстве, но и в его системе национальных отношений, а значит — и в той концепции нации, этноса и процессов этногенеза, которая эти государственные и общественные структуры освящала и обосновывала. Л. Н. Гумилев своими смелыми разработками подтачивал, частично разрушал господствовавшие в нашей науке догмы и делал это еще тогда, когда в этих догмах мало кто позволял себе усомниться. Правда, его позитивные предложения очень неудовлетворительны, но его заслуги в расшатывании старой догмы не стоит преуменьшать.

В книге Л. Н. Гумилева, как и в других его книгах, рассыпано много интересных наблюдений, умных и острых мыслей, с которыми хочется согласиться. Так, мне кажется, действительно пришло время и нам, как на Западе, ввести в изучение этноса разделение на описательную или, точнее, источниковедческую этнографию и объяснительную этнологию. Правда, конечно, совсем не ту этнологию — не этнологию «пород». Или взять размышления Л. Н. Гумилева о неконструктивности «банального деления наук» по предмету изучения на гуманитарные и естественные. Деление по методам гораздо более продуктивно, хотя и оно не единственно возможное. Перечень можно продолжать. Автор книги — интересный собеседник, талантливый творец и старый человек с очень своеобразным и очень печальным жизненным опытом.

Здесь пора задать очень важный вопрос: почему же такие ценные традиции и такие блестящие личные данные автора привели к столь обескураживающим результатам?

Я уверен, что в иных условиях развитие традиции и авторского таланта пошло бы по другому пути. Виновата система, господствовавшая в нашей стране, — это она раздавила добрую научную традицию и искорежила судьбу ученого и его недюжинный интеллект. Трижды, начиная с 17-летнего возраста, его научные поиски сменялись годами тюрьмы, лагеря и пыток. Это очень грустная, очень несправедливая истина, но такие вещи не проходят бесследно. Перерывы в профессиональной подготовке и в карьере исследователя, длительная изоляция нарушили нормальное развитие научных способностей и профессиональных качеств ученого. В условиях преследований и жестокой борьбы у него сложился психологический комплекс гонимого пророка, отнюдь не способствующий трезвому исследованию. Упрямство, ненужный азарт, страсть к эпатированию и в результате — новый догматизм. А бесчеловечность

среды незаметно вошла в плоть и кровь его учения, сделала учение антигуманистическим.

Трудно винить в этом автора. Он и сам — жертва.

В. Шаламов познакомил вольный мир с типичным образом лагерной Шехерезады — интеллигента, брошенного в среду урок и нашедшего способ адаптации к этой среде, способ выживания. Почти в каждом скоплении урок был такой рассказчик, ежевечерне «толкающий романы» для услаждения блатных. Я не знаю, был ли Лев Николаевич подобной Шехерезадой, но похоже, что был (никак не хочу его этим унижить — самой лучшей Шехерезадой, самой благородной). Мог ли он, ученый и пропагандист истории, не поделиться своими неисчерпаемыми знаниями истории и историй, из которых каждая — увлекательный роман? Мог ли талантливый и страстный рассказчик удержать язык за зубами, когда все вокруг готовы внимать? И могли ли урки упустить такую возможность? По рукам ходит созданное Л. Н. Гумилевым блестящее переложение одного раздела испанской истории (отпадения Нидерландов) на феню — на блатной жаргон (целиком опубликовано С. Снеговым в «Даугаве», 1990, №11)

«В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа — антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри». Затем в том же стиле повествуется, как «графа Эгмонта на пару с графом Горном по запарке замели, пришили дело и дали вышку», а «работяга Вильгельм Оранский поднял в стране шухер»...

Чу, да ведь и в рассуждениях об этногенезе проскальзывают те же интонации, хоть и без блатных слов: «Кровь и при этой ситуации льется, но не очень, и жить можно» (ништяк!), «И правильно: не лезь в чужой этнос!» (западло!) ...

Можно гадать о том, повышало ли общение с «Шехерезадой» культурный уровень урок, смягчало ли их души. Но несомненно, что долгие годы адаптации к уровню слушателей не прошли бесследно для «Шехерезады». Шаламов утверждал, что лагерь неисцелимо уродует души всех, кто в нем находится, да и сам Лев Николаевич, помнится, говаривал то же самое. Предполагал ли он, что это применимо к нему самому?

Ученый рассказчик вынужден был не только подыскивать понятные слова, избирать привычные для слушателей обороты, но и ориентироваться на психологию слушателей, на их представления о мире. И этот опыт, к сожалению, прочно отпечатался в его собственной психике, закрепился, сказался на творчестве.

Пассажи о неких отчаянно смелых личностях, выламывающихся из социальной системы, не признающих законов (для них законы не писаны), очень близки воровскому фольклору, героизирующему урок, камерным и лагерным быличкам. Идеи, что одним такая «пассионарная» судьба на роду написана, а другим от рождения суждено влачить жалкое существование, оставаясь серой массой, — это ведь исконное убеждение урок, философское оправдание их паразитизма — ну, такая у них вольнолюбивая разбойная натура! Для урок характерно и убеждение в собственном рыцарстве, в том, что им присущи товарищество, взаимная выручка, «антиэгоистическая» мораль. На деле воровской мир отличается исключительной жестокостью, черствостью и отсутствием жалости — а разве не тем же отдают геополитические и этногенетические принципы Л. Н. Гумилева? Это им, уркам, люмпенам, свойственны черная зависть, злоба и презрение к богатым-«торгашам», безусловное недоверие и ненависть к инородцам — всем этим чуркам, чучмекам, зверям, жидюгам, хохлам, а на периферии гигантской империи — и к москалям. Что ни говори, а Гумилев, увы, потрафляет этим чувствам, льстит низшим слоям коллективного самосознания.

Его теория этногенеза и пассионарности родилась как выражение психологии люмпенов. А так как наше общество за семь последних десятилетий сильно люмпенизировалось, то в нем создалась база для быстрого и некритического восприятия проповедей Л. Н. Гумилева.

И в этом — не Гумилева винить. Но нельзя и молчать.

10. Dixi et animam levavi. Мне очень не хотелось браться за эту статью. Долго не мог решиться. Тяжко и горестно обрушивать столь резкую критику на своего доброго знакомого Льва Николаевича Гумилева — человека ярко талантливого, долго подвергавшегося несправедливым преследованиям, прошедшего сквозь ад и сохранившего все же способности к творчеству. Человека, неизменно приветливого, за всю жизнь не сказавшего мне худого слова.

Зачем я пишу? Чтобы переубедить Льва Николаевича? Доказать ему, что он не прав, добиться от него отречения от его идей? Так не бывает, и я не настолько наивен. Расстроить его, лишить духа и самообладания? Слава богу, он выдержал уже не мало нападков в те времена, когда осуждения в печати были по-настоящему опасны. Отнять у него поддержку его адептов, его аудитории? Пустые надежды. Его почитатели — свято верующие. Более того, у них потребность в этой вере, в этих откровениях, в этих простых и романтических объяснениях. Этим людям ничего не докажешь, только обозлишь.

Тогда зачем же?

Раньше упражнения Л. Н. Гумилева в этногенетике казались мне безобидными. Думалось: ну, пусть потешится пожилой и много страдавший человек с исковерканной судьбой, коль скоро нашлось занятие, доставляющее ему радость. Но в последние несколько лет стало ясно: это тема, которой играть нельзя. Не к мифическим рубцам космического луча прихлынула кровь — сочатся кровью межнациональные конфликты в разных местах нашей страны, они сливаются уже в потоки крови. В межэтнических отношениях нужна, как нигде, сдержанность, осторожность, деликатность и ясность.

Я пишу прежде всего для тех (а их очень много), кто, догадываясь, что проповеди Гумилева ненаучны и опасны, затрудняются сформулировать, в чем их порочность. Я пишу также для тех, кому решительно не нравятся гумилевские диагнозы и рецепты, но кому, как и мне, импонирует сам Гумилев, для тех, кто, страдая от его все более одиозных выступлений, хотел бы отсеять в них плевелы от злаков, увидеть в его творчестве и основания для своей симпатии. Я пишу также для весьма многочисленных читателей, не сумевших составить собственное мнение, мучительно колеблющихся, готовых взвесить аргументы. У них есть доступные рядовому читателю книги Гумилева, но нет столь же доступно изложенных контраргументов.

И где-то в глубине души у меня все же теплится надежда, что и сам Лев Николаевич, зная меня как человека, который никогда не был ему врагом, хотя бы задумается, постарается еще раз проверить свои методы, свои факты и свои аргументы. Основания для такой надежды содержатся в книге самого Л. Н. Гумилева. Он ведь, проявив мудрость, высказал допущение: «И то, что пишу я, вероятно, будет через полвека переосмыслено, но это и есть развитие науки» (с. 70).

Книга его написана на рубеже 60-х и 70-х, но идея пассионарности, по его собственному признанию, пришла к нему в марте 1939-го, более пятидесяти лет назад (это когда имя Пассионарии — Долорес Ибаррури — еще звучало набатным призывом). Не настала ли пора переосмысления?

Л. Н. Гумилев подвел итог своему жизненному пути, написав «Автонекролог» («Знамя», 1988, № 4). Он дал, таким образом, понять, что переделывать поздно, все свершено. А между тем жизнь все-таки продолжается. Возможно, еще не поздно написать и «Авторецензию» на труды, в науке уже пережившие свое время.

6. Евреи и казаки

Пархатые большевистские казаки? Это нечто новое!

Макс Отто фон Штирлиц

[Эту статью я написал для своей колонки в газете ученых «Троицкий вариант», где я колумнист. Она была напечатана в № 15 (59) за 3 авг. 2010 г. Некоторые пассажи повторяют мою приведенную выше лекцию, но ради связности текста я их не опускаю.]

Свою лекцию об этносе в курсе «Основ культурной антропологии» я начинал с вопроса:

– Как по-вашему, какой я национальности?

Неуверенные голоса с мест:

– Вроде, немец?...

– Нет, скорее еврей.

– Как вы это определили? — спрашиваю.

– *Фамилия немецкая...*

– *Но имя и отчество еврейские.*

– *Ну и какие-то внешние признаки: брюнет, нос с горбинкой, глаза навывкате...*

Я продолжал:

– Фамилия моя может читаться с немецкого, может с еврейского-йидиш, который есть в сущности диалект немецкого. Что касается имени и отчества, то имя чисто русское: Лев Толстой, Лев Гумилев, Лев Пушкин — это имя носили дед, дядюшка и брат поэта. Хотя происходит оно из греческого Леон (что означало льва), которое на Руси произносилось Левон (русские избегали зияния гласных). Но после того, как Лев Толстой высказался против антисемитских погромов, имя стало очень популярным среди российских евреев. Отчество, конечно, библейское, а значит, еврейское, но вместе с другими библейскими именами — Иоанн (Иван), Иосиф, Яков, Мария, Гавриил, Даниил — оно было распространено и среди прочих наций, в том числе среди англичан и американцев (Сэмьюел, дядя Сэм) и среди русских — отсюда русская фамилия Самойловых.

По паспорту я действительно еврей. Сказывается ли это как-то на моем поведении? На моих идейных позициях? На моем социальном положении? ... (Молчание.)

Заговodka в том, что я не чувствую себя евреем. Точнее, чувствую лишь иногда — когда сталкиваюсь с неудобствами, с проявлениями антисемитизма (это бывает крайне редко). В остальном же я русский. Русский язык — мой родной, это мой первый язык, язык моего детства. Я говорю на нескольких языках, но еврейского среди них нет — ни йидиш (языка восточноевропейских евреев), ни иврит (реконструированного по древнееврейскому языку Израиля). Не было практической надобности изучать эти языки — нужнее были английский, немецкий, европейские. Я родился в Белоруссии, воспитан в русской культуре, мой дом — в Петербурге. Иудейской религии не придерживаюсь, потому как вообще атеист, и отец, и дед были атеистами.

Дед жил в Варшаве. До того, как стал фабрикантом, был заводилой в компании поляков, русских, евреев и стоявших в Варшаве казаков. За продолки, чувствительные для религии, был отлучен от синагоги. Отец поступил в Варшавский университет, а окончил его уже в Ростове на Дону: при наступлении немцев университет был эвакуирован, да там и остался до сих пор (в Варшаве создан поляками новый). По окончании оживил семейные связи с казаками — поступил в кавалерийскую школу, весь выпуск которой вступил в Добровольческую армию Деникина. С ней (с белыми то есть) и прошел Гражданскую войну. Но в конце ее перешел на сторону красных (с Врангелем в Крым не пошел).

Мои ближайшие друзья в основном русские. В Израиле евреев, прибывших из Советского Союза зовут русскими — они в Израиле говорят по-русски, чи-

тают (и издают) русские газеты, слушают русское радио, поют русские песни. В Америке американцы не различают среди приехавших из России русских и евреев — все они для американцев русские. Во всех странах, куда я приезжал с лекциями, я — русский ученый.

Исаак Левитан — русский художник (как и армянин Айвазовский); Павел Антокольский — русский скульптор; основатели Московской и Петербургской консерваторий братья Рубинштейны — русские музыканты; для всего мира Блок, Пастернак, Мандельштам, Бродский — русские поэты, Бабель и Эренбург — русские писатели. Вот Шолом Алейхем — еврейский писатель (он писал на еврейском для евреев), а они — русские писатели.

Те евреи, которые уехали в Израиль, сделали это не по этническим причинам, а по политическим. Бежали от притеснений, от экономических неурядиц, от неудобного для жизни режима. Как многие из них говорили, — ради детей. Значительная часть использовала выезд в Израиль как трамплин для эмиграции в Америку. Оставшиеся в Израиле (их много) постепенно будут включаться в народ Израиля, но очень долго будут в нем иммигрантами. Вот их дети органично войдут в народ Израиля. А те евреи, которые остались здесь, принадлежат русскому народу. Они различимы в русском народе, как различимы некоторые другие его части. Среди русского народа евреи сейчас — нечто вроде касты. Подобно казакам, но без выделенной территории. Как и тех, их отличает и объединяет особая историческая судьба. Есть у евреев и некоторые другие отличия: предпочитаемые профессии, опознаваемые фамилии, отличимые от остальной массы физические особенности. Но это всё.

Кстати, связь евреев с казаками не такая уж парадоксальная, как кажется. Это на нас воздействует воспоминание о революционной ситуации, когда казаки были в основном опорой царского режима, а евреев было много среди революционных вождей. Но не все евреи были за большевиков, многие были за Временное правительство. А исследования архивов Запорожской сечи, проведенные еще при советской власти, показали, что многие документы сечевиков написаны по-украински еврейскими буквами. С этим согласуется то, что археологи раскопали на территории казаков, бежавших от царского администрирования на турецкую тогда землю Северного Причерноморья, еврейские могилы, причем не рядовых евреев. Стало быть, евреи жили среди казаков и те пользовались их грамотностью. На картине Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану» для реалистичности не хватает еврейского писца.

Так что кто я по национальности? Я — русский еврейского происхождения. Как Пушкин — русский частично «эфиопского» происхождения. Как Фонвизин, Фет и Брюллов — русские немецкого происхождения. Как Тургенев, Рахманинов, Карамзин и Аксаков — русские татарского происхождения. У русского композитора Чайковского один дед — француз, другой — из поляков. Автор классического словаря русского языка Даль — сын датчанина и полунемки, полушведки. Циолковский и Высоцкий, Дзержинский, Тухачевский и Рокоссовский — польские фамилии. Брюсов? Нет, шотландское звучание его фамилии обманчиво: его дед из крепостных графа Брюса, петровского сподвижника. Этот-то был из Шотландии. Но вот Лермонтов, скорее всего, не без оснований вел свое происхождение от выходца из Шотландии Лермонта (хотя звучание фамилии — французское). Я уж не говорю обо всех Рюриковичах — датского или шведского происхождения (варяги). Русский народ обладает большими способностями ассимиляции инородных включений. В этом его особенность, его преимущество и его сила. Гонители инородцев были на Руси всегда, но всегда они выступали, в сущности, против торного исторического пути русского народа.

Парадоксальным образом «Россия для русских» означает «Россия без русских», потому что обособление и изоляция противоречат природе русского народа, его коренным историческим традициям. Включения инородцев — это его существенный источник роста. Русский народ всегда вбирал в себя все народы, попадавшие в его среду. Меря, мурома, весь, чудь, голядь, половцы, торки, берендеи — где они все? Они сейчас русские. В историческое время в русский народ вошли частью скандинавы, татары, немцы, поляки, евреи, цыгане, корейцы (не говорю уж об украинцах и белорусах) — и все внесли в русскую культуру и в русский характер свои черты. Откуда нерусские названия наших городов — Москва, Рязань, Вологда, Пенза, Кострома, Кинешма, Вязьма, Тверь, Воронеж, Кимры, Арзамас? Бесспорно русские народные кумиры — полуеврей Высоцкий, грузин Окуджава, кореец Цой. На моей лестнице полвека назад выделялся мальчик-бурят. Сейчас подросли и женятся его дети — русские, неотличимые от окружения. Ныне создалась ситуация, в которой есть очередные претенденты на вхождение в русский народ — таджики, узбеки, молдаване, чеченцы. Нужно не пугаться этого (заполонят наркотиками или зальют вином!), а отнестись к ним с пониманием, облегчить им нормальную ассимиляцию. Хотите или не хотите, это и будут новые русские будущего.

[Добавлю: я отнюдь не сторонник расширения экономической иммиграции бывших соседей по СССР, тем более, что она сопутствует эмиграции русских. Причем бежит из страны интеллект, а «наезжает» необразованная рабочая сила. Но и русская рабочая сила тоже уезжала на заработки в Европу. Качественный состав населения ухудшается. Конечно, через сотни лет население сможет усовершенствоваться, даже генетические свойства изменчивы. Но за эти сотни лет будут утеряны многие позиции, если вообще сохранится страна и народ. Поэтому наряду с тактичной ассимиляцией прибывших разумно было бы принять меры к прекращению затопляющего потока иммиграции в страну и сбережению ее коренного населения.]

7. Этнография русских и некоторые ее проблемы

[Эта рецензия на учебник Петербургского университета помещена в Вестнике данного университета в 2012 году.]

В нынешнем обострении споров о национальном статусе русских — кто русские, а кто россияне, кто русскоговорящие и кто русскомыслящие, арийцы ли русские, и даже славяне ли русские — этнография русских стала очень горячей темой. Любопытно заглянуть в учебники.

Пять лет назад, в 2007 г., вышел учебник В. С. Бузина под названием «Этнография русских» (Бузин 2007) — по нему сейчас учат студентов. Учебник является продолжением книги того же автора «Этнография восточных славян», вышедшей за 10 лет до того. Это добротный университетский учебник, дающий огромную информацию, надежную и систематизированную. Автор когда-то был моим студентом. Поэтому мне вдвойне интересно — что сказано в учебнике.

Возможно, если бы я был специалистом по русской этнографии, я нашел бы больше недостатков и предъявил больше претензий, но, будучи археологом, а в культурной антропологии читая литературу по общим проблемам, я из специальных могу лишь отметить чисто оформительские недостатки — на карте этнографических групп и субэтносов русского народа (рис. 8 на с. 74) основной массив помечен буквами *а*, *б* и разъяснен: русская этническая. Почему две буквы, остается неясным. Вообще такую карту надо бы давать в цвете.

Кроме того, почему карта есть только для конца XIX в., а каково распределение нынешнее — предполагается, что это читателям и учащимся не интересно?

Тут мы подходим к концепции книги, к основным понятиям в ее основе и к археологической составляющей, а в этих вопросах у меня есть что сказать и в чем усомниться.

Старый спор терминов «этнография» и «этнология» автор трактует с консервативных позиций. В отечестве привился термин «этнография», на Западе — «этнология», первый подчеркивает описательный подход, второй — изыскательный и объяснительный. Автор к модным ныне переменам первого на второй «по западному образцу» относится осудительно. «...В последнее время, слава Богу, происходит постепенное возвращение на круги своя» (с. 5). Что-то не заметил. Да, музеи называются по-прежнему — этнографическими, это понятно: для них важнее репрезентативная и описательная сторона работы. Издание называется «Этнографическим обозрением» чтобы восстановить свою древность и удержать традицию. Более того, обсуждаемый учебник вполне по праву удерживает в своем названии термин «этнография» — ведь он посвящен прежде всего описанию культуры русского народа.

Но нетрудно показать, что в нем как раз не хватает этнологии — проникновения в суть предмета, теоретической глубины, этнологической мысли. Не хватает того, что является продуктом этнологии и культурной антропологии, то есть сравнительной культурологии.

Начать хотя бы с того, кого относить к русскому народу, сколько людей в нем числить и какие территории считать русскими. Автор приводит цифры, опирающиеся на официальные отчеты, результаты переписей, труды известных ученых. Но нигде не раскрывает основания приведенных чисел, а они у разных авторов разные, и на каких основаниях стоит основываться и почему, остается неясным.

Вопрос не такой простой, как кажется.

В расовом отношении русские люди очень различны — нет русской расы, что бы ни говорили об этом доморожденные националистические расоведы-любители. В этом все профессиональные антропологи едины. Можно отличить расовый состав русского народа от расового состава, скажем, немцев или итальянцев, но от соседей отличить русских значительно труднее, многие принадлежат к одному физическому типу с соседями. А единой русской расы нет.

Не связывает русских и единая территория. Есть русские в ближнем зарубежье, есть и в Америке.

Православная религия? Но большей частью население центрального ядра нашей страны ее в основном не соблюдает, много атеистов и агностиков,

а с другой стороны, есть «коренные русские», перешедшие в мусульманство, в поклонение Кришне, в неоязычество. Чаадаев был католиком. Есть несколько деревень в черноземной России, мужики которых придерживались с давних времен иудейской веры и значительная часть которых сбежала от преследований в Израиль.

Можно сказать, что русских связывает и отличает один язык, но на нем говорят без всякого акцента (для них он родной) и многие татары, корейцы, евреи, поляки, немцы, украинцы, казахи. В Киргизии это второй государственный, в Израиле практически тоже, вопрос о том, сделать ли его таким, обсуждается в Латвии.

Считать ли русскими тех представителей эмиграции, которые уже не знают русский язык? А тех евреев, которые перешли в православие («выкресты») и тех, что воспитаны в русской культуре и чисто говорят по-русски? Даже сменили имена и фамилии, чтобы не отличаться от окружения? Они русские или маскируются под русских и нужно их разоблачать?

С другой стороны, как тогда быть с Пушкиным, Чайковским, Фонвизиным, Тургеневым, Брюлловым и многими выдающимися деятелями русской культуры, у которых [в той или иной мере] явно нерусская кровь, не говоря уж о Левитане, Антокольском, Пастернаке и т. д.? Да и Романовы из-за постоянных династических браков с немецкими принцессами к концу династии были почти чистыми немцами.

Станут ли русскими осевшие здесь таджики, когда ассимилируются и обрусеют? Нет? Но ведь стали же русскими финские племена меря, мурома, весь, литовская голядь? Куда девались хазары, половцы, торки, берендеи и печенеги? Грузины ли Окуджава, Басилашвили и Сванидзе? Откуда у русских польские, немецкие, татарские и украинские фамилии, а у белорусов — итальянские (типа Гастелло)? Откуда у русского детского писателя фамилия Бианки? Не превращается ли понятие «чисто русский человек» (в смысле: человек исключительно русских кровей) в нонсенс?

А как быть с потомками смешанных браков, которых все больше и которые неотличимы по культуре и языку от русской среды?

Массовая ассимиляция народов, вошедших в Российское государство, оказывается важной исторической чертой русского народа, значительной основой его роста, а инородные примеси — его неотъемлемой составляющей. Учитывая, что генеральная демографическая особенность современного русского народа есть падение рождаемости, и любые административные меры могут лишь немного его уменьшить, он сможет поддерживать свою численность в дальнейшем лишь за счет инородных примесей.

Словом, тут мы упираемся в проблему, что такое этнос. Российские этнологи все больше склоняются к тому, что этнос — это категория прежде всего социальной психологии: общность самосознания и представление об общности происхождения (не обязательно действительная общность происхождения). [Скорее об общности исторической судьбы.] Но это категория очень зыбкая и в значительной мере субъективная и переменчивая. Поэтому в подсчетах нужно определить какие-то условные параметры, которые принять за критерии подсчета.

Из европейских государств, кажется, только в нацистской Германии и Советском Союзе за критерий принималось биологическое происхождение. На народном уровне это действует у нас и сейчас, хотя официально национальность теперь вообще не отмечается в паспорте. При смешанных браках и на народном уровне осуществляется свободный выбор из двух национальностей (родителей), но часто выбирают третью — окружающего населения. Указание в переписи как критерий не очень надежно отражает реальность — политические соображения могут побудить людей указывать переписчику не ту национальность, которую они сами в глубине души признают своей и с которой солидаризируются. А эта солидарность является единственной реальностью, ради которой есть смысл вообще определять этнос. Потому что это единственное, к чему апеллируют при основании национальных государств.

Какие территории считать русскими? Те, на которых русских большинство? Тогда придется Крым и Восточную Украину считать русскими, да и некоторые другие участки ближнего зарубежья, отошедшие другим государствам. Рига окажется спорной: там половина населения русские. Ну, тут появляется спасительное словцо «исконные территории». Но где исконно проживали русские, до сих пор идут споры. Археология может достоверно проследить проживание предков русских (а предки эти восточные славяне) только с VI века н. э. ... на Украине. До этого порога — уже гипотезы.

Но, во-первых, восточные славяне — это общие предки русских, украинцев и белорусов. Во-вторых, почему признавать предками только тех, кто дал потомкам свой язык, а не тех, кто дал материальную культуру и физический облик? Кого должно считать своими предками население, сменившее язык? Для болгар, скажем, предки — те тюркоязычные булгары, которые пришли с Волги и дали народу свое имя, династию и часть культурного багажа, но также и местное славянское население, чей язык возобладали. Венгры пришли на Дунай с Зауралья и сохранили свой пришлый язык, но физически они совершенно не похожи на своих ближайших языковых родственников — хантов и манси. В основном это старое местное европейское население, принявшее

язык пришельцев и растворившее их в себе. В-третьих, если давность проживания класть в основу правомерности владения территориями, то как быть с Калининградом, который до Великой Отечественной войны никогда не принадлежал русским. Более того, как быть с Петербургом, который только триста лет — русский, а до того эта земля принадлежала шведам (Ландскрона и Ниеншанц), еще раньше — финноязычным племенам. Да и территорию Москвы чуть больше тысячи лет тому назад занимало литовское племя голядь. С другой стороны, славяне населяли землю нынешнего Берлина, Одер был славянской рекой, да и нижний Дунай тоже. Но и германские племена (прежде всего готы) там жилали и даже имели свое государство на Днепре.

Очевидно, понятие исконности не научно. Люди живут на земле своей родины не по праву исконности или древности, а на основании живой традиции и системы международных договоров.

Обратимся к структуре книги. Она делится на три части: 1) Русский этнос в современном мире (этому разделу уделено 12 стр.), 2) Этногенез и этническая история русского народа (84 стр.), и 3) Традиционная культура русского народа (309 стр.).

Бросается в глаза, что современному этническому состоянию русского народа уделено в десятки раз меньше внимания, чем его этногенезу и этнической истории вместе с традиционной культурой. Современная культура народа практически выпала из рассмотрения. По-видимому, она рассматривается автором как неразличимая часть глобальной современной культуры, не заслуживающая особого внимания. Между тем представление об особой духовности русского народа — это констатация реальности или миф? Самая читающая страна — это реальность или сказки о прошлом? А самый пьющий народ? Всё — от миссионерских идей *интеллигенции* (само это слово сформировалось в России) до облика деревни, от мата до веры, от истинного отношения к церкви до персонификации власти, от отношения к иностранцам и инородцам до отношения к женщине (бьют ли жен), от популярности общественных организаций до уровня пьянства и пользования общественными уборными, — все нужно учесть и описать, чтобы составить себе представление о современном состоянии этноса. Сможет ли иностранец, прочтя учебник Бузина, представить себе, с каким народом он встретится?

В свое время советские идеологи переориентировали этнографию с изучения традиционной культуры на изучение современности, заставляя этнографов идеализировать колхозный строй и советский городской быт, а С. П. Толстов был проводником этой политики. Сейчас наблюдается противоположный крен. Между тем этнография или этнология имеет две задачи: с одной стороны, это

наука источниковедческая, как археология (изучает традиционную культуру этноса как исторический источник), с другой — подобно языкознанию, тоже имеющему два аспекта, это наука практическая, в данном случае социологическая и культурологическая (изучает живую актуальную культуру народа для верной ориентации социальных и политических действий). Автор учебника вправе избрать один из этих аспектов, но тогда, во-первых, нужно было бы оговорить это и отразить в названии (этнография русского народа как исторический источник), а во-вторых, нужно было бы предусмотреть в расписании наличие другого курса, освещающего другой аспект.

Вторая часть учебника содержит два раздела. В одном рассмотрен этногенез, в другом — этническая история. То есть имеется в виду, что этногенез к какому-то времени завершился и началась этническая история. Бузин исходит из следующего положения:

«В истории любого этноса выделяются два этапа: *этногенез* — формирование этноса (фигурально выражаясь, его родословная), он завершается появлением общности людей со своим этническим самосознанием и этнонимом, и *этническая история* — трансформация этноса в ходе его существования — изменения территории обитания, языковые процессы, преобразования в сфере культуры и т. д.» (с. 18).

Этногенез обычно толкуется как происхождение народа. Выделить некий исторический момент, с которого народ считать возникшим, можно лишь в том случае, если приурочить это событие к выделению великорусского языка из более крупной общности, то есть к разделению ее на несколько языков. То есть к выделению великорусского языка из языка восточных славян. Это XIV–XV века. Так Бузин и поступает. Если же русскими считать и народ Киевской Руси (древнерусская народность), то ее существование началось значительно раньше. И вообще, это же все основано только на одном признаке — языке. Если отрешиться от этого ограничения, то формирование этноса — не событие, а процесс. Начало его теряется в отдаленном прошлом, а конец не наступил — процесс продолжается по сей день. В этом процессе можно выделить отдельные события: выделение языка из предшествующего, обретение нынешнего имени, занятие нынешнего ареала и т. п. Но принять каждое из них за начало народа можно только условно.

Этническая история — это история тех признаков народа, которые учитываются при выделении этноса (язык, ареал, физические

характеристики, самосознание, национальный характер и т. п.). Когда она начинается? Да, собственно, у нее нет начала, разве что возникновение человека как вида.

Иными словами, этногенез — это и есть этническая история, только рассмотренная с точки зрения формирования народа.

Перечисляя гипотезы индоевропейской прародины, автор назвал пять — балкано-карпатскую, дунайскую, переднеазиатскую, северобалканско-центральнонаропейскую и циркумпонтийскую. Последняя мне неизвестна (есть лишь циркумпонтийский ареал металлопроизводства), зато не названа очень влиятельная североевропейская, имеющая на мой взгляд много шансов подтвердиться. Говоря об археологических гипотезах локализации славянской прародины, Бузин, к сожалению, не упоминает основного порока археологических гипотез: они не имеют регулярного соответствия генетическим связям языков. Проследивая происхождение каждой археологической культуры, мы обычно получаем веер корней, расходящихся в разные стороны и не знаем, какому отдать преимущество, потому что не гарантировано, что самому мощному из них соответствует языковая преемственность или хотя бы столь же мощный языковой вклад, а также династия, религия и самосознание, не говоря уж об этнониме.

Автор весьма полно и объективно изложил спор о норманнском вкладе, но «теории пассионарности» Л. Н. Гумилева не стоило уделять целую главу, а уж если уделять, учитывая ее необыкновенную популярность у непрофессиональной публики, то, по крайней мере, нужно было сообщить, что она не имеет ни малейшего естественнонаучного подтверждения (на котором настаивал Гумилев). Карты облучения Земли из космоса, якобы порождающего пассионарность, выдуманы, никакой статистики проявлений пассионарности не предъявлено, все остается на почве простых субъективных впечатлений и домыслов. То же касается циклов динамики этноса. Теории, собственно, нет, принимать эти домыслы всерьез нельзя. Это всего лишь любопытные идеи идеолога-диссидента от истории. Они имеют мало отношения к реальному этногенезу и к древней истории, зато характеризуют историю русской мысли XX в.

В одном месте автор пишет, что географическая среда вкупе с хозяйственными занятиями «обусловили формирование основных черт русского национального менталитета — готовность к максимальной концентрации усилий в относительно короткое время, после чего следовал период расслабления» (с. 62). Это не менталитет, это национальный характер. Литература по этому

вопросу очень обильна, и проблема эта чрезвычайно важна для вопроса об облике и роли этноса. Жаль, что автор уделил ей столь мало места.

Учебник издан тиражом в 800 экз. Вероятно, через несколько лет потребуются переиздание. Надеюсь, что мои заметки пригодятся автору при подготовке нового издания.

8. Этнографическая наука и национальный вопрос

[В 2112 году я занимался окончательной подготовкой к печати своей «Истории антропологических учений» и обновлял ее содержание. При этом мое внимание привлекли работы многолетнего директора Института этнологии РАН В. А. Тишкова. Я и раньше интересовался его работами, его поисками новых путей для российской этнологической науки, чему я симпатизирую, хотя постмодернистские веяния всегда вызывали у меня настороженность. Но сейчас, обобщая ситуацию в науке, я должен был сформулировать для себя суть своих расхождений с этнологическим конструктивизмом В. А. Тишкова. Это я и сделал прежде всего в своей колонке в газете ученых «Троицкий вариант», в № 3 (97) за 7 февр. 2012 г.]

Что статья В. В. Путина по национальному вопросу не содержит ответов, заметил даже глава его избирательного штаба С. С. Говорухин (в дискуссии на первом телеканале «В контексте»). Она содержит только пожелания. Это страстные пожелания сохранить евразийскую империю, еще раз сплотить все ее народы вокруг «старшего брата», без их опроса — хотят ли они жить вечно именно в такой семье. И средства для этого старые: запрет сепаратистских национальных движений, сдерживание миграций, внешних и внутренних (этакие черты оседлости), культурная ассимиляция. Всё — как в царской России, а для этого требуется самодержавие с православием и народностью (в стиле

Дугина или Проханова) — либо в форме президентской с преемником, либо в царской с наследником. Напомню, чем это окончилось и что до 17-го года осталась одна пятилетка.

Путин оставил национальный вопрос России без рационального решения в своей избирательной программе, что немудрено. Это вообще трудный вопрос. Для его научного решения нужен беспристрастный анализ, а человек, обуянный страстной тоской по имперскому величию, оплакивающий распад Союза как «геополитическую катастрофу века», не может рассуждать объективно. Но есть же у нас Академия наук, а в ней есть Институт антропологии и этнографии, глубоко и широко изучающий эту тематику.

Во главе этого Института вот уже четверть века без малого стоит видный ученый Валерий Александрович Тишков, человек очень контрастирующий с премьер-министром. Если тот имеет за плечами гладкую кагебешную карьеру, то этот происходит из семьи плененного немцами солдата, и всякий живший в те времена понимает, чего ему стоило пробиться в научную элиту. Отец ученого чудом избежал лагерей, притаившись в глубинке на Урале, но пребывал в постоянном стрессе. В этой обстановке его сын слушал западное радио, окончил школу с золотой медалью и поступил на истфак Московского университета. По окончании преподавал в пединституте на крайнем севере — в Магадане, среди северных народов. С 1973 г. принят в Академию наук и не раз выезжал в Канаду и США — изучал национальные отношения в Канаде. Докторская диссертация — по истории Канады. С 1989 г. возглавил Институт этнологии и антропологии вместо тяжело больного ак. Ю. В. Бромлея.

Блестяще образованный историк, он не был подвержен советскому этнографическому догматизму и увлекся *социальным конструктивизмом*, с 1960-х годов развивавшимся на Западе (П. Л. Бергер и Т. Лакмэн, П. Бурдьё, М. Фуко). Ученые этого толка считают основные социальные понятия не объективным отражением явлений социального мира, а умственными конструкциями исследователей. Конечно, на наших понятиях сказывается умственная деятельность исследователей, их теории и опыт, но на то мы и ученые, чтобы уметь устранять следы своего воздействия на объект. Поскольку Тишков имел опыт изучения французского сепаратизма и индейских притязаний в Канаде, его быстро стали включать в разные правительственные комиссии и комитеты новой России, раздираемой национальными войнами и противоречиями. Он участвовал в попытках уладить Карабахский конфликт, погасить чеченскую войну и т. п. (есть его книги с анализом чеченской войны). У него развилось естественное отторжение национализма и своеобразная неприязнь к самому понятию этноса. Стала выходить серия его статей, среди которых выделяется

«Забыть о нации» (1999), и в завершение этой серии — книга «Реквием по этносу» (2003).

Против него выступили многие этнографы и особенно философы. Тишков в книге с юмором вспоминает (2003: 10) о настороженности по отношению к работам

«главного в стране постмодерниста и конструктивиста: «А Вы правда не признаете существование этносов?» — с боязливым придыханием спросил меня однажды один из студентов кафедры этнологии МГУ и как-то импульсивно отстранился. «Ну как же, я Вас знаю, и что — этносов нет?» — сказал при нашей первой встрече тогдашний руководитель «грефовского» Центра стратегических разработок Дмитрий Мезенцев, нынешний член Совета Федерации» (потом губернатор и недавний кандидат в президенты России. — Л. К.).

Критика Тишкова направлена на понимание этноса как некоего организма, как бы физического тела, имеющего четкие границы (*эссенциалистская концепция этноса*) и охватывающего всех людей, к нему принадлежащих. Он издевается над попытками распределить всех граждан по этносам, построить иерархию этносов, выяснить их происхождение, тогда как в многонациональном государстве и вообще в условиях глобализации есть люди смешанного происхождения, их становится всё больше, есть люди, сменившие и сменяющие свой этнос — усвоившие другой язык и другие нормы поведения, сменившие фамилию и имя, есть масса форм ассимиляции — это этнические процессы современности. Попытки воссоздать этносы, искусственно сколотить этническую солидарность, имеющую приоритет над всеми другими солидарностями, ведет к всплескам национализма и сепаратизма. Этнос — дело социального сознания и самосознания. Поэтому в большой мере это результат искусственного формирования, конструирования (*концепция социального конструирования*). Формирование этносов, не совпадающих с государственными границами, это опасная политическая игра, порождающая кровавые конфликты.

То же и нация, хотя у нее более тесная привязка к государственным границам. В интервью журналу «Дружба народов» (2000) Тишков назвал нации воображаемыми общностями и заявил:

«Мы выделили общности, которых в реальности не существует. Более того, мы снабдили их определенными правами, которых быть не должно, потому что и самих-то этих общностей на самом деле

нет. Я считаю, что нам нужно отказаться от несостоятельной формулировки нации как высшей формы этнической общности. И то и другое является метафорой, или очень плохой, неоперациональной академической дефиницией, или традицией политического языка, за которой стоит гораздо более сложная реальность. Вопрос, что такое нация в этническом смысле, — это вопрос процедуры и подхода».

Против эссенциалистской концепции этноса Тишков выдвинул популярную на Западе концепцию *этничности* (Тишков 1997). Он отвергает ее «примордиалистский» вариант, при котором этничность рассматривается как первичная, коренящаяся в природе человека потребность в идентичности с крупным коллективом родственных, близко схожих по культуре и языку людей. Гораздо более склонен он к конструктивистскому (*инструменталистскому*) варианту, при котором, по Бурдье, этничность рассматривается как «символический капитал», пребывающий в спящем состоянии, но в нужный момент он вызывается к жизни и становится «реальным» капиталом — используется для коллективного добывания позиций в жизни. В собственной интерпретации Тишкова этничность — это форма социальной организации. При этом суть понятия этничности остается у Тишкова несколько туманной.

Несмотря на слабую поддержку в научном мире России, концепция Тишкова была поддержана властями, которые нашли в ней пригодное идеологическое средство для борьбы с растущим национализмом, особенно — с сепаратизмом национальных окраин. Это одна из важных причин, по которой Тишков в условиях авторитаризма, когда наука жестко контролируется государством, так долго управляет институтом. С точки зрения Тишкова Советский Союз распался не потому, что все империи в конце концов распадаются, не потому, что одна нация доминировала над остальными, а потому, что в сознании советских граждан популяризировались и господствовали эссенциалистские (возводящие в реалии) представления об этносе, приравнивавшие его к нации, то есть что нормой считались национальные государства.

Мне представляется, что многолетнее культивирование у нас концепции этничности В. А. Тишкова повлияло на тех, кто обрабатывал статью В. В. Путина по национальному вопросу (или на самого премьер-министра, если он не пользовался помощью спичрайтеров). Между тем, концепция этничности выросла из американской политической практики и теории «плавильного котла», и даже в этих специфических условиях не вполне себя оправдывает. Американский народ США сложился из эмигрантов разных наций — англичан, ирландцев, немцев, итальянцев, евреев, русских и др., живущих вперемежку

и наложенных на малочисленные остатки коренного населения и всё это переслоено группами недавних африканских рабов. Ни одна из представленных тут народностей не имела достаточной компактности для образования основного этноса (и то язык дали англо-саксы). Пришлось сваривать нацию в государственных границах, как в плавильном котле. Это совершенно непохоже на Россию, где часть народов растворилась в русском (меря, мурома, чудь, голядь и другие), но часть, на менее заселенной русскими территории, осталась цельными этносами — отнюдь не воображаемыми, со своими территориями. На Америку похожи только мегаполисы.

Что касается критического анализа у Тишкова традиционных концепций этноса, то в нем много справедливого. Но для устранения жесткости и упрощенности бытующих толкований незачем устранять само понятие этноса (кстати, и понятие этничности образовано от него же). Его понимание у сторонников опоры на идею общего происхождения, под которую подбираются разные материальные подтверждения, вовсе не предполагает былой жесткости. Вполне возможны этносы с диффузными границами (общее происхождение не обязательно предусматривает общего биологического предка), со смешанными и переходными группами, с адаптацией, ассимиляцией и неопределенными состояниями. Ночь и день не имеют четкой границы, но отрицать их существование нельзя.

Русское слово «народ» обладает несколькими разными значениями — это и совокупность людей (население) страны, отличающееся от соседних групп языком, обычаями, а иногда и физическим обликом (расовыми особенностями), и массы простонародья в отличие от верхних классов, от элиты, и племенная общность, объединяемая и отличная от других своим происхождением и исторической судьбой. Для удобства анализа стали различать несколько понятий (взяв обозначения из греческого и латыни): «этнос» — это народ в первом смысле (группа, отличная от других по языку, обычаям, религии и проч.) — отсюда слова «этнография», «этнология», «этногенез»; «демос» — это народ во втором смысле (социальном — как народные массы), родственные слова — демократия, демография; «нация» — это граждане (или — в монархиях — подданные) государства. Национальностью называют и этнос, когда он созревает до политического самосознания и начинает борьбу за создание собственного государства.

Общее понимание таково. А вот определить точно, что такое этнос оказалось очень трудно. Дело в том, что конкретные этносы отличаются друг от друга то одним признаком, то другим, то третьим, то несколькими признаками (всякий раз разными), то одним. У австрийцев и немцев язык один, но это разные нации и, как некоторые настаивают, этносы. Сербы отличаются от хорватов только

религией, а язык у них один. Зато швейцарцы составляют один этнос, а говорят на трех разных языках. Русские говорят на одном языке, но северные русские по физическому облику сильно отличаются (в массе) от южных. Еще сложнее с индивидуальным определением. В последнее время национальности особенно перепутываются, появляется много людей, имеющих два родных языка (у В. В. Познера даже три — русский, французский и английский, хотя фамилия еврейская), много людей находящихся в состоянии ассимиляции — перехода из одной нации в другую (скажем, многие российские граждане немецкого, еврейского, польского и корейского происхождения, практически являются русскими), много детей от смешанных браков.

Я не стану здесь излагать разные предложения по определению этноса — их много. Укажу лишь то, которое мне представляется наиболее соответствующим реальности. Этнос — это большая группа людей, объединяемых убеждением (не обязательно верным) в своем общем происхождении. Они основываются на некоторых реальных признаках, а вот сколько их и какие это признаки — дело случая. В одних случаях язык, в других религия, в третьих расовые особенности, и т. д. Эта традиция вызывает чувства солидарности и взаимозависимости, которые в благополучных условиях придерживаются общих празднеств и обычаев и этим ограничиваются, а в условиях тяжелых ведут к конфликтам с другими этносами, и в этих случаях требуется выделение в самостоятельные государства. Во всяком жизнеспособном многонациональном государстве (в бывших империях) за ними должно быть признано это право — как право на национально-сепаратистские движения.

Но самостоятельное существование возможно только при раздельном расселении, по разным территориям. Когда же его нет, конфликты вызываются в первую очередь тем, что в традициях разных народов разная приверженность к профессиям, соответственно развиваются разные способности. Одни коневоды и всадники, другие лесные охотники. Одни кочевники, другие земледельцы. Часто диаспоры, оторванные от своей земли, развивают приверженность к торговле и каким-либо ремеслам. Евреи за тысячи лет в Европе развили приверженность к книжным профессиям, к торговле и ремеслам, математике и медицине. Цыгане — к гаданию и таборной жизни. Ассирийцы в России почти все — холодные сапожники. Немцы очень часто здесь были мельниками и булочниками. И т. д. А так как доходность и престижность разных профессий разная и меняется, то это тоже почва для межнациональных конфликтов.

Гасить подобные конфликты можно только социальными мерами — ограничениями, а помощью отстающим (и разумеется немедленным и справедливым разбором случаев злоупотреблений). Различные традиции и навыки есть,

поэтому этническая преступность есть, но бороться с ней надо не переносом наказаний или подозрений на всю нацию или весь этнос, а искоренением причин этих видов преступности.

Можно ли в этих условиях предвидеть будущее преобладание одного из народов федерации над другими и их ассимиляцию в его лоне? Вполне возможно, и я не буду сейчас размышлять над тем, хорошо это или плохо. Кто-то сочтет, что это прогресс, а кому-то это претит. Но ясно, что способствовать этому будут ни в коем случае не запреты и ограничения, а способность народа, претендующего на экспансию своих ценностей, развивать свой язык, свои литературу и культуру и ДАРИТЬ их большими охапками своим соседям и гостям.

II. Косинна и косиннизм

[В этой части книги я помещаю три статьи, относящиеся к деятельности известного археолога Косинны и к его учению. Это был очень противоречивый ученый, и многие его теоретические положения до сих пор не отошли в прошлое, став лишь достоянием истории науки, — они живут, действуют, опровергаются и применяются. Поскольку они относятся прежде всего к проблемам этногенеза и реконструкции миграций и автохтонности, я поместил эту историографическую часть перед частями III и IV, в которых собраны мои теоретические статьи по этногенезу и миграциям. В V части книги некоторые статьи, например, разбирающие работы Р. Гахмана, также касаются его критического отношения к Косинне и могли бы быть помещены в эту часть книги, но там больше задеты конкретные сюжеты.]

Критика учения Косинны изначально, со времен Равдоникаса и Кричевского, была дежурным блюдом советской археологии, но в то же время его методику активно применяли советские археологи Брюсов и другие. Настало время объективного анализа.

В этой части меньше статей, чем в других частях книги. Но зато первая из этих статей — очень большая. В «Стратуме» она была помещена в рубрике «монография в журнале».]

1. Археология в седле

(Косинна с расстояния в 70 лет)

[Представленная здесь статья, занимающая почти всю вторую часть книги, написана более 40 лет назад и на русском языке не печаталась до 2000 г. Однако в сокращении (аналитическая часть — об учении Косинны как системе — и критика, то есть разделы I,2 + III публикуемого здесь текста) она появилась еще десятилетия назад на немецком языке. Пройдя все положенные цензурные процедуры, она была отослана в Восточную Германию и напечатана в 1974 г. журнале «Ярбух фюр миттельдейче форгешихте» («Ежегодник по центральнонемецкой преистории») под названием «Косинна с расстояния в сорок лет» (Klejn 1974), обратив на себя внимание в немецкой археологии — обеих Германий.

История этой статьи 1974 г. любопытна. Сначала, в 1961 г., я написал резко критическую статью о миграционных построениях Брюсова («Двенадцать возражений А. Я. Брюсову»). Статью никуда не принимали (о долгих мытарствах с ней я пишу в своих мемуарах — см. Клейн 2007, гл. 25). Что статью с критикой Брюсова не приняли в «Советскую Археологию», вполне понятно. А. Я. Брюсов, в 60-е годы работавший заместителем редактора «Советской Археологии», был одним из столпов советской археологии, создателем теоретических основ ее концепции археологической культуры как

эквивалента этноса. Он применял методику Косинны, реконструируя миграции по одному лишь типу (боевым топорам-молотам). Только он нацеливал их в противоположном направлении: индоевропейцы у него расселялись не с севера Центральной Европы, а из наших степей. Почитание Брюсова и господство созданной им концепции продолжалось и после его смерти (он умер в 1966 г.).

Натолкнувшись на стену в советской литературе, я решил использовать свое знакомство с немецким археологом и издателем журнала Г. Беренсом и в бытность свою в ГДР в 1970 г. договорился с ним о помещении в его журнале моей статьи ... о Косинне. Не о Брюсове (на это он тоже вряд ли решился бы), а о Косинне — подлинном вдохновителе Брюсова.

В своей книге «Феномен советской археологии» (Клейн 1993: 85–86) я упоминал казус с этой статьей в главе «Чтение между строк» в двух ее разделах — где говорится о двух приемах обхода цензуры: № 7 («Подмена мишени») и № 9 («Обходной маневр»). Первый из этих приемов там излагается так: если было желание протащить в печать непозволительную критику, то нужно было отыскать среди западных авторов ученого близкого по своим взглядам к

«тому, кто и что были неприкосновенны внутри СССР. И обрушиться на такого западного автора с критикой до полного удовлетворения. Так у меня не приняли в журналы резко критическую статью против миграционных построений А. Я. Брюсова о ямной и катакомбной культурах, совершавших у него фантастическое путешествие из степей в Центральную Европу. Тогда я сделал большую статью с критическим анализом концепции Косинны, методикой которого Брюсов, сам того не замечая, пользовался».

В разделе об «обходном маневре» я пояснял технику отправки статьи за рубеж:

«Конечно, при наличии связей с иностранными учеными и при некотором недостатке бдительности или компетентности в проверяющих инстанциях (это не такая уж редкость) можно было отправить неудобную дома рукопись за границу. правда, проверяющих инстанций была уйма (отправляя как-то работу за границу и собирая нужную документацию, я насчитал полтора десятка подписей), и многих это отпугивало [ну, отпугивало не только это: многие опасались, и не напрасно, вообще иметь слишком много работ за рубежом]. Но именно

многочисленность инстанций парализовала их охотничий запал, избавляя от ответственности: начальные полагались на дальнейшую проверку, последующие — на предыдущую, никому неохота делать лишнюю и скучную работу...

Упомянутую работу о Косинне (с намеками на Брюсова), которую не удавалось поместить в каком-нибудь советском журнале, я отправил в ГДР. В СССР я вряд ли мог бы тогда ее напечатать — уж очень прозрачна была ее направленность (и не только против Брюсова), а вот в ГДР статья, полученная от советского археолога («старшего брата!»), да еще против Косинны, сразу пошла в печать. Статья хорошо работает, на нее часто ссылаются в СССР (несмотря на то что статья пока существует только в немецком варианте).

Да, критика Косинны задевала не только Брюсова. Она подтачивала и методику академика Рыбакова и всю советскую концепцию разработки этногенеза археологическими средствами.

В ГДР никто из археологов этой строго режимной страны не решался выступить со статьей, в которой феномен Косинны анализировался бы столь всесторонне, в которой отмечались бы не только его грехи, но и ценные вклады. Но это сделал советский археолог! Археологи ГДР с энтузиазмом напечатали такую работу «старшего брата». Редактор «Ярбуха» немецкий интеллигент Г. Беренс также стремился обойти коммунистическую цензуру — он впоследствии, эмигрировав, писал об этом в своей книге о гедеэровской археологии (Behrens 1984). Беренс вообще был обособленной фигурой в археологии ГДР — он поддерживал товарищеские связи с археологами ФРГ, что отнюдь не поощрялось. В конце 1970 г. статья была готова, четыре года заняло ее прохождение через рогатки цензуры, перевод и редподготовка.

В феврале 1973 г. Беренс сообщил мне:

«Мы поставили Вашу статью в начало (тома), потому что это важнейшая статья в данном томе нашего ежегодника. Насколько я могу судить по историографической литературе о немецкой преистории, Ваш разбор Косинны — первая статья, рассматривающая феномен Косинны всесторонне. Можно ожидать, что Ваша статья встретит особенный интерес со стороны немецких археологов» (письмо от 6.2.1973).

В ФРГ после денацификации никто из археологов не решился всесторонне рассмотреть учение Косинны, возможны были только критические отзывы, хотя все понимали, что это замалчивание искусственное. Западнонемецкий археолог Гюнтер Смолла назвал это «синдромом Косинны» (Smolla 1980). К тому же, как я и отмечал в статье, в западной половине Германии оказались в основном ученики и соратники Шухардта, а не Косинны. Ученики же Косинны, оказавшись в Восточной Германии, декларировали переход на позиции марксизма. Они еще меньше могли отходить от сплошной критики Косинны

Еще когда моя статья проходила редподготовку, Беренс сообщил о ней в Гейдельберг (ФРГ) ученику Косинны Эрнсту Вале, патриарху западнонемецкой археологии, с которым я и до того уже несколько лет состоял в переписке. Тот проявил вполне понятное любопытство. Но ему было уже более 80 лет, и он опасался не дожить до публикации этой статьи. Беренс послал ему рукопись для ознакомления. Вале тотчас ответил Беренсу письмом, копию которого Беренс направил мне.

Вале писал:

«Дорогой господин Беренс! Итак, сегодня утром я отправляю Вам назад бандероль с рукописью Клейна, и я желаю ей доброго пути. Я очень признателен Вам за то, что уже сейчас я смог прочесть ее, и это было для меня удовольствие ознакомиться с ней.

Автор работает на широкой основе, и у нас этому могли бы многие коллеги только поучиться. Также и я, поскольку я по ходу моих исследований был несколько отодвинут от подробностей развития Косинны и его высказываний. Но я нахожу, что это вхождение в метод Косинны (в теорию и практику) очень поучительно, и в частности как раз по сравнению с тем, как толкуются и обсказываются другие исследователи, особенно восточные (и поэтому незнакомые нам)».

Излагая сомнения, хорошо ли Клейн знаком с его собственными трудами и материалами (он послал Клейну свои работы), Вале продолжает:

«Но: Косинна как “классик”, которого “не следует ни абсолютизировать, ни отвергать”, я заинтригован, что на это ответит Запад. Ибо я очень озабочен господствующим здесь неопозитивизмом; я всегда с ним боролся. Но он удовлетворяет во всем существенном наличное здесь младшее поколение. Такое уж оно теперь скромное!”

И дальше: «По меньшей мере, я должен еще совершенно открыто сказать Вам как издателю ежегодника, что я считаю Вашей заслугой представить на обсуждение эту статью. Ибо здешняя критика Косинны стоит на очень скудном уровне» (Э. Вале, письмо Г. Беренсу от 30.3.1973).

Ожидания Беренса вполне оправдались. В 1975 г. крупнейший исследователь германских древностей Рольф Гахман, благодаря меня за оттиск «Косинны», писал: «Несколько дней назад я получил Ваш оттиск «Косинна 40 лет спустя», который я уже до того прочел. Удивляюсь, как Вы вработались в эти запутанные немецкие внутренние дела. Такое обсуждение издалека имеет большую ценность, особенно для участников» (Р. Гахман, письмо от 21.1.1975). Профессор Кр. Штрам, директор Института пре- и протоисторической археологии Фрейбургского университета ФРГ писал (29 авг.):

«Присланную Вами статью о Косинне я читал с огромным интересом и могу вас только поздравить с ней. Я нахожу, что это не только лучшее, что написано о Косинне, но что именно с ее появлением феномен Косинны ясно понят и его позиция в преистории показана в правильном свете. А также стало понятным, как долго она блокировала методический прогресс в преистории. Примечательно, что такую статью мы должны были получить из-за границы! Я буду ее тщательно штудировать с моими студентами, занимаясь историей нашей науки».

*Очень любопытным было письмо от единственного крупного продолжателя «археологии обитания» Косинны в послевоенном времени гёттингенского профессора Герберта Янкуна. Высокопоставленный офицер СС и участник гиммлеровского «Аненэрбе», он затем сумел пройти денацификацию и возглавил очень активное направление, которое сохранило прежнее название *Siedlungsarchäologie*, хотя и отрешилось от многих одиозных принципов Косинны и повернуло в русло энвайронментализма. Янкун писал Беренсу:*

«По особому поводу мне пришлось заняться Густавом Косинной и его современным значением (для краткой биографии в большом сборнике «Новая немецкая биография»). Для этого я прочел теперь статью госп. Клейна из Ленинграда о Косинне с расстояния в 40 лет — она очень увлекла меня. Если отбросить то, что должно было как-то быть введено на марксистской основе в рамках исто-

рического материализма, остается очень интересное и богатое знаниями представление о значимости Косинны, прежде всего в незнакомой мне широко русской литературе. Я нахожу эту работу очень хорошей, хотя и не во всех пунктах согласен с автором; так, он считает значение Косинны гораздо более всеобъемлющим в Германии, чем оно было в действительности, особенно оценка Шухардта не вполне точно нацелена. Я хотел бы написать госп. Клейну и справиться у Вас, действителен ли еще указанный в выходных данных статьи его адрес...».

В ГДР восприятие было смешанным, но признание пришло и отсюда. Завкафедры Берлинского университета и редактор ведущего журнала «Этнографиш-Археологише Цейтшрифт» Гейнц Грюнерт писал мне в декабре 1975-го:

«С радостью и благодарностью мы всё снова и снова воспринимаем Ваши ценные вклады в теорию и методологию нашей специальности. Вот и Ваша статья “40 лет после Косинны” дала нам материал для многих коллоквиумов. Правда, мы не в каждой “точке над i” придерживаемся Вашего мнения» (для нас Косинна не был классиком — в любой дефиниции “классичности”), но мы получили ценные стимулы...».

В том же году прибыло письмо (от 8 июля) и от профессора Брюса Триггера из Канады, известного теоретика. «Я с огромным удовольствием читал Ваши многие работы на английском и немецком языках, имеющиеся в нашем Университете. С особенным наслаждением я прочел Вашу работу о Косинне, и я надеюсь, что английский перевод ее появится в “Каррент Антрополоджи”. ... В следующем году я начинаю работу над трудом по истории археологической науки...» (Trigger 1989).

Этот труд вышел через 13 лет в Кембридже — это «История археологической мысли». Моя статья о Косинне, видимо, сдвинула историографическое осмысление феномена Косинны с мертвой точки. Через десять лет появились статьи Смоллы «Густав Косинна 50 лет спустя» и Фейта «Густав Косинна и Гордон Чайлд», а также большой труд графини Х. Шверин фон Кроссиг «Густав Косинна. Наследие — опыт анализа» (Smolla 1984; Veit 1984; Schwerin 1982). Правда, Забина Вольфрам считает, что только с небольших статей Смоллы начался сдвиг (Wolfram 2000: 189), но такой патриотизм простителен ученице Смоллы.

После падения советской власти и объединения двух Германий на базе демократии я сумел опубликовать свою статью и на русском языке, но тоже не в России. Она вышла, на сей раз в полном виде (присоединены разделы I,2 + II), в 2000 г. в журнале «Стратум-плюс» в рубрике «Монография в журнале». И хотя это лучший на постсоветском пространстве археологический журнал, из-за межгосударственных барьеров доступ к нему труден для российского читателя. Поэтому, я полагаю, перепечатка статьи здесь вполне уместна. Статья печатается здесь в том виде, в котором она опубликована в «Стратуме» и под тем же названием.]

Часть первая

Отношение к наследию Косинны

1. По следам Косинны (Лирическое введение). Густав Косинна — крупный ученый, немецкий националист (рис. 1). По иронии судьбы, фамилия у него славянская, от корня *кос-* (*косой, косить*). Видимо, дальние предки его — онемеченные славяне. [Впрочем, возможно, что это литовский или вообще балтский корень: литовское *kasinas* — прилагательное от глагола *kasineti* ‘копать’.] В немецком фамилия пишется со сдвоенными *с* и *н*: *Kossinna*. В современной русской транслитерации, которая стремится к фонетической передаче, почему-то оставили сдвоенное *с* (хотя в немецком оно попросту означает, что произносится *с*, а не *з*), но не стали сдвигать *н*. Правильнее *с* передавать одной буквой, а *н* как раз лучше удвоить: хоть оно означает просто краткость предшествующего слога, но всё же может звучать дольше простого *н*: Косинна.

Странное место занимает этот человек в истории науки. Выдающийся археолог, он за всю свою жизнь был на раскопках всего несколько дней. Он возглавлял целое направление и несомненно обогатил науку. В то же время его повсеместно осуждают, и он безусловно достоин осуждения. За то, чем обогатил науку? За то, как обогатил науку? Или за нечто иное?

Это он, Густав Косинна, сказал: «Подсадим-ка первобытную археологию в седло, а уж поедет она сама!» (Mannus 1, 1909: 13 — см. Gummel 1938: 317–318). Археология была для него чем-то вроде древнего германского рыцаря-крестоносца — в панцире, при оружии и непременно в седле, готовая ехать и завоевывать далекие земли. Почти на полвека его слова стали лозунгом. И она поехала — у, как поехала!

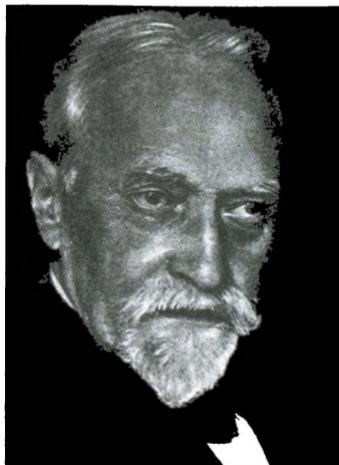


Рис. 1. Густав Косинна (Grünert, 2002)

При жизни он возбуждал ненависть и презрение, но пользовался огромной славой и популярностью, получил множество почестей. Тогда же, однако, самый верный и последовательный его ученик (поляк Ю. Костшевский) стал его злейшим врагом и одним из главных противников. Другой ученик, самый крупный теоретик из всех учеников (Э. Вале), стал его главным критиком. Его главным союзником и наследником стал его самый ненавистный соперник и враг (Карл Шухардт). Через полтора десятка лет после смерти Косинны все его ученики и ученики учеников от него отреклись и отвернулись. Но именно в это время его старые заклятые враги — принципиальные противники и ученики его противников (прежде всего советские археологи), ни на минуту не оставляя своей враждебности, переняли и освоили его методы. Так всё ли из его наследия должно оставаться втуне, вне науки? Он был врагом, боролся, побежден. Он сеял зло, он строил злую науку. Но из чего строил, что для этого находил и создавал? Надо разобраться.

Конфликтный, склочный, недоброжелательный, завистливый, воинственный... Психологический портрет злого гения? Разбор его творчества — это что, погружение в потемки его подсознательных стимулов и осознанных стремлений? В детстве, — повествует его панегирический нацистский биограф, — его сильно подавлял и обижал старший брат Рихард (три года разницы). Отсюда появились в нем эта замкнутость, этот комплекс реактивности, пружинной агрессии. В то же время он очень любил играть на рояле (Stampfuß 1935: 9–10, 15). Что же, Вагнер тоже любил и был схож с ним в шовинизме. Но не это важно.

Почему он стал для широких кругов научной молодежи властителем дум? Только ли молодежи? Какие силы истории вознесли его на гребне волны, чтобы затем уронить в пучину забвения? Сколь глубоко это забвение? И кому оно нужно? Где сейчас силы, стоявшие за Косинной? Почему им не нужен сейчас Косинна? Вот вопросы, гораздо более важные. Вопросы волнующие, потому что они задевают основы тяжелой исторической драмы, так недавно потрясшей Германию, Европу и мир. Драмы, оставившей семена недоверия и тревоги.

И еще. Вот я каждое лето выезжал в степь копать курганы. В нашу степь. Под знойным солнцем мы вонзаем лопаты в могучие горбы и к осени стоим глубоко на древней поверхности в кольце обширного отвала. У ног чернеют входы в подземелья, а там в катакомбах лежат скорченные скелеты, с костями, окрашенными в малиновый цвет. Лежат то поодиночке, то парами, по-трое и больше. При них горшки с узорами, образованными оттисками шнура и тесьмы, каменные боевые топоры, бронзовые ножи и шилья. Так хоронили здесь своих покойников люди бронзового века, III—II тыс. до н. э. — пять-четыре тысячи лет тому назад. В незапамятные времена, от которых не сохранилось ни письменных, ни устных преданий.

Но очень похожие горшки и топоры находят в курганах Дании и Северной Германии: шнуровая керамика, боевые топоры-молоты. Косинна и его ученики имели для этого наготове объяснение: цивилизаторский поход древнейших прагерманцев — один из их многих центробежных походов (по нумерации Косины десятый) — принес эту культуру в степи России. Наглядный урок для потомков. Сколько усилий потратили наши и не только наши, но и английские, чешские, польские археологи, чтобы опровергнуть это построение!

Одни доказывали, что всё было наизусть: поход шел из степей Предкавказья и Украины в Центральную и Северную Европу, а не обратно, неверна хронология Косинны, северные памятники — поздние. Недавно радиоуглеродным методом физики установили: северные курганы — древние, относятся к IV—III тыс. до н. э., тогда как наши — к III и II тыс. Не мог идти поход с юго-востока на северо-запад. Да и нужно ли было ждать радиоуглеродного метода — ведь наши памятники с металлом, а северные родичи жили еще в каменном веке!

Другие археологи утверждали, что вообще не было тут никаких походов, никаких переселений, никаких миграций. Северные курганы сами по себе, наши — сами по себе: параллельное развитие. Тоже не получается. У северных есть на месте предковые формы (прототипы), у наших — нет. Все попытки вывести новую культуру целиком из предшествующей не выдерживают проверки

(хотя, конечно, кое-что из предшествующей культуры сохранилось в новой). У предшествующего населения другая посуда, другие могилы и даже другие черепа.

Наконец, оставался еще один спасительный отвод: ладно, пусть ни местное происхождение, ни поход на северо-запад не подтверждаются, но и приход с северо-запада недостоверен! Не все элементы новой культуры выводятся с северо-запада — например, катакомб там и не бывало, характерных ритуальных сосудов (курильниц! — тоже. Верно, более ранние курильницы близкого типа оказываются на Дунае, а дальний очаг погребений в катакомбах — Восточное Средиземноморье. Как же они все «стеклись» в нашу степь? На каждый элемент — по походу? Но тогда почему походы приносили только по одному — два элемента культуры? Куда девались остальные? Предположить импорт идей? Но как они передавались на далекие расстояния? Ведь телевидения не было. Значит, оставим всё в неясности. Откуда пришли эти племена к нам — неизвестно. Может быть, с юга, востока и т. п. Причина совпадений с северными и западными находками непонятны — может быть, случайность...

Ах, слишком много случайностей. Слишком близки сходства. И главное — слишком проста та гипотеза, которая отвергается. Вышли оттуда, пришли сюда, что имели — принесли с собой, маршрут усеяли тем, что теряли по дороге... А было ли в жизни всё так просто? Миграции древних племен не были похожи ни на эту модель, ни часто друг на друга. Они были все очень разнообразны — этому учит этнография. Переселенцы отрывались от родины, еще не зная, куда идут. Чаще всего их гнал голод, иной раз давление соседей. Не сразу попадали в конечный пункт. Не оставляли по могиле на каждом привале. Недолго сохраняли отечественные традиции, да зачастую и не все традиции знали (если не всё общество снималось с места). Являясь в земли чужих богов, старались приспособиться. Новое впитывали жадно, легко. И выйдя через сотни лет к землям, на которых почему-либо смогли задержаться, приносили туда лишь часть того, что имели первоначально, зато много — захваченного по пути.

Что ж, проверим эту модель. И вот я нахожу по литературе отчетливые следы временного пребывания северян как раз там, где оказались прототипы других наших загадочных явлений — катакомб, курильниц, а именно — на Балканском полуострове, в Подунавье... Вдобавок, в наших степях не все эти элементы соединены вместе. Здесь тоже были разные пришельцы. В том числе, видимо, северяне. Предки германцев? Или славян, балтов и т. п.? Любой вариант нельзя утверждать. Но не исключается.

Это была моя кандидатская диссертация (Клейн 1962; 1966; 1968). Для права на защиту полагается иметь две-три статьи по избранной теме. Я решил

представить диссертацию к защите, когда по этой теме у меня накопилось больше двух десятков опубликованных статей. Но диссертация проходила трудно. Много жестких предварительных обсуждений, сама защита — четыре часа. Коллеги были вежливы, ударов ниже пояса не наносили, нападали только на саму аргументацию. Никто не произнес этих слов: «десятый поход Косинны...».

Что же мне удалось доказать всем? Что здесь не одна культура, а несколько. Что все они не местные, а пришлые. Это теперь общепризнано. Что у одной, по крайней мере, есть какое-то родство с северными и другими европейскими племенами. Что те культуры древнее наших. Что миграции бывали разными. Это всё как-будто не отрицается, хотя такого дружного и активного принятия, введения в практику исследований тут уже нет. Наконец, моя конкретная реконструкция миграции (маршрут, даты и т. д.) расценивается как лишь одна из возможных гипотез. Допустимых. С трудом. Но пока она осталась единственной, объясняющей связи с севером. Возможно, появится другая, лучше, точнее, убедительнее — другой маршрут, другая дата... Помогут новые факты, новые методы.

Но если не исчезнут *старые* факты, то новые гипотезы будут вынуждены удерживать ту же основу. А старые факты в науке отменяются чрезвычайно редко. «Теоретически», «в принципе», можно, конечно, понастроить сколько угодно гипотез, развернутых в любых направлениях. Но это если нет фактов. Факты сковывают. Они ограничивают полосу возможных поисков. Они выталкивают с других направлений на одно, пусть еще весьма широкое. Новые факты его сузят. Это направление, ведущее к истине.

И вот обида, выходишь на него — и устанавливаешь: задолго перед тобой по нему прошел этот проклятый Косинна! Скверно прошел. Наследил и напугал. Наставил рогаток и сетей. К полной истине не вышел, увел потом куда-то в сторону. Но прошел. И никуда от этого не денешься. Не сворачивать же на другое направление только поэтому!

Небольшое уточнение. Десятый поход Косинны достигал, собственно, лишь Днепра, дальше его распространяли уже ученики Косинны, ознакомившись с материалами этих территорий. Но и на самом Днепре есть также группа памятников (шнуровая керамика, боевые топоры), судьба которых в науке очень схожа с нашими курганами — с тою лишь разницей, что защитники ее местного происхождения, хоть уже и не представляют общее мнение, еще не отказались от своих надежд вывести всё из местных корней. А ведь придется отказать, это понимание распространяется всё шире.

Другой сюжет. Уже не бронзовый век, а железный. Первое тысячелетие нашей эры. Территория не степной, а лесостепной Украины. На обширных

пространствах густо разбросаны могильники и поселения с гончарной (изготовленной на гончарном круге) посудой, свидетельствами развитого земледелия и скотоводства. На могильниках в урнах — прах и пережженные косточки кремированных покойников. Рядом — гребни, застежки-фибулы. Много римских монет. Культура эта, открытая в начале XX века и названная по одному из типичных могильников черняховской, привлекла к себе пристальное внимание археологов.

По территории она включает в себя самое ядро будущего Киевского государства. По высокому уровню развития могла бы объяснить подготовленность восточных славян к образованию государства в самом конце тысячелетия, являясь как бы передаточным звеном в эстафете культурной традиции от скифов пахарей к историческим славянам-русичам. По облику посуда как будто напоминает славян великокняжеской поры, а что славяне до принятия христианства сжигали своих покойников, известно из летописи, да и следы есть в лексике: мы до сих пор называем останки *прахом*. Наконец, по сведениям византийских авторов где-то на этой территории в VI–VII веках н. э. обитали анты, славянская принадлежность которых видна из их имен: Доброгаст, Межимир (Мечемир?)...

И черняховская культура была объявлена раннеславянской.

Для Косинны же и его учеников (Stampfuß 1942), да и для всех его немецких коллег было несомненно, что все такие памятники оставлены ранними германцами: очень схожие «поля погребальных урн» покрывают всю Центральную Европу. Это сходство первым заметил немецкий ученый Пауль Рейнеке (кстати, критик Косинны). Что германцы побывали в те давние времена и на Украине, известно из письменных источников. В 238 г. н., например, туда вторглись с северо-запада готы, подчинили ряд местных племен и держались там до 375 г., когда их смело нашествие гуннов. Об этом оставил записи готский епископ VI века Иордан. Еще в XVIII веке в Крыму жили остатки этих готов, говорившие на готском языке. Латинские географические и исторические сочинения знают и другие германские племена на побережье Черного моря — герулов, бастарнов, гепидов.

Советские археологи, особенно украинские, положили много усилий на то, чтобы отстоять славянскую принадлежность черняховской культуры, «не отдавать» ее готам. Полагали, что готов там было мало, а пребывание их на Украине столь кратковременно, что заметных следов от них не осталось. Отыскивали в Крыму погребения поздних готов, чтобы показать: не похожи. Исследовали сходства с культурой Киевской Руси, с одной стороны, скифов-пахарей — с другой. Более грубую достоверно славянскую культуру непосредственно

предшествовавшей Киеву поры — роменскую, раз она означала регресс по сравнению с черняховской, трактовали как периферийную, захолустную. Особенно внимательно изучали хронологию: покрывает ли черняховская культура (вместе с родственной ей зарубинецкой) разрыв между скифами и историческими славянами или вписывается в тот узкий интервал, который заняли готы.

С хронологией, прямо скажем, получалось плохо. Римские монеты с черняховских мест упорно группировались именно в тех веках, которые надлежало отнести готам: III–IV. Ушли готы — и черняховской культуре конец.

Один киевский археолог сумел очень изящно объяснить это противоречие: монеты сигнализируют не продолжительность культуры, а лишь продолжительность торговли с Римской империей. Империя шла к упадку и гибели, торговля с Причерноморьем прервалась — и приток монет прекратился. Черняховская же культура продолжала жить вплоть до VII века. Вот черняховские памятники, в которых найдены очень поздние вещи: стеклянный кубок, глиняная амфора и др. Археолог выступил с блестящим докладом на конференции в Киеве (Доклады 1953).

Я, тогда недавний выпускник Университета, ввязался в этот спор случайно. Написал рецензию на сборник докладов этой конференции. Весьма скептически отнесся к отысканию предков славян среди скифского населения (я тогда специально занимался скифами), а вот о расширении хронологического диапазона черняховской культуры отозвался всего парой слов, при том с некоторой даже симпатией: оригинальность идеи мне понравилась. Рецензию отослал в московский научный журнал.

Вскоре получил оттуда извещение, что рецензия принята к печати, но редакция просит рассмотреть подробнее именно вопрос о черняховской культуре и рекомендует внимательнее рассмотреть доказательства докладчика. То есть мне был дан намек, что я недостаточно критически воспринял его выводы. Я набрал книг, проконсультировался у старших коллег и засел за проверку. Одно за другим рушились доказательства: и амфора не того века, и стеклянный кубок не того типа, и т. д. Опять остались два «готских» века для черняховской культуры. Об этом я и написал в рецензии. Рецензию напечатали (Клейн 1955). Это была моя первая печатная работа. В том же номере была напечатана большая статья пожилой ленинградской исследовательницы славянских древностей — в статье очень солидно опровергалась непрерывность развития на землях Украины в I тыс. н. э.

Вот уж не ожидал, что поднимется такой шум. В Киевском институте археологии два дня шло обсуждение этих двух статей на расширенном заседании Ученого совета, протоколы обсуждения были опубликованы. Одни участники

резко против, другие — за, третьи — ни за, ни против (Максимов 1956). Еще долго появлялись отклики в печати...

С тех пор прошло много лет. Отгремел еще ряд дискуссий по черняховской культуре. Хронология ее установлена прочно — узкая, меньше двух веков. Многочисленными раскопками обнаружена настоящая культура антов VI–VII веков корчакская или «пражского типа» — увлекшись черняховской, эту как-то не замечали. Теперь она известна — и поселения, и могильники. Керамика грубая, лепная, от руки (сделана без гончарного круга). Культура в целом менее развитая, чем роменская. От нее через роменскую к культуре Киевской Руси идет несомненный и довольно быстрый прогресс. Предки ее носителей пока неизвестны, но это никак не люди черняховской культуры: ничем нельзя было бы объяснить резкий упадок хозяйства, утрату многих технических навыков, да и формы вещей, жилищ, могил несхожие. Странники единой линии развития от скифов через черняховскую культуру к Киевской Руси оказались, по печатному признанию одного из них, «у разбитого корыта».

Видимо, предки славян проходили более ранние стадии своего развития где-то севернее и не успели еще тогда воспользоваться соседством с развитой римской цивилизацией — тем, чем явно воспользовались люди черняховской культуры, черняховцы.

Кто же они? Лишь кое-кто из украинских археологов да один-два москвича долго отстаивали славянскую принадлежность черняховцев. Очень многие предполагают, что под этой культурой скрываются разные племена, однако возглавленные готами. А некоторые современные российские археологи прямо считают готами всех черняховцев и людей родственной им культуры Молдавии и Румынии, и не только готами, вообще — германцами.

Признали. В соответствии с Косинной. Оказывается, можно признать такой факт, и из него не следуют с необходимостью никакие политические выводы. Вопреки Косинне. Но не причастность ли духа Косинны к этому факту мешала нам спокойно и объективно оценить этот факт раньше? А за черняховскими баталиями до недавних лет оставалась в тени подлинная культура ранних славян...

В самом деле, вот в каком тоне один из последних сторонников славянской принадлежности черняховской культуры писал о своих научных противниках: «Как ни странно, попытка воскресить построения германской националистической науки, отнюдь не пополненные фактическими доказательствами, встретила поддержку у ряда советских археологов». Будто из обвинительного акта. Попробуй теперь, воскреси! И далее: «Не так важно доказывать в настоящее время славянскую принадлежность памятников полей погребений (аргументов

в пользу этого мнения приведено множество). Основным требованием в данный период должно явиться обращение к сторонникам миграционной теории происхождения черняховских памятников с предложением предъявить развернутые доказательства в пользу восточногерманской теории происхождения черняховской культуры». То есть нам доказывать нечего, а вот вы давайте, доказывайте! Потому что «указанная тенденциозная теория или должна быть заново доказана и подкреплена фактами, или же она не имеет права на существование» (Сыманович, 1970: 83, 87). Любопытно: а если будет «подкреплена фактами», то перестанет быть тенденциозной?

Мне приятно, что именно мой ученик написал наиболее капитальные труды, в которых представлены эти факты, и создал в Эрмитаже многолетний семинар, в котором выросла целая школа исследователей, не боящихся объективно исследовать факты этого плана (Щукин 1977; 1994; 2005; Stratum plus 1999, 4).

Третий сюжет. Острый. Очень острый. Еще ближе к нашему времени. Речь идет о призвании варягов. Варягами в нашей истории принято называть тех, кого вся Европа знала как норманнов. Норманны — северные германцы. Нордические. Самые почитаемые Косинной и его последователями.

Восемьсот лет назад записал русский летописец рассказ о том, как призвали новгородцы варяжских князей Рюрика с братьями, как захватили варяги Киевский стол и положили начало династии. Варяги те были от рода Русского, «от них же и ны прозвашася» (от них и мы стали так называться). И вот уже более двухсот лет идет жаркий спор о достоверности этих строк.

Одни (их стали называть норманистами) признали сообщение летописца достоверным и привлекли в доказательство много других фактов: два ряда названий днепровских порогов в византийской хронике Константина Багрянородного («славянские» и «русские»); значение слова «Русь» (ruossi) в старом финском языке (не славянин, а швед); сообщения арабских путешественников X века (о походах руссов к славянам) и т. д. На этом основании норманисты признали норманнов создателями восточнославянской государственности.

Другие противопоставили этому хронологические неувязки летописных подробностей «призвания», распространенность сказочного сюжета о призвании трех братьев, малочисленность скандинавских заимствований в восточнославянских языках и т. д. На этом основании они отвергли достоверность летописного сообщения и отказались признавать сколько-нибудь существенную роль норманнов в истории Восточной Европы. Этим стали называть антинорманистами.

Первые антинорманисты (от Ломоносова до Костомарова) отрицали вообще, что варяги — это норманны. Варягов они производили от западных славян —

поморских и полабских — или, на худой конец, от балтов (латышей и литовцев). Археологические находки лишили эту гипотезу малейшей правдоподобности: типично скандинавские вещи и обряды IX–X веков открыты на обширном пространстве от Старой Ладogi до Киева: застезжки-фибулы, шейные гривны с подвесками в виде молоточков Тора, погребения в ладье, «умерщвлненные» (согнутые) мечи и т. п. А западнославянских вещей почти нет, балтские — только в северных районах, по соседству с балтскими землями. В наши дни только несколько историков всё еще отстаивают старую идею антинорманистов (впрочем, их голоса, кажется, умолкли).

Большинство антинорманистов вынуждено считаться с археологическими фактами и перешло к иной трактовке: да, варяги — это норманны; да, княжеская династия, оказавшаяся на престолах восточнославянских городов, ведет свое происхождение от них. Но, в отличие от Западной Европы, где именно норманны выступили создателями нескольких государств, у нас они лишь внедрились в почти готовое государство и почти никаких следов в нем по себе не оставили, даже имени, да и вообще их было очень мало, а культура их была не выше, а ниже восточнославянской...

Советские историки-марксисты вначале вообще отказались вести спор в этом плане.

Ведь с точки зрения марксизма народы не делятся на способные от природы к созданию культур и государств и неспособные, а государства не создаются по воле отдельных исторических личностей — государей и героев. Государства складываются на базе социально-экономического развития данного общества. Участие местных и пришлых групп населения в этом процессе может быть самым разным — в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. Норманские военные дружины, включившись в этот процесс, могли и ускорить его, выступив объединителями племен и предоставив господствующему классу готовую отделенную от народа вооруженную силу — необходимую часть государственной машины. Ничего зазорного в этом для восточных славян нет. Бывало, что и они ускоряли ход истории в каких-то областях мира. Всяко бывало.

Но тут слышались голоса Косинны и его учеников. Они становились всё громче и яростнее. Для этих всё было ясно. Конечно, норманны принесли восточным славянам и государственность и культуру, иначе и быть не могло: ведь только норманны, эти нордические германцы, и могли создать то и другое на Востоке. Без Рюрика и его братьев славяне и по сей день прозябали бы в бескультурье, невежестве и неорганизованности. Упование на пришествие современных варягов остается и сейчас единственной перспективой для славян удержаться в числе цивилизованных народов. Для германцев же

цивилизаторская и культуртрегерская миссия получает историческое обоснование: вот они, следы древних северных германцев в Восточной Европе — фибулы, погребения в ладье, согнутые мечи и т. д.

— Нет, — возразили советские археологи, — фибулы могли попасть сюда в результате торговли; мечи у самих-то норманнов не свои, а франкские; погребения в ладье, может, вовсе и не норманские; вот разве что молоточки Тора — но их так мало... Варяги здесь если и были, то в ничтожном количестве и никакой существенной роли не сыграли, а культура их...

И спор перешел в прежнее русло: норманизм — антинорманизм. Гипотезы? Тенденциозны. Факты? недостоверны. Признания? Вредны.

В самом деле вредны?

И в этом споре у меня была своя личная заинтересованность, своя доля участия. Тоже втянулся как-то незаметно. Обратил внимание на очень уж натянутые доводы антинорманистов, на сдвиг от позиций, казалось бы, марксистских, к старым, явно националистическим. Стал излагать свои сомнения по этому поводу в выступлениях на дискуссиях и в лекциях. Среди идеологических заправил факультета возникли недоумения — как же так? Ведь эти самые мысли провозглашает — кто? Достаточно ли у вас аргументов, чтобы выдвигать столь ответственные (или безответственные) утверждения? Заинтересовалась молодежь.

И вот сложился в моем семинаре коллектив молодых археологов, занявшийся поначалу сбором и проверкой всех материалов по «варяжскому вопросу» (позднее задачи расширились, и этот вопрос стал лишь частью тематики семинара). Старались, чтобы сбор был полным, методика строгой и продуманной. Трудились несколько лет. В 1965 г. противники вызвали нас на публичную дискуссию, которая собрала неожиданно большую аудиторию и прозвучала громко. В дискуссии удалось отстоять свою позицию и, по крайней мере, право на существование в советской науке (Клейн и др. 1970; Клейн 1999; 2009).

Но может быть, наша работа неуместна, ненужна, вредна? Может быть, признавая «неприятные» факты, мы льем воду на мельницу врагов нашей страны? Может быть, «как ни странно», мы делаем «попытки воскресить» и т. д.? Может быть, мы забыли, что именно Косинна и его ученики утверждали, что... и т. д.?

Тогда для нас особенно опасными были обвинения в противоречии марксизму. Но мы ссылались на классиков марксизма. А вот Энгельс (1964: 366) писал дочери Маркса Лауре: «говорить: *белое*, только потому что мой противник говорит: *черное* — значит просто подчиняться закону своего противника, а это

ребяческая политика». А вот Ленин (1961: 49) писал о философах и историках прошлого, что они «науку двигали вперед, несмотря на свои реакционные взгляды». А Маркс и вовсе был, по нынешним оценкам, норманистом...

Нет, мы не собираемся «воскрешать» Косинну. Мы не воспылали к нему любовью, раз в Западной Германии от него отреклись, а в Англии и США игнорируют. Но мы и не будем говорить «белое» обо всем, что Косинна называл «черным». И мы не будем отвергать то, в чем он продвинул науку вперед «несмотря на свои реакционные взгляды» — если продвинул. Мы хотим разобраться.

2. Наш ярлычок косиннизма (Историографическое введение). Нет археолога, сочинения которого выдержало бы [при жизни и вскоре после смерти] столько изданий, сколько книги Косинны. Полвека вся европейская археология ожесточенно спорила, прав он или не прав. Но в объемистой историографической книге Дэниела, озаглавленной «Сто лет археологии», имя Косинны упоминается лишь однажды, в случайном контексте, и не вынесено в указатель (где есть, однако генерал Рой и мисс Эдвардс), а его учению не уделено ни строчки (Daniel 1950: 241). Молчание — не всегда знак согласия, чаще — разновидность критики. Но не лучшая разновидность, особенно для историографа. Неужто Косинна был настолько непримечательной фигурой в истории науки? Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что от его вклада не осталось ничего в современной археологии? Или все дело в том, что Косинна был малопривлекательной личностью, что с его именем связаны мрачные страницы истории немецкой науки и хочется поскорее о них забыть? Но историк не вправе забывать и вычеркивать. На то и история науки, чтобы извлекать из нее уроки. А для этого необходимо штудировать все страницы — трагические, и веселые, скучные и увлекательные, удручающие и патетические. Анализировать, рассматривать в перспективе времени, оценивать, различать.

В декабре 1931 г. умер Косинна, не дожив всего полутора лет до воцарения нацизма в Германии. Косинна стал предтечей и основоположником гитлеровской археологии, и его учение вошло в идеологический арсенал национал-социализма. Естественно, что крах нацистского государства и падение его идеологии означали дискредитацию учения Косинны, — пожалуй, особенно в Германии. «Вторая мировая война, — пишет Прейдель, — не только передвинула политические границы, она также устранила некоторые духовные ограничения, которые до сих пор сужали наш кругозор, она отрезвила и очистила всю атмосферу. Полюбившаяся и ставшая родною картина мира зашаталась, мы утратили всякую твердую основу и вдруг узнали, как непрочен и далек от действительности был наш мир идей, в котором мы до того жили» (Preidel 1954: 7). Этот мир для немецкой археологии был в значительной мере миром

Косинны. «Разве верит сегодня еще хоть кто-нибудь, — восклицал сразу после войны (1946) Якоб-Фризен, — в его “доббертинцев”, в его 14 индогерманских походов или в его расово-психологический закон...?» (Jacob-Friesen 1951: 3). Конечно, бывает, что промелькнет и в наши дни в литературе писанина какого-нибудь лондонца Роджера Пирсона о культуртрегерских завоеваниях нордической расы (Pearson 1966), но все понимают, что это не более, чем редкостный патологический казус, курьезный анахронизм, стоящий вне науки.

У Косинны никогда не было недостатка в противниках и критиках, но теперь критиковать Косинну стали все. Вернер выступил даже (против Отто) в защиту приоритета западногерманских археологов перед восточногерманскими в критике Косинны, ссылаясь на работу Вале 1941 г. (Werner 1954). Российские археологи могли бы включиться в этот спор, напомнив о статьях 30-х гг. Равдоникаса и др. В свою очередь, поляки могли бы потребовать пальму первенства для Костшевского, выступавшего с критикой Косинны еще раньше. На это немцы могли бы возразить, что Костшевский критиковал Косинну методами, которыми он выучился от самого Косинны, а вот гораздо раньше с Косинной начал войну Шухардт. Ну, относительно Шухардта советские археологи уже давно определили, что он, несмотря на свою академичность и все нелады с Косинной, занимал позиции, очень близкие косинновским. Не лучше ли уже припомнить старых немецких и австрийских археологов и историков, Гёрнеса, Шрадера, Эд. Мейера, Рейнеке, критиковавших Косинну еще в самом начале века? И не окажутся ли тогда первыми в скептическом отношении к Косинне те, кто первыми применил к нему фигуру умолчания скажем, Мух, Мерхард? Но в таком случае спор, начатый Вернером, мог бы решить разве что господь бог, потому что ему одному ведомо, кто, когда и о чем молчал.

Да и не столь важно, кто первый сказал (или промолчал) «а». Важнее другое: сколь различны были сами критики и как они по разному и за разное критиковали Косинну? Но ведь это и в наши дни так. А кто и за что сейчас критикует Косинну? Странное дело, до чего различны современные критики в своем подходе к учению Косинны, в своем понимании сути этого учения, в определении его социально-исторических корней, места и значения в истории науки!

В Советском Союзе долго было принято отождествлять с учением Косинны миграционизм вообще (напр., Брайчевский 1968: 11; Монгайт 1952: 17), а так как к миграционизму на практике относили любое признание значительной роли миграций (особенно в расселении индоевропейцев), а нередко и любую констатацию конкретного переселения, то рамки школы Косинны в представлении советских археологов непомерно раздвигались и в его сторонники попадали не только такие люди, как Шухардт (это бы еще было не столь пара-

доксально), но и такие как Чайлд (Богаевский 1931). В Германии же Косинну было принято именовать не миграционистом, а наоборот — автохтонистом, поскольку он отстаивал автохтонность германцев на Севере Европы, откуда и расходились все его миграции. Миграционистами же оказывались лишь те, кто отстаивал противоположные направления древних переселений. Рамки школы Косинны чрезвычайно сужались, и даже его ученик Костшевский, несмотря на преемственность в методике, уже выпадал из охвата.

В недавние годы Брюсов усмотрел в работах Хойслера признание дальних миграций народа шнуровой керамики на восток и расценил это как наследие Косинны (Брюсов 1965: 47–49). Хойслер, который, кстати, вообще скептически относится к констатациям дальних переселений, конечно, отверг это обвинение. Более того, намекая, видимо, на гипотезу самого Брюсова о движении катакомбной культуры в Центральную Европу (а всего-то там есть только аналогичные боевые топоры да одна молоточковидная булавка), Хойслер мягко заметил: «Я думаю, что не меня следует упрекать в миграционистских построениях Косинновского размаха» (Гейслер [Häusler] 1966: 323). Здесь критерием уподобления Косинне стало уже не направление миграций, а размах построений в сопоставлении с незначительностью и узостью фактологической базы. В устных дискуссиях автору этих строк тоже доводилось встречаться с подобными намеками — в связи с его гипотезой о ютландском происхождении одного из составных компонентов донецкой катакомбной культуры (Клейн 1962; Klejn 1966; 1969) — в этом случае и направление миграции пошло бы в счет!

По иному пониманию, идущему от Вале, краеугольным камнем здания Косинны и истоком всех бед было отождествление археологической культуры с этносом. Польский археолог Мошинский именно это отождествление принял за основу «Косиннизма» и, пользуясь этим критерием, отнес всех советских археологов к последователям Косинны, сделав единственное исключение для автора этих строк (Moszyński 1957: 10–12). (Впоследствии он уже не мог бы провести столь всеобъемлющее обобщение: многие советские археологи поставили под вопрос уравнение ‘культура — этнос’. — см. Монгайт 1967).

Расплывчатость представлений о содержании косиннизма была одной из причин, по которым советские археологи поначалу не замечали важных изменений в теоретических взглядах послевоенной западнонемецкой науки. Монгайт (1952: 17) оценивал господствующую ситуацию еще в 1952 г. следующим образом: «Реакционные идеи Косинны возведены в идеал, к которому наука должна стремиться. Миграционизм в его наихудшей форме, националистические,

расистские идеи культивируются австрийскими и западнонемецкими археологами особенно усердно». В 1963 г. Монгайт (1963: 46–47) должен был уже признать: «Косинна умер уже 30 лет назад, и уже почти не осталось его учеников и последователей...». Он, однако, добавляет: «От нордического мифа ничего не осталось, но реакционные шовинистические идеи продолжают жить в буржуазной науке, и борьба против них остается важнейшей задачей советских исследований». Через еще 4 года Монгайт подробно и сочувственно изложил взгляды западнонемецких критиков Косинны, противопоставив их косинновскому отождествлению культуры с этносом, признанному многими советскими археологами. Имея в виду презрительную оценку вклада Косинны Вернером [Werner 1954], Монгайт возражает: "... сколько бы ни говорилось, что учение Косинны — «детская комната археологии» (Й. Вернер) и что мы его давно преодолели, надо сказать, что его концепции лежат в основе многих построений современных археологов». Скоро стало ясно, что и собственная дефиниция культуры Монгайта все эти годы развивалась в русле косинновского картографического восприятия культур (Клейн 1970: 40).

В. Хенсель (Hensel 1971: 465–491) в своем историографическом обзоре «Археология обитания и ее предшественники» показал, что учение Косинны нередко отождествляется с этнической идентификацией культур вообще и что либо из правомерности этой постановки вопроса выводят правомерность догм Косинны, либо из дискредитации учения Косинны легко делают шаг к отвержению самой постановки этого вопроса.

Так нечеткость историографических представлений порождает забавную путаницу в методологических оценках современных исследователей, ведет к смещению позиций. Западнонемецкий археолог Гахман оценивает ситуацию совсем иначе, чем его цитированные выше коллеги: «мышление Косинны, — утверждает он, — действует в германистике до сего дня» (Hachmann 1970: 181). Констатируя у самого Вале и других критиков Косинны повторение важных особенностей Косинновского подхода к исследованию, Гахман находит в этом даже нечто вроде оправдания для Косинны: «было бы неверно также стремиться подчеркивать недостатки Косинны, которые он нашел готовыми и попросту перенял в мышлении своего времени — времени, в котором он вырос как ученый. Как тяжело ему, должно быть, было найти истинную дорогу, видно хотя бы из того, что его «ошибки» до сего дня едва ли верно опознаны» (Hachmann, Kossack und Kuhn 1962: 23–24). «Во всяком случае, — отметил Гахман в другом месте, — не каждый критик сознавал, что он работает в основе тем же методом, что и Косинна» (Hachmann, Kossack und Kuhn 1962: 13.).

Не пора ли разобраться более основательно в том, что же, собственно, такое «косиннизм», «археология обитания»?

Для лучшего понимания логической связи всех основных положений в косинновском учении и для выяснения исторической основы и социальных корней этого учения есть смысл проследить по этапам, как и в каких условиях это учение создавалось. Небезынтересна в этом плане и личность основоположника.

Часть вторая

Становление концепции

1. У истоков «доисторической этнологии». Кроме трудов самого Косинны мы располагаем несколькими обобщающими работами о его жизни, деятельности и учении — это биографическая сводка Г. Гане (Hahne 1922), апологетическая биография пера Р. Штампфуса (Stampfuß 1935) и ряд разделов в замечательной книжке Г.-Ю. Эггера «Введение в доисторию» (Eggers 1959), которой надежнее всего следовать в изложении канвы биографических фактов.

Густав Косинна (Gustaf Kossinna) родился в 1858 г. в Тильзите (позже Советск, б. Восточная Пруссия) в семье учителя гимназии. По обычаям того времени Густав (рис. 2) переменил ряд университетов — учился в Гёттингене, Лейпциге, Берлине и Штрассбурге, слушал лекции по классической и германской филологии, истории и географии. Особенно увлекли его в Берлине лекции К. Мюлленгофа, а в Штрассбурге Р. Геннинга по германскому и индоевропейскому языкознанию — проблема «индо-германской» прародины захватила его воображение. Диссертацию Косинна защитил в Штрассбурге в 1881 г. на чисто лингвистическую тему: «Древнейшие верхнефранкские письменные памятники».

Затем молодому филологу (рис. 3) пришлось зарабатывать на жизнь сначала в Граце, потом в Бонне, а с 1892 г. — в Берлине службой в библиотеках, которая стала его основной профессией.

Увлекаясь письменными древностями германцев, памятниками их языка и духовной культуры, Косинна, конечно, должен был ознакомиться и с памятниками их материальной культуры. С середины 80-х годов он штудирует археологическую литературу, начав с работ Тишлера по археологии Восточной Пруссии — вероятно, потому, что оттуда сам Косинна родом. Проведенное Тишлером разделение древней Восточной Пруссии на несколько культурных областей и, главное, попытки Тишлера (Tischler 1886–90) объяснить это разделение племенными различиями, произвели на Косинну огромное впечатление. Он сразу безоголдно поверил в правильность такого объяснения. И стал

соображать: значит, в археологическом материале могут отразиться и границы расселения древнегерманских племен — предмет длительных споров историков: ведь указания древних писателей очень скупы и часто противоречивы, а здесь всё так точно! Конечно, своеобразие тех или иных групп памятников и даже возможности их соотнесения с теми или иными древними народами отмечались и другими археологами, но ни у кого Косинна не встречал такого упора на районирование, такого четкого проведения границ!



Рис. 2. Густав Косинна в студенческие годы (Grünert, 2002)



Рис. 3. Густав Косинна, молодой филолог, библиотекарь и начинающий археолог (Grünert, 2002)

Впоследствии в работах Косинны не раз упоминается с явно преувеличенной оценкой «самый выдающийся из всех немецких преисториков прошлого века ... отличный ученый Отто Тишлер» (Kossinna 1941: 154).

Интерес к первобытному прошлому, к археологии привел Косинну в Берлинское антропологическое общество, основанное еще в 1869 г. Вирховым и Бастианом. Его учитель Геннинг был зятем Вирхова.

Около трех десятков лет Вирхов (рис. 4) стоял во главе германской первобытной археологии. Этот медик, политик и этнолог сделал и сам ряд важных археологических открытий, в частности он определил «городищенскую» керамику как славянскую, оставляя предшествующие этой культуре поля погребений раннего железного века за германцами. В более глубокой древности, в бронзовом веке, он обнаружил культуру «урн с выпуклинами» (Buckelurnen), названную впоследствии *лужицкой*, и воздержался от ее этнического определения. Созданное им общество издавало «Журнал по этнологии» (Zeitschrift für Ethnologie), «Доклады» (Verhandlungen) и Сообщения о немецких археологических находках» (Nachrichten über deutsche Altertumsfunde).

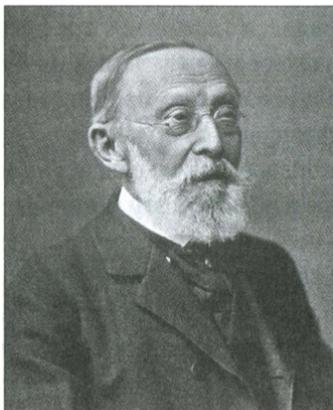


Рис. 4. Рудольф Вирхов, знаменитый патологоанатом, основатель гистологии и инициатор первобытной археологии в Германии

В обществе царил горячее увлечение первобытностью и ощущалась конкурентная неприязнь к античной, классической археологии — старшей и более зажиточной сопернице. Об одном из археологических конгрессов Вирхов сказал: «Тут появились мы, презренные антропологи, в известной мере как пролазы на паркете классической археологии» (Virchow in Korrespondenzblatt 1886: 72). Директор Майнцского музея Л. Линденшмидт (в свое время главный

противник системы «трех веков» Томсена) иронически называл классических археологов «олимпийцами» (Gummel 1938: 205–206).

После его смерти разгорелась борьба за руководство этим музеем между античниками и первобытниками. Вирхов, выступая в Берлинском антропологическом обществе, докладывал об этом в таких словах: «...Наше дело казалось почти безнадежным, так как новички нашли энергичную поддержку в администрации германского государства. Кризис наступил, когда исследование лимеса представило как людей, так и находки, и когда эти люди с решимостью повели к тому, чтобы оккупировать дотоле независимый музей для своих целей...» (Virchow 1900: 579). Дело закончилось компромиссом — стороны сошлись на кандидатуре Шумахера. Такова была атмосфера в антропологическом обществе Вирхова.

Косина прилежно посещал ежемесячные заседания этого общества в Музее этнографии, где другом Вирхова (также медиком) А. Фоссом была собрана единственная в Германии коллекция по археологии всей Европы. С заседаний Косинна обычно возвращался вместе с Альфредом Гётце, который жил неподалеку от него. Это сблизило их.

Гётце был вторым немцем, получившим профессиональную подготовку именно по первобытной археологии (первым был Бушан): он учился в Галле у Клопфлейша — одного из нескольких профессоров, читавших тогда первобытную археологию, и защитил в 1890 г. диссертацию по первобытной же археологии. Когда в Трое понадобился специалист по первобытным древностям, Вирхов рекомендовал туда А. Гётце. В эту кампанию раскопок, проведенную уже после смерти Шлимана, именно Гётце и опознал в VII городе Трои черепки лужицкой керамики. Он обнаружил их также во многих музеях Подунавья. Ввиду того, что у Геродота фракийцы самый большой народ после индов, Гётце определил лужицкую культуру как фракийскую, тогда как большинство считало ее германской.

Гётце не любил писать (его диссертация — это тоненькая книжечка, хотя в ней аккумулирован огромный труд). Но он охотно делился мыслями с коллегами. И мысли Гётце были выражены на бумаге — но в работах Косинны. «Гётце, — пишет Эггерс, — сам так и не собрался опубликовать свое «тройское открытие», иначе он и был бы сегодня открывателем «великого переселения» народа «полей погребальных урн» (Eggers 1959: 207).

Но если лужицкая культура Центральной Европы — не германская, то где же в бронзовом веке жили предки германцев железного века? Косинну интересовали прежде всего именно германцы. Ответ он должен был увидеть в первых же новаторских исследованиях шведского археолога Монтелиуса, которые,

конечно, не могли пройти мимо внимания членов Берлинского антропологического общества. К концу 80-х годов Монтелиус уже разработал типологический метод, применил его к бронзовому веку Северной Европы и продвигал в неолит. В работе 1884 г. (немецкий перевод — 1888) он высказался в том смысле, что по смене археологических культур можно устанавливать вторжения древних племен, а проследив с помощью типологического метода непрерывное развитие в культуре Дании, Швеции и Норвегии вглубь веков — от древних германцев через бронзовый век вплоть до неолита, мы вправе заключить, что германцы жили здесь уже в неолите. «Культурная преемственность свидетельствует о постоянстве населения» (Montelius 1888: 151–160).

Но Монтелиус бросил эту идею мимоходом. Типологический метод был для него в основном средством установления относительной хронологии (по крайней мере декларативно), а как способ выявления генетических связей культур разных эпох — не интересовал. Что германцы жили здесь уже в неолите, было любопытно, и только. Какие точно земли они занимали, где проходили границы расселения — опять же ему было безразлично.

Иное дело Косинна — именно территорию, именно границы он жаждал узнать. Уже в исследованиях его немецких коллег и предшественников — Вирхова, Гётце, Тишлера — всплывал вопрос о территориях культур как этнических областях народов, о которых сообщают древние авторы. Косинна же поставил его во главу угла. Идея Монтелиуса послужила путеводной нитью для заполнения еще более древних культурных ареалов этническим содержанием.

Так были подготовлены основы метода Косинны — «археологии обитания». Ее разрозненные элементы уже существовали у его предшественников: обнаружение отдельных культур, занимающих определенные территории; этническое определение их; объяснение сходств дальними переселениями, а различий — вторжениями; прослеживание генетических связей по археологическим остаткам; автохтонность германцев в Северной Европе; филиппики против античной археологии...

2. Начало «археологии обитания». Ежегодно немецкие исследователи первобытного общества съезжались на свое общее собрание — каждый раз в ином городе. В 1895 г. очередным местом съезда стал Кассель. Там 37-летний библиотекарь Косинна выступил с докладом на тему: «Доисторическое распространение германцев в Германии» (Kosinna 1896). Это был знаменитый «Кассельский доклад» Косинны — первое применение нового метода, важность которого сам автор отнюдь не склонен был недооценивать.

На заре истории, утверждал Косинна, мы везде, где письменные источники указывают германцев, застаем своеобразные погребения и вещи. Это позволяет

провести границы раннегерманской территории гораздо более точно, чем по указаниям письменных источников. Карт, которые могли бы подтвердить это утверждение, докладчик не предъявил, на заявил, что всегда готов это сделать. По аналогии он распространил это утверждение и на доисторические времена — и тогда «культурные области» должны были означать территории народов.

Каких народов? Следуя указанию Монтелиуса, Косинна проследил по археологическим материалам на Севере Германии и в Южной Скандинавии преемственность между культурой достоверных, засвидетельствованных классическими авторами, германцев раннежелезного века и предшествующей культурой бронзового века, для которой письменных источников нет, и перенес на эту более древнюю культуру название германцев. Тем самым он указал территорию, обитаемую германцами в бронзовом веке и провозгласил глубокую древность германцев в Северной Европе — удревнил их проживание там на полтысячи или даже на тысячу лет. Был им выдвинут и тезис о том, что волны распространения культуры с юга на север объясняются передачей элементов культуры, а направленные с севера на юг — переселением народа.

Дальше этого он тогда не пошел (о чем вскоре пожалел).

Косинна был твердо убежден, что своим кассельским докладом не только превратился в археолога высокой квалификации, но и совершил переворот в археологической науке. Исходя из этого он сразу же стал тяготиться своим местом библиотекаря и подумывать о должности профессора, но в Берлинском университете этот пост был занят Вирховым.

Между тем, претендент не имел профессионального археологического образования, не участвовал в раскопках и не обрабатывал музейных коллекций. Доклад, правда, заинтересовал специалистов свежестью постановки проблемы, открытием нового направления исследований, любопытными предложениями, но никого не убедил, да и не мог убедить: он не содержал доказательств. Одни ученые ограничились вежливыми, но сдержанными похвалами (как А. Гётце, П. Рейнеке), другие, скептически настроенные, пока вообще не отозвались, и немногие, которым доклад импонировал, выражали свой энтузиазм с оговорками. Так, националистически мыслящий профессор Зиглин писал в те годы: «Косинна сейчас бесспорно самый значительный исследователь в области германской первобытной истории, которого мы имеем... Он соединил в себе такое сочетание знаний, как никто кроме него; он понимает ход развития германских древностей, как никто иной. Если бы Косинна был вдруг отнят от науки до того, как он опубликует свои исследования, это означало бы потерю для нас, которую в обозримом времени нельзя было бы восполнить. После смерти Мюлленгофа наука о германских древностях попала в нечто вроде застоя... Из

этого застоя нас мог бы вывести только своеобразный талант Косинны, если он опубликует результаты своих исследований в сводном труде» (Sieglin, цит. по Eggers 1959: 215).

В 1901 г. появилась книга известного австрийского археолога М. Муха «Родина индогерманцев в свете первобытной археологии» (Musch 1901). Мух применял совершенно иной метод, чем Косинна, а именно — поиски прямых соответствий в археологическом материале облику или, точнее, лингвистической характеристике индоевропейского пранарода. Пользуясь этим методом, Мух пришел к выводу о том, что на севере Европы располагалась общая индоевропейская прародина, то есть не только древний очаг германцев, но и колыбель всех «индогерманцев». Косинна же до этого не додумался — в Кассельском докладе прародина «индогерманцев» помещалась на Среднем и Нижнем Дунае.

Теперь Косинну осенило, что корни германцев на Севере Европы можно и нужно было прощупать и глубже рубежа неолита и бронзового века; что если германцы там испокон веков сидели, то, значит, — и тогда, когда еще не выделились из индогерманского пранарода и, стало быть, там жил и этот пранарод, а уж оттуда шло расселение его потомков по Европе; что принцип расселения с севера надо было распространить и на праиндогерманскую эпоху... Не сделал этого. Оставалось кусать себе локти.

Но не таков Косинна, чтобы уступить за здорово живешь приоритет в деле, которое должно остаться его исторической миссией и в котором если даже другой опередил его, то лишь по недоразумению, каковое немедленно должно быть исправлено. Он тотчас разразился громовой статьей «Индогерманский вопрос, археологически разрешенный», в которой обрушился на Муха с обвинениями чуть ли не в плагиате. «М. Мух в своей новой книге ... ныне полностью взобрался на мои плечи и опознанную мною родину германцев объяснил одновременно как родину индогерманцев, соответственно моему давнему убеждению, что эти обе области первоначально совпадали. Но он умудрился во всей своей книге намертво умолчать мой столь знаменитый в свое время доклад и вообще мое имя» (Kossinna 1902: 163). А между тем, в своем «знаменитом» докладе Косинна ведь помещал прародину на Дунае, к тому же Мух работал совершенно иным методом!

Мух выводил из языкознания характеристики пранарода и затем искал археологические пути от исторически достоверных индоевропейцев к культуре этого района. Косинны же заявлял: «Все снова я прихожу к выводу: сначала археология, потом языкознание. Там, где археология еще совсем молчит или мы не понимаем еще ее языка и не можем объяснить, исследованию лучше бы потерпеть» (Kossinna 1902: 185).

Надо отдать должное самообладанию и эпическому спокойствию Муха: уже в 1904 г. он выпустил второе издание своей книги, в котором снова ни о Косинне, ни о его методе и претензиях нет ни малейшего упоминания. Мы же вправе видеть в Мухе еще одного из предшественников Косинны, поскольку от Муха заимствовано и включено в концепцию одно из важных ее положений. Чтобы оправдать свои претензии на лидерство, Косинна постарался в этой статье задним числом прийти к упущенному результату уже *своим* методом — реализовать идею расселения из Северной Европы в связях археологических культур, но эти его поспешные попытки оказались очень общими, декларативными и голословными.

В обеих работах — в Кассельском докладе 1895 г. и, так сказать, «правочной» статье 1902 г. — ни новые методические принципы ни конкретные археологические выводы не были обоснованы и детализированы. Они были провозглашены в общей и крайне категоричной форме, так сказать, *ex cathedra*.

Впрочем, кафедра (*cathedra, Lehrstuhl*) была пока лишь воображаемой и желанной. Но после выхода названной статьи, в том же году появилась и реальная кафедра: умер Вирхов, и, как это ни странно, Косинна действительно получил пост профессора археологии в самом влиятельном среди тогдашних университетов Германии — Берлинском. Сорокачетырёхлетний библиотекарь отнюдь не воспринял это как нечаянный дар судьбы. Наоборот, его душило негодование: почему так поздно и почему в такой унижительной форме (он был назначен экстраординарным, то есть внештатным профессором — это означало: жить на пенсию библиотекаря). И всё же налицо был важный успех: дело было не только в официальном признании и в укреплении авторитета, но и в том, что высвободилось время для более детальных исследований и появилась возможность формировать по-своему научную молодежь. Косинна не преминул воспользоваться тем и другим.

В 1905 г. появилась его большая статья, которой, по мнению Эггерса, суждено было остаться лучшей из работ Косинны, — «Орнаментированные железные наконечники копий как признак восточных германцев» (Kossinna 1905). В этой статье Косинна на конкретном примере детально реализовал свое этническое объяснение археологических «культурных провинций». Установленную языковедами и совершенно неизвестную античным авторам дуальную классификацию германских племен (разделение их по диалектным особенностям на восточных и западных) Косинна усмотрел на археологической карте памятников I тыс. до н. э., продемонстрировав тем самым превосходство в данном вопросе археологических источников над письменными. Он увидел это деление в размещении наконечников копий, фибул и глиняных сосудов,

то есть старался учесть разнообразные части культурного комплекса. Но этой комплексностью характеризовался лишь подход к данной работе. Выход же из нее, то есть полученный результат, как его понял Косинна, оказался противоположным, что отражено в названии статьи: и один элемент, одна категория вещей, может послужить опознавательным признаком этноса.

Эггерс отметил, что из этой работы Косинны выросли как ее продолжение и развитие первые крупные работы трех лучших учеников Косинны — Эриха Блюме, Мартина Яна и Юзефа Костшевского (Blume 1912; Jahn 1916; Kostrzewski 1918). Можно лишь добавить, что в их работах нашла развитие лучшая сторона этого исследования Косинны — его комплексный подход к культуре, тогда как сам Косинна в своих дальнейших работах продолжал разрабатывать худшую сторону — ему впоследствии весьма пригодилась завоеванная тогда свобода спекуляций отдельными категориями вещей как опознавательными признаками народов.

Окруженный покорными учениками и вдохновленный их восторженным и юношески некритическим восприятием новизны его идей, Косинна быстро утратил последнюю возможность выслушивать критику со стороны коллег. Раздражаясь и приходя в ярость от малейшего возражения, он всё больше проникался мыслью о необходимости захвата ключевых позиций в археологической науке, чтобы беспрепятственно внедрять свои идеи и направить всё исследование в новое русло. Здесь на его пути встала другая крупная фигура германской археологии его времени — Карл Шухардт (рис. 5 <0006>).

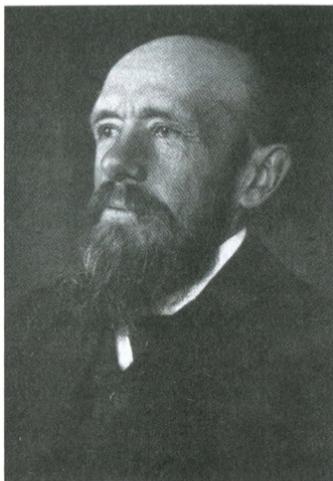


Рис. 5. Карл Шухардт, при кайзере Вильгельме II и при нацистах самый авторитетный археолог в Германии. Снимок 1919 г. из мемуаров Шухардта (Schuchardt 1944)

3. Противостояние и борьба за господство. На год младше Косинны, уроженец Ганновера, Шухардт изучал классическую филологию и археологию в Лейпциге и Гейдельберге, диссертацию защитил по классической филологии, а затем, поступив домашним учителем в семью румынского князя Бибеску, использовал пребывание в Румынии для изучения валов Траяна. Отчет молодого учителя заинтересовал знаменитого историка Т. Момзена, который предложил Шухардту стипендию для путешествия по археологическим памятникам античного мира.

В 1886 г., то есть в то самое время, когда Косинна взялся за штудирование классической литературы, Шухардт принял участие в раскопках Пергама. Когда в том же году Шлиман решил поручить составление сводного труда о своих раскопках квалифицированному «способному археологу», специалисту по первобытной археологии, Вирхов рекомендовал ему для этой работы молодого Шухардта, который весьма успешно справился с этой задачей — в 1889 г. вышла его книга «Шлимановы раскопки в Трое, Тиринфе, Микенах, Орхомене, Итаке в свете сегодняшней науки» (Schuchhardt 1889).

Затем Шухардт возглавил музей в Ганновере и объединил в одну организацию все музеи Северо-Западной Германии, обильно публиковал памятники, явился инициатором создания в 1906 г. на месте Limeskommission знаменитой Римско-Германской Комиссии, действующей и поныне. С участием Шухардта в исследовании римских укреплений были открыты пятна ямок от столбов, по которым археологи стали реконструировать деревянные конструкции. Ко времени смерти Фосса, директора Берлинского музея, (1906 г.) за плечами Шухардта было 20 лет раскопок, музейной работы и публикационной деятельности. Немудрено, что именно Шухардт и был назначен в 1908 г. директором археологического Берлинского музея (точнее, археологического отдела «Берлинских музеев»).

Как был поражен Косинна! Он считал себя единственным законным претендентом на этот пост (собираясь совмещать его с преподаванием в Университете), так как Шухардт в его глазах — не специалист, пусть занимается своей античной археологией, а первобытные древности — не его дело!

Тем временем Шухардт начал раскопки первобытного городища Рёмершанце близ Потсдама и перенес в практику первобытной археологии анализ столбовых конструкций. Раскопки Шухардта шли поблизости от резиденции кайзера, и тот часто посещал их, любовался ямками от столбов. Августейшую особу очень позабавили слова Шухардта о том, что «нет ничего более долговечного, чем простая дыра («nichts ist mehr dauerhaftes als ein ordentliches Loch»), хотя шуточка была нечаянно злой: всего несколько лет оставалось до краха империи Вильгельма II.

Побывал там и Косинна. Шухардт впоследствии вспоминал об этом так:

«И на Рёмершанце потом меня посетил Косинна. Они тут, конечно, со своим учеником Блюме, которого он привез с собой, беседовали, собственно, исключительно о различных сортах черепков; с деревянными конструкциями в валу и очертаниями ворот покончили мимолетным взглядом. Я уже тогда видел: наблюдения в поле — не дело Косинны» (Schuchhardt 1909).

Всё же когда Шухардт в 1909 г. вместо упраздненных «Сообщений» основал «Преисторический журнал» («Prähistorische Zeitschrift»), он вначале имел в виду редактировать журнал вместе с Косинной: видимо, особых идейных разногласий с Косинной у него не было. Но этому воспротивились коллеги: нетерпимость, неуживчивость и бесцеремонность Косинны успели уже приобрести общую известность. Косинна был взбешен: его опять обошли! Он демонстративно вышел из Берлинского антропологического общества и основал собственную организацию — Немецкое общество доистории (Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte), а на членские взносы стал с того же года издавать свой журнал «Маннус» («Mannus» — для названия взято имя одного из героев древнегерманской мифологии) и серию приложений к нему («Mannus-Bibliothek»). Девизом для общества были избраны слова Косинны: «Подсадимка первобытную археологию в седло, а уж поедет она сама!» («Setzen wir die Vorgeschichte in den Sattel, reiten wird sie schon können!»).

В числе основателей журнала был и еврей — известный историк-индогерманист Зигмунд Фейст. Вскоре он ушел или от него избавились, во всяком случае поместили статью против его работ (он отвергал идею трактовки германцев как оставшихся на месте индогерманского очага, отвергал и особую чистоту наследия у них).

На обложке и титульном листе «Маннуса» была помещена виньетка с плохонькой и неясной прорисовкой бюста юноши. Выбор этого изображения Косинна мотивирует так: Маннус — мифологический родоначальник северных индогерманцев. «Их тип, однако, в наибольшей чистоте сохранился у германцев. Поэтому напрашивалось само собой избрать в качестве изображения нашего Маннуса для титульной виньетки одно из прекраснейших и красноречивейших воплощений этого типа — хранящийся в Берлинском музее бюст германца, блещущего самым расцветом юности — прежде он шел под именем императора Викторина» (Kossinna in Mannus-Probeheft 1909).

Уже во втором томе «Маннуса» Косинна поместил большую статью некоего Ф. Кноке «Карл Шухардт как римско-германский исследователь». Статья должна была, по словам Косинны (в редакционном примечании) охарактеризовать «научно-моральную индивидуальность Шухардта» или, как выразился сам автор, «вывести деятельность этого человека на свет божий». Кноке старался подробно доказать, что вся научная биография Шухардта, все его раскопки и публикации — это сплошная серия ошибок и провалов и что даже в классической археологии он всего лишь нахальный дилетант, не говоря уж о первобытной (Кноке 1910).

Печатая в *своем* журнале отчеты о Потсдамских раскопках, Шухардт определил городище с его лужицкой культурой как германское, основываясь на своем понимании Тацита (Schuchhardt 1909). То есть посмел уклониться от косинновской диспозиции, по которой германцам надлежало жить в Северной Германии! Косинна немедленно ответил в *своем* журнале:

«Здесь он ссылается на своего друга Тацита, который ему сообщил, что в его время “в Лунице” (так говорит Шухардт) сидели семноны и что они были очень древним народом; следовательно, заключает Шухардт, с очень древних пор, то есть уже во времена лужицкой культуры эпохи бронзы должны были сидеть там.

Так вот я ему отвечаю: мои ученики знают это лучше. Они знакомы также с *их* Тацитом, с которым они регулярно беседовали целый зимний семестр, и им он сделал совсем иные сообщения. Они в частности указали ему сначала на статью Косинны об “орнаментированных железных наконечниках копий”, где показано, что...» и т. д. (что семноны во времена Тацита жили гораздо севернее).

«... Когда Тацит услышал это мнение моих учеников, то он сказал: Мне было очень интересно услышать это. Но это вообще не отличается от того, что я слышал в Риме... Если, однако, вы знаете настолько больше, чем господин Шухардт, то почему же он не спросит сначала у вас, прежде чем печатать такие сказки о моих взглядах и о моей «Германии»? И почему бы ему не поработать пару семестров в вашем семинаре вместе с вами, прежде чем публично обсуждать эти вопросы?

На это мои ученики не могли дать Тациту вразумительного ответа. И я, — заключает Косинна, — тоже не могу» (Kossinna 1911b: 325–326).

Чувство юмора и вкус Косинне явно не были даны. Шухардт же впоследствии вспоминал, что ему доставило огромное удовольствие читать эти строки (Eggers 1959: 227–229). Но он не поспешил в семинар Косинны изучать Тацита.

Между тем, Косинна решил, что пришло время разделаться и с другими корифеями, посмеявшимися усомниться в благотворности нового метода и достоверности его результатов. Со скептическими отзывами теперь уже успели выступить маститые ученые.

Глава школы историков древнего мира Эдуард Мейер высказался до обидного пренебрежительно: «С такими аргументами, которые приводятся в пользу длительного заселения берегов Балтики индогерманцами, — заявил он, — можно доказать преемственность населения почти для каждой страны на свете», и в частности назвал Грецию (Meuer 1907, II: 673; также 1899 II: 55, 673, 735, 752, 787, 800). Авторитетнейший австрийский археолог Мориц Гёрнес написал, что готов был бы принять «эту упрощенную идентификацию доисторических горшков с историческими племенами за шутку, ... пародию, если бы не святая серьезность автора» (Hoernes 1903: 141; см. также 1905: 233). Наконец, известный лингвист и историк культуры Отто Шрадер, автор капитальных трудов по индоевропейской проблеме, призывает «полностью отвергнуть» гипотезы Муха и Косинны, хотя и не отрицает, что «также и в этих трудах, в частности в труде М. Муха, содержатся некоторые тонкие... важные наблюдения». В адрес обоих Шрадер выдвигает пять обвинений, указывая на

1) «излюбленные обоими исследователями *бездоказательные* отождествления известных культурных районов с определенными народами, особенно с пранародом индогерманцев», у Косинны здесь — «голая аксиома»;

2) «объяснение различных культурных групп *переселениями народов* (а не, скажем, торговлей или передачей культуры) — у Муха почти полностью, а у Косинны полностью бездоказательно»;

3) отсутствие доказательств, что переселения шли с севера на юг и с запада на восток, а не в противоположном направлении»;

4) «фактический материал, особенно у Косинны, неописуемо скуден»;

5) «у обоих ... материал происходит почти исключительно из западной половины Европы... Так, например, у Косинны арии (индо-иранцы) с помощью шаровидной амфоры продвинуты до Днепра, после чего безнадежно представлены собственной участи» (Schrader 1906–1907, I: 118–119, II: 472–473).

Таковы были суровые отзывы представителей трех наук — истории, археологии и лингвистики. Отзывы эти относятся и к результатам и к основам самого метода. Самое время было бы и дать, наконец, систематическое изложение и обоснование самого метода, до тех пор отсутствовавшее. Настоятельную

необходимость этого чувствуют и ученики — Эрих Блюме даже сам предположил своей работе главу методическую, выполненную в 1908-м и напечатанную впервые в 1910 г.

Мэтру надо поспешить: его опережают ученики! В 1911 г. также в этнологии вышел знаменитый учебник Ф. Гребнера, так и озаглавленный «Метод этнологии». Там были сформулированы важные для миграционизма критерии родства схожих предметов. И Косинна быстро (в 1911 г.) откликается тоненькой книжечкой «Происхождение германцев. К методу археологии обитания» (Kossinna 1911a).

«Конечно, — притворно смиренничает Косинна, — можно было бы “в ответ на дилетантские скептические разговорчики пройти мимо, с усмешкой пожимая плечами... Но мои друзья и ученики в последнее время так сильно давили на меня, побуждая (в интересах науки и влияния «нового направления» в преистории) впредь не игнорировать эти нападки, что я поддался их пожеланиям”» (Ibid. 13). И вот так нехотя, «поддавшись» давлению, этот «простой немецкий ученый», как он тут же себя аттестует, вдруг скидывает маску смиренной благости и с остервенением набрасывается на инакомыслящих.

Эдуард Мейер, увы, «король в мире древней истории» (Ibid. 8), и с ним приходится еще соблюдать некоторую вежливость.

«Конечно, я охотно преклоняюсь перед выдающимися достижениями, которые представляет «История древности» Мейера. Каким, однако, односторонним выступает Мейер в кругозоре чистого писателя истории, отовсюду отлученный. Ему отказано в верном взгляде, когда речь идет о вопросах, которые с высшей культурно-исторической точки зрения являются решающими и для которых необходимо овладение известными естественно-научными познаниями, как, например, расовая история при разработке индогерманской проблемы, где Мейер, к сожалению, так полностью заблуждается».

После такого предисловия можно ответить и на само возражение. Мейер приводит Грецию в доказательство невозможности установить преемственность. Так ведь Греция попросту плохо исследована. «Страны с недостаточной исследованностью еще не созрели для достоверного ответа на мои вопросы» (Ibid. 6–7).

Мейеру этого будет достаточно.

«Теперь нам, к сожалению, надлежит еще разделаться с двумя другими названными учеными, которых приходится отнести лишь

к 'dii minorum gentium' (второстепенным божествам)... — с обоими талантами, сила которых состоит не в комбинировании, как того Роон требует от историков, а только в компилировании. Строгая критика — не их удел» (Ibid. 8–9).

Из пяти обвинений Шрадера Косинна считает нужным ответить здесь только на два первых. Шрадер отвергает отождествление культурных провинций с народами — Косинна перечисляет (только перечисляет) ряд примеров, когда народы, известные истории, можно связать со специфическими памятниками: викинги в Нормандии, Британии и России, венды в Центральной Европе, скифы в Юго-Восточной Европе и т. д. Весь перечень умещается на половине одной страницы и в первом абзаце следующей страницы. Кроме того, Шрадер не согласен с манерой объяснять распространение культуры исключительно переселениями народов, тогда как может ведь идти речь и о торговле или о полной передаче культуры. «Ну, речь о них может идти только для того, кто касается этих вещей в качестве начинающего, — терпеливо разъясняет Косинна, — а не для того, кто эти вещи разрабатывает в полном вооружении историка культуры, затем как всесторонне образованный археолог и одновременно как антрополог» (Ibid. 9).

Дав мимоходом столь полную и лестную характеристику своей квалификации (еще не вполне очевидную для большинства его коллег), Косинна совершенно отвергает возможность полной передачи культуры без одновременного переселения людей и обращается к торговле. В состав культуры входят такие элементы, которые не продаются и не покупаются. «Итак, — иронизирует Косинна, — торговля не только определенным оружием, орудиями, украшениями, глиняными сосудами, но одновременно и определенным могильным ритуалом, даже определенной расовой принадлежностью... Так что дело идет о поистине удивительной торговле!» (Ibid. 11).

Для вящего усмирения он еще и пригрозил Шрадеру: «Отдельная полемическая рукопись против Шрадера, хочу я открыть этому ученому, покоится в моем письменном столе и будет храниться готовой к печати на грядущие okazji, если Шрадер меня к тому вынудит».

Заставив трепетать Шрадера, автор восклицает: «Но тут ведь я еще, как я вижу, к сожалению, не рассчитался с третьим противником... Морицем Гёрнесом». Ну, с этим и вовсе просто, потому что

«его приходится поставить еще одной ступенькой ниже Шрадера, почти на самый низ учености — на уровень чистого компиляторства. С некоторых пор обсуждение этнологических познаний доисторической археологии действует на Гёрнеса, как красная тряпка. Десятки лет он так усердствует против этих занятий преистории, как если бы от этого зависело его существование. Они ему не даются, у него нет для этого ни малейшего дарования, и всё же он чувствует в себе позывы всё снова и снова подавать голос об этих вещах... Это упражнения ядовитой издевки и желчной злобы...» (Ibid. 14).

И Косинна возмущается: «Разве ж я когда-либо просто горшки идентифицировал с народами?... Разве я не рассматривал всегда скорее целые культуры?... Какое богатое содержание подразумевается, когда специалист упоминает простое слово «шнуровая керамика», очень хорошо известно исследователю-преисторику, но, конечно, не дилетанту» (Ibid. 11).

В полемике у Косинны был свой стиль. Здесь для него всегда дело шло не о том, чтобы совместно с оппонентами искать истину или чтобы убедить его, и даже не о том, чтобы припереть противника к стенке и уязвить парой шпилек. Достичь удовлетворения Косинна мог лишь тогда, когда, пустив в ход кулаки и дубину, валил врага наземь и топтал его ногами.

Итак, всем сестрам по серьгам. А как же с обоснованием метода?

В полемике с критиками сформулированы и взяты под защиту три положения — 1) этническая трактовка археологических «культурных провинций», 2) реалистичность прослеживания этнической преемственности по археологическим данным и 3) необходимость объяснять распространение культур переселениями народов. Обоснования по-прежнему не развернуты, сжаты до предела. В упомянутой работе Блюме рассмотрено лишь первое из этих положений, которое тот постарался подтвердить не примерами, как Косинна, а логическим осмыслением данных истории и этнографии — мотивировать закономерность и неизбежность совпадения.

У Блюме самый метод еще именуется «этнографическим» («ethnographische Methode»), что, очевидно, отражает тогдашнюю терминологию Косинновского семинара. Косинна тоже иной раз именуется свое направление «этнографической доисторией» («ethnographische Vorgeschichte» — Kossinna 1911a: 13) или «доисторической этнологией» («Vorhistorische Ethnologie» — Ibid. 16). Позже он яростно возражал против сближения двух наук: «От сильного привлечения этнографии я могу лишь предостеречь; европейская культура и внеевропей-

ская — это всегда были два совершенно различных мира» (Kossinna, цит. по Eggers 1959: 239).

Но в подзаголовок книги 1911 г. вынесено уже другое наименование — «метод археологии обитания» (*Methode der Siedlungsarchäologie*). В нашей литературе термин *Siedlungsarchäologie* иногда переводят как «археология поселений», следуя основному значению слова *Siedlung* и трактовке косинновского ученика Кикебуша. Последний, разъясняя этот термин в словаре Макса Эберта и, видимо, учитывая интересы и убеждения этого ученика Шухардта, быстро свернул изложение «тождеств» и перевел разговор на изучение поселений (Kikebusch 1928). Чаще у нас дают перевод «археология расселения», имея в виду миграционизм Косинны. Но этому не соответствуют ни точный перевод слова *Siedlung*, ни то значение, которое сам Косинна вкладывал в свой термин.

Оно разъясняется из следующего текста Косинны. Мотивируя необходимость разработки особого метода для реализации идеи, которую Монтелиус применил без сложных разработок, Косинна поясняет, что для замкнутой Скандинавии достаточно простых указаний Монтелиуса. А вот

«для такой области как Средняя Европа, открытой со всех сторон притоку чуждых масс населения и всегда скрывавшей в себе много очень различных культур, способ доказательства Монтелиуса. Он должен быть пополнен тем, что я ввел в доисторические исследования, — изучением мест обитания (*Siedlungskunde*), нанесением культур, то есть всего ... материала находок на карту страны...» (Ibid. 16).

Здесь, конечно, не имеется в виду изучение только поселений, какое-то «поселковедение»: на карту наносится весь материал находок — также из могильников, кладов и проч. Не имеется в виду и перемещение народов. И единственная карта, приложенная к этой книжке, озаглавлена: «Области обитания германцев, кельтов и карподаков...» («*Siedlungsgebiete der Germanen, Kelten und Karpodaken...*»). На ней не обозначены поселения или захваты — выделенные области заштрихованы сплошь.

Слово «расселение» хотя и может в русском языке употребляться как синоним слову «обитание», всё же меньше подходит для точной передачи рассматриваемого термина, так как имеет и второе значение, выражая динамику (синонимы: «расширение границ», «освоение новых территорий»), чего Косинна в данном случае не имел в виду.

Отныне термин *Siedlungsarchäologie* («археология обитания») стал официальным наименованием нового направления, а *siedlungsarchäologische Methode* («метод археологии обитания») — названием нового метода. Это название устраивало Косинну больше, чем прежние, вероятно, потому, что подчеркивало ориентировку на территориальное изучение памятников и не содержало нежелательного для Косинны оттенка зависимости от другой науки — этнографии.

Выдвижение особого, апробированного названия, так же как формулировка и обоснование методических принципов безусловно способствовали дальнейшей консолидации формирующейся научной школы, ее выделению и обособлению, так сказать кристаллизации сил на базе фракционного самосознания и противопоставления другим научным течениям. Эти другие не были столь унифицированы идейно. Шухардт, Эд. Мейер, Шрадер, Гёрнес не стремились к созданию собственных методологических платформ или общей платформы, к монополизации науки. Из них только у Шухардта были сильные позиции в немецкой археологии и широкая организационная база — поэтому, хоть он как раз менее других нападал на методологические принципы Косинны, он и был для Косинны врагом номер один.

В ближайших последующих своих произведениях Косинна сумел соединить тактические операции конкурентного характера против Шухардта со стратегическим развитием своего учения в духе шовинизма.

4. «Чрезвычайно национальная наука». В том же 1911 году, когда вышли из печати оба полемических сочинения — рецензия на отчет Шухардта и книжка с нападками на Э. Мейера, Шрадера и Гёрнеса, — Косинна выступил в Кобленце на третьем годичном собрании своего общества с докладом, сопроводив его 60-ю «очень содержательными диапозитивами». Снабженный нескладным, но броским названием и «рассчитанный ... на широчайшие круги интересующегося наукой мира», этот доклад лег в основу книги, вышедшей в следующем, 1912, году под тем же ударным названием: «Немецкая доистория — чрезвычайно национальная наука» (Kosinna 1912). Кобленцкий доклад и эта книжка означали наступление нового этапа в истории учения Косинны.

В предисловии к книге Косинна писал: «Наше сегодняшнее воодушевление наследственным немецким искусством не имеет поистине ничего общего с экзальтацией, обязанной голому чувству, а покоится на глубоком, надежном и нерушимо прочном основании могуче развитых историко-естествоведческих знаний». Но это были одни слова. Именно «экзальтация», именно «голое чувство»!

Книга написана как бы одним духом, со страстью и вдохновением, которые во многих местах должны закрыть слабость или отсутствие доказательств. Через

все главы красной нитью проходит одна фанатически отстаиваемая идея — что, вопреки сообщениям античных писателей и мнению современных ученых-классиков, ранние германцы и их предки индогерманцы не были варварами, что, наоборот, они в основных проявлениях культуры стояли выше всех других народов (в том числе и народов Древнего Востока), обладая приоритетом на ряд крупнейших культурных открытий и феноменов.

Так, мегалиты возникли в Португалии и оттуда проникли сперва в Северную Европу, затем в Переднюю Азию (вопреки утверждению противоположного направления у Монтелиуса). Лошадь одомашнена восточными индогерманцами и от них заимствована народами Востока. Алфавит возник у европейцев еще в каменном веке — значение семитов (финикийцев) неправомерно преувеличено. Азиатское происхождение бронзы можно взять под сомнение, а по качеству металлических изделий германцы бронзового века безусловно превзошли всех соседей: «Если мы исследуем металлическую продукцию эпохи бронзы Южной Германии и Швейцарии, или Франции и Англии, или Восточной Германии и Венгрии или Австрии и даже Италии, то ни одна из них не может сравниться с северогерманскими достижениями!» (Ibid.).

Книга пестрит такими подзаголовками отделов как: «Превосходство германского художественного вкуса в производстве оружия, в частности мечей», «Величие (Großartigkeit) германской спиральной орнаментации», «Меньшую ценность представляют бронзы кельтов» и т. д. И лишь в одном допущено противоположное соотношение: «Отставание германцев в керамике» — северогерманские грубые лепные горшки уж никак не поставят выше лужицкой или критской керамики! Но от гордого народа воинов и не приходится ожидать, чтобы он преуспевал в таком прозаическом ремесле: всё его внимание было отдано металлу.

Общий вывод из этого перечня:

«Такой народ, как германцы, который уже имел за собой тысячелетнюю культуру, который пережил такой период, каким мы узнаем и с изумлением изучали германский бронзовый век, нельзя же в конце концов называть варварами, хотя бы это и делали римляне, а больше, собственно, романские наследники римлян, а с особенным пристрастием — сегодняшние французы. Это тем менее нас трогает, что они иногда предпочитают нас сегодня так называть — поскольку они особенно рассержены одним из наших успехов (Косина имеет в виду Седан. — Л.К.) — не взирая на свое собственное действительное варварство, свидетельства которого немецкая Рейнская

провинция сегодня еще повсюду выдает. Древний же Рим говорил о германцах только с высочайшим уважением...» (Ibid. 62).

За этим следует рассмотрение внешнего облика ранних германцев, как их изображают римские скульпторы.

«Из всех германских образов выступает спокойное чувство собственного достоинства, сдержанная сила и энергия, телесная мощь и духовная настроенность, которая отличает немцев: спокойное соразмеренное мышление, но также и неудержимая тяга к свободе, своевольный индивидуализм. Во всяком случае — телесная красота, высокая духовная одаренность, твердый характер.

Такой народ — это были не какие-нибудь ленивые лежебоки, которые прерывали свою дремоту только для того, чтобы выпить «еще по одной» («immer noch eins») и затем насмерть разодраться в свалке. Нет, подобные классические побасенки годятся лишь для бульварных листков да потешных кабацких песен, но не для серьезного исторического изложения, — хотя бы историки-классики и сохранили на сей счет особое мнение» (Ibid. 83).

Впрочем, известно, что Косинна сам с большим запалом певал кабацкую песню, припев которой гласил: «Древние немцы пили ведь тоже!» («Die alten Deutschen tranken ja auch!») (Kossinna 1935: 71).

«С первобытных времен мы были не дураками выпить (gute Trinker) и таковы же мы сейчас; но мы пьем не постоянно, и мы пили также не постоянно; сначала мы исполняли свой долг с энергией и упорной выдержкой... Так было и у германцев; так и должно было всегда у них быть... Ведь только насквозь мужественному, могучему народу было под силу в конце римского времени завоевать мир» (Kossinna 1912: 83).

В этих разработках приведенная выше краткая мотивировка к выбору виньетки для «Маннуса» получила весьма полное развитие.

Столь безмерному возвеличению германцев противопоставлена трактовка отображения их южных и восточных соседей в римском искусстве. У кельта в лице — «мужицко-варварское уродство», те же черты — у дака, «о неблаго-

родстве этого национального типа по сравнению с типом германца и говорить незачем» (Ibid. 80). Что же касается гетов, мизийцев и фракийцев, то

«все они, с их одутловатым, вялым телом, с их сбитыми в длинные тугие космы волосами, обрамляющими слишком узкое и слишком пухлое мужиковато-топорное малоинтеллигентное лицо, уж очень живо напоминают грубые проявления сегодняшних племен того же края в южной России...» (Ibid. 81).

С этой характеристикой уместно сопоставить сообщение одного из учеников Косинны — знаменитого польского археолога Ю. Костшевского. «Когда в пре-историческом семинаре в Берлинском университете, — вспоминает он, — дошли до рассмотрения культуры раннесредневековых славян, профессор Косинна в присутствии меня и второго славянина болгарина Чилингирова — выразился так: а теперь будем разбирать славянскую культуру, точнее отсутствие культуры у славян» (Kostrzewski 1964: 213).

Носителями культуры — культуртрегерами — у Косинны выступают только северные индогерманцы и их прямые и наиболее чистые наследники — германцы. Несколько характерных пассажей:

«Из северной части Средней Европы, от берегов Балтики и и далее с верхнего и среднего Дуная тогда, в третьем тысячелетии до Р. Хр. выходили великие движения народов, которые наполнили всю Европу, прежде всего Южную Европу и Переднюю Азию тем населением, которое говорит нашей речью, речью индогерманцев. Повсюду там средневропейская кровь дала господствующий класс, и даже там, где она постепенно растворилась без остатка или почти без остатка, она для вечного напоминания о всемирно-историческом призвании наших племен оставила там по крайней мере наш язык — неизгладимым отпечатком по всей стране» (Ibid. 82).

«Здесь нет надобности в пространном изложении ныне уже, пожалуй, достаточно известного факта, что культуры Южной Европы и частично также Востока достигли своей важной для мирового развития, истинной высоты только после того, как выбросы северного населения овладели этими областями...

Как для других оплодотворенных Севером народов, так и для последнего остатка сохранившегося на прародине расового капитала индогерманской Европы, то есть для германцев Севера, настал, наконец, час, когда они должны были отрешиться от своей сдержанности... Теперь только, в теснейших трениях с чуждой культурой, могли сохранившиеся наиболее чистыми германцы показать, чего они способны достичь в соревновании со всем миром, и постепенно наступали времена, когда немцы, а с ними и другие германские народы всё больше становились во главе европейской и, наконец, мировой культуры, — времена, принадлежащие уже новой истории» (Ibid. IV–V).

«Вот то великое, что возвещает доисторическая археология...» (Ibid. 82).

И теперь самая квинтэссенция всей книги:

«Но всё, что мы в этих кругах еще ожидаем от германства, — всё это содержалось в нем изначально...»

Откуда нам, однако, лучше узнать наших предков, как не из их древнейшего и доступнейшего проявления? то есть из доисторического прошлого! И каким путем чище, чем из рассмотрения их собственных творений на родине? Всего этого нам не узнать из древней истории, которая предоставляет нам лишь естественно односторонние и ограниченные мнения отдельных хотя бы и отечественных писателей о нашем народе, а если речь идет о глубокой древности, то лишь злобную клевету иностранных критиков.

Кто хочет поддаться воздействию нашего древнейшего и самобытнейшего искусства, чистого и неискаженного, тот должен обратиться к первобытной археологии (*Vorgeschichte*). Вот почему эта молодая наука обладает столь чрезвычайной современной ценностью, столь высоким национальным значением» (Ibid. V). «Ибо пробуждать воодушевление, даже больше того, страстную преданность, — ни одна национальная наука не приспособлена к этому лучше, чем наша преистория...» (Ibid. 86).

Так объясняется необычное название книги. «Чрезвычайно национальная археология» раскрывается как *шовинистическая археология*.

Косинна не преминул сослаться на руководящее указание наследника престола ученым «подчеркивать немецко-национальную народность в противоположность интернационализирующим стремлениям, грозящим промотать нашу здоровую народную самобытность». Заручившись этой опорой, докладчик восклицал (и это в неизменном виде отпечатано в книге):

«Вы видели и слышали, высокоуважаемые дамы и господа, насколько немецкая доистория, правильно понимаемая, в точности подходит — будто специально создана — к тому, чтобы повсюду и не принужденно выполнять требование нашего кронпринца» (Ibid. 84).

Косинновская преистория действительно была «будто специально создана»...

Конечно, потенциальные возможности такого использования можно усмотреть и в начальном варианте учения Косинны — в гипотезе о северной прародине «индогерманцев». Уловивший это О. Шрадер еще в 1910 г. (напечатано в 1911-м) иронизировал по поводу «столь популярной сегодня и тешащей наше национальное тщеславие доктрины о северноевропейском происхождении индогерманского пранарода» (Schrader 1911: 152). Но одно дело *возможность* злоупотребления гипотезой, которая вне зависимости от этого может оказаться верной или неверной, а другое дело — *реализация* этой возможности. Есть достаточно оснований полагать, что «национальное тщеславие» с самого начала было в числе стимулов, определивших увлечение Косинны северной прародиной германцев и индогерманцев. Но и это обстоятельство, важное в *историографическом* аспекте, не может определять степень достоверности самой гипотезы и не должно влиять на оценку *содержания* самой гипотезы.

Теперь «национальное тщеславие» было включено органической составной частью в само содержание концепции и должно было определять характер ее использования. Возможность злоупотребления была реализована.

Как с присущим ему своеобразным представлением о скромности, но, видимо, и без преувеличения, неоднократно отмечал Косинна, его Кобленцкий доклад был встречен «прямо-таки бурной овацией», а выход в свет книги вызвал «поразительно сильный и радостный отзвук в немецком народе: несмотря на немалую цену, тираж в тысячу экземпляров разошелся за десять месяцев»

(Предисловие ко второму изданию — см. Kossinna 1941: V; см. также Kossinna 1913:1).

Итак, Кобленцкий доклад пополнил несколькими новыми положениями Косинновскую версию конкретной картины первобытной истории Европы: он «упразднил» представление о ранних германцах как варварах, провозгласил их древнее культурное превосходство над всеми другими народами и великую культуртрегерскую миссию — «всемирно-историческое призвание». Методический арсенал «археологии обитания» тоже обогатился, хотя новые методические принципы были применены опять же без предварительного обоснования и поначалу без четких формулировок. Они подразумеваются, и читателю предоставлено судить о них по их конкретным проявлениям, по их реализации в конкретных трактовках, да еще по мимолетным замечаниям. Таких принципов можно отметить три:

1) деление народов на Kulturvölker и Naturvölker, активные и пассивные, творческие и воспринимающие, высшие и низшие, призванные господствовать и обязанные повиноваться (ср. постоянный приоритет Севера, превосходство «северных достижений», «оплодотворенные Севером народы», «всемирно-историческое призвание», «под силу завоевать мир», «господствующий класс с средневропейской кровью»);

2) признание неизменности национальных особенностей, исключительной устойчивости национальных традиций («таковы же мы и сейчас», «так было и у германцев, так и должно было у них всегда быть»);

3) наделение первобытной археологии функцией идеологического воздействия на народ, задачей национального воспитания на этих «неизменных» традициях, в духе разжигания национализма («то великое, что возвещает доисторическая археология», обращение к «широчайшим кругам интересующегося наукой мира», «поддаться воздействию»), в частности воспитания научным обоснованием националистических эмоций («ничего общего с экзальтацией, обязанной голому чувству», «на глубоком и прочном основании ... знаний»).

Всё это связано в единую последовательно логическую цепь: народы не равны («низшие» — «высшие»), это извечно, что и надлежит внушить всем.

Здесь содержится многое для того, чтобы увенчать всю концепцию последним тезисом — принципом расовой обусловленности (ср. особое внимание к физическому типу). Проскальзывают и отдельные словечки, показывающие, что эта идея уже питала вдохновение мэтра («средневропейская кровь», «расовый капитал», «историко-естествоведческие знания»). Более того, в предисловии к книге эта идея даже высказана:

«Еще очень почитаемый нами Пауль де Лагард мог ... в 1853 и 1874 гг. говорить: “Немецкий дух не в крови, а в душе” (“Das Deutschtum liegt nicht im Geblüte, sondern im Gemüte”). Сегодня мы понимаем это иначе и громко исповедуем: кровь и определяет душу (Das Geblüt macht erst das Gemüt)... Наши давно почившие предки передали нам в наследство не только свою плоть и кровь, но и свои мысли, свой дух и свой характер...» (Ibid. IV).

В год выхода книги о «чрезвычайно национальной» Косинну постиг тяжелый удар — выстрелом из пистолета был убит любимый ученик 29-летний Эрих Блюме, гордость и надежда Косинны: «копия моей собственной научной индивидуальности» — называл он его. В некрологе Косинна в обычной для него манере писал не столько о покойном, сколько о себе:

«Он учился от меня признавать ценность германского духа и германской деятельности для прошлого еще больше, чем для современности. Также он достаточно слышал от меня о благородном облике германского физического типа, о ценности неразбавленной примесью германской крови, воспринял эти истины в сокровищницу своей веры и часто достаточно их защищал».

«Ценность неразбавленной примесью германской крови» имела для Косинны не только чисто теоретическое значение. Блюме был убит своей женой. «Если, — писал об этом Косинна, — учение и жизнь вступили у него в острейшее противоречие из-за того, что он возжегся сильнейшей страстью к существу, которое не только явно представляло выразительно не-германский тип, но даже отталкивающие черты вполне дегенеративной помеси..., то это объясняется только гипнотическим влиянием, которое эта особа приобрела на Блюме...» (Kossinna 1912b).

Но эта милая сердцу Косинны «истина» о ценности германской крови осталась пока не освоенной в книге, нереализованной в ее материале. Ее час еще не пришел.

Книга содержит и, так сказать, оргвывод частного, ведомственного характера. Если доисторическая археология настолько выше, ценнее и патристичнее классической, античной, то «как вяжется» с этим тот факт, что она не

представлена «в нашей самой уважаемой научной корпорации — Берлинской академии Наук»?

«Как долго будет еще продолжаться, что немецкая доистория будет полностью игнорироваться первыми представителями германской науки — германистами Берлинской Академии? Как долго еще будет немецкая археология лишена тех величественных организаций, которые сумели создать внутри Академии наук представители римской, греческой, египетской и восточной археологии, этих чуждых отраслей археологии? Я взываю здесь изо всех сил к чувству чести и патриотизма тех берлинских академиков, которые прежде всего призваны придти на помощь...» (Ibid. 84–85).

Академики зашевелились и почувствовали, что придется действительно что-то сделать для немецкой доисторической археологии. Они решили избрать в свою среду ее ведущего представителя. И вот в Академию наук был избран новый член: Карл Шухардт (Eggers 1959: 229).

Это был второй тяжелый удар. Но за ним последовал еще один — третий.

16 мая 1913 г. на территории латунного завода близ Эберсвальде (севернее Берлина) рабочие, копая котлован для фундамента, наткнулись на большой глиняный сосуд, до краев наполненный золотом, 8 чеканных чаш, гривна, браслеты и прочее — всего 81 предмет общим весом в 2,5 кг. Это был самый большой клад золотых вещей бронзового века в Европе. Рабочие приняли вещи за латунные и вручили хозяину завода. Тот, сообразив с чем имеет дело, обратился к кайзеру с просьбой принять сокровище в дар. А кайзер, надумав поручить квалифицированному археологу роскошное издание клада, немедленно призвал, конечно же, своего хорошего знакомого — Шухардта.

Этого Косинна уже не мог перенести. Ведь найдены вещи его древних германцев! «Это событие, — писал он о находке, — явилось мне как кивок древнегерманского бога неба и солнца, чтобы я не уставал в прилежном тщании просвещать наш народ обо всем великолепном из прагерманского наследства». И, захватив с собой фотографа, он помчался в Эберсвальде. Там, получив «любезное разрешение» хозяина завода осмотреть и сфотографировать «отдельные предметы» и отстранив молодых людей из музейной охраны, он обследовал и заснял *всё*. Уже через несколько месяцев в «Библиотеке Маннуса» вышла тоненькая книжечка «Золотой клад Латунного завода близ Эберсвальде и золотые культовые сосуды германцев» (Kossinna 1913) — это была исследовательская публикация клада. В публикации, откуда взяты и приведенные выше строки (Ibid. 1), читателю между прочим сообщалось также следующее:

«Когда я уже был в разгаре работы по фотосъемке, мне показали копию составленного на Латунном заводе каталога находок (стало быть, и каталог был уже составлен! — Л. К.).

Я тотчас увидел, что он, видимо, сработан не специалистом, а интересующимся любителем или, возможно, начинающим в области первобытной археологии. Золотые спирали, в частности, названы “петельными кольцами” (“Noppenringe”). То есть составитель каталога находок, видимо, читал или по меньшей мере слышал что-то из профессиональных выражений науки; но эти выражения не связаны у него с ясными представлениями о вещах, к которым эти выражения относятся. Вот ему и пришло в голову применить здесь совершенно неподходящий термин «петельные кольца», который, возможно, потому звучал привлекательно для него, что так учено выглядит...

На мой вопрос, кто же составил этот список, мне было сказано: *Карл Шухардт* из Берлина.

... Через некоторое время кем-то неизвестным мне была прислана вырезка из газеты... где находилась короткая статья, написанная самим Карлом Шухардтом, о новонайденном кладе золота. Какие же новости узнаем мы из нее? ... Мы узнаем, что еще вопрос, были ли эти золотые сосуды *местной, германской* работы или прибыли *с чужбины*. Ну, для специалистов этот вопрос давно решен в первом смысле. Но такова печальная привилегия дилетантов быть другого мнения и ковылять на 50–100 лет позади науки» (Ibid. 8–9).

Дилетантом он называл Шухардта не сгоряча — обвинение было обдуманное, выношенное и, надо признать, не вовсе голословное. «Noppenringe» послужили только лишним доказательством и поводом. Готовя в те же месяцы второе издание «чрезвычайно национальной», Косинна внес туда пространную филиппику против не названных по имени «школяров классической археологии», которые «с присущей им врожденной скромностью... полагают себя в силах во мгновение ока (in Handumdrehen) стать не только образованными преисториками, но (слушайте и изумляйтесь!) даже лучшими, априори самыми лучшими... Между тем эти две отрасли «не имеют между собой ничего общего», первобытная археология «гигантски превосходит классическую по своим задачам (та — всего лишь часть искусствоведения), географическому охвату, арсеналу методов («в доисторическое исследование входит, наконец, важной частью созданная мною археология обитания»).

Далее упоминается без имени «этот господин, между прочим прежний представитель классической археологии в Берлине», который «чувствует в себе призвание» к первобытной археологии, хоть и будучи в ней «полнейшим профаном», и который по слухам угрожал сделать ей каюк (*Garaus machen*) (Kossinna 1941: 262–263).

Да и в публикации клада Косинна не ограничивается этими «*Norpenringe*». Перечислив еще ряд грехов Шухардта, частью действительных (отнесение сосудов к лужицкой культуре и семнонам, датировка сосудов 7–8 вв. вместо 11–12 вв. до н. э., определение их как парадной бытовой посуды, тогда как они должны быть культовыми) и констатировав, что «вряд ли найдется другой такой научный фельетон», который бы содержал «в 72 .. строчках такую уйму ошибок», Косинна приканчивает противника последним ударом: «И эти неосновательные утверждения преподносятся не только неосведомленному кругу читателей, нет, они наверняка преподносятся также нашему кайзеру...» (Kossinna 1913: 10–11).

Для Косинны золотые сосуды из Эберсвальде были дополнительным материалом к его идее о превосходстве древней германской культуры. «Кто прочтет эту книжечку, пожалуй, будет заново изумляться и спрашивать себя, как же это объяснить, что именно германцы снова создали нечто самое прекрасное во всей Европе?» (Ibid. 2).

Но Карл Шухардт, прочтя «эту книжечку», не стал «изумляться и спрашивать себя». Не заметил на сей раз и юмористической стороны в ней. Он ответил гневной рецензией в *своем* журнале.

«Господин Косинна, — писал он, — очень быстро издал публикацию Эберсвальдского золотого комплекса. Он даже чувствует потребность обосновать эту спешку». Далее, приведя ссылку Косинны на кивок древнегерманского бога неба и солнца, Шухардт продолжает: «Так он и решился... А вот о разрешении на публикацию от владельца нет ни слова». Шухардт не отрицает погрешностей в каталоге, но язвительно замечает: Несмотря на то, что он так недоволен моим каталогом, он всё же взял из него цифры веса...»

Рассмотрев затем рассуждения Косинны о радиальном и циркульном орнаменте на днищах, долженствующем отображать культ солнца, рецензент резюмирует: «Так и идет дальше в фантастической игре, без всякого представления о том, как вообще возникает орнаментика...» И вывод:

«Книга Косинны — поверхностная и несимпатичная халтура (Machwerk), ибо всякий заметит, что поверхностность проистекает от спешки, с которой он старался опередить другого — того, кому была уже поручена официальная публикация. “Мое или твое” — был вопрос, и этот вопрос Косинна решал не по тягостным правилам человеческого общества, а по свободному закону своего германского солнечного бога, который там вверху светит над правыми и виноватыми» (Schuchhardt 1913).

Впервые Шухардт употребил столь резкие выражения. Вскоре вышла его публикация клада (Schuchhardt 1914).

Всё было кончено между ними. Пропать легла не только между Косинной и Шухардтом — она разделила надвое всю первобытную археологию Германии.

С одной стороны Шухардт, Римско-Германская Комиссия Немецкого Археологического Института, Берлинское Археологическое Общество. С другой стороны — Косинна, Берлинский университет, Немецкое общество доистории. Органом первых являлся «Преисторический журнал» («Прехисторише Цейтшрифт»), а позже (с 1917 г.) к нему был добавлен еще один журнал — «Германия». У вторых были «Маннус» и «Библиотека Маннуса», а с 1929 г. — еще и «Вестник доистории» (Nachrichtenblatt für Vorgeschichte).

Ученики и приверженцы Шухардта — Макс Эберт, В. Унферцагт, Ф. Бен, Губерт Шмидт, К. Шумахер, Г. Швантес, Г. Берсу, Ф. Кёпп и др. Объединенные прежде всего в Римско-Германской Комиссии, они осели главным образом в музеях южной и западной частей Германии, — по Рейну и Дунаю, где у Комиссии было больше всего работы, и на Северо-Западе — в исконном очаге Шухардта. В общем, в промышленной части Германии. Их дело — раскопки, составление сводов и археологических карт, музейная работа и публикационная деятельность. Они прежде всего накопители и препараторы материала. В первобытной археологии венцом их усилий явился коллективный труд — гигантская многотомная энциклопедия первобытной археологии («Reallexikon») под редакцией Макса Эберта, незаменимый справочник, до сих пор не сходящий со стола любого археолога-первобытника.

Ученики Косинны — Эрих Блюме, Ганс Гане, Мартин Ян, Вальтер Шульц и др. — штамповались семинаром Косинны в Берлинском университете (они иногда называли себя Берлинской школой) и преимущественно осваивали музеи и университеты восточной половины Германии — на землях Прусского королевства, то есть в старом очаге прусского юнкерства и офицерства, и вообще по соседству со славянами — в Саксонии, Силезии, губернаторстве

Польском. Их забота — переосмысление всей первобытной археологии в духе идей их учителя, яростная полемика с инакомыслящими, теоретические заключения и популяризация археологии с определенным политико-воспитательным запалом. Они активизировали теоретические исследования в археологии, выделили и разработали (хотя и односторонне) некоторые интересные в этом плане категории материалов и технические приемы работы. Но самые капитальные результаты деятельности их наиболее сплоченного круга выходили за пределы археологии и не составляли их исключительного и безраздельного достояния — здесь было налицо соавторство с другими, более могучими силами. Эти результаты — две мировые войны и Третий Рейх.

5. Война и могилы. Первую мировую войну Косинна встретил с ликованием — как исполнение вскрываемого им «предназначения» немецкого народа. Предисловие ко второму изданию своей «чрезвычайно рациональной» он многозначительно датирует: «Берлин, 1 августа 1914 г., в день указа о всеобщей мобилизации» (Kossinna 1941: VIII).

Когда в 1915 г. в ходе военных действий в Мазурских лесах был обнаружен Лётценский урновый могильник, фельдмаршал Пауль Гинденбург, видимо сразу же оценивший политическое звучание вопроса о том, *чьи* могилы находятся на этой земле, велел военному геологу фон Вихдорфу приступить к раскопкам и тотчас вызвал Косинну. Тот приехал в ставку (рис. 6) и сходу сделал доклад о похороненных там древних германцах. Раскопки (уже без Косинны) шли полгода с лишком, и каждые неделю или две их навещал Гинденбург; «он тогда даже проштудировал мою книгу», — умиляется Косинна. «При виде высоко развитой древнегерманской культуры, — отчеканил свой вывод фельдмаршал, — мы должны заново уяснить себе, что только в том случае останемся немцами, если научимся держать наш меч всегда острым, а нашу молодежь — всегда готовой к оружию» (Kossinna 1934: 225).

Ученики Косинны быстро испытали на себе пагубные следствия агрессивных идей: добрый десяток участников Берлинского семинара сложил свои головы на фронтах мировой войны — «Маннус» в эти годы пестрел некрологами.

Тяжело переживая поражение в войне, 60-летний Косинна отнюдь не утратил своей активности. С волнением воспринял он в 1918 г. весть о том, что на Версальском конгрессе началось обсуждение вопроса о передаче «данцигского коридора» (к морю) Польше. Тут же он садится за стол и пишет книжку о прошлом этого района, суть которой предельно четко выражена в ее названии: «Немецкая Восточная марка — родная земля германцев» (Kossinna 1919). В переизданиях название было видоизменено: «Повисленье — родная земля германцев». Основной аргумент — этническое определение культуры

лицевых урн как германской. Пытаясь как-то повлиять на ход событий, Косинна даже послал рукопись своего произведения в Версаль участникам конгресса, наивно надеясь убедить их.



Рис. 6. Косинна в ставке фельдмаршала Гинденбурга на Восточном фронте осматривает обнаруженные могилы у Лётцена в Мазовии в августе 1915 г. Фельдмаршал — первый слева, Косинна — третий

В этой работе (она издана в 1919 г.) Косинна пополнил свое учение новым положением принципиальной важности. Вся книга пронизана идеей о том, что права народа на территорию определяются и измеряются древностью его пребывания на ней, что прежние, хотя бы и очень давние хозяева земли вправе сгонять с нее нынешних жителей, что больше прав на нее имеет тот, кто раньше ею владел, и что, следовательно, археологические факты, интерпретированные методами «археологии обитания», являются законными аргументами в территориальных спорах. Археология становится орудием внешней политики и средством ее оправдания, источником обоснования территориальных претензий и агрессии, полем для национальных столкновений и «войны на картах».

Эта идея, брезжившая в глубоком подтексте прежних сочинений Косинны, книгой 1919 г. была впервые ясно декларирована в конкретной специальной

разработке. В этой идее выдвинутая прежде «политико-воспитательная» установка археологии на утверждение веры в превосходство собственного народа над другими получила поддержку и дополнение. Косинновская археология приобрела более широкий выход в политику.

Сделав первобытную археологию «чрезвычайно национальной» и весьма политической, Косинна еще более прежнего проникся сознанием собственного величия. Отмечая в 1920 г. четверть века своего учения, он утвердил печатать в «Библиотеке Маннуса» сборники под редакцией своего ученика Ганса Гане «25 лет археологии обитания. Работы из круга Берлинской школы» (Hahne 1922), а сам поместил в журнале «Маннус» собственную статью под беспрецедентным в научной литературе названием: «Победоносное внедрение моих научных взглядов как результат моего научного метода» (Kossinna 1920).

6. Нордические арийцы и их 14 походов. Осенью 1924 г. Косинна выступил в Берлине с новым докладом, который зимою 1924–1925 гг. ему «по требованиям со всех сторон» пришлось «вопреки обыкновению» несколько раз повторить — в Берлине же и других местах. Затем доклад, уже по обыкновению, был переработан в книгу, которая вышла в свет двумя частями в 1926 и 1927 гг. под названием «Происхождение и распространение германцев в до- и раннеисторическое время» (Kossinna 1926–1927).

Берлинский доклад явился новым шагом в развитии учения Косинны, пожалуй, последним шагом.

Прежде всего, он завершил вооружение «археологии обитания» расовой теорией. Уже давно О. Шрадер констатировал, что с самого начала теория северноевропейского происхождения индогерманцев коренилась не только в гипотезе об автохтонности на севере от неолита или даже мезолита, но и «в этих представлениях о белокуром и длинноголовом народе индогерманцев» (Schraeder 1912: 152). И мы видели, что эти представления незримо и даже зримо присутствовали в разных работах Косинны, но лишь как фон, не участвующий в основном рисунке. На то были свои основания: судьба нордической расовой теории в Германии не прямолинейна.

Как известно, доктрина о превосходстве нордической расы появилась впервые не в Германии, а во Франции. Граф де Булэнвилье первым додумался до идеи, что господствующей слой Франции происходит от германского племени франков, а низы — от завоеванного теми галло-романского и кельтского населения (Boulainvillier 1727). Граф Артур де Гобино в середине XIX в., расширив эту идею, объявил в своем «Рассуждении о неравенстве человеческих рас», что не только Франция, но и весь мир обязаны всеми культурными достижениями арийской расе, вторгшейся из Азии и оставившей в белокурых европейцах

своих самых чистых представителей. Кстати, немцев он таковыми не считал, а евреев ценил высоко (Gobineau 1853–55). Приноравливая учение именно к немцам, его всячески популяризировал в Германии композитор Рихард Вагнер, основавший вместе с Г. Шеманом в 1894 г. даже специальное общество — «Объединение Гобино» (Gobineau Vereinigung). Черпая свое вдохновение для музыкального творчества в образах древнегерманской мифологии, Вагнер в своих политических писаниях разжигал агрессивные и националистические инстинкты, особо подчеркивая, между прочим, антисемитский акцент.

Однако всё это оставалось на уровне дилетантских наблюдений и «рассуждений» со ссылками главным образом на облик выдающихся индивидов и древние изображения. Чисто антропологические исследования не давали не только подтверждений расовой теории, но и надежды на возможность таковых. Рудольф Вирхов, десятки лет трудившийся над задачей опознать древние взаимоотношения и передвижения народов в распределении их расовых типов (по древним черепам и современным измерениям), примерно к 1890 г., то есть незадолго до косинновского «этнографического метода» в археологии, отчаялся и отказался от этих попыток: расы не удавалось связать с этносами (Schuchhardt 1926: 280). Группа антропологов (Пенка, Вильзер, Аммон) выдвинула еще в конце XIX века догадку о единстве и скандинавском происхождении расового типа «индогерманцев», но даже на Косинну их исследования произвели впечатление «дилетантских» (Kossinna 1902: 161). В немецкой науке, с ее традиционным культом обстоятельности и фундаментальности, эти неудачи не могли остаться без последствий — расовая теория претерпела известную трансформацию.

Англичанин Хаустон Стюарт Чемберлен, пасынок Вагнера, стал автором первого немецкого труда о культуртрегерской роли германцев в истории, вышедшего в 1899 г. под названием «Основания девятнадцатого века» (Chamberlain 1899). Чемберлен придал расизму мистический характер, ослабив биологическую сторону: для него, англичанина, важно не тело, а дух. «Кто своими делами проявит себя германцем, тот германец, какова бы ни была его родословная». «Можно легко стать евреем, ... достаточно только иметь случайные сношения с евреем или читать еврейские газеты». Это придало учению известную гибкость и защитило наиболее уязвимые места (черноволосях гениев и завоевателей можно было объявить «арийцами по духу»), но в то же время несколько размыло жесткий и четкий вначале каркас учения, перенеся акцент с биологических проявлений на культурные.

С этих пор и в этом виде гобинизм распространился в Германии. Кайзер читал своему сыну вслух книгу Чемберлена и очень старался о ее популярности среди офицеров в армии (Daniel 1950: 110–111). Но попытки вернуть расовой

теории ее биологическое обоснование не прекращались. Одновременно с книгой Чемберлена в Германии во Франции вышла книга Ваше де Ляпужа «Ариец и его роль в обществе» (Lapouge 1899). Автор собрал уже немало фактов в пользу распространения светлого нордического расового типа у «индогерманцев» (правда, игнорируя факты противоположного характера). Немецкий профессор Зиглин, тот самый, который с энтузиазмом приветствовал первые работы Косинны, выступил в 1901 г. с докладом, в котором заявлял, что древние греки, италики и даже семиты — блондины (Sieglin 1902; см также 1935). Но этого было мало, и в своей работе 1902 г. («Индогерманский вопрос, археологически разрешенный») Косинна, упоминая с симпатией эти работы, прямо указывает, что всё же приходится воздержаться от привлечения антропологии, так как нет еще солидных обзорных трудов и так как конкретные культуры пока не удастся связать с чистыми расами; краниологических материалов мало, а те, которые есть, обнаруживают за культурами смешение разных расовых типов, «запутывая» картину (Kossinna 1902: 217–218).

За первое десятилетие XX века положение, однако, изменилось. В 1908–1915 гг. гейльбронский антрополог и археолог Шлиц, отойдя от огульного рассмотрения широких географических районов, исследовал краниологические серии из памятников конкретных культур европейского неолита и сумел показать, что каждой из них присущ свой особый физический тип населения. Дальнейшая группировка этих серий привела к совпадению антропологических характеристик с археологическими критериями объединения в три круга: нордический, шнуровой керамики и ленточной керамики.

В 20-е годы этой проблемой занялся антрополог Ганс Гюнтер, который, расширяя круг привлекаемых материалов, стал всё более и более целеустремленно направлять всю эту работу на обоснование расовой теории (Günther 1925; 1926a; 1926b; 1928; 1930; 1934; 1935 и др.). Вскоре он уже выделил в Европе 5 рас, из которых «нордической» наиболее близка «западная» (по старой терминологии «средиземноморская»), «восточной» — «восточнобалтийская» (к ней относятся славяне), а особняком стоит «динарская» (по старой терминологии — «альпийская»). Проследивая их в палеоантропологических материалах (из археологических памятников), Гюнтер затем подбирал живых индивидов (в частности известных исторических деятелей современности), соответствующих своими физическими характеристиками этим расам (например, «нордическую» расу у него представляли Фридрих Вильгельм III и фельдмаршал Мольтке, «восточнобалтийскую» — Достоевский и т. д.).

Перенесение известных (и достаточно субъективных) характеристик психики, характера и жизненных результатов этих лиц на древние народы позволяло

разрабатывать биологическое объяснение культурных и исторических явлений, а произвольность выбора индивидуальных представителей обеспечивала свободное достижение желательных выводов. Для националистически настроенных людей, эмоциональных, субъективных и предубежденных (а таким, несомненно, был Косинна), этот наглядный способ доказательств обладал огромной убедительностью. В самом деле, вот решительный и ясно мыслящий победитель Мольтке — ну, разве не типичный германец? Вот Достоевский с его слабовольными полубезумными героями — о эта загадочная «славянская душа»! А что немецкому фельдмаршалу можно было противопоставить Суворова, Ломоносова или: скажем, Петра Великого — это никак в голову не приходило.

Характерен и нарочитый подбор фотоснимков массовых представителей современных рас: «нордические арийцы» представлены эстетически привлекательными (по крайней мере для Косинны) лицами, представлять славянство отобраны как можно более отталкивающие физиономии, с уродливо гипертрофированными «расовыми признаками». Недаром еще достаточно молодым Гюнтер добился бешеного успеха в послеверсальской Германии (к 1928 г. вышло уже 12 изданий его «Расоведения немцев») и впоследствии некоторое время он был основным теоретиком расоведения в III Рейхе.

В своем Берлинском докладе Косинна смог уже опереться на результаты работ Шлица и Гюнтера. Докладу непосредственно предшествовала также серия собственных работ Косинны, направленных на увязку культур с расами, «нордической расы» — с «индогерманскими» народами и с древнейшим Севером Европы: «Zum Homo Aurignacensis», «Нордический физический тип греков и римлян», «Индогерманцы. Очерк. I. Индогерманский пранарод» (Kossinna 1910; 1914; 1921).

В книге «Происхождение и распространение германцев» (1926–1927) разбору антропологических вопросов посвящено из четырех глав две целиком и еще в одной — разбросанные отрезки. «С определенными телесными признаками, — повторяет вслед за Гюнтером и другими расистами Косинна, — связаны и определенные душевно-духовные силы или, по крайней мере, особые способности, которыми они частично проявляются». И далее конкретизирует этот тезис в приложении к европейским расам:

«Северный длинноголов — это собственно творческий, культуросозидательный, изобретательный человек прогресса, аристократический и геройский, который жизнь воспринимал как постоянную серьезную борьбу, к тому же волевой и отважный, гордый

и презирающий смерть, всегда беспокойный, даже авантюристичный и особенно склонный к путешествиям и деятельный в завоеваниях; высокий моральный закон для него — нерушимая верность своей семье ... , но он, далее, прирожденный завоеватель моря, блестящий техник. Но он не охот работать наподобие муравья или пчелы равномерно, машинообразно, предпочитает — рывками.

Совершенно иным оказывается восточный короткоголов с широким лицом. Более консервативный, упрямо косный, он — прилежный работник, но слабоват в мышлении; удовлетворяющийся тем, что есть, и экономный, он уклоняется от высоких планов, особенно от военных походов, всегда держится за унаследованные жизненные привычки, больше думает о своей собственной выгоде, чем об общественных интересах... , склонен к зависти и демократической уравниловке. Он восприимчив к религии и одарен в поэзии и музыке. Короче — человек настроения с темной или светлой окраской, ... не имеет ни военных способностей, ни качеств вождя» (Ibid. 94–95).

Это противопоставление иллюстрируется без тени юмора редкостными портретами двух норвежских крестьян, из которых длиннолицый дебил с выражением жесткого фанатизма на лошадиной физиономии должен отображать аристократические качества северной расы, а туповатый подавленный кретин с недоверчивой и кислой миной — особенности демократической восточной расы (Ibid. Fig. 135–136 на стр. 94).

Отметив, что древние народы, представленные в археологии культурами, обладали значительной расовой чистотой, так что расовые подразделения совпадают с археологическими культурами, Косинна с сожалением признает, что теперь всё смешалось. В современном немецком народе в целом 60 % северной крови, но людей чистого северного типа — только 6–8 %, да и то их количество убывает. Восточная раса быстрее размножается и стоит призадуматься над проблемой «восточной опасности». Правда, у северной расы есть свои недостатки, а у восточной — свои достоинства, «но северная раса всё же несомненно более ценна в нашем народе» (Ibid. 96).

«Археология обитания», родившаяся, так сказать, под сенью расовой теории, с самого начала поглядывала на нее с симпатией и под конец стала постепенно вползать на ее позиции и осваивать ее аргументацию — Берлинским докладом 1924 г. этот процесс был завершен. Расовая теория в своем нордическом Гюнтеровском варианте была включена в догматику «археологии обитания» и стала одним из ее основных методических принципов. У Косинны в этой части

не было ничего оригинального — всё было взято в готовом виде у Гюнтера: и систематика, и терминология и даже многие фотоснимки.

Освоение нордической расовой теории не только придало внутренней связность и завершенность всей концепции Косинны, введя в нее биологическое объяснение силы и устойчивости культурных традиций. Увязка культуры с расой позволила Косинне преодолеть одно старое и очень неприятное препятствие в решении «индогерманской» проблемы.

Дело в том, что, прослеживая *ретроспективным методом* вглубь веков культурную преемственность на Севере Европы, Косинна в прежних работах добрался только до II периода эпохи бронзы, а на первом периоде традиция обрывалась (типы бронзовых изделий оказываются не местными), и в неолит Косинна перебраться конкретными исследовательскими операциями уже не мог. Еще в «Происхождении германцев» в 1911 г. он называл носителей культуры бронзового века «первыми немцами в Германии» и лишь предполагал прибытие их из Ютландии и Скандинавии (Kossinna 1911: 25). Правда, в этой и следующей книге и даже в нападках 1902 г. на Муха он довольно смело говорил об индогерманской принадлежности мегалитических культур неолита Ютландии и Северной Германии, но конкретных доказательств привести не мог и старался обойти самый вопрос об их необходимости. Приходилось довольствоваться общими соображениями: раз нет заметных приливов населения в Европу на рубеже неолита и бронзы, значит, праиндогерманцев надо ожидать где-то поблизости от германцев бронзового века. Но всё это было на уровне пустых разговоров.

Теперь Косинна пишет, что лишь «Вначале препятствие кажется непреодолимым. Мы должны, значит, перевернуть предмет и рассмотреть с другой стороны. Мы должны двинуться оттуда сюда...» (Kossinna 1926-27: 51). Оптимистические нотки появились оттого, что он увидел возможность перепрыгнуть через разрыв, опираясь на антропологию. Не навести мостик, а именно перепрыгнуть, и не на противоположный край разрыва, в конец неолита, а гораздо дальше — к самым истокам индогерманского пранарода, в начало неолита или даже в мезолит. И уже оттуда двигаться плавно к более поздним временам навстречу пройденному ранее маршруту. Ведь если индогерманцам от эпохи бронзы до современности присущ нордический расовый тип, а раса очень тесно связана с этносом и культурой, то очаг происхождения нордической расы будет одновременно и очагом происхождения индогерманцев вообще. Ну, а место происхождения нордической расы в принципе ясно — это Север Европы, палеоантропологические находки помогут установить более точно границы ареала...

Таким образом, Косинна изменил своему ретроспективному методу — там, где этот метод отказал. Нововведение же оказалось каким-то подобием старого метода Муха, только с тем отличием, что вместо опоры на сопоставление лингвистических данных с археологическими, Косинна в своем прыжке оперся только на антропологию. То есть в решении этого вопроса вообще он отказался от столь громогласно декларированного прежде первенства археологии («единственный надежный указатель», «только она одна», «на чисто археологической основе» и т. п. — ср. Kossinna 1911: 1–2).

Но теперь нужно было от раннеолитических индогерманцев, отмеченных хорошими длинными черепами и весьма примитивной культурой кьёккенмеддингов, именуемой у Косинны «культурой Эллербек» (остродонная мешковидная керамика, макролиты, костяные шилья и проч.), провести линии генетических связей не только к местным культурам последующих времен, но и во все концы индоевропейского мира, к культурам всех потомков «индогерманского пранарода» от Испании до Индии. Таких возможностей материал не предоставляет: культуры этих народов отнюдь не выйдут продолжением и развитием «культуры Эллербек». Задача была бы невыполнимой, если бы Косинна не ввел еще одно методическое облегчение.

Вот когда пригодился полученный за 20 лет до того вывод о том, что и один тип, и одна категория вещей *может* быть опознавательным признаком этноса. Между «может» и «должен» расстояние для Косинны невелико. Оно было преодолено во мгновение ока (in Handumdrehen). Забыты были добродетельные возмущения вроде «Разве ж я когда-либо просто горшки отождествлял с народами?.. Разве я не рассматривал всегда скорее целые культуры?..» Теперь надо было проследить центробежное движение «целых культур», а культуры, увы, упорно оставались на месте. Распространение целых комплексов культурных явлений за пределы старых границ оказывалось чрезвычайной редкостью. Зато гораздо чаще, конечно, вылезало за старые границы «целой культуры» распространение какого-нибудь одного ее элемента, каждый раз (у каждой культуры) иного — то это были мегалитические сооружения, то боевые топоры, то какая-нибудь категория глиняной посуды.

По одному элементу можно было проследить «передвижку населения» за пределы определенной культуры на земли, занятые позже другой культурой. Затем оставить его и посмотреть, какой элемент этой другой культуры выходит за ее пределы и приводит к ареалу третьей культуры, и т. д. Так, на перекладных, меняя лошадей, можно было, глядишь, и доехать от ютландской «культуры Эллербек» до весьма отдаленных Индий.

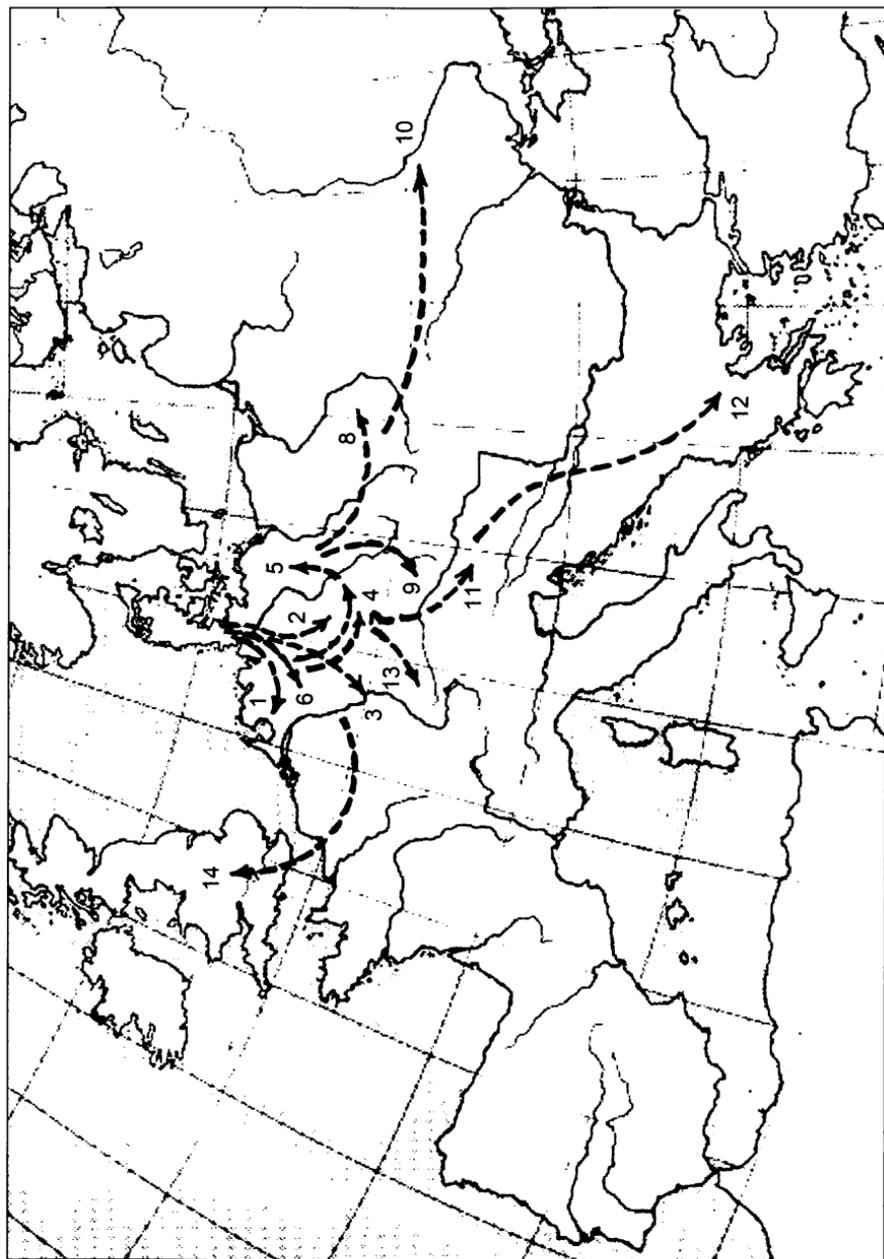
И Косинна реконструирует в деталях 14 завоевательных походов нордических «арийцев», носителей индогерманской речи, походов, осуществлен-

ных в неолите, так и именуя эти походы порядковыми номерами: «der erste Indogermanenzug», «der zweite Indogermanenzug»... — совсем как в какой-нибудь диспозиции старого прусского генерального штаба: «die erste Kolonne marschirt...», «die zweite Kolonne marschirt...» (рис. 7).

Первый поход был направлен на запад и принес мегалитическую культуру Дании и Шлезвиг-Гольштейна в Голландию. Второй поход распространил ее оттуда же на восток и юг, в Центральную Германию, где в результате образовалась рёссенская культура. Третий поход переносит эту рёссенскую культуру в Юго-Западную Германию, на Рейн. В результате четвертого похода, исходящего из мегалитической Северо-Западной Германии, на Средней Эльбе возникает вальтерниенбургская культура. Пятый поход — это ее продвижение на восток, в северный Бранденбург. Шестой поход приносит из начальной области (Ютландия и смежные районы) новую волну переселенцев в Центральную Германию, и там возникает культура шаровидных амфор. Седьмой поход опять же берет начало в Ютландии и приносит оттуда в Центральную и Восточную Германию шнуровую керамику. Это предки культов, италиков и иллирийцев. Восьмым походом поздние воронковидные кубки разносятся по Висле, Одере, Мораве, и создают в Чехии и Словакии носвицкую и баденскую культуры. Девятый поход направлен из Бранденбурга в Силезию и Моравию — он расширяет ареал культуры шаровидных амфор. Десятый поход продвигает шнуровую керамику из бассейна Одера на юго-восток до Днепра. Одиннадцатый поход выводит из области носвицкой культуры на юг создателей культуры Мондзее — ядро будущих греков. Двенадцатый поход приводит их в Грецию. Тринадцатый продвигает шнуровую керамику из Центральной Германии в Юго-Западную, а четырнадцатый приносит зонные кубки, возникшие на базе развития северо-западных ответвлений шнуровой керамики, в Англию.

Прямые же потомки мегалитических индогерманцев остались сидеть на месте и, пополнив убыль северным прафинским населением, образовали позднейших германцев. Под действием восточных волн индогерманизации где-то образуются фракийцы, балтославяне и иранцы.

Маршруты первых нескольких походов установлены по карте распространения воротничковых фляг, шестого и девятого — картой распространения шаровидных амфор, одиннадцатого — шестигранных боевых топоров и т. д. Если взять генетическую линию, соединяющую греков с индогерманской прародиной (походы 8, 11 и 12), то одно и то же движение из Ютландии на юг прослеживается на первом этапе по шаровидным амфорам, на следующем — по боевым топорам, а на третьем — и вовсе не прослеживается, а лишь предполагается.



Суть этого метода «путешествия на перекладных» Косинна нигде специально не излагал и правомерность принципиального превращения каждого отдельного элемента культуры в опознавательный признак этноса нигде специально не декларировал и не отстаивал. Наоборот, даже, как мы видели, высказывался в противоположном смысле. Но на деле применил именно этот метод, этот принцип, когда пробил час решающего испытания — на самом трудном участке доказать реальными разработками превосходство своей методики над старой методикой Муха, Шрадера и др.

Иными словами, Косинна и в этом изменил своей методической системе в решающий момент и на самом ответственном участке. То есть молчаливо признал ее банкротство в столкновении с той основной исследовательской задачей, для решения которой эта система и была создана, — задачей отыскания «индогерманского пранарода», реконструкции расселения «индогерманцев».

Если до того методическая система Косинны, пополняясь новыми положениями, просто благополучно росла и расширялась, то оба последних методических новшества, введенных со спасательными целями, противоречили некоторым важным старым положениям и явились их отрицанием. Система заметно видоизменилась и приобрела внутренне-противоречивый характер и двойственность. С одной стороны, археология декларируется единственным надежным средством реконструкции расселения пранарода; с другой — признается, что она пасует на важном участке и ее предлагается заместить антропологией. С одной стороны, единственно правильным путем признается последовательно-постепенное ретроспективное продвижение по археологическим культурам вглубь веков; с другой стороны, рекомендуется прыжок через эпохи с опорой не на археологию, а на антропологию. С одной стороны, и один тип допущено считать опознавательным признаком этноса — лишь постольку, поскольку установлен принцип точного совпадения с этносом всей культуры, во всех ее проявлениях. С другой стороны, разрешено опознавать этнос по одной категории археологического материала и при отсутствии совпадения с нею остальных категорий.

Конечно, между старыми и новыми положениями можно найти логическую связь — в этом смысле система остается внутренне цельной. Ее противоречивость и двойственность проявляются в действии: из старых и новых положений вытекают противоположные рекомендации. Одни — более строгие (для сравнительно легких задач). Другие — более свободные (для «крепких орешков»).

Методическая система «археологии обитания» приобрела свой окончательный вид. Это и была та система, которая обеспечила Косинне выполнение его «жизненной цели» — разработку генезиса «индогерманцев» на базе нордической гипотезы.

Сочтя свою задачу выполненной, Косинна семидесяти лет (рис. 8) оставил кафедру (в 1927 г. в торжественной обстановке он прочел свою прощальную лекцию) и уступил кафедру, как ни странно, без боя Максу Эберту — хоть и занимавшемуся в семинаре Косинны, но другу и соратнику Шухардта. В последние годы жизни Косинна вернулся к исходному пункту своего путешествия вглубь веков — к германцам I тыс. н. э., культуру которых решил на досуге исследовать фундаментально. Но он успел лишь подготовить к печати первый том. Через три года после обнародования концепции «14 походов», в 1931 г., ученики и поклонники Косинны устроили торжественное празднование 50-летия докторской диссертации Косинны, а в декабре того же года 73-летний юбилей умер.

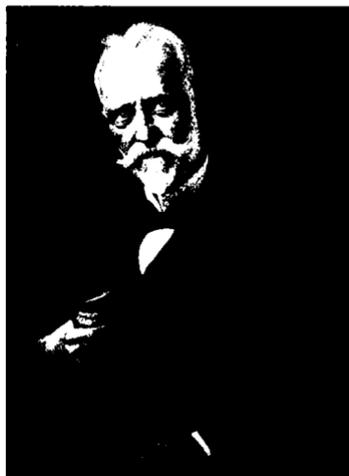


Рис. 8. Густав Косинна в конце своей карьеры. Портрет маслом (фрагмент) работы Бруно Сассника, Бременский музей

Уже через год после его смерти в томе «Маннуса», посвященном памяти Косинны, пришлось поместить признание, что голова германца, которая в течение всех лет была на титульном листе, оказалась фальшивкой; ее придется заменить другой (Mannus 24, 1932: 584). Признания, что ложны и многие предпосылки учения, вдохновлявшего «Маннус», тогда сделано не было.

7. Личность и наследие. Густав Косинна... «Перед мысленным взором того, кто его лично знал, — пишет один из последователей, — при звуке этого имени возникает небольшая подобранная фигурка со всегда воинственно напряженными чертами, с избытком вихрящихся мыслей...» (Hammer in Kossinna 1941: 303). Портреты дополняют эту характеристику: немного одутловатое лицо, под насупленными бровями — водянистые глаза слегка навывкате (возможно, щитовидка не в порядке), большие чуть подкрученные усы пруссака и седенькая треугольная бородка. На общем снимке одного конгресса (1912 г. в Стокгольме) он стоит впереди между величественно-монументальным шведом Гильдебрандтом и спокойным солидным Брауном из России. Кривобокий, как-то скособочившись, он — весь в движении, резко развернувшийся, будто готовый к драке (рис. 9). На другом снимке, 1930 года, среди руководителей своего общества в Кёнигсберге, — та же поза (рис. 10).



Рис. 9. Косинна на Первом балтийском конгрессе в Стокгольме в 1912 г. (Mannus 1912, вклейка после с. 444)



Рис. 10. Косинна среди руководителей своего Общества немецкой преистории в 1930 г. в Кёнигсберге

«При звуке этого имени» возникает также весьма своеобразный стиль исследовательской работы и ознакомления научной общественности с ее результатами, а равно не менее своеобразная манера полемики.

Косинна обычно очень мало заботился о логическом и фактическом доказательстве своих положений, особенно методических. Он выдвигал их как аксиомы, как догмы, как символ веры. Для него каждая из них — с самого начала «тысячекратно доказанная и постоянно заново подтверждаемая», а против возможных возражений — вместо доказательств «да будет здесь воздвигнута очевидность противоположного со всей определенностью» (Kossinna 1911: 3). Но ведь это заклинания, а не научные доказательства!

И, тем не менее, ученые встречали их «бурными овациями» и принимали, как Эрих Блюме, «в сокровищницу своей веры»... Огромную роль в способе утверждения идеи играл у Косинны эмоциональный фактор — это была замена доказательств, а нередко — и исходная посылка для выводов.

Вот характерный пример. Двое исследователей, Бенковски и Шумахер, интерпретировали на римских рельефах женские фигуры в штанах как изображения германок в повседневном костюме. Косинне же это представлялось несовместимым с германской моралью, строго ставящей женщину «на свое

место», и он выступил со следующим опровержением: «Мнение, что стыдливые германские женщины и именно только они разгуливали в узких брючках (Trikothosen), столь чудовищно и прямо-таки оскорбительно для германского чувства, что без внутреннего негодования этот пункт даже трудно обсуждать». Упомянув римские символические изображения Германии в виде женщины с обнаженной верхней частью тела, Косинна победоносно вопрошает: «Не думают ли Бенковски и Шумахер, что германки и в самом деле, подобно индийским женщинам, показывались так?» (Kossinna 1912a: 251). Бедный Косинна! Как ему повезло, что он не дожил до второй половины XX века — а то бы увидел своих немок, не только разгуливающих в узких брючках, но и «показывающихся так» — в бикини и даже в завезенных из Англии *topless!* Я уж и не говорю об ФКК¹...

Свободно манипулируя методами в зависимости от их удобства для желательных выводов, Косинна отстаивал в сущности дилетантизм в науке. О его дилетантских настроениях свидетельствует его резкое неприятие закона об охране памятников — он же нарушит свободу раскопок! (Mannus 2, 1910: 329). Впрочем, сам-то Косинна копал всего 14 дней в своей жизни...

Дилетантскому характеру работы Косинны вполне соответствует и его средневековая манера полемики: если нет доказательств, то идеи приходится отстаивать с помощью удвоенной и утроенной категоричности, оглушать крикливой фразой, ошеломлять грубой бранью и апломбом. Отсюда все эти косинновские *argumenta ad hominem*, презрительные клички противникам, удары ниже пояса. «Это безобразная манера Косинны, — писал выведенный из себя Шухардт, — личные высказывания, скажем, из писем или от пивного стола, да еще нарочито искаженные, класть в основу своей книжной полемики — “Маннус” дает тому достаточно примеров» (Schuchhardt 1913: 586, Fußnote 1).

В некрологе по поводу смерти Косинны в Шухардтовском журнале Г. Зегер писал: «Его работы полны жесточайших нападок не только на инакомыслящих, но и на единомышленников, которые по какому-либо поводу ему не понравились, Он не знал никаких уступок, никаких смягчающих обстоятельств. Кто не был его безусловным сторонником и другом, того он рассматривал как своего личного врага. Не случайно, что в конце концов он стоял почти один среди своих ближайших коллег» (Segger 1931: 295). Да, если считать маститых

¹ ФКК — Freie Körper-Kultur, «культура свободного тела». Так называются в Германии пляжи, где посетители обоего пола совместно купаются и загорают вовсе без одежды.

ученых — Эд. Мейер, Шрадер, Гёрнес, Фейст, Мух, Шухардт, Рейнеке, Софус Мюллер, Шумахер, даже Шлиц — всех он успел оскорбить и обидеть, всех шокировал, все от него отвернулось, а с ними их друзья и ученики, чуть ли не весь ученый мир, особенно Германии и Австрии. В этом мире Косинна остался один. Но он создал себе собственный мир, свой круг сотрудников и приспешников.

«При звуке этого имени» возникает целая толпа учеников. Среди них известные впоследствии археологи. Из ранних заметны четверо: Ганс Гане, Эрих Блюме, Макс Эберт и Альберт Кикебуш. Но двое последних стали вскоре сотрудниками Шухардта. Затем появились Эрнст Вале, Вальтер Шульц, Мартин Ян и поляк Юзеф Костшевский. Далее, в первые послеверсальские годы в семинаре занимались Герберт Кюн и испанец Педро Босх-Жимпера. Позже народ мельчает — в годы увлечения мэтра расовой теорией и 14 походами вокруг него толпятся личности (уже не только прямые ученики) вроде Рейнерта, Штампфуса, Хюлле, Лехлера, Гешвандта, Бикера, Гуммеля, Гаммера и др. — из этих мало кто оставит прочный след в науке, зато многие заметно наследят в политике.

Но что «при звуке этого имени» выступает прежде всего «перед мысленным взором» всякого, кто знал и кто не знал Косинну, — это написанные им книги и статьи, воспитанные им ученики и его учение, «археология обитания», косиннизм.

Часть третья

«Археология обитания»

А. Состав наследия Косинны. Сам факт расхождения определений «*косиннизма*», основанный на возможности выбора разных критериев определения, говорит о том, что «косиннизм» — явление сложное. Очевидно, чтобы избежать упрощений, при таком разборе надо будет исходить из того, что косиннизм, как и всякое цельное и деятельное учение, представляет собой логически последовательную систему основных положений, что он сохраняет свою специфику лишь как совокупность всех или, по крайней мере, многих этих основных положений и не может быть сведен к одному из них. Каждое из них, взятое в отдельности, может, конечно, и сохранить некоторые существенные органичные особенности всего учения, но может и не нести в себе подобного заряда, удерживая лишь первое время «аромат» всего учения в субъективном восприятии людей. Любое такое положение могло существовать и до всего

учения, одновременно с ним вне его, а затем и после него — в других системах. В них оно может иметь и другой смысл.

Более того, если учение Косинны было не просто переносом некоторых политических идей в археологию, а в каких-то отношениях необходимым звеном в логическом развитии одной науки, то такие переходящие элементы, инварианты, как их называют философы, должны с неизбежностью в нем оказаться. В этом случае закономерен вопрос, не перейдут ли они в новые концепции, сменившие старую и даже спорящие с нею, в каком виде и в каком наборе перейдут, какие именно и в какие концепции. Другое дело, что какие-то из элементов учения были особенно важными для исполнения его социальной функции, его идеологической роли, его использования в политических целях — в данном случае явно злонамеренных. Любопытным может оказаться вопрос в том, в каком отношении эти элементы окажутся к инвариантам, войдут ли в их число, сохранят ли при этом свои политические потенции и претензии, в какие и чьи концепции попадут. Надобно проверить справедливость утверждения Брюсова (1956: 16–17), что Косинна все ценное заимствовал, а сам ничего не внес в науку, кроме тенденциозных и шовинистических идей.

Что учение Косинны с самого начала создавалось под определенным политическим стимулом, вполне очевидно. Оно должно было внушать немецкому народу сознание несправедливости доставшейся ему доли в империалистическом дележе мира, воспитывать чувства национального превосходства и агрессивные устремления. Это лежит на поверхности. Этого не скрывал и сам Косинна. Западнонемецкие критики также отмечали (обычно вскользь) это обстоятельство, но совершенно упускали из внимания социальную обусловленность этого настроения Косинны, связь со спецификой развития германского империализма. Именно в советской археологической литературе рассмотрена эта сторона дела (Равдоникас 1932; 1935; Артамонов 1937).

В 1888 г. к власти в Германии пришел кайзер Вильгельм II, сторонник пангерманизма. Через два года, в 1890-м, ушел со своего поста канцлер Бисмарк, который провел объединение Германии, но стремился ограничить это объединение, не включая в него всех немцев Европы, — дабы не восстановить против Германии остальные крупные государства Европы — Россию, Англию. И так уже соседи — Франция, Австро-Венгрия и Дания — были задеты. Кайзер же был молод и агрессивен.

В политике кайзера особую остроту приобрел вопрос о территориальных границах Германии. Издавна при попытках перекройки границ дипломаты обращались к так наз. «историческому праву». И не случайно именно в это время на рубеже XIX-XX вв. именно в германской археологии отыскиваются средства

установления древних границ обитания германцев, создается «археология обитания». Случайно лишь то, что это сделал Косинна — так сложилось стечение многих обстоятельств, по отношению к общим закономерностям истории — случайных. При небольших изменениях роль Косинны мог выполнить (может быть иначе) и кто-то другой. Мух разрабатывал близкие идеи. Мы знаем, что у Вирхова были подобные мысли, только он не разработал их в систему. Ратцель создал систему антропогеографии и сформулировал принципы миграционизма в этнологии и культурной антропологии. Его «Антропогеография» выходила с 1882 по 1891 г. Идеи витали в воздухе Германии.

Но закономерность появления косиннизма имеет и другой план, более широкий. Рубеж XIX и XX веков был переломным моментом в развитии теоретической мысли историков культуры в целом. Четко обозначился кризис эволюционизма. Дэниел (Daniel 1950: 239) верно подметил ряд причин этого кризиса (демонстрация одновременности разностадиальных явлений, охват культур всего мира археологическими исследованиями, влияние географии расселения и антропологии, интеграция разных отраслей археологии), но упустил из виду его связь с общим кризисом прогрессивной буржуазной идеологии вообще. Выступления пролетариата и социалистическое революционное движение подорвали веру в безоблачность перспектив и в дальнейшем прогресс и подъем буржуазного мира, в закономерность эволюции вообще. Но так как трудно отрицать движение, будучи на подступах к XX веку, то стали подыскивать другое объяснение движению — на месте качественного и количественного роста было подставлено перемещение в пространстве. Одни стали объяснять основные перемены и нововведения миграциями, другие — влияниями. «Нордическая теория» Косинны — не единственная разновидность *моноцентрического миграционизма* (немало сторонников имел и понтийский центр расселения), а моноцентрический (центробежный) миграционизм — не единственная разновидность миграционизма (полицентрическая представлена у Брейля). *Трансмиссионизм* (нередко называемый диффузионизмом, хотя это не одно и то же) можно рассматривать как функциональную параллель миграционизму — у них схожие методологические основы, поэтому обе теории были выдвинуты, развивались и пришли в упадок одновременно (Косинновская разновидность миграционизма, будучи сильно дискредитирована своими политическими приложениями, рушилась на десятилетие раньше других). В этом смысле Брейль, Косинна и Эллиот Смит, несмотря на все свои различия — порождения одного и того же духа времени.

За всем этим открывается еще и третий план, в котором должны быть рассмотрены работы Косинны. Это план гносеологический, определяемый

последовательностью движения по дороге познания, внутренней логикой развития науки. Поскольку общественная наука как развивающаяся система является подсистемой не только идеологии, но и научного знания в целом, она не только отражает социальные силы, но и обладает определенной относительной автономией, имеет собственные законы развития, внутреннюю логику. Облик теорий определяется взаимодействием всех этих и упомянутых выше факторов. Поскольку Монтелиусом был создан исследовательский механизм прослеживания процессов культурного развития, то дело не могло ограничиться применением этого инструмента только к выявлению относительной хронологии, он неминуемо должен был вылиться в возможность выявления преемственности.

Сам Монтелиус эту возможность даже реализовал (Montelius 1888), но мельком, без размаха и концентрации внимания на этом. Интенсивное приложение этого средства к изучению культурно-генетических связей было делом времени и интересов. К началу XIX в. открытые археологические памятники представляли собой немногие далеко разбросанные точки на обширном белом поле. Никакой интерес к географии не мог бы привести к выявлению культурных провинций на этой базе.

К началу XX века поле покрылось густой россыпью открытий и отдельное рассмотрение по территориям стало возможным. Понятия типа и замкнутого комплекса, разработанные эволюционистами, приучили исследователей фиксировать внимание на повторяемости вещей и их сочетаемости. Распространить эту установку на повторяемость локализации вещей и на сочетаемость их не только в замкнутом комплексе, но и — шире — в одном районе было логически естественным следующим шагом и когда-нибудь должно было произойти. То, что произошло именно в конце XIX — начале XX в. и осуществилось больше всего в Германии, — результат факторов первого и второго планов. Этим же определен и конкретный облик, который приобрела концепция. По сути уже Вирхов и Тишлер выделяли «культурные провинции», а Шлиман группировал древности по «цивилизациям»: и Вирхов и Шлиман связывали их с определенными древними народами (Gummel 1938: 277; Daniel 1950: 243). Одновременно в далекой России тишайший Спицын (1899), картографируя типы височных колец, реконструировал расселение летописных славянских племен. Все это вне зависимости от Косинны, но все без той интенсивности, того размаха и той систематической разработанности, которые придал этим операциям Косинна. Деятельность Косинны стояла в русле логики развития самой археологической науки, наиболее ярко выражая определенное звено логической цепи этого развития.

Следовательно, мы вправе ожидать, что в учении Косинны окажутся какие-то важные инварианты, и вполне правомерен вопрос о содержании, характере и размере вклада Косинны в археологию наших дней. Для советской и восточногерманской (в ГДР) археологии вопрос этот был особенно острым: можно ли говорить о положительном вкладе столь одиозной личности. [Но я мог сослаться на классиков марксизма. Ленин (1961: 49) писал о философах и историках прошлого, что они «науку двигали вперед, несмотря на свои реакционные взгляды». По своим основным воззрениям Косинна был несомненным противником марксистской концепции исторического процесса, но, по ленинским представлениям, было бы ошибкой отвергать все, что он говорил, только потому, что это говорил он, и выдвигать нечто прямо противоположное по этой же причине. Энгельс (1964) писал дочери Маркса: «говорить: белое, потому что мой принцип говорит: черное — значит просто подчиняться закону своего противника, а это ребяческая политика». Не стоит упрощать, — считал я. Надо разобраться.]

Научное наследие Косинны, в настоящее время являет собой весьма пеструю массу утверждений, поучений, деклараций, гипотез и трактовок: «этническое объяснение» (*ethnische Deutung*), ретроспективный метод, северная прародина, превосходство древней германской культуры и нордической расы, длинная хронология, 14 неолитических походов «индогерманцев» и т. д. — все это обычно подставляется выборочно или все скопом под каким-нибудь из примелькавшихся терминов: учение Косинны, косиннизм, «археология обитания», работы «Берлинской школы...»

Запутанность этого нагромождения немало способствовала тому, что как отметил Гахман, «к идее проверить методологические предпосылки так наз. «метода Косинны» в их полном объеме еще никто не пришел» (Nachtmann 1970: 176).

Для более основательной оценки взглядов и утверждений Косинны их нужно рассмотреть в полном объеме и упорядоченном виде. Постараемся проделать эту работу за Косинну — сам он систематизации своих принципов не дал. Не сделал этого и никто из его учеников и критиков.

Вся совокупность научных результатов Косинны и его «берлинской школы» состоит в основном из двух систем положений: конкретно-фактоведческой и принципиально-установочной (методико-методологической).

Под первой следует разуметь разработанную Косинной и его учениками конкретную источниковедческую трактовку и историческую интерпретацию археологических материалов. В эту систему входят прежде всего: автохтон-

ность германцев в Северной Европе, ютландско-северогерманская прародина «индогерманцев», вытеснение прафинской культуры «доббертинцев» (маглемозе) в Скандинавию, германская принадлежность культуры «Эллербек» (кьёккенмеддингов Эртебёлле) и мегалитической культуры воронковидных кубков, выведение саксотюрингской шнуровой керамики из ранней баальбергской и датской культуры одиночных погребений, 14 неолитических походов «индогерманцев», связь «индогерманизации» Европы с деятельностью нордической расы, изобретение бронзы в северной Европе и превосходство северных бронз над всеми другими, длинная хронология европейских древностей, иллирийский этнос лужицкой культуры, дуальное деление археологической культуры германцев железного века и т. п. Эти трактовки археологических факторов являются основными в конкретной картине первобытного прошлого, которую рисовал Косинна, опорными для его общих идей.

Отдельные детали картины, создававшейся Косинной и его учениками, у них не раз заменялась. Скажем, мегалиты Косинна вначале выводил из Ютландии и Скандинавии, позже склонялся к приоритету Португалии, лужицкое городище Рёмершанце вначале отдавал иллирийцам (и ожесточенно спорил с Шухардтом), позже признал германским; культуру линейно-ленточной керамики вначале не включал в индоевропейский круг, затем объявил «южными индогерманцами», а позже отказался от этого термина и отнес названную культуру к «несеверному субстратному населению»; зато мегалитическую культуру воронковидных кубков объявил индогерманской, хотя вначале не относил к предкам германцев; и т. д. Ученики тоже позволяли себе заменять некоторые кирпичики из этого здания другими. Здесь оказывались и наращивание методической системы, и накопление новых материалов, и субъективные представления. Еще больше было опровергнуто противниками.

Правда, сам Косинна и его ученики шли на замену лишь второстепенных положений или, если вставал вопрос о слабости более важных, старались заменить их похожими, но более удачными. Противники часто нападали на положения основные, опорные для Косинновских общих идей. Но опровержение еще какого-то или каких-то из этих опорных вряд ли само по себе способно погубить связанную с ним идею — она может найти другие воплощения, не говоря уже о том, что вся сплошная идейная концепция нередко может обойтись и без той или иной частной идеи — одной из составляющих.

Нельзя забывать и о том, что какие-то из конкретных положений Косинны могут ведь и подтвердиться. Отрицать такую возможность и даже вероятность не приходится: некоторые как-будто уже и подтверждаются. Так, весьма вероятно длительность обитания германцев в Северной Европе; радиоуглеродные

датировки упорно возвращают археологов к длинной хронологии европейских древностей; почему бы и тому или иному из 14 походов» не найти соответствия в новейшей реконструкции неолитических миграций, хотя бы в первом приближении?).

Как предпосылки построения рассмотренной системы, так и ее значение коренятся во второй из указанных систем — в системе принципов и связанных с ними методов исследования и истолкования археологических фактов. Эта вторая система, которую и есть резон называть учением Косинны или косиннизмом, состоит из двух частей, двух логических рядов. Первый определяет работу в этнической истории (решение задач о происхождении и расселении родственных по языку народов, изучение этнических передвижений). Второй ряд составляет принципы, определяющие разработку истории культуры (исследование движущих сил культурного процесса).

Первый ряд состоит из 9 основных положений.

Б. Косинновские принципы разработки этнической истории — происхождение народов и языковых семей. Шесть из этих положений определяют, как выяснять происхождение народов и языковых семей.

1. *Этническое истолкование (ethnische Deutung) археологических культур.*

Суть этого принципа сформулирована Косинной в знаменитых правилах: «Резко ограниченные археологические культурные провинции (Kulturprovinzen) во все времена совпадают со вполне определенными народами или народоплеменными общностями (Völker oder Völkerstämmen)» (Kossinna 1911: 3). «Четко ограниченные, резко замкнутые археологические провинции безусловно совпадают с территориями определенных народов и племенных общностей» (Kossinna 1926: 21).

И в лаконичных формулах :

«мое уравнение: культурная группа = народ» (Kossinna 1911: 9).

«уравнение: культурные области — это народоплеменные общности» (Kossinna 1911: 4).

«Наш принцип: территории культур — это территории народов» (Kossinna 1911: 5).

На практике до Косинны из этого принципа исходили Вирхов, Тишлер и др. Сам Косинна доказательств не выдвигал (да их и не требовали!), он только привел перечень примеров (не всегда надежных) из древности и раннего средневековья, а экстраполяцию вывода на первобытные времена считал естественной. Логические доказательства подобрал его ученик Блюме. Он ссылался на племенную организацию и первобытную изоляцию. Он же дал и определение «культурной провинции» как «суммы одинаково распространенных форм культуры» (Blume 1912: 1–7).

Принцип этот требует картографирования находок и превращает его в необходимый прием исследования и доказательства в реконструкции этнической истории (позже стали говорить о «картографическом методе»). Ссылаясь на специфику Центральной Европы, Косинна пишет, что его здесь «Монтелиусов способ доказательств уже не удовлетворяет. Он должен быть пополнен тем, что я ввел в доисторические исследования, — изучением мест обитания (Siedlungskunde), нанесением культур, то есть всего ... материала находок на карту страны ...» (Kossinna 1911: 8). Требование «карт обитания» дало и одну из кличек всему направлению (Siedlungsarchäologie).

2. Этническое истолкование культурной преемственности.

«Если надо войти в происхождение германцев, — писал Косинна, — то это возможно только одним единственным изобретенным мною ... очень простым способом. Надо исходить от самых ранних историй засвидетельствованных областей распространения германцев и проследживать век за веком назад (то есть еще дальше вглубь веков. — Л. К.) их границы, частью меняющиеся, частью остающиеся неизменными, пока не дойдем до начала или до препятствия, не дающего продвигаться дальше» (Kossinna 1926: 5).

На деле суть «изобретенного мною» способа была сформулирована уже Монтелиусом (Montelius 1888): «преемственность культуры (Kulturkontinuität) указывает на постоянство населения». И для проследживания этой преемственности не было предложено ничего нового в дополнение к типологическому методу Монтелиуса, лишь утерявшему в новых облегченных приложениях первоначальную строгость. У Косинны лишь был перенесен акцент о хронологических задач на этногенез и более четко, чем у Монтелиуса, сформулирован технический рецепт проследживания — от поздних времен вглубь веков, получивший впоследствии название *ретроспективного метода*. Проследживание Косинна начинал не от современности, а, ради экономии, от самого раннего из

периодов, освещенных письменной историей, пусть даже не собственной, но хотя бы сообщениями письменных источников (древних авторов) из соседних стран. Таким образом, все движение вглубь веков начиналось с наделения археологических культур именами народов, известными древним авторам, и наделение это производилось в соответствии с географическими, этнографическими и другими сведениями этих авторов.

3. Этническое истолкование типологических соотношений.

Возможность по сходству культур заключать о родстве народов, по различию культур — о неродственности и по степени сходства — о степени родства нигде Косинной не сформулирована, но везде подразумевается и используется. Количественная оценка типологических сходств или различий даже у Монтелиуса не получила строгого методического воплощения, а уж у Косинны и подавно. Археологическое определение родства не было доведено до уровня строгого метода. Но и в таком виде этот прием позволял Косинне переносить этнические определения с тех групп населения, которые были освещены в письменных источниках (или генетически связаны с таковыми), на те соседние, которые не были освещены, и таким образом заполнять этнические карты первобытной Европы, находить древние границы между крупными этноязыковыми общностями (семьями народов).

В последовательном ряде карт отражались передвижки этих границ, передвижки культур и групп культур (рис. 11).

Все три рассмотренных принципа имеют одну суть: этническое истолкование культурно-исторических связей и общностей в статике и в динамике.

4. Миграционная трактовка распространения культуры.

Косинна (Kossinna 1911: 9–11) подчеркивал, что многие категории культурных явлений, в отличие от вещей не продаются и не покупаются, и полная передвижка всего состава культуры немислима без переселения людей (проблему заимствований и диффузии он при этом игнорировал). Этот принцип он заимствовал у Ратцеля. На основании подобных высказываний и под впечатлением пресловутых «14 походов» Косинну принято считать типичным представителем миграционизма. Между тем, миграционизм как общий методический принцип подразумевает тенденцию всякое распространение культурных явлений, более того — всякое сходство в культуре разных мест объяснять миграциями. Таков полицентрический миграционизм (например, в известной мере, у Брейля). Миграционизм Косинны относителен и ограничен. Моноцентрический миграционизм Косинны оставляет место и для автохтонного развития, но только одно место — на северной прародине германцев.

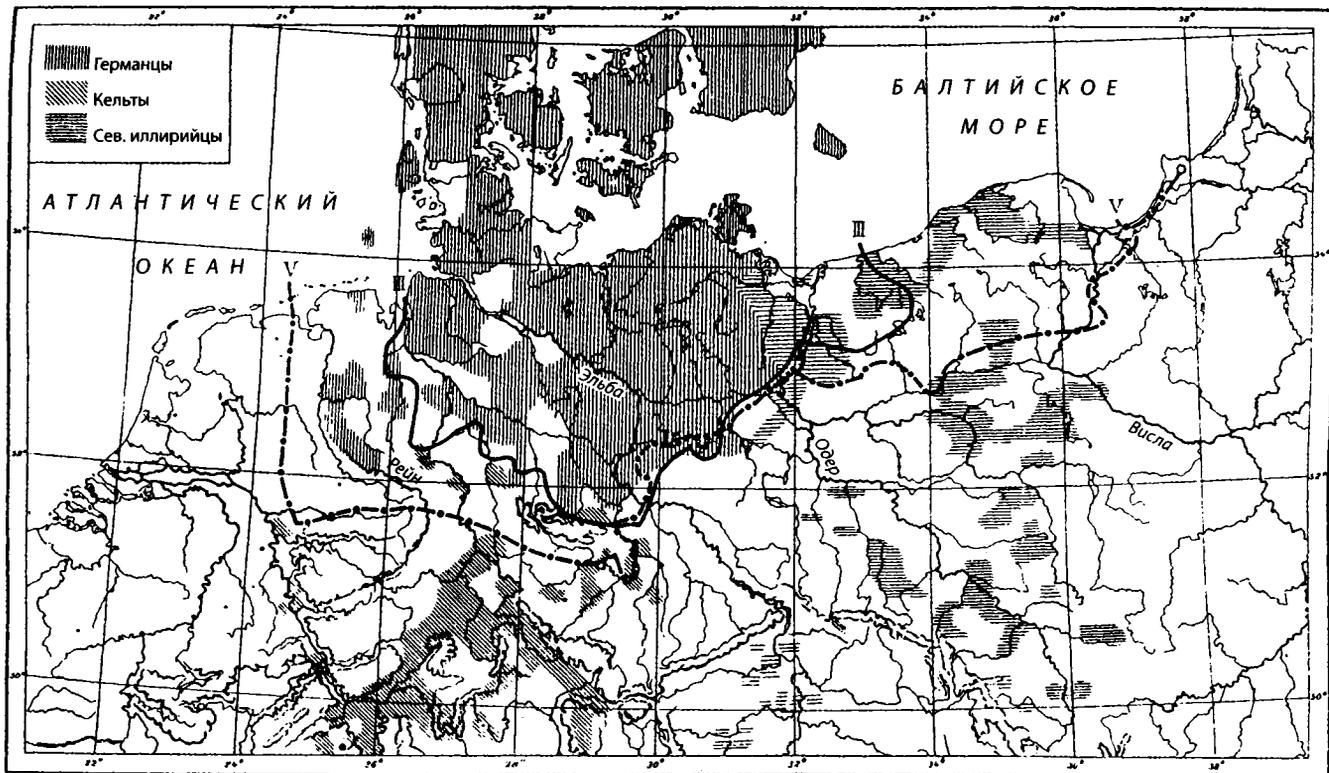


Рис. 11. Карта древних германцев и их соседей по Г. Косинне (1913). Показано расширение границ германцев в бронзовом веке по археологическим данным в их трактовке Г. Косинной

«Одним из наиболее ясно познаваемых принципов — писал Косинна, — было для меня, что волны распространения культуры идущие с юга на север, — это только культурные волны или их характерных частей, направленные на юг, должны рассматриваться как свидетельства переселения народов» (Kossinna 1902: 162). Никаких фактических доказательств, что с севера на юг шла полная передвижка культуры, а с юга на север — неполная, конечно, не было предъявлено.

В методике исследований реализация этого принципа в лучших случаях сводилась к эволюционно-типологическим рядам, положенным на карту.

5. Этническая атрибуция типа.

Исходным для Косинны было романтическое представление о культуре как эманации народного духа. Согласно этому представлению, в каждом отдельном элементе культуры сказывается этот специфический дух народа, свойственный только ему и недоступный другим. В первобытное время это должно было проявляться особенно ярко из-за слабости межплеменных контактов.

Начав с этнической атрибуции культур, Косинна быстро перешел к этнической атрибуции отдельных типов вещей. Сперва он проводил этот принцип лишь в практике исследований, подспудно, не декларируя в теории и даже открещиваясь от него в полемике: «Разве ж я когда-либо просто “горшки индентифицировал с народами”?... Разве не рассматривал я всегда в гораздо большей мере скорее целые культуры?..» (Kossinna 1911: 11).

Постепенно, однако, в «Берлинской школе» накапливались опыты этнической атрибуции конкретных типов и некоторые соображения в пользу правомерности такой атрибуции. Поддержка пришла из этнографии, где этот принцип был в 1904 году провозглашен Гребнером (Westphal-Hellbusch 1969: 170).

В 1905 году Косинна определил «Орнаментированные железные наконечники копий как признак восточных германцев» (Kossinna 1905). В теоретической работе 1911 года он подчеркивал особое значение керамики для прослеживания этнических отношений (Kossinna 1911: 9–11). Его ученик Блюме отмечал:

«то, что необходимо для одежды, как фибулы и другие булавки, также часто встречающиеся украшения, оружие и т. п. как раз были как правило германскими, постоянными для племени изделиями... Если уж культурные изделия, которые могут распространяться торговлей, все же дают возможность этнографических разграничений, то в еще большей мере это должно относиться к тому достоянию, которое туго идет в торговлю или вовсе не идет. Костюм, устройство дома и поселения наверняка выступали, как правило, в различных

племенных разновидностях... В способах обхождения с покойником, в могильном устройстве и снаряжении инвентарем мы находим значительные различия, и здесь часто более резкие границы, чем у предметов, распространяемых торговлей. Так способ погребения иной раз разделяет племена там, где отказывают формы орудий и утвари» (Blume 1912: 5, 7, 8).

У учителя и его учеников не было ни тени подозрения, что границы ареалов разных категорий находок и за вычетом импорта могут не совпасть.

В методике исследований приложение этого принципа позволило подставить карты типов (Typenkarten) вместо карт ареалов культур в качестве карт распространения народов. Это существенно облегчило конструирование миграций, необходимых для развертывания идеи о северной прародине «индогерманцев» (куда не простирались культуры, шли типы) и было широко использовано в концепции 14 походов...

б. Совмещение народов с расами.

Представление о белокуром длинноголовом арийце с самого начала вдохновляло Косинну, но в его концепции антропологическая аргументация была включена не сразу. В 1902 году он только ссылался на вывод Ляпужа о связи индогерманской языковой общности народов со светлыми нордическим расовым опытом, но не считал возможным жестко увязать частные археологические культуры с расами (Kossinna 1902). Через несколько лет он уже преодолел это препятствие: «с 1908 года, — пишет он в 1991 году, — благодаря Шлицу мы знаем, что каждое более или менее значительное подразделение больших культур обладает собственным расовым подвидом» (Kossinna 1911: 11). Он и сам выпускает несколько работ (Kossinna 1910; 1914; 1921) о связи индогерманцев с нордическим расовым типом. Но лишь в 1924–27 гг. этот принцип был включен в методологическую систему Косинны и реализован в прослеживании генетических связей (Kossinna 1926). Теперь на тех участках, где в археологическом материале связь между культурами слабеет и обрывается, Косинна стал заполнять брешь, прослеживая расовую связь. Антропология у него подменяет в таких лакунах археологию.

Тезис о принципиальном совпадении археологических культур с расами сам по себе не предполагает неперенной связи с расовой теорией. Это зависит от того, ищут ли его обоснование в идеях о зависимости облика культуры от биологических особенностей популяции или в представлении о значительной разобщенности древнего человечества. В аргументации Косинны первое постепенно брало вверх над вторым.

Изложенные 6 принципов определяют у Косинны методику исследования проблемы происхождения народов и языковых семей.

В. Этническая история — использование результатов. Продолжение ряда составляют принципы, которыми определяются у Косинны оценка и использование получаемых результатов, а вместе с тем — и дальний прицел исследования.

7. Апелляция к «историческому праву».

Задолго до Косинны в юридических и дипломатических спорах способом обоснования территориальных прав нации и утверждения национальных претензий и амбиций были ссылки на историческую давность обитания. Но обычно экскурс в прошлое ограничивался несколькими предшествующими поколениями или веками, а в поисках свидетельств спорящие обходились письменными документами. Редко сей поиск выдвигался как ведущая задача исследователей, да еще целой школы. Задача эта интересовала Вирхова (Virchow 1984: 74; 1897: 69), но ставилась как попутная и в академической форме. Косинна поставил ее во главу угла, придал откровенно политическое звучание и заменил века тысячелетиями, историческую давность — доисторической, письменные документы — археологическими памятниками. Он призывал «отнять у богатых памятников родной земли их безличность» и определить, «где в нынешней Германии мы имеем в доисторические времена дело с германцами, а где — с негерманцами» (Kossinna 1896: 1). Места последних (кельтов на западе, славян на востоке) оказывались чрезвычайно узкими территориально и хронологически, роль — минимальной. Особенно интересовали Косинну спорные, недавно присоединенные к империи территории на востоке. Для Косинны имел значение не сам факт давности современного обитания, а величина давности появления и длительности обитания, сравнительный подсчет веков и тысячелетий: кто раньше, кто первее, тот законный хозяин. Это убеждение водило его пером в 1918–1919 гг., когда он писал брошюру «Немецкая Восточная марка — исконная родная земля германцев» (Kossinna 1919) и отправлял ее делегатам Версальского конгресса, надеясь повлиять на решение. Затем отыскание все новых территорий, на которых германцы появились раньше современных обитателей, превратилось в увлекательную и весьма азартную игру.

8. Подбор археологических прецедентов современных планов агрессии.

С самого начала возможность подкрепить современные агрессивные политические планы и акции государства, обращаясь за примерами в древнейшее прошлое, широко эксплуатировалась Косинной. Уже кассельский доклад был опубликован со следующей концовкой:

«Немецкая народная сущность и немецкая культура с их полным сил превосходством, не нуждаются в том, чтобы обращаться за поддержкой их дальнейшего распространения или даже за гарантией их прочности к титулу обладателя доисторических тысячелетий. ...Нас, немцев, а с нами и всех других членов германского племени, может, однако, лишь наполнять гордостью и мы должны изумляться силе маленького северного пранарода, когда мы видим, как его сыновья в первобытности и древности завоевали всю Скандинавию и Германию, а в средние века распространились по Европе, в новое время — по далеким частям света» (Kossinna 1896: 14).

«Завоевали», «распространились» — вот что оказывается исторической константой германцев. Косинна здесь извлекает стимул для национальной гордости. Но национальная гордость не беспредметна и не бесцельна. Чем предлагает Косинна гордиться «нам, немцам, а с нами и всем другим членам германского племени»? Завоеваниями. Зачем, однако, надо пробуждать такую национальную гордость? Для «дальнейшего распространения». А распространение культуры с севера шло, как гласит закон Косинны, только в порядке переселений, миграций, переселения же трактуется только как завоевания, походы.

9. Доктрина первородства.

Гипотезу о северной прародине «индогерманцев» Косинна (Kossinna 1912) потому с такой яростью «отобрал» у Муха (оспорив приоритет), что увидел в ней средство для утверждения особого места германцев среди других индоевропейских народов, особой роли Германии в истории. По этой гипотезе, только германцы остались сидеть на старых землях, унаследовав родительский очаг, и сберегли поэтому в наибольшей чистоте культурное достояние предков. Это означает, что только германцы являются прямыми потомками и продолжателями тех, кто осуществлял «индогерманизацию» остальных территорий. Старшинство, привилегии и обязанности первенца, второстепенность «бастардов» — все это были ходячие представления, так что разъяснить аналогии не было надобности.

Три рассмотренных положения Косинны определяли выход его концепции этногенеза в политику. Ими завершается первый ряд Косинновских методологических принципов, который, собственно, и заслуживает наименования «археологии обитания» (*Siedlungsarchäologie*) в узком смысле, хотя сам Косинна распространял этот термин на всю свою методическую систему.

Г. Принципы изучения истории культуры. Между тем, остальные принципы — образующие второй ряд — не связаны непосредственно ни с задачами изучения этнических границ и территорий обитания, ни с соответствующими картами, ни вообще с территориальным аспектом археологии. Связь второго ряда с первым проходит через политический и биологизаторский узлы концепции. Принципы второго ряда (их 4) имеют дело с изучением прогресса культуры, движущих сил развития общества.

10. Декларация культуртрегерской миссии.

В основе лежит традиционное для тогдашней немецкой науки деление народов на «культурные» (исторические, творческие) и «природные» (близкие к животному состоянию). Германцы, конечно, были всегда Kulturvolk, не Naturvolk. Они несли культуру при своих завоеваниях во все стороны, были всегда культуртрегерами. Этим завоевания объясняются, оправдываются и подтверждаются. Пропаганда древнего культурного превосходства своего народа над всеми другими Косинна посвятил вышедшую накануне войны популярную книжку «Немецкая археология — чрезвычайно национальная наука» (Kossinna 1912a), а затем создал более короткую откровенную агитку «Древнегерманская культурная высота» (Kossinna 1919). Сравнительная оценка культурного уровня народов в ту или иную эпоху переносится из академических сопоставлений в сферу бурных эмоций и политики. «Отрицательные» оценки (например, утверждение, что древние германцы были варварами) воспринимаются как порочащие, враждебные, клеветнические выпады, доказательство противоположного — как священный долг и дело чести ученых. При этом речь идет не только о том, чтобы доказать, что древние германцы были не хуже других народов, а о том, чтобы доказать, что они были лучше, выше, культурнее, всех других.

Для достижения этого вывода применяется несколько методических приемов:

1) Аккумуляция приоритетов и супериоритетов — старательное накопление реальных или мнимых фактов о первенстве германцев в чем-либо: первыми взнуздали лошадь, создали лучшие в Европе бронзы и т. п.

2) Гиперболизация этих фактов и их значения — вплоть до фантастических размеров — при одновременном преуменьшении и замалчивании фактов противоположного характера (например, о внешних влияниях на германцев): алфавит изобрели не финикийцы, а европейцы каменного века; «величие германской спиральной орнаментации» (Kossinna 1912a) и т. п.

3) Генерализация и абсолютизация полученных выводов: «Германцы со времен первобытности — телесно, духовно и морально высоко

стоящий народ»; «вандализм» — гнусная выдумка: разве могли так поступать «те германцы, которых преследовала сильнейшая жажда культуры, как это примечательно показывают все их племена без исключения при завоевании римских провинций» (Kossina 1912a: 3) и т. п.

11. Наложение прошлого на современность.

Признание постоянства национальных особенностей и устойчивости культурных традиций было важно для распространения вывода предшествующего тезиса на современных немцев: «таковы же мы и сейчас», «так было и у германцев, так и должно было у них всегда быть» (Kossinna 1912a: 82). Развитие культуры, прогресс отрицаются или сводятся к несущественным, чисто внешним, формальным переменам. Современные немцы отождествляются с древними германцами.

А так как в первобытном обществе благодаря большей обособленности народы и культуры были чище и их особенности выступали в более ярком и самобытном виде, то и познать современные народы и культуры можно лучше всего по их предковым, первобытным формам. Отсюда — особое значение первобытной археологии для познания современных народов и, следовательно, для решения современных проблем. «... Все, что мы в этих кругах еще ожидаем от германства, — все это содержалось в нем изначально... Откуда нам, однако, лучше узнать наших предков, как не из их древнейшего и доступнейшего проявления? То есть из доисторического прошлого! И каким путем чище, чем из рассмотрения их собственных творений на родине?» (Kossinna 1912a: V).

12. Биологический детерминизм (расизм).

С самого начала дух нордического расизма присутствовал в учении Косинны. Но органической частью в структуру учения расовая теория была включена не сразу, из-за затруднений в увязке культур с расами. Ведь если для увязки культур с расами не обязательно принимать расизм, то для утверждения расизма увязка культур с расами, по-видимому, более важна, а уж тем более удобна она для внедрения расизма в археологию. В Кассельском докладе кооперация с нордическим расизмом лишь подготавливается — не столько различной интерпретацией культурных потоков (с юга диффузия, с севера миграция), сколько общей направленностью работы (совпадение некоторых косвенных и необязательных положений, например, о древности германцев в Северной Европе). В работе 1902 г. Косинна уже прямо ссылается на проповедников нордического расизма Ляпужа и Зиглина, однако воздерживается от жесткой увязки культур с расами. Вслед за работой Шлица (Schlitz 1908) начинают выходить специальные работы самого Косинны о связи индогерманцев с нордическим расовым типом (Kossina 1910; 1914; 1921). В книге о «чрезвычайно

национальной» преистории и в некрологе о Блюме (Kossinna 1912b) расистский колорит уже явственно проступает в отдельных высказываниях, в выражениях типа: «среднеевропейская кровь», «расовый капитал», «кровь и определяет душу», «ценность истинно-германской крови» и т. п.

Собственно, идеи уже налицо. Но только с расами концепция была включена в методическую систему Косинны. Вот когда расовая теория в виде развернутых разработок вошла в структуру всего учения Косинны как объяснение многих положений, а тем самым как объединяющее звено всей концепции. Признание биологической обусловленности духовных качеств и культурных достижений подвело теоретическую базу под увязку культур с расами, а установление неравноценности рас, деление на высшие и низшие, принцип изначального превосходства нордической расы над всеми остальными пригодился для объяснения культурного превосходства древних германцев, а заодно — и завоеванных успехов германских культуртрегеров. Наконец, тезис о неизменности расовых признаков позволил объяснить постоянство этнических особенностей и устойчивость культурных традиций.

13. Извлечение идеалов и прямых уроков из археологии.

Косинна открыто провозглашал установку на политико-воспитательное использование культурных норм, оценок и традиций, восстанавливаемых археологией. Он не скрывал, что возвеличивание и восхваление древних германцев, проповедь их культурного, а затем и расового превосходства предпринимает для «напоминания о всемирно-историческом призвании наших племен» — тех самых, которые уже сумели однажды «в конце римского времени завоевать мир» (Kossinna 1912a: 82), а затем «все больше становились во главе европейской и, наконец, мировой культуры» (Kossinna 1912a: V). И заключил: «Вот то великое, что возвещает доисторическая археология» (Kossinna 1912a: 82) и к чему она должна «пробуждать воодушевление»... (Kossinna 1912a: 86).

Методика формирования идеалов и взглядов на мир из археологических образов сводилась к нагромождению упрощений: примитивные аналогии, прямые увязки разнородных фактов, прыжки через тысячелетия. Но изобретательность Косинны в отыскании поводов для таких манипуляций очень велика.

Почему, например, в эпоху бронзы германцы не сопровождали покойных сосудами с пищей, а лишь оружием и украшениями? Потому что

«геройский дух, проявлявшийся германцем в любых жизненных ситуациях сказывался также и в том, что именно только в полном вооружении германец вступал в неведомый мир... При этом они

отрекались от предусмотрительных забот о повседневных нуждах, ибо герою все это должно приходиться само...

И кому не припомнится в этой связи героический, отрешенный всякой заботы о земных вещах способ, которым некогда команда нашей канонерки "Ильтис" при тайфуне на китайском берегу встретила свои последние минуты? Ну, а теперь свидетельства древнегерманского духа в мировой войне!» (Kossinna 1941: 59).

Иное дело славяне. О древних славянах сказано: «Они тогда уже исповедовали большевизм, смягченный невозможностью скоплений и жалким отсутствием потребностей, большевизм, который у германцев, требовавших везде, даже на войне, законности и права, вызывал только глубокое отвращение» (Kossinna 1940: 19).

Этим прямым выходом в политику завершается второй ряд принципов, входящих с методологическую систему Косинны. По аналогии с названием первого, этот можно было бы назвать «археологией культурной высоты» (Kulturhöhearchäologie). Он-то и был охарактеризован самим Косинной как «чрезвычайно национальная археология». Оба эти ряда в совокупности — 13 принципиально-методических положений, так сказать «чертова дюжина», — составляет методологическую систему Косинны — то, что и есть смысл назвать: Косиннизм.

Д. Критики Косинны. Вот теперь любопытно будет проверить, какие же из этих догм подвергались критике со стороны того или иного противника косиннизма. Иными словами, кто и за что критиковал Косинну.

1. Ранние критики еще на рубеже XIX и XX веков — Эд. Мейер, Шрадер, Гёрнес — направили свой скепсис на первые пять догм, то есть на этническое использование археологических фактов и на прослеживание древних миграций. Но это вполне понятно: именно с этого и начинался косиннизм, прочие догмы были разработаны позднее. Корифеи тогдашней науки отметили слабость методов, примененных Косинной, бездоказательность положений, скудость фактов. «С такими аргументами, которые приводятся в пользу длительного заселения берегов Балтики индогерманцами, — заявил Эд. Мейер, — можно доказать преемственность населения почти для каждой страны на свете» (Meyer 1907: 55, 537, 735, 787, 800). Австриец Гёрнес (Hoernes 1903) написал, что готов был бы принять «эту упрощенную идентификацию доисторических горшков с историческими племенами за шутку, ... пародию, если бы не святая серьезность автора». Шрадер выдвинул пять обвинений, указывая на:

- 1) «бездоказательные отождествления известных культурных районов с определенными народами, особенно — с пранародом индогерманцев»;
- 2) «объяснение различных культурных групп переселениями народов (а не, скажем, торговлей или передачей культуры)»;
- 3) отсутствие доказательств, что переселения шли с Севера на Юг и с Запада на Восток, а не в противоположном направлении;
- 4) скудость фактического материала;
- 5) происхождение материала «почти исключительно из Западной половины Европы» (Schrader 1906–1907, II: 472–473).

Как видим, отзывы суровые, но лаконичные — опять же естественно: трудно было бы требовать обстоятельного критического разбора слабо разработанных и декларативно предъявленных положений. Косинна отвечал бранью (Kossinna 1906: 6–14).

Осторожными и узко ограниченными было возражения Рейнеке (Reinecke 1912). Баварский мэтр указывал на слабость фактуальной базы для таких построений — шаткость хронологии, спорность культурно-типологической группировки и обилие белых пятен. Однако обстоятельный разбор Косинны все же был сделан в этот ранний период, но не в Германии, а в Польше. Он был сделан в блестящей по форме и основательной по содержанию статье Маевского (Majewski 1905) — первого польского критика Косинны, впоследствии заслоненного в критике другим польским археологом, учеником Косинны.

Объектом критического разбора послужила статья «Индогерманский вопрос, археологически разрешенный». Маевский перевел ее целиком на польский язык и абзац за абзацем проанализировал в подстрочных комментариях. Иногда его контраргументы фактологического плана ошибочны (например, отрицание культур линейно-ленточной и шнуровой керамики) или спорны (отрицание миграций из Северной Европы), но сила его критики не в фактологических возражениях, а в методологических. Он верно оценил и политическую установку Косинны (раздувание шовинизма в немецком обществе), но сконцентрировал критику на методологических вопросах.

Маевский констатировал, что индоевропейская проблема «вообще еще не созрела для сколько-нибудь уверенного решения: исходных данных недостаточно. Не то скверно, что Косинна взялся доказывать ту а не эту колыбель «индогерманцев», а то, что — методами, которые в науке непозволительны. Три коренных ошибки усматривает Маевский в рассуждениях Косинны:

- 1) отправным пунктом служат идеи, а не факты (пример: различный подход к объяснению достижений с севера и с юга),

2) археология объявлена главным и даже единственным средством решения явно лингвистической проблемы,

3) отсутствие строгих правил: сходство типов толкуется по произволу — то как свидетельство этнической общности, то — лишь культурной.

Взгляды Маевского на интеграцию наук предвосхитили позднейшую западногерманскую критику. Маевский отвергает априорное совмещение культур с этносами и языками, не принимает и уравнивания нордической расы с индоевропейцами — все это смешивание разноплановых понятий. Исследовательскую задачу Маевский предлагает разделить и сначала решать отдельно по наукам: «Сначала надо стремиться к расшифровке чисто археологической стороны остатков прошлого, а лишь когда будет точное определение их археологическое значение, можно будет приступить к подстановке под археологические понятия этнологических понятий. Тогда эта вторая работа будет благодарной, методичной и выполнимой» (Majewski 1905: 144).

Но даже если отвлечься от перечисленных грехов Косинны, если бы даже эти его установки были правомерны, то в основе всей его концепции остаются другие недоказанные допущения. Косинна делит неолитическое население Европы на «народ шаровидных амфор», «народ линейно-ленточной керамики», «народ шнуровой керамики» и т. д. Он объявляет первый из них северным по происхождению и индоевропейским по языку, остальным в этом отказывая, и прослеживает его расселение во все стороны. Но требовалось бы доказать,

а) что выделенные в археологическом материале культурные районы реальны,

б) что их этнические идентификации удачны,

в) что в них и между ними проходили именно те процессы, о которых говорит Косинна.

Между тем, в неолите еще слишком много спорного, хронология не достоверна (шнуровую керамику сам же Косинна помещает то перед линейно-ленточной, то после), правильность выделения ряда культурных групп оспаривается (например, рёссенской). Порочен метод манипулирования отдельными типами вещей. Шаровидные амфоры могли распространиться не только переселением народа, но и в порядке обмена и т. п., при том в любом направлении. Кто бы осмелился по греческим амфорам или римским монетам реконструировать переселение греков или романизацию Германии? «Что же остается от основ Косинны? Немного или вовсе ничего. Его археологические группы и районы неизвестно чем были, неизвестно даже были или нет» (czet są, czy są). Если бы мы не должны были бы различать предметы и метод, то и беспорядочные удары по фортепиано (bicie w fortepian) были бы музыкой,

но ведь такую музыку мы называем какофонией». И Маевский окрестил работу Косинны (кстати, любившего играть на фортепиано), «какофонией в области археологии» (Majewski 1905: 95).

Маевский — единственный ранний критик, которому Косинна ничего не ответил. Трудно сказать, потому ли, что Маевский критиковал на польском языке или потому, что отвечать было затруднительно.

В самой Германии традиция скептического отношения к Косинне, занятая первыми критиками, нашла продолжение в дальнейших кратких высказываниях такого влиятельного авторитета как Пауль Рейнеке (Reinecke 1906), а затем была четко выражена в очень систематичной книге Якоб-Фризена о теоретических основах и методах археологии (Jacob-Friesen 1928). Якоб-Фризен резко отверг обыкновение смешивать и отождествлять понятия и задачи разных наук. Он призвал оставить расы антропологам, народы — этнографам, праязыки, пранароды и прародины — лингвистам. Археологи же должны заняться кругами форм, соотношение которых даже только с культурными кругами сложны и однозначны. Якоб-Фризен привел сводку аргументов антропологов против расовой теории в самой антропологии и указал на выступления в языкознании против теории праязыка (в том числе сослался и на Марра). В книге были также осуждены политические приложения археологических выводов об автохтонности, древних границах и т. п. — с чьей бы стороны такие приложения не делались: германской или славянской. «Расовая философия, — писал Якоб-Фризен, — в наши дни откристаллизовалась в расовый фанатизм и даже внесена в политику. Многие непрофессионалы бросаются антропологическими понятиями, смысл которых они едва ли поняли, значение которых в здании науки они ни на йоту не могут взвесить» (Jacob-Friesen 1928: 35). В целом книга Якоб-Фризена была последним до войны крупным критическим выступлением против Косинны в Германии и самым глубоким из всех прижизненных по отношению к Косинне. Якобу-Фризену через несколько лет последовал Цейсс, убедительно опровергший попытки Косинны, Кюна и Прейделя узнавать племена по фибулам (Zeiß 1930; 1931).

Вскоре после того нацисты пришли к власти в Германии, умерший незадолго до того Косинна был посмертно беатифицирован в нацистской идеологии, а выступления против косиннизма подверглись преследованию и стали чрезвычайно опасными для критиков. Книга Якоб-Фризена была осуждена в партийной печати (Hülle 1935), а сам он отстранен от многих постов, кроме руководства Ганноверским музеем, где, однако, к нему был приставлен инспектор-эсэсовец (Zylmann 1956).

Все же отдельные критические выступления, по более узкому фронту, имели место. Так, профессор Карл Клемен из Бонна в газетных статьях 1935–1937 гг. отрицал автохтонность индогерманцев в Средней Европе и выводил их с востока (Clemen 1935; 1937). В 1936 г. даже был выпущен в Кёльне сборник в честь Пауля Клемена, содержащий статьи ряда авторов (в том числе Керстена и фон Услара) с изъявлениями неприятия некоторых идей Косинны (Clemen-Festschrift 1936). Сборник вызвал резкую отповедь в «Маннусе» (Stampfuß 1937). В 1937 г. вышел школьный учебник по археологии Ганса Филипа (Philipp 1937), молодого автора, не поддававшегося воздействию косиннизма, — опять же роковая отповедь в «Маннусе» (Frenzel 1937). Открытая критика явно угасала.

И лишь один критик в Германии продолжал изъявлять свою оппозицию Косинне открыто и во весь голос. Это Карл Шухардт.

2. Перепалка с Шухардтом разгорелась со времени раскола первобытной археологии Германии (1909 г.) на группу «Маннуса», возглавленную Косинной, и группу «Преисторише Цейтшрифт», консолидированную вокруг Шухардта, и продолжалась громогласно около десятилетия. Затем Шухардт продолжал более спокойно критиковать работы Косинны, также и после смерти последнего — в 30-е годы (Schuchhardt 1913; 1926: 200; 1928: X; 1934: III, V).

В основе этой перепалки лежали вовсе не случайные расхождения толкований и не только личная неприязнь и конкурентная борьба, но и некоторые принципиальные разногласия. Однако лишь яростность и громогласность перепалки придавали последним видимость значительных и широких. На деле они были весьма ограниченными.

Идею совпадения археологических культур с этносами Шухардт принял (Schuchhardt 1926: 132), только исключая из признаков этноса язык. Совпадение культур с языковыми общностями он не считал обязательным (Ibid. 3). Соответственно рассматривался и вопрос о преемственности (Ibid. 8–9). Ретроспективный метод Шухардт отвергал (Ibid. 280), но лишь как метод изложения, исследовательская суть этого метода (проецирование современных этносов и их родственных отношений на карту первобытных культур) оставалась и для Шухардта вполне приемлемой (Schuchhardt 1919: VIII–IX). Принцип этнического истолкования типологических соотношений (ср. третью догму Косинны) Шухардт даже разработал более полно и последовательно, чем Косинна, исходя из тех же предпосылок (понимание культуры как эманации народного духа) и используя в этом плане понятие «стиля». «Я хотел... показать именно стиль в культурах и типах, — заявлял Шухардт, — ибо именно по нему скорее всего можно узнать большие линии развития: дуализм древней Европы» (Schuchhardt 1926: X).

Таким образом, как раз те догмы Косинны, которые вызывали скептические насмешки ранних критиков, Шухардт в основном одобрил и даже развил. Зато Шухардт, хоть и лаконично, но решительно отверг шестую догму — совмещение народов и культур с расами: «Народ — не раса», — заявил он (Schuchhardt 1926: 3). В преистории он отмечал «часто полное расовое смешение» (Ibid. 279); «расовая общность отступает на второй план за народной общностью» (Ibid. 3); и т. п.

Чтобы понять, почему такая радикальность оказалась возможной в Третьем Рейхе и не вызвала гонений на Шухардта, надо вспомнить, что после прихода к власти нацистское руководство встало перед задачей национальной консолидации всех немцев в подготовке к близкой тотальной войне (ср. Schuchhardt 1934: 363). Перед лицом этой задачи воспринятый Косинной архаичный расизм гюнтеровского толка, с его резким противопоставлением северных немцев южным, оказался не совсем уместным и был отодвинут на задний план в пропагандистском арсенале. Этому соответствовала и произведенная Шухардтом (Schuchhardt 1926: 282–284; 1934: 34) передвижка очага праиндогерманцев из Северной Германии и Скандинавии в Центральную Германию (ср. другое объяснение мотивов этой передвижки у Артамонова — Артамонов 1947). В обстановке, когда нацистский Рейх вознамерился сколотить и возглавить интеграцию всего европейского Запада против большевистского Востока и временами искал союзников на Западе, более академичные и широкие шухардтовские идеализации первобытных европейцев пришлось больше по двору, чем узкий нордический фанатизм Косинны.

Отошел ли Шухардт вовсе от расизма в своих трудах? Ни в коей мере. Мы находим у него типичные противопоставления высших народов низшим, только с другой конкретизацией: не одних лишь северных германцев всем остальным людям — от испанцев до жителей Южной Германии, как у Косинны, а германцев вкупе с западными соседями восточным соседям — прежде всего славянам (Schuchhardt 1926: VII, 281). «Первоначальное родство Запада и Севера можно узнать еще сегодня» (Ibid. 280). Что же касается славянского мира, то «эти страны в те ранние времена не имели еще вовсе какой-либо собственной и единой культуры» (Ibid. 284). Налицо и объяснение культурных традиций биологическими особенностями: «национальная кровь, однако, взяла свое и показывает ... прежний народ на прежнем месте» (Schuchhardt 1919: 298), под чуждыми, наносными культурными формами «решительно пульсирует старая национальная кровь, говорящая о себе весьма ясно». Пусть не чистая, а смешанная, но — кровь. Есть у Шухардта и обращения к миграционному рецепту (Schuchhardt 1926: 2) и апология древних германских завоеваний (Ibid.

VIII; 1934: 363) и т. п. Можно было бы привести разительные соответствия принципиальных высказываний Шухардта почти всем теоретическим догмам Косинны. За некоторыми исключениями (особенно в вопросе о синтезе наук) немногим различались и методы: Шухардт был лишь обстоятельнее, осторожнее и вежливее Косинны.

Итак, теоретические взгляды Шухардта, которого сейчас нередко изображают не только оппонентом и врагом, но и антиподом Косинны (ср. Eggers 1959), оказываются на поверку всего лишь академическим и модернизированным вариантом косиннизма. Лишь его критика шестой догмы Косинны подтачивала основы косиннизма, но она-то как раз была сугубо лаконичной. В остальном же критическая деятельность Шухардта была направлена на упрочение позиций косиннизма, и руководящая работа Шухардта в организациях нацистских археологов не расходилась с этим направлением (Andree 1969: 129–130). Фигуру Шухардта не стоит идеализировать.

3. От вспышки националистических страстей, сопровождавших первую мировую войну, разгорелась польско-немецкая археологическая баталия, в основном вокруг конкретизации седьмого принципа Косинны. Этот принцип (апелляция к историческому праву), завершая логическую цепь предшествующего ряда догм, выливался в археологическое обоснование прав Германии на Силезию, Поморье и Великопольшу. С польской стороны борьбу возглавил ученик Косинны Юзеф Костшевский. В основу дискуссии легли две работы: брошюра Косинны «Немецкая Восточная марка — исконная родина германцев» (Kossinna 1918) и книга Костшевского «Великопольша в доисторические времена» (два первых издания следовали быстро одно за другим: Kostrzewski 1914; 1923). Костшевский осуществил то, что предсказывал Эд. Мейер: методами Косинны построил систему доказательств постоянства обитания славян на землях, о которых шел спор, то есть построил по соседству с германской секвенцией культур другую, исключив из нее германцев.

Костшевскому возразил другой последователь Косинны Болько фон Рихтгофен брошюрой: «Принадлежит ли Восточная Германия к исконной родине поляков. Критика методов преисторического исследования в Познанском университете» (Richthofen 1923). Костшевский отпарировал яркой критической статьей «О наших правах на Силезию в свете преистории этой области» (Kostrzewski 1927). На это Рихтгофен переиздал свою брошюру (Richthofen 1929) и написал статью: «Является ли Познань прапольской страной?» (Richthofen 1929a). Костшевский ответил критическим разбором этой брошюры: «Исследование преистории и политика. Ответ на сочинение д-ра Болько фон Рихтгофена...»

(Kostrzewski 1930). Немедленно последовал контр-выпад Рихтгофена: «Исследование преистории и политика. Слово возражения д-ру Ю. Костшевскому» (Richthofen 1929b). и т. д.

В ходе полемики у Костшевского вырывались фразы такого рода: «Польша не имеет ничего, что она могла бы отдать немцам, но она должна отобрать от них еще значительную часть чисто польской страны» (цит. по: Ostlandsberichte 1928:4). (Само собой разумеется, что нынешнее вхождение этих территорий в состав Польского государства оправдано вовсе не славянской принадлежностью Лужицкой культуры и т. п., а событиями Второй мировой войны и задачами ликвидации очага агрессии в Европе.)

Вся последующая научная деятельность Ю. Костшевского, приведшая к созданию фундаментальных трудов и образованию целой школы польских археологов, протекала под выкованным в этой баталии девизом: обосновать права поляков на указанные районы археологическими средствами — построением неразрывной цепочки культур от современной польской до каменного века (ср. «Преистория Польского Поморья», 1936 ; Лужицкая культура в Поморье, 1958; «Проблема преемственности обитания на польских землях», 1960, и др. — Kostrzewski 1936; 1958; 1960).

Совершенно очевидно, что критика взглядов Косинны со стороны Костшевского была узко ограниченной и не носила принципиального характера. Методические позиции Костшевского носят отчетливое тавро школы Косинны. В польской печати понимание этого обстоятельства выражено уже в самом заголовке резкой и несколько односторонней статьи В. Антоневича «Юзеф Костшевский следом за Рихтгофеном» (Antoniewicz 1950). Все же критическая работа Костшевского нанесла значительный урон авторитету Косиннизма. Этот урон заключался в том, что

1) было наглядно и фундаментально продемонстрирована нестрогость методов, раз они допускают такую свободу построений;

2) была впервые обнажена империалистическая подоплека установок и целей косиннизма — притом (взаимными разоблачениями) с обеих сторон (что было немедленно отмечено в советской печати В. И. Равдоникасом — 1932);

3) была расшатана важнейшая для всей баталии восьмая догма Косинны. Правда, ни Костшевский, ни Рихтгофен не подвергали сомнению ее правомерность в принципе, они лишь оспаривали законность и правильность ее конкретизаций, но так как обе конкретизации были вполне последовательными, то доводы автоматически обращались и против самого принципа. Понимание этого было реализовано в блестящей статье Р. Якимовича (Jakimowicz 1929) в главе «О политическом значении доисторических находок».

Якимович очень трезво подошел к делу и показал несостоятельность самого принципа «исторического права», на который опирались Косинна и его немецкие последователи.

«Дело касается у них того, — писал Якимович, — чтобы доказать, что германцы заселяли область Средней Европы до славян и что вследствие этого подчинение и истребление славян на Эльбе и Одере огнем и мечем было делом вполне справедливым и обоснованным. Согласно таким взглядам немцы имеют право на эту страну как наследники старых традиций и старых прав отдельных германских племен. Это утверждение не допускает строго научного обоснования».

Вот именно! В этом то суть дела, и Якимович, кажется, первым среди археологов отметил слабость этого устоя в концепции Косиннизма.

«Но так называемый *Drang nach Osten*, — с иронией продолжал он, — открыто находит здесь сильную опору. Когда немецкая доисторическая наука доказывает, что нынешние чисто польские страны на Висле и Буге и даже области, лежащие еще дальше на восток, в эпоху до славян находились под господством германских племен, то на этом основании считается необходимым отнять эти страны у славян и вернуть их законным владельцам».

И далее следуют высказывания, демонстрирующие коренное расхождение с Костшевским в выборе путей критики:

«Мы не будем следовать немцам в обосновании нашего права на нашу страну при помощи доводов из области доистории. Мы имеем живое право, опирающееся на язык населения, которое живет в нашей стране и живет не со вчерашнего дня... Мы представляем другим их мнимо-научные обоснования, которые в будущем только поднимут их самих на смех... Как мало серьезно выглядят те «ученые» требования, которые опираются на время заселения. Может быть, бог создал немцев в области Вислы? Никто не жил до них в Средней Европе?... Путь, избранный большинством немецких доисториков неверен и неправилен. Мы должны поднять брошенную перчатку только с той целью, чтобы показать всю несостоятельность подобного рода работ... При этом выводы доисторической

науки не будут оружием нападения, но только оружием защиты» (Jakimowicz 1929: 16–18).

Эта линия критики совпадала с позициями тех советских историков, которые опирались на известное высказывание Маркса об абсурдности «исторического права». Маркс писал об Эльзасе и Лотарингии (немецкое «историческое право» на них, кстати, позже отстаивал Шухардт):

«Территория этих провинций некогда принадлежала давным-давно почившей Германской империи. Поэтому эта территория с ее населением, видимо, должна быть конфискована как не теряющая давности немецкая собственность. Если восстанавливать старую карту Европы, согласно капризам любителей старины, то не следует ни в коем случае забывать, что в свое время курфюрст Бранденбургский в качестве прусского владетельного князя был вассалом Польской республики» (Маркс 1960: 276).

Принцип «исторического права» время от времени всплывает и в современной дипломатии — в недавнем прошлом его выдвигали реваншистские круги ФРГ и Японии, на нем замешаны споры арабов с Израилем, то и дело о нем вспоминают в разных местах на Балканах. Историкам уготовляется роль, которую для них давно уже наметил Фридрих II Прусский: оправдывать агрессию, основываясь на принципе «исторического права», в модернизированном варианте — с углублением в археологию. Фальсификации при этом возможны, но не обязательны. Суть дела не в их наличии или отсутствии, а в порочности самого принципа, который требует игнорировать «живое право», продолжающуюся традицию, патриотические чувства последних поколений, историческую реальность и приспособлен к обоснованию перекройки карт: почти у всякого народа бывали периоды, когда он жил и на других землях. Мало ли, что жил! Не все, что было в истории, возможно и нужно восстановить. Особенно, если восстановление несет бедствия народам.

4. По способу и результатам с критической деятельностью Костшевского были схожи антикоссинновские разработки более древних материалов, предложенные рядом других известных европейских ученых — Чайлдом, Борковским, Сулимирским. Начиная с 30-х годов, эти археологи не только отвергли принцип обязательной восточной или южной направленности миграций (четвертая догма Косинны), но и реконструировали на тех же материалах и теми же методами противоположно направленные миграции в позднем неолите как

основу для самого дорогого Косинне события — расселения индоевропейцев. Исходным очагом расселения были избраны понтийские степи, а основным направлением — с юго-востока на северо-запад. Принцип истолкования сходств и перемен оставался в значительной мере тем же, что у Косинны (за исключением непрременной направленности) (Childe 1926; Borkowskyj 1933; Sulimirski 1933). Методика доказательств миграции оставалась почти той же, что у Косинны. Косинновские походы индогерманцев были как бы вывернуты наизнанку. (Но Чайлд не принимал ни пятой, ни шестой догм Косинны.)

Главным аргументом для всей операции послужил переход на короткую хронологию центральноевропейского неолита, но сам же Чайлд признавал, что эта хронология имеет не больше оснований, чем длинная, и что он предпочел короткую лишь по общим соображениям, субъективно (Чайлд 1952: 175–177 452). При такой ситуации антикосинновская концепция расселения индоевропейцев побеждала лишь в тех кругах, которые и без того были настроены против выводов Косинны. В значительной мере это определялось политической расстановкой сил и национальной принадлежностью археологов. После войны в связи с общим крахом нацистской идеологии и с, казалось, окончательным научным упрочением короткой хронологии понтийская концепция оказалась почти общепринятой, хотя новых конкретных доказательств не прибавилось. Новые опыты конкретной разработки этой концепции (Gimbutas 1956: 150–152; Брюсов 1961 и др.) не превосходили прежние ни фундаментальностью, ни строгостью методики, а скорее уступали им (Брюсов применял здесь с небольшими поправками все пять первых принципов Косинны), и уже явно уступали в злободневности критического запала; к тому времени наукой были уже накоплены более глубокие способы критической оценки методических принципов Косинны, чем простая и к тому же непреднамеренная дискредитация их расходящимися результатами применения. Авторы-то строили свои миграции не в виде пародии, а с той же «святой серьезностью», над которой иронизировал Гёрнес!

Чайлд продолжал традицию Софуса Мюллера в диффузионистской интерпретации культурных соотношений Центральной и Северной Европы с Ближним Востоком под девизом «Ex Oriente lux» (Childe 1925; 1929; 1930). Хотя и у Чайлда не обошлось (особенно вначале) без преувеличений и абсолютизации идеи диффузии культурных достижений с Юго-Востока, но в значительной части эта концепция была у него обоснована гораздо серьезнее, чем у его предшественников. Эта деятельность Чайлда имела большое значение в опровержении косинновской доктрины превосходства и культуртрегерской миссии германцев, хотя диффузионисты и не выступали непосредственно против самой

идеи культуртрегерства и деления народов на цивилизаторов и цивилизуемых (десятая догма Косинны).

5. Принципиально новые основы критики косиннизма представила «теория стадильности», построенная советскими археологами в течение десятилетия с середины 20-х по середину 30-х годов в результате внедрения в археологию идей марксизма. Амброз (1969: 267), сравнивая два направления критики косиннизма — западнонемецкое и советское, — пришел к впечатлению, что советские ученые критиковали больше политические основы концепции Косинны, тогда как западно-немецкие ученые стали пересматривать методические корни ошибок Косинны. С аналогичным впечатлением связано и утверждение Монгайта (1967), что серьезная критика учения Косинны началась только после конца II мировой войны. Это мнение нуждается в существенных коррективах.

«Теория стадильности» полностью отвергла этнический характер культур, не говоря уж о типах, а также роль этнической преемственности в формировании культур и народов и в определении культурных сходств. На первый план были выдвинуты экономические и социально-политические факторы, а в объяснении сходств на место родства было поставлено совпадение по уровню развития — синстадильность. В проведении этого принципа адепты «теории стадильности» впали в сугубые преувеличения и абсолютизацию, но все же нельзя забывать, что именно с позиций «теории стадильности» был впервые подвергнут острой критике в целом самый принцип непременно этнического истолкования археологических фактов, были впервые рассмотрены другие факторы формирования культуры. Поиски иного содержания в реально выступающих из материала археологических культурах начались именно тогда. Принципиально новым было и объяснение смены культур стадильным скачком, революционной трансформацией в обществе (Равдоникас 1932; Третьяков 1931; Круглов и Подгаецкий 1935; и др.) Это было использовано как база для практически полного отрицания миграций. Провозглашение «повсеместной автохтонности» было, конечно, преувеличением, но важно, что неизбежность миграционного объяснения была поставлена под вопрос и применительно к реальной и полной смене культур (те же, а также Мещанинов 1931).

Великолепным образцом конкретной разработки этих идей явилась статья Кричевского, точное критическое противопоставление которой Косинне подчеркнута аналогичным названием: «Индоевропейский вопрос, археологически разрешенный» (1933). В этой статье, которую Чайлд назвал «выдающейся» (1952: 243), Кричевский предложил объяснение ряда сходств в позднем неолите Европы действием одних и тех же закономерностей

в сходных условиях и попытался показать местные корни нововведений в каждом крупном районе.

Большое внимание уделялось в советской археологической и антропологической науке теоретическому и особенно фактологическому опровержению расизма, доктрины расового и культурного превосходства германцев или нордических арийцев и принципа отождествления культур с расой, а также положения о расовой чистоте древних народов (6-я, 9-я, 10-я и 12-я догмы Косинны) (Петров 1934; Наука 1938; Кагаров 1939; Чебоксаров 1936; Бунак 1946; 1951; Гинзбург 1958).

В понимании советских ученых существенным для критики косиннизма было опровержение правомерности использовать понятия «нация», «народ» в применении к первобытным людям, а также неверно в реальность понятий «праязык», «пранарод» вообще (Быковский 1932; Арский 1941; Артамонов 1949; и др.).

В советской критике косиннизма, как и ряда других западных археологических концепций, выделялось требование отвергнуть формально-типологические построения (Брюсов 1935; Бернштам 1949). Это был доведенный до чрезмерности, но по замыслу логичный результат идеи отойти от распространявшегося обыкновения извлекать непосредственно весьма широкие и уверенные выводы из узких данных изолированной топологической схемы. В статьях советских авторов была не только четко показана связь учения Косинны с агрессивной идеологией германского империализма, но и вскрыты социально-экономические, классовые корни этой идеологии и прослежены их проявления в археологических интерпретациях как в Германии, так и вне ее (Петров 1934; Равдоникас 1935; Артамонов 1947; Гейден 1960). Пожалуй, со стороны советской археологии на учение Косинны велось наиболее широкое наступление, критике подвергалось наибольшее количество принципиальных положений, и критика эта по характеру была наиболее глубокой и радикальной.

Эффективность этой критики ослаблялась теми преувеличениями и крайностями, в которые впали адепты «теории стадиальности», схематичностью концепций самих критиков и декларативностью некоторых их положений. Материалам, которыми оперировал Косинна, большей частью посвящались небольшие полемические статьи, и не было крупных позитивных разработок на иной методической основе. Падение и дискредитация «теории стадиальности» (Против 1953) не только восстановили в правах миграционные интерпретации в советской археологии (Брюсов 1957; Клейн 1962; Klejn 1963; Григорьев 1964), но и привели к некоторой реанимации отдельных косинновских догм. Пружинной реакцией на засилие «теории стадиальности» явился временный

уклон к противоположному, и парадоксальным образом в советской археологии нашли выражение такие идеи как узко этническое истолкование культур и их генетических и типологических соотношений (Брюсов 1956; Захарук 1964; Брайчевский 1968), этническая атрибуция типа (Брюсов и Зимина 1966: 7, 17), иногда даже появлялись гипертрофированные поиски собственных, славянских, праславянских и предславянских приоритетов и попытки доказать с помощью «археологического права» то, что вовсе не нуждается в таких доказательствах (Авдусин 1953; Брайчевский 1959: 5–6; ср. 1964: 10). И все же, конечно, это не было косиннизмом, а критическая работа 20-х-30-х и 40-х годов не прошла даром ни в самой советской археологии, ни за рубежом.

Впечатление, которое эта критика Косинны и миграционизма в целом производила на ученый мир, на трактовку материалов других стран, было значительным и нашло явное отражение в словах Чайлда:

«Наши советские коллеги критиковали, быть может, немного чересчур резко это увлечение британских археологов (переселениями. — Л. К.); они показали, как внутреннее развитие обществ может объяснить обширную область археологических фактов. Применение ими марксизма к археологии породило исследования, которые кажутся более историческими, чем перечни вторжений, и солидно обоснованы наблюдениями».

И далее Чайлд указывает, что «решился применить» к шотландской преестории «метод, так успешно примененный Е. Ю. Кричевским, А. П. Кругловым, Г. В. Подгаецким, П. Н. Третьяковым и другими марксистами в русской археологии» (Childe 1946: V).

И в наиболее известной книге Чайлда «У истоков европейской цивилизации» мы также находим самокритичное признание.

«Возможно, что черты, общие для всех культур боевых топоров, слишком немногочисленны и слишком расплывчаты, чтобы служить достаточным основанием для предположения миграций в каком бы то ни было направлении. Во всяком случае, советские археологи поставили это предположение под сомнение и попытались объяснить наблюдаемое сходство, не прибегая к миграциям». Изложив далее аргументы советских археологов, Чайлд признает, что в них «несомненно, гораздо меньше недоказуемых предположений, чем в любом толковании миграционистов».

Далее упоминается, однако, и «трудно объяснимые» с позиции Кричевского моменты (Чайлд 1952: 243–244).

Очевидно, влияние советских исследователей можно заметить и в более ранней работе Чайлда (Childe 1935), как и в почти одновременной работе Тальгрена (Tallgren 1936). Оба автора, хорошо знакомые с советской наукой, призывают к преодолению формально-типологических схем и примитивных отождествлений культур и народов. Такие призывы были тогда повседневными лозунгами и советской археологии.

6. Основоположник современной критики косиннизма в западно-германской археологии Эрнст Вале указывает на Чайлда и Тальгрена как на своих непосредственных предшественников в отвержении «скандинавизма» и в критическом отношении к учению Косинны (Wahle 1951: 90).

Он не упоминает советских археологов в числе своих предшественников, но если непосредственные влияния на формирование его взглядов оказали выступления Чайлда и Тальгрена, то это значит, что косвенное влияние оказали работы советских ученых. Во всяком случае многие взгляды и положения советских критиков Косинны повторяются затем в творчестве Вале, хотя и в иной форме и ином контексте.

Вале начал свою научную деятельность как ученик Косинны задолго до Первой мировой войны. Среди учеников Косинны он принадлежал к тем немногим, которые не разделяли пламенного фанатизма своего учителя, не приняли расовой теории и сторонились политики. Стремлением к объективному изложению фактов некоторые его работы вызвали неудовольствие административных органов Третьего рейха (Wahle 1964: 495).

В 1941 году, когда Вторая мировая война была в разгаре, когда в Германии опьянение победами усиливало разгул шовинистических страстей и особенно интенсивно переиздавались книги Косинны, Вале осмелился выступить со своей знаменитой работой «К этническому истолкованию преисторических культурных провинций» (Wahle 1941), в которой подверг коренной ревизии четыре первых догмы своего учителя. Правда, их критиковали и до него, но Вале первым проделал это фундаментально, обстоятельно, с обоснованием своих выводов на большом материале. Он показал, что во многих случаях границы археологических культур и отмечаемые древними авторами границы народов не совпадают. Он показал также, что в ряде других случаев смена культур произошла без смены населения и, наоборот, при смене населения сохранилась преемственность в культуре, что культуры, чуждые по языку, часто оказываются схожими археологически, а родственные — очень различными.

Работа Вале была сделана после войны и подкреплена несколькими другими работами его же (ср. Wahle 1964). В них он подчеркивает опасность прямолинейной интерпретации формально-типологических схем (он называет это «материалистическим обездушиванием» археологического материала) (Wahle 1951: 100), ставит под вопрос правомерность перенесения понятий «народ» — «этнос» из современности в первобытное время, предлагает отказать от преувеличения роли миграций в преистории — по его мнению их эффективность была незначительной, так как географическая среда воздействовала на культуру населения в большей мере, чем принесенное наследие. Из всего этого Вале сделал вывод, что в этническом определении лучше опереться на письменные источники, археологические же не могут нам помочь в этом деле: этническое определение находится вне «границ познавательных возможностей археологии» (выражение, вынесенное в подзаголовок его труда).

С возражениями выступил другой ученик Косинны — Мартин Ян. Еще в 1941 году он ответил небольшой статьей «Находится ли первобытная археология в тупике?», где привел ряд примеров, подтверждающих методические тезисы Косинны. Но ведь заведомо ясно, что раз есть несовпадения, то из совпадений уже нельзя вывести правила так, как это делал Косинна — не ограничив поле, не объяснив исключения. Тем не менее, Ян показал, что такая возможность подтвердить в каких-то границах не исключена. После войны в более пространной статье Ян ввел некоторые частные поправки в «правила» Косинны признал расплывчатость границ культур, наличие осложняющих факторов как торговля и т. п. (Jahn 1953).

Взгляды Вале по этой причине защищали и развивали далее в западно-немецкой науке Вернер, Прейдель, Килиан, У. Фишер и особенно Эггерс и Гахман (Werner 1950; Preidel 1954; Kilian 1960; Fischer 1958; Eggers 1950; 1959; Nachmann, Kossack und Kuhn 1962; Nachmann 1970). Прейдель отметил, что история имеет дело с политическими, а не этническими общностями, которые и вообще то с трудом уловимы. Он считает, что концепция праязыка обанкротилась, а, следовательно, поиски праиндогерманцев на археологической карте есть поиски фикции.

Эггерс и Гахман не пошли за Вале в полном отрицании возможностей археологии реконструировать этническую историю. Они заинтересовались коренным для данной проблемы вопросом: почему же все-таки в одних случаях «уравнение» Косинны подтверждается, а в других нет, и нельзя ли из этого извлечь какие-либо методологические заключения.

Косинна уклонялся от систематической проверки своего «уравнения» (для него это был «символ веры») и поэтому не замечал расхождений между письменными источниками и археологией. Он переносил имена и географические характеристики, взятые из письменных источников, на археологию, а археологические границы до-письменных культур уравнивал в правах с полученными от древних авторов. Многие его ученики и последователи, наталкиваясь на расхождения, решали спор в пользу археологии, так как древние авторы всегда были тенденциозны, а археологические памятники такими быть не могут. Вале ужаснулся размаху расхождений и, указав на неполноту, ограниченность и фрагментарность археологических материалов, решил спор в пользу письменных источников. Эггерс и Гахман расценили все эти выводы как неправомерные упрощения.

Эггерс подметил, что ходячее представление о «естественной объективности» археологических источников в противоположность письменным не соответствует истине. Древний мир отражается в археологических источниках не с прямолинейной адекватностью. Сама неполнота и фрагментарность археологических материалов происходит частично от действия природных факторов, а частично от избирательной деятельности древних людей (что из наличных вещей класть в могилу, что выбрасывать на помойку, которая достанется археологам, и т. п.). Этим вносится субъективный элемент, а дополнительный субъективный элемент обычно присовокупляется самим археологом, так как почти всякое опознание и определение находок уже есть реконструкция, всякое исследование начинается с отбора материала, и то и другое зависит от субъективных представлений археолога. Вот что предстает перед синтезирующим исследователем в виде данных археологии! «И археологические находки могут лгать!» (Eggers 1959).

Поэтому Эггерс выдвинул требование не ограничиваться в исследованиях общепринятой внешней критикой археологических источников, которая преследует цель проверить правильность и точность полученных данных о памятнике и аналогична текстологической критике письменных источников. Эггерс предложил, чтобы за этим этапом критики следовал (так же как при работе с письменными источниками) второй этап — внутренняя критика источников, имеющая задачей установить, как отражался древний мир в данном источнике, с какой полнотой и точностью, в каких-вопросах — прямо, в каких — косвенно, в каких — вовсе не отражался. Для облегчения этой задачи Эггерс разработал концепцию различения «живой» и «мертвой» культур.

Гахман добавил к этому, что и на письменные источники археологи обычно опираются без предварительной квалифицированной критической проверки,

без учета выводов исторической науки, добытых многими десятилетиями углубленной внутренней критики, трудом нескольких поколений историков. Особенно это относится к археологическому изучению древних германцев. Оно развивалось не в контакте с работой историков, а в рамках германистики, выросшей на почве филологии и фольклористики, где существовала только внешняя критика источников, текстологическая.

Эггерс и Гахман выдвинули новое требование к интеграции наук. Они решительно отвергли Косинновскую манеру по ходу исследования заполнять лакуны одного вида источников данными другого вида источников, где молчат древние авторы, подставлять археологические факты, где отказывает археология в продвижении вглубь веков, перебрасывать мостик из антропологических связей (догмы 1 и 6) и т. п. По Эггерсу и Гахману, такой синтез источников неправилен. Сначала каждая наука должна разработать полностью свою категорию источников по всем правилам своей собственной методики и лишь полученные готовые результаты можно сопоставлять на уровне интеграции наук, сравнивать друг с другом, проводить взаимную проверку и извлекать общие выводы. Это требование, выраженное старым девизом немецких страгеров: *getrennt marschieren, zusammen kämpfen*, было предвосхищено уже в начале века Маевским.

Первой догмы Косинны касалось также замечания Эггерса и Гахмана, что письменные и археологические источники дают сведения в разных плоскостях. Кроме того Гахман отметил, что для Косинны археологическая культура — всего лишь механическая сумма одинаково распространенных находок; отвергая помощь сравнительной этнографии, Косинна не представлял себе ни реальной жизни древних народов, ни сложных внутренних связей культуры. Третьей догмы Косинны касалось наблюдение Гахмана относительно еще одного промаха Косинны, допускаемого и другими исследователями и психологически коренящегося все в той же недооценке лимитов методики реконструкций. Косинна, реконструировав по наличным группам и остаткам крупные этнические массивы — ветви индогерманской семьи, заселяющие ныне всю Европу, переносил эту картину в прошлое, не учитывая, что ныне этими наличными заполнены и места выбывших членов семьи и членов других семей, не доживших до нашего времени. Он не оставлял на древней карте места для несохранившихся и неведомых нам этнических массивов. Из решения его уравнений неизвестные (x , y и т. д.) изгонялись полностью, на что объективная наука часто идти не вправе. Гахман не только отверг пятую догму Косинны (этническую атрибуцию типа), но и рассмотрел ее гносеологические и исторические корни. Он показал, что истоки этой идеи кроются в романтическом представлении о культуре как

эманации «народного духа». Отсюда мысль о неизбежном органическом единстве всех частей культуры и вывод о возможности восстанавливать по каждой небольшой части всю культуру (*pars pro toto*). С представлением о вечном и неизменном «народном духе» гносеологически связана и идея наложения прошлого на современность (11-я догма Косинны).

Большой интерес для археологов представляют разработки Эггерса и Гахмана по методике исследования миграций.

Эггерс и Гахман расширили и углубили фактуальную базу выводов Вале о неправомочности всякую смену культуры, не говоря уже об элементах, объяснять миграцией, а всякую преемственность автохтонностью. Но Эггерс и Гахман поставили вопрос о том, что, вероятно, в каких-то условиях это все-таки возможно (Nachmann 1970).

Критика учения Косинны послевоенными западно-немецкими археологами отличается фундаментальностью, деловой серьезностью и поисками теоретических обоснований, но в основном ограничена пятью-шестью первыми догмами Косинны и уж во всяком случае нацелена только на первую часть его учения — «археологию обитания», оставляя совершенно без внимания вторую часть — «чрезвычайно национальную археологию». Критика концентрируется на Косинне и почти не затрагивает Шухардта. Это не значит, что то, что не критикуется, принимается. Некоторые тезисы, оставшиеся вне критики, декларативно отвергались (расизм, поиски приоритетов и супериоритетов и т. п.), другие игнорировались с молчаливым осуждением (апелляции к историческому праву, доктрина первородства, идеи культуртрегерства и т. п.). Почему эти тезисы ускользнули от критики, трудно сказать. Возможно, они потому остались в тени, что они в глазах западно-немецких археологов уже потеряли практическое значение для науки, тогда как методическое значение первых пяти-шести принципов еще не было освоено.

Возможно, однако, что общая идеологическая атмосфера в ФРГ, где в части общества культивировались идеи реваншизма и «интеграции Запада», тормозила спокойный и трезвый анализ основы апелляции к «историческому и археологическому праву», доктрины первородства и вопросов приоритета, представлений о культуртрегерстве и т. п. В ФРГ еще имелось видимо много личностей, для которых представления Косинны, Шухардта и Рихтгофена о «Восточной марке», о Силезии и других потерянных на Востоке территориях еще не потеряли эмоционального, актуально-политического звучания.

Существенно, что во взглядах самих критиков осталось нечто, что в ряде принципиальных вопросов связывало их с Косинной и Шухардтом. Это заметил

и Гахман (Nachmann 1970: 177, 221–222), но совпадения глубже и шире по охвату, чем он это увидел.

Стоящее для Вале в начале начал членение народов на «делающих историю» и «получающих историю» это лишь иное изложение старого и принятого Косинной деления на «естественные» и «культурные» народы. Археологическое представление «самодовлеющего патриотизма» («наше существо в основных чертах еще сегодня это существо наших отцов», как одобрительно цитирует Вале — 1951: 89 — Хиллебрандт, «под чужим мы все те же, что и тогда») это отпрыск той же идеи жизненного «народного духа». Загадку смены археологических культур, происхождения культур, Вале решает так: культуры не создаются народами, а навязываются им творческими личностями и маленькими группами, невидимыми и неуловимыми для археологии; поэтому они так внезапно возникают и исчезают. Внешнюю миграцию Косинны здесь подменяет нечто типа внутренней миграции (миграции изнутри) — и тут и там культура навязывается народу, а не создается им. Эту идею принимают и другие западно-немецкие археологи. Подобно Косинне Вале и его последователи отказываются рассматривать историю культуры как единый логически последовательный и закономерный процесс. У Косинны его разрывали миграции и смена рас (у Вале — индивидуальные творческие деяния вождей (Führerpersönlichkeiten), но разрывы между периодами налицо там и тут. «Материал, — пишет Вале, — ... побуждает рассматривать разрывы между кругами форм (здесь: периодами. — Л. К.) как более важные, чем это археологически заметно» (Wahle 1951: 94).

Это сходство с общим подходом Косинны представляется мне гораздо глубоким и коренным, чем чьи-либо совпадения в трактовке культур или методах выявления миграций.

В Восточной Германии критическая проработка наследия Косинны началась позже и ей уделялось меньше внимания. Тому есть несколько причин. Вначале сказалось действие традиций. Дело в том, что из-за особой обостренности интересов Косинны к восточным землям деятельность его школы во многих городах развертывались именно на этой территории, где во многих городах работали преимущественно его ученики (Nachmann 1970: 145–147). Позиции же Юга и Запада Германии были частично захвачены соратниками Шухардта, а частично оставались в руках других старых противников Косинны. Начавшийся после Второй мировой войны на Востоке Германии бурный процесс денацификации и социалистических преобразований не мог, конечно, не затронуть и археологию, но для ряда ведущих местных археологов — старых учеников Косинны (Ян, Вальтер Шульц) и молодых (питомцев Ганса Гане и Вальтера Шульца) методологическая перестройка и критическая проверка

укоренившихся в сознании установок была очень трудным (а для стариков, видимо, и невозможным) делом и, во всяком случае требовала времени.

К тому же на этих особенно пострадавших от войны территориях был непочатый край организационной работы по восстановлению разрушенных научных учреждений и музеев, а задачи строительства новой науки под советским господством диктовали прежде всего позитивную разработку ряда проблем на базе марксизма с использованием опыта советской науки. На что и были направлены основные силы. Наследие Косинны просто игнорировалось. К тому времени, когда археологи ГДР приступили к критическому рассмотрению учения Косинны (Ян, Отто, Герман), в советской археологической науке произошло резкое изменение ряда теоретических положений (отказ от теории стадильности), служивших ранее исходными позициями для критики ряда частей учения Косинны. Это привело к некоторому смещению позиций и к реанимации некоторых положений Косинны, о чем говорилось выше. В такой обстановке критическая проверка положений Косинны, начатая в науке ГДР, иной раз выливалась в исправление и защиту косинновских догм (разумеется, далеко не всех), а в других случаях критика оказывалась неполной и непоследовательной (напр., Отто принимал этническую интерпретацию культур и необходимость ретроспективного метода исследования этногенеза).

Все же критическая работа археологов ГДР содержала ряд новых элементов и была весьма плодотворной. В статье Отто особенно интересно было стремление определить этнографический облик тех, ближайших реальных жизненных общностей прошлого, которые могут скрываться за археологическими культурами. Это стремление привело к различению хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей (Otto 1953). Более подробно эта идея была затем разработана советскими ученым — антропологом Левиным и этнографом Чебоксаровым, которые на ряде примеров показали, что обязательного совпадения у этноса нет ни с одной из этих общностей, что этнические общности в этнографии различаются как третья категория, способная совпадать или не совпадать с этими двумя (Левин и Чебоксаров 1955). Левин и Чебоксаров сами не сделали вывода относительно археологических соответствий их категориям, но нетрудно заметить, что непосредственное проявление в виде разных типов археологических общностей находят две первых этнографических категории, а третья — этнос — непосредственного выражения не находит и опознается в своих границах лишь постольку и лишь в тех случаях, когда они совпадают с одной из первых двух (преимущественно второй). Статья Левина и Чебоксарова снабдила Монгайта (1967) ресурсами примеров, сильно упрочившими его позицию.

Заслуживая новейших работ критиков из ГДР постановка вопроса (особенно острая у Германа) о необходимости перейти от одностороннего и внешнего понимания культуры как механической суммы элементов, на манер Косинны, к более глубокому и всестороннему ее пониманию, основанному на выявлении функциональных связей между элементами (Herrmann 1965), хотя ясно и четко способов выявления такой связи не было указано. Именно Герман подметил некоторые черты сходства в положениях Косинны и его современных западнонемецких критиков и первым предпринял критику критиков с позиции марксизма.

Таково развитие взглядов в археологической науке на учение Косинны за 40 лет, если считать от года смерти Косинны или (так будет точнее) — за 75 лет, считая со времени первых откликов на «археологию обитания».

Е. Значение наследия Косинны. Многие критики справедливо отмечали дилетантизм Косинны, его неприязнь к собственному научному методу — систематической проверке выводов на фактах. Эггерс в своей замечательной книжке «Введение в археологию» (не устаревшей и несомненно заслуживающей перевода) пишет:

«Для многих его приверженцев его имя звучит так же, как имя Монтелиус. И все же следует воздержаться ставить эти две личности исследователей на одну доску.

Хоть Монтелиус тоже мог ошибаться, у него хватило характера и самокритичности видеть свои ошибки и устранять их. И если сегодня, например, «типологический метод» строжайше запрещен иными исследователями потому, что наследники великого шведского мэтра неверно применяли этот метод, то в этом Монтелиус не повинен — он-то все эти возможные недостатки уже предвидел и знал пути их преодоления: Монтелиус — классик археологии.

Иначе Косинна. Когда сегодня его метод «этнического истолкования» тоже подвергается резкой критике, то он, к сожалению, сам в этом виноват. Ученики лишь повторяют недостатки, которые у их учителей имелись в большей мере... Косинна не довел до конца, до конечного выражения свои идеи. Это была, быть может, гениальная голова, но это не классик» (Eggers 1959: 199–200).

Что ж, может быть, тогда прав Дэниел, вычеркивая из «ста лет археологии» 50 лет царствования и посмертной беатификации Косинны и 75 лет критики Косиннизма? Вряд ли Эггерс так считает.

Далее Эггерс развивает свое противопоставление:

«Если Монтелиус сначала разъясняет понятия, а затем с классической ясностью нанизывает доказательство за доказательством

и старается исчерпывающе разъяснить ход своей мысли также и археологически неподготовленному внимательному читателю, то Косинна противопоставляет всем сомневающимся в справедливости его метода «очевидность противоположного со своей определенностью». Он не приводит доказательств, он выдвигает утверждения» (Eggers 1959: 212).

Но ведь этой конкретизацией Эггерс снимает свой вывод из антитезы, а именно: что здесь с одной стороны — «классик», с другой — «быть может, гениальная голова, но не классик». Разве здесь классик противопоставляется не — классику? Да нет же: здесь ученый противопоставляется дилетанту. Не объем знаний, а именно отсутствие тяги к проверке выводов и доказательством, отсутствие систематической работы в этом направлении и есть самое главное отличие дилетанта от ученого. Косинна всех противников обзывал дилетантами — Шухардта, Гёрнеса, Эд. Мейера, козыряя их ошибками. На деле дилетантом был он сам. Ошибаться могут и ученый, но они владеют механизмом устранения ошибок, дилетанты — нет.

Вероятно, Косинна был ученым в своих ранних лингвистических работах, но в археологии чем дальше, тем меньше он доказывал, тем категоричнее и яростнее утверждал, вещал и проповедовал. Прodelав прыжок из филологической германистики в первобытную археологию, он оставил на старом месте строгие и обременительные правила проверки научных результатов и, как это бывает с учеными, пускающимися хотя бы с небольшими экскурсами в чуждую отрасль науки, вообразил, что там-то без них можно обойтись, там эти правила не действуют, там — пленительная свобода творчества. То есть превратился из вышколенного ученого в разнузданного и воинствующего дилетанта.

Но такие дилетантские экскурсии (мы немало их наблюдали у солидных археологов — в топонимику, этнонимику, антропологию, фольклористику, даже письменную историю, равно как у историков — в археологию) не превращают ученого вообще в дилетанта, если он своим главным делом сохраняет свой труд в своей прежней специальности. Для Косинны переход в археологию был не мимолетным экскурсом, а полной перестройкой жизненной программы. И он стал дилетантом. Этому способствовало и то, что в самой филологической германистике в отличие от исторической науки, как уже было отмечено, критика нарративных источников была неполной — и эту «степень свободы» от критики Косинна просто захватил с собой из филологической германистики, остальные «степени свободы» добавил в прыжке.

И тем не менее, хоть это и показалось бы, быть может, странным Эггерсу, Косинна, конечно, классик археологии. Ибо он дал классическое выражение одной из главных тенденций развития археологической науки в его время — тенденции рассматривать развитие культуры как развертывание в пространстве и за социальными факторами развития увидеть биологические. У Косинны мы действительно находим классическое выражение этой тенденции. Классическое — значит самое яркое, самое отчетливое, самое развернутое, предствительное и авторитетное.

А что классикой в данном случае оказалось дилетантство, что именно такая личность оказалась наиболее ярким и авторитетным выразителем духа времени, классиком, тому есть свои причины: и сам характер этого «духа времени» (сей «дух» не был расположен к объективности), и ситуация в стране, где была осуществлена интенсивнейшая разработка указанной тенденции, и, быть может, конфликт между запросами этой тенденции и тогдашним состоянием фактического материала.

В этих условиях однобокий эрудит и воинствующий дилетант Косинна оказался не только классиком, но еще и классиком первого разряда — основоположником нового учения в археологии. Здание этого учения, несмотря на дилетантскую слабость фундамента, вросло верхними этажами в строгую науку и различными деталями своей структуры цепко в ней укрепилось. Задачи, принципы и приемы этого учения повлияли на ход многих вполне профессиональных исследований.

Я понимаю мотивы и глубинный смысл антитезы Эггерса: в титуле «классик» подразумевается еще и качественная оценка, признание недостижимой высоты, идеальной нормы, эталонности, образцовости. Конечно, мы сейчас не воспринимаем Косинну образцом для подражания ни в реконструировании «походов», ни в сопоставлениях «культурной высоты», ни во многом другом. Но не следует забывать, что некоторые работы Косинны, все-таки служили в науке образцом для подражания — и не всегда бесплодно и не во всем во зло. Сам же Эггерс отмечает (Eggers 1959) как образцовую работу Косинны «Железные орнаментированные наконечники копий как признак ранних германцев» и констатирует, что из этой работы выросли крупные и полезные труды трех лучших учеников Косинны — Блюме, Яна и Костшевского.

Из работ других классиков археологии Винкельмана, Мортилье, Флиндерса Питри, Эллиота Смита и даже самого «короля археологии» Монтелиуса (кстати, «королем» его назвал впервые Косинна) тоже не так уж много читаются археологами по сей день. Классики науки отличаются в этом от классиков поэзии. Стихи Шиллера и Пушкина воздействуют с прежней силой на современного

читателя и не могут быть заменены стихами Гейне и Маяковского. Произведения классиков науки, при всех своих высоких качествах, имеет возрастной предел, устаревают и выходят не пенсию. Далее они уже не оказывают непосредственного воздействия на ход науки, а участвуют в нем лишь косвенно — своими результатами и идеями, включенными в более современные труды, нередко через ряд передаточных пунктов и иногда неосознанно. Как принято говорить, они сохраняют лишь историческое значение. «Историческое значение» — не значит: никакого значения для современности. Это историческое значение определяется вкладом в науку.

А только рассмотрев в исторической перспективе этот вклад и условия его введения в науку, мы можем правильно оценить его, легче отыскать слабые звенья, извлечь поучительные уроки для современности и наметить перспективы дальнейшего развития.

Вклад Косинны в археологическую науку нельзя абсолютизировать, но нет надобности и отрицать.

Прежде всего, Косинна первым ввел пространственную определенность в восприятие одной из основных дискретных единиц археологического материала — культуры. Не он первым заметил, что материал на этом уровне дискретен: уже «века» Томсена, «периоды» Монтелиуса и «эпохи» Мортилье были шагами в этом направлении, но эволюционное понимание дискретности имело только временную определенность, временные границы. Не он первым обнаружил пространственную определенность вообще: уже у Шлимана выступали территориально-этнические цивилизации. Но Косинна первым ввел и дал первую характеристику понятия культуры. Теперь мы считаем его характеристику неполной и неглубокой, но включаем как часть в более полную (Клейн 1970; 1991: 125–153; Klejn 1971). Без учета его характеристики наше новое определение не будет достаточно полным.

Одна из почти общепризнанных заслуг Косинны — введение *картографического метода* в археологию. Это, однако, нуждается в уточнении. Археологи наносили находки на карты и до Косинны. Сам Косинна опубликовал не так уж много карт. Серию карт за него представили Вильке и Лиссауэр. И даже этническое расселение узнавали по картам находок и независимо от Косинны — например, Спицин (1899) в России по распространению типов височных колец выявлял территории восточнославянских летописных племен.

Но именно под влиянием Косинны всей этой деятельности был придан широкий размах, Косинна теоретически обосновал ее необходимость и сделал обыкновением в археологии не только карты распространения типов, но и карты культур. Кроме того, именно он породил традицию сопоставления карт, практику

различных взаимоналожений и аппликации ареалов, и тем самым превратил карты из средства учета и наглядности в средство исследований. По почину Косинны на картах археологов появилась динамика культур и стали отрабатываться технические средства ее отображения. Позже нашлись возможности проникновения картографического метода и в другие аспекты археологии — анализ экономических связей, взаимоотношения культуры со средой, оценку степени изученности и т. п. Но первый шаг труднее других. Если количество и разнообразие карт в археологических исследованиях растут, то это значит, что увеличивается место и значение вклада Косинны.

Вкладом Косинны является также постановка проблемы *этнического истолкования* археологических материалов. Вопросы этнической атрибуции тех или иных памятников изредка возникали и до Косинны, но решения строились как одиночные по случайным наитиям. Косинна впервые поставил задачу этнического истолкования как научную проблему, причем проблему перво-степенной важности — широко, смело, с поиском общих принципов решения. Найти и обосновать убедительное решение ему не удалось, но и постановка проблемы была нужным и назревшим делом, а некоторые частные успешные отгадки, реализованные вместо ожидавшегося всеобщего решения, показали, что какое-то решение здесь в принципе возможно — не простое и не всеобщее, но и в достаточной мере общее. Надо заранее ограничить сферу приложения искомым правил, разделить и обусловить определенными обстоятельствами их функции, найти способ проверки на разнородных фантах и т. д. — это один из путей, по которому движется современная археология. В начале его стоит Косинна.

Еще одна часть его вклада — изучение *культурной преемственности*, постановка задач констатации автохтонности и миграций. До него такие вопросы вставали лишь спорадически и решались мимоходом. Эволюционистов это не интересовало. Косинна вывел эту задачу на первый план и первый использовал достижения эволюционистов (идею эволюции, типологический метод) для принципиального решения этой задачи. Предложенные им критерии констатации автохтонности или переселения оказались недостаточными, но ведь и выдвинутые Мортилье критерии отличия кремневых орудий от случайных природных обломков тоже пришлось впоследствии дополнять. Задача разработки строгих и полных археологических критериев, по которым можно было бы выявить автохтонность и миграции, стоит сейчас перед нашей наукой, но сколь бы ни усложнились эти критерии, в основе их останется то, что указывал Косинна: количественное и качественное соотношение между традициями (линиями непрерывной типологической эволюции) и инновациями,

географическая локализация истоков того и другого. Его неполные критерии и его предрассудки стоить помнить — хотя бы для того, чтобы избежать его ошибок. Оправдание некоторых его предсказаний стоит учитывать — хотя бы для того, чтобы не впасть в искушение, делать все наоборот по сравнению с Косинной — всегда утверждать нечто прямо противоположное.

Теперь стало модно говорить, что Косинна крайне преувеличивал место и значение этнических определений и выявления культурной преемственности (миграций и автохтонности) в археологии (Eggers 1959; Монгайт 1967). Это не совсем так. Косинна скорее искажил их роль, направляя эти исследования на прямолинейную увязку прошлого с современностью и на обслуживание современных политических задач. Раздутым их значение выглядит от того, что он при этом игнорировал и отбрасывал другие важные аспекты разработки археологических материалов — социально-экономическую интерпретацию, выявление политических и религиозных общностей, прослеживание культурных влияний, роль географической среды и пр. Преувеличение относительно. На деле, так сказать, в абсолютном исчислении, важность того аспекта, который выдвинул на первый план Косинна, действительно очень велика, и то, что Косинна обратил археологию лицом к этому аспекту, — несомненная заслуга этого археолога при всей профанации, в которую он при этом впал.

Для эволюционистов XIX века был характерен сугубо общий подход к миру, представленному археологическими памятниками. Выявлялись самые общие законы, самые крупные процессы, мир рассматривался как единое целое, как одна весьма однообразная культура — снивеллированная, усредненная и поэтому абстрактная. Это был необходимый этап познания, и он принес свои плоды. Однако было бы печально застрять на нем. У этого подхода были и слабости: с накоплением материалов становилось все труднее уложить конкретную историю и все богатство конкретных культурных явлений в узкое и жесткое русло стандартизированного единого культурного процесса.

Косинна был одним из тех, кто выступил с целью разрушить и опровергнуть это единство. Он воспринял этот мир расчлененным в современности и старался получше спроецировать эту расчлененность на прошлое. Для этого он прослеживал линии культурной преемственности. Представление о единстве мира было утеряно, зато начали отрабатываться средства вычленения и изолированного изучения отдельных процессов и участков. Это тоже был закономерный этап познания, и деятельность Косинны — часть этого этапа, сказавшегося на нашем сегодняшнем подходе.

Мы сейчас не отвергли единства мира и его основных законов, но мы уже не можем удовлетвориться общими контурами. Мы учимся понимать, чем опре-

деляются те или иные конкретизации этого общего, ибо без этого невозможно предсказывать и планировать. Мы стремимся распознавать общее в частном, не игнорируя различия конкретных путей истории и не теряя представления об общем, когда изучаем частности. А для этого необходимо изучать конкретные процессы развития в конкретных обществах (о значении этой смены подхода в палеолите см. Григорьев 1969). Но эти общества были различны по величине, они двигались, переселялись, смешивались. Поэтому необходимо определять их реальные границы и реальные генетически образованные культурные последовательности, в которых и протекали конкретные процессы развития. А для этого нужно прослеживать культурную преемственность, выявлять автохтонность и миграции. Иначе изучая один район, мы окажемся в положении человека, читающего механически сшитые главы различных повестей как продолжение одного романа.

В археологии мы все время имеем дело с *секвенциями* — рядами последовательных культур. Изучая подробно районы и выявляя в них стратиграфические колонки, мы получаем ряды культур для каждого района — *колонные секвенции*. Соединив последовательно культуры, генетически связанные, безразлично из одного района или разных, мы получаем генетические секвенции (во избежание биологических коннотаций лучше именовать их *трассовыми*). Суть дела в том, что археологические материалы предстают перед нами в колонных секвенциях, а развитие протекало в генетических (или трассовых) секвенциях, и наша неизбежная задача перевести первые во вторые. А для этого необходимо прослеживание культурной преемственности — то, к чему Косинна повернул археологию и для чего он усердно разрабатывал технические приемы, хоть и имел перед собой иную конечную цель.

Проводя по-своему интеграцию археологии с исторической этнографией древних авторов, лингвистикой и антропологией, Косинна исходил из романтического представления о нераздельности различных проявлений культуры как эманации народного духа. Отсюда его многочисленные априорные «уравнения», подстановки и аметодичные переплетения данных разных наук. Его послевоенные западно-немецкие критики считают позволительным сопоставлять лишь готовые результаты исследований, проведенных по отдельности в каждой из наук ее специфическими методами. Привлекательны в этой постановке чистота операций и строгая адекватность методов специфике материала.

Но как обстоит дело с глубиной проникновения в исследуемый мир? Принцип взаимной проверки готовых результатов разных наук неправомерно укорачивает возможности исследователя, ибо игнорирует значение и многообразие связей между разными сферами функционирования системы, состоящей

из популяции, культуры и среды. Никакое суммирование данных об элементах изученных в расчлененном состоянии, не может подменить информацию об их облике, связях и деятельности в составе системы — это один из устоев современного принципа науки: системного подхода. Косинна прямолинейно совмещал все части этой системы. Его критики разрывают их настолько, что вместо синтеза получают лишь сравнение. Смешанному применению разнородных методов аналитического исследования надо противопоставлять не одно лишь несмешанное применение, а и поиск методов синтетического исследования. На этом пути некоторые находки Косинны (например, заполнение лакун в одной категории материала данными другой) при введении соответствующих условий, ограничений и, так сказать, переводных коэффициентов, все же могут пригодиться. Сознанием закономерных связей наш системный подход, пожалуй, ближе к наивному романтизму Косинны, чем к рационалистическому скептицизму его нынешних западно-немецких критиков.

В конце концов, ультраметодичное расчленение указанной системы вполне логично было бы продолжить и усугубить: почему бы не рассечь и ее составную часть — культуру — на дальнейшие, более дробные подразделения, требующие раздельного изучения специфическими методами? Ведь ареалы могильников, жилищ, керамики, оружия и прочего инвентаря тоже далеко не всегда совпадают в своих границах. Но тогда культура исчезнет — и на это идут!

В наши дни с разных сторон то и дело раздаются голоса, утверждающие, что *понятие археологической культуры* устарело, да и с самого начала было лишь условным, что задача изучения конкретных культур искусственна, что нет ни единых общих законов, ни частных законов в культурно-историческом процессе, ни возможности проследить объективно отдельные конкретные процессы на значительном продолжении, ибо все определяется случайной и недетерминированной игрой волевых усилий отдельных личностей, а результаты к тому же безнадежно разрушены и обрывочно представлены в археологических материалах. С подобными идеями или их элементами выступали и выступают известные археологи Уолтер Тэйлор, Стюарт Пиготт, Глин Дэниел, Чжан Гуан-Чжи, Мюллер-Карпе, Колин Ренфрью (Taylor 1948; Piggott 1965; Daniel 1950; Chang 1958: 231–232; Müller-Karpe 1966: 187; Renfrew 1969: 149) и др. «Вполне может статься, — пишет Дэниел, — что... мы в нашем новом, историческом подходе к преистории должны довольствоваться скорее историческим контекстом и культурой, чем эпохами и культурами». Дэниел особенно активно и широко проповедует этот новый подход, который ему угодно именовать историческим. Вполне естественно, что Косинна с его культурами и надеждой выявить их конкретно-генетические связи, оказался,

с точки зрения Дэниела, далеко в стороне от генерального пути развития нашей науки и просто выпал из ее истории (в версии Дэниела). Конечно, Дэниел может сослаться на дилетантизм Косинны, но в той же мере дилетантом был и Эллиотт Смит, основоположник другого крупного течения первой половины XX века — диффузионизма, а Смита Дэниэл в своей книге не считал возможным обойти. Может быть, Смигу оказано снисхождение из-за того, что он соотечественник Дэниела, и еще из-за того, что Дэниэл сам вырос в рамках диффузионизма, преодолел его, и критика этого учения не была ему вовсе безразлична — несмотря на то что впоследствии он стал одним из лидеров нового течения.

Наука, несомненно, сумеет извлечь пользу и из этого нового подхода — уточнит границы своих возможностей, усовершенствует критику источников, выявит долю условностей в понятиях и научится полнее учитывать элемент случайности в конкретных исследованиях. Опасна та новая абсолютизация, которую принципам этого подхода стремятся придать его увлеченные проповедники. Отрицание закономерностей культурно-исторического развития, неверие в возможности исторических реконструкций, отказ от оправдавших себя понятий науки означают на деле отход от настоящей науки, ослабление научности археологии. Полный учет и дальнейшая разработка того позитивного вклада, который Косинна внес в науку, и той дискуссии, которая была вызвана задачами критики всего учения Косинны, поможет предохранить нашу науку от этой новой ереси — ереси гиперскептицизма.

Археологам незачем бояться прикосновения к праху Косинны: опасность заразиться не грозит тем, кто опираясь на собственные принципы, помнит, оценивает и различает.

Резюме

В статье представлен анализ «археологии обитания» Косинны. Вначале показано отношение к косинновскому наследию, его игнорирование в современной историографии. Затем рассмотрена биография Косинны и на этой канве обрисовано развитие и сложение его концепции. Здесь наиболее любопытно наблюдение, что расовая теория вошла в концепцию Косинны только на более позднем этапе существования этой концепции.

Далее в статье представлена систематизация взглядов Косинны, которую сам он не проделал. Изложены и проанализированы 13 положений его «археологии обитания» (*Siedlungsarchäologie*). Часть этих догм касается разработки этнической истории — происхождения народов и языковых семей (этниче-

ское истолкование археологических культур, культурной преемственности и типологических соотношений, миграционная трактовка распространения культуры, этническая атрибуция типа и совмещение народов с расами). Другая часть касается использования результатов исследования (апелляция к «историческому праву», подбор археологических прецедентов современных планов агрессии и доктрина первородства). Еще несколько догм имеют содержанием движущие силы развития общества (декларация культуртрегерской миссии германцев, принцип наложения прошлого на современность, биологический детерминизм и принцип извлечения идеалов и прямых уроков из археологии).

В последней части статьи изложены аргументы критиков Косинны и прослежено развитие этой критики — от первых критиков (маститых немецких ученых начала века) и польских противников Косинны, до его западноевропейских оппонентов и советских марксистов, а также западнонемецких скептиков.

Оценивая значение концепции Косинны, автор придерживается того взгляда, что, несмотря на дилетантизм и необъективность, Косинна является классиком немецкой археологии. Он открыл в первобытной археологии целое направление исследований этногенеза, сколотил школу и ввел ряд методических приемов, которые вошли в практику исследований даже у его врагов. А что у немецкой археологии оказался такой классик в начале XX века, тому виной социально-историческая обстановка и дух времени в Германии эпохи двух мировых войн, которые Германия инициировала.

SUMMARY

In this article (or rather small book) the analysis of Kossinna's «settlement archaeology» (Siedlungsarchäologie) is presented. First the attitude to Kossinna's heritage is exposed, the ignoring of him in the modern historiography. Then his biography is considered and on this background the forming and development of his conception is shown. Here most interesting might be the observation the the race theory entered into Kossinna's conception only on the last stage of the existence of this conception.

Further in this work the systematisation of Kossinna's views is made which he did not accomplished himself. 13 positions of his «settlement archaeology» are exposed and analysed. A part of these dogmas concerns the working out of ethnic history — origins of peoples and language families (ethnic interpretation of archaeological cultures, of cultural succession and typological interrelationships, understanding of culture distribution as a migration, ethnic interpretation of type, and substitution of ethnia for races). Another part of dogmas concerns

the results of studies (appeal to «historical right», selection of archaeological precedents to modern aggressive plans, and doctrine of primogenity). Still some another dogmas concern moving forces of social development (declaration of *Kulturträgermission* of Germans, the principle of imposition of past onto modernity, biological determinism and the principle of drawing the ideals and direct lessons from archaeology).

In the last part of this article argumentation of Kossinna's critics are exposed and the development of this criticism is traced — from the first critics (the prominent German scholars of the beginning of the century) and Polish adversaries of Kossinna to his West-European opponents and Soviet Marxists as well as West-German sceptics.

Estimating the meaning of Kossinna's conception the author considers that despite dilettantism and bias Kossinna is a classic of German archaeology. He discovered in prehistoric archaeology an entire direction of ethnogenetic studies, knocked up a school and introduced several methods that entered the practice of studies even at his enemies. That just such a classic appeared in German archaeology in the early 20th century, the social-historical situation is guilty as well as the spirit of time in Germany of the epoch of two world wars which Germany had initiated.

2. Облик Косинны на пороге XXI века

(Новая биография Косинны в труде Г. Грюнерта)

[В 2002 г. мой коллега, с которым мы поддерживали дружеские отношения, Гейнц Грюнерт, бывший завкафедрой Берлинского университета (ГДР) и редактор журнала «Археологиш-Этнографише Цейтшрифт», выпустил капитальный биографический труд о Косинне (Grünert 2002). Я поместил в петербургском журнале «Археологические вести» рецензию на этот труд (Клейн 2007). Грюнерт очень детально «раздраконил» биографию Косинны и проследил формирование его мировоззрения, но что касается систематизации и критики его учения, то и сегодня моя «монография в журнале» остается наиболее полной сводкой. Однако в работе Грюнерта можно найти немало дополнительных сведений, и стоит этой рецензией пополнить предложенный мною материал.]

Едва ли какой-нибудь еще иностранный археолог столь популярен в русской археологии, как Косинна (ну, разве что Чайлд). О Косинне писали Равдоникас, Брюсов и Монгайт, я также посвятил ему несколько работ, а уж имя его кто только ни поминал. Это естественно: он был предтечей нацистской идеологии в Германии, а в археологию ввел метод картирования и отождествления археологической культуры с этносом, столь важный для участия археологии

в решении проблем этногенеза — долгое время наша археология считала это своей главной задачей.

После войны Косинна, связанный нутром с кайзеровской Германией, а двигавшийся к Германии гитлеровской (он не дожил до «националистической революции» 1933 г. двух лет), повис в безвоздушном пространстве между двумя Германиями — демократической ФРГ и социалистической ГДР. В ГДР к нему относились более критически и враждебно, чем в Советском Союзе (ГДР была передовым бастионом социалистического лагеря), а в ФРГ он слишком напоминал позорное прошлое, от которого отделяла денацификация. Поэтому предпочитали его не касаться, забыть (Smolla 1980). Наиболее близкие по тематике археологи критиковали в конкретных трудах его положения и методы (Wahle 1941/1952; Eggers 1950; 1959; Nachmann 1970), но специальных общих работ ему не посвящали. Моя работа 1974 г., «Косинна с расстояния в 40 лет», опубликованная на немецком языке в ГДР, проломила брешь в этом деле (Klejn 1974) и была встречена в штыки эпигонами Косинны (Korell 1975), но одобрена отошедшими от его позиций учениками — Эрнстом Вале и Гербертом Янкуном (личные письма — см. Клейн 2000, 2006). За ней последовали в Германии аналогичные, но менее детальные статьи Г. Смоллы (в частности «Косинна 50 лет спустя» — Smolla 1984), Ульриха Фейта (Veit 1984; 2000 и др.). А я через тридцать лет после немецкой публикации смог опубликовать более полный русский текст моей работы с подзаголовком «Косинна 70 лет спустя» (Клейн 2000).

Вскоре появился фундаментальный труд Гейнца Грюнерта «Густаф Косинна. От германиста к преисторику. Ученый в кайзеровском рейхе и в Веймарской республике» (Grünert 2002) — труд этот только недавно прибыл в Петербург (поэтому я только сейчас пишу на него рецензию). В гедезеровское время профессор Гейнец Грюнерт заведовал кафедрой первобытной археологии в Берлинском университете ГДР (Университете им. В. Гумбольдта) и редактировал «Этнографш-Археологш Цейтшрифт», где с конца 60-х по начало 80-х гг. не раз печатал мои работы. В 80-е годы он, возможно, оценив отношение в сообществе к работам моим и Смоллы о Косинне, занялся изучением биографии и наследия Косинны и ориентировал на это своих студентов (неопубликованное собрание их работ хранится в археологическом семинаре Университета — Beiträge 1986). После воссоединения Германии, отойдя от руководства кафедрой, стал публиковать статьи о Косинне и вот обобщил их в этом томе.

В томе более трех десятков глав, следующих в хронологическом порядке по этапам биографии Косинны. Его жизнь и труды прослежены очень детально,

все факты основаны на проработке сотен работ Косинны и тысяч документов в 66 архивах. В результате многолетней работы Грюнерта и поддержки (в издании труда) археологов Свободного университета (быв. Западного Берлина), в частности Бернгарда Хэнзеля, мы получили бесценный обобщающий труд, отличный справочник по наследию Косинны и выверенную совокупность оценок его деятельности и произведений.

Хоть я специально изучал биографию и сочинения Косинны, в книге Грюнерта есть немало интересных и неизвестных мне ранее деталей — начиная с объяснения имени Косинны. Он взял себе уже взрослым имя Густаф вместо записанного при рождении стандартного Густав, чтобы звучало ближе к древнегерманскому. Несмотря на свою нелюбовь к славянам фамилию свою он производил от славянского (мазурского) корня «коза» или «коса» (и Грюнерт считает это возможным), хотя, судя по суффиксам, из славянских корней больше подходит глагол «косить». Даже требовал произносить фамилию со славянским ударением на втором слогe вместо немецкого (на первом), но подчеркивал, что предки давным-давно онемечились и славянской крови осталось всего капля, потому что всё снова и снова предки женились на коренных немках. Новостью для меня стала и отчужденность консервативно-националистического Густава от старшего брата Рихарда, который был демократом и либералом, ярим сторонником Веймарской республики. Раскопал Грюнерт и подробности первого брака Косинны. Невеста, Катарина, была старше жениха на 14 лет, и к тому же ребенок родился через месяц после свадьбы. Это надолго сделало Косинну не очень приемлемым в бюргерском обществе Штрасбурга (впоследствии он фальсифицировал в автобиографиях дату свадьбы, передвинув ее на год назад). Впрочем, брак был вполне благополучным. После смерти жены Косинна женился вторично. На сей раз жена, Маргарета, была младше его на те же 14 лет.

Из школы Гахмана исходило представление, что Косинна называл своим учителем лингвиста Карла Мюлленгофа, не слушая у него лекций в Штрасбурге. Грюнерт установил, что в то время, когда Косинна учился в Берлине, Мюлленгоф преподавал там и действительно был руководителем Косинны. Но затем Косинна перебрался в Штрасбург и стал учеником германиста Рудольфа Генинга, у которого получил первый толчок к археологии. Диссертацию защищал у него. К рубежу веков, однако, рассорился с ним. Во-первых, потому, что тот не принял косинновских гипотез, а во-вторых, вероятно, потому (это мое предположение), что тот был зятем Рудольфа Вирхова, а Косинна к этому времени рассорился и с недавним кумиром Вирховом. Предполагая, что Вирхов затормозил печатанье косинновской статьи, он назвал его в 1901 г. «самым маленьким из всех духовных тиранов и тормозом для свободной науки». Между тем Вирхов

проторил дорогу Косинне. Когда Вирхов умер, реакция Косинны была такой: «Несколько долго длившийся эпизод Вирхова с его страшным хозяйничаньем клики, его несправедливостью, дилетантским уплощением и самообогащением теперь, слава Богу, пришел к концу. Да будет немецкая преистория предохранена от какого-нибудь второго Вирхова» (с. 202). Я знал, что у Косинны была ярая ненависть к австрийцу Муху за первенство в выдвижении гипотезы о прародине «индогерманцев» в Германии, но я не знал, что перед тем они были очень тесными друзьями. Словом, представление о неуживчивости Косинны приобретает дополнительные черты.

Я полагал, что в его противостоянии с Шухардтом Берлинский университет был на стороне Косинны, так же как Академия — на стороне Шухардта. Я не представлял себе, насколько одинок был Косинна на собственном факультете и в Университете — почти все профессора были против него, и он так и не получил до конца своей службы звания ординарного профессора — профессора на полной зарплате и со всеми привилегиями. Не превращали его семинар и в полновесную кафедру. Для поддержки он и создал себе Берлинское общество преистории, в основном из любителей и дилетантов.

В труде Грюнерта формирование националистических взглядов Косинны рассматривается на фоне роста националистических организаций в кайзеровской Германии, а затем при Веймарской республике. Прослежено, на какие газеты подписывался Косинна, с какими националистическими организациями сотрудничал, кому симпатизировал. Что он был немецким шовинистом, был консервативно и милитаристски настроен, общеизвестно — не любил французов и славян, особенно ненавидел поляков. Неожиданностью было для меня то, что от открытых выражений антисемитизма он воздерживался, что среди его учеников были евреи, что попытки заинтересовать его участием в антисемитском журнале «Хаммер» («Топор») не удались. Но на основании устного общения он слыл среди друзей антисемитом, а однажды сорвался и, когда известный индоевропеист Зигмунд Фейст, еврей по происхождению, раскритиковал его гипотезы и методiku, он обрушился в печати на Фейста не с аргументированными опровержениями, а с антисемитской бранью (с. 247–248).

Точные параметры получила у Грюнерта школа Косинны. Выясняется, что вся школа была создана в довоенные годы, а после войны Косина не имел ни сил, ни возможностей собирать вокруг себя учеников. Да и учение его, критикуемое многими, утратило ореол свежести и смелости. Лучшие ученики от него уходили к другим — Кикебуш, Вале, Эберт. Они критиковали его гипотезы, а он не терпел возражений и самостоятельности. Макс Эберт стал сотрудником Шухардта. Основав многотомный энциклопедический «реальный» словарь

первобытной археологии, он не пригласил сотрудничать Косинну, а пригласил Кикебуша и Фейста, чем Косина был очень уязвлен. Эберт и стал преемником Косинны в Берлинском университете. В конце жизни Косинне оставалась только одна надежда — на победу национал-социалистического движения. Нет данных о прямых контактах Косинны с нацистами, но он дружески контактировал со многими втянутыми в движение, а его протееже Ганс Рейнерт еще при жизни Косинны стал видным функционером партии, сотрудником Альфреда Розенберга; по свидетельству вдовы и сына, Косинна с радостью встречал появление нацистских журналов. Он всё более горячо устремлялся в эту сторону, и дорожка его к нацизму была прямой.

С другой стороны, он не принял фантастических удревнений «нордической» культуры с выведением ее из-за полярного круга (Герман Вирт), столь увлекавших нацистские верхи. Принято считать, что Косинна ввел только теоретическое обоснование картографического метода, а сам карт почти не представлял. Грюнерт приводит сведения о том, что за опубликованными обобщенными картами (с заштриховкой ареалов) у Косинны стояли собственноручно выработанные точечные карты.

Словом, Грюнерт хорошо поработал, и каждый из тех, кто занимался Косинной и будет заниматься им, сможет найти в этом труде много интересных фактов.

Оценки наследия Косинны в труде Грюнерта взвешены и продуманы. Грюнерт определяет значение Косинны как двойственное, но это общее мнение современных археологов, и у меня нет возражений. Мы несколько расходимся с Грюнертом в формулировках. Я назвал Косинну классиком немецкой археологии; Грюнерт вслед за Эггерсом заявляет, что Косинна не классик. Но здесь расхождение не в оценке Косинны, а в смысле, придаваемом слову «классик». Для Грюнерта классиком заслуживает быть назван только ученый, создавший образцовые работы, которыми можно восхищаться, работы безупречные и позитивные во всех отношениях. Для меня классик — это ученый, выразивший наиболее ярко некое крупное течение своего времени и обогативший науку методическими изобретениями. Но даже по первому определению Косина может претендовать на это звание: его работа об «Орнаментированных железных наконечниках копий» может быть признана образцовой — не менее, чем работа Спицына о расселении славянских племен (по височным кольцам).

Поспорил бы я с утверждением Грюнерта, выраженным в английском резюме его книги: «Ныне становится ясно, что археологические региональные группировки являются главным образом субъективными созданиями археологов и только редко отражают некоторые аспекты реальных исторических процессов» (с. 349). Это утверждение, несколько неожиданное в работе бывшего

заведующего кафедрой университета ГДР и редактора марксистского журнала, отражает поветрие гиперскептицизма, модное в Англии, Америке и Скандинавии полвека назад и, видимо, лишь сейчас прибывшее в Германию. Но это был бы спор о методологии современной археологии, а не о биографии Косинны.

Профессор Грюнерт очень строго сосредоточил свое внимание именно на биографии Косинны и на истории создания его работ. Методологической оценкой их и фактуальным их содержанием он занимается значительно меньше. Говоря о «синдроме Косинны» (выражение Смоллы) и предпочтении немецких археологов не затрагивать эту тему, он пишет: «Также и богатый фактами взвешенный вклад ленинградского археолога Льва С. Клейна не вызвал никаких новых дискуссий. Он был с интересом принят к сведению, но остался в конечном счете столь же изолированным, как и большая часть самых фундаментальных работ о Косинне и его наследии, выдвинутых на немецком западе после Вале и Эггерса исследователями, становление которых началось в национал-социалистское время (ссылка на Гахмана, Смоллу и Коссака). Слабым остался и резонанс на публикацию графини Шверин фон Крозиг, ознакомившей читателя с репрезентативной частью наследия Косинны» (с. 345). Но ведь и сам Грюнерт в сущности не обсуждает этих работ. В его книге нет даже историографического рассмотрения предшествующих биографий Косинны. Между тем дискуссия, отчасти подспудно, на деле шла.

В середине XX века знаменитые статьи Эрнста Вале и Эггерса об этническом определении археологических культур (Wahle 1941/1952; Eggers 1950) определили надолго отношение археологического сообщества к этой центральной теме Косинны (на них множество ссылок и у них много подражаний). Очень влиятельным был и учебник Эггерса «Введение в преисторию» 1959 г. (Eggers 1959), в котором была живо и с юмором представлена биография Косинны и показаны пороки его методики. А это был учебник — на нем воспитывалась новая генерация археологов. В своей работе я, как мне представляется, впервые представил концепцию Косинны в систематизированном виде (в виде 13 догм), чего не сделал ни сам Косинна, ни его ученики. Систематизировал я и критику его работ. Пороки его концепции систематизированы и у Гахмана. Признаки действенности моей работы я вижу не столько в том, что после нее в немецкой археологической литературе стали появляться аналогичные работы специально о Косинне (их действительно очень мало), но в том, что с этого времени прекратилось раздвоение сообщества на эпигонов Косинны (типа Мартина Яна и Дитера Корреля) и его искоренителей (типа Равдоникаса и Отто). Пишущие стали придерживаться той взвешенной двойственной оценки Косинны, которую развивает и Грюнерт. В 1980 г. Гюнтер Смолла диагностировал травму,

нанесенную немецкой археологии косинизмом и его разгромом, отчеканив формулировку «синдром Косинны» (Smolla 1980), и эта формулировка была подхвачена в статьях других авторов (Wolfram 2000 и др.), в их стараниях изжить этот синдром. Всё это можно рассматривать как дискуссию, нужно только присмотреться.

Если Грюнерт думает, что после его труда археологи бросятся дискуссировать о Косинне, спорить с автором или развивать его идеи, то, скорее всего, он ошибается. Но это вовсе не значит, что труд его бесполезен. Просто функция подобных историографических трудов другая. Его будут внимательно читать, будут долго и с благодарностью использовать, будут неоднократно цитировать. Он создаст более объективное и полное представление о Косинне и облегчит многим понимание его работ в контексте истории страны и науки.

3. Археология и идеология: немецкая археология при двух диктатурах

Рецензия на сборник под ред. Г. Хэрке

[Эта рецензия была написана по свежим следам — сразу по приходе сборника к нам, в 2001 г. Но я тогда перенес серьезную операцию и в послеоперационном лечении, отправив рецензию, не проверил ее поступление в журнал, а она затерялась в электронной почте. Позже я исправил оплошность, и рецензия была помещена в номер «Стратума» за 2003 год. Правда, и выход этого тома задержался еще на несколько лет, так что том вышел только в 2005 году, но так как это труднодоступный для нашего читателя журнал, то перепечатка статьи кажется мне уместной.]

В издательстве Петер Ланг следующим томом за моей книгой о советской археологии (Klejn 1997) в той же серии вышел под редакцией Генриха Хэрке сборник «Археология, идеология и общество: немецкий опыт» (Härke 2000) с неоднократными привязками к моей книге. Думаю, что мне более, чем уместно отозваться: тема родственная.

«Вряд ли может быть лучший пример взаимоотношений археологии и политики, чем Германия», — пишет (с. 12) во вводной статье «Немецкий опыт» Г. Хэрке. В самом деле, стране, пережившей в XX веке две диктатуры,

две попытки внедрить тоталитарную идеологию, есть что сказать по этому вопросу.

Генрих Хэрке обладает уникальной позицией в археологии для организации такого коллективного обсуждения темы: он немец, получил высшее образование в Германии (Гёттинген) и Шотландии (Эдинбург), прошел аспирантуру в Оксфорде и Гёттингене, с 1984 г. (то есть с 35 лет) переселился в Британию, преподавал в Белфасте и с 1989 г. работает в Рединге (Англия). Вел раскопки в Германии, России и Англии. Он свой человек в английской археологии и не утратил связей с немецкой археологией.

Сборник делится на четыре части. В первой («От национализма к нацизму») три статьи: Ульриха Фейта из Тюбингена «Густаф Косинна и его концепция национальной археологии», Хеннинга Хассмана из Дрездена «Археология в Третьем Рейхе», и Франка Феттена из Мюнстера «Археология и антропология в Германии до 1945 г.». Вторая часть («Послевоенная Западная Германия») содержит пять статей, в основном женщин: Забины Вольфрам из музея «Замок Шлоссгейм» «Прогресс через технику или Синдром Косинны? Археологическая теория и социальный контекст в послевоенной Западной Германии», Ульрики Зоммер из Лейпцига «Преподавание археологии в Западной Германии», Мартина Шмидта из музея под открытым небом в Ёрлингхаузене «Археология и немецкая публика», а также Эвы-Мари Мертенс из Килья «Положение женщин как археологов» и трех женщин: Зигрун М. Карлиш, Зибиллы Кэстнер и Хельги Брандт «Женщины в подполье: гендерные исследования в немецкой археологии».

В третьей части («Восточная Германия и Воссоединение») всего две статьи: ветерана восточнонемецкой археологии Вернера Кобленца из Дрездена «Археология под коммунистическим контролем: Германская Демократическая Республика, 1945–1990» и Йорна Якобса из Ростока «Воссоединение Германии и Восточнонемецкая археология».

Четвертая часть в сборнике держится несколько особняком. Ее тема — «Международные перспективы», и она состоит из трех статей: Джона Кинахана из Намибии «Страна Мечты Юго-Запад: два момента в истории немецких археологических изысканий в Намибии», Тома Блёмерса из Нидерландов «Рискует ли немецкая археология? Критический взгляд соседа на традицию, структуру и serendipity (привычку случайно спотыкаться об интересные открытия. — Л. К.)» и Беттины Арнольд «Трансатлантическая перспектива немецкой археологии».

В первой части содержится наиболее полный в современной литературе анализ воздействия нацизма на археологию. Для иностранного читателя здесь есть ряд интересных, даже неожиданных обстоятельств.

Оказывается, что нордическая идея не имела официального благословения в гитлеровском Рейхе перед войной (я писал уже об этом в 1974 г., — Klejn 1974, — но это всё-таки мало известно) — для гитлеровского руководства нужно было сплотить немецкий народ перед войной, а не разделять его на арийцев и не-арийцев. Оказывается, Гитлер вовсе не питал симпатий к первобытной археологии Германии и был весьма склонен к классическому искусству и соответственно классической археологии, к которым Косинна был неприемлемо враждебен. Первобытную археологию поддерживали и стремились эксплуатировать гитлеровские соратники Гиммлер и Розенберг. Они создали археологические центры, которые жестоко конкурировали друг с другом — «Аненэрбе СС» (Гиммлер) и «Амт Розенберг» (а на Розенберга ориентировался Ганс Рейнерт с его Рейхсбундом немецкой преистории), и эту конкуренцию использовали те археологи, которых один из этих очагов нацизма особенно притеснял — перебежали под покровительство другого.

Хассман, который развивает эту тему, считает, что ведомство Розенберга, пропагандировавшее националистическую мистику, было более агрессивно в насаждении антинаучного подхода, тогда как «Аненэрбе СС» («Наследие предков») в борьбе с Розенбергом способствовало более серьезным и нейтральным научным исследованиям, хотя также пыталось создать новую, нацистскую религию, новый культ. Хассман даже говорит об археологии, «свободной от идеологии», в «Аненэрбе СС». Что ж, серьезные научные исследования могли иметь место при любом спонсоре, но нейтральность вряд ли была возможна — даже при отсутствии идеологической начинки в самих работах: ведь одна лишь группировка в военизированных рядах под определенным знаменем означала поддержку этого знамени. Хассман говорит о «фаустовской сделке» и ее выгодах и невыгодах. Гёте решал этот вопрос более определенно.

Речь у Хассмана, в частности, идет о главе послевоенной школы Siedlung-sarchäologie Герберте Янкуне. Его послевоенные работы несомненно серьезны, как и его довоенные. Однако до войны он занимал высокий пост среди археологов «Аненэрбе СС» и этим избежал интриг и преследований Рейнерта. Но он также исполнял задачи своего ведомства в оккупированных странах, преследовал норвежского археолога Брёггера за его патриотическую позицию, и трудно сказать, какую роль эти действия сыграли в аресте и отправке Брёггера в концлагерь.

В ряде статей сборника (у Хэрке, Фейта, Хассмана, Феттена, Вольфрам) говорится о Косинне. Впервые за долгое время Косинна занимает ведущее место среди фигур немецкой археологии конца XIX — начала XX века. Это справедливо и интересно. Как бы ни относиться к его наследию, оно несомненно сыграло важную роль в подготовке нацистской археологии и подспудно используется разными национальными школами и сейчас, а в Западной Германии повлияло на облик послевоенной археологии «от обратного» — заставило всех отшатнуться от такого прошлого (то, что Гюнтер Смолла окрестил «синдромом Косинны» — Smolla 1980).

У меня, однако, есть разногласия с авторами статей по некоторым деталям трактовки Косинны. Прежде всего, я предпочитаю переводить название его учения и школы *Siedlungsarchäologie* не как «*settlement archaeology*» («археология поселений»), а как «*habitation archaeology*» («археология обитания»), ибо он не изучал поселений, а изучал расселение и обитание древних народностей, а термин «*Siedlung*» имеет и такое значение (Klejn 1974; Клейн 2000). Вот у Янкуна этот термин приобрел значение больше как изучение поселений — во всяком случае название школы и учения употреблялось у него в другом смысле, чем у Косинны.

Фейт, Феттен и Вольфрам говорят о расхождении Косинны с Вирховом. Фейт приводит отзыв Косинны о Вирхове в 1901 г. как о «самом узколобом из всех интеллектуальных тиранов и препятствии свободной науке» (с. 53). При этом в числе идейных стимулов Косинны Фейт упоминает позитивизм (мотивировка: прибегание к расовой теории, то есть естественнонаучный подход к социальным проблемам). Феттен пишет, что Вирхов в 1874 г. утверждал: «преистория не является дисциплиной и вероятно не станет таковой», а Косинна (1911) объявил преисторию автономной дисциплиной (с. 163, 166). Вирхов выступал против отождествления расы с национальностью, а Косинна ввел расовую теорию в свой арсенал. Вирхов говорил об археологических «типусах» с условными наименованиями, а Косинна призвал изгнать анонимность из преисторического прошлого и определять народы. «Для Вирхова это звучало как объявление войны» (с. 171). «Различия между Вирховым и Косинной в их подходе к действенным методам и к их оценке не могли быть больше... Протагонисты обеих школ имели очень мало общего между собой» (с. 170–171).

Эта трактовка кажется мне весьма далекой от объективности. Злой язык Косинны известен — не пощадил и патерналистскую фигуру Вирхова. Взгляды Косинны нужно рассматривать в их динамике. Обращение Косинны к расовой теории в его собственных штудиях весьма позднее (после работ Шлица 1909 г.).

В формировании взглядов Косинны позитивизм нуждается в ином обосновании. Если он и был, то скорее именно от Вирхова, который был полубогом для молодого Косинны, как показал Эггерс. Динамика рассмотрения отсутствует и в вопросе о признании или непризнании «преистории» (преисторической археологии) особой дисциплиной. Вирхов в 1874 г. отвергал эту идею, а Косинна в 1911 г. объявлял ее особой дисциплиной. К этому времени в глазах Косинны она сделала этот скачок. Да и в глазах Вирхова — уже в 1880 г. он заявлял: «Мы сделали немецкую преисторию независимой» — это цитируется у того же Феттена (с. 165).

Мне представляется, что Вирхов стоял у формирования центральноевропейской и восточноевропейской археологии рядом с Ратцелем. Ратцель исходил из географических предпосылок, Вирхов из биологических, оба они развивали этнотерриториальный интерес. «Археологический типус» Вирхова является прототипом «культурной провинции» Косинны, то, бишь, археологической культуры. Вирхов открыл ряд конкретных археологических культур и ставил вопрос об их этническом определении. В этом смысле Косинна — его прямое продолжение (Klejn 1996).

Наоборот, преемственность между Косинной и Чайлдом представляется мне несколько преувеличенной в статьях сборника. Хэрке пишет всего лишь о влиянии Косинны на Чайлда, ссылаясь на Шеррата. А уж Фейт объявляет Чайлда «вероятно, лучшим учеником Косинны»! Поводом служит устойчивый интерес Чайлда к проблеме происхождения индоевропейцев и к миграциям, проявившийся в двух его книгах. Но концепции этих авторов совершенно разные. У Косинны — миграционизм и в конце расовая теория, у Чайлда — диффузионизм в форме трансмиссионизма и с самого начала марксизм. Можно углядеть некоторую преемственность в использовании понятия археологической культуры, но «культурные провинции» Косинны — это (в лучшем случае) совпадающие ареалы распространения одиночных типов вещей, а культуры Чайлда — это повторяющиеся одинаковые (или схожие) сочетания вещей и обрядов в комплексах, схожие комплексы — и занимаемые ими территории. Миграции Косинны — это распространение того или иного типа. Миграции Чайлда — это продвижения культурных комплексов. Диффузия Чайлда — это и передача той или иной типичной детали вещи. У Косинны всё с северо-запада. У Чайлда всё с юго-востока. У Косинны длинная хронология, у Чайлда короткая...

Во второй части сборника ставится вопрос, издавна волнующий Генриха Хэрке: почему в немецкой археологии преобладает эмпирическое направление, а теории не пробиваются. Еще в 1980 г. Г. Смолла ответил на этот вопрос:

потому что действует шок, произведенный крахом нацистской археологии и — через него — косинновской методики. «Синдром Косинны» (Smolla 1980). В сборнике этому вопросу посвящена статья Забины Вольфрам, проведеншей несколько лет в Англии и приобретшей там вкус к теории. Она выражает ту же идею Смоллы лозунгом фирмы «Ауди»: «Прогресс через технику». Это лозунг удаления от идеологии, от теорий, от гуманитарии. Кроме того, к ответу Смоллы она добавляет наблюдение над традицией: уже в первой половине XX века господствующие позиции в немецкой археологии занимали Пауль Рейнеке и Геро фон Мерхарт, оба придерживались принципов эмпиризма. Правда, причинами утверждения такой именно традиции в Германии Вольфрам не задается. А это интересный вопрос.

Преодоление шока Вольфрам числит с 1978 г. — со статьи Смоллы (Smolla 1978). Мою статью о Косинне она знает, но считает, что Клейну не удалось в 1974 г. произвести большое воздействие, а Смолле в 1980 — удалось. Он совершил переворот. Доказательство — появившиеся после него статьи нескольких авторов о Косинне. Конечно, взгляд мой по неизбежности субъективен, но по тем откликам, которые я имел из ГДР и ФРГ (в том числе от Э. Вале, Г. Янкуна, Р. Гахмана, Кр. Штрама, Г. Грюнерта и др.), я мог судить, что некоторое воздействие моя статья оказала (см. Клейн 2000). После нее появились и другие статьи о Косинне — прежде всего Г. Смоллы. Некоторые даже с аналогичным моему названием (Smolla 1985).

У меня вообще впечатление, что Вольфрам стремится несколько приподнять значение работ Смоллы, в чем этот интересный археолог не нуждается. Она ставит его наравне с Эггерсом в развитии теоретических идей. С фундаментальными теоретическими инновациями Эггерса она ставит рядом небольшие статьи Смоллы об аналогиях (Smolla 1964, Smolla 1990). Статьи эти вносят дополнительные интересные пункты в дискуссию об аналогиях, но погоды не делают. Было немало важных статей об аналогиях до Смоллы (Haberlandt 1912; Steward 1942; Willey 1953; Asher 1961; Binford 1967; Chang 1967 и др.), дискуссия продолжается и после его вклада. Вольфрам сетует, что в немецкой археологии разговор, поднятый Эггерсом и Смоллой, не был подхвачен, и называет это «упущенными возможностями». Право, это не так. В дискуссии об аналогиях в мировой археологической литературе были и немецкие статьи (Bergmann 1973; Fischer 1990 и др.), а что касается Эггерса, то его работы нашли продолжение и развитие в Скандинавии (статьи о внутренней критике источников) и России (я специально развивал его идеи в книге «Археологические источники» — Клейн 1978, 1995). Теоретическая литература вообще

не столь уж велика, и нужно учитывать возможности обсуждения и развития поднятых идей в разных странах.

Что же касается ответа на вопрос о причинах бестеоретичности немецкой археологии, то я уже давно поставил под вопрос правомерность самого вопроса (Klejn 1993). Мне представляется, что, хотя в немецкой археологии эмпиризм и пользуется более значительным авторитетом, чем, скажем, в английской или американской, и строго оформленные теории в ней появляются редко, теоретические направления в немецкой археологии существуют, и теоретические основы их выражаются более или менее вразумительно.

Из других статей этого раздела заслуживает внимания статья о преподавании археологии. Автор (Ульрика Зоммер) весьма критически относится к состоянию немецких (прежде всего западно-немецких) университетов и отделений археологии в них. Корни неблагополучия она видит в реформе В. Гумбольдта, которая провозгласила академические свободы и нераздельность обучения и исследования. На деле это повело к небрежению обучением и упадку преподавания. Университеты переполнены, между ними нет соревнования за студентов, преподавание рассматривается как неприятная обязанность. Патернализм профессоров, поддерживаемый государством, и непереносимое послушание остальных имеет следствием отсутствие обязательных программ и огромные пробелы в археологическом образовании, разные в разных университетах: студенты учатся только тому, чем интересуются и в чем специализируются их профессора. Обучение долгое, что само по себе неплохо, но средний возраст достижения научной степени — 37,3 года!

Статьи, посвященные положению женщин и проблемам феминизма, производят двойственное впечатление. С одной стороны, женщины действительно занимают в немецкой археологии тем меньшую долю мест, чем места выше. С другой стороны, объективно женщины обычно самый продуктивный возраст отдают рождению и воспитанию детей и, естественно, упускают возможности продвижения по службе. Сочетание того и другого большей частью не получается, а там, где это пытаются компенсировать искусственными квотами и т. п. (как в Англии), возможен ущерб для дела. Опыты же феминистского подхода к содержанию археологии представляются мне чисто политическими акциями, делом идеологии в науке. Я думаю, что вполне возможен анализ проблемы идеология и археология и на этом материале.

Для российского читателя очень интересен раздел, посвященный анализу марксистской археологии ГДР и воссоединению двух Германий. Здесь центральное место занимает статья Вернера Кобленца, многолетнего директора Дрезденского музея, ученика Мерхарта. Он умер в 1995 г., не дождавись ее

выхода. Статья эта судит о результатах 45-летнего коммунистического господства мягче, чем вышедшая в 1984 г. книга Германа Беренса (Behrens 1984) — уехавшего на Запад бывшего директора музея Галле. В частности, Кобленц обращает внимание на тот факт, что не-коммунистические руководители (в том числе Беренс и Кобленц) очень долго оставались на своих постах. Кобленц отмечает: нет сравнения со страшными результатами шестилетнего нацистского господства перед войной (с. 332).

Я побывал в ГДР в 1970 г., был гостем и Беренса и Кобленца, еще работавших на своих постах, и, по моим личным впечатлениям, режим там был более жестким, чем в тогдашнем Советском Союзе. На высказывание любого сколько-нибудь самостоятельного мнения требовалось соизволение партийных инстанций. Мой знакомый археолог из ГДР, бывавший часто в Ленинграде, говорил мне: у нас и у вас одинаково дурные законы и распоряжения, но мы, немцы, народ дисциплинированный и исполняем их неукоснительно, а вы, русские, не обращаете на них внимания — и живете сравнительно свободно. Впоследствии оказалось, что этот знакомый со столь смелыми речами был агентом штази, которое к 1980 г. имело 97 тыс. штатных сотрудников и 120 тыс. информаторов — это всего на 16 млн человек населения республики, тогда как гестапо имело 32 тыс. человек, чтобы шпионить за 80 млн населения (с. 30).

Я думаю, что разница между Беренсом и Кобленцом в оценках воздействия режима на археологию в ГДР объясняется тем, что первый составлял свое мнение, когда режим еще был живой и действующий, а второй — после его падения, когда восточногерманские археологи, вычищенные по идеологическим основаниям из своих рабочих мест, оказались на свободе, но без работы, замещенные большей частью их западными коллегами. У самого Кобленца его солидная директорская пенсия была срезана — он ведь был директором при коммунистическом режиме.

Это впечатление усиливается при чтении статьи Якобса о немецком Воссоединении. Я был в Западном и Восточном Берлине как раз в период воссоединения и помню ликование восточных немцев. Они ожидали, что разом на них распространятся блага, которыми пользовались западные немцы — высокие зарплаты, обилие товаров и свобода передвижения и коммуникаций. Однако западные коллеги отнеслись к восточногерманским археологам как к прислужникам тоталитарного режима и повторили весьма точно сценарий денацификации, отработанный на археологах-нацистах. Многие восточногерманские археологические учреждения (в том числе Академия наук и институт археологии Берлинского университета Гумбольдта) были распущены, а в сохранившиеся пришли западнонемецкие управляющие и масса западных коллег

на освободившиеся места. «Весси» использовали ситуацию для того, чтобы умножить рабочие места для себя. Доктора-«осси» пошли водителями такси и мелкими предпринимателями («починка электронных игрушек»).

Уровень университетского образования на Востоке не во всем уступал Западу. Соотношение преподавателей к студентам на востоке было 1:5, тогда как на Западе — 1: 22 (с. 344). Якобс поднимает вопрос и об утрате восточногерманской марксистской традиции исследования в то самое время, когда традиция теоретических исследований на Западе Германии захирела и марксистский подход популярен у американцев и англичан.

Моральное превосходство западных археологов оказывается под вопросом. Полюса частенько совпадали. Археологам старшего возраста памятен спор западногерманского археолога Иоахима Вернера с восточногерманским Отто об идеологии в археологии — о том, что Вернер называл тогда «журнализмом». Я хорошо помню Вернера, которого у нас воспринимали не только как авторитетного археолога, но и как воителя за демократические идеалы против тоталитарных идеологов. Но Хэрке видит в обоих ученых оппортунистов, принявших идеи победителей — тех, кто оказался победителем в их регионе. А прежде оба придерживались других взглядов и другой позиции (с. 28). По схожим поводам Хэрке честно задает себе сакраментальный вопрос: а как бы я вел себя, окажись я в таком положении? Он жил тогда у самой границы, которая вскоре разделила две Германии. Мог бы оказаться и на другой стороне... (с.31).

Статья Кинахана о немецких исследованиях в Намибии, помещенная в разделе о международных перспективах, производит странное впечатление. Автор заведомо решил для себя, что наскальные изображения в Намибии были сделаны бушменами, и все исследования расценивает с точки зрения того, насколько они соответствуют этому «факту». Если подтверждают его, то это объективные исследования, если не подтверждают или выражают сомнения, — это сказываются расистские предрассудки. При самых благих намерениях автора такой подход может служить только примером внедрения идеологии в археологию. Ведь это не обязательно должна быть расистская идеология — может быть и антирасистская.

Голландец Блёмерс делится с немецкими археологами впечатлениями доброзелательного «соседа» о немецкой традиции, нацеленной на стабильность, на избегание риска, на осторожность выводов. Он считает, что сама эта позиция сопряжена с риском утраты «добавочной ценности теорий».

Сборник замыкает статья Беттины Арнольд. Положение Арнольд схоже с положением Хэрке: она немка, прожившая свою сознательную жизнь в Америке и работающая в американской археологии. Арнольд отыскивает в американской

археологии параллели с немецкой, но делает это, на мой взгляд, несколько искусственно. Эггерс действительно предвосхитил обращение Бинфорда и Шиффера к анализу источников, но сравнивать его с Уолтером Тэйлором представляется мне натяжкой. Американские проблемы типа запрета на раскопки туземных могил не имеют массовых параллелей в европейской археологии (хотя имеют в австралийской). Больше сходств можно найти в истории — «отцы-основатели» американской археологии Макс Уле, Боас, Крёбер происходят из Германии и Австрии, и они перенесли в США много немецких археологических понятий и принципов. Американский партикуляризм Боаса чрезвычайно родственен немецкому эмпиризму. Было бы интереснее рассмотреть, как из схожих предпосылок на новой почве выросли совершенно иные традиции и чем эти новые традиции обогатили американскую археологию сравнительно с немецкой. И действительно ли обогатили — это ведь поныне отрицается многими.

В целом сборник представляет собой ценный вклад в изучение новейшей истории и современного положения немецкой археологии, а также в обсуждение злободневного вопроса о соотношении политики, идеологии и науки — археологии.

III. Этногенез

В связи со сменой идеологических ориентаций советского режима в военное и послевоенное время этногенез, долго у нас игнорировавшийся, стал основной проблемой советской археологии. Она волновала как патриотически и шовинистически настроенную часть публики, так и противников таких взглядов. К вопросам происхождения народов влекла и простая любознательность, подогреваемая общим вниманием к «корням», «почве», «первоосновам», «предкам». Происхождение народов — грубое первое приближение к пониманию темы — постепенно сдвигалось в сторону трактовки понятия этногенеза как этнической истории.

Из-за политической подпитки этнической проблематики в послевоенном Советском Союзе проблемы этногенеза разрабатывались в советской науке более интенсивно, чем где-бы то ни было, и с опережением. На Западе к этим проблемам обратились на несколько десятилетий позже. Уже 6-й том Материалов и Исследований по Археологии СССР, вышедший в 1941 г., назывался «Этногенез восточных славян». Новоназначенный директор Института истории материальной культуры историк А. Д. Удальцов в 1944 г. в Академии наук выступил с докладом «Теоретические основы этногенетических исследований», а прежний директор М. И. Артамонов в 1945 г. прочел доклад «Археологические теории происхождения индоевропейцев», напечатанный в 1947 г. в Вестнике Ленинградского университета. В 1949 г. он уже опубликовал статью «К вопросу об этногенезе в советской археологии». В том же году вышла статья этнографа С. А. Токарева «К постановке проблем этногенеза». В 1951 г. он вместе с Н. Н. Чебоксаровым поместили в «Советской Этнографии» статью «Методология этногенетических исследований на материале этнографии». Методологическим декларациям соответствовала обширная практика конкретных исследований.

Это время (послевоенные пять лет), когда я был студентом. Это статьи, которые я читал как последнее слово науки, которыми зачитывался и которые сравнивал и старательно продумывал. М. И. Артамонов был руководителем моих курсовых работ. Советские работы по этногенезу продолжали выходить и позже (Рогинский 1969; Окладников 1973; Алексеев 1979; 1986; 1989; Итс 1982; и др.). К ним присоединялись работы ученых из социалистических стран «народной демократии» (Тодоров 1949; Hensel 1975; Sellnow 1977; и др.).

Поскольку я по семейному воспитанию вырос в русской культуре и в стихии русского языка, я, хотя и признавал себя евреем по происхождению, но ощущал себя, как и значительную часть российских евреев, частью русского народа. Формальный очаг в Биробиджане был мне совершенно чужд и не нужен, а возобновленный очаг в Израиле — я понимал, конечно, его историческую важность, но влекло меня туда не больше, чем в Биробиджан. Мне были близки польская культура, вообще европейская цивилизация, а ближневосточные корни были интересны и симпатичны, но как нечто далекое и экзотическое. Поэтому мои научные интересы концентрировались на происхождении славян и вообще индоевропейцев. Это были для меня корни моего языка и моей культуры.

В западной науке работы по конкретным проблемам происхождения индоевропейцев и их отдельных ветвей велись с середины XIX века. Косинна, с конца XIX века поставивший археологию на службу этим задачам и политическим целям германского национализма, дискредитировал саму проблематику. Поэтому как раз в послевоенное время этим долго почти никто не занимался. Первые проблески интереса (возможно, под влиянием Восточной Германии) можно видеть в работах критиков Косинны — Гахмана, Коссака, Крюгера о германцах (например, Krüger 1966). Но развернулись теоретические работы по осмыслению этногенеза с середины 80-х (Studien 1985; Bernhard und Kander-Pálsson 1986; Roosens 1989; Typen der Ethnogenese 1990; и др.).

Коль скоро советские работы 50–70-х лет были ведущими в мире по этой проблематике, а я участвовал в развитии советской археологии с середины 50-х, мои тогдашние работы по этногенезу представляют некоторый исторический интерес. А так как они не совпадают с остальными по выводам и методике и преемственно связаны с моими нынешними работами, представляя их исходные позиции и основания, то я и решил их перепечатать в этом сборнике.

1. К постановке вопроса о происхождении славян

[Происхождение славян влекло меня с самого начала моей научной деятельности. Моя первая печатная работа (больше полувека тому назад) называлась «Вопросы происхождения славян...» (Клейн 1955) и представляла собой рецензию на киевский сборник 1953 г. Поскольку в ней подвергались фактологической критике работы видных представителей автохтонистской концепции происхождения славян, эта моя работа вызвала в 50-е годы серьезную дискуссию в украинской археологии.]

В последующем я всё интенсивнее входил в теоретическую археологию, а из конкретных материалов меня занимали более древние культуры — неолит (трипольская культура), бронзовый век (катакомбная) и скифы. То есть от происхождения славян я двигался вглубь к происхождению разных ветвей индоевропейцев. В 1960-е годы я отнесся критически к археологическим работам А. Я. Брюсова о происхождении и миграциях индоевропейцев, разбирая эти работы в своих лекциях, и в 1974 г. опубликовал в немецком журнале большую работу с критическим анализом методологии его вдохновителя — Косинны. Мои взгляды на происхождение славян обретали теоретико-методологическую основу.

Именно в конце 60-х, когда я работал над диссертацией по катакомбной культуре и продумывал свои возражения против трактовок

Брюсова и Косинны, я еще раз вернулся к проблеме происхождения славян и дал в юбилейный факультетский сборник «Проблемы отечественной и всеобщей истории» свою статью с методологическим анализом этой проблемы (Клейн 1969).]

Орлов... пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал от историка не истории, а чего-то другого.

(А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 11. М., 1949, стр. 57)

[1. Состояние проблемы.] Еще совсем недавно вопрос о происхождении славян был такой же дежурной темой популярных лекций, как вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе. Ныне оба вопроса исчезли из репертуара лекториев. Но один исчез потому, что недалеко уже его простое и окончательное решение (глупо же выдвигать рискованные гипотезы в предвидении близкого полета на Марс), а второй пришлось снять оттого, что гипотезы, которые считались солидными, рушатся на глазах авторов, а решение, казавшееся близким и почти готовым, отодвинулось куда-то в смутную и неопределенную даль (ср. Рыбаков 1962:3; Третьяков 1962; Артамонов 1967: 62, 69).

Однако такого результата и следовало ожидать, потому что из двух названных вопросов этногенетический крайне невыгодно отличается от астрономического самой постановкой: в то время как в астрономическом вопросе все элементы были четко определены (известно, что понимается под жизнью и что такое Марс) и сугубо ограничена искомая связь между ними, так что оставалось только разработать средства достижения и проверки этого четко ограниченного места, вопрос этногенетический поставлен в самой что ни на есть неясной и расплывчатой форме.

Что значит «происхождение», «этногенез»? Что имеется в виду под «славянами», «славянством»? Что, собственно, конкретно нужно выяснить? Ведь от уточнения этих вопросов зависит правильный выбор методов и материалов для решения.

[2. Происхождение.] В разные периоды исследования этой проблемы ученые по-разному конкретизировали основную задачу. В период, когда эту

проблему решали в основном на письменных источниках, для занимавшихся ею историков задача состояла в том, чтобы отыскать предков славян среди «знатных народов» древности — скифов, иллирийцев и пр. На весь XIX в. главенство в решении этой проблемы перешло к лингвистам, а для них вначале суть дела заключалась в том, чтобы выяснить причины родства славянских языков, построить их родословное древо, восстановить предковые формы. Во второй половине XIX в., сопоставляя эти предковые формы с географической средой и прослеживая реликтовую топонимику, старались определить древнейшие границы славянской земли (прародины). В первой половине XX в. проблемой почти безраздельно завладели археологи, которые к этой традиционной задаче прибавили хронологический интерес: как далеко в глубь времен уходят эти границы? Скажем, для советских археологов в середине века суть дела сводилась к тому, чтобы выяснить, как давно заселили славяне территорию Среднего Поднепровья и откуда они пришли.

В широком обиходе у историков «происхождение народа» понимается обычно наподобие происхождения отдельного человека: есть родители (предки), место рождения и первоначального обитания (исконная родина), а также время рождения. Последнее в концепции, формировавшейся под воздействием «яфетического учения» академика Н. Я. Марра о языке, понималось как исторический момент, в который из различных племенных групп внезапно возникло качественно совершенно новое образование, новый этнос, не существовавший прежде, с новым языком.

Но уже тогда В. В. Мавродин (1945: 15) выступал против такого ограничения.

«Когда мы ставим вопрос о происхождении славян,— писал он в 1945 г., — мы, собственно говоря, допускаем ошибку, так как подобного рода постановка проблемы недопустима. Славянство в своих *ab ovo* корнях так же древне, как и человечество, и, реставрируя гипотетических предков славян, мы дойдем до неандертальца». Однако такая идея противоречила концепции стадильности. В те времена исследователь должен был сделать существенную оговорку, «поэтому на вопрос, когда же складывалось славянство, мы должны прежде всего ответить вопросом: а о какой стадии формирования славянства будет идти речь?»

Речь шла, конечно, о последней: в предшествующие периоды славянство попросту еще не было славянством с точки зрения марровской стадильности.

Крах «яфетического учения» повлек за собой отказ от упрощенных представлений о стадийных трансформациях. В. В. Мавродин (1956) снова поставил под сомнение правомерность самих терминов «происхождение славян», «этногенез славян», теперь уже в бескомпромиссной форме:

«Нельзя ограничить разыскания о древнейших судьбах славян каким-то определенным периодом, объявив его временем “происхождения славян”, “этногенеза славян”, как это имело место в наших исследованиях... Народ, поскольку речь идет не о нации, а о человеческом коллективе, состоящем из отдельных людей, имеющих своих предков, о категориях этнических, вечен и “родиться” не может» (1956: 27).

Таким образом, задача определения родителей была заменена задачей выяснения всей родословной.

«Эту мысль, конечно, нельзя утрировать», — добавлял В. В. Мавродин, напоминая о времени, когда не было славянских языков. Но для него это не значит, что снимается отказ от ограничения: ведь «переход языка из одного качества в другое происходит крайне медленно и без резких граней, взрывов и переРождений» (1956: прим. 1). Поскольку же проследить всю родословную — задача пока нереальная, границы исследования приобретают условный характер: «...вопрос о “происхождении славян», об „этногенезе славян» должен быть заменен вопросом о том, каким наиболее ранним периодом можно датировать известные нам на данном этапе развития науки о языке древнейшие сведения о славянской речи» (1956: 28).

Если, однако, подходить ко всякому народу, этносу как к исторической категории, то надо бы несколько уточнить формулировки. Народ долговечен, но не вечен. Ряд народов исчез без следа — «погибоша, аки обре». Несомненно, было и намного позже неандертальцев время, когда славян не существовало не только по имени — когда не было и славянской речи, когда далекие предки славян говорили на языке, которого никто из нынешних славян не понял бы, как не понимает рядовой француз латыни. Даже «Слово о полку Игореве» приходится переводить на современный русский язык. Был ли процесс изменения речи настолько постепенным, что всякое отделение современного состояния от предшествующего окажется сугубо условным? Даже в этом случае, далеко не доказанном, мы вправе были бы отличать предковое состояние от современного и говорить о возникновении новой речи, хотя бы «момент» превращения и был неуловим. Когда ребенок превращается

в юношу, а тот — в старика? Нет таких моментов, и все же мы четко отличаем юношу и от ребенка и от старика.

Если так, то переориентировка исследователя с «родителей» на «родословную» народа лишь увеличивает объем задачи, не изменяя ее характера. Прежняя задача превращается в часть новой: ведь «родители» входят в «родословную».

И все же, уподобляя происхождение народа происхождению отдельного человека, мы и впрямь непозволительно упрощаем вопрос. А сами выражения «этногенез», «происхождение народа» действительно неудачны, если рассматривать их как нечто большее, чем предварительное и приблизительное заглавие, — как точное определение сути вопроса. Такое уподобление и такие выражения были бы правомерны и в этом плане, если бы процесс этнического развития (этническая история) был бы и в самом деле подобен генеалогии какой-то семьи, то есть если бы он сводился к простой сегментации племен и народностей и их расселению, если бы все богатство культуры того или иного народа заключалось бы в том, что он получил по наследству от кровных предков и что сам сумел из этого первоначального ядра развить и усовершенствовать (впрочем, этим дело и у отдельной семьи не всегда ограничивалось).

Но этническое развитие шло не такими простыми прямолинейными путями, а гораздо более сложными. Огромное место в этнической истории занимали общение и взаимодействие племен и народностей, процессы диффузии, различные влияния, заимствования и ассимиляции. И, что особенно важно отметить, эти процессы в одно и то же время могли протекать по-разному в разных сферах жизни общества: одно дело — в языке, другое — в производстве, третье — в искусстве или религии, четвертое — в быту или политике и т. д. Вполне может оказаться, что основа языка определенного народа происходит от одних племен (причем не обязательно от тех, чей физический тип унаследован главной массой народа), важные части материальной культуры и некоторые языковые формы — от других, иные — от третьих, искусство, религия, политические традиции и прочее — все от разных предков, из разных источников, с разных сторон. Могут, конечно, обнаружиться и совпадения, даже наверняка какие-то совпадения найдутся, но сколько, какие и в чем — это невозможно предопределить. Следовательно, установив происхождение определенной археологической культуры, мы вовсе не решим автоматически вопрос о происхождении языка, на котором (или языков, на которых) говорило население этой культуры.

Вклад переселенцев с востока в материальную культуру болгарского и венгерского народов составляет примерно одинаковые доли, но в языке

болгарского народа от волжских булгар осталось всего три слова (включая самоназвание), а венгры говорят на языке, принесенном с Урала. Римское культурное влияние охватило разные народы с одинаковой силой, везде — от Испании до Подунавья и Поднепровья — сложились схожие провинциально-римские культуры, но в Румынии, Франции и Испании после этого остались романские языки, происходящие от вульгарной латыни, а в Британии сохранился язык местного населения. Французы унаследовали самоназвание у германского племени франков, язык — у римлян, физический тип — у кельтов, а материальную культуру — из разных источников. На Кавказе издавна распространился ряд общих форм материальной культуры, складываясь в культурное единство, но это не сопровождалось распространением одного языка или хотя бы языков одной семьи. Язык осетин — иранский, в материальной культуре преобладают кавказские традиции, антропологический облик кавказский, и т. д., и т. п. (см. также Монгайт 1967).

Поэтому, если смотреть с точки зрения специальной методологии или, лучше сказать, исследовательской техники, то нет вопроса о происхождении конкретного народа, а есть группа родственных, связанных между собой вопросов — это вопросы: о происхождении языка этого народа, о происхождении его материальной культуры (производственной и бытовой), о происхождении его духовной культуры — фольклора, искусства, религии, о происхождении его социальных и политических традиций, наконец, о географическом и расовом происхождении этого народа. Каждый из этих вопросов, несмотря на связь со смежными, имеет свою специфику и может дать иное, чем те, решение. Н. Я. Марр не признавал возможности разных ответов на вопросы о происхождении разных сфер жизни и культуры одного народа. «Могут ли, — риторически спрашивал он (1935: 310), — расходиться изыскания ученых по доисторическим языковым древностям и доисторическим вещественным древностям, если они идут методически правильно?» Могут.

Так обстоит дело с происхождением народа. В еще большей мере это должно относиться к происхождению более обширных общностей, охватывающих целые группы народов. Уже по одной этой причине вопрос о происхождении славян должен был бы распаться на ряд вопросов, в большой мере самостоятельных — о происхождении славянской языковой общности, о происхождении славянской материальной культуры и отдельных ее элементов, о происхождении фольклорного богатства славянских народов, славянского народного искусства, о географическом и физическом происхождении самих славян.

[3. Славяне.] Но как только мы произведем такую разбивку, тотчас возникнут сомнения в правомерности самой постановки этих вопросов. А су-

существует ли в реальности славянский расовый тип? Существуют ли особая общеславянская материальная культура, особое славянское искусство, общность славянского фольклора и т. п.? Иными словами, что такое «славяне», «славянство»?

Давно известно, что общеславянского расового типа нет. Этот факт подтвержден антропологами (Трофимова 1948; Дебец 1948; Дебец и др. 1951; Седов 1952; Алексеева 1956; Бунак 1962; Попов 1959; Постникова 1967 и др.), хотя не нужно быть антропологом, чтобы видеть, что болгары и сербы гораздо более похожи на румын, итальянцев и даже кавказцев, чем на белорусов и северных великорусов, которые в свою очередь более близки литовцам и финнам. Нет и единой материальной культуры славянства, объединяющей все славянские народы и отделяющей их от других народов (Нидерле 1909; Zelenin 1927; Moszyński 1929–1934; Толстов 1930). Нет сейчас и одной для всех славян религии: в России и Болгарии распространялось православие, поляки — католики, в Чехословакии много протестантов и т. д. Славян выделяет из других народов Европы и связывает в одну группу только (или почти только) языковая общность (см. Виноградов и Кузнецов 1951; Петрусь 1951).

Это ставилось под сомнение Т. Лером-Сплавинским. Он отстаивал существование «далеко зашедшей общности в культурном развитии между славянскими народами», которая все еще «играет немалую роль в культурной жизни всех славян». Чем, однако, доказывается это положение?

«Другие народы, посторонние, совершенно извне отдают себе отчет об этом факте гораздо лучше нас самих: поэтому также встречается у них как в прошлом, так и сейчас трактовка всех славянских народов как какого-то единства, то ли в культурном смысле, то ли в политическом, обозначение их общим названием — славян, Slawen, les Slaves, the Slavs — хоть для народов, говорящих на романских или германских языках, никто не применяет общего названия вне области языкознания» (Lehr-Splawiński 1954: 9).

Но, конечно же, в этой «трактовке», ничем не подтверждающей культурную общность, отражаются современные политические связи и представления, обоснованием которых служит все то же языковое родство, и в той мере, в какой подобные политические идеи касались других народов, возникали и в отношении тех народов аналогичные «трактовки»: мало ли говорилось совсем недавно о «культуртрегерской миссии германцев»; разве мы не слышим ежедневно

об «англосаксонском мире»? Романские народы этой трактовке подвержены меньше ввиду их сильной территориальной расчлененности, затруднявшей выдвигание идей политического объединения (слишком далеки испанцы от румын). Да и сам Т. Лер-Сплавинский, переходя к фактической разработке своего положения, ограничивается все тем же языковым родством славян.

Не будь языкового родства славян, славянской языковой общности, вопрос о происхождении славян вообще не появился бы, его бы просто не было — как нет, скажем, вопроса о происхождении балканцев или о происхождении кавказцев.

Следовательно, вопрос о происхождении славян в основе сводится к вопросу о происхождении славянской языковой общности: как получилось, что славянские народы говорят на родственных языках, откуда это родство? Только в такой постановке вопрос имеет реальный, конкретный смысл. Это значит, что вопрос о происхождении славян — в основном вопрос лингвистический и должен решаться прежде всего средствами языкознания (ср. Арциховский 1946; Попов 1954; Филин 1962: 63–75). В. В. Мавродин в цитированной выше статье (1956: 25) также высказался за такое, понимание вопроса, «о мотивировал это ссылкой на то, что язык — основной признак этноса, то есть на принцип, оспариваемый другими авторами (Захарук 1964: 14–15; Гумилев 1967). Поддерживая здесь эту мысль В. В. Мавродина, я предлагаю иную аргументацию.

[4. Выбор концепции.] В языкознании принципиально (абстрактно) возможны и на деле выдвигались различные ответы на этот вопрос — марристская концепция сплава и трансформации первоначально разнородных и инородных языков есть один из таких ответов. Каждый из таких ответов влечет за собой особую, отличную от других конкретизацию дальнейших шагов исследования.

Однако поскольку на современном уровне развития лингвистики почти безраздельным авторитетом и признанием пользуется теория праязыка, есть смысл рассмотреть лишь то направление исследований, которое вытекает из этой теории.

С признанием предложенного сужения всей проблемы становится допустимой и даже требуется дальнейшая детализация термина «происхождение». Что значит определить происхождение славянской языковой общности на базе теории праязыка? Это значит, прежде всего, реконструировать по мере возможности то первоначальное языковое образование (славянский праязык), из которого выделились славянские языки, выяснить условия его существования и установить, когда, каким образом и по каким причинам произошло это разделение, что в свою очередь требует изучения роли, помимо праязыка, также и других факторов — языковых субстратов, примесей, влияний и т. п.

Строго говоря, достигнув этого, задачу можно считать решенной, а вопрос исчерпанным: мы выяснили, как получилось, что славянские народы говорят на родственных языках.

Но при такой постановке остается за пределами рассмотрения другая сторона дела: как сложились отличия этой семьи языков от прочих (ведь то, что их связывает между собой, одновременно в какой-то части отличает их от других). Поэтому теоретически оправдана и более широкая постановка вопроса, при которой все рассмотренное — это лишь первый этап исследования. Второй заключается в том, чтобы, продвигаясь в глубь веков, проследить судьбу этого первоначального языкового образования (славянского праязыка) вплоть до момента его появления на свет, то есть до его выделения из более обширного языкового образования — балтославянского праязыка или даже славянобалтогерманского праязыка (ср. Lehr-Splawiński 1954: 53). «Родословная» славянства уходит еще дальше, но исследование вопроса «о происхождении славян» на этом во всяком случае кончается, так как далее этот вопрос уже смыкается с вопросом «о происхождении индоевропейцев» и перерастает в него.

[5. Критика ретроспективного метода.] Археология в решении вопросов этногенеза слепа и может применить свою большую силу лишь с помощью поводыря — лингвистики. Признавая за археологией ведущую роль в исследовании этногенеза, археологи неминуемо должны были ухватиться за *ретроспективный* метод исследования: это на данном поприще единственный путь, по которому археология может продвигаться без поводыря. Но далеко ли она пойдет, не упав?

Ретроспективный метод заключается в поэтапном прослеживании истоков культурных традиций, в выявлении генетических корней археологических культур, — так сказать, по цепочке. От культур достоверно славянских, культур раннеисторического славянства, хорошо определимых по письменным источникам, надлежит продвигаться в глубь веков, к тем культурам, которые уже не освещены письменностью, но генетически связаны с теми по археологическим данным, являясь, таким образом, предковыми, исходными, от них — еще на ступень глубже и т. д. Имеется в виду, что вытаскивая из тьмы веков цепочку культурной преемственности, мы тем самым вытаскиваем и цепочку языковой эволюции. Этот метод, мельком намеченный уже Монтелиусом (Montelius 1885/1888) и декларированный в работах Косинны (Kosinna 1896: 8, 13; 1911, 8, 17), был признан главным и даже единственным в работах наших археологов: «...единственный удовлетворительный метод, который может быть применим здесь, — это метод ретроспективный — от известного к неизвестному», — отметил Н. Я. Мерперт (1961: 3). «Единственно надежный путь ретроспективного

изучения истории славян, суть которого заключается в переходе от известного к неизвестному», характеризует этот метод М. И. Артамонов (1976: 32), выражая почти общее мнение археологов (см., например, Удальцов 1949; 1953; Ляпушкин 1968: 26).

Наиболее категорично высказался К.-Г. Отто:

«Этническая интерпретация тесно связана с ретроспективным методом исследования. Правомерность для археологии освещать историю народов или племен и племенных групп таким путем ретроспективно — неоспорима. Очевидно, сегодня нет больше никаких серьезных возражений против этого; это значило бы отрицать по отсталости историческое развитие вообще или оспаривать участие археологии в реконструкции древнейшей истории...» (Otto 1953: 2–3).

Но, во-первых, выше уже было отмечено, что преемственность в материальной культуре вовсе не всегда, не обязательно и не однозначно совпадает с преемственностью в языке. Во-вторых, оказалось, что часто корни той или иной археологической культуры расходятся в разные стороны, связывая ее с разными археологическими культурами предшествующей поры; какому из этих корней отдать предпочтение в увязке с генеалогией языка — и вовсе неясно. Таким образом, чуть ли не на каждом этапе пути приходится останавливаться на развилке дорог и гадать, какую из них выбрать для дальнейшего продвижения. Шестнадцать лет тому назад я охарактеризовал этот метод исследования как «движение вслепую, наугад» (Клейн 1955: 271 — статья была сдана в редакцию в 1953 г.). За истекшее время это стало еще более очевидным, но приверженность археологов к этому методу почти не убывает (недавно, однако с критикой ретроспективного метода выступили также Л. Килян и А. Л. Монгайт — Kilian 1960; Монгайт 1967: 62, 67–68).

[6. В приложении к славянскому прошлому.] На заре собственной письменности и цивилизации (конец I тыс. н. э.) славянские народы обладали весьма схожей материальной культурой, распространение которой хорошо совпадает с указаниями многочисленных письменных источников о границах расселения славян этого времени (Арциховский 1946). Культура славян предшествующей поры (VIII–X вв.), представленная роменско-боршевскими и другими памятниками, уже по ареалу и все еще хорошо освещена письменными источниками, так что ее идентификация со славянами в общем

не представляет затруднений (Ляпушкин 1946). Спустившись еще на ступеньку ниже (VI–VIII вв.), мы находим на еще более суженном ареале культуру пражского типа, значительно слабее освещенную письменными источниками (скудные сведения византийцев и готов об антах и склавинах), но весьма полно связанную с роменско-боршевской культурой генетически по всем основным показателям культурного комплекса (Ляпушкин 1961; Артамонов 1967). На следующей ступеньке мы не находим ничего подходящего и не можем пока ступить ни шагу далее (Артамонов 1967; Ляпушкин 1968: 6–8).

Правда, многие культуры предшествующих периодов истории на этих и смежных землях нам известны и археологически даже неплохо изучены, но в которой из культур, непосредственно подстилающих культуру пражского типа, следует видеть предков славян или хотя бы основной источник возникновения пражского культурного комплекса — в черняховской, зарубинецкой, латенской или еще какой-нибудь — сказать невозможно. Неясно также; были ли в то время у славян одна культура, ограниченная сравнительно небольшой территорией, как считают П. С. Кузнецов (1952) и И. И. Ляпушкин (1961: 208), или несколько культур, как полагает П. Н. Третьяков (1962: 15–16).

Еще совсем недавно археологи строили (а некоторые и до сих пор строят) длинную цепь археологических культур, долженствующих продлить славянский этногенез в глубь веков на тех же землях, которые позже были славянскими. Для наших археологов необходимым звеном этой цепи считалась черняховская культура II–V вв. н. э.; она выводилась из зарубинецкой культуры II в. до н. э. — II в. н. э., та в свою очередь — из культуры оседлых племен Геродотовой Скифии и т. д. (у польских археологов цепь шла через пшеворскую культуру к лужицкой и дальше).

Ныне один из главных создателей этой цепочки П. Н. Третьяков уже не считает черняховскую культуру целиком славянской. «Трудно, — пишет он (1962: 9), — найти другую такую группу древностей, которая вызвала бы столько споров и, я бы сказал, принесла столько неприятностей археологам, как эта культура». (Отмечу, что неприятности приносила не культура, а метод ее включения в славянский этногенез.) П. Н. Третьяков, как и многие другие археологи, трактует теперь черняховскую культуру как многоэтническую (1962: 9–10), а М. И. Артамонов (1967: 48–49) добавляет к этому, что ее главными создателями были все-таки готы и другие германские племена и что она была полностью уничтожена гуннами.

У ряда археологов еще остаются надежды сохранить зарубинецкую культуру в качестве опорного звена этой цепи, однако один из них, П. Н. Третьяков, признал, что старая концепция, включавшая зарубинецкую культуру в славянский

этногенез, рухнула. «Мы, археологи-слависты, — пишет он (1966: 119), — в свое время тяжело переживали крушение гипотезы о зарубинецко-черняховско-славянских связях, “оказавшись у разбитого корыта»».

Попытки П. Н. Третьякова и других археологов построить новую цепочку от зарубинецкой культуры к культуре исторических славян — не в Среднем Поднепровье, а севернее остаются спорными и не имеющими достаточного обоснования в материале (Седов 1967; Артамонов 1967: 52–55; Ляпушкин 1968: 8–9, прим. 22).

Связь зарубинецкой культуры со скифскими памятниками и вовсе слаба (Артамонов 1967: 45). Что же касается популярного соображения о наличии предков славян среди оседлых племен Скифии, то оно опровергается простым указанием Геродота на то, что у всех скифских племен был один язык, а лингвистами установлено, что это был язык иранский (см. Клейн 1955: 263–266).

Таким образом, все три звена сломались.

Причины всех этих неудач с решением проблемы происхождения славян археологическими средствами многие археологи видят в недостаточной разработанности фактологической базы, в неупорядоченности теоретических понятий и терминологии, в пагубном воздействии предвзятых схем, связанных с «наивно патриотическими» эмоциями (Третьяков 1963: 3–4; Артамонов 1967: 30–31, 38, 62–63, 69). Стоит лишь преодолеть эти препятствия — и археология уверенно двинется дальше ретроспективным методом в глубь веков к предкам славян. Между тем рассмотренный опыт исследований как раз показывает, что не годится сам метод, связанный с нечеткой постановкой проблемы происхождения славян, с переоценкой роли археологии в решении этой проблемы и с неправильным пониманием «кооперации» археологии с лингвистикой.

[7. Возможности лингвистики.] Впрочем, переоценка роли археологии в этом вопросе означает не только переоценку возможностей лингвистики, но, как это ни парадоксально, также недооценку возможностей самой археологии. Лингвистика обладает целым рядом самостоятельных возможностей для решения поставленной задачи:

1) изучение связей между славянскими языками позволяет реконструировать генеалогическое древо этих языков, то есть характер и последовательность разделения праязыка (Бернштейн 1961; Филин 1962);

2) изучение степени разобщенности славянских языков (размах расхождения) сравнительно с другими дает некоторое представление о длительности раздельного существования, хотя точность глоттохронологии явно преувеличена ее энтузиастами (Кузнецов 1952; Bergsland and Vogt 1962);

3) определение места славянской семьи в индоевропейской системе очерчивает круг ближайших родственников и тем самым в какой-то мере очаг происхождения (Георгиев 1941: 46–47; Kofinek 1948; Эндзелин 1952);

4) изучение фонетических, грамматических и словарных особенностей отдельных славянских языков и диалектов в сравнении с языками других систем вскрывает субстраты, тем самым намечая районы расселения и сужая поиски первоначального очага (Lehr-Splawiński 1946);

5) изучение фонетических, грамматических и словарных связей всех славянских языков с отдельными языками других систем намечает этнические вклады (включения) одних в другие или каких-то третьих в те и другие (Мавродин 1956: 40–41);

6) изучение словарных заимствований, их состава и относительной хронологии позволяет наметить древнейшие контакты славянства с соседями и определить характер и очередность этих контактов, и тем самым в какой-то мере пути расселения (Vasmer 1913 и др. работы; Мартынов 1962);

7) анализ состава общеславянского словаря (Будилович 1887; Трубачев 1968) помогает обрисовать материальные, в частности географические (Берг 1948; Меркулова 1965; Budziszewska 1965) и культурные (Moszyński 1957; Трубачев 1959; 1960; 1966) условия существования праславянской народности.

Это уже многое. Но лингвистическим данным явно недостает пространственной, хронологической и вещественной определенности: территориальная локализация расплывчата, хронология лишена абсолютных значений и даже в относительных — приблизительна. А содержание слов за тысячи лет могло во многом измениться, и нет уверенности в том, что древний их смысл мы понимаем правильно и что точно представляем обозначаемые ими реалии (ср. Трубачев 1966). Поэтому привлечение на помощь смежных наук, способных осветить именно эти темные стороны, есть насущная необходимость.

[8. Возможности смежных наук (в том числе археологии).] Большей частью эти вспомогательные исследования способны поддержать только седьмое из перечисленных направлений лингвистических изысканий: палеогеографические, палеоботанические, палеозоологические, палеоклиматические разработки должны хронологически прокорректировать устанавливаемые лингвистикой данные об условиях существования — без такой коррекции возможны существенные ошибки. Так, отсутствие в праславянском словаре названия бука побуждало исследователей помещать прародину к востоку от ареала современного распространения бука, но палеоботанические исследования показали, что в древности ареал бука был много уже и край его проходил гораздо западнее (Kostrzewski 1946; Lehr-Splawiński 1954: 57–58).

Топонимика еще недавно мыслилась примыкающей к этому же, седьмому, направлению лингвистических исследований: область чисто славянских гидронимов трактовалась как издревле славянская прародина. Теперь специалисты пришли к выводу, что такая «чистота» говорит лишь о характере смены населения (внезапность и полнота вытеснения), а не о древности заселения (Мартынов 1964Ж 85–86). Вместе с констатацией ареалов иноязычных местных названий это относится к изучению субстратно-суперстратных отношений, так что соответствующее, шестое, направление собственно лингвистических изысканий оказывается единственным участком стыка с топонимикой.

Возможности сотрудничества лингвистики с археологией наиболее широки. Несомненно, археология так же как палеогеография, палеобиология и т. п., способна уточнить и конкретизировать выводы по общеславянскому словарному составу, подставить под него реальную общественную и культурную основу. Эта связь с седьмым направлением лингвистических изысканий означает поиск такой археологической культуры или таких культур, которые наиболее соответствовали бы характеристикам, определенным по словарному составу, с таким именно типом хозяйства, общественной структурой, особенностями быта и т. п.

Археология, далее, изучая реальные процессы культурных: связей — диффузию, влияния, торговые сношения и т. п., — строит канву для хронологической, пространственной и культурной конкретизации тех контактов, которые устанавливаются шестым направлением лингвистических изысканий. Выявляя археологическими средствами автохтонное развитие, миграции, культурные ассимиляции и скрещивания, мы поддерживаем третье, четвертое и пятое направления лингвистических изысканий и создаем каркас для реконструкции распада и расселения праславянской общности.

Примыкающие к двум первым направлениям лингвистических изысканий попытки ретроспективно проследить этот процесс археологически (двигаясь от культур исторически достоверных славянских народов вглубь веков по культурам), правомочны лишь как частный прием археологических разработок, — прием не только не универсальный, но и весьма несовершенный, недостоверный, рискованный. Это своего рода прикидка, способная приобрести значимость лишь при многообразной проверке и поддержке каждой детали другими приемами. Более надежны и перспективны поиски соответствий тех или иных событий и перемен, устанавливаемых археологически, тем событиям, которые отложились в субстратно-суперстратной стратиграфии языков, в языковых контактах и т. п. В исследовании проблемы происхождения индоевропейцев именно таким» путем шел один из первых противников Косинны Отто

Шрадер (см. Schrader 1907; 1911). Те этнические идентификации, которые в статике не удаются из-за возможного несовпадения границ этноса и археологической культуры и многозначности объяснений археологией культурной общности, с гораздо большей достоверностью выявляются в динамике, ибо связи и движения не имеют многозначного смысла — либо они существуют, либо нет.

Таким образом, археология способна помочь лингвистике на всех направлениях лингвистических исследований проблемы этногенеза, причем на многих направлениях гораздо более плодотворно, чем на том узком участке, к которому ретроспективный метод исследования культур приложим.]

2. Этногенез и археология: новый подход

[Это был мой доклад на Ереванском симпозиуме 1978 года «Методологические проблемы исследования этнических культур. К этому времени моя собственная методологическая концепция этногенеза была уже сформирована, сформулирована и даже напечатана по-немецки (в 1976 г.). Я воспользовался возможностью публикации в Ереване, чтобы хотя бы сжато изложить свои основные положения по-русски.]

Ввиду недостатка места нет возможности раскрыть здесь тему подробно, однако по ряду ее вопросов автором опубликованы отдельные статьи, а данная работа должна связать их воедино, служа как бы каркасом.

1. Выверка предпосылок. Под этногенезом (происхождением народа) понимается совокупность сведений о том, когда, где и из каких компонентов сложился (или из какой среды выделился) [древний] этнос, который можно идентифицировать с тем или иным современным этносом или связать с ним прямой преемственностью; когда и как этот последний появился на своей нынешней территории (Клейн 1969). Знать это необходимо не для обоснования «исторических прав» того или иного народа на землю, в принципе бездоказательных (Klejn 1974b: 19–20, 31–32), а для возможности безошибочно увязать разновременные явления, проследить реальные русла культурно-исторических процессов и «оживить» некоторые древние останки, опираясь на родственные им современные явления. Поэтому выяснение этногенеза — не частная

и не конъюктурно-политическая задача, а необходимый аспект исторических и археологических исследований, требующий непредвзятого изучения (Klejn 1977: 13–14).

При современном понимании этноса и законов этнического развития (Бромлей 1973; Klejn 1977: 29), выясняя происхождение народов, надо *по отдельности* ответить на вопросы о происхождении его населения (так сказать, живой силы), его языка и его культуры. Истоки и судьбы их (и даже частей каждого из них) могут быть разными. Ни один из этих компонентов не имеет исключительной сопряженности в судьбах с этническим самосознанием и этнонимом, хотя чаще с последними коррелирует язык, гораздо реже — материальная культура.

2. Камни преткновения. Это сильно затрудняет исследование ввиду односторонности и неполноты каждого из основных видов источников. Пока этнос представлялся постоянным, жестким сочетанием одних и тех же компонентов, можно было пробелы каждого из видов источников компенсировать сведениями из других видов, предполагая соответствия, параллелизм в смежных видах источников (*«смешанная аргументация»*, по терминологии археологов ФРГ, *«круговая порука»*, по выражению Д. А. Мачинского). На деле эта установка приводила к тому, что один источник превращался в ведущий, основной, а остальные оставались лишь подлаживать к нему.

Теперь эта возможность отпала, потребовалось обеспечить чистоту прослеживания каждого компонента вглубь веков. Значит, нужно независимо исследовать разные виды источников — каждый вид по отдельности — особой наукой: один — лингвистикой, другой — археологией, третий — антропологией и т. д. (*«регрессивная пурификация»*, по формулировке Р. Гахмана), а уж потом проводить синтез результатов (Eggers 1950; 1959; Nachmann e. al., 1962; Nachmann 1970a).

Археология, на которую еще недавно возлагались главные надежды в разработке этногенеза (ибо она обеспечивает перспективу времени), оказалась в особенно тяжелом положении. Во-первых, все ее понимание прошлого зиждется на принципе *актуализма* (применение современных, неархеологических закономерностей к прошлому), и в ней уже на исходном этапе исследования неизбежно привлечение посторонней, внеархеологической (этнографической, культурно-антропологической и др.) информации: описание находок в терминах культуры, первичная реконструкция сооружений и т. п.) (Moberg 1969: 159–166; Клейн 1973а). Во-вторых, культурно-исторический процесс предстает в археологии не связно развернутым в виде континуума, а *разорванным, блочным*, разбитым на дискретные куски (*«археологические культуры»*). —

Клейн 1970; 1975), между которыми исторические и генетические связи неизмеримо трудно установить. Это — «проклятый вопрос» археологии (Клейн 1975а; 1981). В-третьих, эти связи не только *поливариантны* (то есть могут быть восстановлены по-разному из-за неполноты сохранившихся материалов, но и *многолинейны* (каждая культура связана не с одной предшествующей, а со многими — Клейн 1962; 1968) и *многозначны* (каждая линия культурной преемственности или родства может по-разному сопрягаться с языковой и биологической преемственностью или родством).

Поэтому естественный, как казалось, способ выявления этногенеза — двигаться обратным путем поэтапно от культуры к культуре в глубь веков («*ретроспективный метод*») — оказался непригодным: неизвестно, которые археологические культуры совпадали с этносами, а главное — корней, истоков у каждой культуры много, и археология не в силах установить, с которым из них была сопряжена передача языка, этнического самосознания и этнонима (Клейн 1955; 1969).

Всё это побуждает критически отнестись к обоим упрощениям — и к популярной у нас до сих пор «смешанной аргументации», [то есть использованию аргументов из разных наук — увязок на разных стыках по разным критериям,] и к радикализму ряда западных археологов, абсолютизирующих идею «пурификации». Археология сама не в силах не только решать проблемы этногенеза, но и понять свои собственные материалы, осмыслить их связи и порядок. Конечно, необходимо предотвращать преждевременное подключение неархеологической информации (анalogии, параллели, современные стереотипы) к разбору каждого археологического контекста в отдельности. Но забота о «чистоте» исследования не должна отрезать доступ неархеологической информации в исходные данные для общего решения проблем (Клейн 1974; Klejn 1974а).

3. От колонных секвенций к трассовым. Специфика археологического отражения прошлой действительности (Клейн, 1978) сказывается в исследовательской стратегии археологии. Познание археологического материала приходится начинать с того, чтобы преобразовывать пространственные отношения в отношения во времени путем *стратификации*. Из-за *компрессии* в археологическом материале (взаимопроникновения разновременных явлений) этого часто оказывается недостаточно. К стратификации добавляют *эволюционно-типологический* анализ, связанный с привлечением внеархеологических опор (моделей функционирования и развития).

Однако далее археолога ожидает коренной подвох: по результатам стратификации и эволюционно-типологического упорядочения возникает *иллюзия автохтонной преемственности*. Для ее преодоления предложена концепция

секвенций. Под секвенциями понимаются хронологические последовательности культур. Суть концепции — в различении двух видов секвенций: материал предстает археологу в *колонных секвенциях* (хронологических рядах: культур одной местности), а реальные процессы культурно-исторического развития протекали более прихотливо и откладывались в *генетических (трассовых) секвенциях* (то есть рядах культур, связанных генетической культурной преемственностью вне зависимости от территории). Археолог призван перевести организацию материала из колонных секвенций в трассовые (Клейн 1973а: 299–300; 1973б; Klejn 1976). Перевод осуществляется реконструкцией конкретных миграций и влияний, автохтонности, сегментаций и скрещений.

Естественно, что особое значение приобретает методика реконструкции этих явлений, объединяющих пространственные соотношения и генетическую преемственность культур во времени. На примере миграций можно убедиться, что в таких задачах, при таких условиях невозможно найти простой и единый критерий доказанности. Узвзка ни по какому-либо одному признаку (способу погребения, формам керамики и т. п.), ни по целому устойчивому набору таких признаков не дает надежной реконструкции. Нужна более гибкая методика, основанная на учете *компонентов контекста* и *структурном анализе* реконструируемого культурного феномена (в частности, феномена миграции) с построением его моделей, включающих в себя аналогичные компоненты (Клейн 1973б).

4. Коммуникация в трассовых секвенциях. Восстановление линий преемственности от культуры к культуре затрудняется тем, что пространственные переброски культурных комплексов — не единственная причина разрывов, фиксируемых в секвенциях. Иными словами, разрывы есть не только в колонных секвенциях, но и в трассовых. Объяснить разрывы второго типа пытались разными факторами — то социально-экономическими и политическими переворотами, то природными катаклизмами, то неуловимостью культурных явлений в эмбриональном состоянии для археологии и т. п. (обзор и критику см.: Клейн 1975а). Каждый из них имеет шансы оказаться действительной причиной разрыва, но нужна более широкая концепция, позволяющая исследователю выбирать те или иные факторы в зависимости от контекста. Начавшаяся кибернетизация социальных наук (Арутюнов и Чебоксаров 1972; Маркарян 1977: 57–63) позволяет разработать такую концепцию на основе *теории коммуникации* (Клейн 1972; 1981).

Концепция эта заключается в том, что культурно-исторический процесс рассматривается как коммуникационная система, передающая информацию от поколения к поколению. В этом случае проблема преемственности и смены *живых* этнических культур артикулируется и формулируется более четко и ста-

новится более доступна Формализации и математизации. Предмет выяснения теперь составляют: а) *стабильность и нестабильность* системы коммуникации и б) *непрерывность и связность* передаваемой культурной информации. Смена же *археологических* культур внутри трассовой секвенции рассматривается как проекция этого хода изменений живых культур на плоскость археологических остатков. Это значит, что учитываются все изменения, обнаруженные в секвенции, за вычетом тех, которые объяснены критикой источников (внешней и внутренней) и переходом от колонных секвенций к трассовым.

Сформулировать в общем виде факторы (а), которыми обусловлены стабильность и нестабильность системы коммуникации, — не самое трудное в этой задаче, ибо надежность систем связи давно заботит специалистов по *технике* связи, и они накопили перечень таких *общих* факторов (обеспеченность контактов, избыточность информации и т. п.). Гораздо труднее верно установить *культурные* эквиваленты этим формально определенным факторам, открыть их содержательный облик (например, в чем выражаются и чем измеряются контакты между поколениями и т. п.). Попытка такого рода сделана (Клейн 1972; 1981).

Факторы же (б), которыми определена связность информации, поступающей в систему коммуникации, целиком лежат в сфере социальной, и дело сводится к отработке методов обнаружения их по археологическим следам.

5. Задача синтеза. Когда объяснительные возможности самостоятельного археологического изучения трассовой секвенции исчерпаны, дальнейшее углубление знаний об отраженном в ней культурно-историческом процессе можно добыть путем соединения полученных данных со столь же основательно проработанными данными других наук, полученными из других видов источников. Ввиду того, что все они освещают разные компоненты этногенеза, не коррелированные жестко (то есть часто не дающие изоморфных соответствий), задача такого *синтеза* — межотраслевого, *интеграционного* — нелегка.

При простом сопоставлении и сложении результаты разных наук — археологии, письменной истории, топонимики, антропологии и др. — то совпадают, то нет: источники часто говорят о разных сторонах единой действительности. Даже одно явление выглядит по-разному в разных ракурсах. Нужно выявить генеральные линии развития, установить, как выглядело то целое, части и стороны которого обрывочно и по-разному отражены в разных группах источников.

Для этого предлагалось или всемерно сужать охват темы, чтобы один исследователь мог дотошно осваивать разные виды источников и чтобы, таким образом, легче было улавливать в разных видах источников взаимосвязанные детали (Nachmann 1970b), или отыскивать явления, которые по своей

специфике неизбежно должны были схоже отразиться в разных видах источников (Nachtmann 1970b; Клейн 1974б).

Между тем, для надежной интеграции нужна, видимо, иная, почти противоположная установка: 1) максимально расширить поле обозрения (ибо тогда станут заметнее *крупные конфигурации*, выражающие структуру целого) и 2) особое внимание уделить динамике событий — миграциям, войнам и т. п. (ибо динамические конфигурации обычно более специфичны, чем статические, благодаря столкновениям контрастных форм). Поэтому синтез сопряжен с обобщением и историческим подходом (Klejn 1973). Методически ущербны поспешные попытки непосредственно «увязывать» отдельные изолированные данные из разных видов источников — например, «осмысливать» отдельные археологические находки и памятники с помощью подбора этнографических аналогий, делать «исторические выводы» по каждому раскопанному памятнику, причислять археологию «под историю».

В синтезе два этапа. Сначала надлежит включить находки в археологические системы — типы, типологические ряды, культуры, секвенции и т. д. (это *первичный синтез* — *археологический*), и только после этого приступать к *интеграции*, к *историческому синтезу*: процессов с процессами, систем с системами.

3. Этногенез как история культуры в археологическом рассмотрении: новый подход

[Статья была опубликована в 1981 г. в юбилейном сборнике в честь директора Дрезденского музея Вернера Кобленца, принимавшего меня как гостя в 1970 г. Она представляет собой развернутое изложение на немецком языке работы, опубликованной на русском и представленной как предшествующая статья этого сборника. Обилие цитат из классиков марксизма объясняется адресатом статьи — изданием в ГДР. Развернута в основном первая половина работы, поэтому только она здесь перепечатана, а вторая часть опущена. Поскольку русский оригинал утрачен, текст публикуется здесь в обратном переводе с немецкого.]

1. Предварительные замечания. Верхнелужицкая группа шнуровой керамики (Coblentz 1952b; Coblentz und Weber 1976), долужицкая культура (Coblentz 1961), лужицкая культура (Coblentz 1952a; 1971), памятники раннежелезного времени (Coblentz 1955; 1962; 1966), славянские городища и немецкое средневековье (Coblentz 1961; 1971 и др.) — это не только центры тяжести интересов нашего юбиляра, но и веши в культурной истории Саксонии. Что в них общего, кроме того факта, что они происходят с одной и той же территории и частично граничат между собой? Можно ли ухватить

генетические связи, простирающиеся от шнуровой керамики и лужицкой культуры до славян и немцев? Каким «культурным потокам» принадлежат многообразные и разновременные памятники Саксонии? Подобные вопросы, естественно, стояли и перед Вернером Кобленцем. В ответах он был, однако, всегда сдержанным и осторожным. Очевидно, это существенная черта его научной индивидуальности. Теперь однако наша археологическая методология всё последовательнее приближается к такому подходу, и я принадлежу к тем, кто стремится теоретически обосновать эту перемену. Поэтому представляется уместным как раз в этом томе представить теоретический анализ всей проблемы с позиций моего научного опыта.

С самого начала моих исследований проблемы происхождения народов — славян (Клейн 1955; 1969), скифов (Клейн 1963) и, в более узком охвате, происхождения археологических культур (Клейн 1962; 1966; 1967; 1968а; 1969б) занимали в них ведущее положение. С течением времени я должен был осознать, что в некоторых случаях я не могу ни признать наличные гипотезы, ни предложить новые решения, несмотря на полноту фактов, и что я в тех случаях (а их было большинство), когда я предлагаю новые решения, не могу убедить моих научных оппонентов никакими дополнительными фактами. Так я пришел к выводу, что ядро расхождения мнений лежит не в знании или надежности фактов, а в различном способе их оценки, в различных методических критериях, в расхождении теоретических позиций и часто также в том, что они устарели, неясны и недостаточно научно продуманы. К аналогичным выводам пришли и другие советские археологи (Третьяков 1970; Захарук 1970).

С тех пор я переместил центр тяжести своих работ в теоретическую археологию и предпринял разработку именно тех теоретических и методологических вопросов, которые прямо требовались для решения моих конкретных исследовательских задач. Но чем дальше я продвигался, тем яснее становилось, что эти специальные разработки зависят от решения общих теоретических вопросов археологии. И это вполне естественно, потому что «каждый, кто ставит частные вопросы, не решив сначала общие, неизбежно на каждом шагу будет спотыкаться об эти общие вопросы, не сознавая этого» (Ленин 1907/1972: 368). Так что мне пришлось ими заняться, продумав опыт истории нашей науки и ее обоснования в философии (Клейн 1971; 1978; Klejn 1971; 1977;).

В результате мои отдельные теоретические представления и методические положения постепенно стали соединяться в единую систему. Приступая к ней с разной постановкой вопросов, с разных сторон, можно рассмотреть ее в разных ракурсах и в каждом увидеть несколько отличную схему основных отношений — в наборе, который для освещения соответствующих аспектов

представляется существенным и подходящим. Этногенез есть один из этих аспектов (другие суть: системный подход, задачи и структура археологии, построение общей теории археологии и т. д.).

Если желательно сделать эту систему оперативной и в соответствующем аспекте прозрачной, целесообразно изложить суть целого в не слишком пространной статье. Чтобы эта статья не была художочной, я построил ее как скелет теоретической конструкции, в который введены ячейки для включения информации из опубликованных мною специальных разработок. Краткое издание этой работы напечатано в Ереване в небольшой статье на русском языке (Клейн 1978).

2. Выверка предпосылок. Хотя изложение истории каждого современного народа обычно начинается с вопроса о его «происхождении» (этногенезе), нельзя сказать, что это ясно сформулированный вопрос. Как только пробуешь его уточнить, сразу же выясняется, что тут нужно установить, *когда, где и из каких компонентов сложился (или из какой среды выделился) этнос, который можно идентифицировать с тем или иным современным этносом или связать с ним прямой преемственностью; когда и как этот последний появился на своей нынешней территории* (Клейн 1969а).

Со времен Г. Косинны решению этих вопросов приписывалось политическое значение. Предполагалось, что у определенного народа тем больше прав на его нынешнюю территорию, чем раньше его предки на нее вступили, и что его притязания на соседние земли тем основательнее, чем древнее на них следы его предков и чем дольше они там жили. В то время как агрессоры для обоснования своих притязаний ссылались на «историческое право» и подкрепляли это указаниями на археологические следы пребывания и походов своих отдаленных предков, археологи обороняющейся стороны видели свой долг в том, чтобы опровергать эти факты, чтобы доказывать, что таких следов нет и что «вообще ваших предков тут не было». Для обеих сторон считалось почетной задачей доказать *автохтонность* своего народа. Обе стороны опирались на одно и то же представление об «историческом праве» и работали одинаковыми средствами: старались изучить материальную культуру народа, которая была освещена письменными источниками, чтобы затем отыскать корни этой культуры в определенной археологической культуре предшествующего времени. Это делалось в убеждении, что культурной преемственности всегда соответствовала этническая (и возможно языковая) преемственность, а археологическая культура во всем существенном совпадает с этносом (*ethnische Deutung* — этническое истолкование).

Эта исследовательская традиция подвергалась уничтожающей критике — я проделал обзор и систематизацию этой критики (Klejn 1974), — но традиция оказалась очень живучей.

Нет надобности исследовать этногенез с этой целью и невозможно работать этой методикой.

Почему нет надобности? Потому что за этим стоит неэффективная и порочная аргументация. Нет никакой уверенности, что существовало постоянное автохтонное развитие определенного населения, как нет уверенности и того, что может удастся проследить миграцию как раз из «требуемого» района. В таких случаях факты доказывают вовсе не то, что требуется доказать, но и опровергают не обязательно то, что требуется опровергнуть. Народы распространялись в пре- и раннеисторические эпохи вовсе не так, как это удобно для поддержки подобной аргументации. А притягивать факты за волосы — даже с искренней верой и добрыми намерениями — не идет на пользу делу: построение может обрушиться, и это будет только на пользу противникам.

К. Маркс указывал на порочность подобной аргументации. Так же он оценивал ее опору на принцип «исторического права», которое всегда готово служить прихотям почитателей древности (Маркс 1870/1960: 276). Не говоря уже о ненадежности применяемого археологического метода проследивать такие «права», на деле легко увидеть, в какую переменчивую, авантюрную и обоюдоострую игру могут быть втянуты современные народы таким интересом к древности. Ибо у многих современных народов можно найти в прошлом дальние миграции, у некоторых — фазы очень широкого, хотя и временного, распространения, а после таких вспышек — снова территория ужималась и «величие» исчезало, оставляя лишь эпос и археологические следы. Уже Марксу была ясна неизбежность миграций в древности (Маркс 1957: 567), и ему было известно, что некоторые регионы земли были долгое время «генераторами народов» и выбрасывали миграцию за миграцией (Клейн 1974). Какой реальный смысл имело бы в качестве политического идеала современных народов требовать их возврата в районы и границы проживания их далеких и даже не столь далеких предков — венгров за Урал, американцев — в Европу и т. д.? Как далеко в прошлое должна быть отодвинута «норма»? Где логическая граница? Кому это нужно? Не народам.

Почему невозможно далее исследовать этногенез традиционной методикой? Потому что представления об этносе, на которых она основана, оказались иллюзией и дискредитированы. Согласно современным представлениям об этносе и этническом развитии, чтобы выяснить происхождение народа, нужно ставить по отдельности вопросы о происхождении его людского состава

(так сказать, живой силы), его языка и его культуры. Корни и судьба этих его компонентов (и даже частей каждого из них) могут быть различны для каждого. Каждый из этих компонентов не связан исключительно с этническим самосознанием и этнонимом, хотя язык коррелирует с ними чаще других. Гораздо реже коррелирует с ними материальная культура. Как язык, так и материальная культура могут состоять из разных компонентов, происходящих из различных источников.

При этом среди компонентов языка всегда есть важнейший — тот, из которого происходит решающий вклад: грамматическая структура и основной словарный состав. В материальной же культуре соотношение отдельных частей может быть произвольным. Поскольку материальная культура состоит из различных частей, происходящих из разных предшествующих культур, по мощности и характеру отдельных вкладов не определить, с каким из них сопряжена основная языковая преемственность — возможно, с большим, возможно, с меньшим, а может быть, и с таким, величина которого для археологов практически равна нулю; и неясно — с керамикой, кремневой индустрией или способом погребения и т. д.

Иначе говоря, способ исследования этногенеза, казавшийся естественным, — постепенно продвигаться вглубь веков от этапа к этапу и от культуры к культуре («ретроспективный метод») оказался негодным. Мы не знаем, какие археологические культуры соответствовали этносу, и, что важнее, у каждой культуры было много корней. Археология не в состоянии определить, с которым из них сопряжена передача языка, этнического самосознания и этнонима (Клейн 1955: прим. 6; 1969).

Набросанные здесь представления, образующие отправной пункт для нового подхода (Клейн 1955; 1962; 1968; 1968а; 1969а; 1969б; ср. Монгайт 1967), очень туго принимаются археологами, но соответствуют нынешним представлениям советских этнографов.

Представления об археологии, ее возможностях и границах и специфике ее предмета не остались неизменными. Дело не только в том, что материальная культура не проявляет простой, регулярной и однозначной сопряженности с этническим самосознанием, этнонимом и языком. Дело еще и в том, что исследуемая археологическая культура вовсе не идентична материальной культуре прошлого. Ее реконструкция гораздо менее проста, чем это казалось тем, кто уравнивает возможности археолога и историка в решении проблем истории, в том числе проблем этногенеза. Она может лишь поставлять информацию для исторического синтеза (Клейн 1978; 1978а).

Вопрос о политическом значении археологии нужно вообще решать глубже и осмотрительнее. К. Маркс и Ф. Энгельс были решительно против зависящего от политической конъюнктуры извлечения фактов из далекого прошлого, и видели политическое значение науки о древности в открывании законов истории и корней антропогенеза (Клейн 1968а).

3. Уточнение целей. Естественно, возникает вопрос, зачем тогда вообще нужно выяснять (и нужно ли знать), где и когда чьи предки жили — просто для удовлетворения чьей-то любознательности? Или: Что *нужно* из явлений и процессов этой сферы исследовать? Что *могли бы* археологи исследовать и как?

Знать, где и когда жили предки определенной группы современного населения прежде всего важно для самих археологов. Ибо только если они это знают, они в состоянии безошибочно соединять разные явления одно с другим, проследить реальные течения культурно-исторического процесса и оживлять некоторые древние остатки, опираясь на близко родственные или современные явления. Иначе было бы легко ошибиться и увидеть прогресс там, где лишь оказываются новопришельцы из развитого центра, которые при этом лишились части своего культурного наследия или, наоборот, возвести культурную революцию к смене населения. Поэтому выявление истинной преемственности не является особой задачей, зависящей от политической конъюнктуры, а есть необходимый аспект исторических и археологических занятий, требующий непредвзятого исследования (Клейн 1977: 13–14).

Так целесообразно ли при такой установке обозначать цель исследования как «этногенез» в ходячем общеисторическом значении этого слова? «Этнос» и «этнический» — это многозначные, гибкие, растяжимые понятия, которые не обязательно содержат в себе весь комплекс признаков (Токарев 1964: 53; Чебоксаров 1964). Они опознаются четче всего как раз по таким признакам, которые археологу прямо не доступны: язык, наименование, самосознание и связанные с этим политические традиции, притязания (проблема суверенитета), симпатии и антипатии (проблема солидарности). Но при новой, только что сформулированной целенаправленности исследований для нас особенно важно узнать как раз не это о населении, оставившем нам памятники. К тому же при прежней целенаправленности как раз этносы и были главным объектом реконструкции. А при новой целенаправленности они утрачивают это значение, по крайней мере для ее реализации.

Для этого существенно нечто иное: что и в прошлом имелись устойчивые группы людей, каждая из которых по разным причинам имела одну для всей группы материальную культуру, долго ее удерживала и передавала от поколения к поколению. Тем самым образовывались каналы для передачи культурной

информации, и в этих рамках протекало культурно-историческое развитие, осуществлялся культурно-исторический процесс. Вот это важно!

И как раз это мы можем проследить археологическими средствами, по крайней мере ряд отраслей этого процесса. Вопрос о характере живых связей, которые выявляются в определенной открытой нами культурной общности — будь то этнические, политические, религиозные, экономические или другие связи, — конечно интересен, но всё же это вторичный, производный вопрос. Ответ на него не столь важен для реализации обозначенной задачи. Скорее важны открытие культурных общностей в их преемственности, заполнение лакун и разрывов в ней, а тем самым и происхождение культур, *культурогенез*.

Некоторые авторитетные советские археологи, как мне представляется, уже раньше приблизились к этой смене ориентиров, но не решались по-рвать с прежней установкой. В осознании новых целей и при продумывании вытекающих отсюда следствий они не продвинулись последовательно и решительно. Например, М. И. Артамонов пришел к выводу, что археологи в состоянии проследить только преемственность в материальной культуре, тогда как языковую преемственность, нередко избирающую другие пути, они не могут ухватить. Но так как он не хотел отказаться от термина «этногенез» и связанного с ним прежнего статуса археологических исследований, он просто идентифицировал этнос и культуру и объявил именно материальную культуру важнейшим и определяющим признаком этноса (Артамонов 1971). К такой же (или близкой) позиции пришел П. Н. Третьяков (1970). Оба исследователя, по сути, пришли к понятию, которое принципиально отлично от современного этноса, хотя и обозначается тем же термином. Эта подмена повела к сбивчивости в изложении, потому что сами Третьяков и Артамонов, проследивая развитие и приближаясь к современности, незаметно от констатации культурной преемственности соскальзывают на мысль о языковой преемственности. Напротив, А. П. Окладников (1973) различает два понятия: «этногенез» и «культурогенез».

Исследование проблем этногенеза и реконструкция культурно-исторического процесса также отнюдь не просты. Для их прояснения как раз и важно вскрыть механизм передачи культурной информации, причину изменений, характер реальных отношений (включая этнические как одну из возможностей). И здесь исследователи наталкиваются на камни преткновения.

[Дальнейшие четыре раздела — «Камни преткновения», «От колонных секвенций к трассовым», «Коммуникация в трассовых секвенциях» и «Задача синтеза» — полностью повторяют соответ-

ствующие разделы предшествующей статьи этого сборника, поэтому здесь опущены. Новой является только концовка:]

Эта ступень начинается с переводом информации с языка вещей на язык событий, с языка археологии на язык истории. Здесь прямо задействован археолог. Затем следует открытие первичных взаимосвязей событий, освещение закономерностей процесса и т. д.

Здесь уже историк перенимает эстафету от археолога, даже если это один и тот же человек, выступающий в двух разных ролях. Археология и история не лежат рядом друг с другом, а одна за другой, и выход в конечный синтез принадлежит истории, с приставкой «до-» или без нее.

4. Неолит Европы как целое

[Я был очень дружен с директором музея в Галле (ГДР) Германом Беренсом, особенно после того, как в 1970 г. пробыл месяц у него в гостях в Германии. Приезжал и он в Россию. В 1974 г. он напечатал мою статью о Косине в ГДР. В 1976 г. он справлял свой юбилей, и я поместил в юбилейном номере ежегодника, ему посвященном, свою статью о неолите Европы (Klejn 1976). Этим объясним и эпиграф из его сочинений в начале моей статьи. Статью мою в Германии сочли важной, и ею открыли юбилейный номер. Мне кажется, что она действительно затрагивает важные проблемы и содержит некоторые новации.]

Выделить из пре- и раннеисторического развития неолит и время раннего металла представилось нам важным потому, что с этими обоими периодами связаны две новых вехи в истории человечества... Имея дело со Старым Светом, мы движемся в максимальном пространстве распространения...

(Behrens, 1964, с.77)

1. Постановка вопросов и анализ понятий

В обобщающих трудах и учебных курсах археологи нередко говорят о неолите Европы. Подразумевается, что это реальное явление, которое может служить особым предметом исследования. Более того, оно рассматривается как некое целое, являющееся основой для оценки роли и значения его составных частей. Так, Стюарт Пиггот в статье «Британские неолитические культуры в их континентальном контексте» писал: «Британские острова... из-за их промежуточного географического положения между мирами предыстории Западной и Центральной Европы имеют значение для изучения культур Европейского неолита как целого, ибо в них может оказаться пересечение традиций, которые в иных местах мало вступали в контакт друг с другом, если вообще вступали» (Piggott 1961: 557) Для Пиггота «неолит Европы» есть целое.

Однако в какой мере это действительно так? Не служит ли выделение подобного предмета скорее условным приемом, рассчитанным на удобство обработки материала в сложившейся практике исследований и понятным лишь в силу привычности и нестрогости?

Проблема сложна. Не только границы, объем, но и правомерность существования обоих понятий, входящих в название и определение этого предмета, — и понятия «неолит» и понятия «Европа» — не общепризнанны и не бесспорны. Во всяком случае, это понятия неоднозначные.

Европа. Европа, в сущности, не является отдельным континентом. Это крупный полуостров, выступающий на запад от огромного материка Евразии, и рубеж отсечения в большой мере произволен. Как известно, в разное время граница между Европой и Азией проводилась по-разному (Ельницкий 1961). Сам факт выделения Европы — результат не столько логики и географической обусловленности, сколько истории. С чисто географической точки зрения не меньше оснований выделять (и объединять) в такой же массив Левант с Анатolieй и Аравией — граница могла бы пройти по Кавказскому хребту и от Каспия на Персидский залив. Скандинавия отделена от остальной Европы морями, а вместе с Восточной Европой составляет продолжение Азиатского пространства и неразрывное целое с ним. Когда говорят о большей дробности и большем разнообразии географической карты Европы по сравнению с Азией, то в значительной мере это является проецированием современной политической обстановки и лучшей изученности на природную среду.

Европа есть политико-географическое понятие, возникшее в римское время. Оно существовало наряду с другими подобными перекрещивающимися понятиями (например, Скифия, Сарматия). Еще в средние века ничего, кроме

преимущественного распространения христианской религии, не объединяло европейские государства и не отличало их от других. Только в новое время, с развитием капитализма, Европа выступила как особый мир, резко противостоящий по ряду показателей другим частям света, — прежде всего по социально-экономическим и культурным характеристикам.

Поэтому выделение какого бы то ни было европейского единства применительно к первобытным временам может иметь только ретроспективный характер. Это значит, что оно приобретает значение лишь с позиций проецирования современных отношений на далекое прошлое. Это рискованный подход, чреватый опасностями модернизации прошлого, то есть неадекватной конструкции.

В каких аспектах (и с какими ограничениями) он может найти себе оправдание?

Во-первых, в аспекте организационно-техническом: в силу региональной специализации исследовательских кадров, наличия языковых барьеров (особенно между языками разных семейств) и т. п. Рациональным оказывается отдельное изучение отдельных культур, располагавшихся на территории нынешней Европы (точно так же, как рациональным оно оказывается и в более детальном членении: на землях современных государств, каждого по отдельности). Однако при этом необходимо помнить, что сечения проходят «по живому телу» древних культур, нарушаются органичные связи того времени и получаемая картина нуждается в серьезных коррекциях и оговорках. Выделение оказывается сугубо условным и более правомерным при составлении каталогов, карт, обзоров, учебных курсов, сводок и справочников, чем монографических исследований.

Во-вторых, оправдание можно найти в аспектах генетическом и историческом: если попытаться проследить, как глубоко в прошлое уходят хотя бы некоторые стороны современной европейской культурной общности. Или, (что, может быть, более реалистично) — нельзя ли отыскать в далеком прошлом Европы такие крупные культурные образования, тенденции, течения, которые, примерно совпадая с современной Европой в своих территориальных границах, являлись предшественниками и провозвестниками нынешней европейской общности. То есть хотя бы в какой-то мере формировали предпосылки будущего объединения, а может быть, и некоторые элементы содержания будущего общеевропейского культурного комплекса. Применительно к новому каменному веку это могут быть такие явления как общее влияние Ближнего Востока, распространение идеи мегалитов, круги культур ленточной керамики воронковидных и колоколовидных кубков, шаровидных

амфор и боевого топора, в этом понимании «неолит Европы» это не все неолитические памятники и культуры с современной Европы, а только памятники и культуры, охваченные указанными тенденциями и входящие в указанные культурные круги — круги, специфичные для Европы. Однако и здесь необходима сугубая осторожность, так как единство места и хронологическая последовательность могут привести к тому, что простое совпадение будет принято за генетическую связь, а значит древнейшего предварения преувеличено (то есть закрыты глаза на то, что аналогичные современные общности возникли и без такого предварения).

Неолит. Понятие «неолит» еще многозначнее. Оставим в стороне выбор технологических признаков, кладущихся в основу выделения периода (техника обработки камня или появление топора, керамики и т. п.). Оставим в стороне также спор о том, правомерно ли вообще ограничиваться в этой периодизации технологическими признаками или необходимо расширение выделительного критерия в сторону социально-экономических характеристик (производящее хозяйство, матриархат и т. п.). Оба решения имеют смысл и не должны исключать друг друга, но если термин должен иметь только одно значение, то первое предпочтительнее и в силу старшинства традиции и по логике буквального смысла слов (Klejn 1972).

Более существенно в данном контексте двойное функциональное употребление термина «неолит» в ином плане — для обозначения культурно-стадиального комплекса явлений и для обозначения хронологического периода. Первый подход Г. Мюллер-Карпе называет *изофеноменологическим* (рамками понятия охватываются все культуры, в которых проявляется данный комплекс явлений, вне зависимости от их хронологии), Второй — *изохронологическим* (объединяются хронологические культуры, без четкого соблюдения их культурной синстадиальности) (Müller-Karpe 1969: VI). В первом случае граница между периодами на сетке координат время-пространство образует «лесенку» (зигзаг) (ср. Clark 1952, tabl. B), во втором случае — прямую линию. Аналогичную двойственность рассмотрения Б. Ф. Поршнев (1969) показал у всемирной истории, отметив проявления обоих подходов (по его терминологии это «сравнительно-исторический метод» или «метод ассоциаций» и «синхронистический метод») в исследованиях К. Маркса. Оба подхода вполне правомерны: первый ориентирован на социологические интересы, на выявление закономерностей, второй — на исторические интересы, на исследование конкретных взаимосвязей. (Клейн 1972).

Первый подход предполагает иной порядок рассмотрения, иную структуру изложения, чем второй. По мнению Поршнева, цельность рассмотрения

в данном подходе заключается в идеализации, в приведении конкретного многообразия к абстрактной модели, создаваемой из элементов наиболее полного выражения исследуемого явления (Поршнев 1969: 303) Это верно (см. Cole 1961; Schlette 1971), но цельность подхода не сводится к этой характеристике, ибо в ней учитывается только цельность в смысле логической связности (и охвата) разных сторон жизни. Цельность в смысле территориального охвата обеспечивается в этом подходе неким подобием «ящичной группировки» Вестермарка — сопоставительно рассмотрением категория за категорией — родственных, хотя бы и разновременных явлений всей Европы сразу.

Так поступил, например, Г. Кларк в своем труде «Преисторическая Европа» (Clark 1952; см. также Smolla 1960). И. Рауз удивляется этому и подыскивает подходящее объяснение: "...фактический материал столь фрагментарен, что когда Кларк писал «Преисторическую Европу. Экономический базис» (1952), ему пришлось обсуждать каждый аспект культуры отдельно вместо того, чтобы разрабатывать культурные элементы каждого народа, как это прокламируется в его идеальной модели» (Rouse 1972: 146). Рауз не понял, что та «идеальная модель» (Clark 1960: fig. 25) была предназначена для рассмотрения отдельной культуры и изохронологического рассмотрения преисторической Европы, тогда как экономическую основу преисторической Европы Кларк рассматривал на основе иного подхода — изофеноменологического. Да и сама «идеальная модель» — это уже результат изофеноменологического подхода.

Во времена эволюционизма и «теории стадиальности» предполагалось, что оба аспекта рассмотрения должны дать один и тот же результат в периодизации, одни и те же рубежи периодов. Позже оказалось, что это не так: в силу неравномерности исторического развития, на разных территориях неолитизация наступала в разное время и в разное время сменялась бронзовым веком (в изофеноменологическом понимании).

Но уже из первоначального определения неолита как технологическо-го и культурного феномена следует, что изофеноменологический подход к периодизации является наиболее адекватным традиционному пониманию неолита и что термин «неолит» логичнее применять к периоду с границами «лесенкой». Когда же речь идет о выделении крупных периодов в конкретной истории мировой культуры, на основе изохронологического подхода, то, строго говоря, применение термина «неолит» к одному из таких периодов способно лишь внести путаницу. Лучше было бы подыскать иные названия для разделов такой периодизации.

Иначе обстоит дело с периодизацией конкретного хода событий на небольшой территории физико-географического региона (напр., Британские острова

или Ютландия, Нижнее Подунавье и т. п.) или страны, края (Венгрия, Украина, Трансильвания). На таком пространстве неолитизация наступала практически сразу (то есть с неразличимым для археолога запозданием одного конца от другого), значит периоды в обоих пониманиях изофеноменологическом и изохронологическом — здесь совпадут.

Европа, однако, не столь мала. В то же время ее оценка более компактна, чем мировая, размах ретардации не столь велик, и можно подумать о целостном изохронологическом рассмотрении системы ее культур как фона и основы для судеб неолитического комплекса в Европе. Движение неолитического комплекса от одного края этой сцены до другого и будет объединяющим стержнем и одновременно критерием выделения такого периода. Чайлд считал это «единственной объединяющей темой» европейской преистории (Childe 1958: 70). Это значит, что период начнется со вступления неолита на территорию Европы и закончится с исчезновением его последнего прибежища на ней.

Такой подход даст возможность выяснить, чем обусловлены общие отличия европейского неолита от неолита других территорий.

Поскольку бронзовый и другие аналогичные комплексы вправе претендовать на такую же группировку материала, на такое же вычленение фона, выделяемые по этому принципу периоды при сводном построении связной истории культуры будут взаимоналагаться на стыках. Очевидно, что при таком построении потребуются более дробное членение. Isoхронологически выделенный неолит разобьется на три раздела: 1) переходный от мезолита к неолиту (когда они существовали на смежных землях в Европе), 2) период безраздельного господства неолита во всей Европе, 3) переходный от неолита к меднобронзовому веку. Сомкнувшись с расчлененными подобным образом другими эпохами, эти более дробные членения выступают как основные и равноправные.

Нетрудно заметить, что при изохронологическом рассмотрении найти объективную основу для объединения материала в такие системы, как «неолит Европы», гораздо труднее, чем при изофеноменологическом рассмотрении.

2. Объективная основа единства

Возникает вопрос, в какой мере целостное синхронистическое рассмотрение «доисторической Европы», использующее судьбы неолитического комплекса, как связующую нить, находит оправдание в связности самого фона, самой канвы, во взаимозависимости синхронных культур в рамках этого пространства.

В какой мере культуры Европы представляли собой тогда одну систему, а население Европы — один коллектив?

Конечно, поселки первобытных поселенцев и скотоводов в Европе не были абсолютно изолированными и самостоятельными. И все же это были группы людей, ведущих натуральное хозяйство. Роль торгово-обменных связей до введения металла была незначительной, связи эти не затрагивали экономическую систему существования. В обмен поступали главным образом украшения и дефицитные категории сырья, пути передачи вещей не были постоянно действующими, масса вещей, продвигавшихся по ним, оставалась невелика (Childe 1930; Jahn 1956; Tabaczyński 1972). Прочие контакты — политические, военные, брачные — не были ни интенсивными, ни устойчивыми, брачные к тому же действовали обычно в определенных границах (Бромлей 1869). Континуум повседневных, который должен быть необходимой предпосылкой предполагавшейся лингвистической непрерывности, по гипотезе Д. В. Бубриха — С. П. Толстова (Бубрих 1948: 26; Бутинов 1951; см. Герценберг 1972), на деле не существовал. Он не имеет соответствия в каком бы то ни было культурном континууме, хоть таковой и принимается за исходный пункт в теоретических рассуждениях ряда современных археологов (Ford 1954; 1962). Культура дискретна (Клейн 1970а; Klejn 1971). Дискретной была и преисторическая Европа.

И все же в то время существовали и осознавались не только связи между поселками однокультурного населения, но и связи между культурами генетические и контактные. Многочисленные частные исследования таких межкультурных связей — а среди этих исследований по неолитической Европе заметны важные работы юбиляра (Behrens 1959; 1965, 1966 и др.), — позволяют установить последовательность и провести синхронизацию культур, уточнить их группировку, а тем самым создают основу для изохронологического восприятия неолита Европы как целого. Значительная часть этого целого — неолит Средней Европы наглядно представлена в трехмерной схеме Соудского (две оси пространства и одна времени), в которой он использует мою схему «куба культуры» (Soudský 1973, fig. 2; Klejn 1971: 338 и схема на с. 339). Скорее следовало бы сослаться на более подходящую схему Дица (Deetz 1967: 55–59, fig. 10). При этом Соудский (Soudský 1973: 204–205), как ранее Диц (Deetz 1967: 57), справедливо отмечает, что ради обозримости и краткости трехмерность этой схемы можно без больших переделок свести в двухмерность: обе оси пространства можно свести в одну (однако это затруднит задачу прямых межкультурных сношений, то есть таких в которых отдельные звенья не образуют целую цепь). Все же

перенос простой схемы рассмотрения, которая у меня была предусмотрена для одной культуры, на более обширные системы, с абстрагированием от большей сложности этих систем связано с тем, что у них есть и другие виды отношений и связей в других измерениях.

Однако для исследователя и в прошлом имели реальное значение не только прямые и явные связи между отдельными общинами неолитического населения Европы. Косвенные и неосознававшиеся связи тоже сказывались иной раз решающим образом! (см. Гумилев 1969 о цепной реакции) Даже те первобытные племена, которые не воевали и не вступали в союз друг с другом, не обменивались вещами ни прямо ни через посредников, даже просто не знали друг о друге, все же и они воздействовали друг на друга: каждое племя ограничивало другим свободное пространство для заселения, теснило соседей ближних, а через них — и дальних, блокировало кому-то доступ к ценным источникам сырья и т. п. Изменение в одном районе — мор, демократический взрыв, переход к иным формам хозяйствования и т. п. — могло вести к важным следствиям в различных весьма отдаленных районах (Barth 1956: 1079). Учет некоторых отношений этого рода ведает культурная экология (это в ней син-экологический раздел — Watson et al. 1971: 88; Woodall 1972: 44–46), однако она не охватывает всей их совокупности.

Структура всей совокупностей связей и отношений, обуславливающих цельность неолитической Европы в изохронологическом понимании весьма сложна, не однолинейна, многомерна. Эти отношения и связи разворачиваются во многих плоскостях: 1) в пространстве, 2) во времени, 3) в морфологической сопоставимости (эти три измерения констатирует Сполдинг — Spaulding 1960), 4) генетическом родстве, 5) в контактных действиях, 6) в эволюционной перспективе. От понимания этого обстоятельства и способности учесть его, способности сочетать в рассмотрении различные аспекты этой совокупности связей, установить рациональную иерархию этих аспектов, зависит полнота и адекватность отображения всей системы как целого.

3. Общие теории и структурные схемы-модели

Генеральная схема отображения этой структуры связей в сознании исследователей, или как теперь принято говорить, модель этой структуры, в большой мере определяется общей теоретической концепцией, которой данные исследователи придерживаются — их пониманием задач археологии, ее предмета, их представлением о культурно-историческом процессе. Порядок изложения материала в монографических исследованиях и учебных курсах,

план изложения, является реализацией этой модели: иногда модель реализуется и в графических схемах.

Далеко не всегда авторы трудов сами осознают зависимость плана своего труда от той или иной общетеоретической концепции. Нередко планы рассмотрения материала в сводных трудах и учебных курсах, введенные под влиянием той или иной авторитетной теоретической концепции, удерживаются и после ее дискредитации, по инерции, в деятельности археологов, которые этой концепции не придерживаются. Между тем, сам план изложения исподволь подводит к определенной концепции.

В изохронологических рассмотрениях неолитической Европы можно распознать воздействие нескольких таких концепций.

1. Лестничная модель. В концепциях эволюционизма и теории стадильности особая важность придавалась стадильным сходствам и различиям, а стадии рассматривались как универсальные. Для районов размером с Европу синстадильность в основном приравнивалась к синхронности. Продуктом этого подхода является изложение, в котором материал разложен по крупным хронологическим отрезкам: сначала описываются все ранние памятники всей неолитической Европы, затем более поздние — опять же всей Европы, и т. д. (в старых учебниках шла речь об общеевропейских эпохах кампиньи и робенгаузен, в новых — о раннем, среднем, позднем и финальном неолите). Территориальное деление выступает как вторичное (Classen 1912; MacCurdy 1924).

2. Свайная модель. В изложениях, основанных на принципах энвиронментализма и «многолинейной эволюции» главные сечения проходят перпендикулярно только что отмеченным. Если хронологические можно назвать горизонтальными, то эти будут вертикальными. Континент прежде всего делится на более узкие районы, соответствующие определенным экологическим зонам или культурным кругам, а затем развитие рассматривается по отдельности от начала до конца внутри каждой такой зоны. Хронологическое деление выступает как вторичное по отношению к территориальному. Последовательность рассмотрения территорий — произвольна и безразлична: начиная с более изученных или более близких намеченному читателю (с его родины) или в технически привычной европейскому читателю — как читателю последовательности — слева направо и сверху вниз, то есть — применительно к карте — с запада на восток и с севера на юг (Schuchhardt 1912; Buttler 1938; Müller-Karpe 1969).

3. Решетчатая модель. В деятельности ряда европейских археологов (особенно эмпиристической и отчасти диффузионистской ориентировки)

и американских таксономистов постепенно складывалось представление о необходимости двумерной группировки археологических явлений, в системе координат пространство — время, позволяющей и вертикальное и горизонтальное членение (Weinberg 1947; Ehrlich 1954; 1965). Роль вертикальных объединений приняла на себя локальные культурно-стратиграфические колонки, выделяемые не столько физико-географически, сколько по культурным районам, а еще больше — по очагам лучшей изученности: роль горизонтальных — культурно-хронологические горизонты. Горизонт — понятие, применяемое в археологии спонтанно, а в американской — осознанное и дефинированное (Башилов 1969; Клейн 1970), хотя методы выделения конкретных горизонтов оказались в европейской археологии более разработанными. Порождаемый краеведческой специализацией таких исследователей наивный автохтонизм побуждал их конструировать логику связанного внутреннего развития в своих культурно-стратиграфических колонках. У американцев аналогичная тенденция выразилась в том, что вертикальным соответствием «горизонтам» были сочтены не колонки, а «традиции», выражающие культурную преемственность (Phillips and Willey 1953). Последовательность описания (начинать ли с горизонталей или вертикалей — и которых именно) не регламентировалась.

4. Стрелочная модель. В концепциях миграционизма и диффузионизма территории выделяются не столько по экологическому принципу, сколько в соответствии с культурной группировкой, а последовательности их рассмотрения придается решающее значение. Описание начинается с районов, рассматриваемых в качестве главного исходного очага миграций и заимствований, и постепенно переходит ко все более отдаленным от этого очага. Такое рассмотрение позволяет проследить ход продвижения культурных комплексов и элементов и представить его как определяющий фактор его развития. Так, у Косинны рассмотрение обычно начиналось с Северной Европы, откуда мыслились исходящими все миграции (Kossinna 1912, Kap. 2). У Чайлда порядок следования был обратным: главные потоки диффузии шли с Юго-Востока, дополнительные — с Юго-Запада (Childe 1925; Miložić 1949).

5. Плетеночная модель. Концепция, введенная в археологию М. И. Ростовцевым и признающая скрещивание культур важнейшим фактором развития, потребовала отражения большей сложности связей и отношений (см. у Соудского светлые пятна на схеме — Soudský 1973, fig. 2). В американской археологии именно для реализации в конкретных исследованиях концепция скрещивания культур и было введено понятие «традиций».

Традиции рассматриваются как культурные потоки, по которым из одних культур в другие передаются различные элементы культурного достояния, перегруппировываясь все в новых и в новых сочетаниях. Из каждой культуры традиции ведут к разным культурам и в каждую культуру — от разных. Образуется затейливо переплетенная сеть, в которой традиции представлены нитями, а культуры узлами, связывающими по несколько нитей. Заслугой И. Рауза является сознание того, что эта сеть не идентична прямоугольной решетке пространственно-хронологических отношений и накладывается на нее. Получившаяся комбинированная плетенка представлена у И. Рауза графической схемой и названа «шпалерной моделью» (Rouse 1972: fig. 14 on the p. 206, 229) Переход от нее к плану изложения не найден, а внимание к узлам (культурам) не предусмотрено.

6. Паутинная модель. «Новая археология» декларирует изучение «культурного процесса» в качестве главной задачи археологии и системный и многопеременный (multivariate) подход — в качестве главного метода. Естественно было бы ожидать рассмотрения культуры как системы и крупных культурных композиций — как систем. Однако ориентированность на абстрагирующее выявление законов «культурного процесса» (Binford 1968a) приводит к тому, что в генеральной линии исследований в качестве системы выступает абстрактная культура или мировая культура, ее эпохальные срезы рассматриваются только изофеноменологически, а при необходимости конкретного изучения меньше блоков материала они выделяются в произвольном объеме и произвольных границах. Игнорируя факты миграций и влияний и предваряя установление таких фактов непосредственным изучением «культурного процесса» (Egasmus 1968; Binford 1968b), пропагандисты «новой археологии», по сути, принимают априорно локальные культурно стратиграфические колонки за параллельные русла «культурного процесса» и возвращаются от «шпалерной модели» и более простой прямоугольной решетке.

7. Многоэтажная модель. Для того непредвзятого исследования прошлого, к которому мы стремимся, требуется иной подход. Методично-расчлененное рассмотрение, в котором исследователь постепенно с уровня на уровень — углубляется в материал и различает ступени достоверности следований. Представляется полезным рассмотреть эту схему подробнее.

4. Путь через секвенции

Ввиду дискретности культурно-исторического процесса археологическая культура остается одним из основных объектов археологического изучения (Klejn 1971), а традиции в своей изменчивости могут быть по-настоящему поняты лишь при прослеживании их прохождения сквозь целостные культуры. Более того, изолированное рассмотрение культур также является ущербным. Эта идея — не новинка системного подхода, а испытанный принцип материалистической диалектики (Klejn 1973а). Выход за пределы археологической культуры, в силу той же дискретности, не означает утрату границ и немедленное столкновение с мировой сценой — есть важные промежуточные инстанции, культурные композиции, заслуживающие быть рассмотренными в качестве целостных систем, определяющих многое в судьбе и облике своих частей (в том числе культур и традиций). В числе таких инстанций может быть поставлен изохронологически выделяемый неолит Европы. И поставлен тоже не сразу или, вернее, не как аморфная совокупность культур, а как структурно организованное целое. В этом целом есть подсистемы и более крупные, чем культуры или традиции.

Это ряды последовательных культур, подлежащие специальному изучению. Мною было предложено (Клейн 1973; Klejn 1973) называть эти ряды *сенквенциями* и различать две их разновидности соответственно разным исследовательским задачам и разным этапам синтеза. Сначала необходимо изучение пространственно-временных соотношений между культурами, построение локальных колонок относительной диахронии. Такие секвенции предложено именовать *колонными*. Они (а не традиции!) образуют как бы вертикальные соответствия аналогичным горизонтальным объединениям — *горизонтам*. Только после этого можно переходить к установлению генетических связей и влияний, то есть прослеживать пути традиций и объединять для изучения культуры, связанные этими традициями, в диахронические ряды вне зависимости от территориального размещения этих культур. Такие секвенции предложено именовать *генетическими* или *трассовыми*.

Из горизонтальных образований им более всего аналогичны *культурные круги* (в том смысле, в котором использовано это понятие в Klejn 1969).

Если пучок параллельных традиций длительное время проходит внутри одной колонной секвенции, обуславливая совпадение одной сложной трассовой секвенции с колонной, то можно констатировать то, что У. Беннет (Bennett 1948; ср. Rouse 1954) назвал «ареальной комплексной традицией» (areal complex tradition) или «ареальной котрадицией» (areal cotradition). Таким

образом, понятие «кареальной котрадиции» и даже просто «котрадиции» (не ограниченной рамками одной колонной секвенции) представляется мне полезным, но слишком узким, недостаточным для построения целостной картины системы культур. Система понятий должна быть достаточно развернутой, чтобы способствовать поэтапному переходу от (1) установления пространственно-временных отношений к (2) установлению генетических и контактных отношений, а затем — к (3) выявлению логики развития.

Если исходить из того, что археология не является ни простым антикварным коллекционированием материальных древностей, ни историей материальной культуры или вообще дубликатом истории или социологии, а осуществляет переход от материальных древностей к исторической и социологической интерпретации, то придется признать, что в археологии наиболее естественным для региональных монографий порядком изложения будет именно последовательность, характерная для такого пути исследования. Логика этого хода исследования будет одновременно и логикой изложения. Это значит, что обзор культур надо делать трехэтапным: сначала (1) рассмотреть (а) колонные секвенции и горизонты, затем — (2) трассовые секвенции с традициями и культурными кругами, а после того — (4) выявлять логику развития. В первом этапе строить горизонты означает получать вторичные результаты исследования по сравнению с колонными секвенциями, выступающими непосредственно в виде сравнительных колонок, тогда как горизонты появляются лишь после сравнительной проработки материала. Во втором этапе прослеживание и оценка традиций образует необходимое условие построения трассовых секвенций, а последние предпосылку для понимания изменений и направленности традиций. Культурные круги облегчают путь к кооперации с этнографией и лингвистикой, трассовые секвенции — к исследованию логики развития, соответственно — к исторической социологии.

Рассматривая колонные секвенции и связывая их горизонтами, начинать, видимо, следует с наиболее изученных, достоверных и полных колонн. В неолите Европы это секвенции Фессалии, Фракии (Караново-Дипсиската могила), Сербии (Винча), Саксонии и Тюрингии, Дании. Рассматривая трассовые секвенции, придется ввиду их огромного количества выделить те, в которых происходило развитие наиболее важных для неолита традиций и котрадиций определивших социально-экономический облик и этнокультурную картину. Начинать, видимо, придется с констатации главных линий преемственности автохтонных и возникших в результате миграций и влияний, с учетом субстратов, суперстратов, контактов, скрещиваний. Только после этого можно (и нужно)

зяться выявлением основных характеристик, факторов и закономерностей развития в этих секвенциях (Klejn 1974).

Близкий к этому способ рассмотрения применил К. Ренфру к неолиту и меднобронзовому веку Эгейского мира (Renfrew 1972). Любопытно, что отвергая в теоретической программной работе археологические культуры как основной объект археологического изучения и рассматривая мировую культуру как некую непрерывность (Renfrew 1969), Ренфру отступает от этого принципа, как только переходит к непосредственному монографическому исследованию значительного периода развития крупного культурного региона. Он выделяет культуры даже там, где их не было принято выделять — на месте РК I, II, III, РЭ I, II, III, СЭ I и т. д. появляются ряды культур, появляются новые названия: культура Гротта-Пелос, культура Филакопи I, культура Евтресис и т. д. (Renfrew 1972)

Нашей колонной секвенции близко соответствует «культурный ряд» или «культурная последовательность» (culture sequence) Колина Ренфру, однако близкого соответствия нашим трассовым секвенциям у Ренфру нет: на втором этапе рассмотрения он прослеживает генетические связи и контакты культур снова по тем же «культурным рядам», так как, исходя из методических принципов «новой археологии», принимает автохтонное развитие как презумпцию (Renfrew 1969; см. Klejn 1970). На третьем этапе рассмотрения он занимается прослеживанием логики развития отдельных аспектов культуры (металлургия, торгово-обменные отношения и т. п.), расширяя рамки рассмотрения сразу на весь Эгейский мир и игнорируя тот факт, что действительное развитие проходило в трассовых секвенциях и чтобы понять логику конкретного развития нужно прежде всего выделять и прослеживать важнейшие трассовые секвенции.

Между тем, в этом залог адекватной реконструкции неолита Европы как изохронологического целого.

Неолитические европейцы были более разделены, менее едины, чем современные, а все же они воздействовали друг на друга, они населяли добрый кусок земли и изменяли его под одними и теми же веяниями времени и в одном и том же направлении. В этом направлении вел путь длинный и тяжкий, — в конце которого оказываемся мы сегодня. Достигнуть целостного взгляда на всю эту совокупность событий — важная задача современной археологии.

5. Археология и этнография: проблема сопоставлений

[На 1998 г. в Санкт-Петербурге был намечен VI научный семинар, проводимый регулярно сибирскими археологами по инициативе Омского университета. Семинар 1998 г. был посвящен памяти известного русского ученого Д. Н. Анучина, который стремился интегрировать географию и другие естественные науки с этнографией и археологией. Омичи особенно интересовались связями археологии с этнографией. Поскольку я много занимался проблемами интеграции археологии с другими науками, а по интеграции археологии с языкознанием и письменными источниками и опубликовал немало, я решил, пользуясь удобным случаем, обобщить и свои размышления об интеграции археологии с этнографией. Организаторы семинара изъявили готовность опубликовать мою статью, не взирая на объем, и сделать ее центральным материалом для обсуждения.]

В сущности в моей статье идет речь о стержневых проблемах археологической интерпретации. Статья опубликована в Материалах семинара (Клейн 1998).

Чтобы не создалось впечатления, что я снабжаю свои старые работы исключительно реляциями об их успешном восприятии научной общественностью, поведаю также о неудаче, связанной с этой статьей. Готовя статью к публикации, я сделал также и английский вариант текста для «Каррент Антрополоджи» и в 1998 г.

отослал этот вариант в США. Однако там, запустив обычный механизм массового рецензирования, получили отрицательный результат и статью не приняли в печать. Это меня очень удивило. Ведь раньше мои статьи пользовались в этом международном журнале неизменным успехом.

Думаю, дело в том, что зарубежная периодика (особенно английская и американская) очень подвержена моде, а к этому времени избранная мною тематика там вышла из моды. Сначала (в 60-е и 70-е гг.) Новая Археология усердно пропагандировала интерпретацию археологических материалов без помощи этнографии, а потом (в 80-е и 90-е гг.) постмодернисты вводили в обиход в качестве теории философские словопрения — о зависимости выводов от политических взглядов, о символических смыслах археологического материала, о важности интуиции и т. п. Не требуя проработки большого материала, такие теоретические упражнения стали очень популярны среди молодых, жаждущих быстрого продвижения от азов к вершинам науки. Мои же теоретические занятия в этом смысле старомодны. Они требуют обширного охвата литературы, продумывания точности понятий, классификации подходов, изобретательности, плодотворного сопряжения с практикой и многого другого.

Устарела ли моя статья и полезна ли она, предоставляю судить читателю.]

1. Проблема. Для интерпретации своих материалов археология нуждается в этнографии, в *этнографических аналогиях* — это общее место в учебниках. Томпсон высказался так: «Не прибегнув к аналогии, археологические выводы получить невозможно» (Thompson 1956: 151). Гюнтер Смолла заявил: «Преисторическая археология и возможна только из-за <...> аналогий» (Smolla 1964: 32). Чжан Гуанчжи готов даже утверждать, что «ни один археолог не стоит ломаного гроша, <...> если он не сделал одну — две аналогии в каждой написанной им монографии». И еще круче: «Ведь в широком смысле археологическая реконструкция это и есть аналогия — с прозрачным прибеганием к этнологии или без такового» (Chang 1967: 229–230). Только ли реконструкция, только ли интерпретация? «На деле, — заметил Ричард Гулд, — археологи используют этнографические данные почти постоянно — например, каждое использование археологами слова “наконечник стрелы” основано на ряде предположений, покоящихся в конечном счете на этнографических наблюдениях»

(Gould 1971: 143). Как работать с аналогиями — предмет многих теоретико-методических работ по археологии (Vogt 1947; Ascher 1961; Anderson 1969; Bergmann 1973; Fischer 1990; Smolla 1990; и др.).

Между тем, у ряда авторов (Orme 1973; 1974; Prinke 1973; Шнирельман 1979: 126) можно встретить утверждения, что более, чем за век в разработке этой проблемы не достигнуто никаких существенных сдвигов и современные археологи пользуются столь же несовершенной методикой, как и ранние эволюционисты. Другие археологи убеждены, что разработать строгую методику таких сопоставлений и вовсе невозможно, что это гиблое дело (Smith 1955; Eggert 1993) или по крайней мере чрезвычайно ненадежное (Thompson 1956). Ульрих Фейт считает, что «работа с аналогиями не подразумевает какого-то специального метода вдобавок к традиционной методике первобытной археологии». Эта методика — критика источников. С нею, подбирая много аналогий, мы можем «заполнить пробелы в археологических источниках» (Veit 1993: 135).

Некоторые археологи сопоставляют археологические данные с этнографическими, но при этом стремятся обойтись *без аналогии* и уверены, что им это удастся (Oswald 1974; Gould 1980). Против зависимости археологов от этнографической аналогии выступает Бинфорд (Binford 1967a; 1967b; 1968). Кристофер Эванс пишет о «падающем значении аналогий» из этнографии и высказывает убеждение, что археология накопила уже столько знаний, что за поисками объяснений теперь не надо выходить за пределы своей науки (Evans 1988).

Однако Манфред Эггерт, написавший сугубо скептическую статью о применении этнографических аналогий, утверждая, что исследования не ушли и вряд ли уйдут дальше собрания частных случаев, заканчивает статью словами: «Пожалуй, так — но что бы мы делали без аналогий?» (Eggert 1993: 149).

Есть смысл разобраться в литературе и проблематике.

В данной работе развиваются положения, выдвинутые мною в более ранних работах (Klejn 1973b; Клейн 1981 и др.). В первой работе я больше уделяю внимания общему сопоставлению двух наук, во второй и здесь — больше частным сопоставлениям. Однако начнем всё-таки с общего, рассматривая его в той мере, в какой это необходимо для анализа частных сопоставлений.

2. Археология и этнография. Общее сопоставление археологии с этнографией — традиционная тема теоретических разработок (Holmes 1913; Koppers 1951; 1953; 1957; Ziegert 1964; Chang 1967; Orme 1973; Behrens und Padberg 1978; и др.). Правомерность сопоставления не вызывает сомнений: близость обеих наук замечена давно, хотя реализуется в разных системах взглядов по-

разному. В Старом Свете обе дисциплины связаны прежде всего с историей, особенно с историей культуры, и считаются *источниковедческими* науками, в Америке обе входят в число *антропологических* наук. В том и другом случае 'культура' является для них фундаментальным понятием, а *этнос* — основной ячейкой группирования материала.

Для тех, кто исходит из этого факта, родство обеих наук близко к тождеству (Smith 1899: 1). Клайд Клакхон сформулировал это так: «археология — это этнография и история культуры народов прошлого», а «этнограф — это археолог, который хватает свою археологию живьем». Его поддерживает в этом убеждении Чжан Гуанчжи: «археология — это учение о народах, а именно этнология» (Kluckhohn 1957: 46; Chang 1967: 231, 233). Те, кто исходит из источниковедческого характера обеих наук, также склонны к такому отождествлению, если не видят кардинального различия между разными видами источников по характеру отражения в них действительности и соответственно по принципам познания. По М. И. Артамонову (1971: 28), «нет принципиальной разницы в подходе той и другой из этих наук к выявлению этнических культур». Те же, кто такое различие усматривает (Klejn 1973b; Клейн 1977; 1978), менее склонны к рассуждениям об общем сходстве этих наук, обращают больше внимания на те различия, которыми и обусловлено сотрудничество обеих дисциплин, а их связь видят в том, что обе участвуют в историческом синтезе.

Им представляется непродуктивным спор о том, какую из обеих источниковедческих дисциплин считать основной в реконструкции прошлого. А спор этот велся как на Западе, так и у нас.

Ряд исследователей полагал, что археология лишь добывает факты о прошлом социокультурных систем, а придать им жизнь, вдохнуть в них историю можно только обращаясь к этнологии или культурной антропологии (Smith 1899). Соответственно теорию, которая объяснит археологические факты, нужно искать в этнологии или культурной антропологии. Название статьи Уильяма Стронга примечательно в этом плане: «Антропологическая теория и археологический факт» (Strong 1936). Йозеф Геккель из венской культурно-исторической школы видел значение этнографии в том, что она образует базу для понимания палеолита и неолита, «которую никакая другая дисциплина дать не может». Более того, он считал, что у этнологии есть возможности собственными силами строить реконструкцию культурно-исторического развития, хотя обращение к археологии полезно (Haesckel 1961a: 35). Чжан Гуанчжи писал, что сопоставление археологических данных с этнографическими — это «улица с односторонним движением»: археолог извлекает пользу из этнографии, а той археология не нужна. По его мнению, даже превращение живой культуры

в археологические источники, обладая огромным интересом для археолога, «само по себе есть этнологическая проблема» (Chang 1967: 229).

Другие исследователи возражали, что этнология сама не может без археологии реконструировать культурно-исторический процесс во времени и соответственно организовать этнографические факты, что она вынуждена обращаться за этим к археологическим данным, к концептуальным выводам археологической теории, которая, однако, тоже нуждается в этнографических фактах. Статья Элмана Сервиса носила полемически заостренное название: «Археологическая теория и этнографический факт» (Service 1964; см. также Gruber 1967 и Vossen 1969).

Рихард Питтиони полагал, что, входя в число вспомогательных наук для первобытной археологии, этнография служит ей «иллюстративной дисциплиной» или «дисциплиной, поставляющей примеры», но примеры эти прямо переносить на прошлое нельзя, поскольку преистория, как и история, имеет дело с уникальными ситуациями, детерминизма нет (Pittoni 1961b: 27–28). Он утверждал, что «интерпретацию первобытно-археологических источников можно выводить только из них самих» (Pittoni 1961a: 226). Грейем Кларк высказался умереннее: «Сравнительная этнография может подсказать правильные вопросы; но только археология в сотрудничестве с разными естественными науками <...> может дать правильные ответы» (Clark 1953: 357). Люис Бинфорд выдвинул тезис, что в культуре все компоненты взаимосвязаны, поэтому археология не нуждается в этнографических подпорках и способна сама по сохранившимся материальным остаткам реконструировать несохранившиеся части культуры, включая нематериальные. К этнографии он считает допустимым обращаться только за стимулирующими идеями для генерирования гипотез, а главное — в их проверке на археологических фактах. За идеями же можно обращаться не только к этнографии, но и к чему угодно — «хоть к галлюцинациям» (Binford 1967a, 1967b). Ульрих Фишер, исходя из противоположного принципа (всё в культуре индивидуально), утверждает (и его многие в Германии поддерживают), что «С историей и этнографией никакую преисторию не написать» (Fischer 1987: 186). Кое-кто заговорил даже о «тирании этнографического источника в археологии» (Wobst 1978).

В советской науке тоже противостояли друг другу две точки зрения.

По одной, историю первобытного общества надлежало строить на археологической основе, используя археологическую последовательность культур как скелет. Оживляющую плоть должна была воссоздать теоретическая реконструкция с помощью соответствий, постулируемых историческим материализмом, а этнография оказывалась без надобности. Таковы были принципы «метода

восхождения», выдвинутого А. В. Арциховским (1929). «Метод восхождения» был отброшен и самим Арциховским, но выросшая из него тенденция строить историю на одних лишь археологических источниках осталась руководящим принципом для всей школы Арциховского — Рыбакова. Так и строилась во многих археологических трудах история первобытного общества и ранних классовых обществ нашей страны. Этнографические примеры если и приводились, то лишь для вящей наглядности.

По другой точке зрения лучше без археологического скелета обойтись, потому что он мертвый и скудный, а, применяя для каждой стадии анализ пережитков, можно выстроить надежную последовательность уровней на одном лишь этнографическом материале. Ю. И. Семенов исходил из того, что «единственной наукой, располагающей данными непосредственно о первобытных социальных отношениях является этнография». Из этого он заключал, что «ее данные — единственные, базируясь на которых можно реконструировать процесс развития первобытных социальных отношений». А уж из этого делал вывод о теории: теория первобытной общественно-экономической формации «является этнографической и только этнографической. Никакой другой теории первобытного общества, кроме этнографической, существовать не может» (Семенов 1979: 308–310).

Многие специалисты, как археологи, так и этнографы выступили против этих крайностей. Они исходят из того, что каждая из источниковедческих наук владеет одним видом источников, а каждый вид источников, освещая какую-то сторону культурно-исторического процесса, обладает как преимуществами перед другими видами, так и недостатками. Он по-своему ущербен. Археология наиболее полно фиксирует временной аспект культурно-исторического процесса, а этнография — механизм этого процесса и функции его звеньев, то есть участвующих в нем сообществ, она отражает устройство и функционирование, повседневную жизнь социокультурных систем. Прочие стороны отражаются в иных видах источников — антропологических, фольклорных, письменных, языковых и т. д. Достаточно полная и всесторонняя реконструкция прошлого возможна лишь на основе синтеза разных видов источников, следовательно на основе кооперации и интеграции источниковедческих наук.

Мне представляется, что недооценка этого и коренится в основе указанных крайностей. Обеспеченность поздней истории богатыми и многосторонними письменными источниками как-то затмила тот факт, что для прочих этапов истории нет такой достаточности одного вида источников. История в широком смысле (естественная история, преистория и социальная история) — это наука синтеза. То есть преистория, протоистория и ранняя история, которым археолог

и этнограф поставляют свои выводы, выступают по отношению к этим двум источниковедческим дисциплинам как третья наука, наука особой методологической природы, с другими целями, с другими проблемами и вопросами, со своей теорией. Эта теория иная, не археологическая и не этнографическая, те остаются в пределах своих наук (Клейн 1978; 1991; Klejn 1994).

3. Идея конкретной кооперации. Чтобы реконструировать прошлое, восстановить исторический процесс, каждая из источниковедческих наук нуждается в других. И этнография, и археология поставляют свои выводы истории, социологии, культурной антропологии и для понимания своих материалов постоянно обращаются к этим синтезирующим наукам, заимствуя, таким образом, информацию, поставленную тем другими источниковедческими науками и переработанную синтезом. В этом нуждаются обе науки — и археология и этнография. Частенько они обращаются и непосредственно в смежную источниковедческую науку, пользуясь тем, что там некоторое осмысление с помощью синтезирующих наук уже проведено, хотя это не всегда отчетливо заметно.

Правда, есть известная доля истины в сентенции Чжана Гуанчжи об одностороннем движении. Она заключается в том, что археология еще до формулирования своих выводов нуждается в функциональном определении своих объектов и прибегает за помощью в этом к этнографии, этнография же ничего подобного не делает.

Говоря об исключительной роли этнографии в реконструкции первобытного прошлого, Семенов делает одну оговорку, одно ограничение: «Данные этнографии сами по себе взятые не дают возможности реконструировать историю ни одного конкретного отдельного первобытного социального организма. Реконструировать по данным этнографии можно лишь развитие первобытного общества, взятого в целом». То есть получить в результате такой реконструкции можно лишь «внутреннюю сущность» развития, «освободив ее от той конкретно-исторической формы, в которой она проявилась, лишь представив этот процесс в чистом виде, в логической форме...» (Семенов 1979: 109). Но даже в этом виде последовательность будет (и бывала) реконструирована лишь в виде гипотезы, а чтобы доказать ее, нужно обратиться к фактам археологии (Clark 1953: 345–346). Тем более это необходимо, если задаться целью реконструировать именно конкретно-исторический процесс. А ведь это и есть цель истории. Логическая форма процесса — это предмет социологии и историософии, а не истории в собственном смысле.

Вот тут-то и выявляется необходимость сопоставлять не только одну науку с другой, не только их выводы, но и конкретно — частные археологические

данные с этнографическими (Vogt 1947; Anderson 1969; Bergmann 1973; и др.). Кардинальное значение для этого имеют два принципа — *униформитарианизма* (признание единства человеческой психики повсеместно) и *актуализма* (признание действенности нынешних закономерностей для прошлого). Объединяя эти два принципа (или, скажем, рассматривая их нерасчлененно), Феттен и Ноль недавно назвали наличие единых законов человеческой психики и поведения во все времена «аксиомой аналогии». Это оно, наличие таких законов, делает человеческое поведение объяснимым и предсказуемым, а значит древнее и современное поведение — сравнимым, а аналогию — возможной (Fetten und Noll 1992: 168–169). Точнее было бы видеть здесь две аксиомы.

Широко сопоставлять археологические данные с этнографическими для построения преистории стали эволюционисты в 60-х — 70-х гг. XIX в. Придерживаясь веры в абсолютность универсальных законов и игнорируя местные и этнические различия, они произвольно связывали похожие явления из обеих сфер, надергивая «примеры» откуда угодно и приурочивая их к чему угодно, лишь бы соблюдались принципы эволюции — общий плавный прогресс и развитие по одним и тем же ступеням, но разными темпами.

Но в культуре стадияльные рубежи то и дело нарушаются пережитками, и очень трудно определить «стадияльную глубину» каждого пережитка, из которой каждый этот пережиток вынырнул (на какой стадии явление возникло, когда оно еще не было пережитком). Поэтому синстадияльность устанавливалась на основе общих соображений, с изрядным субъективизмом. Любые сходства могли сойти за синстадияльные. Терминологическое различие между конвергенцией и параллелями не делалось, а возможность гомологий хотя и признавалась, но на практике очень редко учитывалась. Терминологическое различие между аналогией и гомологией, введенное биологами, в изучение культуры тогда так и не перешло.

Сопоставление археологических данных с этнографическими потому так органично вписалось в деятельность этнологов (или культур-антропологов), что они и внутри своей науки действовали по этому принципу, этим приемом. Это было впервые монографически представлено в двух массивных томах Рихарда Андре «Этнографические параллели и сравнения» (Andree 1878; 1889). Андре собрал огромное количество примеров, в которых близкое сходство явлений культуры между неродственными и далекими друг от друга народами приходится объяснять независимым происхождением — проявлением одинаковой человеческой природы, одинаковых законов развития в схожих природных условиях. В некоторых случаях Андре привлекал и археологические материалы, например, петроглифы.

Первое методическое обобщение этой практики (еще сугубо внутриэтнологической) предложил в 1903 г. Пауль Эренрейх. Потому ли, что в объяснении сходств ранние эволюционисты вообще не отвергали значения родства и контактов между народами, или потому, что Эренрейх был скорее поздним эволюционистом и работа его относилась уже ко времени кризиса эволюционизма, но так или иначе в ней уже постулировалось два вида сходств — обусловленные родством или контактами (*гомология*) и основанные на проявлении универсальных законов в схожих обстоятельствах (*конвергенция*, сходства благодаря адаптации). Для понимания первых он ссылаясь на антропогеографию Ратцеля, для вторых — на учение о психологическом единстве и «народных идеях» (позже — «стихийных идеях») Бастиана. Упомянул он и случаи конвергенции, выявленные ранее в работах Ф. фон Лушана и Г. Тиллениуса. При всем энтузиазме Эренрейх был осторожен в рекомендации выявлять сходства: он учитывал, что «схожие явления могут возникать из совершенно разных идей, а одинаковые основные идеи могут вести к сугубо различным результатам» (Ehrenreich 1903: 177).

Первая монографическая проработка сопоставления археологических материалов с этнографическими данными сделана в 1912 г. Артуром Хаберландтом. До сих пор интересно читать эту небольшую книжку, представляющую собой его диссертацию, защищенную в Вене, — «Археологически-этнографические параллели» (Haberlandt 1912). Собственно, в немецком тексте стоят «преисторически-этнографические», но это в обычной западной манере первобытная археология названа преисторией. Не без эволюционистских коннотаций оба автора вынесли в название работ термин «параллели».

Эволюционисты не только находили аналогии археологическим материалам в пережитках или отдельных явлениях в культуре отсталых народов, но и принимали целые народы современности за полные аналоги археологически фиксируемых народов древнейших эпох: тасманийцев — за представителей нижнего палеолита, австралийцев — среднего палеолита, эскимосов — верхнего (Tylor 1893; Pitt-Rivers 1906: 53; Sollas 1909; 1911).

У эволюционистов методику сопоставлений переняли советские археологи (Шмидт 1932), озабоченные выявлением стадильности, у которых это была та же идея подъема по уровням, но революционными скачками, а не эволюционно.

Распределение живых отсталых народов по уровням развития приводило у советских археологов к методу «коннекции» или «сшивки» живых этнографических с мертвыми археологическими комплексами (Никольский 1923: 78–79), за который В. И. Равдоникас (1930: 30) критиковал В. К. Никольского, но сам в своем учебнике (Равдоникас 1939) прибегал, по сути, к тому же принципу.

Другим наследником эволюционистов в свободном оперировании аналогиями была Венская культурно-историческая школа (В. Копперс, Й. Геккель, К. А. Шмиц), строившая на них широкие исторические концепции вплоть до 60-х годов.

4. Терминология и классификация. Все эти сопоставления не очень удачно называют «этноархеологическими аналогиями» или «этноархеологическими параллелями» (в археологии — «этнографическими аналогиями» или «этнографическими параллелями»).

Термин «аналогия» тут нередко вызывает возражения, потому что в строгом понимании не охватывает все подобия (есть еще и *гомология*) и потому, что намекает на вид умозаключения («по аналогии»), доказательность которого подвергается сомнению (Binford 1972: 33–67). К тому же археологи вообще употребляют термин «аналогия» очень широко, заменяя им и термин «аналог» (схожая вещь, схожее явление) — говорят «нашел аналогию», «этот артефакт имеет столько аналогий, что напрашивается вывод о типе».

А термин «параллель» слишком многозначен: может быть понят как указание на конвергенцию, на действие универсального закона в схожих обстоятельствах, а может — как намек на тождественность, эквивалентность, гомологичность. И действительно, для одних исследователей он идентичен термину «аналогия» или «аналог» и обозначает всякое значимое и неслучайное сходство между явлениями разных сфер — археологической и этнографической (то есть включает и гомологию), для других «параллели» — это только сходства неродственных явлений (не связанных через контакты или генетически — общим происхождением от одного и того же конкретного предка, от одной культуры), для третьих «параллели» — это только сходства, вызванные синстадиальностью таких явлений, принадлежностью к одному и тому же уровню развития (но не, скажем, сходством географических условий).

Только эту последнюю категорию — синстадиальных явлений — некоторые российские этнологи именуют «этноархеологическими аналогами» (Першиц 1979), а использование их для реконструкции прошлого называют «сравнительно-историческим методом», хотя и этот термин тоже очень расплывчат. В этнологии он понимается по-разному — то широко, то узко, то включая «метод пережитков», то нет, то идентично «историко-типологическому методу», то нет (см. Артановский 1968; Кабо 1972: 52; сб. Этнография... 1979: 5, 31, 35, 47, 65–66, 81, 94–95), а в языкознании и фольклористике — и вовсе в ином смысле: как метод установления генетического родства и восстановления предковых форм.

Во всех случаях, однако, когда в контексте пре- и протоисторического синтеза употребляется термин «аналогия» или «параллель», речь идет о сравнении, сопоставлении, увязке явлений, зафиксированных археологически, с данными этнографии. Многие считают, что во всяком сопоставлении археологических материалов с этнографическими данными налицо мышление по аналогии, но другие относят к аналогии только «свободное аналогизирование», «свободное параллелизирование», то есть исключают сходства, обязанные контактам или родству: это рассматривается как повторение одного и того же, гомология.

Какую бы терминологию ни применять, а она явно нуждается в усовершенствовании (и применяемая далее сугубо паллиативна), важно при увязке археологических данных с этнографическими учитывать все виды сходства: все они могут нечто дать для реконструкции первобытного прошлого. То есть важны и должны получить свое обозначение разные виды сходств:

- 1) «*гомологии*», обусловленные общей предковой формой и возникшие
 - а) в ходе сегментации или
 - б) на основе контактов;
- 2) «*анalogии*», в которых сближаются чужие друг другу формы на основе проявления универсальных законов. А среди аналогий важны и
 - а) «конвергентные», сходства — «*конвергенции*», обусловленные вдобавок (к действию универсальных законов) однотипностью среды, обстоятельств, и
 - б) «*параллели*», обусловленные вдобавок (к действию универсальных законов) синстадиальностью.

Хельга Сёрхейм делит аналогии (по сути, все сопоставления) на *синхронные* и *диахронные* (то есть сопоставления одновременных явлений и разновременных), *прямые* и *косвенные* (то есть сопоставления самих явлений и их изображений или описаний) (Sørheim 1988), но никакого методического следствия из этого сугубо формального деления не возникает (в остальном она просто пересказывает Бинфорда).

5. Критический подход и усложнение. Критика эволюционизма со стороны диффузионистов, функционалистов и других школ побуждала налагать всё новые и новые *ограничения* на привлечение этнографических данных к объяснению археологических материалов (обзоры этой критики см. Клейн 1981; Wylie 1985). К сер. XX в. это породило скептицизм и даже привело к полному отрицанию возможности реконструировать прошлое с помощью таких сопоставлений (Smith 1955; Sonnenfeld 1962; Leroi-Gourhan 1964; Orme 1974). «Аналогия — это идея, время которой прошло», — заявил Ричард Гулд (Gould 1980: X). Ныне этот скептицизм преодолевается. Главными возражениями скептиков были:

1) *Нерегулярность культуры* (Heider 1967; Orme 1974). Хейдер признает, что логические основания гипотез, выводимые археологами из здравого смысла и этнографических данных вполне разумны и рациональны. «К сожалению для археологического процесса, — добавляет он, — культуры обычно совершенно нерациональны». И приводит целый ряд примеров несоответствия конкретных этнографических данных принятым у археологов стереотипам толкования материалов. И вообще нерегулярного применения орудий и прочего. Все явления культуры Хейдер (и не он один) воспринимает как уникальные, не укладывающиеся под действие универсальных законов. А коль скоро так, то этим явлениям не может быть полных сходств, позволяющих переносить с одного на другое связи, установленные для первого.

Первая «аксиома аналогии» (униформитаранистская) расшатана.

2) *Биологическое различие между палеолитическим населением (до верхнего палеолита) и современными людьми*. Кажущееся сходство между поведением тех и других может иметь различную психологическую природу и, следовательно, быть связанным с разными духовными и социальными явлениями (Freeman 1968: 265).

По крайней мере, для палеолита вторая «аксиома аналогии» (актуалистская) тоже поставлена под сомнение.

3) *Отсутствие сейчас сохранившегося населения с техникой палеолита*. То есть, этим культурам нет прямых синстадиальных параллелей в этнографии. Тасманийцы и австралийцы, которых Солас приводил как аналогию палеолиту — не на палеолитическом уровне (Sklenarž 1975: 294). Между тем, палеолит занимает большую часть всего времени существования человечества.

4) *Отказ считать современные отсталые народности прямыми представителями и эквивалентами человеческих групп тех времен, когда доклассовые общества безраздельно господствовали* (Herskovitz 1948: 581–585; Freeman 1968). Ведь они нередко оттеснены на скверные земли более преуспевшими соседями, долго прожили в изоляции, а то и другое искажало их нормальное развитие. Иной раз перед нами регрессировавшие общества, стало быть, аномальные (Sklenarž 1975: 289–291).

5) *Чрезвычайное многообразие культур за время существования человечества*. Из этого многообразия, однако, в современном срезе, доступном этнографии, представлена лишь небольшая доля. Это сильно ограничивает резервуар реальных аналогов для сравнения (Wobst 1978).

6) *Бездоказательность логического механизма аналогии* (Smith 1955; Thompson 1956; Binford 1967a; Guksch 1993: 153). Исходя из энциклопедий и учебников логики, Бинфорд так трактует суть аналогии: «если две или более

вещи схожи в одном или более отношений, они вероятно схожи и в других отношениях. Степень сходства зависит от числа и важности известных сходств». Имеет значение не просто констатация сходств, а логический вывод из их наличия. Но у археолога нет способа определить точно важность сходств и их достаточное количество. По Реймонду Томпсону, это сугубо субъективно и зависит только от интуиции и компетентности исследователя.

7) *Трудность отличить в культуре сходую аналогию от гомологии (в биологии это известно как «проблема Голтона (или Гальтона)» — «Galton problem»)*. Ведь само это различие требует построения гипотез и их проверки и является очень трудным делом.

Можно показать, что все эти возражения сами сопряжены с абсолютизацией трудностей, хотя и реальных. Аксиомы аналогии остаются. На них ведь строится не только взаимодействие археологии с этнографией, но и всё здание исторического познания и археологической интерпретации (Французова 1972: 202–235; Adams 1991: 4–5; Klejn 1998). На симпозиуме в Бург Вартенштейн Йозеф Геккель возражал Рихарду Питтиони:

«Разве находки говорят сами за себя? Как же смог бы археолог без учета этнографического материала хотя бы определить каменные артефакты как наконечники копий или стрел, а костяные — как гарпуны?.. Поскольку у археолога есть в распоряжении лишь мертвый и фрагментированный материал в качестве источника, он вынужден при определении и интерпретации культурных остатков пользоваться заключением по аналогии от известного» (Haesckel 1961a: 34–35).

Он отверг аргументирование уникальностью исторических явлений: в истории явление поначалу может оказаться уникальным, но потом оно повторяется, а передаваясь из поколения в поколение, образует традицию. В культуре множество уникальных явлений, но это не значит, что в ней вовсе нет регулярностей. Акалу и Шернквист перечисляют целый ряд причин действия в ней универсальных закономерностей: одинаковые биологические нужды, одинаковое устройство мозга, подвластность орудий механическим законам и т. д. (Akalu and Stjernquist 1988: 6–7). Даже столь завзятый сторонник уникальности культурных явлений, как Роберт Лоуи выдвинул компромисс: институции и обычаи, формы и верования обычно уникальны и несопоставимы, но процессы не только сопоставимы, они просто идентичны даже в обществах разного уровня! (Lowie 1920: 426–427).

Логический механизм аналогии не столь жесткий и однозначный, как силлогизмы верификации гипотез, но он существует, и о нем еще будет речь дальше. Идея «современных предков» упрощает соотношение, нельзя отождествлять наших предков с нашими соседями, но ведь нельзя и отрицать, что пройденные стадии развития современных цивилизованных народов были в общем по многим параметрам близки к тому состоянию, в котором пребывают современные отсталые народы (Service 1971).

6. Ограничения и дифференциация. Именно ограничения, налагаемые на поиски и подбор сопоставлений характерны для современного обращения археологов к этнографии (Ascher 1961; Клейн 1981; Wylie 1982; 1985). Эти нынешние сопоставления Эшер (Ascher 1961) именует «*новой аналогией*» — в отличие от эволюционистских сопоставлений, основанных на свободном поиске. Накопились следующие виды ограничений:

1) Ограничения, которые определяются характером искоемых связей и исходят из различия причин, предполагаемых в основе сходств. Для гомологии это родство (общность происхождения) или контакт (общность, разделенность некоторых культурных элементов), для аналогии — общность законов («межкультурные сходства», *cross-cultural resemblances* — называет такие сходства Стюарт), для конвергенции — еще и сходство обстоятельств (например, экологии), для параллели — синстадиальность, сходство по уровню развития (Willey 1953; Ziegert 1964 и др.). В совокупности эти лимиты формируют дифференциацию по источнику подбора сопоставлений — выделяются такие источники (Klejn 1973b): а) круг родственных народов или же б) соседних, в) из схожей природной среды, г) близких по уровню развития.

Кое-кто из советских археологов принимал только синстадиальные аналогии (Шмидт 1932: 13). Ричард Гулд и его сторонники считают допустимыми только гомологические сопоставления — те, что обусловлены родством, прямой преемственностью культур. Копперс называл их «привязанной параллелизацией» (*gebundene Parallelisierung*). Гулд называет их преемственными (*continuous*) и противопоставляет не-преемственным (*discontinuous*) — всем остальным (Gould 1980). По Фишеру, аналогия «тем сильнее, чем она ближе во времени и пространстве к сопоставляемому предмету» (Fischer 1991: 319).

Грейем Кларк и Гордон Уилли соединяли (по крайней мере в теории) два ограничения — схожим уровнем развития технологии и сходством природной среды (Clark 1953: 355; Willey 1953: 229). Уилли называет такие аналогии «исторически-специфическими». То же объединял и Сервис, но зато разделял

сходства, обусловленные общим происхождением народов и обусловленные контактами (Service 1964), хотя те и другие основаны на общем происхождении самого явления (то есть являются гомологией).

Другая совокупность нескольких ограничений (той же природной средой и — с большой вероятностью — населением, связанным одной традицией) породила стремление искать этнографические объяснения археологических материалов в живой культуре того населения, которое ныне живет на исследуемой территории. У советских археологов это стремление породило требования «комплексных» этнографически-археологических экспедиций (Мещанинов 1927), позже осуществленных С. П. Толстовым в Средней Азии. В Европе аналогичное стремление лежало в основе «местно-этнографического подхода» (*folk-culture approach, Volkskultur-Ansatz*) — ограничения местными, европейскими аналогиями для интерпретации европейского археологического материала у Г. Кларка (Clark 1951; Кларк 1954). У американцев оно породило так наз. «непосредственно-исторический подход» (*direct historical approach*) — обращение за объяснениями археологических материалов к потомкам тех индейцев, которые предположительно их оставили, на тех же или смежных территориях (Steward 1942). Эган сформулирован этот принцип как «метод контролируемого сравнения» (Eggan 1954).

Классический пример американского археолога Мак-Грегора: в могиле XII века н. э. он раскопал сопроводительный инвентарь. Инвентарь показали индейцам-пуэбло племени хопи. Те сразу же отнесли всё к определенному роду, племени и указали, в какой церемонии это применимо. Еще одному индейцу показали только одну вещь из этого инвентаря — орнаментированный стержень. Индеец тотчас назвал другие вещи, которые должны быть тут же: дубинка с зазубринами, двурогая вещь и заострения крышка. Всё это действительно содержалось в инвентаре (MacGregor 1943).

Эшер выделяет эти сопоставления в особый вид аналогии и не включает этот вид, основанный на преемственных связях, в «новую аналогию». А напрасно: это тоже связано с ограничениями и тоже проявилось в новое время. Ирвинг Рауз (Rouse 1972: 174) называет аналогии этого вида «специфическими» (а прочие — «общими»). У Гордона Уилли и Пэтти Уотсон с соавторами (Willey 1953: 229; Watson et al. 1971: 50) «исторически-специфический» или «непосредственно-исторический подход» противостоит «общесравнительному» (*general-comparative*).

2) Ограничения, касающиеся характера, смысла и полноты формальных сходств. Эти лимиты содержательно дифференцируют сопо-

ставления по глубине и значительности. Так, сходства предметов одного функционального назначения весомее, чем разнофункциональных. Сходства предметов из одной сферы жизни весомее (скажем, хозяйства или, еще уже, скотоводства), чем предметов из разных сфер. Разумеется, в разных видах сопоставлений (разных по основе сходств) это ограничение будет налагаться по-разному. Для конвергенции связь по функции очень важна, а для гомологии — гораздо меньше. Тут, а также и при синстадиальных аналогиях будут сказываться и стилистические сходства, не связанные с функцией и не ограниченные одной сферой жизни.

3) Ограничения, которые привязаны к видам сопоставляемых объектов и учитывают различную коррелированность их компонентов в разных сферах культуры. Эти лимиты вводят содержательную дифференциацию сопоставлений по степени вероятности. Скажем, технологические сопоставления считаются более детерминированными и предсказуемыми, чем совпадения социальных структур, а те — чем явлений духовной жизни, и менее всего детерминирован другими сферами (наиболее условен и свободен) язык. На этом основании разные сферы культуры различаются по степени археологической познаваемости — в зависимости от их положения на «лестнице Хокса», как эта градация именуется по имени археолога, сформулировавшего эту зависимость (Hawkes 1954). Соответственно и надежность сопоставлений считается тем больше, чем ближе к сфере производства, к самим артефактам, к материальной культуре (Eggert 1993: 144–146).

4) Ограничения, которые затрагивают логический механизм сопоставления и определяют условия доказательности. Специально рассматривают условия применения аналогии как логического средства в археологии Ульрих Фишер, Гюнтер Смолла и Кристиан Гукш (Fischer 1987; 1990; Smolla 1990; Guksch 1993). Фишер считает, что поскольку история не повторяется, привлечение параллелей не вносит никакого обязывающего суждения. И все эти авторы принимают афоризм «аналогия — не доказательство». Но даже Бинфорд, изгоняющий этнографическую аналогию из системы доказательств в археологии, отмечает две характеристики ее доказательности: 1. Если есть причинно-следственная связь между выведенными свойствами и исходными сходствами, то истинность вывода более вероятна. Если нет такой связи, то скорее вывод ложный. 2. Чем больше связей между аналогами и чем менее взаимосвязаны выводимые свойства, тем более вероятен вывод. При обратных отношениях вывод скорее всего ложен (Binford 1967a).

Эти лимиты формально дифференцируют сопоставления по степени строгости.

В отличной статье недавнего времени «Борьба с аналогией» Дж. Д. Люис-Уильямс проследил цепочку построений в аргументе по аналогии. Он различает в нем три постулируемых связи — между выявленной чертой (или чертами) и предполагаемой в археологическом объекте, между аналогичными чертами в этнографическом объекте и между обоими объектами. Каждая из этих связей нуждается в упрочении самого сходства (умножением деталей и обнаружением уникальности) и в доказательстве неслучайности (умножением случаев и — еще лучше — выявлением механизма обусловленности).

Люис-Уильямс делит аналогии на три типа.

Первый он называет «*этнографическим прецедентом*». Для этого типа характерно выявление одной простой ассоциации между двумя чертами в этнографическом объекте, а в археологическом объекте обнаруживается одна из этих черт и, поскольку предполагается такая же связь между чертами, отсутствующая в наличии черта восстанавливается (рис. 1).

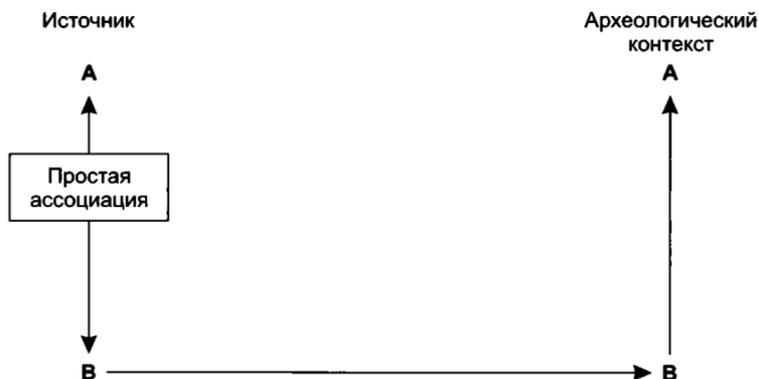


Рис. 1. Вывод по аналогии — этнографический прецедент (по Дж. Д. Люису-Уильямсу)

Второй тип исследователь именует «*этнографической параллелью*» (этот термин, однако, занят — параллелями принято считать конвергентные явления). По Люису-Уильямсу, это такие аналогии, в которых оба сравниваемых объекта — этнографический и археологический — схожи по многим чертам. Из этого выводится сходство и по черте, отсутствующей в археологическом объекте. Чем больше схожих черт, тем вероятнее эта определяющая связь в археологическом объекте (рис. 2).

Наиболее сильным Люис Уильямс считает третий тип аналогии (он оставил его без названия), в котором связь между чертами в этнографическом объекте отличается *логической необходимостью* и есть основания полагать такую же

необходимую связь (причинно-детерминирующий механизм) в археологическом объекте (рис. 3 — Lewis-Williams 1998: 157–164).

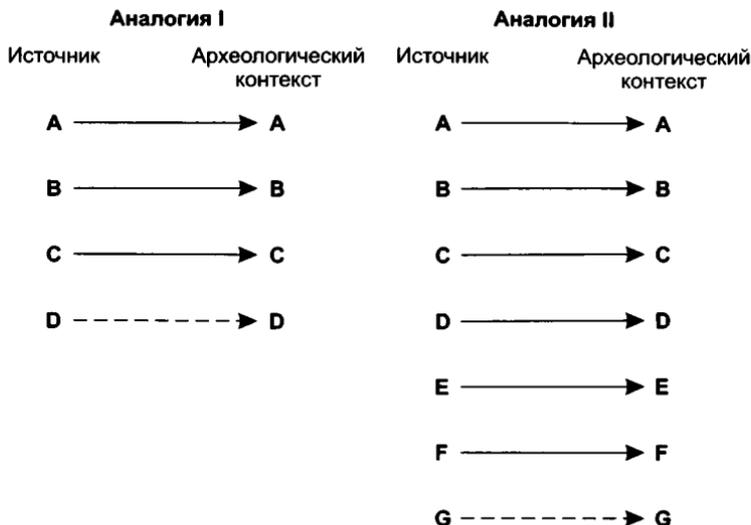


Рис. 2. Вывод по аналогии — этнографическая параллель. Сравнительная оценка аналогий подсчетом общих черт, положенных в основу аналогии (по Дж. Д. Люису-Уильямсу)

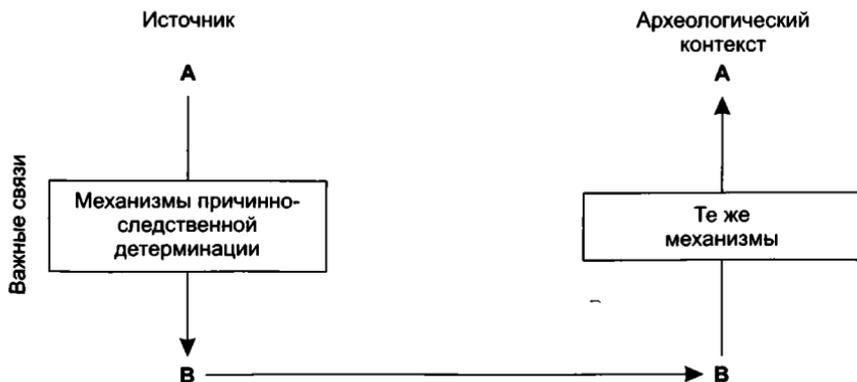


Рис. 3. Вывод по аналогии — связь на основе сходства причинно-следственных механизмов (по Дж. Д. Люису-Уильямсу)

Гукш различает *формальные* или *предметные аналогии* и более надежные *структурные* или *анalogии отношений* (Guksch 1993). Вообще же в логике

различаются больше разновидностей: *парадејгма* (перенос признака), которая бывает различной полноты, *аналогия соответствия* (перенос отношений), *модель* (совпадение структур, гомоморфное или, строже, изоморфное). Модель — наиболее строгая и полная разновидность аналогии — рассмотрена мною отдельно (Kleјn 1973a: 705–707). Вдобавок во всех видах аналогии есть возможность верификации гипотетических компонентов. В этом смысле аналогия не абсолютно бездоказательна.

Такова дифференциация сопоставлений и связанные с разными их видами ограничения. Но является ли ограничение гарантией надежности?

Так, Васил Маринов (1982) представил очень любопытную и полезную сводку болгарских этнографических аналогий археологическим находкам с территории Болгарии — типичный пример «местно-этнографического» или «непосредственно-исторического подхода». Среди артефактов, которым найдены этнографические аналогии, есть и знаменитые костяные «идольчики» энеолита — плоские обобщенные женские фигурки с зубчатыми краями (рис. 4, а). Оказалось, что очень похожие фигурки используются кое-где и сейчас в Болгарии — их изготавливают молодые люди и дарят своим любимым, а те наматывают на них пряжу; одновременно фигурки расцениваются как обереги (рис. 4, б). Толкование фигурок, конечно, очень интересное и вполне вероятное, но где уверенность, что традиция их изготовления и применения сохранялась в Болгарии в течение добрых пяти тысяч лет, когда за это время сменилось несколько совершенно чуждых друг другу народностей? Ограничение рамками «непосредственно-исторического подхода» такой гарантии не дает.

Эшер предложил задействовать все виды ограничений сразу. «Для каждой данной археологической ситуации, — пишет он (Ascher 1961: 268), — обычно существует более, чем одна единственная аналогия, которую можно было бы использовать в интерпретации данных. Реальная проблема заключается в следующем: из этого конечного числа возможных аналогов надо выбрать тот, который дает *наилучшее решение*. Отбор наилучшего решения более эффективен, когда менее удовлетворительные решения систематически исключаются. Так, первое исключение может быть сделано на основе экономики, второе на основе расстояния от археологической ситуации до возможного аналога в пространстве, во времени и по форме, а третье исключение может быть основано на степени близости отношений между формами в археологической ситуации отношениям между формами в гипотетически аналогичных ситуациях».

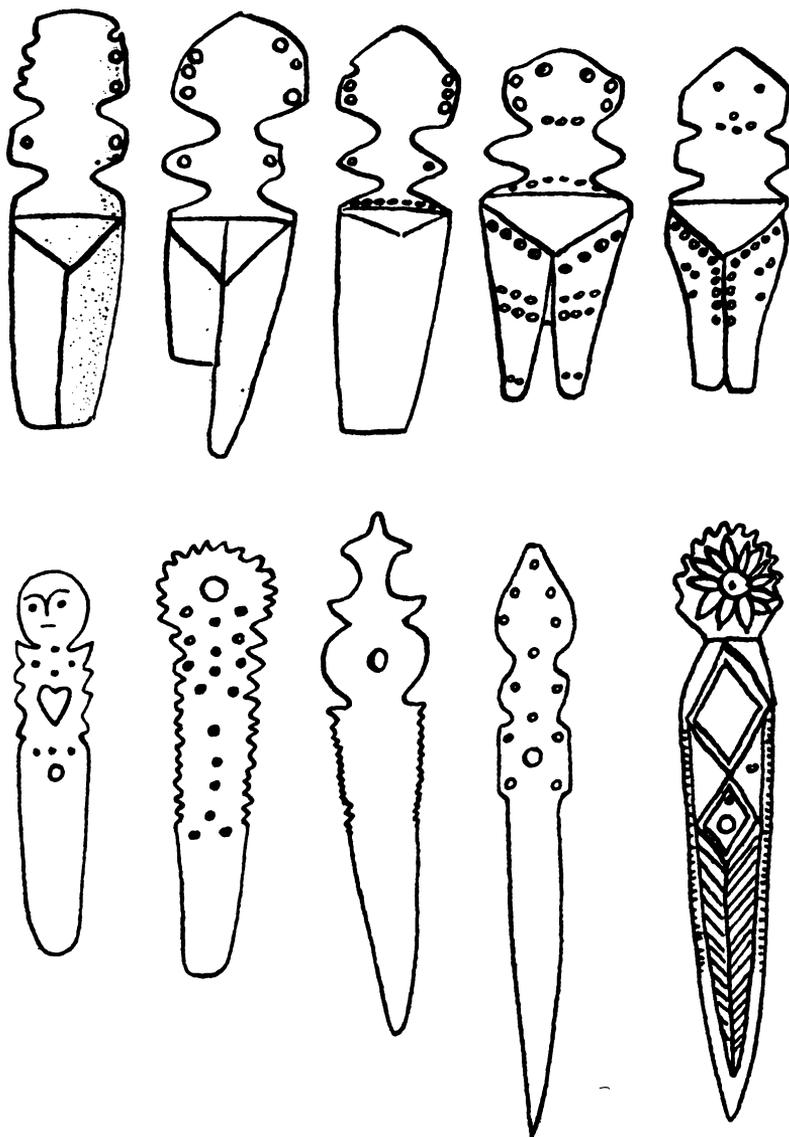


Рис. 4. Костяные женские фигурки: а — энеолитические (культуры Коджадермен — Гумельница — Караново б); б — современные болгарские (те и другие — по В. Маринову)

7. Эвристический спектр. Наслоение ограничений выглядит устрашающе. Между тем, реальный выбор не столь многосторонне ограничен. Наоборот, он чрезвычайно велик. Некоторых это даже пугает. Так, Ганс-Петер Вотцка пишет: «Часто необходимо выбирать *вероятные* из данного спектра *возможных* аналогий, но для этого в нашем распоряжении есть лишь недостаточные и не общепризнанные критерии» (Wotzka 1993: 253). Выбор аналогий и соответственно отбраковывание лишних (то есть выбор ограничений) во многом определяется задачей. Если мы ищем гомологию, то лучше ограничиться родственными и соседними культурами. Если мы нацелены на признаки развития, то надежнее сосредоточиться на синстадиальных культурах, на культурах одного уровня. И т. д. Но всё это лишь ради большей вероятности обнаружения. Разумеется, эти ограничения приобретут ценность и при выборе наиболее подходящего сопоставления из нескольких возможных — при наличии выбора. Но сначала нужно обеспечить саму *возможность выбора*.

Многие исследователи вообще не очень склонны ограничивать выбор источника аналогий — они больше уповают на логически выдержанную проверку ее соответствия археологическим фактам (Binford 1967a; Ucko 1969). Как уже говорилось, Бинфорд считает помощь этнографии нужной археологу лишь при генерировании гипотез. Того же мнения придерживается Питер Акко: «важнейшая функция этнографических параллелей <...> это расширять горизонты интерпретатора» (Ucko 1969: 262). С этим практически согласны немецкие исследователи Франк Феттер и Элизабет Нолль: «Прямо объяснять свои комплексы с помощью этнографических сопоставлений преисторик не может. Сравнение, параллелизирование, аналогия и конвергенция, как и лежащие в их основе представления и ожидания, имеют эвристическую функцию — они не интерпретируют из самих себя археологический материал» (Fetten und Noll 1992: 178).

Эти исследователи даже терминологически предложили отличать нацеленную на одно избранное толкование *аналогию* от *сравнения*, представляющего целый спектр возможностей. Вотцка справедливо заметил, что сколько бы аналогов ни было подключено, с точки зрения логики рассуждение остается заключением по аналогии (Wotzka 1993: 254). Он предложил вообще не налагать никаких ограничений на добывание аналогий. По крайней мере, пока не установлены и не показаны исторические связи, что толку налагать ограничения временем и пространством? Ведь «свободная аналогия» служит не как аргумент в доказательстве, а лишь как средство установления рамок интерпретации (Wotzka 1993: 256).

Представленная практика, которая должна иллюстрировать этот теоретический постулат, не очень ему соответствует. В поисках аналогий для ям

с керамикой в африканском тропическом лесу Вотцка составляет таблицу встречаемости 19 признаков в 34 археологических местонахождениях, а затем рассматривает 24 признака (сводимых к тем 19) в 91 этнографической аналогии с гораздо более широкой, хотя тоже центральноафриканской территории (рис. 5). Это дает ему минимум четыре возможных толкования по аналогии: погребальный ритуал, отверстия для душ, разрушение и инверсия, могилы без трупа. Методика строга и разработана, но «свободность» подбора аналогий здесь не наглядна: они ограничены территорией. Гораздо более для иллюстрации тезиса Вотцки подходит помещенная в том же томе статья Ульриха Штодиека о верхнепалеолитических однозубцовых «гарпунах» (рис. 5, а), оказавшихся копьеметалками (рис. 5, б) — орудиями для метания копий (по принципу пращи). Здесь археологические находки из Центральной Европы и Центральной Америки с ее окрестностями сопоставляются с этнографическими из Американского Севера, Южной Америки, Австралии, Океании и Камчатки (рис. 6–8). — Stodiek 1993).



Рис. 5. Распространение «кладов в ямах» в Африке: а — археологические находки (территория показана темной заливкой), б — сопоставляемые с ними этнографические комплексы (светлой заливкой). По Г.-П. Вотцке

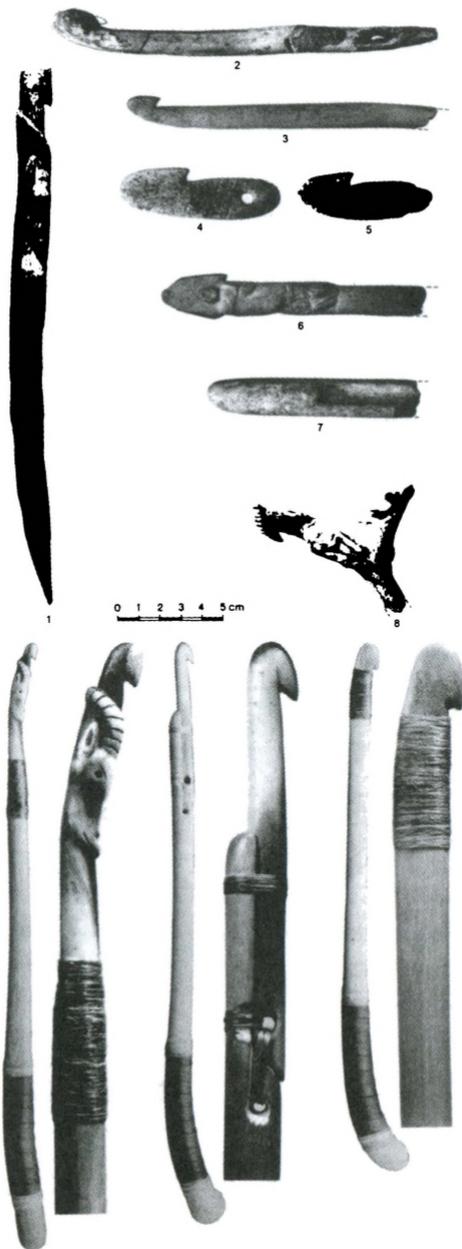


Рис. 5: а — «Одозубцевые гарпуны» (костяные и роговые стержни с крюком или выемкой на одном конце) из палеолита Западной Европы (по Геккелю — Haesckel 1961a); б — Реконструкция копьеметалок из «однозубцевых гарпунов» (по Геккелю — Haesckel 1961a)

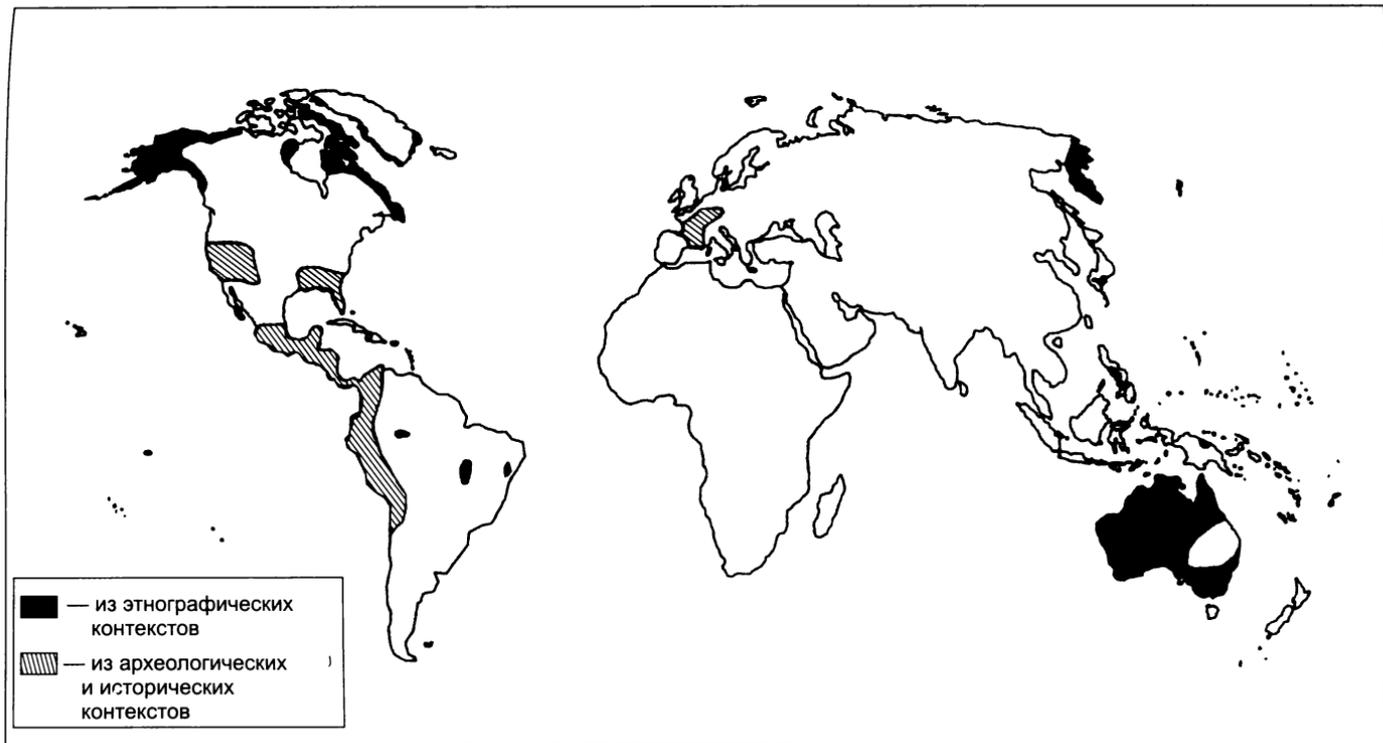


Рис. 6. Распространение копьейных изделий: а — из этнографических контекстов (территория показана темной заливкой); б — из археологических и исторических контекстов (светлой заливкой). По У. Штодиеку

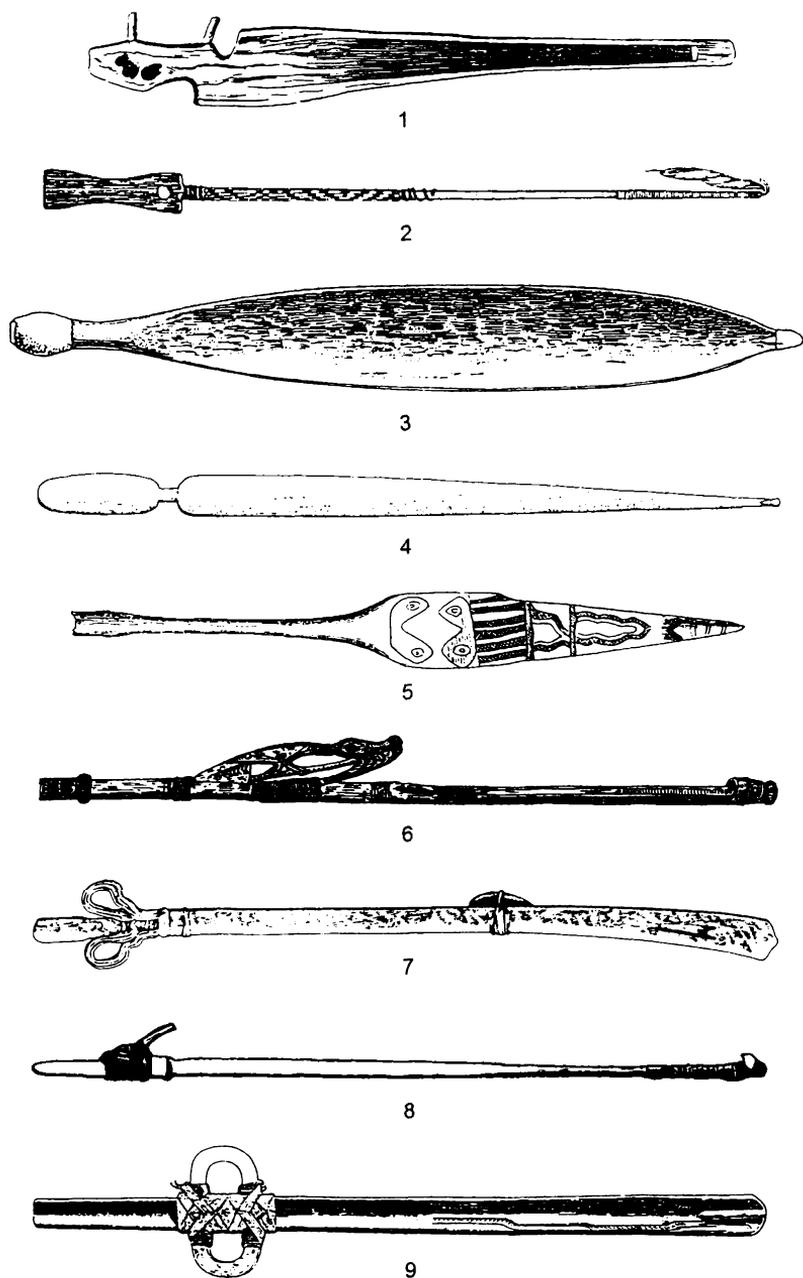


Рис. 7. Копьетаалки: 1–6 из археологических контекстов, 7–9 из этнографических контекстов (по У. Штодису)

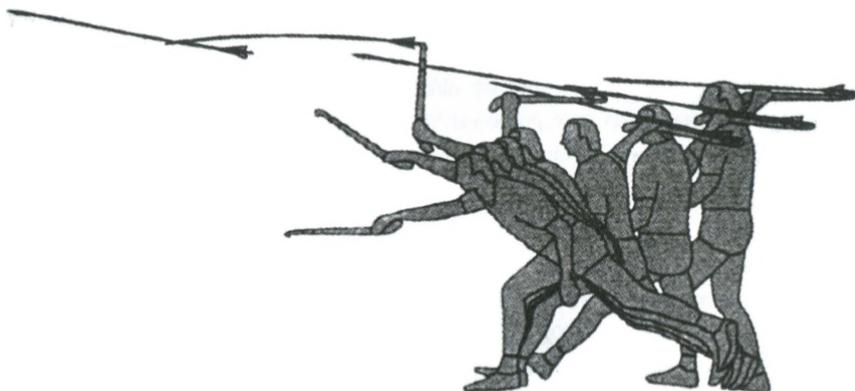


Рис. 8. Фазы движения копьеметателя с копьеметалкой. Кадры из экспериментального кинофильма (дано по У. Штодиеку)

Кстати, как раз эти орудия Геккель в споре с Питтиони приводил в доказательство необходимости этнографических аналогий. Как иначе было бы догадаться об их назначении? Если бы не этнография, они «никогда не были бы интерпретированы как ‘метатели копий’» (Haeskel 1961a: 35–36; 1961b: 197). На это Питтиони возразил: «Еще не доказано, что предмет, который мы обозначаем как «копьеметалка», был ею на самом деле» (Ibid., 36). Ну, у Штодиека это доказано. И доказано в основном обобщением аналогий (у Штодиека приведены еще и эксперименты метания). Логика убедительности основана на соображении вероятности: если в таком большом числе случаев при таком разнообразии условий предметы этой формы служат орудиями для метания копий, то стоит ли сомневаться в том, что и данная находка имела ту же функцию? Иными словами, для сомнения надо бы привести другую функцию, которая бы выглядела более подходящей или хотя бы столь же приемлемой. А это зависит от широты и полноты обзора. *Эвристическое* значение здесь перерастает в *доказательное*.

Так или иначе ряд исследователей явно признает за аналогией лишь эвристическую роль, снабжение спектром возможных аналогий. Но так ли это?

Во-первых, это ограничение не совсем обосновано. Вся логика доказательности сведена здесь к однозначным силлогизмам — мол, раз их нет, значит, нет и доказательства. Между тем, в доказательстве гипотез вообще, в аналогии особенно, огромная роль принадлежит *вероятностным* суждениям, а они могут быть достаточно надежными. Множество практических устройств, основанных на теориях, доказанных в вероятностном ключе, прекрасно работают. Когда не удастся найти способ количественной оценки вероятности, большой выбор

относящихся к делу аналогий как раз и помогает оценить степень вероятности без математических подсчетов, опираясь на сравнение «более вероятно — менее вероятно», на положение на шкале градации. При таком выборе легче отыскать и количественный критерий оценки.

Во вторых, открыть глаза на множество аналогий — это и само по себе не так уж мало! Необходимо обеспечить очень широкий спектр возможностей интерпретации, чтобы в него попало то неведомое пока толкование, которое окажется удачным и имеющим шансы на подтверждение. В другом повороте это всё тот же «принцип множественности гипотез» Чемберлена, который был выдвинут в конце прошлого века — ради преодоления субъективности исследователя (Т. Чемберлен имел в виду, что исследователь должен гнать от себя привязанность к одной избранной им гипотезе и рассматривать весь спектр принципиально возможных гипотез по любому данному случаю).

Питер Акко представил обзор возможностей в толковании археологических материалов по способу погребения на основе широкой сводки данных этнографии. Вскоре аналогичное исследование предпринял Марк Блок (Ucko 1969; Bloch 1971). Через десятилетие по конкретному поводу с подобными выводами выступил чешский археолог Йозеф Кандерт, видимо не зная о работах Аккоу и Блока (он их не упоминает).

«При применении этнографических параллелей в качестве модельных объяснений, — пишет он, — еще прежде, чем будут привлечены отдельные модельные объяснения из этнографии, надо исключить все другие этнографические модельные объяснения. Этнографические параллели надо понимать как угол зрения, под которым археологи могут исследовать найденные под землей следы, а не как аргумент» (Kandert 1982: 199).

В этой полемической статье по поводу использования этнографических материалов в публикации Я. Боузэка и Д. Коутецкого о кновизских погребениях, Кандерт привел сжатый, но очень внушительный список возможных этнографических явлений, стоящих за археологическими вариантами способов погребения:

1. Первичные погребения:

- а) отнесение тел умерших членов деревни или стойбища на природу,
- б) непогребение собственных убитых воинов,
- в) погребение в дупле дерева или на ветвях,
- г) погребение на деревянных площадках на столбах,

- д) погребение в домиках,
 - е) погребение в саркофагах или изваяниях, стоящих на земле.
2. Вторичные погребения (перезахоронения):
- а) перезахоронение на земле при первичном захоронении в земле,
 - б) первичное и вторичное на земле или над землей,
 - в) первичное и вторичное в земле,
 - г) первичное над землей, вторичное опущено вниз,
 - д) вторичное погребение отдельных костей.
3. Охота за черепами и охотничьи трофеи.
4. Употребление человеческих останков в дело.
5. Человеческие жертвоприношения.

Каждый из этих пунктов снабжен несколькими (2–8) примерами.

Рассматривая эти погребения со стороны археологических остатков, Кандерт замечает:

1. Смешанные и частично обожженные кости людей и зверей не обязательно являются свидетельствами ежедневного каннибализма. Они могут оказаться остатком жертвоприношений богам или погребенным старейшинам.

2. Рассыпанные и обожженные человеческие кости можно также рассматривать и как остатки перезахоронения.

3. Находки одиночных костей, черепов тоже не обязательно остались от каннибализма, а скорее от изготовления ритуальных предметов — чаш, масок, музыкальных инструментов, а могут и вообще остаться от первичного погребения. Могут они свидетельствовать о жертвоприношениях, о культе мертвых, об охоте за черепами.

Что касается расчлененных скелетов, то к ним могут привести погребения на площадках на земле или над ней, вторичное погребение части костей, обычай не похоронить павших воинов и проч. Много возможностей оказывается и для восстановления похорон для погребенных в ямах.

Обзоры существовавших в мире способов погребения, обычно региональные, делались и этнографами и археологами, причем гораздо более системные и связные, с исследованием развития, воздействующих факторов и т. п., но, тенденция к созданию обзоров, нацеленных на построение соответствий между этнографией и археологическими следами, характерна для полутора-двух десятилетий с конца 60-х по середину 80-х годов (см. также O'Shea 1984).

Ян Боузек поместил в том же номере журнала ответ Кандерту, в котором всё же ограничивает Евразией сопоставимые этнографические материалы для периода с начала бронзового века, поскольку с этого времени Древний Восток и Европа выделились в особый регион, а материалы с других конти-

нентов считает подходящими только для предшествующего времени (Bouzek 1982). Видимо, здесь принимается ограничение, налагаемое признанием диффузии...

8. Эвристические индикации. Вообще все эти ограничения полезны только на этапе проверки доказательности, но могут лишь повредить на этапе поисков. Здесь на первый план должны выступить *формальные сходства* и специфические *редкостные детали*. То, что Гребнер называл *критерием качества*. При чем для каждого отдельного случая не так уж важно, где будет найдено подобие — в археологическом ли материале других культур, в культуре ли народов, описанных древними авторами или в живом быту наследников исследуемой культуры, их соседей или современников. Проиллюстрирую свою мысль несколькими примерами из своей личной практики. К собственному опыту я решил обратиться не потому, что он особенно показателен, а потому, что здесь психологический рисунок поиска мне хорошо известен.

Случай 1. Псалии. В конце 1960 г. сотрудница кафедры, где я работал, В. Д. Рыбалова, показывала коллегам свою находку и опрашивала всех, не видел ли кто-нибудь что-либо подобное. В Крыму, в поселении позднебронзового века она нашла в 1958 г. небольшой, помещающийся на ладони костяной диск с отверстиями и выступающими в одну торцовую сторону шипами (рис. 9, а). Я тогда занимался между прочим Эгейским миром и регулярно читал европейские археологические журналы. Похожие вещицы я увидел в статье Алана Уэйса «Микенская тайна» в «Археолоджи» (Wace 1960). Он собрал и опубликовал целую серию подобных предметов из позднеэлладских памятников (рис. 9, б). Это были небольшие орнаментированные диски из бронзы, кости и глины, снабженные каждый отверстиями и четырьмя шипами, отходящими в одну сторону. Уэйс терялся в догадках, что это такое. Персон опубликовал один такой предмет как чашку от меча (часть перекрестья), Рейхель — как навершие шлема. Уэйс сопоставлял их с глиняными модельками мебели — табуреток, тронов и столиков, но те, добавлял он, сделаны в другой технике и не орнаментированы.

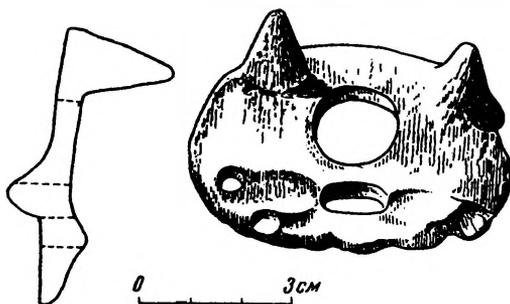
«Четыре ножки наших дисков, — писал Уэйс, — не навевают мысль о религиозной функции, но и не препятствуют ей. Возможно, соблазнительно искать религиозное объяснение типу или предмету, назначение которого столь темно, но ни жертвенный столик, ни сосудик для возлияний, уже идентифицированные, не дают близких параллелей к этим предметам».

Итак, назначение предметов оставалось в тайне, но, по крайней мере Микены — это была датировка! Я поделился своими сведениями с В. Д. Рыбаловой, а она предоставила их и саму находку Б. А. Латынину, который уже раньше работал над этой темой, и они стали готовить публикации. Но вскоре, прежде, чем появились их статьи об этом, вышла подробная сводка К. Ф. Смирнова (1961), в которой были классифицированы и определены не совсем такие, но явно родственные предметы — *псалии* (части архаической конской узды, близкие по функции к трензелям). К крымской и микенским находкам особенно близки были древневосточные металлические псалии в виде колесиков с шипами (рис. 10) и венгерские костяные дисковидные с боковыми отростками.

Смирнов подошел к делу с другой стороны. Он давно изучал погребения бронзового и раннежелезного века с конями, находил в них детали узды и изучал ее устройство и историю по литературе. Ему были уже известны работа Потраца о конской узде в Междуречье и статьи венгров о псалиях (Potratz 1941; Mozsolics 1953; Vökönyű 1953). Он подключил наши степные находки к этому кругу. А к шести типам псалиев, постулированным у Смирнова, работами Лескова, Латынина и Рыбаловой (Лесков 1964; Латынин 1965; Рыбалова 1966) был добавлен еще один тип — костяные дисковидные. Функциональное назначение костяных дисков как псалиев стало общеизвестной частицей археологического знания.

Заслуга опознания принадлежит Потрацу, венгерским ученым и Смирнову. Для них же в опознании этих предметов имело значение: а) нахождение этих предметов *in situ* по бокам конского черепа в могилах с конями, б) этнографическое и обыденное знание конской узды, в) описание именно данных деталей узды у древних авторов (начиная с Гомера), г) обнаружение этих деталей на древних изображениях. Кстати, и название в археологии привилось именно древнегреческое.

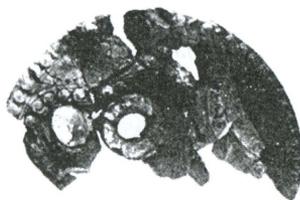
Но археологических определителей нет, и в период, когда назначение этих дисков и колесиков еще не было широко известно археологам, перед каждым отдельным исследователем задача опознания их вставала как задача поисков аналогий. Если бы он руководствовался ограничениями, перечисленными выше, он был бы ориентирован на слишком узкий круг материалов. Поиски античников были бы направлены на классический мир и эгейскую цивилизацию (искания Уэйса в этом отношении очень характерны), поиски наших бронзовиков — на быт поселений. Там их не ожидал успех. Если бы в археологии существовали определители находок, подобные минералогическим определителям или ботаническим и т. п., то, конечно, искать нужно было бы прежде всего предметы, наиболее близкие по форме, а затем по контекстам встречаемости.



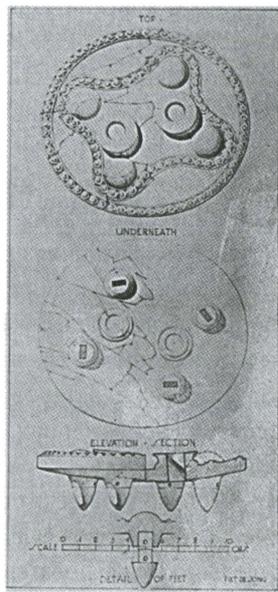
а



б



в



г



д



е



ж

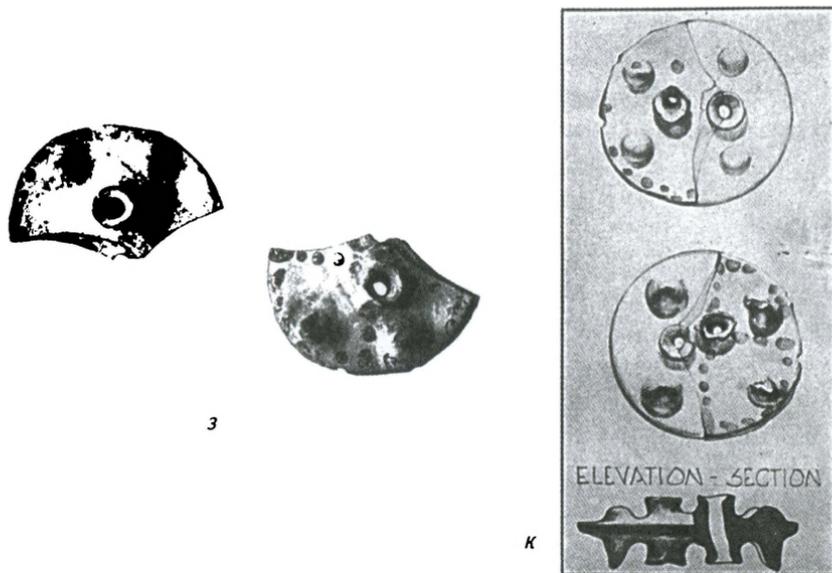


Рис. 9. Костяной предмет из Каменки и его аналогии: *а* — Костяной диск с поселения Каменка близ Керчи (раскопки В. Д. Рыбаловой); *б, в, г* — глиняный диск из цитадели Микен (вид сверху, вид снизу, графическая реконструкция Ч. Уильямса); *д, е, ж* — фрагменты костяных дисков из Дома Щитов в Микенах и их графическая реконструкция Пье де Жонга; *з, к* — костяные диски из Каковатоса, толос А, и Дома Щитов в Микенах, реставрированы в воске

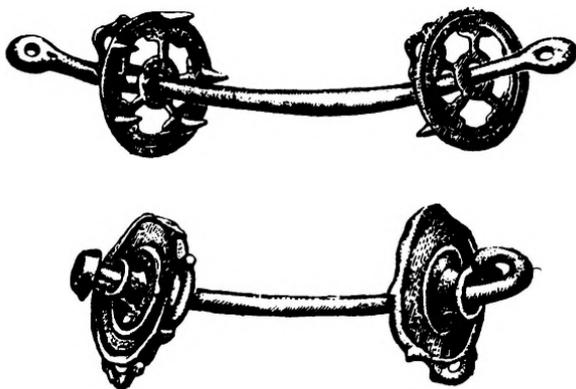


Рис. 10. Металлические удила с псалями из Газы и Рас-Шамры (Сирия).
По Й. А. Г. Потрацу и А. П. Смирнову

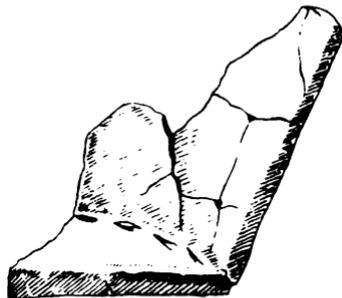


Рис. 11. «Половинка сосуда» — фрагмент керамики из Иволгинского городища (раскопки А. В. Давыдовой)

Думаю, что в памяти археологов, первыми опознавших эти предметы, ассоциация с предметами живой культуры образовалась прежде всего по типичному контексту и форме, при чем особенное значение имели отверстия и шипы.

Случай 2. Эпинетрон. Другая сотрудница нашей кафедры, А. В. Давыдова, привезла из экспедиции, которой она руководила, раскапывая гуннское поселение, странный керамический предмет — половинку баночного сосуда, как бы разрезанного вертикально пополам. Загвоздка в том, что сосуд был таким и обожжен. То есть если он и был разрезан, то до обжига. находка была единична (рис. 11). Дотошный и опытный археолог-практик, скептически относившаяся к моим теоретическим занятиям, А. В. Давыдова обратилась ко мне с вызовом: вот вам случай доказать, на что способен теоретик. Определите, что это за предмет. Аналогий ему нет. Если сможете это сделать, я буду готова публично признать вас гением (почему-то многие археологи были озабочены аттестацией моего дарования — ср. Пиотровский 1998).

Мысли мои, естественно, были направлены на мир посуды. Но не вообразить же гуннов с настенными кашпо, да такие кашпо должны иметь стенку или хотя бы дырочки для крепления. Можно представить себе, что такие сосуды предназначались для некоей полужидкой субстанции, типа теста, после застывания или запекания которой половинки разнимались, чтобы легко вынуть содержимое, не разрушая сосуд. Но тогда предметы должны быть парными, а они не парные. А коль скоро функционально одиночная половинка сосуда бессмысленна, то само собой напрашивалось некое культовое назначение с мистическим смыслом (половина мира, пол и т. п.)...

Мне повезло. Готовясь к лекциям по введению в археологию, я листал разные учебники по этому предмету. В одном из них, относящемся к античной археологии (Niemeyer 1968), я натолкнулся на знакомую половинку сосуда. Это оказалось известное в классическом мире приспособление для женской до-

машней работы с пряжей: наколенник, по гречески — *эпинетрон*. Его сначала трактовали как разновидность черепицы для крыш, но К. Роберт (Robert 1893: 247–249) установил его истинное назначение и название в древнегреческом быту. Сохранились изображения, где эпинетрон показан в применении, а на самих античных эпинетронах часто изображены сцены из женского быта (рис. 12, а, 12, б).

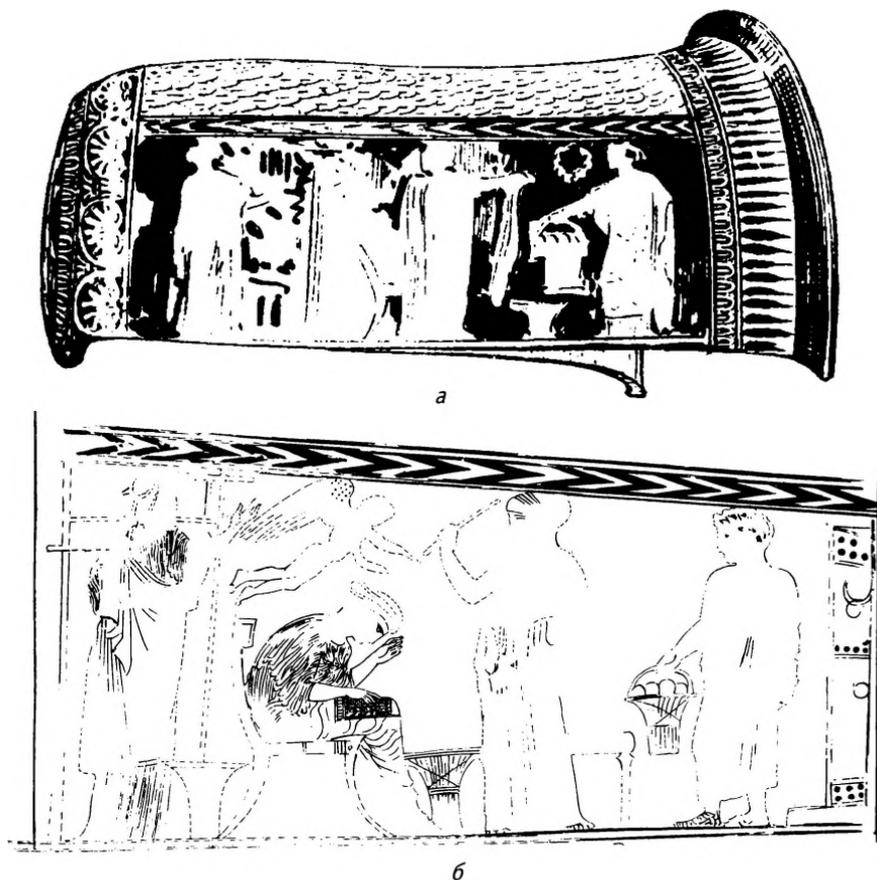


Рис. 12: а — Эпинетрон (наколенник), расписанный «художником из Эретрии» (б — по К. Роберту); б — Употребление эпинетрона при прядении по изображению на античной росписи (по К. Роберту)

Моей гениальности это «открытие», конечно, не доказывает (в лучшем случае некоторую эрудицию и наблюдательность). Но удача на неожиданном направлении поисков примечательна. Аналогия из античного мира гуннскому

изделию показалась столь несурзающей специалистке по гуннскому времени в Забайкалье, что несмотря на собственное образование античника (она ученица Блаватского), она не приняла мою подсказку всерьез и не включила это опознание в публикацию (см. Давыдова 1995: 26, табл. 103, 9–10; 178, 17). Между тем, с пряжей женщины работают во всех культурах железного века, и, аналогия ли здесь или гомология, но это сопоставление дает, мне кажется, единственно возможное толкование. Методика, кстати, не вполне этнографическая, но близкая к ней: в качестве этнографов-описателей выступают древние авторы.

Случай 3. «Скипетры». В данном случае толкование принадлежит мне (Клейн 1990). Речь идет о «каменных зооморфных скипетрах» степного энеолита. Найдено их несколько десятков. Они распространены от Предкавказья до Подунавья в разных культурах, синхронных Триполью VI (здесь рис. 13, а, последние сводки — Дергачев и Сорокин 1986, Govedarica und Caiser 1996). Это продолговатые длиной в 13–15 см изображения головы животного с вышением на морде. Лицевая часть полирована, а затылочная — оставлена шершавой. По форме они напоминают боевые топоры, но ни топорами, ни скипетрами они никак не могут быть, коль скоро не имеют проушного отверстия и никаких признаков того, что крепились на рукоять. Их просто держали в руке, для чего шершавая часть и предназначена (не скользит). Благое Говедарица и Эрика Кайзер предположили всё же втульчатую рукоять, фиксированную этим выступом, якобы пролезавшим в специальное отверстие, но эта экзотическая и явно надуманная реконструкция не подкрепляется никакими фактами, что сами авторы и признают. Дергачев уподоблял выступ на голове животного гриве лосихи на жезле из Оленеостровского могильника (рис. 13, б). Но культура чуждая, а грива засвидетельствована неоднократно выступов, тогда как «скипетров» он всегда один.

Животное археологи определяли как собаку (бульдога или мастифа), свинью или дикого кабана, носорога, гиппопотама, а чаще всего — коня. Отсюда рассуждения о роли коня в степном энеолите. Споры шли о том, изображен ли взнузданный конь или без узды. Но так как у животного имеется рог на морде, при том один, а носорог в наших степях в энеолите не водился, напрашивается вывод, что изображалось мифическое животное — *единорог* (конь с частями других животных и одним рогом посреди лба). Этот образ известен во многих мифологических системах Европы и Азии. Латинское обозначение — *монокерос*, китайск. *килин*, древнерусск. *инрог*. Ктесий, врач Артаксеркса II, сообщает, что индийский единорог имеет вид белого коня с синими глазами, а конец рога красный. В древнем Китае и Индии рог Единорога имел фаллическое значение.

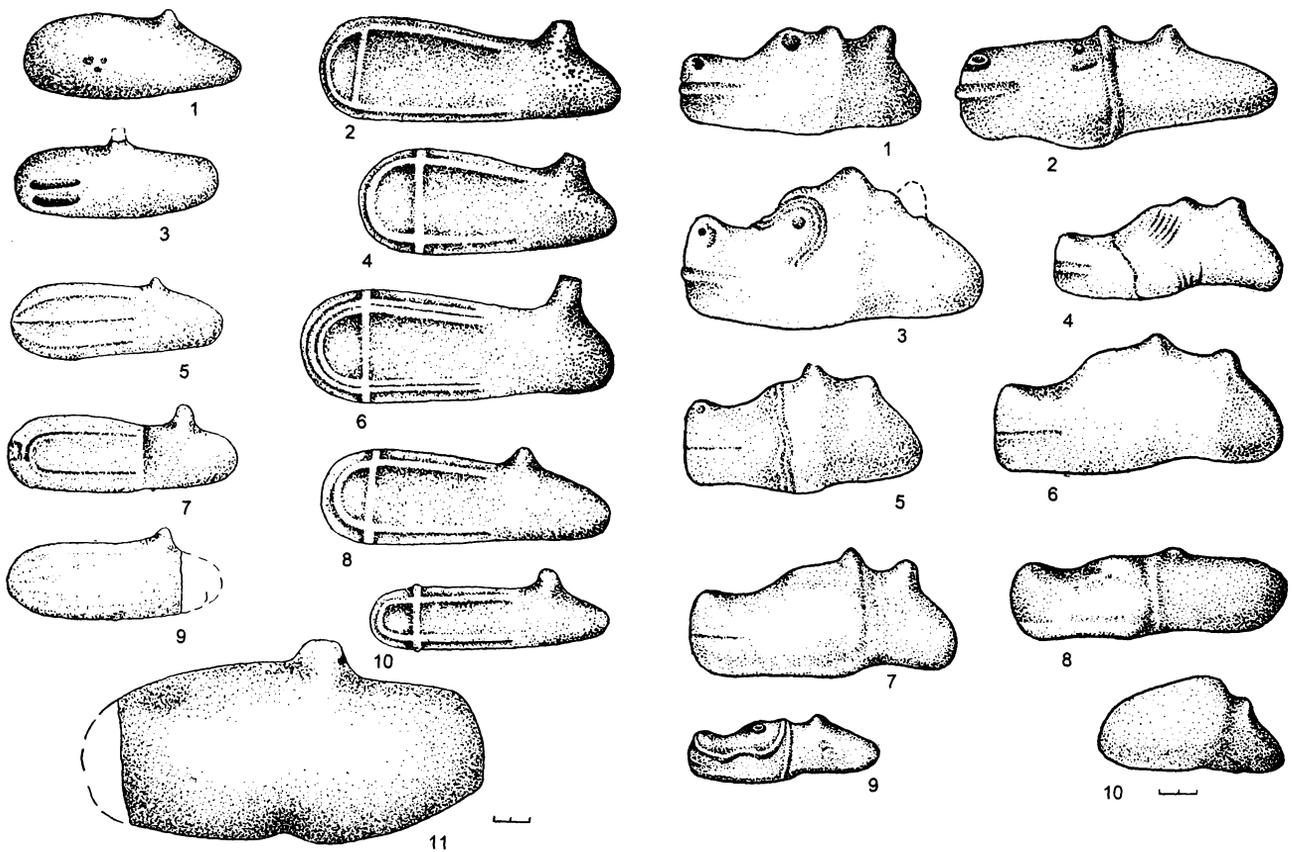


Рис. 13, а — так наз. «зооморфные скипетры» степного энеолита (сведено из двух таблиц В. А. Дергачева)



Рис. 13, б — Скульптурное изображение лосиной головы из погр. 153 (Оленеостровский могильник)

Миф о Единороге был широко распространен по средневековой Европе и Древнему Востоку. Единорог известен тем, что это дикое и опасное животное, не имеющее самок, а органом размножения у него служил именно рог. С оригинальной сексуальностью единорога как-то связано то, что укротить его могла только чистая, нетронутая дева — единорог успокаивался в ее лоне и засыпал. Иными словами, по-видимому, предусматривался некий добровольный половой акт, в котором дефлорация производилась рогом единорога, хотя прямо об этом в сказочных повествованиях, дошедших до нас и большей частью пронизанных христианской моралью, не говорится. Легенда о Единороге и деве древняя, есть уже у Исидора Медиенского, современника Плиния (Иванов 1980; Schörf 1988: 65–90).

На этом основании я предположительно связал эти так наз. скипетры с этнографически широко засвидетельствованным обычаем дефлорации девушек специальным орудием от руки жреца. Символически это могло рассматриваться как дефлорация культовым животным — единорогом. Так что это не скипетры, а *дефлораторы*. Полированность лицевой части орудия обеспечивала легкость скольжения. Подтверждением такого толкования является то, что в одном

случае, когда «скипетр» найден в погребении, он располагался там, где должен был оказаться половой член.

Здесь начальное звено сопоставления (так наз. скипетры) и конечное звено (дефлораторы) находятся в очень разных сферах: первое — в степных памятниках энеолита, второе — в широчайшем круге первобытных культур, практически ничем не ограниченном. Связующим звеном служит соответствие изображения образу единорога из мифа, очень напоминающего ритуал дефлорации и, вероятно, являющегося его нарративным оформлением. Дополнительную связь дает формальное соответствие «скипетров» функции дефлоратора.

Случай 4. «Кинжалы». Здесь также я излагаю собственную идею, так и не опубликованную прежде. Речь идет о бронзовых так наз. «кинжалах» медно-бронзового века (рис. 14). Феттен и Нолль относят этот артефакт к классическим загадкам археологии, на которых буксует этнографическое сравнение. Они приводят случаи с явно недопустимыми аналогиями (сравнение Стоунхенджа со Св. Софией) и продолжают так:

«Проблематичнее применение и в то же время функциональное определение понятий “бритва” или “кинжал” (соответственно в гальштатском контексте или в контексте медного века). Идет ли здесь речь только об условных шифрах для некой формы или об обозначенных функциональных определениях, или же этим понятиям соответствует некое знание о выраженных функциях? Положение дел осложняется тем, что мы обычно связываем с “бритвой/кинжалом” установленные виды деятельности, которые относятся к определенным объектам. Даже если только эти объекты окажутся иными по сравнению с нашими представлениями, — например, “кинжал” окажется направленным против зверя на охоте, — мы бы сменили название, чтобы не нарушить наше аналогизирующее понимание, отчеканенное обиходным языком. <...> Дополнительные трудности выступают относительно других артефактов, которые мыслимы как многоцелевые орудия, во всяком случае функционально не определяемые однозначно, или как составные орудия, лишь частично сохранившиеся и доступные рассмотрению» (Fetten und Noll 1992: 165).

С конца 40-х годов я занимался степными катакомбными погребениями раннебронзового века, в которых обильно представлены плоские металлические «кинжалы». В нашей литературе их называют еще и «ножами». Это, конечно, не

кинжалы, не оружие, поскольку они не имеют ни nervur, ни ребер жесткости, ни (большой частью) острого конца. Когда же конец острый, это получилось от стачивания, возможно, не намеренно (Бианки 1991). Основная работа орудия приходится именно на этот конец, а не на боковые лезвия, потому что есть немало клинков, сточенных почти до рукояти. То есть шло стачивание не столько боковых лезвий, сколько всего клинка с конца к основанию, пока не оставался короткий огрызок. И этими огрызками всё-таки работали, они оставались функциональными!

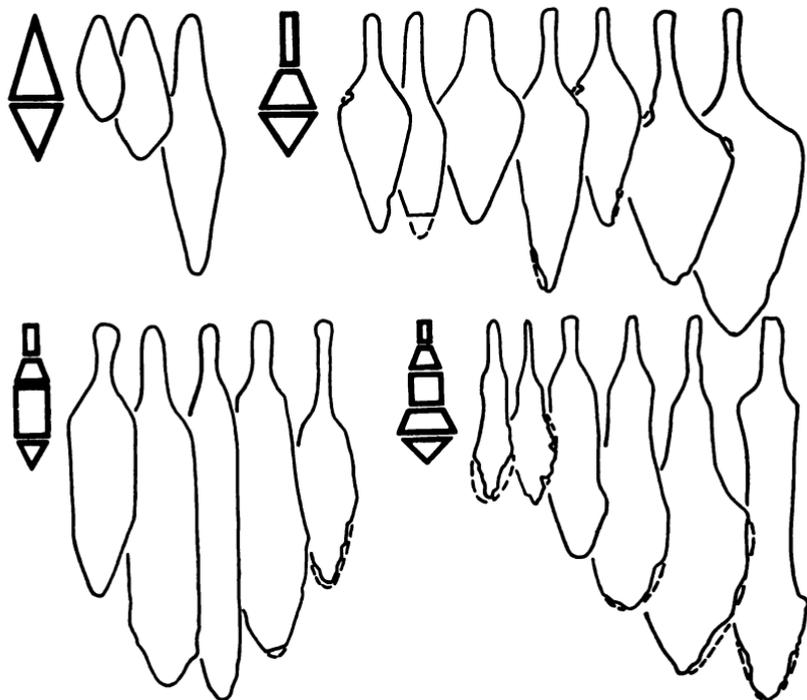


Рис. 14. Бронзовые «кинжалы» катакомбной культурной общности. По А. М. Бианки

Я много думал над назначением этих артефактов. Проще всего было бы определить их как обычные многофункциональные ножи, прежде всего разделочные и столовые, опираясь на этнографические аналогии и обиходную современную практику. Но в том-то и дело, что эти аналогии поверхностны, не совсем отвечают нашим находкам по форме. Ведь аналогичные современные ножи обычно односторонни, обладают затупленной спинкой, чтобы при разрезании можно было нажать сверху, не порезавшись. А эти артефакты имеют лезвия с обеих сторон — действительно, как кинжалы. Вот сочетание

двусторонности с округлым, но острым концом и образует основную трудность определения.

Аналогии надо искать именно этому сочетанию признаков, а не материалу и общим контурам артефакта (как обычно поступают). Кроме того, надо учитывать общую направленность того хозяйства и быта, в котором эти артефакты применялись. Люди катакомбной культуры были прежде всего скотоводами, потребляли мясную пищу и носили одежду из шерсти и кожи. Как разделочные и столовые ножи использовать катакомбные «кинжалы» можно, но не этой функцией обусловлена их форма, потому что для этого удобнее другая форма, которая и стабилизировалась в современных ножах этого назначения. Иное дело обработка кожи. Мы знаем, что в неолите для обработки кожи использовались скребки (орудия с округлым лезвием) и резцы. Те и другие держались при работе перпендикулярно материалу. Это одна аналогия. Другая — современные железные и древние раскrojечные ножи кожевников — широкие, с округлым (дугообразным) лезвием, полулунный клинок гораздо шире рукояти. Их держат в руке вертикально клинком вниз — и кроят.

Катакомбные ножи не столь широки. Конечно, ввиду дефицитности металла, такой нож должен был выполнять у катакомбников и другие функции — разделочного, столового. Его обнаруживали в могиле при костях животных и даже в сосуде с остатками мясной пищи (с костями).

Возможно, поэтому мою статью с «непохожими» аналогиями долго не принимали ни в одно издание (я был тогда молодым исследователем, сейчас бы, может, и приняли — имени ради). А мне и сейчас моя гипотеза, основанная на аналогии, кажется наиболее соответствующей обстоятельствам, но я всё еще не знаю, как подтвердить ее независимыми фактами. Надеяться на трасологов? Ждать счастливой находки?

Убедительность представленных здесь толкований разная — от единственно возможного — на уровне факта (псалии) и наиболее вероятного (эпинетрон) до одного из возможных («кинжалы» как кожевенные ножи). Где-то между ними находится гипотеза о скипетрах как инструментах дефлорации. Эта гипотеза предстает реалистичной, и пока что остается единственной, в которой не нашлось противоречий, хотя ее система доказательств слишком тонка и сложна, поэтому не для всех убедительна. Но все приведенные толкования на основе аналогий расширяют наше понимание материала. Возможно, имело бы смысл построить шкалу разрядов убедительности толкований по аналогии, используя схему Люиса-Уильямса и приведенные здесь примеры оценок. Во всяком случае, если бы мы захотели оставить в науке только абсолютно доказательные аналогии, наш свод знаний о прошлом катастрофически обеднел бы.

Зацепкой же для нахождения аналогий, отправной точкой служили *формальные сходства и контекст обнаружения*. К сожалению, во многом приходилось полагаться на личную эрудицию и случай. Археология остро нуждается в *типологических определителях*, в которых были бы учтены типы не только археологических артефактов и комплексов, но и этнографических предметов и ситуаций, и где они были бы упорядочены не соответственно историческому развитию или территориям (такие есть), а *по форме и контексту*. Развитие компьютерной техники делает эту задачу гораздо более реалистичной, чем раньше.

9. Путь к синтезу и реконструкции. В трех из четырех случаев определяемые с помощью сопоставления находки не уникальны, а образуют типы, подысканные же им аналогии распространены чрезвычайно широко.

В разделе о «доказательной аналогии» Томпсон писал: «Важное теоретическое значение имеет признание того, что аналогия основана на сравнении абстракций, а не на сходстве между отдельными артефактами... Артефакт не трактуется как индивидуальный объект, а как член группы объектов, именуемой типом» (Thompson 1956/1971: 151). С ним согласен Бинфорд. Он начинает свою логическую процедуру сопоставления с того, что устанавливается аналогия «*между классом археологически наблюдаемых явлений и классом этнографически наблюдаемых явлений*» (Binford 1967a: 47).

Но мало того. Чтобы аналогия была успешной, исследователь стремится расширить количество связей, умножить аспекты, в которых связи проявляются: сходство географического распространения, сходство хронологии, контекстов. Разумеется, учитывается и интенсивность сходств — количество деталей и признаков близости. Но главное — ведется поиск причинно-следственной связи между компонентами аналогии в каждом из аналогов — этнографическом и археологическом. То есть аналогия осмысливается.

Бинфорд настаивает на том, что всё же результат такого рассуждения остается гипотетическим и нуждается в проверке на независимых фактах. Что ж, проверка никогда не помешает, но и обычный способ логического рассуждения в аналогии, если соблюдены приведенные критерии убедительности, может дать такую степень вероятности вывода, что можно признать его достаточно надежным.

Сопоставление осуществляется по-разному в разных ситуациях, при разных задачах. При определении гомологии (контактов, общности происхождения, родства) важно установить сложную индивидуальность случайно сложившейся конфигурации, неповторимой без передачи (Graebner 1911). При поисках же

независимого проявления одинаковых законов (конвергенция и «параллель») важно, наоборот, установить неслучайность совпадения. Это значит снять специфичность, уникальность, обеспечить открепление от конкретности, сделать выжимку инвариантной сути, обобщение (Кабо 1979). Здесь чем шире и разнообразнее база обобщенных материалов, тем правомочнее приобщение новых материалов, перенос обобщения (Prinke 1973: 64).

Иными словами, из этнографии берутся не отдельные факты, сходные с археологически зафиксированными, а тип, система, теоретический концепт — результат обобщения и объяснения весьма разнообразных проявлений одной закономерности или одной структуры в разных условиях. Археологическое проявление должно вписываться в эту систему проявлений, но может и не совпадать близко ни с одним из них (Кабо 1979: 102–103).

Здесь-то и кроется ключ к реконструкции тех структур прошлого, которым нет прямых подобий в современности. Вычленение отдельных компонентов и ситуаций, обобщение вычлененных объектов позволяет распространить эту методику и на реконструкцию обществ и культур палеолита. К тому же не все изоляты аномальны (Deetz 1968).

Пусть исчезнувшие культуры первобытных предков нынешнего цивилизованного человечества не во всем походили на современные культуры отсталых народностей. Пусть неизбежная археологическая трансформация (при отложении) еще больше затрудняет увязку с живыми. Всё же она возможна. Сама возможность и способы этой увязки определяются прежде всего исторической типологизацией социокультурных систем, их объединением по синстадиальности, их распределением по уровням развития. Иными словами, сама возможность археолого-этнографических параллелей зависит от реализации, так сказать, этнографо-этнографических (то есть внутри-этнографических) параллелей (Клейн 1981) — тех, о которых писал еще Эренрейх (Ehrenreich 1903). Проблема же сопоставления, таким образом, есть не только междисциплинарная, но — в ином аспекте — и собственно этнографическая.

Вместе с тем и археолог не вправе выдвигать и сопоставлять с этнографическими данными отдельный конкретный фрагмент материала сам по себе, в изолированном виде. Сначала нужно включить его в археологическую систему, объединить с сопряженными, обобщить, возвести в типическое, выявить все потенции увязки последнего с прочими данными (так сказать, определить валентность) и лишь затем результат сопоставлять с этнографическими данными (Thompson 1956).

Тут выясняется, что прямое сопоставление опасно и часто бесплодно: одни и те же явления могут выглядеть по-разному в живом быту (ну, и близко к тому — в этнографическом описании), с одной стороны, и в археологическом материале — с другой. Ведь явления живой культуры сильно трансформируются при выходе из нее.

10. Сопоставление и интеграция. Осознание этой проблемы привело к трем важным следствиям:

а) Внедрение в археологию требования, ранее предъявлявшегося только к исследованию письменных источников, — требования внутренней критики источников, то есть критического отношения не только к их подлинности, но и к извлекаемой из них (из подлинных!) информации (Eggers 1950; 1959; Клейн 1978; 1995; Kristiansen 1978; 1985). Различие живой и мертвой культур — не единственное, что обуславливает возможную обманчивость археологических источников — есть еще и эквививальность различных культурных явлений и эквививальность следствий в культуре, а проверка этнографических подобий — не единственный способ прояснения этой проблемы — есть еще и уразумение изменчивости остатков после упокоения, осознание искажений картины от различной изученности и т. д. Но и соотношение с этнографией сыграло свою роль. Эггерс во всяком случае апеллировал к нему.

б) Сложение нового направления в археологии, неудачно названного *бихевиорной археологией* (Schiffer 1972; 1976; 1987) и отказавшегося, по крайней мере, в одном важном аспекте от принципа *процессуальной* археологии — от концентрации усилий на непосредственном изучении культурно-исторического процесса. Основная цель перенесена на изучение законов формирования археологического источника, а это в значительной части побуждает обращаться к этнографии и культурной антропологии. Лидер «новой археологии» Люис Бинфорд практически с конца 60-х годов в поле и со второй половины 70-х в литературе целиком переключился на эту проблему (Binford 1977; 1978; 1981).

в) Формирование *этноархеологии* — специальной отрасли этнографии, занимающейся изучением того, как материальная культура живого общества связана в нем с прочими сторонами культуры и как она была бы (и будет) представлена в археологическом материале (Donnan and Clewlow 1974; Yellen 1977; Kramer 1979; Watson 1979; Gould 1980; Orme 1981; Hodder 1983; Ethnoarchéologie 1992). Этноархеология разрабатывает уже не методические рекомендации для каждого сопоставления в отдельности, для каждого поиска этнографических аналогий археологической находке. На ее результатах стало возможно строить для археологии цельную теорию исторической интерпре-

тации археологического материала, теорию реконструкции исторических явлений, событий и процессов на основе фактов археологии — с помощью всего багажа этнологии.

Одни определяют этноархеологию как дисциплину, охватывающую любые взаимодействия обеих наук, включая и подбор аналогий, заключения по аналогии (Stiles 1977). Другие считают задачей этноархеологии лишь установление регулярных соответствий между материальными частями культуры и нематериальными ее частями, поведением людей, всё это ради создания основы для интерпретации археологических материалов (Kramer 1979: 1).

В рамках этноархеологии разгорелся спор об использовании аналогии в этноархеологическом рассуждении (Stiles 1977; Gould and Watson 1982). Гулд склоняется к мнению, что этноархеология — это отвержение и альтернатива аналогии. Коль скоро он отказывается объяснять сходства универсальными законами, то для него то, что подлежит объяснению, это не аналогия, а аномалия. Уайли первой заметила, что это лишь смена названия — в основе тот же тип рассуждения (Wylie 1982; Fettes und Noll 1992).

Разумеется, этноархеология с ее целостным подходом как бы снимает отдельную аналогю, инкорпорируя ее в себя и соответственно перестраивая, но сохраняет аналогю вообще — как ее факты, так и ее принцип. Как можно было убедиться, всё развитие методик сопоставлений вело к их функциональному ограничению и в то же время к их генерализации. Это и породило этноархеологию.

И всё же этноархеология — это уже другая проблема.

Резюме. Нужда археолога в этнографических сопоставлениях несомненна, так как археологический материал мертв и только аналогия с живыми обществами, где подобные материальные вещи функционируют в живой культуре, может дать археологу ключ к диагностированию, интерпретации и реконструкции. Но сама возможность этого зависит от признания неких регулярностей, неких закономерностей в функционировании культуры и в частности соответствий между материальными и нематериальными ее частями. А это ставится под вопрос, а с тем — и применимость аналогий, по крайней мере как доказательств. Ясно, что во многих аспектах культурные явления и ситуации истории неповторимы. Но это не значит, что в культуре нет повторяемости — иначе не было бы традиции и типологии. Есть история культуры, но есть и социология культуры.

Многие ставят доказательность аналогий в зависимость от ограничений, налагаемых на круг явлений, принципиально сопоставимых с той или иной археологической находкой, — ограничений территорией, временем, природ-

ными условиями, генетическими связями. Они стараются максимально свести аналогию к гомологии. Это обычное недоверие к механизму аналогии. Между тем, есть аналогии разной степени доказательности — вплоть до модели. Отвергая логику суждения по аналогии, пуристы не учитывают, что в механизме доказывания аналогии большую роль играет оценка вероятности.

Эвристическая функция аналогий признается всеми. То есть все понимают, что этнографические материалы расширяют кругозор археолога, позволяют ему рассматривать и те возможности, которые иначе не пришли бы ему и в голову. Но мало кто учитывает, что широта сопоставлений и разнообразие собранных фактов сами являются аргументами доказательности предпочтенного выбора — наиболее подходящей аналогии.

Самыми важными в выборе оказывается не селекция связей, не отбор их посредством ограничений, а всё-таки близость аналогии по форме и контексту обнаружения. Поэтому чрезвычайно актуальной является проблема создания не только археологических, но и археолого-этнографических определителей, где материал был бы упорядочен не по историческому развитию или территории, а по форме и по контексту обнаружения.

Развитие этноархеологии не снимает этой задачи, как не снимает и проблемы сопоставлений археологических данных с этнографическими. Этноархеология образует другой аспект связи археологии с этнографией, создающий базу не столько для частных интерпретаций, сколько для теории археологической интерпретации вообще.

6. Этногенез и модель генеалогического древа: проблема кооперации археологии с лингвистикой

[Этой статьей представлен мой доклад на занятии школы индоевропеистики в Институте лингвистических исследований Российской академии наук в ноябре 2006 г. Впоследствии 12 докладов в этом Институте в 2006–2007 гг. составили главы моей книги «Древние миграции», принятой в 2008 г. к изданию в Санкт-Петербургском университете (книга еще не вышла).]

1. Археология: иллюзия и реальность. У лингвистов есть одна иллюзия относительно археологии, которую многие археологи разделяют. Построив красивое генеалогическое древо происхождения языков (от праязыка к дочерним и «внучатым»), лингвисты ожидают найти этому древу точное соответствие в археологии — в генеалогическом древе происхождения археологических культур — с тем, чтобы наложив одно на другое, получить для своего древа недостающие ему координаты места и времени. Если современная археология не может предоставить лингвистике такое древо, то это рассматривается как досадная, но временная задержка, обусловленная недоразвитостью археологии — нехваткой собранных материалов или несовершенством методов, недостатком старания или злой волей (приверженностью априорным концепциям в угоду национальным амбициям разного рода). Предполагается, что

с дальнейшим накоплением материалов и с их более совершенной обработкой, с повышением объективности, такое древо археологи обязательно построят. Что это произойдет вот-вот.

И археологи стараются оправдать эти надежды. Но у них получаются десятки взаимоисключающих вариантов древа (гипотез о происхождении индоевропейцев уйма) и нет объективных критериев установить один вариант, отвечающий реальности. Эта ситуация не имеет перспектив положительного решения. Напротив, *единого древа культур, построенного на независимых основаниях и соответствующего древу языков, нет и не будет построено никогда. Это принципиально невозможно.* Этногенез и культурогенез не совпадают.

Дело в том, что язык наследуется в основном как целое и изменяется только сугубо постепенно, иначе он не может функционировать. Во всех ситуациях взаимодействия и смешивания языков один остается основой, а другой дает примеси, более значительные в фонетике, менее — в лексике (слабо затрагивая основной фонд), еще меньше — в морфологии. Культура же может передаваться частями, может собираться из компонентов разного происхождения, взятых из разных источников, — в любых сочетаниях и пропорциях, может изменяться быстро и радикально. Через каждые несколько сотен лет она претерпевает внезапные и коренные преобразования. На каждом этапе образуются, по сути, новые культуры, у каждой — не один корень, а несколько; они расходятся в разные стороны, и выбрать «главный» невозможно, потому что ни количественные, ни качественные критерии — что ни взять за основу: керамику, способы погребения, устройство жилища и т. д. — не способны определить, с каким из вкладов сопряжена языковая преемственность. В каждом случае это происходит по-своему.

Поэтому нити культурной преемственности образуют не древо, а сеть, из которой свои древесина археологи нарезают по произволу, в основном — чтобы угодить лингвистам. У лингвистов не бывает споров о происхождении любого индоевропейского языка, если он достаточно полно представлен. Нет споров, принадлежит ли польский язык к иранской ветви или к славянской или к германской. Споры же о происхождении культур представляют не исключение, а правило. Существует по несколько гипотез о происхождении каждой археологической культуры. Большей частью все они верны, выбрать «самую верную» невозможно. На деле археологи, двигаясь ретроспективно по линиям культурной преемственности и стремясь нащупать соответствие языковой преемственности, вынуждены через каждые несколько шагов останавливаться на развилке и гадать, какую из нескольких дорог избирать (Клейн 1955: 271; 1969: 30).

Для выбора они могут использовать только внеархеологические критерии, потому что внутри археологии таких критериев нет. Лишь в исключительных случаях, при особо благоприятных обстоятельствах (длительная изоляция, или резкое и целокомплексное переселение и т. п.) археологи могут собственными силами, по своим данным сделать надежное суждение о преемственности. Обычно же, осознанно или неосознанно, за нитью Ариадны они обращаются к лингвистике.

Есть и еще одна иллюзия, связанная с археологией, которую лингвистам следовало бы учитывать. Лингвисты знают, что у них в лингвистике есть лишь очень слабая возможность упорядочивать материал по абсолютной хронологии — это глоттохронология Суодеша. А вот археология, полагают лингвисты, располагает истинной возможностью строить абсолютную хронологию и предлагает лингвистике надежную опору в этом.

На самом же деле в археологии нет вовсе опор для абсолютной хронологии. Археология имеет внутри себя только возможности строить относительную хронологию. Построить нечто аналогичное глоттохронологии Суодеша в археологии невозможно. Ведь если язык имеет стабильную грамматическую систему и даже в лексике не может изменяться ни слишком быстро, ни слишком медленно, то культура не является системой и способна изменяться любыми темпами, менять темпы и изменяться разными темпами в разных своих частях. Поэтому все свои абсолютные опоры археология берет извне — в письменных источниках, палеонтологии, геологии, радиохимии, дендрохронологии и т. д.

Другое дело, что она поднатрела в этом изыскании внешних опор, в упорядочении своих относительных дат и сведении их в сложные системы, а затем в надевании этих систем на внешние опоры абсолютной хронологии. Но это не ее собственные опоры, и она меняет свою хронологию, когда изменятся эти внешние опоры. Такими случаями и являются две радиоуглеродные революции — первая произошла в 1950-е годы, когда радиоуглеродный метод углубил многие датировки на сотни лет, а вторая в конце 1960-х — начале 1970-х, когда были выстроены колонки дендрохронологии протяженностью в десять тысяч лет, и радиоуглеродные даты стали выверены (калиброваны) по дендрохронологии. Это углубило даты еще больше, для энеолита — на добрую тысячу лет. И вот уже четвертое десятилетие археологи строят хронологию в этом новом ключе.

2. Лингвистика: преодоление иллюзий. Подобно тому, как лингвисты уповают на археологию, и археологи в свою очередь питают наивные надежды, что у лингвистов всё в порядке. Что генеалогическое древо индоевропейских языков, пройдя столетнюю обработку, приняло оптимальную форму и другим вырасти не могло. А это тоже иллюзия. Остаются разногласия и в вопросе

о количестве ветвей, и об их взаимном расположении (какое выше на стволе, какое ниже), и о тех соках, которые по ним переданы листьям, и о прививках — где и от чего они сделаны (рис. 1, первые три схемы). Похоже, что и это не случайные и легко устранимые разногласия, а разногласия неизбежные, коренящиеся в противоречии между живой изменчивостью языкового материала и ригидностью модели генеалогического древа.

Генеалогическое древо в идеале предполагает классификацию языков, соответствующую аристотелевым принципам непротиворечивого членения объема понятий: всё раскладывается по ящичкам по одному критерию, без остатка, без взаимоналожения. Схема более-менее соответствует результатам биологической эволюции. На деле же в языковом материале мы имеем скорее не классификацию, а типологию в Гётевском смысле: материал роится в многомерном поле признаков, выделяются кластеры, а разграничить их можно по-разному, в зависимости от избранных критериев. Это следствие сложности и переплетенности истории человеческих коллективов — этносов. В природе виды не скрещиваются, не обмениваются признаками. Иное дело человеческие коллективы, их языки. Да, языки взаимодействуют как системы, но когда сталкиваются близко родственные диалекты, системы становятся открытыми. История же индоевропейцев, как показали К. Бругман и А. Мейе, была на большом протяжении историей взаимодействующих диалектов. Отсюда путаница изоглосс.

Открывая эту путаницу ареальная школа лингвистики занялась изучением отдельных явлений, за которыми для нее исчезли вообще языки и семьи. Предпринимались и попытки сменить модель генезиса языковых семей: теория географического варьирования Г. Шухардта, теория волн И. Шмидта (рис. 1, последняя схема), пирамида Н. Я. Марра, лингвистический союз Пражской школы, языковая непрерывность Бубриха — Толстова. За исключением последней они не удержались в науке. В большинстве лингвисты остаются приверженными традиционной концепции и продолжают считать, что модель праязыка, из которого произрастает генеалогическое древо, сохраняет свою значимость и свой облик, хоть и с поправками на размытость границ и изначальную расчлененность праязыка на диалекты. Это в теории.

На практике же, восстанавливая раннюю историю индоевропейского массива на уровне диалектов и близкородственных языков, лингвисты последних десятилетий придерживаются совершенно иной модели. В их исследованиях мы обнаруживаем диалекты меняющими свои связи. То они образуют одни общности, то, перегруппировавшись, другие, а в языковом материале от этих группировок оседают изоглоссы: медиопассив на -г против медиопассива на -oi/moi, относительное местоимение *khois* против *ios*, и т. д. Таковы работы В. Георгиева, В. В. Мартынова, О. Н. Трубочева.

Вместо динамики генеалогического древа в этих исследованиях предстает нечто, что можно было бы назвать моделью *контрданса*: все взаимодействуют в медленном танце, образуют пары, тройки и четверки, а через каждые несколько па, почти не сходя с места, кавалеры меняют дам. Но бывает, что те перебегают вовсе в другие построения.

Это неплохо отвечает тому, что находит в своих материалах археология. В ней всё реже настаивают на принципиальном совпадении культуры и этноса (как это было у Брюсова 1956) и всё чаще говорят о многозначности понятия «археологическая культура». Говорят о возможности по-разному истолковывать археологические культуры (этнос, политическое объединение, религиозная общность и т. п.), о полиэтнических культурах (подразумеваются многоязычные), о перегруппировках населения по-новому в новых культурах (Кнабе 1959; Монгайт 1967; Клейн 1991: 145–153).

Конечно, культура отражает некую общность населения на определенном этапе, но сколь прочную — судить трудно. Конечно, от этой общности наверняка остался отпечаток в языке — некий пучок изоглосс, но сложился ли в этих рамках единый особый диалект или язык, сказать трудно.

Таким образом, в модели контрданса археологической культуре в принципе соответствует не диалект или язык, а пучок изоглосс. Я не говорю здесь вместе с В. Пизани, что «реальны для нас только изоглоссы» (Pisani 1947: 62). Несомненно, существовали языки и языковые семьи. Но археологической культуре соответствует не такой язык из конкретной языковой семьи, не срез одной из ветвей генеалогического древа, а так сказать связка нитей, которые в дальнейшей истории могут быть перевязаны иначе, в ином сочетании, в иные связи.

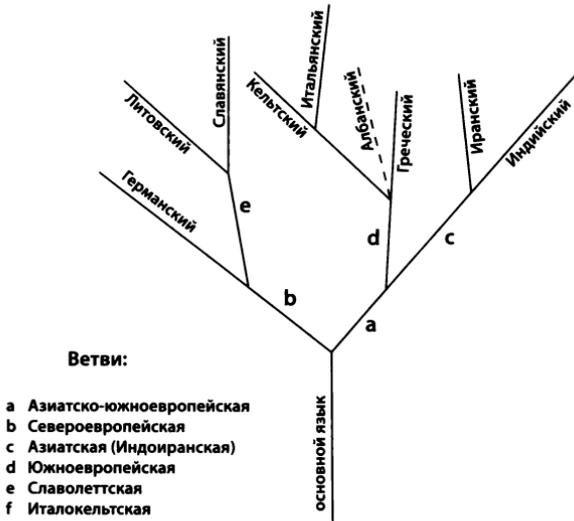
Задача лингвистов — определить относительную хронологию подобных связей (через диахронию звуковых законов, тенденции грамматического развития и т. п.). Задача археологов — уточнить территорию и абсолютную хронологию образования этих пучков изоглосс, с учетом того, что последующие миграции, может быть, изменили среду, в которой эти пучки изоглосс отпечатались.

Для применения модели генеалогического древа остаются лишь поздние этапы глоттогенеза, когда взаимодействовали уже не диалекты, а родственные языки. Но и здесь требуются существенные оговорки.

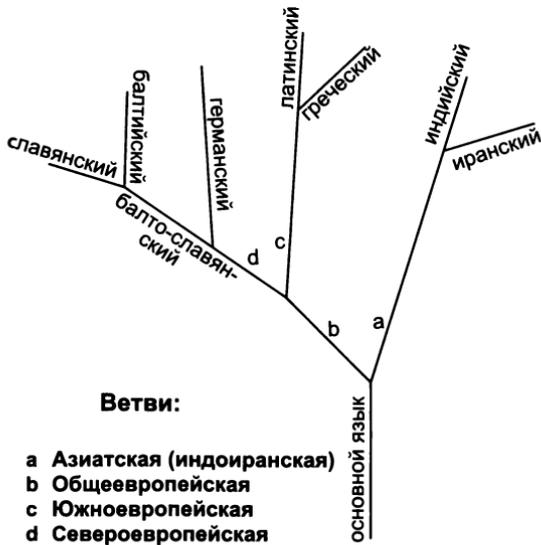
3. Миграции. Миграции не только изменяют последующую среду, не только расширяют (или сужают) поле событий. Они могут внести резкие перемены в саму расстановку участников, перетасовать их и развести соседей на дальние края и, наоборот, сомкнуть диалекты, прежде весьма удаленные друг от друга.

Система Шлейхера, 1863 г.

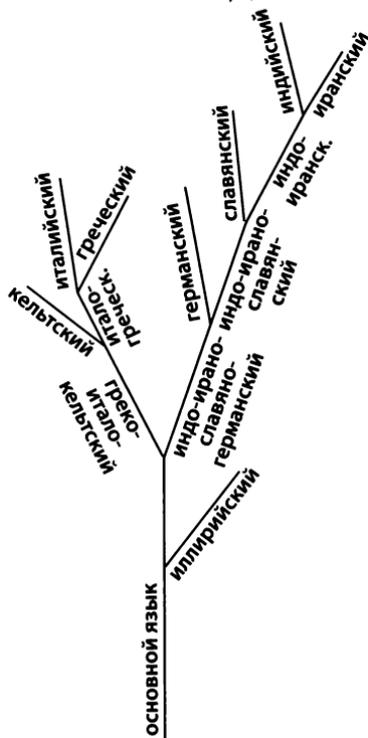
Наиболее удалившиеся ← — — — — — → Наиболее близкие
от исходного типа к исходному типу



Система Фика, 1871 г.



Система Ф. Мюллера, 1873 г.



Теория волн И. Шмидта, 1872 г.

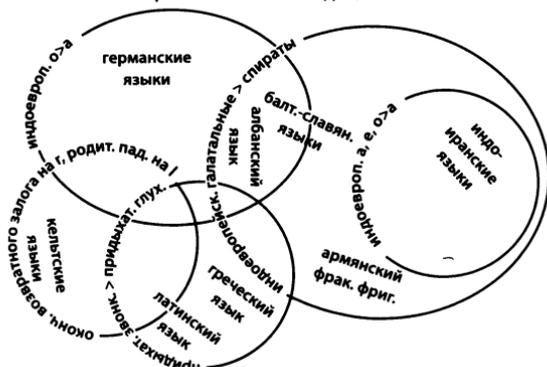


Рис. 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков в лингвистике XIX века. Три первые схемы (Шлейхера, Фика и Ф. Мюллера) исходят из концепции миграций и последовательного расселения языков, четвертая схема (теория волн И. Шмидта) приводит к ее отицанию. Источник — В. Томсен. История языковедения до конца XIX века. М.: Учпедгиз, 1938. Таблица (стр. 85) Р. Шор

Реконструкция миграций археологией — дело очень трудное, но благодарное. Трудное оно потому, что критерии археологического распознавания миграций шатки, археологические маркеры (признаки, следы) миграций неустойчивы, диверсифицированы по видам миграций. Но в учете этого обстоятельства кроется и возможность объективного распознавания и реконструкции миграций (Клейн 1973, 1999).

Польза же от выявления миграций очень велика.

Во-первых, выявленные миграции дают возможность проследить истинное развитие общества — образно говоря, читать историю не склеенную из разных книжек. Ведь развитие шло не в рамках определенной местности, а в рамках определенного человеческого общества — там, где это общество проживало. Если оно передвинулось, то передвинулось и развитие. Слепо прослеживая развитие в одной местности, мы незаметно для себя переключаемся с одного развития на другое. Правда, обычно при смене населения всегда какая-то часть прежнего остается, но всё же это будет другое развитие, имеющее под собой другую логику.

Для избежания этого сбоя я ввел в археологию концепцию *секвенций* (Клейн 1973). Секвенцией я назвал последовательность культур. Суть концепции в различении двух видов секвенций — колонные я отличаю от трассовых. Под *колонными* я имею в виду ряды культур, последовательно сменяющих друг друга в одной местности. В этом виде перед нами предстает материал, и появляется искушение истолковать его как последовательное развитие одного населения, хотя это не всегда так.

Под *трассовой секвенцией* я понимаю развернутую во времени цепь культур одного конкретного общества вне зависимости от территории, занимаемого им на разных этапах его существования. Эти культуры связаны преемственностью, хотя и не всегда на одной и той же территории. Развитие нужно прослеживать в трассовой секвенции, а не в колонной. Эта аксиома очень туго прививается в археологии, хотя всё же прививается (Щукин 1979; Манзура 2002: 245). А для выявления трассовых секвенций нужно распознавать миграции.

Во-вторых, в статичном существовании этносы нередко трудно различимы для археолога в силу диффузности границ и возможностей распространения культуры на соседей. Именно дальние миграции позволяют археологам лучше распознать такие этносы. В дальних миграциях сталкиваются заведомо чуждые друг другу этносы, различение их становится недвусмысленным (Клейн 1988).

Иное дело, что связь мигрировавшего этноса с исходной территорией и культурой не столь легка, как это представлялось еще недавно. Постепенно археологи стали избавляться от иллюзии, что с этносом передвигается вся

его старая культура в неизменном виде. А с этим убеждением были связаны сверхстрогие критерии выявления миграций — непременно нужно было найти и показать точное и полное подобие культуре пришельцев на их старом месте, а таких подобий обычно и не находится. Народ редко уходит в миграцию в полном виде и со всей культурой, чаще это, скажем, только молодые воины-мужчины или (при контактах соседних народов) только женщины, поступающие в замужество. А миграция — это такая встряска, что культура сильно и быстро изменяется в ходе миграции.

4. Генеалогическое древо и дельта реки. Существенным изъяном модели генеалогического древа являлось то, что в эту модель вложена неосознанная идея равномерного расширения индоевропейской территории лучеобразными непересекающимися миграциями — как растекается пролитая сметана. Еще Косинна в 1911 году рисовал 14 походов индогерманцев в неолите, несущих индогерманскую культуру и язык во все концы Европы, и ему подражал Брюсов (1957), только исходный очаг он перемещал из Германии в нашу степь. А до него это проделывали Эрнст Вале, Чайлд и одновременно с ним — Гимбутас. Этот центробежный миграционизм не очень далеко уходил от автохтонизма, какими бы дальними ни казались постулируемые им миграции. Во-первых, ядро оставалось несдвигаемым с места (Косинну в Германии звали автохтонистом, а не миграционистом), а во-вторых движение виделось очень правильным — это была не переброска, это было расширение ареала. Уже Мейе (1938: 420) говорил: «группировка языков, наиболее близких друг к другу, свидетельствует об их первоначальном расположении: произошло распространение этих языков, а не их перемещение». Такая картина вязалась с господствовавшими в археологии представлениями о нереальности дальних разовых миграций, о достоверности лишь медленного, «ползучего» распространения (доведенного до идеала в Ammerman and Cavalli-Sforza 1979; ср. Neustupny 1982).

Эта приверженность оставлена многими российскими археологами еще два-три десятилетия назад (Клейн 1968; 1971; 1973; Мерперт 1978 и др.), а сейчас страх перед дальними миграциями начал изживаться и в зарубежной археологии (Anthony 1990; Härke 1998). Становится понятно, что индоевропейцы всегда были очень подвижным населением, что на деле были у них и неожиданные переброски с одного конца индоевропейского ареала на другой, противоположный. Достаточно лишь напомнить о тохарах, галатах, готах и вандалах. Идея дольменов принесена на Северный Кавказ с дальнего запада (с Пиренейского полуострова и из Центральной Европы), как и в Иорданию и, может быть, в Болгарию.

Что существенного эта неучитываемая возможность вносит в истолкование лингвистических фактов?

Во-первых, при определении заимствований обычно дальние совпадения исключаются как заведомо нереальные — они относятся к разряду случайных. Это неправильно. Никакие контакты нельзя исключать, всё возможно.

Во-вторых, продумывая распространенность некоторых локальных явлений, лингвисты, естественно, рассматривают как взаимосвязанные образования лишь те, что расположены на смежных территориях. Но те народы, которые сейчас разобщены, могли быть соседями в прошлом. Скажем, передвижение согласных, объединяющее германские языки с фракийским, фригийским и армянским, предполагает, что все их предковые диалекты находились в центре Европы. Включая армян и тохаров.

В-третьих, как осуществляется реконструкция праиндоевропейского словаря? Формируя ее принципы, Мейе понимал, что сохранность одной лексемы во всех группах индоевропейских языков — редкость, «поэтому, — писал он, — приходится под ИЕ словами разумеать слова, общие нескольким ИЕ диалектам при условии, чтобы они представляли все фонетические и морфологические изменения, характеризующие те диалекты, к которым принадлежат, и чтобы исторические свидетельства не указывали на позднейшее их появление» (Мейе 1938: 382). Но эти условия не всегда удается гарантировать. Поэтому на практике в определении древности лексем и вообще редких явлений дальний их разброс считается свидетельством восхождения к общему фонду. Достаточно всего нескольким из индоевропейских языков, но разбросанным на противоположные концы индоевропейского ареала, иметь схожие формы, чтобы эти формы были объявлены восходящими к индоевропейскому праязыку. А ведь эта территориальная удаленность схожих форм друг от друга может быть результатом позднейших миграций, перенесших эти формы из положения изоляции народов в положение контакта. То есть эти формы могут быть локальными.

А отсюда могут быть очень важные коррективы в картине индоевропейского глоттогенеза: то, что обычно относят к общеиндоевропейскому фонду и что в глазах лингвистов характеризует праиндоевропейскую культуру и среду, на деле может относиться к более позднему времени. Быть результатом дальних странствий, так сказать, перелетов с одного конца Европы на другой.

К этому добавляется то, что такое же проецирование поздних явлений на праиндоевропейское время происходит и в истории культуры, но там проецируются обычно те явления, которые являются общими для всех индоевропейцев в более позднее время. Так, праиндоевропейцам приписываются кремация как основной способ погребения и боевые колесницы. Между тем, оба явления

возникли слишком поздно, чтобы быть праиндоевропейскими. Они возникли тогда, когда уже существовали отдельные индоевропейские языки.

Поэтому было бы лучше представлять происхождение индоевропейских языков даже на поздних этапах не в виде древа, а в виде *дельты реки*, рукава которой делятся и сливаются по-новому. Наглядный образ (рис. 2) набросан в моем популярном очерке об индоевропейцах (Клейн 1984 — но конкретизация путей развития там произвольна). И то образа дельты недостаточно — надо еще представлять, что эти рукава могут перебрасываться с одного края дельты на другой по туннелям или акведукам. А если уж представлять древо, то с очень переплетенными и сращивающимися ветвями — таких в природе не бывает (ср. рис. 3).

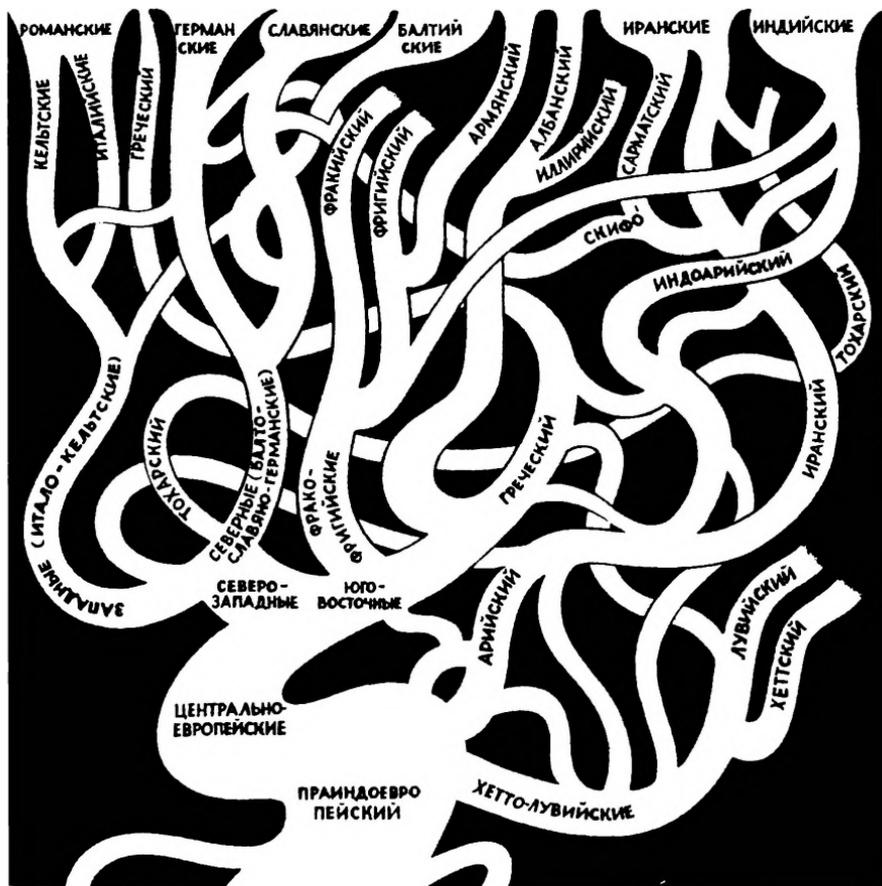


Рис. 2. Наглядный образ схемы развития индоевропейских языков в виде дельты реки (Клейн 1984, конкретизация развития произвольна)

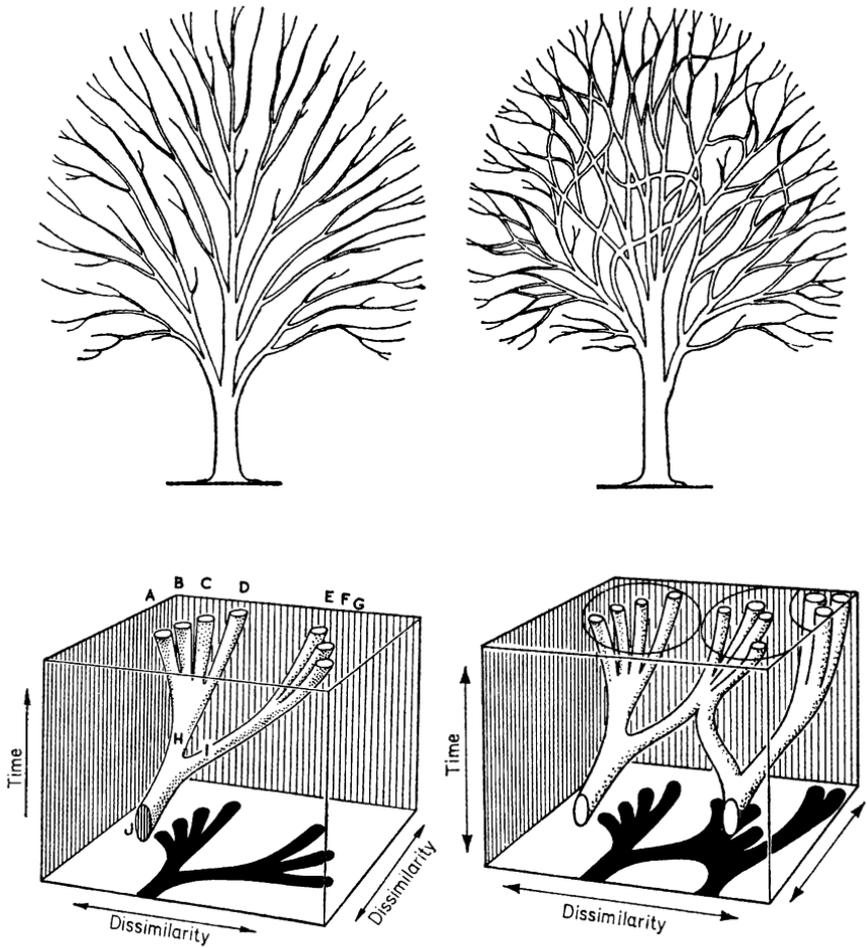


Рис. 3. Сравнение двух типов ветвления — дерева органической филогении (в биологии) и дерева культурной филогении (по А. Крёберу 1948, повторенное в книге Д. Кларка 1968).

Под обеими схемами показаны проекции обоих типов ветвления на плоскость (как тени трехмерного ветвления)

5. Метод совмещения и ретроспективный метод. Таковы трудности, возникающие при попытках согласовать данные археологии и лингвистики на базе модели генеалогического древа. Поэтому остаются две возможности реконструкции, из которых одна — рискованная: сразу перенестись к истокам и идентифицировать среду и время обитания индоевропейцев, исходя из их словаря и глоттохронологии. Е. Е. Кузьмина (1994: 265) называет это «методом совмещения». Это прыжок сразу к пранароду, праязыку и прародине. Рискованность этого прыжка состоит в том, что глоттохронология не гарантирует точности своих определений; названия же растений и животных переходили с одного на другое и табуировались; культурная лексика заимствовалась, и заимствования не всегда удается отличить от собственного фонда; наконец, в одной среде существовало по несколько совершенно различных культур. Очень трудно реконструировать чистый праязык, да в таком четком виде он и не существовал. Трудно определить его территорию и ареал, потому что с тех пор изменились географические характеристики (климат, природа, иногда и очертания рек и морей), менялись и значения слов. Еще труднее ассоциировать язык с этим народом по таким зыбким признакам с определенной археологической культурой, потому что нет уверенности в этническом характере наличных культур, а часто их несколько в этом районе.

Вторая же возможность — ретроспективно продвинуться от каждого исторически засвидетельствованного индоевропейского народа, насколько позволяют материалы, вглубь веков, учитывая доисторические миграции. Многие считают этот метод главным, ставят его на первое место (Кузьмина 1994: 264). Одно время советские археологи применяли исключительно вариант этого метода, названный Л. А. Гиндиным и Н. Я. Мерпертом (1984: 7) «локалистским» — ограничивали действие метода территорией нынешнего размещения народа, предки которого разыскиваются. Как это мягко формулирует Кузьмина (1994: 63), суть варианта «заключается в доказательстве непрерывной последовательности и преемственности археологических культур на определенной территории с сохранением основного комплекса до известных исторических этнических групп». Сама Кузьмина (1994: 64) настаивает на необходимости сочетать этот метод с «методом этнизирующих признаков», функционально не обусловленных, но главным признает «ретроспективный метод». Отвергая гипотезы об индоиранской принадлежности носителей катакомбной и абашевской культур, Кузьмина (1994: 222) аргументирует свою позицию так: гипотезы отвергаются, «во-первых, потому, что не может быть

использован признаваемый нами решающим ретроспективный метод, так как не установлены их прямые потомки и их языки...».

Ретроспективно двигаться в глубь веков можно только, пока народы прослеживаются историческими свидетельствами. Дальше проникать этим методом могут только лингвисты, сводя воедино языковые ветви в одно генеалогическое древо и двигаясь от ветвей по стволу к корням. Для археологов *ретроспективный метод* бесполезен, как я уже объяснял в начале: корней у каждой культуры много, какой выбрать? Если лингвисты имеют в своем распоряжении много ветвей и должны (нередко ощупью) продвигаться к стволу, то у археологов в руках ствол одной культуры, а продвигаться нужно к корням, всегда ощупью, и найти тот, на котором нужный клубень, а только съев его, увидишь языковое древо.

То есть археологи оказываются перед перевернутым деревом, или можно так сказать: ствол у них в руках, а корней много и они расходятся в разные стороны, какой из них был сопряжен с передачей основного языка, непонятно. Теоретически мог быть сопряжен любой. Нет корреляции между интенсивностью языкового и культурного вкладов. Норманны господствовали во всех русских городах, в культуре их вклад очень заметен, самоназвание народа происходит от них, а в язык вошла горстка слов. Волжские булгары захватили земли придунайских славян, а в язык вошло только три слова, в том числе самоназвание. С другой стороны дорийские диалекты заполнили в начале I тыс. до н. э. всю Грецию, историки твердят о дорийском нашествии, а в археологии миграция с севера для этого времени не прослеживается.

Всё же у археологов до сих пор не переводятся охотники работать ретроспективным методом.

Я не раз критиковал ретроспективный метод применительно к археологии. В то же время начинать свой путь археологи несомненно должны ретроспективным методом — пока они движутся вместе с историками, опирающимися на письменные источники. В Индии — до периода, освещенного Ригведой, в Иране — Авестой и сообщениями клинописных табличек, в Греции — до пределов критомикенской письменности. В каждом из этих районов нужно найти археологические культуры, соответствующие картине, обрисованной письменными источниками. Только создав эту базу, — так сказать, подвинув трамплин, насколько возможно, вперед, — совершить прыжок. Или точнее, несколько прыжков — к последовательным сочленениям ветвей древа, всё

более близким к общеиндоевропейскому стволу. Это тоже продвижение, носящее, в общем, ретроспективный характер, но в таком продвижении видны одновременно все сочленения языкового древа впереди, так что археологи, останавливаясь на каждой развилке своего противоположно ориентированного древа, будут иметь перед глазами всё языковое древо и смогут выбрать на своем древе путь, ведущий к индоевропейскому стволу.

7. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу (интеграция наук и синтез источников в решении проблем этногенеза)

[Эта статья была мною подготовлена как доклад для конференции по этногенезу Европейского Северо-Востока в Сыктывкаре, помнится в 1979 или 1980 г. На конференции я не поехал, но доклад свой туда послал в машинописи и на магнитной ленте. Он был включен в подготавливавшийся сборник трудов конференции. Но в 1981 г. я был арестован, и мой текст был тотчас изъят из сборника испуганной редакцией (не везде редакторы изымали мои работы). Сборник вышел в 1982 г. со статьями моих учеников, но без моей.]

Пробить статью в печать я смог только в 1985–1986 гг. «Советская Археология» статью не брала. Тогда редактором «Советской Этнографии» был К. В. Чистов, и он решил взять теоретическую статью выпущенного из концлагеря безработного автора. Она вышла в 1988 г. (Клейн 1988).]

1. Этногенез: традиционный подход. Историю каждого современного народа обычно начинают с вопроса о его происхождении — этногенеза. В такой форме вопрос неясен. Он обретает разумный смысл, лишь если мы сформулируем иначе: какой древний этнос можно идентифицировать с этим современным народом или связать с ним прямой преемственностью, а затем

сведем дело к вопросам о том, когда, где, как и из каких компонентов сложился (или из какой среды выделился) этот древний этнос (Клейн 1969).

В прошлом веке проблемой этногенеза занимались в основном лингвисты, и этногенез рассматривали просто как аспект глоттогенеза. С рубежа XX в. усилиями Г. Косинны центр тяжести проблемы сместился в область археологии и антропологии, а этногенез превратился в функцию и срез расогенеза и культурогенеза (Klejn 1974). Методологической основой этого совмещения было неоромантическое представление об органическом единстве всех параметров этноса как проявлений «национального духа». Естественно было полагать, что при такой сопряженности они должны были, в динамике проходя сквозь всевозможные исторические катаклизмы, держаться вместе — не разрозниваясь. Отсюда следовал вывод, что эти параметры этноса не могут восходить к разным очагам. Иными словами, если какой-то этнос и сложился из компонентов разного происхождения, то с каждым из них он должен был получить весь комплекс характеристик языковых, культурных, расовых и пр., с более крупным вкладом — всего побольше, с менее значительным — всего поменьше, но непременно всего, предпочтительно — в одной и той же мере для всех параметров.

А отсюда надежда проследить «ретроспективным методом» (от современности в глубь веков) этническую преемственность по генетическим или типологическим связям в материальной культуре. Соединение различных видов источников, фактов из разных наук мыслились полезным для взаимной компенсации пробелов, вызванных утратами — и только.

Когда с 40-х гг. XX в. советская наука, исходя из новых социальных потребностей, заинтересовалась проблемами этногенеза (Klejn 1077: 13–14; Bulkin, Klejn and Lebedev 1982: 272–275), она была подготовлена к тому, чтобы воспринять именно эти методические принципы, хотя и основывалась на иной концепции.

Дело в том, что с середины 20-х годов, когда советские археологи стали осваивать марксизм, их понимание марксистских положений было на первых порах упрощенным, слишком прямолинейным и схематичным — как раз таким, от которого предостерегали молодых марксистов еще К. Маркс и Ф. Энгельс (Соч., т. 35: 69–91; т. 37: 394–395). Обусловленность надстроек базисом, а базиса производительными силами (особенно орудиями труда) была понята как жесткое взаимнооднозначное соответствие, столь тесное, что оно должно приводить к полному совмещению всех факторов во времени и пространстве (то есть как только введено орудие нового типа, сразу же происходит перестройка всего общества, всех его сфер). Подобные взгляды держались и просуществовали очень долго — от метода восхождения А. В. Арциховского

(1929) до социологической трактовки археологических периодов (Пиотровский 1961). При таком подходе социокультурная система воспринималась как нерасчленимое целое, и это было перенесено на этнос, поскольку в нем видели (под влиянием канонического определения нации) прочный этносоциальный организм.

Последнее препятствие к признанию «ретроспективного метода» и «этнического истолкования» культурной преемственности исчезло после падения (в 1950 г.) «теории стадильности» и восстановления концепции праязыка.

Уверенность в регулярности корреспонденций между частями социокультурной системы (техникой, одеждой, литературой и т. п.) приводила к убеждению, что в разных видах источников — вещественных, письменных и др. — историческая действительность отражается одинаково (Быковский 1932). Это значит, что в принципе достаточно и одного вида источников для получения информации, способной обеспечить реконструкцию исторического прошлого, в частности этнической истории. Если так, то археология имеет, по крайней мере, то преимущество, что ее источники дают картину, лучше развернутую во времени и в пространстве, и обильнее пополняются. Вот и стала археология главной при решении проблем этногенеза.

Правда, временами вспоминали про «комплексный принцип» — не очень ясную, многозначную декларацию, затверженную еще с 20-х годов (Никольский 1923), но смысл ее (для проблемы реконструкции) видели исключительно в обеспечении взаимной компенсации лакун, а механизм интеграции — в простом сложении сведений. При главенстве археологии и уверенности во взаимном подобии различных видов источников такая интеграция оборачивалась дилетантскими вылазками из археологии в другие науки (лингвистику, топонимику, фольклористику) за недостающими сведениями.

2. Новый подход. С середины 50-х годов и особенно в 60-е годы этнографы и лингвисты отказались от упований на археологию и даже в среде археологов стало нарастать скептическое отношение к построенным до того концепциям этногенеза и приемам, которыми они были построены (Клейн 1955; 1969; Третьяков 1962; 1966; Монгайт 1967; Артамонов 1967). Археологам-эмпирикам кажется, что к этой переоценке привело накопление «безобразных фактов», разрушивших «красивые гипотезы». На деле к переоценке привел новый взгляд на факты, новый подход (Клейн 1978; Klejn 1982), связанный с общим изменением атмосферы в общественных науках и норм исторического мышления. Он заставил по-новому оценить факты, известные прежде, и увидеть факты, ранее ускользавшие от внимания.

Изменились представления и об этносе и о характере детерминации социального развития, и об археологических источниках.

1. Из нескольких концепций этноса, развиваемых ныне в советской этнографии (социопопуляционная, ландшафтно-популяционная, социопсихическая (обзор см. в Klejn 1981) ни одна не постулирует жесткой, регулярной связи между материальной культурой, языком и этническим самосознанием, отраженным в обладании этнонимом. Исследователи все больше склоняются к мысли, что этнос категория социального сознания, способная отражать разные виды объективных общностей в социальном бытии, в зависимости от исторической ситуации. Следовательно, нет резона ожидать прочных связей между первичными этническими показателями в сфере идей (самосознание, опознавание окружающими, этноним), с одной стороны, и объективными параметрами (язык, вещественная культура, расовые особенности и т. п.) — с другой.

2. Мы знаем теперь также, что производственная и экономическая детерминация не абсолютна, что части социального организма связаны между собой не так жестко, как предполагалось, и что его развитие отнюдь не сводится к простому следованию всех структур на всех уровнях малейшим перипетиям развития орудий. На каждом уровне, у любой крупной части социального организма имеются и собственные законы, есть свое автономное развитие (в рамках, predeterminedенных развитием целого), есть свои пути, этапы и события, никак не затрагивающие то, что происходит в других частях.

Это значит, что пути преемственности и важные рубежи в сфере языка не обязательно те же, что и в сфере материальной культуры или расовых характеристик. Установив определенные связи групп населения по одному из таких параметров (будь то во времени или в пространстве признаков), мы не в праве механически переносить их на другие сферы. Нельзя чисто логически выводить для других параметров связи такой же сравнительной интенсивности — скажем, заключать от материальной культуры или от расы к языку или политическому объединению.

Археологам особенно трудно отрешиться от старого подхода — он не только в работах старшего поколения ученых. Так, в добротном современном исследовании процессов ассимиляции меры славянами мы сталкиваемся с такой оценкой поселка, материальная и духовная культура которого была смешанной:

«Однако этнос основной части населения... остается славянским, что в археологическом материале подтверждается соответствующим удельным весом (авторы хотели сказать: долей. — Л.К.) элементов материальной культуры при сохранении определяющего элемента погребальной обрядности — сооружении курганов» (Леонтьев и Рябинин 1980: 76).

Между тем, хотя в данной среде процессы культурной, языковой и этнической ассимиляции действительно протекали параллельно, наша уверенность в этом основана не на теоретических постулатах, а на знании конечных результатов современного состояния. Но из современного состояния (завершенной во всем ассимиляции) неправомерно делать выводы об одинаковых темпах и путях ассимиляции иных процессов в разных сферах (и, следовательно, неправомерны заключения, подобные процитированному).

При скрещивании народов (этническом смешении) победу языку того или иного народа может обеспечить политическое или торговое преобладание данного народа или большее количество женщин с его стороны, но господство в материальной культуре может оказаться у другого народа, ибо ее дает экономическое превосходство или большее соответствие местной среде. Со своей стороны, в расовом отношении их может затмить третий народ, ибо победу расовому типу может дать общее количественное преобладание или перевес доминантных генов над рецессивными (так, южная или восточная раса обычно забывает северную или западную). В итоге у народа, образовавшегося на основе скрещивания, язык, материальная культура и расовый тип в таком случае окажутся поступившими от разных предков, может быть, и с разных сторон. Культурная ассимиляция не обязательно связана с крупной инфильтрацией населения, а та и другая не всегда ведут к передаче языка.

Отпадает и «ретроспективный метод»: он предусматривает однолинейное продвижение в глубь веков по руслу культурной преемственности, но так правомерно было бы искать лишь языкового предка, продвигаться по языковой преемственности. Ведь это язык (в своей главной структуре) имеет лишь один корень, культура же — много, а среди них вряд ли можно угадать тот, который сопряжен с главным языковым предком того же народа.

Стало ясно, что претендуя на выдвигание целостных концепций этногенеза, археологи на самом деле реконструировали лишь культурогенез (тема, впрочем, сама по себе бесполезная и могущая способствовать решению проблем этногенеза).

3. Наконец, новый подход к археологическим источникам еще более дискредитировал претензии археологии на «самоуправство» в проблематике этногенеза. Археологи начинают осознавать специфику своих источников — их односторонность, фрагментированность, лакуарность и, главное, их разрыв с современным сознанием. Этот разрыв обуславливает преобразованность информации, получаемой из археологических источников (Клейн 1978: 26–62), к тому же иной чем из письменных, где фигурируют наиболее легко усвояемые сведения о происхождении народов.

Очевидно, даже в самой реконструкции культуругенеза не обойтись простым «составлением прошлого из обломков» (piecing together the past), как это называет Г. Чайлд (Childe 1956), — необходима гораздо более сложная процедура синтеза с привлечением внеисточниковой, внеархеологической информации.

Этногенез же — особая историческая проблема, несводимая ни к глотто-, ни к расо-, ни к культуругенезу. Эта проблема в узкой постановке подлежит ведению этнографии, исторической и социальной психологии и поздней истории, черпающей свои сведения из письменных источников. А в широкой постановке она требует интеграции всех названных и ряда других наук (лингвистики, ономастики, археологии, палеоантропологии и др.) и ставит задачу синтеза разных источников. В некоторых вопросах эта широкая постановка возвращает ведущую роль лингвистике, в частности, когда нужно выяснить, из какой среды выделился данный народ, то есть когда заходит речь о происхождении не одного народа и его языковых родственников, а всей так называемой семьи народов (славян, индоевропейцев и т. п.), строго говоря, языковой семьи, еще точнее — языковой общности этих народов (Клейн 1969).

3. Отказ от «уравнений». Старая методика интеграции опиралась на постоянное, регулярное совмещение («уравнение») языков, культур, рас и т. п., то есть разноплановых единиц из разных аспектов социокультурной жизни, на совмещение ячеек, выработанных разными дисциплинами — археологией, этнографией, палеоантропологией, лингвистикой и др. Многие советские археологи приравнивают археологическую культуру к этносу и уверены в совпадении границ этой этноархеологической общности с языковыми. Г. Косинна присоединял к этому еще и расовую общность.

При проверке такие совмещения в одних случаях подтверждаются, в других — нет (Eggers 1959; Монгайт 1967). Это значит, что нет принципиального совпадения. Нет для него и теоретических оснований (Клейн 1970; Klejn 1982: 171–181). Несмотря на многократные попытки, не удастся обнаружить для таких ячеек сужающие спецификации, которые бы позволили все же прочно совместить хотя бы некоторые разновидности ячеек — такие-то виды археологических культур с такими-то видами языковых и других исторических общностей. По-видимому, вообще правомерность или неправомерность такого совмещения зависит не от видов и рангов общностей, не от их формальных характеристик, а от ситуации. Правила же оценки ситуаций в этом плане не разработаны. Да и сама перспектива их разработки предполагает обращение к общему сопоставлению разных видов информации, к широкому охвату сопоставляемых систем, то есть к междисциплинарному синтезу.

Археологические материалы, этнографические сведения, письменные источники, лингвистическая информация и проч. освещают жизнь и культуру с разных сторон, отражают разные аспекты, а если и одни аспекты, то по-разному. Получается как бы проекция на различно расположенные плоскости — проекции, которые и не должны друг с другом совпадать. Простое их совмещение ничего не дает, кроме недоразумений.

Скажем, карта расселения народов, очерченная древними авторами, была зачастую политической, иной раз архаизирующей и искусственной. В археологических материалах отложилась группировка по типу хозяйства и по особенностям быта. Лингвистическая классификация населения отражает контакты и общность исторических судеб, антропологическая — генетическое родство. Этнографы фиксируют как этническую чаще всего группу людей, охваченную общим самосознанием, самоназванием, солидарностью и оппозиционной выделенностью из среды; они фиксируют и как-то соотносят с этническими также формирования религиозные, военные и др. Они могли бы выявить подобные отношения и в отдаленном прошлом, если бы могли его наблюдать. Но к тогда бы ячейки их классификации не совпали с археологическими, антропологическими и др. А современные не совпадают и по-прежнему, так как не только не совмещены «рамки видоискателей» различных наук (археология, этнография, лингвистика и проч. фиксируют разные вещи), но вдобавок этносы преобразуются в ходе истории неоднократно и до неузнаваемости. Достаточно сравнить румын с даками, болгар и казанских татар с булгарами, караимов с хазарами, ассирийцев (айсоров) Ленинграда с ассирийцами Ашшурбанипала.

Конечно, совпадения разноплановых ячеек (языков, археологических культур) этносов и т. п., возможны. В таких удачных ситуациях синтез если не сводится к простой кооперации, то начинается с нее, и вся задача сильно облегчается. Но такие случаи редки. А если налицо — несовпадение, то как от этого негативного результата перейти к позитивным выводам?

4. Стратегия синтеза. Если уподобить результаты участвующих в синтезе наук проекциям исчезнувшей объемной структуры древнего мира на разные плоскости и в разных ракурсах, то суть междисциплинарного синтеза, его главная задача, заключается в том, чтобы правильно расположить эти проекции относительно друг друга и отыскать связи между их элементами, позволяющие провести в многомерном пространстве линии от одной проекции к другой, необходимые, чтобы мысленно восстановить объемную структуру.

Правильное расположение проекций относительно друг друга состоит в том, чтобы от каждой источниковедческой дисциплины брать то, что она вправе давать для синтеза; скажем, не ожидать от этнографии сведений по

относительной хронологии — их должны дать археология, естествознание и частично лингвистика; не ожидать от археологии данных по абсолютной хронологии — она может лишь использовать такие данные, полученные от естественных дисциплин и письменных источников. Не ожидать от фольклора адекватного и связного изложения событий истории, не ожидая от него верной расстановки исторических деятелей, не ожидать сведений о действительном родстве народов — фольклор дает сведения о мифологических системах, духовной жизни, некоторых подробностях быта и т. д.

Чтобы правильно соединить мысленными линиями изоморфные точки разных проекций одной структуры, можно отыскать и опознать ключевые точки на каждой проекции, установить их изоморфность соответствующим точкам других проекций и проследить за параллельностью линий, чтобы не сбиться в соединении, — связать раннее с ранним, позднее с поздним, рядовое с рядовым и т. д. В реконструкции этногенеза ариев, скажем, такими изоморфными точками будут два факта: многочисленные находки шильев в погребениях степной катакомбной культуры II тыс. до н.э. и арийское происхождение слова *ara* — «шило» в финно-угорских языках (Клейн 1980: 38; Klejn 1984: 64). Если таких изоморфных точек нет или слишком мало для понимания, нужно построить модель, в которой имелись бы точки, изоморфные порознь точкам проекции; такая модель способна послужить посредствующим звеном для увязки проекций без их гомоморфизации. Так, в нашем примере с этногенезом ариев напрашивается модель степного (арийского) воздействия на лесное (финно-угорское) население.

Для успешного выполнения задачи синтеза желательно соблюдать, следующие условия.

1. Синтез перед синтезом. Источники не только односторонни, но и фрагментированы. Это не позволяет свести разные проекции в одну объемную модель системы, пока эти проекции не избавятся от хаотической мозаичности, не приобретут облик структур, сплошных конфигурации. Это значит, что междисциплинарный синтез должен быть подготовлен: ему предшествует внутриотраслевой синтез источников.

Археологи склеивают горшки, объединяют вещи в замкнутые комплексы, группируют материал, получая типы и культуры, связывают их в колонные секвенции (последовательности культур для каждого региона). Палеоантропологи склеивают черепа, реконструируют скелеты, обобщают измерения и получают расы. Этнографы увязывают отдельные наблюдения в целостные представления об обряде или обычае, изучают взаимодействие и роль разных обычаев в функционирующей системе культуры и т. д.

К концу этой работы информация, полученная из источников для каждой отрасли отдельно, связана в крупные конструкции, не имеющие самостоятельного значения, но способные послужить строительными лесами и составными частями (панелями, фермами) для возведения заново — дальнейшим синтезированием — существовавшего и функционировавшего некогда здания или архитектурного ансамбля — культуры в статике и динамике.

Конкретнее, какие крупные конструкции имеются в виду? У археологов это система трассовых секвенций (то есть генетически связанных культур), заполненных сигналами о событиях и сведениями о функционально определенных и семиотически осмысленных вещах и комплексах, у этнографов — система культурных норм, этнических традиций и стадияльно распределенных пережитков, у палеоантропологов — схема эволюции физического типа человека, дивергенции человечества и общая картина генетических связей и метисации разветвившихся групп, у специалистов по письменным источникам — это распределение сведений по их первоисточникам, а первоисточников — по векам и странам, а также внесение коррекций, обусловленных выявлением тенденциозности авторов.

Итак, постулируется запрет на дурную манеру вводить частные выводы (о составе инвентаря какого-либо могильника или о соотношении обрядов в нем и т. п.) непосредственно в междисциплинарный синтез — подыскивать им сразу этнографические параллели, исторические объяснения и т. п. Прежде всего нужно эти частные данные ввести в систему своей науки (в археологии это системы хронологические, культурно-типологические и др.).

Конечно, такая работа проводится внутри каждой отрасли особо, ее средствами. Западногерманские археологи возвели этот принцип в абсолют, выдвинув требования «регрессивной пурификации» (Eggers 1959; Nachmann, Kossack und Kuhn 1962; Nachmann 1970). В их требовании есть разумное зерно — преодоление навыков «смешанной аргументации», утверждение адекватности методов специфике материала. Но абсолютизация этого требования нереалистична, по крайней мере для археологии: с самого начала ей приходится обращаться к смежным отраслям за «внеисточниковой информацией» для первичного осмысления своих материалов (Клейн 1974; Klejn 1974). Важно, однако, ограничивать этот поток внешней информации косвенными (применительно к нашей теме — неэтническими) сведениями, чтобы он обеспечивал только общую ориентацию на определенных шагах процедуры.

2. Сохранение неопределенности. Если при стыковке результаты разных источниковедческих наук совпали, то проблема, конечно, решается просто. На такой счастливый случай Р. Гахман и его соратники наткнулись, изучая

земли «между германцами и кельтами» римского времени. Анализ письменных источников показал, что противоречащее археологической карте сообщение Цезаря о Рейне как о границе между кельтами и германцами отражало не этническую, а военно-политическую ситуацию, и то в субъективном представлении Цезаря, возникшем из скрещения литературной традиции, опроса информаторов и требований момента. Этот анализ выявил некие племена, жившие за кельтами, к северу, но не близкородственные тем, кого римляне называли германцами (называли, видимо, по ошибке — это ведь не их самоназвание). Археология обнаружила на этой территории культуру, не схожую ни с латенской (которую уверенно приписывают кельтам), ни с ясторфской (как полагают, германской). А топонимика засвидетельствовала здесь же ареал местных названий, отличающихся от кельтских и германских. Сложив эти данные, исследователи получили некую третью народность (позже ассимилированную), к которой и отнесли этноним «германцы» в качестве исконного самоназвания (Nachmann et al., 1962).

Когда же Р. Гахман попытался применить ту же методику к миграциям гóтов (Nachmann 1970) — более сложному казусу, в котором несовпадение не удалось снять так легко — простой поправкой одного из трех частных результатов (письменной истории, археологии, топонимики), синтез не получился, машина забуксовала, и исследователь механически и насильственно перенес полученный в одной науке результат на смежные дисциплины, навязав им избранное (и сомнительное!) решение (Клейн 1974).

Главная трудность синтеза именно в том, как поступать в подобных случаях. Если частные результаты запросто складываются, то синтез есть, но нет проблемы синтеза. Если же они не складываются, то есть проблема, но нет синтеза. Надо выяснить, почему их не удается сложить, несмотря на учет разноаспектности источников. Пусть нет прямых совпадений ячеек, но должны быть соответствия между ними. Если их нет, значит в каком-то результате ошибка, может быть не одна и не в одном. Как же их обнаружить? В каждой науке начинать с какого-то этапа заново? Но если перед тем ученый работал строго и причина ошибки неясна, то вновь будет получен тот же результат. А если можно было по тем же данным и теми же методами прийти к другому результату, то на каком основании был избран этот и где гарантия, что новый окажется более приемлемым? Надо бы вовремя перебрать всю полноту возможных решений.

Здесь-то и зарыта собака. Как правило, у профессионально подготовленных ученых ошибка при интерпретации сведений источников заключается не в нарушении причинно-следственных связей, не в выборе заведомо невозможного решения, а в неоправданном сужении выбора, в преждевременной фиксации

решения. Такова была ошибка Р. Гахмана: избранная им в результате критики письменных источников локализация прародины готов была не единственно возможной — письменные источники допускают и ряд иных трактовок.

Нельзя забывать односторонность каждого вида источников и вытекающую отсюда многозначность фактов. Эта многозначность обуславливает принципиальную неопределенность решений — неопределенность, которая должна выражаться не только в вероятностной оценке, но и в многовариантности решения, в сохранении нескольких «степеней свободы». Синтез ведь затем и нужен, чтобы всячески компенсировать односторонность информации каждой отдельной дисциплины. Именно в ходе синтеза постепенно, поэтапно уменьшается многозначность фактов, число «степеней свободы». Но пока синтез не завершен, приходится сохранять неопределенность решений. Даже к последнему этапу синтеза каждая из участвующих в нем дисциплин должна представить не готовое однозначное решение, а весь диапазон решений, допустимых при данном составе фактов. Располагая такими наборами решений, исследователь может выбрать из каждого и соединить те решения, которые оптимально подходят друг другу. Если и к концу синтеза останутся возможными два-три варианта решения, то лучше признать это, чем вводить в заблуждение себя и других. Возможность надежно добиться однозначности кроется не в интуиции и не в исчислении вероятности, а в расширении базы синтеза — в подключении новых видов источников, новых методов, новых фактов.

По палеолингвистической характеристике природной среды, локализация финно-угорской прародины остается спорной: одни лингвисты помещают ее в Предуралье, другие — в Зауралье (Казанцев 1979). Археологические линии преемственности, как водится, могут поддержать любую из этих версий (ср. Третьяков 1966: 17–18; Ласло 1972: 7–9; Бадер 1972; Мейнандер 1974, 1982). Однако установлены контакты финно-угорского праязыка с индоиранским и индоарийским (Абаев 1972). В свою очередь ариев (праиндоиранцев), и в частности индоариев, локализовали по-разному — от Средней Азии до Северного Причерноморья; индоарии действительно обитали и тут и там, но в разное время. Контакт их с финно-уграми наиболее реалистично реконструировать в раннем бронзовом веке на территории, примыкающей с севера к местам их раннего обитания в Понтокаспийских степях (Клейн 1980; Klejn 1984; Клейн 1987). Тем самым подкрепляется предуральская версия локализации прародины финно-угров.

3. Приведение к «общему знаменателю». Необходимо отрешиться от привычки мыслить шаблонными уравнениями, доверять поверхностным совпадениям или различиям (ареалов, количественных распределений и т. п.)

и поспешно обобщать значения таких частных совпадений или различий, возводя их в ранг этнических показателей. На множестве примеров Ю. Эггерс (Eggers 1959) показал, как часто за такими совпадениями стоит не этническая общность, родство или преемственность, а только частное сходство позиций в торгово-обменных отношениях или в развитии ремесел. И наоборот, резкие расхождения нередко объясняются не противостоянием разных народов, а всего лишь частным различием в погребальном обряде или в материале данного вида изделий (в степени их сохранности).

Если, однако, с помощью внутренней критики источников конкретизировать и ограничить значение конфигураций (например, ареалов того или иного типа), обнаруженных в материале, то есть установить строже, уже и скромнее, о чем действительно мы вправе непосредственно заключать, то задача облегчится. Ведь тем самым будут определены точнее места этих конфигураций в реконструируемой системе — станет ясно, о каких свойствах этноса, событиях или идеях этнической истории они говорят; и тогда уже мы сможем задуматься над тем, как эти свойства, события или идеи могли бы отразиться в других видах источников, сможем поискать такие отражения, обратившись к аналогичным конструкциям, предоставленным смежными науками. При таком подходе связь получается не прямой (не непосредственной), а через модель, иногда не с одним посредствующим звеном, а многостепенной.

Скажем, на первый взгляд наличие или отсутствие погребений литейщиков, захороненных с соплами, матрицами и т. п., говорит о степени развитости металлургии (так это и трактовали многие археологи). Но, сопоставив эти комплексы с наличием инструментов в могилах, В. С. Бочкарев показал, что здесь просто проявляются различия в погребальном ритуале — сказывается, было ли принято в данной культуре класть в могилу инструменты (Бочкарев 1979). Можно пойти дальше и предположить различие в представлениях о потустороннем мире: рассматривалось ли пребывание там как продолжение земного существования (с перенесением туда земного статуса и земных занятий), или потустороннее существование представлялось резко отличным от земного. Отсюда возможность установить связи этих археологических культур с религиозными системами древних народов — системами информации, которые отрывочно донесены до нас другими видами источников.

4. Поиски многоязычного сообщения (как бы билингвы, трилингвы и т. д.), многосигнальных индикаторов. Очень важно отыскать такой аспект темы, в котором можно было бы ожидать наибольшего сходства между сохранившимися отражениями исчезнувшей структуры на разных плоскостях, то есть надо выбрать такой фактор древней жизни, который хорошо освещен

в разных видах источников и в каждом из них выступает наиболее однозначно и прямолинейно. Такие свойства при подгонке и стыковании разных одноплановых конструкций, представленных источниковедческими дисциплинами на междисциплинарный синтез, позволяют выявить изоморфные места — точки для стыка.

В реконструкции одной этнокультурной общности варварской Европы (древних германцев) Р. Гахман считает таким удобным аспектом (особенно для увязки археологических данных со сведениями письменных источников) сферу культа: о ней есть письменные сообщения античных авторов, и она весьма полно представлена в археологических материалах (группировка по погребальному обряду и т. п.). Кое-что из культовых явлений сохранилось пережиточно в крестьянской культуре средневропейского населения, многое находит аналогии в живом обиходе отсталых народов мира. Поскольку культовые объединения, согласно Р. Гахману, играли большую роль в этнокультурных контактах, то он считает, что в конечном счете это сказывалось и на распределении диалектов (Nachmann 1971).

Возможно, что Р. Гахман преувеличил организующую роль и статичность религии варварской Европы. Проблематично сопоставление религиозных объединений с языковыми общностями. Однако направление поисков перспективно.

В разных ситуациях, вероятно, хорошими многоязычными текстами для увязки в синтезе могут послужить такие аспекты социокультурной жизни, как торгово-обменные отношения, земледелие и скотоводство, гастрономические обычаи, одежда, жилье.

5. Генерализующий подход. Требуется максимально расширить поле обозрения, ибо тогда станут заметнее крупные конфигурации, выражающие структуру целого, и легче будет определить места тех или иных деталей — точек на проекции. Собственно, это то же самое, чего археологи добиваются в поле, предпринимая раскопки широкой площадью, делая разрезы и зачерчивая их целиком или крупными участками.

Можно ли уверенно определить местоположение скифов-пахарей, не накладывая на карту весь скифский квадрат Геродота? (см. Артамонов 1949; Клейн 1961; Рыбаков 1979; Яйленко 1983). Можно ли выяснять происхождение армян, не исследуя сегментацию и расселение индоевропейских народов, вне истории всего Причерноморья — от Закавказья до Балкан. Можно ли археологически и этнически идентифицировать венецов Птолемея, не разместив на карте всех их соседей и не проследив их локализацию на картах более ранних и более поздних авторов? Так же обстоит дело и с готами. Одних готы, да еще только

центрально-европейских, совместить с определенными археологическими культурами чрезвычайно трудно. Но если взять сразу все готские этнические формирования и одновременно иметь в виду локализацию и идентификацию гепидов, бастарнов, герулов, вандалов, маркоманов, лугиев, антов и др., сопоставлять же их не с одной избранной культурой, а с археологической картой всей Европы, то задача окажется гораздо доступнее, и готскую группу можно будет наметить (Щукин 1977; Wołagiewicz 1986)

6. Рассмотрение в динамике. Динамические конфигурации вообще более специфичны, чем статические, и легче опознаются, видимо, из-за того, что изменчивость во времени более интенсивна и энергична, чем в пространстве (изменения чаще и резче). Кроме того, в развороте времени легче проследить проявления одной и той же идеи, связать воедино разные ее объективации, соединить параллельными траекториями их изоморфные точки. А это позволяет восполнить пробелы: на их места можно интерполировать недостающие части из параллельных траекторий. Естественно, конструкции, подводимые к итоговому синтезу каждой отдельной дисциплиной, сильно выигрывают в полноте и легче стыкуются.

Используя этот принцип и прослеживая, с одной стороны, судьбу венедов и антов по устной традиции разных веков, зафиксированной в письменных источниках (зачастую более поздних), а с другой стороны, динамику археологических культур того же времени, Д. А. Мачинский (1976; Мачинский и Тиханова 1976) на мой взгляд, получает более убедительные общие соответствия и лучшую основу для этнических идентификаций ранних славян, чем удается другим исследователям.

7. Сосредоточение на катаклизмах. Здесь имеется в виду стремление ухватить резкие сдвиги и трансформации, активную деятельность. Есть смысл уделить особое внимание именно такой мобильности субъектов истории и преистории, таким событиям — миграциям, войнам, дальним торговым предприятиям и т. п. Ведь ситуации коллизий, конфликтов обычно более специфичны, чем спокойное развитие. Их легче опознать благодаря тому, что они приводят к столкновениям первоначально не связанных, чуждых друг другу, контрастных форм.

Так, проследив одновременное продвижение многих компонентов материальной культуры (типов жилищ, керамики, гребней, фибул и т. п.) из Северной Европы в Поднепровье как раз в момент, к которому письменные источники приурочивают приход туда гóтов (II в. н. э.), М. Б. Щукин (Щукин 1977 и др.) весьма серьезно обосновал гипотезу о ведущей роли гóтов в сложении Черняховской культуры.

Таковы основы стратегии синтеза, знаменующей собой новый подход к исследованию этногенеза. Этот подход отвергает руководящую роль одной одноаспектной науки и заменяет его всесторонней и сбалансированной междисциплинарной интеграцией. На смену простым «уравнениям» и совмещениям ячеек он выдвигает сложную и многостепенную увязку широкоохватных структур. Конечно, такая смена подхода делает исследования по этногенезу более трудными для эмпириков, вовсе недоступными для дилетантов и совершенно непривлекательными для энтузиастов априорных идей о том, откуда «должны» происходить те или иные народы. Что ж, это обычная и не слишком высокая плата за приближение к истине и становление науки.

8. Проблема преемственности и погребальный обряд

[Небольшая эта заметка (Клейн 1989) напечатана в саратовском ротапринтном сборнике, принадлежащем буквально к литературе, которую в Америке зовут «серой». А мне не хочется, чтобы она проскользнула незамеченной, потому что в ней изложена идея, которую можно определить как структуралистскую — идея скрытой преемственности за разными погребальными обрядами.]

Прослеживая генетические связи культур, археологи исходят из устойчивости погребального обряда: столкнувшись со сменой способов погребения, констатируют разрыв преемственности (этнической или, по крайней мере, религиозной). Между тем, и способ погребения порою переживает радикальные смены в рамках одной этнической традиции и даже одной религии. Поэтому не всегда можно полагаться на формы погребения как индикатор преемственности и смены этнических культур или религиозных систем.

Однако нередко под несколькими разными способами погребения скрыта одна и та же эсхатологическая концепция (ЭК) — часть мировоззрения, лежащая в основе каждого из этих способов погребения. Такая концепция может допускать разные формы реализации в обрядах стало быть, выражаться в разных способах погребения, оставаясь инвариантной в своей сущности и отличая определенную этническую традицию от других в очень масштабном охвате. Она может генетически связывать культуры, казалось бы, совершенно

несхожие по способам погребения. Зато если уж ЭК различны, то это коренное различие. Так, в корне различны ЭК индоариев и иранцев.

У иранских народов на заре истории положено было отдавать мертвых собакам или птицам для очистки скелета от плоти, а очищенные кости хоронить в глиняном сосуде или подвешивать в мешке. Кроме этих способов (зороастрийская традиция) применялись и другие способы очистки скелета: выставление на солнце, срезание плоти, вываривание, похоронный каннибализм. Всё это формы реализации одной и той же ЭК: труп считался ритуально нечистым, и надлежало предохранить священные стихии — землю, воду и огонь — от осквернения мертвечиной, предотвратить соприкосновение трупа с ними. Значит, зороастрийская (и шире: маздеистская) регламентации похорон — только разновидность общеиранского подхода,

Ту же цель преследовали покрытие трупа воском (у персов), обшивка стен могилы деревом или камнем, посыпка дна галькой или стерильным песком и т. п. А это значит, что каменные ящики андроновских погребений и бревенчатые домины срубных и андроновских укладываются в нормы иранской ЭК.

Прямо противоположна этому индоарийская ЭК. Кругооборот жизни ведийских ариев предусматривал возвращение телесной субстанции человека непосредственно в землю и растворение в ней. Приобщение мертвой телесной субстанций к воде и огню тоже не исключалось. До введения кремации труп предавали земле и просили землю ласково принять его в свои объятия. У памирцев саван разрезался, чтобы тело прикасалось к земле, комья земли клали под саван. Только грешника «земля не приемлет». Очевидно, что эти представления выработывались вне срубно-андроновского круга культур, допустимо — в ареале ямных и катакомбных памятников.

В скифо-сарматском мире наблюдается смешение обеих традиций, причем у савроматов заметнее проступает иранская ЭК (обшивка стен могил деревом, срубы, помосты, подстилка и т. п.), а у скифов — индоарийская (нередко трупы слуг и лошадей брошены на голую землю).

9. Была ли гаплогруппа R1a1 арийской и славянской?

[Эта статья была написана год назад и предназначена для юбилейного сборника в честь Е. Е. Кузьминой, отправлена и принята в сборник. Однако Елена Ефимовна недавно скончалась, и судьба сборника мне не известна. Я решил тем временем поместить статью в это собрание, где она по тематике уместна.]

Знакомство. Я познакомился с профессором А. А. Клёсовым по его инициативе. Он прислал мне электронное письмо, к которому приложил копию своей статьи «Читая Клейна» (Клёсов 2010б). Статья начиналась с восхищения моей книгой по археологии и этногенезу (о происхождении ариев и греков), и я ответил благодарностью. Завязалась переписка, которая перешла в дискуссию, а неделю спустя завершилась полным разрывом. Оказалось, что мы кардинально расходимся во взглядах.

Анатолий Алексеевич Клёсов — биохимик, безусловно ярко талантливый человек. Он работал в Московском университете, лет 20 тому назад эмигрировал в США, стал профессором Гарварда, трудится в фармацевтической науке над разработкой новых лекарств от рака — галектинов. Я — онкологический больной, до введения их в действие мне не дожить, но мне эта деятельность чрезвычайно интересна, а о важности ее я уж не говорю. Однако контакт между нами возник по другой линии, более близкой моему профессиональному делу — проблемам

этногенеза. А для Клёсова это — хобби, ставшее для него едва ли не главной темой в науке — он создал в Америке Русскую Академию ДНК-генеалогии, пока не очень представительную, и издает специальный журнал. Клёсов занялся популяционной генетикой, решает проблемы происхождения народов и языков. Но никто из специалистов по этой науке (а их немало в мире) его не признает. Вот среди дилетантов Клёсов очень популярен.

Он выступает с растолкованием основ популяционной генетики (или молекулярной генеалогии) и делает это живо и увлекательно.

Генеалогия по ДНК. Взгляду ученого ныне доступно само наследственное вещество — дезорибонуклеиновая кислота (ДНК), как она представлена в половых хромосомах. Хромосом этих у каждого по две — одна от отца, другая от матери. Каждой женщине от обоих родителей достались хромосомы X (стало быть, у женщины обе хромосомы однотипны — XX), каждому мужчине — от матери X, от отца — Y (стало быть, сочетание XY). По наследованию хромосомы Y можно проследить происхождение от отца, а по хромосоме X вообще-то происхождение исключительно по материнской линии не проследить: ведь X можно получить и от отца. Но митохондрии, крохотные образования в клетке, наследуются только по материнской линии и тоже опознаваемы.

Клёсова не интересуют митохондрии и, разумеется, женские хромосомы — только мужские.

Значительная часть хромосомы состоит из генов. При зачатии плода гены перемешиваются — что-то от отца, что-то от матери. Но опознаваемой является и остальная часть хромосомы, которая больше по размеру и, как считалось раньше, не содержит генов. Сейчас известно, что некоторое количество генов есть и в ней. Иными словами, небольшая часть хромосомы Y аналогична хромосоме X и обменивается с ней генетической информацией (при зачатии гены перетасовываются), а остальная часть не участвует в этой рекомбинации и передается следующему поколению единым блоком. Эта часть хромосомы Y почти не участвует в формировании индивида, даже почти не сказывается на его облике, на расовых особенностях. Но она-то и передается от отца к сыну, а затем к внуку и дальнейшим потомкам *в неизменном виде*, копируется. По ней и можно проследить преемственность по мужской линии за многие тысячелетия.

Только вот распознать, кто предки, кто потомки не вышло бы, если бы не одна особенность. Неизменность не полная. При копировании бывают сбои, так сказать, опечатки — мутации. Дальше хромосома передается уже с мутацией. Все потомки человека с мутацией сохраняют эту мутацию и их можно опознать

по ней. Следующая мутация у кого-то из них выделит еще одну ветвь генеалогии, и т. д. Образуется генеалогическое древо. Каждая мутация опознаваема и получила свое обозначение в науке. Анализ ДНК у живых людей позволяет по одинаковым спискам мутаций сгруппировать происходящих от одного предка в группы, называемые гаплогруппами (от греч. «гаплос» — простой, одиночный, непарный). Наиболее распространенные мутации приняты за первичные, те несколько, что внутри этого круга, — вторичны и т. д. Гаплогруппы, выделяемые по первичным мутациям, были обозначены заглавными буквами латинского алфавита, вторичные — добавлением цифр, третичные — строчными буквами латинского алфавита и т. д.

Но выявляются гаплогруппы у живых людей, современных. Они все на концах веточек грандиозного генеалогического древа. Можно ли придать ему глубину? Можно. Оказалось возможным рассчитать среднюю скорость, с которой происходят мутации (в каждом фрагменте хромосомы скорость своя, но это уже детали). Счет ведется по числу поколений, а поколение это в среднем 25 лет (до рождения детей). Значит, если взять двух человек (на концах веточек генеалогического древа), имеющих общего предка, то просчитав сколько мутаций их разделяет (и разделив на 2), получим время. Конечно, это очень приблизительно: поколение может быть и иной средней длительности — от 20 до 35 лет.

Можно уточнить: извлечь ДНК из костей древних людей, из раскопок. К сожалению, это пока очень трудно, дорого и проводится редко.

Но если всё человечество, весь вид *homo sapiens*, разделяется на огромные кровнородственные (по отцовской линии) группы, те на менее крупные, затем на еще менее и т. д., то не решается ли происхождение народов и языков? Исходная надежда и была увязать каждую гаплогруппу с определенной расой, определенным этносом и языком. Дело было только за тем — какую с какими. Но антропологи, археологи и лингвисты, не первое столетие работают над аналогичными проблемами. Они столкнулись с тем, что прямых совпадений расы с языком и культурой нет. Один народ принадлежит к разным расам, говорит на разных языках и редко, но сменяет язык. Культура не совпадает в своих границах ни с языком, ни с расой. Какая гарантия, что совпадет гаплогруппа, очень смахивающая на расу? К тому же раса и гаплогруппа не совпадают по объему. От расы гаплогруппа отличается тем, что, не залегая в генах, не определяет не только способностей, но и облика. Раса гораздо полнее: Y-хромосома — лишь часть генома, а гаплогруппа — лишь часть изменчивости Y-хромосомы. Требуется очень тонкая и осторожная работа по увязке этих разнотипных категорий, крайне редко дающих совмещения.

Клёсовская «ДНК-генеалогия» (так он предпочитает называть свою науку, чтобы отличить ее от всей остальной популяционной генетики) действительно отличается от всей остальной науки, но отличается одним. Все генетики проводят исследования хромосом, выделяют на этой основе гаплогруппы, изучают их связи, отношения, хронологию, возможные пути расселения человечества, но в большинстве понимают, что должны быть очень осторожны в увязке своих результатов с языками, народами и расами, консультируются у лингвистов, антропологов и археологов. А Клёсов смело увязывает и совмещает. Он считает, что осуществил прорыв в науке, а все остальные — закосневшие в традиционных взглядах и просто из зависти и круговой поруки не хотят признавать его открытия. Что ж, бывает...

Я в этом деле — потребитель и в какой-то мере рефери. По специфике своих занятий я из тех специалистов, к которым другие генетики и могут обращаться за сотрудничеством и консультациями. У Клёсова эта фраза, вероятно, вызовет возмущение: Как! Мы, представители точной науки, должны представлять свои выводы на суд какого-то гуманитария! Да у них там всё неопределенно, всё расплывчато, одни гипотезы! Нет-с, лингвистика тоже пользуется логикой и математикой, просто изучаемые явления сложнее. А археолог — это как следователь, опоздавший к месту событий на тысячу лет и больше. Следов мало, они фрагментарны, но они есть, и есть строгая методика их обследования и понимания, есть разные методы естественных наук в помощь следователю — и археологу. А кроме этого есть методы исторического синтеза всех этих наук, включая генетику. Вот с ними Клёсов и не хочет считаться. Без них проще.

Гаплогруппа R1a1 у славян. В чем же суть увязок Клёсова. Он берет наиболее распространенную у восточных славян гаплогруппу (около 40% всего состава восточных славян) — гаплогруппу R1a1 — и объявляет ее славянской. Все ее члены — один славянский род. Подразумевается, что с ней славяне получили свою славянскую специфику — а что именно? Язык? Культуру? Расовые особенности? Национальный характер? Неясно. А 60% восточных славян остаются в стороне от этого рода. К тому же учитывается только происхождение по отцовской линии. От матерей — ничего. Между тем, многие выдающиеся люди получили свои способности как раз от матери. А главное: славянская общность — это общность языковая и только. Нет общеславянской культуры (хотя в далеком прошлом, вероятно, и была). Нет славянской расы (есть только ходячие клише — как должен выглядеть славянин). Сравните болгар или сербов с поляками или русскими. Нет и общеславянского полити-

ческого единства. Есть только призывы к нему (столь же безрезультатные, как и призывы к общемировому единству). Существенно и то, что эта гаплогруппа распространена и у западных славян, а у южных — нет. Уже это одно отмечает ее связь со славянским языком.

Далее, у восточных славян эта гаплогруппа распространена неравномерно. Она наиболее густо представлена на юге этого ареала (Украина и южнорусские области) и заметно убывает по направлению к северу (Балановская и Балановский 2007; Balanovsky et al. 2008). Это и понятно. На севере еще тысячу лет тому назад славяне были свежими пришельцами, а коренными там были многие балтские и финноугорские народности — меря, мурома, весь, чудь, мешера, голядь (эта народность, то ли балтская, то ли германская, в Верхнем Поволжье у самой Москвы-реки) и т. д. Где они все? А они приняли православие и русифицированы, стали русскими, хотя у них другая гаплогруппа — N3.

Но точно такая же картина была чуть раньше и в Причерноморье. Там на протяжении не менее полутора тысячелетий жило много ираноязычных народностей — скифов, сарматов, аланов. Они не вымерли, а в значительной части после разгрома тюркскими народами (гуннами, печенегами, половцами, аварами) были оттеснены на север и запад и подверглись ассимиляции славянами. Археологи изучают следы их культуры, вошедшие в славянскую, а лингвисты отмечают языковой вклад (вплоть до слов «бог» у всех славян и «собака» — у восточных). Эти тоже уже давно славяне и в качестве восточных славян продвигались на север.

Недавнее исследование международного коллектива генетиков¹ — Андерхилла и других (Underhill et al. 2009) — показывает, что одно подразделение этой гаплогруппы, а именно R1a1a7, имело центр (пик встречаемости) на территории Польши и оттуда распространялось на всю территорию славян, а затем расширялось по лесной полосе. Это можно было бы связать со славянами, если бы не даты и не тот факт, что территория южных славян не затронута. Даты, установленные разными путями все довольно древние. По крайней мере, сохранилась привязка к общему предку (а мог быть и более древний). От нашего времени этот общий предок отстоит на 8,9 тысячелетий с возможными отклонениями в обе стороны на 2,2 тыс. лет. Начало распространения гаплогруппы R1a1a7 в Польше авторы относят по своим подсчетам ко

¹ В этом коллективе участвуют 34 ученых из США (Стэнфорд, Солт Лейк Сити и Уорчестер, Массачусетс, Майами), Англии (Кембридж и Хинкстон), Эстонии (Тарту), России (Москва и Уфа), Италии, Пакистана, Индии (Калькутта), Хорватии, Словакии. Они представляют ведущие учреждения в области молекулярной биологии, генетики, медицины, статистики и т. п.

времени, отстоящему от нас на $10,7 \pm 4,1$ тысячелетия. Самый нижний предел этого диапазона — 6,6 тысячелетий. Это середина V тысячелетия до н. э. Это время, когда никаких славян еще не было вообще. По традиционным расчетам лингвистов (глотохронология), славяне выделились из общности с балтами в I тысячелетии до н. э. (по Грэю и Эткинсону — ок. 3400 до н. вр., то есть ок. сер. II тыс. до н. э.).

Но середина V-го тысячелетия — это по нижнему пределу диапазона R1a1a7. А по всей вероятности, в датировке гаплогруппы речь должна идти о еще более высоком возрасте ($10,7 \pm 4,1$ тысячелетия, то есть 8,7 тыс. до н. э. $\pm 4,1$ тыс.). Это гораздо более древние времена, возможно, мезолит, когда еще, скорее всего, и индоевропейцы не сформировались как особая языковая общность, не то что их дочерние группы — славяне и другие. Коль скоро многие представители данной гаплогруппы и сейчас живут в этом ареале, следовательно какая-то ощутимая часть населения сохранилась на той же территории в течение многих тысячелетий, но славянский язык вряд ли от нее. Он же выделился из индоевропейской общности (из ее славянобалтской подгруппы) и родственен другим индоевропейским языкам — кельтским, латыни, греческому и др. Стало быть, нужно исследовать его западные связи. А арии?

Гаплогруппа R1a1 и арии. Другое скопление хромосом с разными подразделениями гаплогруппы R1a1 больше всего распространено на Днепре, характеризуя восточное славянство. Как уже сказано, доля этой группы в генофонде убывает с юга на север, уступая гаплогруппе N3, очень характерной для финноугорских народностей, что естественно.

По Клёсову, между 10 и 6 тысячами лет назад «род», несущий гаплогруппу R1a1, заселил Восточную Европу, создав многие культуры — от трипольской до «страны городов» на Южном Урале. А так как это «род», давший славян, то и трипольскую культуру Клёсов называет «праславянской». А из Аркаима этот род вторгся в Индию, что и было вторжением ариев. Ну, Аркаим — памятник интересный, но непомерно мифологизированный, степные (возможно, арийские) культуры имеют и более интересные памятники — Синташту, катакомбные погребения в курганах и проч.

Распространение этой другой ветви гаплогруппы R1a1 на Индийский полуостров (где она составляет 16% всего состава) дает основание Клёсову называть всю эту группу и «арийской». Таким образом, славяне оказываются и ариями и (в качестве ариев) предками всех остальных индоевропейских народов. Он с упоением описывает распространение этой гаплогруппы в высших

кастах Индии, хотя она распространена и в низших кастах, у ариев и дравидов (Kivisild et al. 2003). Он приводит фотографии некоторых индийцев, похожих на европейцев (по его мнению, на славян) и ссылается на сходство числительных санскрита «двигаша тридаша чатвари» и русского «двести тридцать четыре». Всё это чтобы доказать близкое родство индийцев и славян.

Сразу же отвергнем отобранные фотографии — подбором их можно доказать всё, что угодно. Я видел в Петербурге уголовников с лицами почти неандертальцев, но это же не основание для впечатления о народе. Подобие некоторых слов? И это не доказательство. По-французски и по-марийски «мари» означает 'муж'. Но языки неродственные: один — индоевропейский, другой — финноугорский. А русский и санскрит оба индоевропейские, понятно, что отдельные сходства есть, иногда разительные. У Н. Р. Гусевой (2002) подобран целый список таких, так ведь и она (как и Клёсов) не лингвист. Редкие совпадения есть, но это очень разные языки, люди не понимают друг друга. Системных сходств у русского больше с балтскими (литовским, например), а у хинди и санскрита — с иранским, греческим и армянским. Это признают все специалисты. А Клёсов действует, как типичный дилетант, на любительском уровне.

Вот квинтэссенция концепции А. А. Клёсова (2010) в его собственном изложении:

«Славяне и индусы (Клёсов предпочитает именовать индийцев-ариев этим вероисповедным термином. — Л.К.) имеют одного общего предка рода R1a1, который жил 4300 лет назад, а предок самих славян, с тем же гаплотипом, жил чуть раньше, 4500 лет назад. Его потомок через 650 лет начал генеалогическую линию у индусов, с отсчетом от 3850 лет назад (это — время жизни общего предка индусов...), как раз от времен начала Аркаима. R1a1 — это и были арии, которые пришли в Индию. А когда они пришли, и что их туда привело — я расскажу ниже, а до этого посмотрим, когда жили общие предки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую картину, где они жили раньше всех, то есть где была их прародина, и куда и когда они с прародины передвигались. Мы уже с полным основанием можем называть их ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо неуклюжего "индоевропейцы" или "протоиндоевропейцы". Арии они, дорогой читатель, арии. И ничего "индо-иранского" в них не было, до того, естественно, пока не пришли в Индию и Иран.

И язык они не из Индии или Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арийский. Праславянский. Санскрит. Или протосанскрит, если угодно».

И еще красочнее:

«Арийские языки — вот основа и европейских языков, и санскрита, и “индоевропейских” иранских языков. На Днепре, Доне и Урал-реке жили не «ираноязычные народы». Славяне там жили, праславяне, арии, и это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, Афганистан».

Проверим эти красноречивые декларации. Вторжение ариев в Индию сравнительно хорошо датировано. Им принадлежала «культура серой расписной керамики», занимающая север Индии (верховья Ганга и притоки Инда). Это культура раннего железного века, она начинается с XII века до н. э. Тут в X веке происходили события Махабхараты. События Ригведы происходили пораньше, в бронзовом веке, и только на притоках Инда — в Пенджабе. Это еще несколько веков вглубь. Арии вторглись в Индию и Иран с колесницами с севера, то есть из понтокаспийских и южноуральских степей. Культуры, которые могли бы на это претендовать, там изучены и датируются второй половиной III — началом II тыс. до н. э. Это культуры андроновские, катакомбные и срубная. Их и связывают с индоиранскими, то есть арийскими) языками (см. Клейн 1984; 2010; Кузьмина 1994;). Таким образом, вторжение ариев (возможно, несколькими волнами) падает на время около середины второго тысячелетия до н. э. (этого, впрочем, Клёсов и не отрицает). Генеалогические следы этого вторжения пока не обнаружены (Sengupta et al. 2006).

Между тем, внедрение гаплогруппы R1a1 в Пакистан и Индию относится к несоизмеримо более древним временам, когда не только не было арийских языков вообще, но, видимо, не сформировались еще и индоевропейцы. Такими могут быть разные ветви группы R1a1, распространенные в Индии (в некоторых популяциях до 71%). Есть основательные гипотезы о том, что вообще выделение R1a1 из корня R1a произошло в Индии в мезолитическую эпоху. В уже упомянутой статье большого международного коллектива Андерхилл со товарищи (Underhill et al. 2009) рассмотрели новейшие данные по хромосомам этой ветви древа R1a в Индии и Восточной Европе. Они рассчитали даты ее продвижения из Индии в Европу и Центральную Азию: в Индии ее возраст 14 тысяч лет, в Восточной Европе и на Крите 11, 2 тыс., на Алтае 8,1 тыс.,

в Киргизии 5,6 тыс. лет (ср. Cordaux et al. 2004). Более того, поскольку группа R2 представлена почти исключительно в Индии, по-видимому, вообще корень «рода» R находился в позднеледниковое время в Индии. Это был один из очагов расселения населения на освобождаемую от влияния ледника территорию.

Таким образом, гораздо больше оснований считать, что в Индии эта гаплогруппа исконная и определяет собой не ариев, а доарийское, аборигенное население — тех, кого арии называли «даса» (враждебные племена). От них получили этот гаплотип вторгшиеся арии. Если уж Клёсову хотелось дать своим «родичам» этническое имя, то почему бы ему не назвать эту гаплогруппу «дасовской»? Но тогда у концепции исчезнет ее главная приманка, главная цацка. И цацка эта с отчетливым звоном имени «арийский», который ему давно придан расовой теорией. Давайте оставим это имя за теми, кому оно принадлежит — за ариями Индии и иранцами. Славянам за него незачем цепляться, так же, как и германцам. Единственные заметные арии на нашей территории — это таджики и осетины. Так же не стоит и обольщаться особой древностью славянского «рода» и языка, он не древнее других индоевропейских языков и народов, но и не моложе.

Отвергая все достижения индоевропейской лингвистики, которые препятствуют ему свободно рисовать милую его сердцу картину родословной славян, профессор Клёсов повторяет судьбу некоторых крупных естествоведов и математиков, возмнивших, что строгая методика, ограничения, правила существуют только в их собственной науке, а выйдя на гуманитарное поле, можно дать себе волю. Когда я в переписке сравнил его с академиком Фоменко, он обиделся: «Ну, у вас и сравнения...». Да ведь и А. Т. Фоменко может обидеться, и неясно, чья обида основательнее.

Между тем, я уже видел пространное некритическое повторение рассуждений Клёсова в археологической работе, правда, без ссылок на него (см. Шапошников 2010: 253–256).

Некоторые выводы. Есть общие положения, по которым наши взгляды на возможности исторической интерпретации выводов популяционной генетики (или молекулярной генеалогии, если угодно) резко расходятся. Я придерживаюсь следующих принципов:

1. Гаплогруппы, как и расы, — общности биологической классификации, они не имеют принципиального совпадения с общностями культурной и языковой классификации, не говоря уж об этнической. Терминология для каждой классификации должна быть своя, путать их нельзя (во избежание сбивчивости в рассуждениях). В частности «арийский», «славянский» и т. п. — это языковая

классификация. К биологии отношения не имеет. Термин «арийский» к тому же неприменим ко всем индоевропейским языкам, только к индоиранским. Всякая терминология условна, но «условно» применять термины одной классификации в другой исследователи не должны. Этот прием в быту называется «ловкостью рук». Отдельные кратковременные совпадения возможны, но поиски их очень сложны и требуют учета множества факторов.

2. Языки заимствуются целыми народами или их частями, сменяются у одного и того же населения, а расовые особенности и генотипы — нет. С другой стороны расы смешиваются, хотя и передаются по наследству сравнительно стабильными генотипами (с учетом мутаций и т. п.), а язык передается только цельной системой (что не исключает заимствований словарного фонда, фонетических и грамматических деталей). Поэтому биологическая эволюция человеческих общностей кардинально не совпадает с эволюцией этнической, языковой и культурной. Наиболее мощные вклады культурные оказываются не по тем линиям, по которым перешел язык, а то и другое может не совпасть с биологической преемственностью. Поиски если не совпадений, то соприкосновений возможны, можно установить корреляцию основных процессов (она несомненно была), но это требует осторожности и чрезвычайно сложной методики

3. По своей специфике ДНК-генеалогия устанавливает только общих предков для совокупностей современных людей того или иного этноса (или этносов), языка (или языков) и т. п. Когда жили эти предки, устанавливается очень приблизительно (в широких диапазонах) и не надежно. Подсчет среднего количества мутаций за известные отрезки времени (таких всего несколько случаев) пока очень шаткие, с риском ошибиться в несколько раз — в сторону омоложения. А главное — согласно феномену «бутылочного горла», это не время, с которого ведет начало гаплогруппа (и предковая популяция), а только время, в котором зафиксирована семья, выжившая в очередной народной катастрофе, а таких было много (мор, вражеское нашествие, геноцид и т. п.). Таким образом, выводить из сравнения «начал» гаплогрупп в разных регионах историю их проникновения в эти регионы крайне рискованно. Это риск большого омолаживания.

4. По своей специфике ДНК-генеалогия не имеет способов установления мест, где жили предки той или иной выявляемой общности («рода») и должна судить об этом по косвенным соображениям. Правда, ДНК-генеалогия может налагать ветви генеалогического древа на территории, сравнивать даты тех или иных узлов, но со времен этих виртуальных предков возможны большие передвижки населения. Поэтому, пока не проведены масштабные сборы анализов

ископаемого материала, все реконструкции миграций и исходных очагов на основе ДНК-генеалогии сугубо гипотетичны.

5. По всем этим причинам ДНК-генеалогия не должна служить основой для самостоятельной реконструкции этногенеза и этнической, языковой и культурной истории, а лишь подспорьем в такой реконструкции, проводимой на основе *синтеза* биологических, археологических и лингвистических источников, а из биологических тут должны соучаствовать и традиционные антропологические данные (краниология, дерматоглифика и проч.). ДНК-генеалогия поставляет данные, которые вводятся в такой синтез, не более. Препарируя свои гаплогруппы, специалисты по ним должны оставлять свои материалы без этнического, языкового и культурного определения, если хотят оставаться объективными и серьезными исследователями. Любые попытки самостоятельного одевания гаплогрупп в этнические, языковые или культурные одежды автоматически зачисляют их исследователя в категорию паранаучных чудиков, и он не должен удивляться тому, что научный мир его не принимает всерьез.

Для А. А. Клёсова и его единомышленников гаплогруппа — это «род», а «род» — это стержень современного народа. Последователи Клёсова (сам он не так прост) верят в то, что некогда существовали чистые популяции, происходившие от одного корня — как евреи от Адама (см. в Библии), славяне и русские — от Славена и Руса (как в Иоакимовской летописи). Но и Клёсов считает, что, если и были древние популяции гетерогенны по своему генофонду и происхождению, то благодаря эффекту «бутылочного горла» (то есть, в катастрофах — мор, геноцид и т. п.) выжили немногие роды — они-то и определяют природу современных народов. А что эта родовая общность конкретно означает? Расу? Нет, — отвечает Клёсов. Отличие способностей? Нет. Просто родство. Но если все люди от африканской Евы, то все — кровные родственники. Значит, выявляется не само родство, а степень близости: большее родство и меньшее родство. Родные братья, двоюродные, троюродные... Первородство... К чему это всё? На чью потребу? Даже в семьях самыми близкими людьми далеко не всегда оказываются родные братья (история Каина и Авеля всем известна, как и Бориса и Глеба).

Вот тут-то и выявляется причина, по которой А. А. Клёсов старательно заменяет название отрасли «популяционная генетика» (или «генеогеография») ярлычком «ДНК-генеалогия». Генеалогия служила в основном установлению наследственных *прав и привилегий*. Обычно она обслуживала индивидов и семьи аристократов. Анализы ДНК применяются и в судах. ДНК-генеалогия ориентирована Клёсовым на выявление причастности целых народов к неким биологическим корням. То, что Клёсов замалчивает, выбалтывают его

примитивные последователи. Я уже читал на форумах предложение провести поголовное обследование ДНК в России и тех, у кого R1a1, признать истинно русскими, остальных — вычистить к такой-то матери...

[Клёсовская ДНК-генеалогия родов порочна еще вот почему. У каждого человека не один родитель, а два. На поколение глубже у него уже четыре предка (деды и бабушки), в следующем поколении восемь и так далее. После двадцатого поколения количество предков превышает миллион — посчитайте. В хромосомах налицо комбинация генов из огромного выбора, все они равноправны. А Клёсов вытаскивает из этой богатейшей ткани одну ниточку (отец — дед — прадед и т. д.) и ею определяет род и судьбу. Даже если к этому присоединить материнскую линию (мать — бабушка — прабабушка и т. д.), всё равно будет проигнорировано всё богатейшее многообразие, которое стоит за человеком. Я уж не говорю о том, что большая часть генов вообще не передается по линиям, учитываемым при анализе ДНК, а воздействие биологических факторов на судьбу людей, хоть и велико, но не является единственным определяющим.

Конечно, Клёсов может сослаться на то, что он же учитывает распространенность гаплотипов в населении. Но это уже не ДНК-генеалогия, а популяционная генетика, против которой он так упорно воюет.]

IV. Миграции и миграционизм

К миграциям в советской археологии отношение менялось. В тридцатые годы оно было резко осудительным — миграции воспринимались исключительно как буржуазное измышление, марксистам абсолютно ненужное, поскольку всё можно объяснить внутренними законами развития общества и местным процессом подъема с формации на формацию и со стадии на стадию. Когда по соображениям патриотического воспитания теория стадильности была в 1950 г. отвергнута и была возрождена индоевропеистика с теорией праязыка и прародины, миграции пришлось возвращать в репертуар археологии. Надо же было теперь объяснять расселение славян из прародины. Миграции возвращались постепенно: уж очень пугали проблемы признания нашествий и вторжений, пусть даже и в глубокой древности — прецедент всё-таки. Сначала стали допускаться миграции из наших коренных территорий на чужие земли, потом, уже в постсталинское время стали признавать и миграции в наши земли, но только с территориями дружественных государств («социалистической демократии»), и, наконец, с любых территорий.

Но и после этого реконструировать их стало не многим легче. Для убедительной реконструкции требовалось определить надежные критерии реконструкции, выявить археологические признаки миграции, а это означало разработку археологической теории миграций. С теориями же в нашей археологии обстояло дело слабовато. Сталинский террор и обстановка идеологического зажима надолго отбили вкус к теории. Теории приходилось изучать по зарубежным трудам. Но как раз когда в нашей археологии стало возможно помышлять о миграциях, западная археология вступила в период увлечения внутренними законами развития и стала так же ожесточенно отвергать миграции, как прежде советская археология. Так что и с запада теорию миграции было невозможно получить.

Коль скоро я занялся теоретическими исследованиями, задача разработать теорию миграций встала передо мной.

Дело в том, что я с самого начала моих научных занятий питал глубокий интерес к миграциям и не верил в их отрицание. Со студенческих лет я выступил (довольно громогласно) против учения академика Н. Я. Марра, против теории стадиальности — еще до ее опровержения «сверху». В первые годы самостоятельных занятий я скептически отнесся к автохтонной гипотезе происхождения славян и моя первая печатная работа (Клейн 1955) была критическим разбором работ автохонистов. Моя диссертация была посвящена катакомбной культуре бронзового века, и я выдвинул миграционную гипотезу ее происхождения, предположив и собрав доказательства ее миграции из северной Европы. Позже я опознал в этой культуре индоариев и встал вопрос об их миграции из степей Причерноморья и Прикаспия в Индостан. Миграции и дальше привлекали меня как важный элемент этногенеза.

Естественно, что я постарался разработать критерии реконструкции миграций. Кое-что мне удалось сделать.

1. Археологические признаки миграций

[В 1955 г. в своей первой печатной работе я выступил против бездоказательного признания автохтонной концепции происхождения славян из Поднепровья. В 1960 г., еще будучи аспирантом, я написал книгу о варяжском (норманнском) нашествии на славянские земли (по «пути из варяг в греки»), где рассматривал это нашествие не как эпизод расовых отношений, а как миграцию.

В 1968 г. я защитил свою кандидатскую диссертацию «Происхождение Донецкой катакомбной культуры». В диссертации я отстаивал миграционную гипотезу происхождения этой культуры. В последующие годы я был занят продвижением в печать сюжетов из диссертации (очень мало прошло в печать до защиты) и, естественно, размышлял об общих аргументах в пользу доказательства миграции. Было самое время расширить базу фактов (накопились и другие конкретные трактовки фактов) и обобщить свои соображения о методике решения подобных вопросов.

Относительно археологических критериев установления миграций у меня сложилась своя концепция. Я понимал, что это вопрос, заслуживающий обсуждения международного. Я уже участвовал в немецких, английских и американских изданиях, но проникал в них всегда по индивидуальному почину, и это начинало выглядеть всё более странно: научные учреждения моей страны меня явно не поддерживали. Я хотел добиться официальной поддержки — войти

в советскую делегацию на международный конгресс, и решил, что работа по важному и практически нужному теоретическому сюжету — хороший повод для этого. В 1970 г. был очередной международный археологический конгресс, но отбор был обставлен так, что мне и думать нечего было туда попасть. В 1973 г. предстоял международный конгресс антропологических и этнографических наук. Руководство этнографии было либеральнее, и можно было попытаться.

В 1971–1972 гг. я стал готовить свою работу к предстоявшему конгрессу. Отправил ее в Москву. Оттуда она вернулась с рядом замечаний, главное из которых — непатриотично: упоминается слишком много иностранных имен, слишком мало отечественных ученых. Господи! Я же не о подборе имен думал, а о сути дела. Но пришлось изменять текст — вычеркивать одних, вставлять других. На сей раз работа была принята. Потом выверял перевод — тоже было много возни. В 1973 г. русский текст был издан отдельной брошюрой в Москве в числе других работ членов советской делегации на IX конгресс, который имел быть в Чикаго. Но в Чикаго меня не пустили: в делегацию включало академическое начальство, а вот пускать за границу, да еще и валюту на это выдавать — решали уже и другие инстанции. А раз на конгрессе меня не было, то и доклад мой там не зачитывался и в трудах конгресса не печатался. Перевод опубликован не был.

Только в 1999 г. я опубликовал гораздо более развернутое изложение этой концепции (перепечатана здесь следующей). Но и работу 1973 г. я решил здесь перепечатать тоже — во-первых, как исходный вариант концепции (для удобства историографии), во-вторых, как более краткое изложение. Конечно, я вернул здесь те фамилии, которые нужны по делу.]

[1. Иллюзии и секвенции.] Археологический материал предстает перед археологами более или менее четко сгруппированным в археологические культуры, в которых отложились в преобразованном виде этнографические (но не обязательно этнические) культуры живых обществ прошлого. Из-за специфики самого материала (наличие многослойных памятников) и еще больше — из-за особенностей современной организации научных исследований (разделение по странам, лакунарность обследования) исходная группировка культур оказывается их локально-диахроническим соединением. Археолог получает

культуры как бы нанизанными на стержни локальных колонок сравнительной стратиграфии и составляющими локально-диахронические ряды — *колонные секвенции*. Таков, например, выявленный Городцовым ряд культур: ямная, катакомбная, срубная и т. д.

Так как в смене культур внутри каждого такого ряда в общем и целом обычно наблюдается культурный прогресс, то рождается иллюзия, что этим рядом представлено реальное непрерывное развитие одного и того же населения. Этой иллюзии мешает дискретность звеньев этого ряда — *археологических культур*. Чтобы обосновать иллюзию, предпринимаются попытки выявить сквозные эволюционные линии в типологии (местные традиции, сквозные типологические ряды) и ведутся поиски недостающих звеньев между культурами. С упомянутым рядом культур так поступали Круглов и Подгаецкий. Чем менее успешны подобные попытки и поиски, тем больше повода для противоположной иллюзии — принимать каждую смену культур в колонной секвенции за результат инвазии, прихода нового населения. Так трактовал свой ряд культур сам Городцов. Выбор между той и другой иллюзиями мог определяться самим материалом, его изученностью или идейной предрасположенностью исследователей.

Для обеих крайностей была характерна одна и та же методическая ограниченность: поиски доказательств велись только внутри данной колонной секвенции. Между тем, памятники, сочетающие черты обеих культур — более ранней и более поздней, — почти всегда налицо: не только при местном развитии, но и при смене населения — как результат смешивания и скрещивания пришельцев с остатками туземцев (Клейн 1961: 49–65; Членова 1963: 48–66).

С другой стороны, и дискретность развития тоже проявляется не только при смене населения — к тому же эффекту могут приводить и природные катаклизмы, и социальные сдвиги и т. п.

Возникает представление о том, что никакая автохтонность культуры не выглядит правдоподобной без сравнения предполагаемых местных корней этой культуры с возможными внешними ее корнями, уходящими в культуры других колонных секвенций; и что, с другой стороны, никакая инвазия не вправе претендовать на убедительность без демонстрации таких внешних корней, превосходящих по обоснованности материалом предполагаемые внутренние, местные корни. От понятия «инвазии» надо перейти к более широкому понятию «миграции» (эмиграция + переселение + иммиграция), включающему в себя инвазию как частный случай (*инвазия* — это массовая и насильственная разновидность иммиграции). Соответственно, от изначально заданных колонных секвенций надо перейти к *трассовым секвенциям*: рядам культур, соединенных

последовательно по принципу культурной преемственности вне зависимости от территориального расположения. Ведь именно в этих, а не в колонных секвенциях протекал культурно-исторический процесс.

К выявлению и прослеживанию таких секвенций археологи обратились на рубеже XIX и XX вв. Сразу же выяснилось, что трактовка этих секвенций также может быть двойкой. Снова возникают две иллюзии. Одна порождается привычной увязкой определенной культуры с определенным населением и заключается в том, что трассовая секвенция принимается за историю культуры одного населения, и почти каждая переброска трассовой секвенции из одной колонной секвенции в другую принимается за миграцию. Противоположная иллюзия вытекает из преувеличения роли торговли и других контактов в распространении культуры. Она сводится к тому, что трассовая секвенция совершенно освобождается от связи с одним и тем же населением и понимается как история определенного комплекса идей, а почти каждая переброска трассовой секвенции из одной колонной секвенции в другую рассматривается как горизонтальная трансмиссия, передача культуры посредством культурного влияния и заимствования.

На практике преувеличение роли миграций, с одной стороны, и влияний, с другой, выступали обычно не в обрисованном выше чистом виде, а в своеобразной идеологической аранжировке. Косинна поставил прослеживание древних миграций на службу геополитике — идеологическому оружию германского империализма. Эллиот Смит положил влияния и заимствования в основу концепции *диффузионизма*, построенной как проекция отношений современного колониализма на далекое прошлое. В одном случае Центральная Европа, в другом — Египет выдвигались на роль исходного очага и главного центра культурного развития всего Старого Света.

В обоих случаях ни миграция, ни трансмиссия не требовались для объяснения каждой переброски трассовой секвенции из одной колонной в другую, а лишь для объяснения перебросок, *центробежных* по отношению к предпочитаемому очагу; внутри же очага предполагалась *автохтонность*. Реакцией на эти злоупотребления были не только попытки почти или вовсе отказаться от идеи миграций (Мещанинов, Равдоникас, Кричевский), но и попытки противопоставить указанным очагам другие и повернуть миграции Косинны вспять (Чайлд, Борковский, Брюсов).

[2. Критерии выявления миграций.] В спорах между этими направлениями отрабатывались методы и критерии археологического выявления миграций. Для исследователей, исходивших из представления о культуре

как эманации народного духа (*Volksgeist*) или как функции расы, культура во всех своих частях и элементах мыслилась самобытной и своеобразной для каждого народа. Возможность адаптации привнесенных элементов сводилась к минимуму. Отсюда принцип *pars pro toto* — возможность проследить миграции населения даже по отдельным типам вещей (скажем, расселение индоевропейцев — по находкам каменных боевых топоров).

Смягченным вариантом этого принципа была концепция «этнических показателей», согласно которой не любые, а лишь некоторые элементы культуры тесно связаны с этническим характером населения и позволяют археологам проследить расселения и переселения. Споры развернулись о том, какие же элементы имеют преимущественное право на статус таких показателей: способ погребения, или лепная керамика, или только техника ее выделки, или ее орнаментация, или кремневая индустрия, или устройство жилищ, и т. д. Между тем еще Косинна вынужден был, защищаясь от критиков, отрешившись от простой «идентификации горшков с народами» и признавать, по крайней мере, на словах, необходимость проследить ареалы и сдвиги ареалов целых культур, то есть комплексных сочетаний культурных элементов.

Позже критика концепции «этнических показателей» со стороны многих археологов — от Гёрнеса и Шрадера до Кнабе и Захарука — привела к утверждению комплексного критерия миграции. По этому критерию для доказательства миграции нужно зафиксировать на новом месте весь комплекс форм, представленных на старом. Культура нового ареала мыслится как бы воспроизведением культуры старого ареала, копией, вычерченной по то же лекалу — соответственно, Дж. Диц удачно назвал этот критерий «лекальным» (*template criterion*). В основе этого критерия лежит убеждение в том, что миграции переносят неизменную культуру (см., напр., Брюсов 1957: 5–13). Критика учения Косинны накопила ряд «упрямых фактов» о ложности или несовершенстве, недостаточности лекального критерия: (а) ряд зафиксированных письменными источниками миграций древних народов не прослеживается в виде лекальных передвижек культур, и, наоборот, (б) встречаются (хотя и редко) лекальные передвижки культур в местах, где по письменным источникам жило одно и то же население, что показали Вале, Эгерс и др. Вторая категория «упрямых фактов» (б) объяснима диффузией культуры или неполнотой письменных источников. А вот с первой категорией (а) разобраться труднее.

Всё больше накапливается соображений о том, что культура на новом месте и не может оказаться точной «лекальной» копией исходной культуры. Здесь действуют три фактора.

Первый — *эффект усреднения*. Даже при наличии континуума эволюции (что не обязательно) в археологии процесс предстает разделенным на этапы, каждый из которых характеризуется усредненными параметрами (Ford 1954: 42–54). Эти средние, конечно, дальше друг от друга, чем параметры стыков обоих этапов, обычно недоступные прямому выявлению, и увязываются лишь путем интерполяции.

Второй фактор — *миграционная трансформация*. Сама миграция — встряска, которая приводила к быстрой трансформации культуры. Разрыв старых связей и установление новых, выход из старой системы отношений, перемена природной и социальной среды, ослабление старых норм и авторитетов — всё это порождало резкую перестройку культуры пришельцев (Клейн 1968; Nachmann 1970).

Третий фактор — *неидентичность состава*. Имеется в виду, что состав мигрантов и несомой ими культуры обычно не идентичен тому комплексу компонентов, который был в наличии на родине мигрантов. У этого фактора есть два фиксируемых элемента: *исходная неидентичность* и *конечная неидентичность*. Для объяснения *исходной неидентичности* состава применима концепция *субкультуры*: в миграцию очень часто отправляется не все общество и не пропорциональный срез всех его слоев и сегментов (репрезентативная выборка), а одна из фракций, например, молодые мужчины-воины или (если речь идет о ближнем и постепенном просачивании) женщины, выходящие замуж, или ремесленники и т. п. Для объяснения *конечной неидентичности* были предложены две гипотезы. В основу обеих легло следующее наблюдение: исходные очаги компонентов новоприбывшей культуры часто оказываются в разных местах — корни культуры расходятся в разные стороны. Например, тип могилы донецкой катакомбной культуры восходит к средиземноморским катакомбам, главные формы керамики и боевых топоров — к североевропейским культурам кубков, курильницы имеют аналогии на Дунае и т. д.

Гипотеза *обходной миграции* (Клейн 1962: 74–87; 1963: 2, 7–36) предполагает подвижную группу населения, прошедшую по всем этим очагам и вобравшую там в свою культуру данные разнородные компоненты. Этим предложено объяснять состав Донецкой катакомбной культуры. Гипотеза *кооперированной миграции* (Nachmann 1970) предполагает, что активная группа мигрантов часто вовлекала в движение осколки соседних племенных групп с весьма широкого ареала, и культурные компоненты, захваченные ими из родных мест, быстро сплавлялись в единую культуру. Так предлагается трактовать движение готов и других германцев в Причерноморье.

Нужно еще иметь в виду, что возможна *иллюзорная неидентичность состава*. Иллюзию создает недоработка классификаций в исходном очаге или в конечном или в обоих: когда негомогенная масса культурных элементов принята за гомогенную (культура не разделена на локальные или хронологические варианты, которые объективно, хотя и в скрытом виде, в ней присутствуют и на деле весьма различны). Так обстояло дело с катакомбной культурой (ныне мы говорим о катакомбных культурах). Предварительная проверка гомогенности культур становится необходимым условием выявления преемственных связей, а дифференциация — средством коррекции сомнительных ситуаций, сомнительных эффектов неидентичности состава (Клейн 1968).

Все три рассмотренных фактора — эффект усреднения, миграционная трансформация и неидентичность состава — подрывают приложимость критерия лекальности.

Наряду с ним нередко применялся второй — *критерий стыка*. В нем есть два аспекта — *хронологический* и *территориальный*. *Хронологический* сводится к требованию, чтобы принимаемая за исходную культура, будучи древнее новой, всё же имела с ней стык во времени или, по крайней мере, не была отделена от нее слишком большим интервалом (этот интервал не должен превышать реалистичное время, требующееся для самого передвижения). При существовавшей приблизительности хронологических определений критерий стыка в этом аспекте обычно не доставлял больших затруднений.

Сложнее обстояло со вторым аспектом — *территориальным*. Он заключался в требовании, чтобы обе культуры — исходная и конечная — либо занимали средние или даже взаимоналегающие ареалы, либо были соединены цепочкой или полосой *памятников промежуточного типа* — следов движения мигрантов (а при интервале во времени — следов более или менее длительного пребывания мигрантов на промежуточных территориях). Такое требование отчасти было психологической проекцией хронологического аспекта на территориальный, отчасти вытекало из убеждения в том, что первобытные миграции имели только «ползучий» характер — медленного, поэтапного продвижения. *Дальние разовые переселения* считались нереальными, несмотря на очевидные конкретные примеры, засвидетельствованные письменными источниками и этнографией, например, собранные в работах Геддона [(Хэддона)] и Тыменецкого.

В совокупности оба критерия — лекальности и территориального стыка, — призванные застраховать исследователя от произвольного конструирования миграций, оказались явно перестраховочными и столь эффективно работали в этой своей роли, что «делали невозможным констатацию даже таких

миграций, без принятия которых факты необъяснимы (например, перемены в СМIII на Крите).

Если эти критерии применить ко многим, хорошо засвидетельствованным миграциям (дорийцев, киммерийцев, готов, герулов, вандалов и др.), то окажется, что эти миграции не существовали! Между тем, сугубым скептикам, таким, как Ирвинг Раус [или Рауз], — и этих критериев мало. Раус довел число критериев до пяти:

«1) идентифицируй мигрировавший народ как вторгшуюся общность в районе, где он оказался; 2) проследи эту общность ретроспективно до ее прародины; 3) удостоверься, что все проявления этой общности одновременны; 4) установи наличие благоприятствующих условий для миграции и 5) докажи, что другие гипотезы, такие, как независимое изобретение или диффузия признаков, не удовлетворяют лучше фактическому состоянию дел» (Rouse 1958: 64).

Число их нетрудно и увеличить, читая критику миграционных гипотез, тогда как и двух названных выше критериев уже слишком много.

Но если без этих критериев (с одними лишь «этническими показателями») недостаточна надежность, а с применением этих критериев недостаточна чувствительность методики, то как же быть? Которая из этих двух ситуаций — меньшее зло? Одни исследователи предлагают примириться с первой ситуацией и признать, что наши выводы о миграциях носят вероятностный характер. Задачу этнографической разработки археологической теории миграций они видят в том, чтобы изучением стабильности различных компонентов культуры оценить их сравнительные возможности как «этнических показателей» и тем создать базу для оценок вероятности оправдания конкретных миграционных гипотез (Gjessing 1955: 1–10). Другие предпочитают исходить из второй ситуации и примириться с неизбежностью того, что многие миграции от нашего наблюдения ускользнут. С этой точки зрения, за отправной пункт в проверке миграционных гипотез надо принять предельные случаи — археологические казусы, представляющие абсолютно недвусмысленно феномен миграции. Степень близости к этим эталонам будет определяться уровень достоверности сомнительных случаев. Из-за разнообразия миграций этнографическая разработка теории миграций считается бесперспективной для поисков археологических критериев выявления миграций (Nachmann 1970).

Оба предложения не могут удовлетворить. Без математического оформления оценка вероятности сведется к словесным оговоркам о неполной достоверности. Научная практика показывает, что такие оговорки легко теряются и гипотезы автоматически превращаются в констатации фактов. Упор на предельные

казусы слишком ограничивает возможности исследования, а трудности сравнения с эталонами открывают простор для субъективизма.

С вероятностным подходом связано различие среди археологических показателей миграции «*прямых*» и «*косвенных*» показателей. При узком и, несомненно, более строгом понимании «*прямых* показателей» в границы этого понятия попадают только антропологические свидетельства (Malmer 1962: 806–808). При широком понимании — также резкие изменения в каком-либо археологическом типе и в языке текстов (Adams 1963: 197). Тогда к «*косвенным*» отойдут лишь свидетельства о сопутствующих или вызывающих миграцию событиях (например, стихийные бедствия, военные разрушения и т. п.), а также данные об общих связях и соотношениях фактов (например, возможная ориентировка покойников лицом к прародине). Суть отделения прямых от косвенных — постулат о безусловной доказательности первых, если они доброкачественны и обильны. Однако даже авторитет антропологических свидетельств за последние десятилетия сильно упал, возможности этих данных представляются ныне более скромными и ограниченными, чем прежде (антропологические признаки оказались более изменчивыми, чем предполагалось). И наоборот, некоторым косвенным показателям придается столь большое значение, что их элиминация рассматривается как опровержение самой возможности миграций для данной среды (Nachmann 1970). Здесь многое зависит, конечно от того, какая разновидность миграции имеется в виду.

Видимо, в этом и следует искать ключ к решению проблемы.

[3. **Виды миграций и проблема общей теории.**] Разнообразие миграций противоречит на деле не этнографической разработке критериев выявления миграций, а лишь стремлению абсолютизировать частные критерии, действительные для отдельных разновидностей миграций, абсолютизировать и переносить их на все миграции вообще. В основу разработки критериев должна лечь классификация миграций (опыты такой классификации предлагают Хонигсгейм, Герц, Хип, Кулишер, Сорр, Гохгольцер, Авербух и др.). Одно дело — миграция всего общества (результат — передвижка целой культуры), другое — миграция одного сегмента общества (результат — отпочкование части субкультуры). Постепенное просачивание и разовый бросок, мирное проникновение и военное нашествие с вытеснением, а то и с уничтожением старого населения или с его ассимиляцией и т. д. — все эти виды миграций оставляют разные археологические следы.

Вопрос об археологических критериях миграции должен решаться на первых порах для каждого класса миграций отдельно. Среди

археологически фиксируемых признаков разных миграций можно будет различать признаки большей или меньшей степени общности.

Такие операции потребуют структурно-логического анализа каждого вида миграции как системы событий. Именно увязка определенных категорий археологических фактов с определенными разновидностями событий как структурными компонентами миграции позволит перейти от накопления частных критериев разновидностей миграций к *общей теории археологических критериев миграции*. Деление свидетельств миграций на «прямые» и «косвенные» выступит сугубо относительным. Каждая категория сигналов о миграции окажется прямым свидетельством одного из возможных структурных компонентов миграции (например, для демографического взрыва или для военного нашествия) и косвенным для ряда других компонентов. А вот привело ли включение этого фактора в данном случае к переселению народа или его части, и, наоборот, было ли оно необходимо для осуществления такого события (то есть дает ли его отсутствие право отрицать такое событие) — это уже зависит от места данного компонента во всей системе данной разновидности миграции. Это зависит также от того, в каких вообще разновидностях миграций он способен участвовать, и способен ли он участвовать в иных системах событий — не миграционных. Вполне возможны случаи, когда наличные факты в силу их многозначности или из-за малочисленности не полностью удовлетворяют критериям доказанности миграции, но и не противоречат миграционной гипотезе.

С таким пониманием связан отказ от любых презумпций — как миграции, так и автохтонности или трансмиссии культуры. Каждая из этих гипотез должна доказываться особо, и невозможность в каком-то случае доказать одну из них не означает автоматического утверждения другой, а только повышает ее шансы на утверждение. Есть лишь одна презумпция в науке: презумпция неизвестности. Она гласит: если ничего не доказано, то ничего утверждать нельзя.

2. Миграция: археологические признаки

[Это и есть та статья, в которую я переработал свою брошюру об археологических признаках миграций через четверть века. Переработка вышла в хорошем виде (Клейн 1999) в лучшем археологическом журнале на постсоветском пространстве, но журнал этот, выходя в Молдавии, трудно просачивается в Россию и поэтому мало доступен. Перепечатка статьи здесь стала необходимой.]

1. Предисловие. Судьба этой работы странная. Я написал ее на рубеже 1972 и 1973 гг. для выступления на IX Всемирном конгрессе антропологических и этнографических наук в Чикаго. Ввиду нестандартности моих взглядов [и по другим причинам] об участии в археологическом конгрессе мне нечего было и думать, а в этнографическом — можно было попробовать. Но и туда меня не пустили. А вот доклад взяли. И он был напечатан в Москве на русском языке как отдельная брошюра небольшим тиражом в серии докладов советской делегации — «Археологические признаки миграций» (Клейн 1973).

Конечно, доклад проходил многостепенную проверку, в ходе которой сначала мне предложили сократить количество ссылок, а потом увеличить его за счет русских ученых: оказалось слишком много иностранцев и вообще нерусских фамилий. Затем статью переводили (уж не помню, то ли на английский, то ли на французский язык) для зачитывания на конгрессе (без меня) и печатания в трудах конгресса. Однако потом, как я ни старался, кого только из зарубежных коллег ни привлекал на помощь, я не мог отыскать эту работу

ни на английском, ни на французском языках. Очевидно, «бесхозные» доклады не зачитывались и не публиковались.

Остались только брошюры на русском языке в нескольких профильных библиотеках страны. Однако и этим брошюрам не везло. С одной стороны, читательский спрос на них был очень велик, значит, они оказались нужны. Своеобразным показателем полезности является то, что из библиотеки ИИМК эту брошюру просто похитили. Мой собственный экземпляр кто-то «зачитал» — взял и не вернул. Я заказал ксерокопию, но и та исчезла. С другой стороны, эту работу очень редко упоминают в печати, ссылок на нее почти нет. Вероятно, она приглянулась не теоретикам, а практикам — не для упоминания в дискурсе, а для попыток применения. Лишь двое очень уважаемых мною теоретиков как-то сказали мне, что считают ее одной из лучших моих работ. В глубине души я с ними согласен.

Впрочем, с тех пор вся разработка проблемы критериев доказанности миграций пошла в СССР и других «соцстранах» по намеченному мною пути — разделения миграций по типам. В одной важной работе о миграциях я нашел явное использование моей брошюры — в большой статье В. С. Титова «К изучению миграций бронзового века». Это был доклад Титова на теоретическом семинаре в Москве, сделанный в 1976 г. и опубликованный в 1982-м. Там и определение темы мое (название главы у него: «Об археологических признаках миграций»), и список критериев тот, который сформулировал я, и с теми же своеобразными обозначениями критериев (территориальный, хронологический, локальности), и увязка критериев с типами миграций продельвается, что я и предлагал. То есть у Титова представлена развернутая реализация моей программы. Но нет даже упоминания моего имени. Это понятно: сборник подписан к печати в декабре 1981 г. — к тому времени я уже более полугодом находился в тюрьме, участие КГБ в моем деле ни для кого не было секретом, и отовсюду ссылки на меня аккуратно вычеркивались. Это тоже способствовало забвению моей работы.

Теперь она мало известна и почти недоступна большинству специалистов. Поэтому я очень обрадовался предложению журнала «Стратум» опубликовать ее повторно, так сказать вторым изданием, и занялся подготовкой ее к печати. Однако поскольку нет теперь ни цензурных ограничений, ни соображений «проходимости», я не стал делать точную копию, а предпринял восстановление первоначального текста по черновикам, внося в публикацию всё, что вычеркнуто. Кроме того, я пополнил литературные данные, умножил примеры — как-никак прошла четверть века. Но основа работы осталась без изменения.

Тех, кто удивится обилию ссылок на старые работы, я прошу всё же не забывать, что эта основа заложена четверть века тому назад. В тех случаях, когда

такие работы приводятся как иллюстрации, как примеры реализации той или иной модели, не так уж важно, когда они написаны. Более современные примеры каждый может подыскать и сам.

Сразу же оговорюсь: на мой взгляд, общие причины миграций — это дело не археологии, а истории (также преистории) и социологии. Поэтому «законы миграции» демографа прошлого века Рэвенштейна (Ravenstein 1885; 1889), равно как и «теория миграций» современного социолога Ли (Lee 1966) меня здесь занимать не будут. Рэвенштейн выделяет три фактора, взаимодействие между которыми рассматривает для установления законов. Эти факторы — толчок (push), тяга (pull) и средства (means). Всё это касается причин миграций. Преисторические аспекты этой темы я затрагиваю в другой работе (Клейн 1974, см. также Kölmann 1976; Косарев 1972; Долуханов 1978; Shilov 1989). Как осуществляются миграции — тоже не собственно археологическая задача. Это поле этнографии и культурной антропологии (Геддон 1923; Braukämper 1992; 1996; Zamojski 1995; и др.). Археолога подобные разработки и сведения интересуют лишь как подспорье для прояснения проблем с археологическим материалом. Но, несомненно, интересуют. А вот как миграции отражаются в археологическом материале — это дело самой археологии. Этой проблемой я и занимаюсь здесь.

2. Миграционизм, автохтонизм и секвенции. Археологический материал предстает перед археологами более или менее четко сгруппированным в *археологические культуры*, в которых отложились в преобразованном виде этнографические (но не обязательно этнические) культуры живых обществ прошлого (Klejn 1971; 1991: 123–208). Из-за специфики самого материала (наличие многослойных памятников) и еще больше из-за особенностей современной организации научных исследований (разделение по странам, лакунарность обследования) исходная группировка культур оказывается их локально-диахроническим соединением. Археолог получает культуры как бы нанизанными на стержни локальных колонок сравнительной стратиграфии и составляющими локально-диахронические ряды — *колонные секвенции* (рис. 1). Таков, например, выявленный Городцовым на Донце ряд культур: ямная, катакомбная, срубная и т. д.

Так как в смене культур внутри каждого такого ряда в общем и целом обычно наблюдается культурный прогресс, то рождается иллюзия, что этим рядом представлено реальное непрерывное развитие одного и того же населения. К тому же такой быт ближе представлению ученого и кажется ему более реалистичным. Как писал Уэйс (Wace 1958: 31), «Одно дело сидя сегодня в удобном

кабинете где-нибудь в Оксфорде или Гёттингене, переселять неолитический народ из Малатии в Фарсал, но было совсем другим делом для неолитического народа тысячи лет назад переселяться со всеми манатками (lock, stock and barrell)». Наивность и неисторичность подобных рассуждений видна сходу. Сентенцию Уэйса можно повернуть и против его идеи: одно дело сидеть сегодня в удобном кабинете где-нибудь в Афинах и удерживать неолитический народ в чудесной местности, а совсем другое дело для неолитического населения выбирать между смертью на месте (от эпидемии, голода, мора, смуты или нашествия) и бегством — lock, stock and barrell — на поиски лучших земель. О мотивах можно расспросить бесчисленных сегодняшних мигрантов.

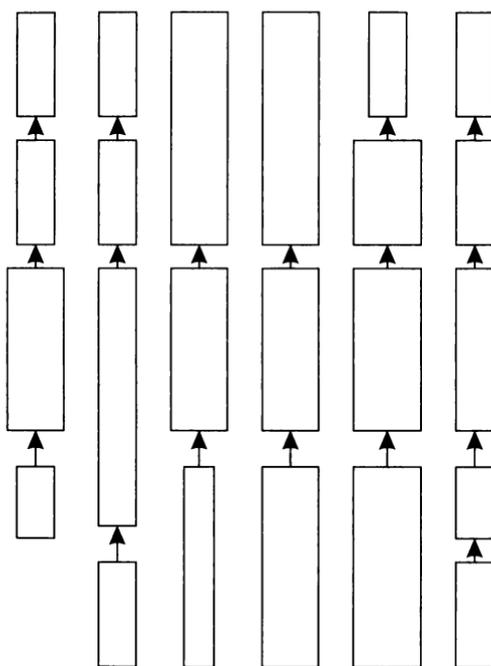


Рис. 1. Колонные секвенции. Стрелка справа показывает направление времени. Прямоугольные ячейки обозначают культуры. Стрелки, соединяющие их, отображают иллюзорную преемственность, лишь в некоторых случаях совпадающую с реальной

Постоянное и повсеместное независимое существование народностей — это иллюзия, и основанная на ней концепция (*наивный автохтонизм*) обходится очень бесхитростным обоснованием — подразумеваемым «законом наименьшего движения», на который, впрочем, позже появляются и прямые ссылки (это подмечено в работе Adams et al. 1978: 505).

Этой иллюзии мешает дискретность звеньев указанного ряда — *археологических культур* в колонной секвенции. Культуры резко сменяют одна другую, и корни каждой выявить довольно трудно. Происхождение каждой культуры — чрезвычайно дискуссионный вопрос (Клейн 1975). Чтобы обосновать иллюзию постоянного независимого местного развития предпринимаются попытки выявить сквозные эволюционные линии в типологии (местные традиции, сквозные типологические ряды) и ведутся поиски недостающих звеньев между культурами. С упомянутым рядом культур так поступали Круглов и Подгаецкий, Кривцова-Гракова и др.

Чем менее успешны эти попытки и поиски, тем больше повода для противоположной иллюзии — принимать каждую смену культур в колонной секвенции за результат *инвазии*, вторжения иноземцев, прихода нового населения (*инвазионизм* или *наивный миграционизм*). Так трактовал свой ряд культур сам Городцов. Так расценивали смены культур в регионах своих раскопок К. Кеньон, Дж. Рейснер, Л. Вули.

Выбор между той и другой иллюзиями мог определяться самим материалом, его изученностью или идейной предрасположенностью исследователей. Так, эволюционизм третьей четверти XIX века, хотя и не имел ничего против миграций, создавал систему, в которой для объяснения ситуаций обращаться к миграциям не было необходимости, а факты, служившие аргументами миграций, задействовались иначе. Смена культур объяснялась прогрессивным развитием, сходства культур разных территорий объяснялись конвергенцией. Кризис идей прогресса, рост национализма и геополитических претензий в конце XIX — начале XX века приводили к усилению роли миграционных толкований.

Для обеих наивных крайностей была характерна одна и та же методическая ограниченность: поиски доказательств велись только внутри данной колонной секвенции. Между тем, памятники, сочетающие черты обеих культур — более ранней и более поздней — почти всегда налицо: не только при местном развитии, но и при смене населения — как результат смешивания и скрещивания пришельцев с остатками туземцев (Клейн 1961: 12–13; 1968; Членова 1963: 48; 1967: 6).

С другой стороны, и дискретность развития тоже проявляется не только при смене населения — к тому же эффекту могут приводить и природные катаклизмы, и социальные сдвиги, и т. п.

Возникает представление о том, что никакая автохтонность культуры не выглядит правдоподобной без сравнения предполагаемых местных корней этой культуры с возможными внешними ее корнями, уходящими в культуры других колонных секвенций. И что, с другой стороны, никакая инвазия не вправе претендовать на убедительность без демонстрации таких внешних корней, превосходящих по обоснованности материалом предполагаемые внутренние, местные корни.

От изначально заданных колонных секвенций надо перейти к *трассовым секвенциям* — рядам культур, соединенных последовательно по принципу культурной преемственности вне зависимости от территориального расположения (рис. 2). Ведь именно в этих, а не в колонных секвенциях протекал культурно-исторический процесс (Klejn 1976; 1981). На схеме в некоторых случаях стрелки культурных традиций связывают культуры одной колонной секвенции (по вертикали) — это автохтонная преемственность. Тут трассовая секвенция совпадает с колонной. В других случаях стрелки связывают культуры разных колонных секвенций (по диагонали) — это трансмиссии (импорты, влияния, заимствования). В третьих случаях такие мостики преемственности между колонными секвенциями образуются жирными линиями — это миграции.

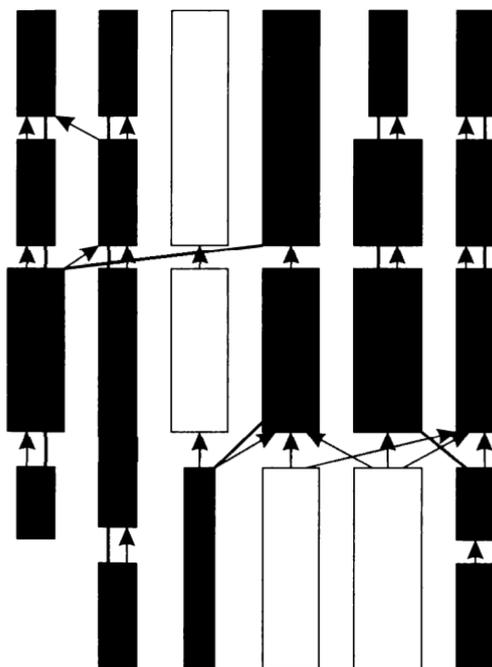


Рис. 2. Трассовые секвенции. Стрелки, которыми связаны культуры, обозначают традиции, а жирные соединительные линии обозначают основные линии преемственности. Культуры, объединяемые в одну секвенцию, связаны этими линиями и показаны одинаковым тоном заполнения

Концепция двух типов секвенций и выдвинута мною для преодоления наивного автохтонизма и наивного миграционизма.

3. Миграционизм и трансмиссионизм. Понятие секвенций — мое нововведение последних десятилетий, но соответствующие ему реалии в материале намелись давно. К выявлению и прослеживанию таких секвенций археологи обратились на рубеже XIX и XX вв. Сразу же выяснилось, что трактовка этих секвенций также может быть двойкой. Снова возникают две иллюзии.

Одна порождается привычной увязкой определенной культуры с определенным населением и сводится к представлению, что идея не передается без прихода ее носителя. Как утверждал Ф. Ратцель в «Антропогеографии», «распространение этнографических предметов может совершаться только через человека, с ним, при нем, на нем, особенно же в нем, то есть в его душе как зародыш идеи формы. Этнографический предмет передвигается вместе с его носителем...» (Ratzel 1912: 442). «У культуры нет ног» (Die Kultur hat keine Beine), — говорил его ученик Л. Фробениус (Frobenius 1898: XIII). Контакт людей действительно необходим, но он может осуществляться и на границе ареалов, без переселения. Ошибка заключается в том, что трассовая секвенция принимается за историю культуры одного населения и почти каждая переброска трассовой секвенции из одной колонной секвенции в другую принимается за миграцию — как у Брейля. Это *миграционизм*.

Противоположная иллюзия вытекает из преувеличения роли торговли и других контактов в распространении культуры. «У идей есть крылья» («Ideas have wings»), — заявил М. Уилер (Wheeler 1952: 185). Эта концепция сводится к тому, что трассовая секвенция совершенно освобождается от связи с одним и тем же населением и понимается как история определенного комплекса идей, а почти каждая переброска трассовой секвенции из одной колонки в другую рассматривается как горизонтальная *трансмиссия*, передача культуры посредством культурного *влияния и заимствования* — как у Шахермейра. Это *трансмиссионизм*.

Здесь есть структурная аналогия с первой парой крайностей: ситуация во многом та же, только внутренними или внешними связи и корни культур выступают не по отношению к колонной, а по отношению к трассовой секвенции.

На практике абсолютизация роли миграций, с одной стороны (миграционизм), и влияний — с другой (трансмиссионизм), выступали обычно не в обрисованном выше чистом виде, а в своеобразной идеологической арранжировке. Косинна поставил прослеживание древних миграций на службу геополитике — идеологическому оружию германского империализма. Эллиот Смит положил влияния и заимствования в основу концепции диффузионизма, построенной как проекция отношений современного колониализма на далекое прошлое. В одном случае Центральная Европа, в другом — Египет выдвигались на роль исходного очага и главного центра культурного развития всего Старого Света.

Шла вообще борьба за приоритет народов в культурном развитии, в основном между археологами центральноевропейского происхождения, с одной стороны, и восточноевропейскими археологами, а также археологами, считавшими свои народы наследниками средиземноморского очага и цивилизаций Древнего Востока, с другой.

Ни миграция, ни трансмиссия здесь не требовались для объяснения каждой переброски трассовой секвенции из одной колонной в другую, а лишь для объяснения перебросок *центробежных* по отношению к предпочитаемому очагу; внутри же очага предполагалась автохтонность. Такой *центробежный миграционизм* (собственно, соединяющий миграционизм с *автохтонизмом*) реконструирует расселение (это *археологический экспансионизм*), а такой *центробежный трансмиссионизм* реконструирует *диффузию* (и называется *диффузионизмом*).

По географическим условиям сторонникам центрально-европейского или восточно-европейского приоритета в культурном развитии удобно было воспользоваться археологическим экспансионизмом (Косинна, Шухардт, Костшевский, Сулимирский), а поклонникам древневосточного наследия и претендентам на него исключительно или преимущественно для своей страны (это были в основном археологи западно-европейского района, весьма удаленного от стран Ближнего Востока — Эллиот Смит, Гордон Чайлд) пришлось прибегнуть к диффузионизму.

Впрочем, у ранних диффузионистов миграциям отводилась ведущая роль в распространении культуры (Smith 1929), а у поздних — по крайней мере, важная (Childe 1950). Поскольку на практике диффузия предполагалась осуществлявшейся посредством как миграций, так и влияний, диффузионизм можно рассматривать как общее обозначение, а миграционизм и трансмиссионизм — как две его разновидности.

Реакцией на эти злоупотребления были попытки противопоставить указанным очагам другие и повернуть миграции Косинны вспять (Childe 1926; 1950; Vorkovskij 1933; Брюсов 1958; 1961; 1965; Gimbutas 1961; 1979; и др.). Эта тенденция преодолевала не методическую слабость миграционистских и трансмиссионистских концепций, а лишь их геополитическую направленность.

Другим вариантом реагирования на дискредитацию косинновских «14 походов индогерманцев» и всех этих переселений из неких *vaginae gentium* были попытки почти или вовсе отказаться от идеи миграций (Мещанинов 1928; 1931; Кричевский 1933; Clark 1966; Adams 1968; Renfrew 1967; 1973; Skjølsvold 1981). Как в Советском Союзе, так и на Западе этот *критический* (или *рафинированный*) *автохтонизм* подпирался концепциями закономерного независимого развития под действием внутриобщественных факторов. Что

это за концепции? В советской науке это были стимулированные марксизмом «метод восхождения» и теория стадиальности, на Западе — «процессуальная археология». При их принятии для объяснения социокультурных изменений просто отпадала нужда в миграциях и трансмиссиях.

Адамс с соавторами (Adams et al. 1978: 504–505) называют автохтонность «развитием на месте» (*in situ* development), а так как от этого словосочетания трудно образовать кличку для течения, то они называют его «изоляционизмом». Уилер называл его «сепаратизмом» (Wheeler 1952: 180). Хокс (Hawkes 1987: 202) отчеканил для концепции автохтонного развития ярлычок «иммобилизм», который понравился Герману Хэрке (Härke 1998). Но этот ярлычок по смыслу термина ('учение о неподвижности') охватывает не только приверженность к автохтонному развитию, но к и трансмиссиям: население-то при них остается неподвижным. Так что в иммобилизм войдут и автохтонизм и трансмиссионизм. Иммобилизм противостоит не диффузионизму в целом, а только миграционизму.

Между тем, на фоне кризиса «процессуальной археологии» скепсис относительно миграций стал казаться неоправданным (отчасти Adams et al. 1978; Neustupny 1982; Rouse 1986; но особенно Kristiansen 1991; Anthony 1990; 1992; Champion 1990; Mortensen 1992; Burmeister 1996; Härke 1998). В конце концов засилье этой скептической тенденции породило впечатление, что «с водой выбрасывают и ребенка» — из западных археологов первым эту формулу использовал, кажется, Ренфру (Renfrew 1987: 3), а статья Д. У. Энтони так и называется: «Миграция в археологии: ребенок и вода из ванны» (Anthony 1990, см. также 1992; Soffer 1993: 67). В 1996 г. вышел целый номер журнала, посвященный миграциям (Archaeologische Informationen 19, 1 & 2). Гораздо раньше увлечение миграциями возродилось в Советском Союзе в результате кризиса теории стадиальности (об этом см. Klejn 1977: 13–14).

4. Идеология и объективность. Все эти -измы приводили к тому, что нередко трактовка, предпочитаемая тем или иным исследователем, была предопределена его принадлежностью или склонностью к тому или иному течению. Само же течение формировалось не без воздействия политических движений и их идеологии. Конечно, сказывались и другие факторы — новые полевые открытия, изобретение новых методов, возникновение современных ситуаций, способных породить у исследователя убеждение в естественности тех или иных трактовок (напрашивающиеся аналогии — скажем, войны с массовыми переселениями). Но закономерная смена научных течений и ее связь с политическими движениями была достаточно наглядна и убеждала историографов в наибольшей важности именно этого фактора в формировании научных теорий.

Особенно преуспели в разработке такого понимания марксисты, в частности советские марксисты. Они разработали изощренную технику выявления «классовых корней» любого научного течения, а отсюда заключали к наличию «социального заказа» в основе любой теории, любой гипотезы. Эта техника была применена и к проблеме миграций (Мещанинов 1928; 1931). Любое обращение к миграционной трактовке или, не дай бог, интерес к подобным явлениям (например, у Чайлда — ср. Богаевский 1931) приравнялись к увлечению миграциями, а это увлечение расценивалось как миграционизм. Миграционизм же рассматривался неизменно в связи с шовинизмом, расизмом и империалистической агрессией. А поскольку нередко такая связь была действительно налицо (например, у Косинны) и придавала осмысленность истории науки, подобные обобщения выглядели респектабельно, и как-то терялось, что даже у самых заядлых миграционистов могут быть и верные наблюдения. Я об этом писал в своей статье о Косинне (Klejn 1974).

Общую установку марксизма на выявление классовых корней франкфуртские марксисты развили в методический принцип: если научные взгляды определяются, прежде всего, социальной позицией ученого, то тщательно проверять его выводы на соответствие фактам. Он видит их сквозь «идеологические» очки, да и мы, проверяя его, — так же, только сквозь другие, столь же искажающие очки. Надо критически оценивать прогрессивность его общественной позиции, а кроме того — и свою позицию проверять с этой точки зрения, самокритически. Эта «критическая теория» вошла в методический арсенал пост-процессуализма и оказала огромное влияние на рассмотрение острых проблем археологии, в частности — проблемы миграций (Shennan 1988; Gamble 1993; Härke 1998).

После всех ее разоблачений остается, правда, непонятным, как быть с тем, что и эту критику и самокритику приходится вести, глядя сквозь те же очки. Сторонники «критической теории» верят, что само осознание свой и чужой предвзятости способно выправить положение. Но в каждом случае где гарантия, что эта предвзятость оценена правильно?

Для советских марксистов вопрос этот не имел смысла: принадлежность к прогрессивному классу, к его авангарду — коммунистической партии, сама собой обеспечивала объективность. Таким образом, для них партийность не противоречила объективности, давала высшую объективность. Но пафос критической теории состоял в плюрализме мнений, в отрешении от партийности. Не говоря уже о том, что сама реальность такого отрешения средствами «критической теории» под вопросом, отрешение от партийности не равно освобождению от субъективности.

Ни эти средства, ни упование на интерсубъективность не дают полной гарантии от элиминации субъективного фактора. Только разработка формальных

критериев проверки гипотез и строгость их соблюдения могут обеспечить тот максимум объективности, на который вообще наука способна. В этом ведь суть научности. Это как с соблюдением общественного порядка: у многих личностей может проявиться осознанная или неосознанная тяга его нарушить, и тщетно уповать на их самоконтроль или на выяснение причин такой тяги. Но если есть продуманные законы, а общество следит за их выполнением, то порядок соблюдается.

На практике когда исследователь приступает к конкретному исследованию преемственности и сходства культур, нередко он неосознанно склонен заведомо к какой-то одной трактовке. Но и в этом случае другие трактовки маячат перед ним как возможности — как ожидаемые возражения со стороны противников. Для исследователя же, который желает сохранить объективность, все три трактовки выступают как правомерные гипотезы, которые необходимо рассмотреть. Так, исследуя изменения с наступлением бронзового века в Западных Альпах, А. Галле (Gallay 1981) построил схему принципиально возможных объяснений, в которой предусмотрены все три модели, при чем в тексте указано, что компоненты этих моделей могут взаимодействовать в разных сочетаниях (рис. 3 здесь). Каждый -изм избирал только одну из этих моделей. Но каждый отдельный исследователь учитывает, обязан учитывать и проверять все три. К каждой, в том числе и к миграциям, применять продуманные и проверенные критерии доказанности.

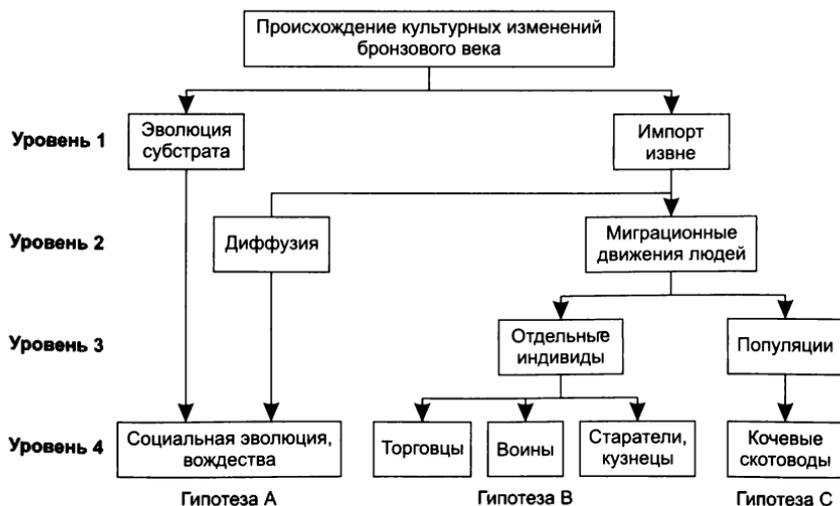


Рис. 3. Объяснительные модели для перемен в культурах бронзового века Западных Альп по А. Галле (Gallay 1981). Уровни 1–4 — это последовательные стадии логического развертывания объяснения

5. Первичный критерий доказанности миграции. В спорах между этими направлениями отрабатывались методы и критерии археологического выявления миграций (Preidel 1928; Penk 1936; Tischler 1950; Schlette 1977; и др.). Как констатирует Бурмейстер,

«Часто практикуемый метод выявления миграций принадлежит к стандартному репертуару археологических исследований: это картирование археологических признаков». По массовой концентрации признаков выделяется основной очаг («Kerngebiet») их распространения, из которого, как предполагается, они происходят. Чтобы могла идти речь о миграции, «мигрирующее население должно выйти за границы этого археологически определенного пространства» (Burmeister 1996: 13).

Таким образом, напрашивается *критерий внешнего источника* для каких-то элементов, обнаруженных на той территории, куда миграция мыслится направленной (Trigger 1968: 40–41). То есть эти элементы должны быть опознаны как чуждые для местной культуры, а массовые аналогии им, а равно и прототипы их должны оказаться на другой территории. Этот критерий естественный, он вытекает из самой сути миграции.

Но карты распространения, как отмечает Бурмейстер, допускают тройное толкование. Распространение явлений за пределы их основного очага может быть результатом миграции, но может представлять собой импорты (как таковые опознаются — см. Olausson 1988) или культурное влияние. Характер методики определялся спецификацией — что это за элементы.

Для Косинны и других исследователей, исходивших из романтического представления о культуре как эманации народного духа (Volksg Geist) или функции расы, культура во всех своих частях и элементах мыслилась самобытной и своеобразной для каждого народа. Возможность адопции привнесенных элементов сводилась к минимуму. Каждый элемент рассматривался как характерный для некоторой культуры и только для нее одной. Отсюда принцип *pars pro toto* (часть вместо целого) и возможность проследивать миграции населения даже по отдельным типам вещей (Kossinna 1905; Jackson 1917; Wace and Blegen 1939; Burton 1979). Скажем, расселение индоевропейцев по находкам каменных боевых топоров (Брюсов и Зимина 1966).

Смягченным вариантом этого принципа была концепция «*этнических показателей*» (ethnische Marker), согласно которой не любые, а только лишь некоторые элементы культуры тесно связаны с этническим характером

населения и позволяют археологам проследить расселения и переселения. Споры развернулись о том, какие же элементы имеют преимущественное право на статус таких показателей — способ погребения (Артамонов 1947: 81; 1949: 133, 142, 157; Погребова 1977), или лепная керамика (Кеное 1959; Косарев 1972: 26), или только техника ее выделки (Gifford 1928: 253; Кожин 1964), или только ее орнаментация (Фосс 1952: 65, 69–77), или стиль наскальных изображений (Сооке 1965), или типология кремневой индустрии (Формозов 1957), или структурные соотношения ее характеристик, выявляемые факторным анализом (Greaves 1982) или устройство жилищ (Сальников 1954: 251; Третьяков 1962: 41), и т. д.

6. Комплексный (лекальный) критерий. Между тем, еще Косинна вынужден был, защищаясь от критиков, отрешившись от простой «индентификации горшков с народами» (Kossinna 1911: 6–14) и признавать, по крайней мере, на словах, необходимость проследить ареалы и сдвиги ареалов целых культур, то есть *комплексных сочетаний культурных элементов*. Позже критика концепции «этнических показателей» со стороны Гёрнеса, Шрадера и др. (см. Кнабе 1959; Захарук 1964: 15; Klejn 1974) привела к утверждению *комплексного критерия миграции*.

По этому критерию, для доказательства миграции нужно зафиксировать на новом месте весь комплекс форм, представленных на старом (Schuchhardt 1926: 2). Уилли (Wiley 1953; 1956) обозначает этот феномен как «вторжение целостным блоком местонахождения» (site unit intrusion). У. Адамс с соавторами (Adams et al. 1978: 488) выделяют «миграции, установленные на основании распространения местонахождений» (site-based) как более убедительные, чем «миграции, установленные на основании распространения признаков» (trait-based). Культура нового ареала мыслится как бы воспроизведением культуры старого ареала, копией, вычерченной по тому же лекалу — соответственно Джеймс Диц (Deetz 1968) назвал этот критерий «*лекальным*» (template criterion). В основе этого критерия лежит убеждение в том, что миграции переносят неизменную культуру.

Гане, ученик Косинны, писал: «А с переселяющимися народами переселяются и формопроявления их борьбы за существование, их обычаев, их мировоззрений» (Hahne цит. по Kossinna 1911 [или 1912]: 271; также Брюсов 1957). Так же представлял себе миграции Л. Н. Гумилев. Он считал, что не мигранты изменяются под воздействием новой среды, а среду они себе выбирают такую, чтобы было можно сохранить свои навыки (1967 : 94–95). Это убеждение — еще одна иллюзия.

Критика учения Косинны накопила ряд «упрямых фактов» о ложности или несовершенстве, недостаточности лекального критерия:

а) ряд зафиксированных письменными источниками миграций древних народов не прослеживается в виде полных передвижек культур (Cook 1960; Palmer 1961; Mellaart 1966), а потому археологическими средствами неуловим, и

б) наоборот, встречаются (хотя и редко) такие передвижки культур в местах, где по письменным источникам, жило одно и то же население, что показали Вале, Эггерс и др. (Wahle 1941; Eggers 1950; 1959).

Вторая категория «упрямых фактов» объяснима диффузией культуры или неполнотой письменных источников. А вот с первой категорией разобраться труднее.

Все больше накапливается соображений о том, что культура на новом месте и не может оказаться точной «лекальной» копией исходной культуры (Бернштам 1951: 117; Mander 1957: 131).

Здесь действуют три фактора.

Первый — *эффект усреднения*. Даже при наличии континуума эволюции (что не обязательно) в археологии процесс предстает разделенным на этапы, каждый из которых характеризуется усредненными параметрами (Ford 1954). Эти средние, конечно, дальше друг от друга, чем параметры стыков обоих этапов, обычно недоступные прямому выявлению, и увязываются лишь путем интерполяции (Klejn 1969).

Второй фактор — *миграционная трансформация*. Сама миграция — встряска, которая приводила к быстрой трансформации культуры. Разрыв старых связей и установление новых, выход из старой системы отношений, перемена природной и социальной среды, ослабление старых норм и авторитетов — все это порождало резкую перестройку культуры пришельцев (Hertz 1930: 62; Клейн 1968; Nachmann 1970). Как известно, викинги, приплывая в новые страны, снимали с носов кораблей изображения своих богов, чтобы не разгневать местные божества. Многие пришельцы, даже завоеватели (как, например, монголы), относились с пиететом к божествам местного населения — считалось, что на своей земле они сильнее.

Третий фактор — *неидентичность состава*. Имеется в виду, что состав мигрантов и несомой ими культуры обычно не идентичен тому комплексу компонентов, который был в наличии на родине мигрантов.

У этого фактора есть два фиксируемых момента: *исходная неидентичность* и *конечная неидентичность*.

Для объяснения исходной неидентичности состава применима концепция *субкультур* (Deetz 1965; Clarke 1968: 234–244): в миграцию очень часто

отправляется не все общество и не пропорциональный срез всех его слоев и сегментов (репрезентативная выборка), а одна из фракций — напр., молодые мужчины — воины или (если речь идет о ближнем и постепенном просачивании) женщины, выходящие замуж, или ремесленники и т. п. (Клейн 1963).

Для объяснения конечной неидентичности было предложено две гипотезы. В основу обеих легло следующее наблюдение: исходные очаги компонентов новоприбывшей культуры часто оказываются в разных местах — корни культуры расходятся в разные стороны. Например, тип могилы донецкой катакомбной культуры восходит к средиземноморским катакомбам, главные формы керамики и боевых топоров — к североевропейским культурам кубков, курильницы имеют аналогии на Дунае и т. д. (Клейн 1962; 1968).

Гипотеза обходной миграции (Клейн 1962; Klejn 1963; 1967) предполагает подвижную группу населения, прошедшую по всем этим очагам и вобравшую там в свою культуру данные разнородные компоненты.

Гипотеза кооперированной миграции (Nachtman 1970) предполагает, что активная группа мигрантов часто вовлекала в движение осколки соседних племенных групп с весьма широкого ареала, и культурные компоненты, захваченные ими из родных мест, быстро сплавлялись в единую культуру.

Нужно иметь в виду, что возможна *иллюзорная неидентичность состава*. Иллюзию создает недоработка классификации в исходном очаге или в конечном или в обоих: когда негомогенная масса культурных элементов принята за гомогенную (культура не разделена на локальные или нехронологические варианты, которые объективно, хотя и в скрытом виде, в ней присутствуют и на деле весьма различны). Предварительная проверка гомогенности культур становится необходимым условием выявления преемственных связей, а дифференциация — средство коррекции сомнительных ситуаций, сомнительных эффектов неидентичности состава (Клейн 1968; 1969).

Все три рассмотренных фактора — эффект усреднения, миграционная трансформация и неидентичность состава — подрывают приложимость критерия лекальности.

7. Другие критерии. Наряду с ним нередко применялись еще два — *критерий неподготовленности* и *критерий стыка*.

Критерий *неподготовленности* является как бы вывернутым наизнанку одним из доказательств преемственности. Таким доказательством преемственности считается постепенность развития, с длительной подготовкой изменений. Внезапность же изменений толкуется как результат вторжения иноземцев. Если

смена одной культуры другой не происходит плавно, то нужно искать внешний источник этой другой культуры. Даже резкое и быстрое увеличение населения уже побуждает подозревать, что не обошлось без пополнения извне.

В. С. Титов (1982: 91–92) добавляет к этому особый случай неподготовленности: если изменения, затрагивающие различные стороны жизни общества, не являются прогрессивными, то есть естественными для обычного развития (прогресс он считает нормой), их можно объяснить «другой традицией, отнюдь не свойственной данной культуре», то есть они принесены другой культурой, «зачастую более примитивной и варварской по сравнению с предшествующей».

Асбьорн Хертейг критикует этот критерий: это археологический стереотип, который не учитывает возможность скачков в развитии (Herteig 1955). Не учитывается здесь и другая возможность — медленного просачивания иноземцев.

В критерии же *стыка* есть два аспекта — хронологический и территориальный.

Хронологический сводится к требованию, чтобы принимаемая за исходную культура, будучи древнее новой, все же имела с ней стык во времени или, по крайней мере, не была отделена от нее слишком большим интервалом (этот интервал не должен превышать реалистичное время, надобное на само передвижение). При существовавшей приблизительности хронологических определений критерий *стыка* в этом аспекте обычно не доставлял больших затруднений.

Сложнее обстояло со вторым аспектом — *территориальным*. Он заключался в требовании, чтобы обе культуры исходная и конечная — либо занимали соседние или даже взаимоналагающиеся ареалы, либо были соединены цепочкой или полосой памятников промежуточного типа — следов движения мигрантов (а при интервале во времени — следов более или менее длительного пребывания мигрантов на промежуточных территориях). Такое требование отчасти было психологической проекцией хронологического аспекта на территориальный, отчасти вытекало из убеждений в том, что первобытные миграции имели только «ползучий» характер, медленного поэтапного продвижения. Дальние разовые переселения представлялись нереальными — несмотря на очевидные конкретные примеры, засвидетельствованные письменными источниками и этнографией (Haddon 1911; Геддон 1923; Tymieniecki 1952)!

8. Перестраховочность критериев. Все три критерия — локальности, внезапности и *стыка*, — были призваны застраховать исследователей от произвольного конструирования миграций. Но в совокупности они оказались явно перестраховочными и столь эффективно работали в этой своей роли,

что сделали невозможной констатацию даже таких миграций, без принятия которых факты необъяснимы — напр., перемены в СМ III на Крите (ср. Клейн 1971). Если эти критерии применить ко многим хорошо засвидетельствованным миграциям (дорийцев, киммерийцев, готов, герулов, вандалов, гуннов и др.), то окажется, что эти миграции не существовали!

Между тем, сугубым скептикам — таким, как Э. Хори и Ирвинг Рауз, и этих критериев мало.

Э. Хори выдвигает четыре критерия:

- 1) на исследуемой территории должно оказаться существенное количество новых культурных элементов, не имеющих местных прототипов;
- 2) формы и стили местного материала в последних слоях изменяются;
- 3) есть внешний очаг происхождения новых культурных элементов, там их прототипы;
- 4) элементы, используемые в качестве индикаторов миграции, должны существовать в одной и той же форме и в одно время в исходном очаге и на освоенной новой территории (Hauru 1958).

Рауз довел число критериев до пяти:

- «1) идентифицируй мигрировавший народ как вторгнувшуюся общность в районе, где он оказался;
- 2) проследи эту общность ретроспективно до ее прародины;
- 3) удостоверься, что все проявления этой общности одновременны;
- 4) установи наличие благоприятствующих условий для миграции; и
- 5) покажи, что другие гипотезы — такие, как независимое изобретение или диффузия признаков, — не лучше удовлетворяют фактическому состоянию дел» (Rouse 1958: 64; см. также 1986; рец. Wells 1987).

Адамс считает, что смена элементов материальной культуры, особенно в керамике, способе погребения и обитания, необходима для конституирования миграций, но ее недостаточно. Нужно еще привлечь данные лингвистики, физической антропологии и других смежных дисциплин, а также учесть косвенные данные стратиграфии и территориального распространения находок. Только применение всех этих критериев даст надежную констатацию переселения (Adams 1968: 144).

Число их нетрудно и увеличить, читая критику миграционных гипотез, тогда как и трех названных выше критериев уже слишком много.

9. Конфликтная ситуация. Но если без этих критериев (с одними лишь «этническими показателями») недостаточна надежность, а с применением этих критериев недостаточна чувствительность методики, то как же быть? Которая из этих двух ситуаций — меньше зло?

Одни исследователи предлагают примириться с первой ситуацией и признать, что наши выводы о миграциях носят *вероятностный* характер. Задачу этнографической разработки археологической теории миграции они видят в том, чтобы изучением стабильности различных компонентов культуры оценить их сравнительные возможности как «этнических показателей» и тем создать базу для оценок вероятности оправдания конкретных миграционных гипотез (Gjessing 1955).

Другие предпочитают исходить из второй ситуации и примириться с неизбежностью того, что многие миграции от нашего наблюдения ускользнут. С этой точки зрения за отправной пункт в проверке миграционных гипотез надо принять *предельные случаи* — археологические казусы, представляющие *абсолютно недвусмысленно* феномен миграции. *Степень близости к этим эталонам* будет определяться уровень достоверности сомнительных случаев. Сомнение же истолковывается в пользу местного, автохтонного развития. «Действительно, — пишет Мейнандер (1982: 11), — у археологов нет никакого «правила винта», по которому можно было бы отличить миграцию от аккультурации или диффузии; однако принято, что если один из критериев указывает на преемственность населения данной области, то она считается доказанной. Подобно тому, как в уголовном праве бремя доказательства лежит на обвинителе, в археологии доказательство миграции — дело ее защитника, он должен также объяснить ее побудительные причины, ведь популяции и роды не переселяются без серьезных оснований». Указав, что в суде обязанность доказывать «лежит на обвинителе», Мейнандер не объяснил, почему в археологии она должна лежать «на защитнике миграций». На чем вообще основана «презумпция автохтонности»?

Из-за разнообразия миграций этнографическая разработка теории миграций считается бесперспективной для поисков археологических критериев выявления миграций (Nachmann 1970). Да и вообще роль миграций в истории и само их количество сводятся к минимуму (Thompson 1958: 1–3; Renfrew 1969: 152–153; Trigger 1970: 32; и др.).

Титов (1982: 92–93) считал, что причина всех затруднений «состоит в том, что все критерии миграции, которые назывались выше, — это критерии априорные, выведенные отнюдь не из изучения реальных исторических миграций, прослеженных и археологически, а критерии чисто логические, теоретические». Да нет же. Если он имел в виду меня, то моей теоретической работе предшествовали проработки конкретных предполагаемых миграций — катакомбной культуры (Клейн 1961; 1962; 1966; 1968; Klejn 1963), скифов (Клейн 1963;

1980б) и дунайцев (этих на Крит — Клейн 1971), а через несколько лет после брошюры о критериях появилась мои статьи о миграциях индоариев (Клейн 1980а; Klejn 1984) и фригийцев (Клейн 1984). Да и другие авторы, на которых я ссылался (Адамс, Гахман, Мальмер, Рауз), разработали свои критерии на конкретных миграциях. А лучшим опровержением мнения Титова является то, что после своего разбора конкретных миграций он говорит о тех же критериях, внося лишь спецификации в их применимость.

Оба предложения — и готовность принять ненадежные реконструкции на основе вероятности, и готовность выявить лишь наиболее очевидные миграции, близкие к эталонным, — не могут удовлетворить. Без математического оформления оценка вероятности сведется к словесным оговоркам о неполной достоверности. Научная практика показывает, что такие оговорки легко теряются и гипотезы автоматически превращаются в констатации фактов (Пендлбери 1950: 24–25; Eggers 1959). Упор на предельные казусы слишком ограничивает возможности исследования, а трудности сравнения с эталонами открывают простор для субъективизма.

10. «Прямые» и «косвенные» показатели. С вероятностным подходом связано различие «*прямых*» и «*косвенных*» среди археологических показателей миграции. При узком и несомненно более строгом понимании «*прямых* показателей» в границы понятия попадают только антропологические свидетельства (Malmer 1962: 806–808). При широком понимании — также резкие изменения в каком-либо археологическом типе и в языке текстов (Adams 1968: 197). Тогда к косвенным отойдут лишь свидетельства о сопутствующих или вызывающих миграцию событиях (напр., стихийные бедствия, военные разрушения и т. п.), а также данные об общих связях и соотношениях фактов, напр., возможная ориентировка покойников лицом к прародине (James 1957: 133–135).

Суть отделения прямых от косвенных — *постулат о безусловной доказательственности первых, если они доброкачественны и обильны*. Однако даже авторитет антропологических свидетельств за последние десятилетия сильно упал, возможности этих данных представляются ныне более скромными и ограниченными, чем прежде — антропологические признаки оказались более изменчивыми, чем предполагалось (Washburn 1953; Gejvall 1955; Livingston 1964). И наоборот, некоторым косвенным показателям придается столь большое значение, что их элиминация рассматривается как опровержение самой возможности миграций для данной среды (напр. Kurth 1963; Nachmann 1970: 279–327).

11. Разновидности миграций и их следов. Здесь многое зависит, конечно, от того, какая *разновидность миграций* имеется в виду.

Видимо, в этом и следует искать ключ к решению проблемы.

Разнообразие миграций противоречит на деле не этнографической разработке критериев выявления миграций, а лишь стремлению абсолютизировать частные критерии, действительные для отдельных разновидностей миграций, абсолютизировать и переносить их на все миграции вообще.

В основу разработки критериев должна лечь *классификация миграций* (опыты такой классификации предлагаются в ряде работ (Honigsheim 1928; Hertz 1930; Heape 1931; Kulischer 1932; Sorre 1954; Hochholzer 1959; Авербух 1970; Дьяконов 1983; и др.).

Ю. В. Бромлей (1973) сводил все варианты миграций к двум видам: 1) *переселения народов* (или, во всяком случае, больших групп населения) и 2) *микромиграции* (переселения небольшими группами, преимущественно отдельными семьями). Это деление он выбрал потому, что оно сказывается на судьбах мигрирующего этноса: в микромиграциях он более подвержен воздействиям и размыванию. Но это важно и для судьбы культур, а значит, для археологических следов. Вольфганг Ден (Dehn 1979: 15) выявил у кельтов четыре типа миграции: 1) удаление из популяции избытка населения, главным образом молодежи; 2) выселение группы с женщинами, детьми, скотом и другим добром на новые территории; 3) военные экспедиции; 4) этнические движения, вызванные экономическими причинами.

Эвжен Неуступны (Neustupny 1981) различает 1) *экспансию заселенности* (settlement expansion) — постепенное расширение территории, занятой неким народом, и 2) *переселения популяции* (population movements) — разовые драматические события. У них разная природа явления, разная скорость и разная направленность. Должны быть и разные археологические следы. В другой работе Неуступны различает три вида миграций в густо заселенную область: 1) *экспансию* (так он называет миграцию с полным или частичным уничтожением местного населения), 2) *заселение пришельцами промежутков* между ареалами местного населения (осуществимо, в основном, если пришельцы и аборигены занимают разные экологические ниши и не соревнуются за земли), 3) *инфильтрацию* — обоснование пришельцев прямо в тех же ареалах и даже (чаще) в тех же селениях, где продолжает обитать коренное население (Neustupny 1982). В другом месте той же работы он упоминает четыре вида миграций: *колонизация, экспансия, инвазия и инфильтрация* (Neustupny 1982: 287). Очевидно, второй пункт [трехчленной схемы] здесь расчленен: для него

остаются инвазия (простое вторжение?) и колонизация (с овладением территорией и установлением господства?).

Кристиансен (Kristiansen 1991: 219–220) делит все миграции прежде всего на *полномасштабные* (full-scale) и *выборочные* (select). В свою очередь полномасштабные делятся на три типа: 1) перемещения силой государства, империй, 2) из-за социальных конфликтов и племенной вражды, 3) от экологического и экономического давления. Выборочные переселения делятся на четыре типа: 1) завоевания, 2) движения купцов, 3) основание торговых станций и колоний, 4) выселение трудовых групп и изгоев. Нетрудно заметить, что в основу вторичного деления Кристиансен положил мотивы переселения. Сомнительно, чтобы это непосредственно сказывалось на археологических следах.

В советской археологии типы миграций рассматривались в тесной связи с социально-экономическим развитием общества, поэтому деление шло по эпохам. Н. Я. Мерперт (1978) выделяет три «модели» миграций — для палеолита, неолита и энеолита. Первая модель характерна для охотников-собирателей и вызвана прямо изменениями в природной среде — движением ледников, трансгрессиями и регрессиями морей, сдвигами ландшафтных границ, миграциями животных, стихийными бедствиями. Эти миграции носили характер *переселений* и особенно характерны для палеолита. Вторая модель определяется экономическими факторами, в частности давлением избытка населения вследствие демографического роста при ограниченных возможностях производства. Хозяйство экстенсивное — осваиваются новые регионы. Это в основном неолитическое *расселение*. Третья модель обусловлена экономическими и социальными причинами — экономическим и социальным неравенством, борьбой за источники сырья, за возможности эксплуатации и за власть над народами и территориями. Эта модель появляется с металлом. Она связана с *завоевательными походами и военными вторжениями*.

Испанский археолог Гонзало Руис Сапатеро на основе мерпертовской классификации построил три структурных модели миграции: 1) модель передвижения небольших групп, 2) модель непрерывной (мы бы сказали «ползучей») экспансии — Аммерман и Кавалли-Сфорца называют этот тип миграции «*волной продвижения*» (Wave of Advance — см. Ammerman and Cavalli-Sforza 1979) и 3) модель выброса разовых миграций, в основном на дальние расстояния — Хаффмен назвал этот тип «*моделью дробовика*» (Huffman 1970). Руис Сапатеро предложил графические схемы всех трех моделей (здесь рис. 4–6) и привел археологические примеры (Ruiz Zapatero 1983). Когда Бурмейстер строит общую модель миграции (см. рис. 7 здесь), он в сущности имеет в виду только один ее вид — непрерывную экспансию

(в виде инфильтрации или колонизации), при чем на схеме показаны лишь долговременные взаимоотношения первой волны дочерних поселений с метрополией, тогда как обычно эти дочерние поселения сами становятся источником дальнейшей экспансии.

Для бронзового века Титов (1982: 99–101, 140–143) выделил три типа миграций. В основу деления он положил не причины миграций, а соотношение между местной и пришлой культурами — между субстратом и суперстратом. «Ведь именно это соотношение известно археологу лучше, чем причины миграции».

В миграциях первого типа субстрат совершенно или почти не ощущается. Примеры — миграция культуры Эздрелон в Палестину, экспансия культур боевого топора и шнуровой керамики. Тут возможны три варианта: 1) новая культура появляется в районах ненаселенных, слабо населенных или покинутых прежним населением, 2) новая культура долго не входит в контакт с местной (как ямная культура на Балканах), и 3) местная культура целиком подавляется пришлой. Источник всех трех в основном — *сегментация племен*. Так проходила неолитизация Европы. Не испытывая влияния со стороны местной культуры, пришлая не отличается от своей материнской. Поэтому к миграциям этого типа приложимы как критерии локальности, так и хронологический и территориальный.

В миграции второго типа культура пришельцев значительно ниже по уровню, чем местная, и пришлая культура почти не накладывает отпечатка на местную культуру. Таковы: миграция семитских кочевников-аккадцев на шумерские территории в начале раннединастического времени, западносемитская или аморитская инфильтрация в Месопотамия и Палестину, хуррийская экспансия, индоевропейское (лувийское и хеттское) вторжение в Анатолию. Таким же по-видимому было вторжение греков в Эгейский мир. Проследить такие миграции археологу очень трудно. В таких случаях археолог делает выводы преимущественно по данным письменности, лингвистики и антропологии. Критерий локальности не работает. Имеют иногда значение косвенные признаки: резкие, иначе необъяснимые изменения в направленности развития культуры, опустошение и запустение целых регионов. Миграция имеет вид *инвазии* или *инфильтрации*. Это миграции бронзового века, особенно миграции кочевников в область оседло-земледельческих культур.

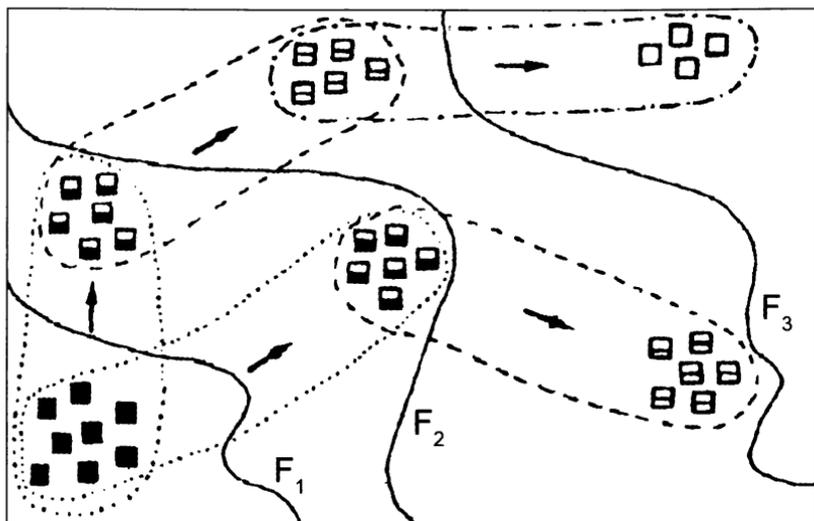


Рис. 4. Модель передвижения небольших групп охотников-собирателей по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: fig. 2). F1, F2, F3 — последовательные стадии продвижения фронта экспансии

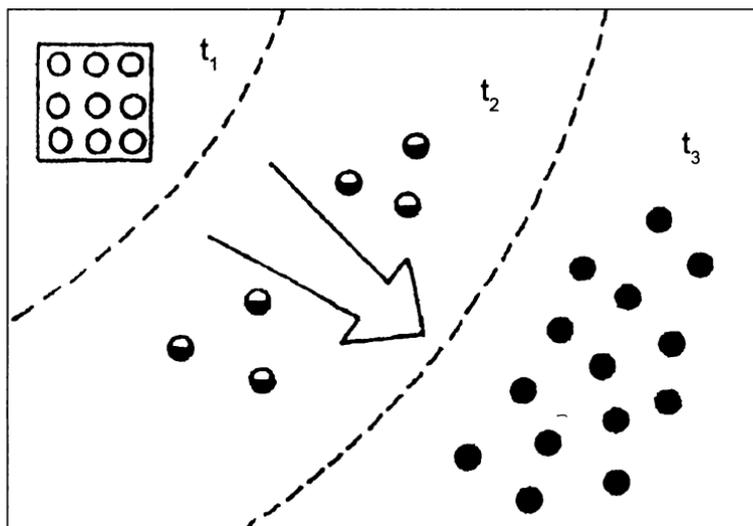


Рис. 5. Модель непрерывной экспансии («Волна продвижения») по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: fig. 3A). Миграция реализуется радиальным продвижением на короткие дистанции. В последовательные периоды времени (t_1 , t_2 , t_3) на разных этапах продвижения отлагаются серии памятников, которые несколько отличаются одна от другой, отражая модификацию культурных характеристик с течением времени

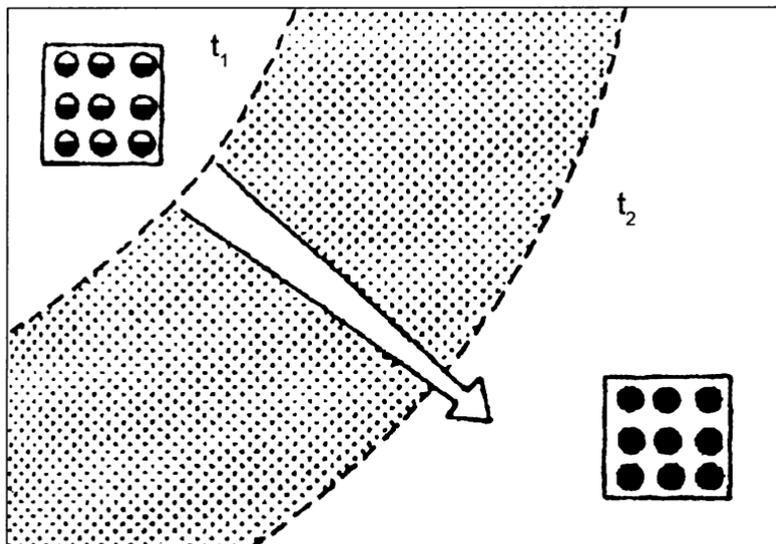


Рис 6. Модель разовых миграций по Руису Сапатео (Ruis Zapatero 1983: fig. 3B)

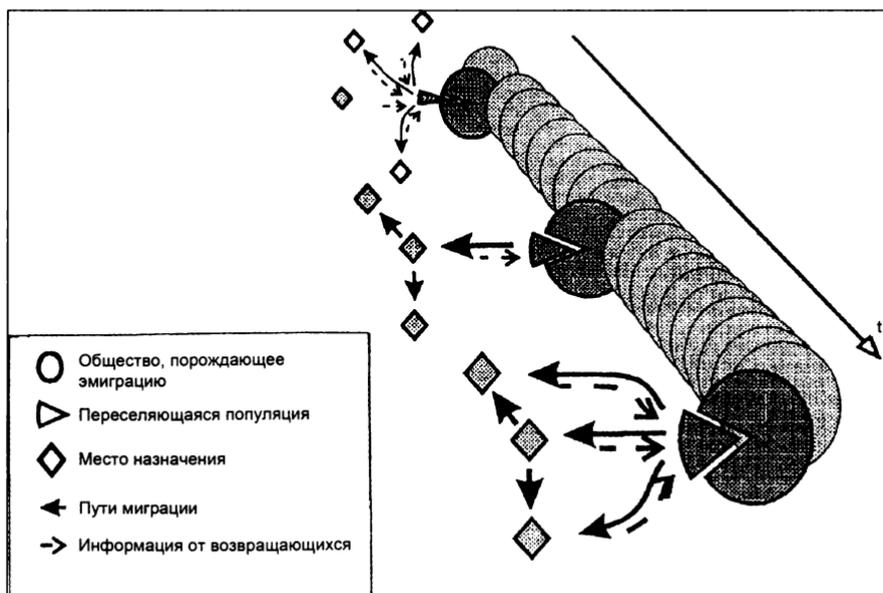


Рис 7. Модель миграционного процесса по Штефану Бурмейстеру (Burmeister 1996: Abb. auf der Seite 19). Показан со стороны источника неоднократных миграций: на траектории существования этого общества некоторые фазы дают миграционные выбросы, а дочерние поселения сохраняют связи с основным очагом

К третьему типу относятся миграции, в которых пришлая и местная культуры с самого начала предстают перед археологом *смешанными*, а в чистом виде суперстратной культуры нет. Примеры — миграция «династической расы» («почитателей Гора») в Египет, хирбет-керакская экспансия в Сирии и Палестине, инвазия гиксосов в Египет, возможно, прибытие «микенцев» в Грецию. Пришлые черты могут модифицироваться в новой среде, а могут исчезнуть. Критерий лекальности неприменим (полный объем пришлої культуры ведь и не выявлен), а территориальный и хронологический применимы. Титов отмечает три варианта этого типа: в первом новые черты (пришлого населения) с самого начала выступают в смешении с местными; во втором лишь отдельные черты заставляют говорить о миграции; в третьем суперстрат — это небольшой набор, а субстрат в разных областях разный (как у культуры колоколовидных кубков).

Приведенные классификации показывают, что различные виды миграций должны оставлять разные археологические следы. Одно дело миграция всего общества (результат — передвижка целой культуры), другое — миграция одного сегмента общества (результат — отпочкование части субкультуры). Постепенное просачивание и разовый бросок, мирное проникновение и военное нашествие, с вытеснением, а то и уничтожением старого населения или с его ассимиляцией и т. д. — все виды миграций оставят разные археологические следы.

12. Частные критерии. Вопрос об археологических критериях миграции должен решаться на первых порах *для каждого класса миграций* отдельно. Дело не в применимости или неприменимости каких-то критериев к тому или иному типу миграции. Критерии применимы к миграции вообще, ко всем типам миграции. Дело в положительном или отрицательном ответе на сформулированный в соответствии с данным критерием вопрос. Как показывает анализ Титова, ответ на один и тот же вопрос может оказаться положительным для разных типов миграции. И не все ответы должны оказаться положительными, чтобы можно было признать наличие миграции. Разные сочетания ответов могут оказаться свидетельствами миграции, но разных типов миграции.

Описывая инфильтрацию как вид миграции, Неуступны (Neustupny 1982) разбирает три археологических примера: культура шаровидных амфор в Чехии (ее носители, по Неуступному, живут на поселениях Ривначской культуры), культура шнуrowой керамики в Латвии (на субнеолитических поселениях) и культура колоколовидных кубков в Венгрии (на поселениях культуры Мако). Упоминает еще и предположительное проживание людей со шнуrowой керамикой на

поселениях культуры Овернье в Швейцарии. К сожалению, он не приводит ни одного этнографического примера, хотя такие имеются. «Инфильтрация, как мы ее называем, не напоминает ничего подобного среди современных популяций» (Neusturпу 1982: 290). Между тем, в этнографической литературе описаны случаи такого «симбиоза» — например, в Африке тано (тева) уже третий век живут среди хопи (Redfield 1961: 30).

Неуступны отмечает, что в археологии этот вид проявляется специфически: а) пришлое население не основывает собственных поселений, б) не теряет собственную культуру в течение многих поколений и в) равномерно покрывает обширные области. Слияние инфильтрировавшейся культуры с местной происходит после длительного периода сосуществования. Думается, что всех этих признаков вместе взятых маловато для констатации постулированного исследователем вида миграции. Требуется еще и обнаружение носителей обеих культур на одном и том же поселении.

Еще один признак инфильтрации, археологически улавливаемый, — мирное сосуществование обеих групп населения. В основе инфильтрации лежит сегментация племен. Отдельные семьи поселяются в качестве меньшинства среди инокультурного населения, но сохраняют при этом свои социальные связи с другими семьями, переселившимися в соседние селения. Поскольку такая миграция была сравнительно легкой, мирной, бесконфликтной, она позволяла в случае демографического избытка в исходном очаге за короткий срок освоить обширные пространства по соседству. Результат же взаимодействия местной и пришлой культур зависит от их развитости, соответствия местной природе и количественного соотношения.

Неуступны признает, что при скудости археологических материалов следы инфильтрации будет трудно отличить от результатов торгово-обменных отношений. Еще сложнее будет идентифицировать инфильтрацию, если обе культуры известны только по погребениям. Исследователь считает, что это обстоятельство скрывает от наших глаз многие преисторические миграции. Он склонен подводить под постулированный им вид миграции многие ситуации первобытности, в частности неолитизацию Европы во многих случаях. Вероятно, еще более близка этому типу славянская колонизация лесной полосы и славянизация финских племен, хотя здесь пришельцы селились, скорее всего, отдельными поселениями.

Таков один из видов миграции и таковы его археологические признаки.

13. Структурный состав миграции и ее компоненты. Среди археологически фиксируемых признаков миграций можно будет различать признаки *большой или меньшей степени общности*. Можно будет увязать разные при-

знаки с определенными видами миграций и рассматривать каждый вид миграции как комбинацию разных событий, оставляющих своеобразные следы. Собственно говоря, признаки должны быть приписаны не видам миграций непосредственно, а специфическим видам более частных событий, которые могут быть связаны с определенными видами миграций. Так что изучая археологические следы, мы выявляем лишь признаки определенных событий и по сочетанию этих признаков получаем в конце сочетание таких событий, а затем уже можно посмотреть, какой вид миграций состоит из таких событий.

Такие операции потребуют структурно-логического анализа каждого вида миграций как *системы событий*. Начинать, видимо, надо с общего понятия миграции. Так, в 1973 г. я отмечал (Клейн 1973: 3), что широкое понятие *миграции* включает в себя три крупных компонента: *эмиграция + переселение + иммиграция*. Для полноты спереди к ним можно было бы добавить предмиграционное состояние — *мотивацию* миграций, а сзади — *последствия* миграции. Кристиансен (Kristiansen 1991: 219) различает в каждой миграции (он предпочитает называть их «переселениями популяций» — population movements) три основных компонента: вторжение чуждой группы («переселение»), путь миграции («связь») и материнскую культуру («происхождение»). Его «происхождение» приблизительно соответствует моей «эмиграции». «Переселение» у него оказывается в двух разных значениях, во втором оно равнозначно более употребительному «иммиграция» (ср. Myhre and Myhre 1972). Употребительное также понятие «инвазия» обозначает частный случай иммиграции — это массовая и насильственная разновидность иммиграции (см. Adams et al. 1978: 488). Терминология Кристиансена неудобна, но само деление представляется мне рациональным. Скажем, в общее понятие «пути» (у Кристиансена «связь», у меня «переселение») войдут не только конкретные данные, но и категории прохождения: происходило ли оно на смежных землях или на расстоянии, на близкую или далекую дистанцию, прямо или «обходным» путем.

В борьбе против миграционизма Клайв Гэмбл (Gamble 1993) анализом структуры передвижения популяции вообще подрывает само понятие миграции как объяснительного средства. Сходства на больших расстояниях в культуре палеолита он объясняет накоплением постоянных передвижений в следовании за дичью. Ссылаясь на Кларка и Линдли, К. Гэмбл дает ряд определений понятиям, связанным с миграцией: «миграция» у этих исследователей — только дискретное кратковременное событие, включающее в себя движение из одного типа мест в другой между областями, различающимися по природной среде. Миграция у них только событие, тогда как передвижение может быть и процессом, а результат один. «Рассредоточение» («дисперсия») — более

общий, но всё еще короткий во времени процесс распространения личностей или групп на незаселенные ими прежде территории. «Колонизация» — более широкомасштабный процесс расширения области существования некой группы, включающий в себя прочное освоение прежде не занятых данной группой территорий и не использованных ею ниш. И т. д.

Предложенные Гэмблом модели, раскрывающие механизм таких передвижений для палеолита, вызвали опровержения (Ott 1993; Soffer 1993). Принятая им терминология также неудобна, так как игнорирует сложившуюся традицию словоупотребления: «миграция» — есть самый общий термин для переселения людей насовсем, употребляющийся независимо от различия областей. Что же касается продолжительности осуществления (событие или процесс), то, как можно было видеть, многие исследователи, занимавшиеся этой темой, в своих классификациях не отбрасывают постепенное длительное просачивание, считают его разновидностью миграции, тем более, что на микроуровне (применительно к отдельным людям и семьям) трудно провести границу различения. И, что для археолога главное, на макроуровне мало различимы результаты. Если уж выделять миграции как только события, то тогда надо принять термин «передвижения» (или, как у Кристиансена, «переселения популяций») для общего обозначения и сделать именно это понятие главным объектом исследования. Всё сведется только к передвижке терминов.

Для анализа структуры пригодится предложение Титова — учесть разные соотношения культур пришедшей и местной при миграции. Именно это сделал для истории древнего мира (в основном III и II тыс. до н. э.) И. М. Дьяконов (1983). У него рассмотрены следующие типы изменений этнического состава в результате миграции: 1) полное истребление мигрантами местных жителей — он считает это возможным, только если последние были чрезвычайно малочисленны и слабы; 2) полное выселение с захваченной территории — мыслимо как а) самих мигрантов, так и б) вытеснение ими туземных жителей (это также исключительная редкость); 3) разреживание, то есть частичное (иногда весьма сильное) истребление или вытеснение первоначального населения — это бывает в результате завоевания, но нет ясных данных, чтобы такие завоевания приводили к коренным этническим метаморфозам; 4) частичное насильственное смещение больших групп населения (масовая депортация) — это возможно лишь в условиях существования сильных государств и мощных средств принуждения; 5) частичные добровольные перемещения (как скотоводов, так и земледельцев). Последний тип возможен в трех вариантах: а) нашествия-набеги скотоводческих племен, совершавшиеся без женщин и с целью грабежа; б) захват мелких государств небольшими группами кочевников-скотоводов;

в) добровольное смещение земледельческой популяции — уход части ее на смежные или заморские территории из-за возникновения избытка населения. Избытком же населения вызван и еще один тип соотношений: б) постепенное растекание населения из центра, где создан его избыток. Это бывает в земледельческих районах.

Более обобщенно разные последствия миграции классифицированы и показаны на схеме у Руиса Сапатеро (рис. 8 здесь). На схеме перечислены: 1) «абсорбция» пришлой культуры в местную, 2) «экстерминация» (истребление) местной культуры, 3) «ассимиляция» местной культуры, 4) «пространственно-временное сосуществование» обеих культур и 5) вытеснение и «замещение» местной культуры. Возможно представить и б) «реставрация» — уничтожение или вытеснение пришлой культуры. Каждое из этих соотношений оставит определенное сочетание археологических следов.

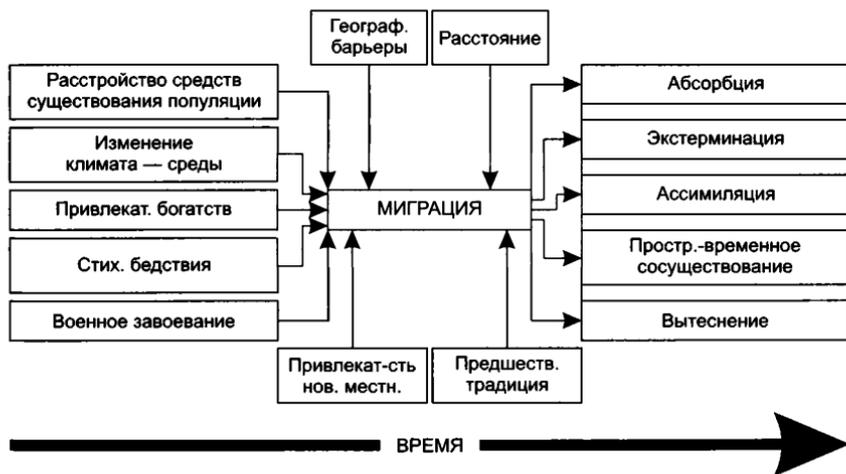


Рис. 8. Модель феномена миграции: причины, обстоятельства и последствия, по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: Fig. 1)

Именно увязка определенных категорий археологических фактов с определенными разновидностями событий как *структурными компонентами* миграции позволит перейти от накопления частных критериев разновидностей миграций к *общей теории археологических критериев миграций*.

Деление свидетельств на «прямые» и «косвенные» выступит сугубо относительным. Каждая категория сигналов о миграции окажется прямым свидетельством для одного из возможных структурных компонентов миграции (например, для демографического взрыва или для военного нашествия)

и косвенным — для ряда других компонентов. А вот привело ли включение этого фактора в данном случае к переселению народа или его части и, наоборот, было ли оно необходимо для осуществления такого события (то есть дает ли его отсутствие право отрицать такое событие) — это уже зависит от места данного компонента во всей системе данной разновидности миграции.

Это зависит также и от того, в каких вообще разновидностях миграции он способен участвовать и способен ли он участвовать в иных системах событий — не миграционных. Вполне возможны случаи, когда наличные факты в силу их многозначности или из-за малочисленности неполностью удовлетворяют критериям доказанности миграции, но и не противоречат миграционной гипотезе.

С таким пониманием связан *отказ от любых презумпций* — как миграции, так и автохтонности или трансмиссии культуры. Каждая из этих гипотез должна доказываться особо, и невозможность в каком-то случае доказать одну из них не означает автоматического утверждения другой, а только повышает ее шансы на утверждение. Есть только одна презумпция в науке. Она гласит: если ничего не доказано, то ничего утверждать нельзя.

На моей таблице (рис. 9) представлены примерные соотношения между *видами миграций, их составными компонентами и археологическими следами* последних. Из компонентов первую группу составляют *причины миграций* — их выявление усиливает доказанность миграции, но не является необходимым и они не имеют строго избирательного распределения по видам миграции. Обычно они пополняют число косвенных доказательств. Вторую группу составляют разновидности выхода из исходного очага (*эмиграция*). Третью группу составляют разновидности *передвижения* из исходного очага в конечный. Четвертую группу составляют типы *иммиграции* — прибытия иноземцев в конечный очаг. Именно компоненты, входящие во вторую, третью и четвертую группы, распределены избирательно по видам миграции и сочетание их является определяющим для вида. Пятую группу составляют *последствия миграции* для мигрантов и аборигенов. Эти компоненты снова не имеют строго избирательного распределения по видам, они вносят спецификацию в любой вид.

Хотя компоненты миграции помещены на таблице в тесной увязке с археологическими следами (в широком смысле) и эти две колонки сомкнуты, на деле, строго говоря, такого сугубого соответствия нет, потому что события и вещи живой культуры не отлагаются в археологическом материале такими, какими они были. Между событиями, как и вещами, живой культуры и их археологическими следами огромное расстояние во времени и множество разрушительных и искажающих процессов и факторов. Одинаковые события

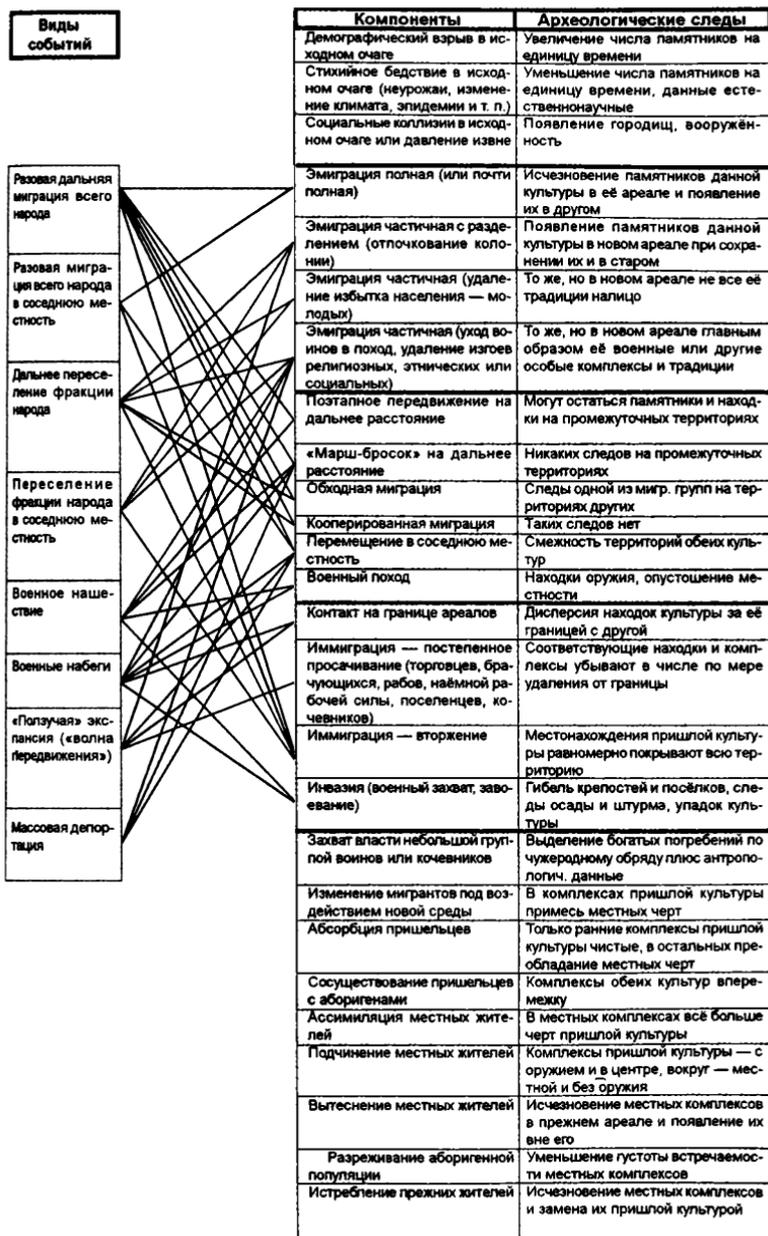


Рис. 9. Схема археологического проявления миграций: соотношения между видами миграций, их составными компонентами и археологическими следами. Жирными горизонталями разделены группы компонентов миграции, относящиеся к пяти различным основным частям ее структуры – мотивировке, эмиграции, передвижению, иммиграции и последствиям

и вещи могут привести к разным археологическим следам, а остатки от разных событий и вещей могут столь упроститься и обедниться, что приобретут одинаковый вид.

Нужно также учесть, что, дабы избежать усложнения, на таблице совершенно не показаны те иные, не миграционные события (трансмиссионная диффузия, конвергентные местные инновации и т. п.), в которых могли участвовать по отдельности те же компоненты, которые в другом сочетании образуют миграцию. Не показаны и те иные компоненты, от которых могли остаться те же археологические следы. Доказательство и реконструкция миграции гораздо сложнее, чем это может представить любая схема, но схема позволяет ориентироваться в многообразии фактов и выбрать оптимальный путь доказательства и реконструкции.

Резюме. Выявление древних миграций археологическими средствами производится в широком масштабе со времен Косинны и ранних работ Брейля. Однако упрощенный метод выявления, выдвинутый Косинной и его учениками (по одному типу вещей), отвергнут в новейшее время. После работ Вале, Эггерса и Гахмана археологам приходится отказаться и от комплексного принципа (принципа «лекальности» перемещения культуры). Нет еще новой методики выявления миграций на археологическом материале.

Некоторые исследователи (Уилли, Чжан Гуанчжи) пришли к выводу, что для разработки таких методов нужно построить на этнографическом материале теорию миграций. Но попытка Ёссинга (Гьессинга) построить такую теорию отвергнута его коллегами, а Гахман считает, что такая теория и невозможна ввиду разнообразия миграций. Он предлагает взять за отправные точки абсолютно явные археологические ситуации и решать в каждом случае особо, полагаясь на здравый смысл и археологические аналогии, а во многих случаях просто признать решение невозможным.

Мне представляется более перспективным другой путь. В основу разработки должна быть положена классификация реальных миграций, засвидетельствованных в этнографии и истории, а вопрос об археологических признаках должен решаться для каждого класса миграций отдельно на основе анализа структуры миграции (как набора типичных событий, типичных компонентов). Не исключается и установление признаков, общих для нескольких или многих классов.

Признаки не всегда окажутся ясными и недвусмысленными, не всегда можно обнаружить миграцию по археологическим материалам, но чтобы отделить достоверные миграции, необходимо сформулировать критерии доказанности миграции. Однако если материал не удовлетворяет этим критериям, это еще не

значит, что налицо автохтонность. Для ее утверждения нужны свои критерии доказанности.

Klejn L. S. Migration: archaeological hallmarks. Since the time of Kossinna and early works of Breuil the revealing of ancient migrations by archaeological means proceeds largely. However the simplified method of revealing advanced by Kossinna and his pupils (on the basis of a single type of artifacts) is recently refused. After the works of Wahle, Eggert and Hachmann archaeologists have to give up the complex principle (the template criterion of the relocation of culture) either. Still there is no new system of methods how to reveal migrations on the basis of archaeological material.

Some students (Wiley, Chang) came to a conclusion that for the elaboration of such methods one needed to build theory of migrations on the basis of the ethnographical material. Yet the attempt of Gjessing to build such theory was rejected by his colleagues, and Hachmann holds such theory for impossible because of the variability of migrations. He suggests to take absolutely evident archaeological situations for initial points and to hang in each case upon sound reason and archaeological analogies. In many cases, he concludes, one must simply admit the solution is impossible.

To me another way seems more prospective. A classification of real migrations fixed in history and ethnography should be put as the basis of the elaboration, and the question of archaeological hallmarks must be considered for each class of migrations separately. It should be made on the basis of analysing the structure of migration (considered as a set of typical events, typical components). The establishment of hallmarks common to a few or even to many classes cannot be excluded either.

Not always the hallmarks seem clear and unambiguous, not always one can reveal a migration by its archaeological traces, but in order to separate reliable migrations from dubious, one must formulate the validity criteria of migration. However if the material does not suffice these criteria, still it does not mean that the autochthoneity is present. To state it one needs its own criteria of validity.

3. Генераторы народов

[Статья сделана мною в начале 1970-х, когда я тщетно пытался опубликовать в СССР свои возражения А. Я. Брюсову, отстаивавшему происхождение индоевропейцев из южнорусских степей, и работал над большой статьей о Косинне, напечатанной позже, в 1976 г., в Германии. Статья о «генераторах народов» представляла один из моих аргументов. Опубликовать ее я сумел у Окладникова в Новосибирске (Клейн 1974).

Вместе с тем статья имеет, на мой взгляд, и более общее значение, объясняя общий рисунок мировой этнической истории.]

1. Великие переселения народов. По меньшей мере, трижды в истории Евразии со времени появления производящего хозяйства и до сложения современной этнической карты происходило «великое переселение народов».

То, которое под этим именем вошло в историю, так как осуществлялось уже в поле зрения письменных источников (по традиционному толкованию, с III по VII в. н. э., фактически же по XII), было последним. Задолго до него Евразию и Африку потрясло другое крупное миграционное движение, начавшееся в середине III тыс. до н. э. Оно продолжалось вспышками до VIII в. н. э., охватив весь запад Азии, север Африки и юг Европы. Конец этого движения хорошо освещен письменной историей, начало теряется, ибо происходило на заре письменной цивилизации. Еще раньше окончилось начавшееся одновременно с ним и охватившее более северные земли третье «великое переселение» — оно

может поэтому считаться самым ранним из трех. Конец его основной волны приходится на первые века II тыс. до н. э., хотя отзвуки можно уловить еще на рубеже I тыс. до н. э. Это переселение может быть восстановлено почти исключительно по археологическим и лингвистическим данным.

В каждом из трех случаев основой «переселения», толчком к передвижению многих народов служило расселение народов одной или нескольких языковых семей: в первом случае это были монгольские и тюркские народы, во втором — семиты, в третьем (самом раннем) — индоевропейцы.

В каждом из трех случаев исходный очаг оказывался небольшим и удивительно постоянным. На протяжении ряда веков вырывались словно из неисчерпаемого резервуара людские массы, расселяясь вокруг и образуя многие народы. В представлении древних авторов (*lordanes. Gethica, IV, 25*), Скандинавия некогда выступала как *officina gentium, vagina nationum* («мастерская племен», «материнское чрево народов») или — в вольном переводе — «генератор народов». Но это легенда, *τοπος*. А на деле?

[Для позднейшего из трех случаев] таким «генератором народов» была Внутренняя Азия, главный образом монгольская степь: гунны, маньчжуры, татаро-монголы, тюрки — друг за другом катились оттуда разрушительные волны на запад и на юг, уничтожая государства и создавая новые. До того таким генератором служили сирийско-аравийские степи: на восток оттуда вышли аккадцы, вавилоняне, амореи, ассирийцы, на запад — евреи и финикийцы, на юг — гиксосы, во все стороны — арабы. Наконец, самый ранний из таких крупных генераторов выбросил в короткий срок огромное количество индоевропейских племен с культурами «североевропейского» облика — воронковидные кубки и многогранные топоры, шаровидные амфоры, шнуровую керамику и боевой топор — фасетированный, ладьевидный и пр. Где помещался этот генератор — вопрос спорный: аутентичные письменные источники об этом молчат.

Густав Косинна помещал его в Северной Германии в связи с другими положениями (о превосходстве культуры северных прагерманцев, о расовой обусловленности этого превосходства). Это служило ему поводом для разговоров о культуртрегерской миссии северных прагерманцев, основными наследниками которых были объявлены современные северные германцы, оставшиеся на коренной территории и потому, де, сохранившие чистоту расы (Kossinna 1902; 1909–1910; 1912 и др.). Шовинистическая направленность этой концепции, ее откровенная связь с идеологической подготовкой внешнеполитической агрессии и фашизма вызвали естественную настороженность и неприятие в качестве ответной реакции (особенно в кругах прогрессивно настроенных

археологов других стран), а методическая слабость и произвольность аргументации Косинны навлекли суровую критику на фактическую базу его концепции. В числе прочих положений была отвергнута и локализация очага экспансии на севере Германии.

Английские, чешские и польские археологи локализовали этот очаг в южной части Восточной Европы — в понто-каспийских степях, связывая его то с ямной (Myres 1924: 101–102; Sulimirski 1933 и др.), то с катакомбной культурой (Childe 1926; Borkovsky 1933), к последнему выводу недавно присоединились и видные советские археологи (Брюсов 1961; Киселев 1965: 32). Эта концепция стала как бы нормативом повсеместно: она послужила каркасом для разработки этнической истории Европы в столь разных по идеологической направленности и столь авторитетных для своего направления обобщающих трудах, как кембриджская «Древняя История», мюнхенский «Большой исторический атлас мира» и наши академические «Всемирная история» и «История СССР» (Myres 1924; Bengtson and Milojcic 1953: 35; Всемирная история 1: 1955: 244–247; История СССР, 1, 1966: 120).

Наши археологи считают лучшим опровержением теории Косинны возможность «вывернуть походы Косинны наизнанку», хотя порочность его концепции заключалась не в утверждении факта и не в направлении миграции (древние народы, конечно, могли переселяться в любом из этих противоположных направлений — каждая из двух версий правомерна как гипотеза), а в связанных с этим расистских положениях и политических выводах и в произвольности методических приемов. Вообще наши археологи до сих пор продолжают ожесточенную борьбу с теорией Косинны как с живым и активным противником, яростно мечут полемические стрелы в Косинну, не замечая, что он давно мертв, как и его теория, и что лишь эта полемика в какой-то мере гальванизирует труп. Более того, концепция восточноевропейского очага экспансии культур боевого топора охотно принимается и развивается в Западной Германии (Э. Вале, Э. Штурмс, Е. Озольт, В. Милойич, отчасти У. Фишер, К. Струве и др.). Кому же на пользу борьба с тенью?

Между тем концепция восточноевропейского очага экспансии в пылу полемики с самого начала не была детально разработана и строго аргументирована. Последние же разработки ее в методическом отношении как раз весьма мало отличаются от построений Косинны, на что весьма прозрачно намекнул восточногерманский археолог А. Гейслер [А. Хойслер] (1966: 323). Этот исследователь подробно обосновал невозможность выведения культур боевого топора из ямной (Häusler 1963a; 1963b). В моих статьях была дана критика выведения этих культур из катакомбных и вообще из наших степей (отсутствие

генетических корней, прототипов и переходных звеньев, а также поздняя хронология) и выдвинуты аргументы в пользу противоположного направления миграции, приведшей к образованию самих катакомбных культур (Клейн 1960; 1961а; 1961б; 1962; 1964; 1966). В ряде работ последних лет были указаны центральноевропейские прототипы для основных элементов культуры боевого топора: амфоры, кубки, топоры, шнуровая керамика (Mildenberger 1953: 66–67; Kilián 1955: 119–123; Struve 1955: 101–112, 116; Klejn 169).

Если же обратиться к сопоставлению с двумя лучше известными генераторами народов — монгольским и семитским — и попытаться понять механизм их действия, то сразу же выясняется невозможность локализации такого генератора в наших степях, а его помещение на севере Центральной Европы предстанет как вполне закономерное.

2. Первопричина миграций. Каждый из двух известных очагов в пору активности характеризовался прежде всего тем, что внутри него скотоводство стало основным средством существования, и этому условию соответствуют оба района, претендующие на роль северозападного генератора: и север Центральной Европы, и понто-каспийские степи. В них охота, примитивное земледелие, какие-то элементы собирательства были оттеснены на задний план, о чем неопровержимо свидетельствуют состав инвентаря, остеологические материалы из погребений и пищевые отбросы со стоянок (Brønsted 1938: 232; Mathiassen 1948: 78). И это понятно: до введения металлических орудий земледелие могло стать главным источником средств существования только в особо благоприятных природных условиях (плодородные лессовые почвы) (Кларк 1953: 29–33), а вне этой территории хозяйственный прогресс мог идти только по линии увеличения количества стад: уход за ними не требует вообще каких-либо важных новшеств в технике. Но растущее скотоводство, не поддержанное ростом земледелия (то есть без подкормки скота продуктами земледелия), по необходимости должно быть экстенсивным (Кларк 1953: 126–132) — чем крупнее стадо, тем меньше времени может оно прокормиться на одном месте, тем большее пространство требуется ему обойти за год. «Придя на изобильное травоя место,— пишет Аммиан Марцеллин о приазовских гуннах конца IV в. н. э.,— они располагают в виде круга свои кибитки и питаются позвериному; истребив весь корм для скота, они снова везут, так сказать, свои города, расположенные на повозках... Гоня перед собой упряжных животных и стада, они пасут их...» (Латышев 1904: 337–341).

Это значит, что с ростом стада должна увеличиваться подвижность его хозяев, а это, в свою очередь, еще сильнее ограничивает их возможности

заниматься земледелием, хотя бы как подспорьем. «Все они,— говорит там же Аммиан Марцеллин,— не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь» (Там же).

Мы привыкли называть скотоводство культур боевого топора «пастушеским», отличая его от более подвижного «кочевого», но велики ли эти различия? Весь облик культур боевого топора говорит о большой подвижности населения. Это тонкий культурный слой на поселениях, легкость и непрочность построек, уменьшение размеров могильников вплоть до перехода к одиночным погребениям, широкое применение веревок в быту, отраженное в керамической орнаментации, изменение состава стада в сторону увеличения доли мобильных видов — овцы и лошади — за счет уменьшения поголовья малоподвижного животного — свиньи (Glob 1945: 248–249; Oldenberg 1952: 212; Becker 1954: 129–130; Otto 1960: 57); следы земледелия незначительны (Becker 1954). Противоположная трактовка (Neustupny 1969) игнорирует перечисленные здесь доводы и смешивает в одной характеристике ранние и поздние культуры шнуровой керамики. Не учтено и то, что тогдашнее земледелие было также экстенсивным.

Конечно, община могла бы удерживать размер стада в определенных пределах вместо того, чтобы отказываться от благ прочной оседлости. Но некоторые факторы толкают ее (у монголов, семитов и индоевропейцев) на то, чтобы жертвовать этими благами ради увеличения поголовья скота. Что же это за факторы?

Во-первых, это естественное стремление избавиться от давления экономической убогости на инстинкт продолжения рода — стремление прокормить и сохранить всех родившихся детей. Во-вторых, это столь же естественное желание обеспечить себя как можно более значительным запасом живого мяса па случай возможных стихийных бедствий (эпизоотия, гибель части стада при пожаре или наводнении). В-третьих, это новый для того времени интерес к немислимому ранее накоплению излишков производства (в виде стад) для обмена, интерес к открывающимся в связи с этим возможностям (Энгельс 1952: 53–54, 115, 165).

Община могла бы как будто избежать потери прочной оседлости и другим способом — выделив для дальних странствий со стадами специальных чабанов. Но это оказывается бессмысленным, как только продукты мясо-молочного скотоводства становятся основным источником повседневного питания всей общины.

Наконец, третьим возможным способом могло бы послужить дробление каждой разросшейся общины с разросшимся стадом на несколько общин — так, чтобы каждому новому стаду было достаточно для прокорма ближайших окрестностей постоянного поселка радиусом максимум в 1–2 дневных перехода. Из этнографии известно, что сегментация племен действительно происходит (Морган 1934: 62–64, 66; Энгельс 1952: 91, 96–98; и др.). Но и она в данных условиях не может привести к сохранению прочной оседлости. Ведь поголовье скота растет не только в абсолютном исчислении, но и в расчете на душу населения. Значит, сегментация племенных и родовых общин должна была бы сопровождаться постепенным уменьшением нормальной величины общины. На такое ослабление скотоводческие общины не могли пойти хотя бы по хозяйственным соображениям (пришлось бы отказаться от благ простой кооперации труда многих людей в сооружении загонов, гатей, борьбы со стихийными бедствиями).

Но был еще более важный фактор, побуждавший скотоводов держаться всей общиной поближе к стаду и отпугивавший их от значительного уменьшения размера общины, — это соображения военной безопасности.

В первобытном обществе правила солидарности, взаимопомощи и взаимного уважения интересов действовали только внутри общины, внешние отношения такими правилами не регулировались. Извне всегда можно было ожидать неприятности (Морган 1934: 46–47, 340). Но в эпоху собирательства и охоты поводов для конфликта было не так уж много: спорные участки земли при слабой заселенности редко имели жизненно важное значение, а запасов, на которые можно было бы позариться, по сути, не существовало: накопления от охоты и собирательства, если и создавались, были крайне невелики и не очень портативны. У земледельцев могли скопиться значительные излишки, однако и эти запасы портативными никак не назовешь. Иное дело скот — пожалуй, самое быстрорастущее и самое подвижное из всех богатств, когда-либо попадавших в руки первобытного человека. Идея поживиться за счет соседей, которая раньше могла появляться лишь в редких случаях, теперь напрашивалась сама собой. Грабительские нападения на соседей (с целью прежде всего увода скота) становятся системой, одним из постоянных источников средств существования (Энгельс 1952: 169–170).

В «Сокровенном сказании» (§128—129) мы находим рассказ о том, как ночью Тайчар отогнал табун «у Чжочи-Дармалы... Ограбленный Чжочи-Дармала вынужден был отправиться в погоню... Ночью же он догнал свой табун. Затем, припав к луке своего коня, он настиг Тайчара и наповал убил его, прострелив ему спину. Захватив свой табун, Чжочи-Дармала тою же ночью вернулся домой».

Это послужило поводом для большой войны. К Чингис-хану пришло известие: «За убийство своего младшего брата Тайчара Чжамуха решил воевать с Чингис-ханом. Чжадаранцы во главе с Чжамухой объединили вокруг себя тринадцать племен и составили три тьмы войска, которое переправляется через перевал Алаут-турхаут...» (Козин 1941: 111–112).

Когда на джалаилов напали чжурчжэни, то, как явствует из сообщения Рашид-ад-дина (S 96), для джалаилов само собой разумелось, что целью нападения является угон скота. «Когда джалаиры увидели это войско... они, уповая на то, что хитая не смогут переправиться через реку, насмешливо махая шапками и рукавами, звали их [к себе] и, [притворно] сокрушаясь, [взывали]: «Придите [же] и разграбьте наш скот!» Что хитая и не замедлили сделать: переправившись через реку, они «перебили все те [столь многочисленные] племена джалаилов вплоть до детей ростом с плеть, а их скарб и скот разграбили» (Рашид-ад-дин 1952, т. I, кн. 2: 13).

Скотоводческие племена приобретают и в Европе резко воинственный характер. В дополнение к специфически охотничьему и универсальному вооружению у них появляются виды оружия, рассчитанные специально для войны, для боевых действий против людей,— каменные булавы и боевые топоры, позже металлические кинжалы и т. п. Обилие таких предметов в археологических культурах, оставленных этими племенами, в Северной, Центральной и Восточной Европе сказалось даже в названии всего круга этих культур — *Streitaxtkulturen* (культуры боевого топора).

Это, конечно, является действенным непосредственным стимулом к усилению мобильности (задачи постоянной охраны пасущихся стад, опыт дальних военно-грабительских походов) и к сохранению значительных размеров общины (необходимость обладания достаточными военными контингентами), а через последнее — косвенным фактором усиления мобильности (крупные общины обладают крупными стадами, требующими крупных пастбищных пространств).

Итак, быстро и резко возрастает подвижность общин и бурно увеличивается количество народонаселения, а также поголовья скота. При экстенсивном характере скотоводческого хозяйства этот процесс должен непременно сопровождаться постепенным расширением территории, ареала данных племен, расселением их на все более обширные пространства. При установлении границ в стране быстро возникает абсолютная перенаселенность, приводящая к резкой нехватке пастбищ, падежу скота, голоду, внутренним конфликтам и вынуждающая избыточную часть населения отправляться на поиски новых земель.

Рашид-ад-дин (S 60, A 30 и 61) приводит монгольское предание о предках монголов: «Когда среди тех гор и лесов этот народ размножился и простран-

ство [занимаемой им] земли стало тесным и недостаточным, то они учинили друг с другом совет, каким бы лучшим способом и нетрудным [по выполнению] путем выйти им из этого сурового ущелья и тесного горного прохода» (Рашид-ад-дин 1952, кн. 1: 154).

В Библии сказано о племенах колена Иудина: «Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих; и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них там жило только немного хомитян. И пришли... и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их» (Паралипоменон, кн. 1, гл. 4: 38–41).

К. Маркс, анализируя различные виды вынужденной эмиграции, писал о первобытных скотоводах: «Чтобы продолжать быть варварами, последние должны были оставаться немногочисленными. То были племена, занимавшиеся скотоводством, охотой и войной, и их способ производства требовал обширного пространства для каждого отдельного члена племени, как это имеет место еще поныне у индейских племен Северной Америки... Поэтому избыточное население было вынуждено совершать те полные приключений великие переселения, которые положили начало образованию народов древней и современной Европы» (Маркс 1957: 567).

А. Я. Брюсов, ссылаясь на К. Маркса, именует данный вид перенаселения относительным (А. Я. Брюсов. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952, стр. 9), тогда как именно этот вид перенаселения у К. Маркса обозначен термином «абсолютное перенаселение», а «относительным перенаселением» К. Маркс называет такое положение, при котором производительные силы могли бы прокормить на месте всех членов общества, по социальным причинам часть членов общества оказывается без работы и без хлеба, что вынуждает их эмигрировать. [А у первобытных скотоводов было, по Марксу, абсолютное перенаселение.]

3. Образование генераторов. Такова первопричина миграций первобытных скотоводов, и вот почему некоторые коренные скотоводческие районы превращались в своего рода котлы, из которых то и дело выкипало содержимое, растекаясь все новыми и новыми волнами, выбрасывая фонтаны, брызгая и заливая все далеко вокруг. Кипящим варевом в этих котлах были подвижные скотоводческие племена, находившиеся в состоянии постоянного движения и общения, — это приводило к этническому перемешиванию и нивелированию внутри котла. Огнем, который поддерживал в этих котлах температуру на

точке кипения, было развитие экстенсивного скотоводства. Стенками котла служили природные рубежи района, богатого пастбищами, — лесные массивы, горы и моря, а также крупные земледельческие государства, пока они не входили в период феодальной раздробленности или ослабевали от внутренних коллизий.

Монгольский степной генератор был накрепко вмурован в каменное кольцо безжизненных пустынь и прикрыт, как крышкой, густыми таежными лесами Сибири, непригодными для пастбищ. С востока вся эта конструкция упиралась в недалекий берег Тихого океана. Вначале Великая Китайская стена, поддерживаемая мощью огромного и опытного государства, а после ее обветшания пограничные гарнизоны почти всегда закрывали щели из котла на юг. Оставался узкий выход — на запад.

Семитский генератор был опущен в знойный Аравийский полуостров, как в мешок с песком. Крышкой здесь служило побережье Средиземного моря. Эта крышка была чуть приоткрыта, оставляя две щели — на юг и на север. Но с юга у щели стояли настороже грозные армии фараона, и семитская экспансия вырывалась сквозь северную щель...

Обстановка внутри этих «котлов» обуславливала возникновение миграций, а обстановка вокруг «котла» в значительной мере определяла их характер.

Частые военные схватки приводили к возникновению обширных военных объединений, военных союзов племен (у североамериканских индейцев, не знавших скотоводства, это было исключением); выживали более мощные военные союзы, слабые гибли. Размеры этих союзов ограничивались только слабостью техники связи и неприспособленностью громоздких органов «военной демократии» к управлению массами, превышающими один-два десятка племен.

Когда внутри того или иного из этих военных объединений вызревала потребность территориальной экспансии, она не могла быть удовлетворена за счет простого децентрализованного рассредоточения общин, ибо вокруг размещались такие же крепкие военные объединения, и даже силой всего союза далеко не просто было заставить их потесниться и кого-то еще, в свою очередь, потеснить.

В Библии содержится ряд сообщений о таких ситуациях. «Иисус сказал им: если ты многолюден, то пойдй в леса и там, в земле ферезеев и рафаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна. Сыны Иосифа сказали: не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев...» (Иисус Навин, гл. 17, ст. 15–16). Крайним подвинуться было, собственно говоря, некуда — котел генератора имел прочные стенки. В тех случаях, когда такие попытки кончались неудачей, союзу не оставалось ничего другого, как под-

няться с обжитых земель и прорываться сквозь земли других союзов, близких по культуре и чуждых, в дальние неизведанные края на поиски подходящих для пастбищ земель, заселенных слабо или заселенных слабоими.

Обобщая сведения Библии, А. Я. Брюсов и М. П. Зимина (1966: 14, прим. 29) констатируют, что, «как обычно при миграции и других народов, евреи нередко обращаются к местным племенам с просьбой пропустить их через свои земли... И, проследивая их путь, нельзя не заметить, что они проходят, старательно избегая населенные земли; их станы устраиваются «в пустынях», а где нельзя обойти населенные области, они обращаются сначала с просьбой пропустить их». Несмотря на эти старания, на каждом шагу происходят стычки с местными племенами...

Поэтому миграции из таких «котлов» по необходимости должны были оказываться дальними и быстрыми, разовыми; они не могли быть иными. Недоступность и непригодность смежных земель была основной причиной такого характера этих миграций, а подвижность скотоводческих племен и наличие опыта дальних военных походов создавали для этого дополнительные предпосылки.

Если же эти племена оказывались в окружении редкого и в военном отношении слабого населения, если близкие резервы пастбищных пространств были значительными, а естественные рубежи района — размытыми, непрочными, иными словами, если у закипающего варева не было стенок, формирующих «котел», то не было и высокого давления, не создавалось длительных предпосылок для дальних разовых миграций обширных масс населения, характер экспансии оказывался более спокойным, генератор народов не возникал.

4. Выбор. Если с этой точки зрения взглянуть на Скандинавию и север Центральной Европы, то мы увидим луговые пастбища, как бы втянутые в узкие полуострова (Ютландия, юг Швеции и Норвегии) и сравнительно тощей полосой примыкающие к ним с юга. С севера их омывают Северное и Балтийское моря, с запада ограничивает Атлантический океан, по берегу которого густо теснятся укрепления сильного и многочисленного населения мегалитических культур. С юга — лесные и горные земли, в которых лугов, пригодных под пастбища, лишь небольшие просветы. С востока — непроходимые лесные пущи и болота. Это типичный «котел». Но если пробиться на юго-восток, то открывается выход в обширную и слабо заселенную полосу тучных степей...

Если, однако, с той же меркой подойти к понто-каспийскому степному району, то прежде всего бросится в глаза огромность самой его территории с почти неисчерпаемыми резервами пастбищ. Затем придется отметить, что

прочная естественная граница у него есть только с юга (Черное море) и менее четкая с севера: это лесные массивы, отделенные полосой лесостепи и прорезанные выходами лесостепей и широких речных долин далеко на север, с редким охотничье-рыбоводческим населением. С запада и востока стенок вообще нет. В те времена это был огромный мир пастбищ, широко открытый инвазиям и передвижкам во всех направлениях. Здесь просто не мог возникнуть «котел», способный послужить генератором народов. И не случайно в более поздние эпохи, доступные обозрению письменной истории, это был какой-то проходной коридор для кочевых и просто подвижных народов; с востока на запад здесь прошли скифы, сарматы, авары, гунны, венгры, хазары, болгары, печенеги, половцы, торки, монголы, с запада заходили готы и бастарны, с юга набегали татары и ногайцы. Только освоение степей земледельческим славянским населением под защитой крупного централизованного государства изменило судьбу этого района.

Генераторы народов располагаются не в центре, а у краев Евразийского материка, в закрытых закоулках.

Относительно монгольских и смежных степей изложенная трактовка вступает в противоречие с интересной гипотезой Л. Н. Гумилева о зависимости характера передвижений восточных степных народов от реконструируемых колебаний климата. По его заключениям, только в засушливые периоды возникали миграции (впрочем, слабые), вызванные нехваткой пастбищ, в периоды же благоприятного климата перенаселенность не возникала, а центростремительные движения носили характер завоевательных войн, но не переселений (Гумилев 1966). С точки зрения теории весьма сомнительна такая урегулированность роста населения в благоприятные климатические периоды. Сам же Л. Н. Гумилев (1966: 87) пишет: «Следует исходить из того, что евразийская степь заселена кочевниками предельно густо в том смысле, что используется каждый источник воды для водопоя». Куда же девались возникавшие излишки населения? Не лучше и с фактической стороной дела. Тезис о завоеваниях без переселений был касательно монголов уже давно опровергнут И. П. Петрушевским (1952: 29–30), а что касается тюрков, то не стоит забывать, что их не было раньше ни в Турции, ни на Кавказе. Так что одно дело — роль климатического режима в определении «ритма культуры», в обеспечении базы для создания сильных кочевых народов и государств и для предпосылок их падения, а другое — учет географического фактора в определении причин и характера миграций.

Решая с помощью анализа монгольского и семитского генераторов вопрос о локализации генератора индоевропейских народов (тех, которые связаны с культурами боевого топора) и решая его в пользу севера Центральной Европы,

мы можем оценить и сравнительное значение разных факторов в создании такого генератора. Предложенный здесь анализ показывает определяющую роль развития производства (в частности, экстенсивного скотоводства) в создании предпосылок экспансии и важную роль географического фактора в вопросе о характере экспансии и о локализации ее исходного очага. В этой картине совершенно не остается места для мистического расового духа как движущей силы экспансии «индогерманцев», для биологической предопределенности их культуртрегерской роли и тому подобных устарелых догм. Не остается и места для сменивших их более современных сентенций — о постоянстве и предопределенности судеб географических районов, об извечности «угрозы с востока», о непознаваемости исходных побуждений, по которым первобытные люди творили свою и нашу историю.

4. Археологи и миграции: проблема подхода?

Отклик на статью Г. Хэрке

[Эта заметка представляет обычный в журнале «Каррент Антрополоджи» жанр: «comment» — букв. примечание, комментарий, суждение, критический разбор. Так называются печатные выступления в организованных журналом обсуждениях крупных статей. В годы, когда молодому археологу было трудно пробиться в печать, это была для меня отдушина. Но и позже я участвовал в таких обсуждениях. В числе таких статей, присланных мне журналом для выступления в порядке дискуссии, была и статья Генриха Хэрке (Heinrich Härke) — археолога-немца, живущего и работающего в Англии. Живо интересуюсь теоретическими проблемами, особенно затрагивающими немецкую археологию, он писал о миграционизме Косинны и о бестеоретичности современной немецкой археологии. Мой отклик вышел на английском языке вместе со статьей Хэрке и откликами других археологов (Klejn 1998).]

Мне было очень интересно прочесть статью Хэрке, описывающую современную ситуацию в Западной археологии по проблеме миграций. Он правильно связывает эти исследования с политическими установками среды и с отношением к этносу и этничности.

Мои замечания касаются некоторых аспектов темы. Мне кажется, что Хэрке несколько упрощает развитие и соотношения концепций в регионах.

1. В Германии. Миграционизм Косинны был неоднозначным. Вне Германии его называли миграционистом, в самой же Германии — автохтонистом, ибо он придерживался принципа преемственности всех культур в Северной Европе, полагая, что германцы сидели там испокон веков, и предпочитал миграционные объяснения для всех остальных территорий, считая, что высокую культуру туда приносили только германцы.

Но еще до поражения Германии во Второй мировой войне в самой Германии раздавалась критика косинновского миграционизма, особенно со стороны его ученика Вале, который отвергал миграционизм по принципиальным соображениям, разработав другую концепцию смены культур. В послевоенной Германии тон в археологии задавали не продолжатели традиций миграционизма, а Вале и особенно Эггерс и Гахман, отвергавшие миграционизм, или сторонники эмпиризма, вообще избегавшие смелых гипотез. Атмосферу в Восточной Германии отражают многочисленные выступления Хойслера в защиту автохтонной интерпретации неолитических культур Центральной и Северной Европы.

2. В англоязычном мире антимиграционистские настроения действительно были развиты, но существовала и другая традиция, весьма влиятельная, охватывавшая многих видных ученых — от Чайлда до Гимбутас — и обращавшая против 14 походов индогерманцев Косинны такие же миграции, реконструированные теми же методами, только обращенные в противоположную сторону — с территории восточноевропейских степей в Центральную и Западную Европу.

3. В советской науке. Не всё так однозначно обстояло и с советским «иммобилизмом» или, как у нас его называли, автохтонизмом. Он был характерен для теории стадиальности и был строго обязателен только в короткий период с середины 20-х годов до середины 30-х. По мере того как в советской идеологии набирали силу национал-патриотические тенденции, теория стадиальности хирела, а с нею вместе и «повсеместный автохтонизм». В 1950 г. эта теория была отвергнута начисто. Вошли в моду исследования этногенеза, и, хотя очень поощрялись выводы об исконном обитании славян на территории Украины и значительной части Древней Руси (концепция Рыбакова, Третьякова и киевских археологов), вскоре после войны часть археологов в согласии с польскими учеными выводила славян с территории Польши (Артамонов). В 60–80-е годы ведущие концепции происхождения культур (от палеолита до средневековья) были скорее миграционистскими.

Черняховскую и зарубинецкую культуры (поля погребальных урн) только часть советских археологов (школа Рыбакова и киевляне) считали славянскими или сарматскими, другие, особенно ленинградцы, но и часть москвичей) трактовали как германские — черняховскую как готскую, зарубинецкую — как принадлежавшую иным германским племенам (Кухаренко, Шукин, как в Польше — Годловский). Распад Советского Союза мало что в этой ситуации изменил.

4. Викинги. Хэрке прав, считая вопрос о викингах частным случаем вопроса о миграциях. Но в России этот вопрос имел особую и очень давнюю историю. Издавна в России существовали обе традиции — и норманистская (объяснявшая возникновение русского государства приходом варягов) и анти-норманистская. Вспышки этого спора были особенно остры в конце XVIII века (спор Ломоносова с Миллером), в середине XIX (диспут Погодина с Костомаровым) и в 1960-е годы (дискуссия в Ленинградском университете).

Менялась и официальная позиция советских идеологов по этому вопросу. В 20-е годы она была норманистской (норманизм поддерживался как способ дискредитации династии Романовых), потом стала резко антинорманистской (из патриотических соображений). Книга Равдоникаса, однако, антинорманистской не была, в отличие от работ Арциховского и Авдусина. Со смертью Сталина тоталитарный режим стал мягче, и стало возможным оспаривать анти-норманизм, что мы и делали.

5. О терминологии. Надо бы уточнить историографические термины. Миграционизм обычно противопоставляется диффузионизму, тогда как это его ветвь. Диффузионизм был лишь утверждением распространения культуры из некоего центра, но он не предусматривал какого-то одного способа распространения. Типичным диффузионистом (даже гипердиффузионистом) называют Эллиота Смита, но он рисовал распространение культуры в основном миграциями. По способу распространения культуры диффузионистов можно разделить на тех, кто в основном реконструирует влияния и заимствования, то есть передачу культуры (я называю их трансмиссионистами) и тех, кто предпочитает в основном миграции — это миграционисты. Миграционизм (как и диффузионизм) бывает центробежным (как у Косинны) и центростремительным (как у Флиндерса Питри).

6. Историографический запал. Меня несколько смущает постпроцессуальная волна статей, снова и снова муссирующих вопрос о социальных и политических корнях тех или иных археологических концепций, чужих и своих. В основе этой волны лежит влияние критической теории Франкфуртской школы

марксизма. Исследователи захвачены энтузиазмом такого открывательства, поскольку держат в уме или в подсознании убежденность, что, открыв эти корни своих и чужих концепций, они тем самым подорвали их состоятельность, дискредитировали эти концепции и победили свою или чужую субъективность. На деле ничего подобного. Впечатление победы над субъективностью создается, но оно обманчиво. Мое субъективное намерение не имеет значения для оценки состоятельности моих выводов. Значение имеют лишь методы и только они. Националистические и расистские цели Косинны были скверными, но его конкретные выводы могут подтвердиться. Чайлд мог делать свои заключения из самых гуманных побуждений — и ошибаться. Жаль, что как раз методическим принципам рассмотрения миграций в работе Хэрке не уделено внимания.

В российской археологии было несколько работ такого плана. Я рассматривал методическую сторону проблемы (Клейн 1973), другие авторы исходили из обобщения конкретных миграций той или иной эпохи (Титов, Мерперт и др).

Библиография

- Adams M. 1991. A logic of archaeological inference. — *Journal of Theoretical Archaeology*, 2: 1–11.
- Adams W. Y. 1968. Invasion, diffusion, evolution? — *Antiquity*, 42 (167): 194–215.
- Adams W. Y., Van Gerven D., Levy R. S. 1978. The retreat from migrationism. — *Annual Review of Anthropology*, 7: 483–532.
- Akalu A. and Stjernquist P. 1988. To what extent are ethnographic analogies useful for the reconstruction of prehistoric exchange? — *Trade and exchange in prehistory: Studies in honour of Berta Stjernquist (Acta Archaeologica Lundensia, ser.n 80, No. 16)*. Lund: 5–13.
- Ammerman A. J. and Cavalli-Sforza L. L. 1979. The Wave of Advance Model for the spread of agriculture in Europe. — Renfrew C. (ed.). *Transformations: Mathematical approaches to culture change*. New York: 275–293.
- Anderson K. M. 1969. Ethnographic analogy and archeological interpretation. — *Science*, 163: 133–138.
- Andree Chr. 1969. *Geschichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1869–1969*. — *Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1869–1969. Teil 1*. Berlin, Pohle und Mahr: 9–142.
- Andree R. 1878. *Ethnographische Parallelen und Vergleiche*. Stuttgart, Jul. Maier.

- Andree R. 1889. Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Neue Folge. Leipzig, Vest und Comp.
- Anthony D. W. 1990. Migration in archaeology: the baby and the bathwater. — *American Anthropologist*, 92: 895–914.
- Anthony D. W. 1992. The bath refilled: migration in archaeology again. — *American Anthropologist*, 94: 174–176.
- Antoniewicz W. 1950. Józef Kostrzewski śladami Richthofena. — *Z otchłani wieków 11–12*: 180–182.
- Archäologische Informationen, 19, 1 & 2 (Völkerwanderungen — Migrationen).
- Ascher R. 1961. Analogy in archaeological interpretation. — *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 17: 317–325 (repr. in: Deetz J. (ed.). *Man's imprint from the past*. Boston, Little, Brown and Co: 262–271).
- Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A et al. 2008. Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context. - *American Journal of Human Genetics*, 82 (1): 236 - 250.
- Barth F. 1956. Ecologic relations of ethnic groups in Swat, North Pakistan. — *American Anthropologist* 58: 1079 -1089.
- Behrens H. 1959. Die Rössener Kultur und ihre Bedeutung für die Herausbildung der Tiefstichkeramik aus der Trichterbecherkultur. — *Die Kunde N. F.*, 10: 44—51.
- Behrens H. 1964. Die neolithisch-frühmetallzeitlichen Tierskelettfunde der Alten Welt. Berlin, VEB Dt. Verl. der Wissenschaften.
- Behrens H. 1965. Westeuropäische Einflüsse im mitteldeutschen Neolithikum. — *Ausgr. u. Funde* 10: 16 -20.
- Behrens H. 1966: Mitteldeutsche Einflüsse im nordwestdeutschen Neolithikum. — *Jshr. mitteldt. Vorgesch.* 50: 21–32.
- Behrens H. 1984. Die Ur- und Frühgeschichte in DDR von 1945 bis 1980. Miterlebte und mitverantwortliche Forschungsgeschichte (Arbeiten zur Urgeschichte des Menschen, Bd. 9). Frankfurt am Main.
- Behrens H. und Padberg W. 1978. Urgeschichtsforschung und Ethnologie. — *Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte*, Bd. 62: 37–49.

- Beiträge 1986. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtsforschung an der Berliner Universität 1810–1985. Ungedr. Seminararbeiten, betreut v. H. Grönert. Humboldt-Universität, Fachrichtung Ur- und Frühgeschichte. Berlin.
- Benett W. C. (ed.). 1948. A re-appraisal of Peruvian archaeology (Memoir No. 4 of American Anthropological Association, Vol. 13, No. 4, pt. 2). Menasha, Wise.
- Bengtson H., Milojčić V. 1953. Vorgeschichte und Altertum. — Grosser historischer Weltatlas. Erläuterungen. I Teil. München, Bayrischer Schulbuchverlag.
- Berge P. L. van den. 1981. Ethnic phenomenon. New York, Elsevier.
- Bergmann J. 1973. Analogieschluß und interdisziplinäre Zusammenarbeit. — Archäologische Korrespondenzblatt, 3: 269–274.
- Bergsland K. & Vogt H. 1962. On the validity of glottochronology. — Curr. Anthropol. 3, 115–153.
- Bernhard W., Kandler-Palsson A. (Hrsg.). 1986. Ethnogenese europäischen Völker. Aus der Sicht der Anthropologie und Vor- und Frühgeschichte. Stuttgart, Fischer.
- Binford L. R. 1967a. Smudge pits and hide smoking: The use of analogy in archaeological reasoning. — American Antiquity, 32: 1–12 (repr. Deetz J. (ed.). 1971. Man's imprint from the past. Boston, Little, Brown and Co: 272–292; Binford, 1972: 33–51).
- Binford L. R. 1967b. Major aspects of the interrelationship of archaeology and ethnology. Comment to K. C. Chang. — Current Anthropology, 8 (3): 234–235 (repr. in Binford 1972: 68–73).
- Binford L. R. 1968. Methodological considerations of the archaeological use of ethnographic data. — Lee R. B. and DeVore I. (eds.). Man the hunter. Chicago, Aldine: 268–273 (repr. in Binford 1972: 59–67).
- Binford L. R. 1968a: Archaeological perspectives. — Binford, S. R. and L. R. New Perspectives in Archeology. Chicago, Aldine: 5 — 32.
- Binford L. R. 1968b. Some comments on Historical vs. Processual archaeology. — South-Western Journal of Anthropology 24: 257 — 275.

- Binford L. R. 1972. An archaeological perspective. New York and London, Seminar Press.
- Binford L. R. 1977. For theory building in archaeology. New York et al., Academic Press.
- Binford L. R. 1978. Nunamiut ethnoarchaeology. New York et al., Academic Press.
- Binford L. R. 1981. Bones: ancient men and modern myths. New York et al., Academic Press.
- Bloch M. 1971. Placing the dead. London, Seminar Press.
- Blume E. 1912–1915. Die germanischen Stämme und Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit. Bd. (Mannus-Bibliothek 8 und 14. Würzburg).
- Bökönyi S. 1953. Reconstruction des mors en bois de cerf et en os. — *Acta Archaeologica Hungarica*, III (1–4): 113–122.
- Borkovskij I. 1933. The origin of the culture with corded ware in Central Europe. — *Proceedings of the Prehistoric and Protohistoric Congress, London, 1932*. London, Milford: 211–213.
- Boulainvillier J. comte de. 1727. Histoire de l'ancien gouvernement de la France. Avec XIV. lettres historiques sur les parlemens ou etats-generaux. Haye et Amsterdam.
- Bouzek J. 1982. K otázce využití etnografických paralel při studiu pohřebního ritu v archeologii. — *Archeologické Rozhledy*, 24 (1): 200–203.
- Braukämper U. 1992. Migration und ethnischer Wandel. Untersuchungen aus der östlichen Sudanzone. Stuttgart, Steiner.
- Braukämper U. 1996. Zum Verhältnis von Raum und Zeit bei Migrationen in Afrika. — *Archäologische Informationen*, 19, 1&2: 51–65.
- Brjussow A. Ja. 1954. Die Wanderungen der ursprünglichen Stämme und die Resultate der Archäologie. — *Acta Archaeologica Kopenhagen* 25: 309–321.
- Brønsted J. 1938. Denmarks Oldtid, bd. 1. København, Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag.

- Budziszewska W. 1965. *Slowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej*. Wrocław — Warszawa — Kraków, Ossolineum.
- Bulkin V. A., Klejn L. S., Lebedev G. S. 1982. Attainments and problems of Soviet archaeology. — *World Archaeology*, 13 (3): 272–295.
- Burmeister S. 1996. Migration und ihre archäologische Nachweisbarkeit. — *Archäologische Informationen*, 19, 1&2: 13–21.
- Burton H. 1979. The arrival of the Celts in Ireland: archaeology and linguistics. — *Expedition*, 21 (3): 16–22.
- Buttler W. 1938. *Der donauländische und der westische Kulturkreis der jüngeren Steinzeit*. Berlin — Leipzig, de Gruyter.
- Becker C. J. 1954. Die mittellueolithischen Kulturen in Südsandinavien. — *Acta Archaeologica (København)*, XXV: 129–130;
- Chamberlain H. S. 1899. *Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts*. München.
- Champion T. C. 1990. Migration revived. — *Journal of Danish Archaeology*, 9: 214–218.
- Chang K. C. 1958. Study of Neolithic social grouping: examples from the New World. — *American Anthropologist*: 298–334.
- Chang K. C. 1967. Major aspects of interrelationship of archaeology and ethnology. — *Current Anthropology*, 8 (3): 227–243.
- Childe V. G. 1925. *The dawn of European civilization*. London Kegan Paul (6 th ed. New York. 1964).
- Childe V. G. 1926. *The Arians. A study of Indo-European origins*. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co; New York, Knopf.
- Childe V. G. 1929. *The Danube in prehistory*. Oxford, Oxford University Press.
- Childe V. G. 1930. *The Bronze Age*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Childe V. G. 1935. Changing methods and aims in prehistory. — *Proceedings of the Prehistoric Society* 1: 1–15.
- Childe V. G. 1946. *Scotland before the Scotts*. London, Methuen.
- Childe V. G. 1950. *Prehistoric migrations in Europe*. Oslo, Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning (ser. A: Forelesninger 20).

- Childe V. G. 1956. Piecing together the past: the interpretation of archaeological data. London, Routledge and Kegan Paul.
- Clark G. 1960. Archaeology and Society: reconstructing the prehistoric past. New York, Barnes and Noble (1st ed. London, Methuen, 1939).
- Clark G. 1952. Prehistoric Europe: The Economic Basis. London, Methuen.
- Clark J. G. D. 1951. Folk-culture and the study of European prehistory. — Grimes W. F. (ed.). Aspects of prehistory: Essays presented to O. G. S. Crawford. London, H. E. Edwards: 49–65.
- Clark J. G. D. 1953. Archaeological theories and interpretations: Old World. — Kroeber A. L. (ed.). Anthropology today. Chicago, University of Chicago Press: 343–360.
- Clark J. G. D. 1966. The invasion hypothesis in British archaeology. — Antiquity, vol. 40, no. 159: 172–189.
- Clarke D. L. 1968. Analytical archaeology. London, Methuen.
- Classen K. 1912. Die Völker Europas zur jüngeren Steinzeit ihre Herkunft und Zusammensetzung. Stuttgart, Strecker & Schröder.
- Clemen C. 1935. Die Urheimat der Indogermanen. — Die Kölnische Zeitung.
- Clemen C. 1937. Indogermanenfrage und kein Ende. — Die Kölnische Zeitung.
- Clemen-Festschrift 1936. Festschrift für Paul Clemen. Zeitschrift des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatkunde 29, 1, Düsseldorf.
- Coblenz W. 1952a. Grabfunde der Mittelbronzezeit. Dresden, Dresdner Verlag.
- Coblenz W. 1952b. Schnurkeramische Gräber auf dem Schafberg Niederkaina bei Bautzen. — Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege, 2: 41–106.
- Coblenz W. 1955. Ur- und frühgeschichtliche Wall- und Wehranlagen Sachsens. — Wissenschaftliche Annalen, 4: 405–423.
- Coblenz W. 1961. Bemerkungen zum Forschungsstand über die Vorlausitzer Kultur nördlich von Erzgebirge und Lausitzer Bergland. — Komm. für d. Äneolithikum und die ältere Bronzezeit — Nitra 1958. Bratislava: 185–196.
- Coblenz W. 1962. Slawen und Deutschen im Gau Daleminzien. — Aus Ur- und Frühgeschichte. Berlin, Akademie-Verlag: 136–141.

- Coblenz W. 1971. Die Lausitzer Kultur der Bronze- und frühen Eisenzeit Ostmitteleuropas als Forschungsproblem. — *Ethnographisch&Archäologische Zeitschrift*, 12: 425–438.
- Coblenz W. und Weber V. 1976. Zur Oberlausitzer Gruppe der Schnurkeramik. — *Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte*, 60: 253–261.
- Cole S. 1961. *The Neolithic revolution*. (2. ed.) London, Trustees of the British Museum (1st ed. 1959).
- Cook R. M. 1960. Archaeological argument: some principle. — *Antiquity*, vol. XXXIV: 177–179.
- Cooke C. K. 1965. Evidence of human migration from the rock art of Southern Rhodesia. — *Africa*, 35 (3): 263–285.
- Cordaux R., Aunger R., Bentley G et al. 2004. Independent origins of Indian caste and tribal paternal lineages. — *Current Biology*, 14: 321–235.
- Daniel G. E. 1950. *A hundred years of archaeology*. London, Duckword.
- Deetz J. 1965. The dynamic of the stylistic change in the Arikara ceramics (Illinoise studies in anthropology, 4).
- Deetz J. 1967. *Invitation to archaeology*. Garden City, New York, The Natural History Press.
- Deetz J. 1968. Cultural patterning of behavior as reflected by archaeological materials. — Chang K. C. (ed.). *Settlement archaeology*. Palo Alto, Calif., National Press: 31–42.
- Dehn W. 1979. Einige Überlegungen zum Charakter keltischer Wanderungen. — Duval P. M. et Kruta V. (eds.). *Les mouvements celtiques du Ve au Ie siècle avant notre ère (IX Congrès International des sciences préhistoriques et protohistoriques)*. Paris: 15–20.
- Donnan C. B. and Clewlow C. W., Jr. 1974. *Ethnoarchaeology*. Los Angeles, University of California Press.
- Eggan F. 1954. Social anthropology and the method of controlled comparison. — *American Anthropologist*, vol. 56 (5, pt 1): 743–763.
- Eggers H. J. 1950. Das Problem der ethnischen Deutung in der Frühgeschichte. — Kirchner H. (Hrsg.). *Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft (Wahle-Festschrift)*. Heidelberg, Carl Winter- Universitätsverlag: 49–59.

- Eggers H. J. 1959. Einführung in die Vorgeschichte. München, Piper.
- Eggers H.-J. 1950. Das Problem der ethnischen Deutung in der Frühgeschichte. — Dauer A. und Kirchner H. (Hrsg.). Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft (Wahle-Festschrift). Heidelberg, Winter.
- Eggers H.-J. 1959. Einführung in die Vorgeschichte. München, Piper.
- Eggert M. K. H. 1993. Vergangenheit in der Gegenwart? Überlegungen zum interpretatorischen Potential der Ethnoarchäologie. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 34 (2): 144–150.
- Ehrenreich P. 1903. Zur Frage der Beurteilung und Bewertung ethnographischen Analogien. — Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Bd. 34: 176–180.
- Ehrich R. W. (ed.). 1954. Relative chronologies in Old World archaeology. Chicago, The University of Chicago Press .
- Ehrich R. W. (ed.) 1965. Chronologies in Old World Archaeology. Chicago, The University of Chicago Press.
- Erasmus C. J. 1968. Thoughts on upward collapse: an essay on explanation in anthropology. — South-western Journal of anthropology 24: 170–194.
- Ethnoarchéologie 1992. Ethnoarchéologie: justification, problèmes, limites. Juan-les-Pins, ARDCA.
- Evans C. 1988. Monuments and analogy: The interpretation of causewayed enclosures. — Burgess C. et al. (eds.). Enclosures and defences in the Neolithic of Western Europe. Oxford, BAR, suppl. ser. 403): 47–73.
- Fetten F. G. and Noll E. 1992. Perspektiven der Ethnoarchäologie: Das Beispiel der Bestattungen in Molluskenhaufen. — Ethnographisch-Archäologischen Zeitschrift, 2: 161–207.
- Fischer U. 1956. Die Gräber der Steinzeit im Saalegebiet. Berlin, de Gruyter.
- Fischer U. 1958. Mitteldeutschland und die Schnurkeramik. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 41/42: 254–298.
- Fischer U. 1987. Zur Ratio der prähistorischen Archäologie. — Germania 65 (1): 175–195.

- Fischer U. 1990. Analogie und Urgeschichte. — *Saeculum* (Freiburg i. Br.), 41: 318–325.
- Ford J. A. 1954. The Type concept revisited. — *American Anthropologist* 56, N. Ser. 5: 42–54.
- Freeman L. G., Jr. 1968. A theoretical framework for interpreting archaeological materials. — Lee R. B. and DeVore I. (eds.). *Man the hunter*. Chicago, Aldine: 262–267.
- Frenzel W. 1937. Besprechung von Philipp 1937. — *Mannus* 29: 150–151.
- Frobenius L. 1898. *Der Ursprung der afrikanischen Kulturen*. Berlin, Gebr. Bourntraeger.
- Gallay A. 1981. The western Alps from 2500 to 1500 bc (3400 to 2500 BC), tradition and cultural changes. — *Journal of Indo-European Studies*, 9: 33–55.
- Gamble C. 1992. Ancestors and agendas. — Yoffee N. And Sherratt A. (eds.). *Archaeological theory — who sets the agenda?* Cambridge, Cambridge University Press: 39–51.
- Gamble C. 1993. People on the move: interpretations of regional variation. — Chapman J. and Dolukhanov P. (eds.). *Cultural transformations and interactions in Eastern Europe*. Avebury, Ashgate Publ.: 37–55.
- Gejvall N.-G. 1955. Vittnesbörd om folkvandringar. — *Fornvännen*, 50: 19–21.
- Gifford E. W. 1928. Pottery making in the South-West. — *Publication of American Archaeology and Ethnology* (University of California), vol. 23, pt. 8: 353–373.
- Gimbutas M. 1956. The prehistory of Eastern Europe. Pt. I. Mesolithic, Neolithic and Copper Age cultures in Russia and the Baltic area. *American School of Prehistoric Research Bulletin* 20. Cambridge, Mass.
- Gimbutas M. 1961. Notes on the chronology and the expansion of the Pit-grave culture. — *L'Europe a la fin de l'âge de la pierre*. Praha, Éd. de l'acad. tchécoslovaque des sciences: 193–200.
- Gimbutas M. 1979. The three waves of the Kurgan people into Old Europe, 4500–2500 B. C. — *Archives suisses d'anthropologie générale* (Geneve), 43 (2): 240–269.

- Gjessing G. 1955. Vittnesbörd om folkvandringar. — *Fornvännen*, 50: 1–10.
- Glazer N. and Moynihan D. P. (eds.). 1975. *Ethnicity: Theory and experience*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Glob P. V. 1945. *Studierover den Jyske Enkoltgravskultur (Aarbger 1944)*. København, Gyldendal.
- Gobineau J.-A. comte de. 1853–55. *Essai sur l'inégalité des races humaines*. 4 vols. Paris, Didot.
- Gould R. A. 1971. The archaeologist as ethnographer: a case from the Western Desert of Australia. — *World Archaeology*, 3 (2): 143–177.
- Gould R. A. (ed.). 1978. *Explorations in ethnoarchaeology*. Albuquerque, University of Mexico Press.
- Gould R. A. 1980. *Living archaeology*. Cambridge and New York, Cambridge University Press.
- Gould R. A. and Watson P. J. 1982. A dialogue on the meaning and use of analogy in ethnoarchaeological reasoning. — *Journal of Anthropological Archaeology*, 1: 355–381.
- Govedarica B. und Kaiser E. 1996. Die äneolithischen abstrakten und zoomorphen Steinzepter. — *Eurasia Antiqua*, Bd. 2: 59–103.
- Graebner F. 1911. *Methode der Ethnologie*, Heidelberg, C. Winter, 1911 (Nachdruck 1966).
- Greaves Sh. 1982. *Upon the point: a preliminary investigation of ethnicity as a source of metric variation in lithic projectile points*. Ottawa, National Museum of Canada.
- Gruber J. W. 1967. Ethnological needs for archaeological reconstruction: a Late Woodland example. — Tooker E. (ed.). *Iroquois culture, history, and prehistory*. Albany, University of the State of New York, et al.: 109–113.
- Grünert H. 2002. *Gustaf Kossinna (1858–1931). Vom Germanisten zum Prähistoriker. Ein Wissenschaftler im Kaiserreich und der Weimarer Republik (Vorgeschichtliche Forschungen 22)*. Leidorf — Rahden, VML.
- Guksch Chr. E. 1993. Über Analogien. — *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 151–157.

- Gummel H. 1938. Forschungsgeschichte in Deutschland. Die Urgeschichte und ihre historische Entwicklung in den Kulturstaaten der Welt. Bd. I. Berlin, de Gruyter.
- Günther H. F. K. 1925. Klerine Rassenkunde Europas. München, Lehmann.
- Günther H. F. K. 1926a. Adel und Rasse. München, Lehmann.
- Günther H. F. K. 1926b. Rasse und Stil: Gedanke über ihre Beziehungen im Leben und in der Geistesgeschichte. München, Lehmann.
- Günther H. F. K. 1928. Rassenkunde des deutschen Volkes. 12. Aufl. München, Lehmann.
- Günther H. F. K. 1930. Rassenkunde des jüdischen Volkes. München, Lehmann.
- Günther H. F. K. 1934. Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens. München, Lehmann.
- Günther H. F. K. 1935. Herkunft und Rassengeschichte der Germanen. München, Lehmann.
- Haberlandt A. 1912. Prähistorisch-ethnographische Parallelen. Braunschweig, F. Vieweck und Soden.
- Hachmann R. 1970b. Die Germanen. München — Genf — Paris, Nagel.
- Hachmann R. 1970. Die Goten und Skandinavien. Berlin, Walter de Gruyter.
- Hachmann R., Kossak G., Kuhn H. 1962. Völker zwischen Germanen und Kelten. Neumünster, Wachholtz.
- Haddon A. C. 1911. The wanderings of peoples. Cambridge, Cambridge University Press.
- Haeckel J. 1961a. [Diskussionsbeitrag zum Vortrag von R. Pittioni]. — Breitinger E. et al. (Hrsg.). Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen. Horn, F. Berger: 33–36.
- Haeckel J. 1961b. Über die Zusammenarbeit der «anthropologischen Disziplinen» vom Standpunkt der Völkerkunde. — Breitinger E. et al. (Hrsg.). Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen. Horn, F. Berger: 194–225, Disk. 225–227.
- Hahne H. 1922. 25 Jahre der Siedlungsarchäologie; Arbeiten aus dem Kreis der Berliner Schule. Mannus-Bibliothek 22. Leipzig.

- Härke H. (ed.). 2000. *Archaeology, ideology and society: The German experience*. Peter Lang, Frankfurt a. M. et al. (Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, bd. 7).
- Härke H. 1998. *Archaeologists and migration: a problem of attitude*. — *Current Anthropology*, vol. 38, no. 5: 19–45.
- Haury E. W. 1958. *Evidence at Point of Pines for a prehistoric migration from Northern Arizona*. — Thompson R. H. (ed.). *Migrations in New World culture history*. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): 1–6.
- Häusler A. 1963. *Ockergrabkultur und Schnurkeramik*. — *JVH*, 47: 157–179.
- Häusler A. 1963. *Ist eine Ableitung der Schnurkeramik von der Ockergrabkultur möglich?* — *Forschungen und Funde*, 37 (12): 363–368.
- Hawkes. 1987. *Archaeologists and Indo-Europeanists: can they mate? Hindrances and hopes*. — Skomal S. N. and Polomé E. C. (eds.). *Proto-Indo-European: The archaeology of a linguistic problem*. Studies in honour of Marija Gimbutas. Washington, D. C., Institute for the Study of Man: 203–215.
- Hawkes Chr. 1954. *Archaeological theory and method: Some suggestions from the Olds World*. — *American Anthropologist*, vol. 56: 155–168.
- Heape W. 1931. *Emigration, migration and nomadism*. Cambridge, Hoffer & Sons.
- Heider K. G. 1967. *Archaeological assumptions and ethnological facts: a cautionary tale from New Guinea*. — *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 23: 52–64 (repr. in: Deetz J. (ed.). *Man's imprint from the past*. Boston, Little, Brown and Co: 384–396).
- Hensel W. 1971. *Archeologija i prahistoria*. Studia i szkice. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, Ossolineum.
- Hensel W. 1975. *L'ethnogenesologie*. *Ethnogenesology*. — *Slavia Antiqua*, 21, 1974: 1–4.
- Herrmann J. 1956. *Archäologische Kulturen und sozialökonomische Gebiete*. — *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift* 6: 97–128.
- Herskovits J. M. 1948. *Man and his works*. The science of cultural anthropology. New York, Knopf.

- Herteig A. E. 1955. Er Volkvanderingstidningens ekspansion i Rogaland båret av invanderere eller er den et indre anliggende? — *Viking*, 19: 73–88.
- Hertz F. 1930. Die Wanderungen, ihre Typen und ihre geschichtliche Bedeutung. — *Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie*, 8: 36–62.
- Higham J. 1982. Current trends in the study of ethnicity in the United States. — *Journal of American Ethnic History*, 2: 5–15.
- Hochholzer H. 1959. Typologie und Dynamik der Völkerwanderungen. — *Die Welt als Geschichte*, 19, H. ¾: 129–145.
- Hodder I. 1983. *The present past: An introduction to anthropology for archaeologists*. New York, Pica Press.
- Hoernes M. 1903. Das Campignien, eine angebliche Stammform der neolithischen Kultur Westeuropas. — *Globus* 83: 139–144.
- Hoernes M. 1905. Die Hallstattperiode. — *Archiv für Anthropologie*, N. F., 3: 233–235.
- Holmes W. H. 1913. The relation of archaeology to ethnology. — *American Anthropologist*, vol. 15: 566–567.
- Honigsheim P. 1929. Die Wanderung, vom historisch-ethnologischen Standorte aus betrachtet. — *Verhandlungen d. 6. Deutschen Soziologentages*, Zürich 1928. Tübingen, Mohr: 127–147.
- Huffman T. N. 1970. The Early Iron Age and the Bantu. — *South African Archaeological Bulletin*, 25: 3–21.
- Hülle W. 1935. Vorwort zu: Kosssinna G. *Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft*, 7. Aufl.
- Jackson J. W. 1917. *Shells as evidence of the migrations of early culture*. Manchester, Manchester University Press.
- Jacob-Friesen K. H. 1928. *Grundlagen der Urgeschichtsforschung. Stand und Kritik der Forschung über Rassen, Völker und Kulturen in urgeschichtlichen Zeit*. Hannover.
- Jacob-Friesen K. H. 1951. *Vorgeschichte oder Urgeschichte?* — *Festschrift für Gustav Schwantes*. Neumünster: 1–3.
- Jahn M. 1916. *Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit*. Mannus-Bibliothek 14. Würzburg.

- Jahn M. 1941. Die deutsche Vorgeschichtsforschung in einer Sackgasse? — Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit 17: 73–82.
- Jahn M. 1952. Die Abgrenzung von Kulturgruppen und Völker in der Vorgeschichte. — Berichte über die Verhandlungen der Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Klasse. Berlin 99, 3: 1–27.
- Jahn M. 1956. Gab es in der vorgeschichtlichen Zeit bereits einen Handel? Berlin, Akad.-Verl.
- Jakimowicz R. 1929. Ochrona zabytków przedhistorycznych. — Wiadomości archeologiczne 10: 1–26.
- James E. O. 1957. Prehistoric religion. A study in prehistoric archaeology. New York.
- Kandert J. 1982. Poznámky k využití etnografických údajů v případě výkladu knovízských «hrobů». — Archeologické Rozhledy, 24 (1): 190–200.
- Kehoe A. B. 1959. Ceramic affiliations in the Northwestern plains. — American Antiquity, vol. 25, no. 2: 237–246.
- Kikebusch A. 1928. Siedlungsarchäologie. — Ebert M. (Hrsg.). Reallexikon der Vorgeschichte. Berlin, Walter de Gruyter. Bd. 12: 102–117.
- Kilian L. 1955. Haffküstenkultur und Ursprung der Balten. Bonn, Habelt.
- Kilian L. 1960. Zum Aussagewert von Fund- und Kulturprovinzen. — Swiatowit, XXIII: 41–85.
- Kivisild T., Rootsi S., Metspalu M. et al. 2003. The genetic heritage of the earliest settlers persists both in Indian tribal and caste populations. — American Journal of Human Genetics, 72: 313–332.
- Klejn L. S. 1974. Regressive Purifizierung und exemplarische Betrachtung. — EAZ, 15: 223–254.
- Klejn L. S. 1963. A brief validation of the migration hypothesis with the respect to the origin of the Catacomb culture. — Soviet Archeology and anthropology (New York), vol. I, no. 4: 27–36.
- Klejn L. S. 1964. Obecność (elementów południowo-wschodnich w późnoneolitycznych kulturach Małopolski. — Archeologia Polski, t. IX (2): 371 — 399.

- Klejn L. S. 1967. Zagadka grobów katakumbowych rozwiązana? — *Z otchłani wieków*, 4: 212–222.
- Klejn L. S. 1969. Die Donez-Kastakombenkeramik, eine Schnurkeramik der Becherkultur. — Behrens H. und Schlette F. (Hrsg.). *Die neolithischen Becherkulturen in Gebiet der DDR und ihre europäischen Beziehungen*. Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 24): 192–200.
- Klejn L. S. 1969: Zum Problem der Aussonderung und Gliederung des Streitaxtkulturkreises. In: H. Behrens u. F. Schlette (Hrsg.). *Die neolithischen Becherkulturen im Gebiet der DDR und ihre europäischen Beziehungen*. — Veröff. Landesmus. Halle (Berlin), 25: 143–148.
- Klejn L. S. 1970. On trade and culture process in prehistory. — *Current Anthropology* 11 (2): 169–171.
- Klejn L. S. 1971. Was ist eine archäologische Kultur? Zu einigen Begriffen der Archäologie im Lichte der Leninschen Widerspiegelungstheorie. — *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 12 (4): 321–345.
- Klejn L. S. 1972: Die Konzeption des „Neolithikums«, „Äneolithikums« und der „Bronzezeit« in der archäologischen Wissenschaft der Gegenwart. — *Neolithische Studien*, 1. Berlin, Akademie-Verl.: 7–30.
- Klejn L. S. 1973a. Marxism, the systemic approach, and archaeology. — Renfrew C. (ed.). *The explanation of culture change: Models in Prehistory*. Papers of the Sheffield Seminar (1971). London, Duckworth: 691–710.
- Klejn L. S. 1973b. On major aspects of the interrelationship of archaeology and ethnology: Comment on K. C. Chang. — *Current Anthropology* (Chicago), vol. 14, 1973, no. 3: 311–320.
- Klejn L. S. 1974a. Kossinna im Abstand von vierzig Jahren. — *Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte* (Halle), Bd. 58: 7–55.
- Klejn L. S. 1974b. Regressive Purifizierung und exemplarische Betrachtung. — *EAZ*, 15 (2): 223–254.
- Klejn L. S. 1976. Das Neolithikum Europas als ein Ganzes. — *Jahresbuch für mitteldeutsche Vorgeschichte*, Bd. 60: 9–22.
- Klejn L. S. 1977. A panorama of theoretical archaeology. — *Current Anthropology*, 18 (1): 1–42.

- Klejn L. S. 1981a. Ethnogenese als Kulturgeschichte archäologisch betrachtet. Neue Einstellung. — Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte (Coblenz-Festschrift. Beiheft 16 der Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege). Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Teil 1: 13–25.
- Klejn L. S. 1981b. Ethnos und Kultur im Symposium 1978 Erevan. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 1: 85–101.
- Klejn L. S. 1982. Archaeological Typology. Oxford (BAR [British Archaeological Reports] International Series. No. 153), 321 p. + Errata and corrigenda in a separate pamphlet, 8 p.
- Klejn L. S. 1984. The Coming of Aryans: Who and Whence? — Bull. of the Deccan College Research Institute (Puna), 43: 57–72.
- Klejn L. S. 1988. Arheološka tipologija. Ljubljana, Studia Humanitatis, 581 s. [Перев. книги 1982 г.]
- Klejn L. S. 1993. Is German archaeology atheoretical? Comments on Georg Kossack. Prehistoric archaeology in Germany: its history and current situation. — Norwegian Archaeological Review (Bergen), vol. 26, 1993, no. 1, p. 49–54.
- Klejn L. S. 1994. Prehistory and archaeology. — Kuna M. and Venclova N. (eds.). Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupny. Praha, Institute of archaeology: 36–42.
- Klejn L. S. 1996. History of archaeology before 1900. European achaeology. — Brian M. Fagan (ed.). The Oxford companion to archaeology. New York — Oxford, Oxford University Press, s. v. History of archaeology: 286–287.
- Klejn L. S. 1997. Das Phänomen der Sowjetischen Archäologie: Geschichte, Schulen, Protagonisten. Übersetzt von D. Schorkowitz unter Mitwirkung von W. Kulik. Berlin, Peter Lang (Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, bd. 6).
- Klejn L. S. 1998. Archaeologists and migrations: A problem of attitude? Comment on H. Härke. — Current Anthropology (Chicago), vol. 39, no. 1: 30–31.

- Klejn L. S. 1999. Gustaf Kossinna. — Murray T. (ed.). *Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists*. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio: 233–246.
- Klejn L. S. 2001. *Metaarchaeology (Acta Archaeologica, København, vol. 72:1, supplementa vol. III)*. Blackwell — Munksgaard, 149 p., 16 figs.
- Kluckhohn C. 1957. *Mirror for man*. New York, Fawcett.
- Knoke F. 1910. Carl Schuchhardt als römisch-germanischer Forscher. — *Mannus* II: 255–265.
- Kölmann W. 1976. Versuch des Entwurfs einer historisch-soziologischen Wanderungstheorie. — Engelhardt U. et al. (Hrsg.). *Soziale Bewegung und politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt*. Stuttgart, Ernst Klett: 260–269.
- Koppers W. 1951. Ethnologie und Prähistorie in ihrem Verhältnis zur Geschichtswissenschaft. — *Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, 88 (25): 399–417.
- Koppers W. 1953. Zusammenarbeit von Ethnologie und Prähistorie. — *Anzeiger der Österreichischer Akademie der Wissenschaften*, 90 (4): 67–72 (расширен. версия в: *Zeitschrift für Ethnologie*, 78: 1–16).
- Koppers W. 1957. Das Problem der Universalgeschichte im Lichte von Ethnologie und Prähistorie. — *Anthropos*, 52 (3–4): 369–389.
- Korell D. 1975. Bespr. von Klejn 1974. — *Mannus*, N. F., 41: 305–310.
- Korinek J. M. 1948. *Od indoevropského prajazyka k praslovančine*. Bratislava, Slov. Akd. Ved a umeni.
- Kossinna G. 1896. Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland. — *Zeitschrift des Vereins für Volkskunde*, Berlin, 6, 1: 1–14.
- Kossinna G. 1902: Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet. — *Zeitschrift für Ethnologie* 34: 161–202.
- Kossinna G. 1905. Die verzierten Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen. — *Zeitschrift für Ethnologie* 37: 369–407, 596–598.
- Kossinna G. 1909 — 1910. Der Ursprung der Urfinnen und Urindogermanen. — *Mannus*, I: 15–72, 225–245; II: 59–108.

- Kossinna G. 1910. Zum Homo Aurignacensis. — *Mannus* II: 169–173.
- Kossinna G. 1911. Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie (Mannus-Bibliothek, Nr. 6). Würzburg, Curt Kabitzsch.
- Kossinna G. 1911b. Zur ältesten Bronzezeit Mitteleuropas. — *Mannus* 3: 325–326.
- Kossinna G. 1912a. Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft. Würzburg, Kabitzsch (8. Aufl. 1941).
- Kossinna G. 1912b. Dr. Erich Blume †. — *Mannus* 4: 451–456.
- Kossinna G. 1913. Der Goldfund von Messingwerk bei Eberswalde und die goldenen Kultgefäße der Germanen. *Mannus-Bibliothek* 12. Würzburg, Kabitzsch.
- Kossinna G. 1914. Der «nordische» Körpertypus der Griechen und Römer. — *Deutsche Volkswart* (Leipzig) 1: 265–272.
- Kossinna G. 1919a. Die deutsche Ostmark, ein uralter Heimatboden der Germanen (*Monatsschrift für Oberschlesien* 17, H. 12).
- Kossinna G. 1919b. Die altgermanische Kulturhöhe. Ein Kriegsvortrag. — *Die Nornen* (Jena).
- Kossinna G. 1920. Das siegreiche Vordringen meiner wissenschaftlichen Anschauungen als Ergebnis meiner wissenschaftlichen Methode. — *Mannus* 11/12: 396–404.
- Kossinna G. 1921. Die Indogermanen. Ein Abriß. I. Das indogermanische Urvolk. Leipzig, Kabitzsch (*Mannus-Bibliothek* 26).
- Kossinna G. 1926–27. Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Teile 1–2. *Irmisul*, *Blätter für deutsche Art und Kunst* (2. Aufl. 1934. *Mannus-Bücherei* 6).
- Kossinna G. 1934, 1935. Die altgermanische Kulturhöhe. Eine Einführung in die deutsche Vor- und Frühgeschichte. 3. Aufl. Würzburg, Kabitzsch (5. Aufl. 1935, 7. Aufl. 1939).
- Kossinna G. 1940. Das Weichselland ein uralter Heimatboden der Germanen. 3. verarb. Aufl. Würzburg, Kabitzsch.
- Kostrzewski J. 1914. *Wielkopolska w czasach przedhistorycznych*. Poznań, Niemierkiewicz.

- Kostrzewski J. 1918. Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit. 2 Bde. Mannus-Bibliothek 18 und 19. Leipzig — Würzburg.
- Kostrzewski J. 1927. O prawach naszych do Śląska w świetle pradziejów tej dzielnicy. — *Z otchłani wieków* 2: 1–9.
- Kostrzewski J. 1930. Vorgeschichtsforschung und Politik. Eine Antwort auf die Schrift von Dr. Bolko von Richthofen «Gehört Ostdeutschland zur Urheimat der Polen?». Poznań, Jakowski.
- Kostrzewski J. 1936. The prehistory of Polish Pomerania. Toruń, The Baltick Pocket Library.
- Kostrzewski J. 1946. Prakolebka Słowian w świetle badań paleobotanicznych. — *Przegląd Archeologiczny*, VII: 98–102.
- Kostrzewski J. 1958. Kultura łużycka na Pomorzu. Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Kostrzewski J. 1961. Zagadnienie ciągłości ziem polskich w pradziejach. Poznań, Polskie wydawnictwo przyjaciół nauk, Prace komisji archeol., T. 10, z. 3: 219–360 (нем. изд. Wrocław 1965).
- Kostrzewski J. 1964. W walce y szowinizmem. — *Z otchłani wieków* 30, 4: 213.
- Kramer C. (ed.). 1979. Ethnoarchaeology: implications of ethnography for archaeology. New York, Columbia University Press.
- Kristiansen K. (ed.). 1985. Archaeological formation processes: the representativity of archaeological remains of Danish prehistory. Copenhagen, Nationalmuseets Forlaget.
- Kristiansen K. 1978. The application of source-criticism to archaeology. — *Norwegian Archaeological Review*, vol. 11 (1): 1–5.
- Kristiansen K. 1991. Prehistoric migrations — the case of the Single Grave and Corded Ware cultures. — *Journal of Danish Archaeology*, vol. 8 (1989): 211–225.
- Krüger B. 1966. Zur Ethnogenese der Germanen und zu Problemen der Germanenforschung. — *Deutsche Historische Gesellschaft*. 4. Tag. Berlin, DHG: 9–19.
- Kulischer E. und A. 1932. *Kriegs- und Wanderzüge*. Berlin — Leipzig, De Gruyter.

- Kurth G. 1963. Der Wanderungsbegriff in Prähistorie und Kulturgeschichte unter paläodemographischen und bevölkerungsbiologischen Gesichtspunkten. — *Alt-Thüringen*, Bd. 6. Weimar, 1–21.
- Lapouge, G. Vacher de. 1899. *L'Arien, son rôle social*. Paris, Fontemoing.
- Le Vine R. A. and Campbell D. T. 1972. *Ethnocentrism: Theories of conflict. Ethnic attitude and group behavior*. New York, New York, Chichester, Willey.
- Lee E. S. 1966. A theory of migration. — *Demography*, 3: 47–57.
- Lehr-Spławiński T. 1946. *O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian*. Poznań, Instytut Zachodni.
- Lehr-Spławiński T. 1954a. Powstanie, rozrost i rozpad wspólnoty prasłowiańskiej. — — Lehr-Spławinski T. *Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian*. Warszawa, Pax.
- Lehr-Spławiński T. 1954b. Znaczenie badań sławistycznych dla kultury i życia polskiego. — Lehr-Spławinski T. *Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian*. Warszawa, Pax.
- Leroi-Gourhan A. 1964. *Les religions de la préhistoire*. Paris, Presses Universitaires de France .
- Leroi-Gourhan A. 1965. *Préhistoire de l'art occidental*. Paris, Presses Universitaires de France.
- Lewis-Williams J. D. 1998. Wrestling with analogy. A methodological dilemma in Upper Palaeolithic art research. — Whitley D. S. (ed.). *reader in archaeological theory. Post-Processual and cognitive approaches*. Routledge, London: 157–175.
- Livingston F. B. 1964. Human populations. — Tax S. (ed.). *Horizons of anthropology*. Chicago, Aldine Publ. Co.: 60–70.
- Lowie R. H. 1920. *Primitive society*. New York, Boni and Liveright.
- MacCurdy G. C. 1924. *Human origins: a manual of prehistory*, Vol. 1. New York, Johnson.
- Majewski E. 1905. Hipoteza Kossiny o germańskim pochodzeniu indoeuropejczyków a prawda w nauce. *Studium krytyczne*. — *Światowit* 6: 89–144.

- Malmer M. 1962. Jungneolithische Studien. Bonn, Habelt — Lund, Gleerup.
- Mandera H. E. 1957. Besprechung K. Struve. — *Germania*, Jg. 35, H. ½: 128–131.
- Mathiassen Th. 1948. Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse. København, Natinalmuseet.
- McGregor J. C. 1943. Burial of an Early American magician. — *Proceedings of the American Philosophical Society*, 82 (2): 270–298.
- Mellaart J. 1966. The Chalkolithic and Early bronze age in the Near East and Anatolia. Beirut, Khayats.
- Meyer E. 1899. Forschungen zur alten Geschichte. Bd. II. Halle, M. Niemeyer.
- Meyer E. 1907. Geschichte des Altertums. 2. Aufl. Bd. II. Stuttgart — Berlin, J. G. Gotta.
- Mildenberger G. 1953. Studien zum mitteldeutschen Neolithikum. Leipzig, Bibliograph. Inst.
- Milojčić V. 1949: Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas. Berlin.
- Moberg C. A. 1969. Introduktion till arkeologi. Stockholm, Natur och Kultur.
- Montelius O. 1888. Über die Einwanderung unserer Vorfahren in den Norden. — *Archiv für Anthropologie*, Bd. 17: 151–160 (перев. со швед. изд. 1885 г.).
- Mortensen M. 1992. Migration as a process. — *Universitets Oldsak Skrifter*, 14: 155–166.
- Moszyński K. 1957. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego (Prace językoznawcze PAN 16. Wrocław — Kraków).
- Moszyński K. 1929–1934. Kultura ludowa Słowian, cz. I–II. Krakow, Polska Akademia Umiejętności.
- Moszyński K. 1957. Uwarstwienie socjalne prasłowian. — *Slovenskij Narodopis*, V: 261–191.
- Mozsolics A. 1953. Mors en bois de cerf sur le territoire du Bassin des Carpatés. — *Acta Archaeologica Hungarica*, III (1–4): 69–111.

- Much M. 1901. Die Heimat der Indogermanen im Lichte der vorgeschichtlichen Forschung. Jena, Costenoble (2. Aufl. 1904).
- Müller-Karpe H. 1969. Handbuch der Vorgeschichte, Bd. II. Neolithikum. München, C. H. Beck.
- Myhre M. and Myhre B. 1972. The concept «Immigrations» in archaeological contexts illustrated by example from West Norwegian Early Iron Age. — Norwegian Archaeological Review, v. 5, no. 1: 45–70.
- Myres J. L. 1924. Neolithic and Bronze Age cultures. — САH, v. 1, 2d. ed.
- Neustupny E. 1969. Economy of the Corded Ware cultures. — Archeologicke Rozledy, XXI: 43 —68.
- Neustupny E. 1981. Mobilität der Äneolithischen Populationen. — Slovenska archeologia, XXIX-1: 111–119.
- Neustupny E. 1982. Prehistoric migrations by infiltration. — Archeologické Rozhledy, 34: 278–293.
- Niemeyer H. G. 1968. Einführung in die Archäologie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Olausson D. 1988. Dots on a map. — Trade and exchange in prehistory: Studies in honour of Berta Stjernquist (Acta Archaeologica Lundensia, ser. n 80, No. 16). Lund: 15–24.
- Oldeberg A. 1952. Studien über die schwedische Bootaxtkultur. Stockholm, Wahlström & Widstrand.
- Orme B. 1973. Archaeology and ethnography. — Renfrew C. (ed.). The explanation of culture change: Models in prehistory. London, Methuen: 481–492.
- Orme B. 1974. Twentieth-century prehistorians and the idea of ethnographic parallels. — Man, 9 (2): 199–212.
- Orme B. 1981. Anthropology for archaeologists: An introduction. Ithaca, New York, Cornell University Press.
- O'Shea J. 1984. Mortary variability: An archaeological investigation. New York and London, Academic Press.
- Ostlandberichte 1928, 4.
- Oswait W. H. 1974. Ethnoarchaeology. — Donnan and Clewlow: 3–14.

- Ott M. 1993. Upper Palaeolithic relations between Central and Eastern Europe. — Chapman J. and Dolukhanov P. (eds.). Cultural transformations and interactions in Eastern Europe. Avebury, Ashgate Publ.: 56–64.
- Otto K. H. 1953. Archäologische Kulturen und die Erforschung der konkretern Geschichte von Stämmen und Völkerschaften. — Ethnographisch-Archäologische Forschungen 1: 1–27.
- Otto K. H. 1954. Über den Standort der Archäologie in der deutschen Ur- und Frühgeschichtsforschung. — Forschungen und Fortschritte 28: 339–341.
- Otto K.-H. 1960. Deutschland in der Epoche der Urgesellschaft. Berlin, Dt. Verl. der Wissenschaften.
- Palmer L. R. 1961. Mycenaeans and Minoans. London, Faber and Faber.
- Pearson R. 1966. Early civilisations of the Nordic peoples. London, Clair Press.
- Penk A. 1936. Völkerbewegungen und Völkerwanderungen. — Forschungen und Fortschritte, Bd. 12: 274–275.
- Phillips P. and Willey G. R. 1953. Method and Theory in American archaeology: an operational basis for culture-historical Integration. American Anthropologist, vol. 55, 615-633.
- Piggott S. 1961. The British Neolithic cultures in their continental setting. — Böhm Ja. (red.). L'Europe a la fin de l'âge de la pierre. Praha, ed. de l'Academie tchecoslovaque des sciences : 557 — 574.
- Pisani V. 1947. Linguistica generale e indoeuropea: saggi e discorsi. Milano, Libreria ed. Scientifica-universitaria.
- Pittioni R. 1961a. [Diskussionsbeitrag zum Vortrag von J. Haeckel]. — Breiting E. et al. (Hrsg.). Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen. Horn, F. Berger: 226–227.
- Pittioni R. 1961b. Über die Zusammenarbeit der «anthropologischen Disziplinen» vom Standpunkt der Urgeschichte. — Breiting E. et al. (Hrsg.). Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen. Horn, F. Berger: 10–30, Disk. 31–36.
- Pitt-Rivers A. 1906. The evolution of culture and other essays. Oxford, Clarendon Press.

- Potratz J. A. H. 1941. Die Pferdegebisse des Zwischenstromländischen Raumes. — Archiv für Orientalforschung (Berlin), Bd. XIV, H. 1/2: 1–39.
- Preidel H. 1928. Grundsätzliches zur Erschließung urgeschichtlicher Wanderungen. — Kossinna-Festschrift (Mannus, 6. Ergänz. Bd.): 278–283.
- Preidel H. 1954. Die Anfänge der slawischen Besiedlung Böhmens und Mährens. Bd. I. Gräfelting bei München, Gans.
- Prinke A. 1973. Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w archeologii. — Etnografia Polska, XVII (1): 41–66.
- Ratzel F. 1882–1892. Anthropogeographie. 2 Bde. Stuttgart, Engelhorn.
- Ratzel F. 1912. Anthropogeographie, 2. Teil, 2. Auflage. Stuttgart, J. Engelholm (orig. 1882–91).
- Ravenstein E. G. 1885, 1889. The laws of migration. — Journal of the Royal Statistical Society, 48: 167–227; 52: 241–301.
- Redfield R. 1961. Ethnic relations, primitive and civilised. — Masuoka J. and Valien P. (eds.). Race relations: Problems and theory. Essays in honour of Robert Park. New York, Chapel Hill, University of North Carolina Press (reprinted: Papers of Robert Redfield. Vol. 2. The social uses of social science. Chicago, Chicago University Press: 156–163).
- Reinecke P. 1902. Neolithische Streitfragen. Ein Beitrag zur Methodik der Prähistorie. — Zeitschrift für Ethnologie 34 223–272.
- Reinecke P. 1906. Aus der russischen archäologischen Literatur. — Mainzer Zeitschrift 24–25: 58.
- Renfrew C. 1967. Colonialism and megalitism. — Antiquity, vol. 41: 276–288.
- Renfrew C. 1969. Trade and culture process in European prehistory. — Current Anthropology, 10 (2–3): 151–169.
- Renfrew C. 1972. The Emergence of civilization. London, Methuen.
- Renfrew C. 1973. Problems in the general correlation of archaeological and linguistic strata in prehistoric Greece: the model of autochthonous origin. — Crossland R. A. and Birchall A. (eds.). Bronze Age migrations in the Aegean. London, Duckworth — Totowa, New Jersey: 263–276.

- Richthofen B. von. 1923. Gehört Ostdeutschland zur Urheimat der Polen? Kritik der vorgeschichtlichen Forschungsmethoden an der Universität Posen. Danzig, W. F. Bureau (2. Aufl. 1929).
- Richthofen B.von. 1929a. Ist Posen urpolnisches Land? Deutsche Blätter in Polen 2, H. 9.
- Richthofen B.von. 1929b. Vorgeschichtsforschung und Politik. Ein Wort der Erwiderung an Museumsdirektor Universitätsprofessor Dr. J. Kostrzewski. — Die Provinz Oberschlesien 4, Nr. 45.
- Robert C. 1893. Onoi phlinoi. — Ejhmeriv Arcaialogikh, 3 (1892): 247–256.
- Roosens E. E. 1989. Creating ethnicity. The process of ethnogenesis (Frontiers of anthropology. Vol. 5). Newnury Park — London — New Delhi.
- Rouse I. 1954: On the use of the concept of area co-tradition. — Amer. Antiquity 19, No. 3: 221–225.
- Rouse I. 1958. The inference of migrations from anthropological evidence. — Thomson R. H. (ed.). Migrations in New World culture history. Tucson, Ariz.: Arizona University Press.
- Rouse I. 1972. Introduction to prehistory. A systematic approach. New York et al., McGraw — Hill.
- Rouse I. B. 1958. The inference of migrations from anthropological evidence. — Thompson R. H. (ed.). Migrations in New World culture history. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): 63–68.
- Rouse I. B. 1972. Introduction to prehistory: a systematic approach. New York et al., McGraw-Hill.
- Rouse I. B. 1986. Migrations in prehistory. Inferring population movement from cultural remains. New Haven and London, Yale University Press (repr. 1989).
- Ruiz Zapatero G. 1983. Modelos teóricos de invasiones/migraciones en arqueología prehistórica. — Tutormació Arqueologica, 41: 147–157.
- Schiffer M. B. 1972. Archaeological context and systemic context. — American Antiquity, 37: 156–165.
- Schiffer M. B. 1976. Behavioral archaeology. New York et al., Academic Press.

- Schiffer M. B. 1987. Formation processes of the archaeological record. Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Schlette F. 1971. Das Neolithikum als historische Erscheinung. — Evolution und Revolution im Alten Orient und in Europa, Berlin, Akademie-Verl.: 9–22.
- Schlette F. 1977. Zum Problem ur- und frühgeschichtlicher Wanderungen und ihres archäologischen Nachweises. — Horst F. (Hrsg.). (Titelhrsg. Herrmann J.). Archäologie als Geschichtswissenschaft. Studien und Untersuchungen. (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 30. Festschrift K.-H. Otto). Berlin, Akademie-Verlag: 57–66.
- Schöpf H. 1988. Fabeltiere. Wiesbaden, VMA-Verlag.
- Schrader O. 1906–1907. Sprachvergleichung und Urgeschichte. 3. Aufl., Bd. I–II. Jena, Costenoble (Nachdruck: Hildesheim, Olms, 1980).
- Schrader O. 1911. Die Indogermanen. Leipzig, Quelle und Meyer (3. verb. Aufl. 1919; русск. перев. Индоевропейцы. М, 1913).
- Schuchardt C. 1912. Alteuropa in seiner Stil- und Kulturentwicklung. Straßburg, Trübner.
- Schuchardt C. 1889. Schliemann's Ausgrabungen in Troja, Tiryns, Mykenä, Orchomenos, Ithaka im Lichte der heitigen Wissenschaft. Leipzig, Brockhaus.
- Schuchardt C. 1909. Die Römerschanze bei Potsdam nach den Ausgrabungen von 1908 und 1909. — Prähistorische Zeitschrift 1: 209–238.
- Schuchardt C. 1913. Besprechung von G. Kossinna «Der germanische Goldfund...» — Prähistorische Zeitschrift 5: 585–587.
- Schuchardt C. 1914. Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde. Berlin, Verlag für Kunstwissenschaft.
- Schuchardt C. 1919. Alteuropa in seiner Kultur- und Stilentwicklung. Straßburg — Berlin, Trübner.
- Schuchardt C. 1926. Alteuropa. 2. Aufl. Berlin — Leipzig, De Gruyter.
- Schuchardt C. 1926. Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils. 2. Aufl. Berlin — Leipzig, Walter de Gruyter.

- Schuchhardt C. 1928. Vorgeschichte von Deutschland. München (2. Aufl. 1934 München — Berlin), Oldenbourg.
- Schwerin von Krosigk H. 1982. Gustav Kossinna: Der Nachlass — Versuch einer Analyse. Neumünster, Karl Wachholtz.
- Seger H. 1931. Gustaf Kossinna. — *Prähistorische Zeitschrift*, Bd. 22: 293–295.
- Sellnow I. 1977. Ethnographisches zum Problem der Ethnogenese. — Herrmann J. (Hrsg.). *Archäologie als Geschichtswissenschaft: Studien und Untersuchungen*. KarlßHeiny Otto yum 60. Geburtstag. Berlin, Akademie-Verlag: 45–60.
- Sengupta S., Zhivotovsky L. A., King R. et al. 2006. Polarity and temporality of high-resolution y-chromosome distributions in India identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian pastoralists. — *American Journal of Human Genetics*, 78: 202–221.
- Service E. R. 1964. Archaeological theory and ethnological fact. — Manners R. (ed.). *Process and pattern in culture: Essays in honor of Julian H. Steward*. Chicago, Aldine Publ. Co.: 364–375.
- Service E. R. 1971. Our contemporary ancestors: extant stages and extinct ages. — Service E. R. (ed.). *Cultural evolutionism: theory in practice*. New York, Holt: 151–157.
- Shennan S. (ed.). 1988. *Archaeological approaches to cultural identity*. London, Routledge.
- Shilov V. P. 1989. The origins of migration and animal husbandry in the steppes of Eastern Europe. — Clutton-Brock J. (ed.). *The walking larder: patterns of domestication, patorialism and predation*. London, Unwinn Hyman: 119–125.
- Sieglin W. 1902. *Ethnologische Eindrücke aus Italien und Griechenland — Verhandlungen des sechsendvierzigsten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Strassburg (Elsass), 1901*. Leipzig, Teubner: 121–122.
- Sieglin W. 1935. *Die blonden Haare der indogermanischen Völker des Altertums*. München, J. F. Lehmann's Verl.

- Skjølsvold A. 1981. I hvilken utstrekning kan arkeologisk materiale kaste lys over folkefortytninger i Nordens forhistorie (To what extent can archaeological material provide information concerning prehistoric migrations in the Nordic area). — UO Erbok 1980–81: 145–157.
- Sklenarž K. 1975. Palaeolithic and mesolithic dwellings: problems of interpretation. — Pamatky Archeologické, LXVI (2): 266–304.
- Smith G. E. 1929. The migrations of early culture. Manchester, Publications of the University of Manchester (Ethnological Ser., no. 1).
- Smith H. I. 1899. The ethnological arrangement of archaeological material. — Report of the Museum Association of the United Kingdom for 1898. Glasgow and Edinburgh, W. Hodge.
- Smith M. A. 1955. The limitations of inference in archaeology. — The Archaeological Newsletter, 6: 1–7.
- Smolla G. 1960. Neolithische Kulurerscheinungen. Bonn, Habelt.
- Smolla G. 1964. Analogien und Polaritäten. — Uslar R. v. und Narr K. J. (Hrsg.). Studien aus Alteuropa (Beih. d. Bonner Jahrbücher, 10/1): 30–35.
- Smolla G. 1964. Analogien und Polaritäten. — Uslar R. V. Und K. J. Narr (Hrsg.). Studien aus Alt-Europa. Bd. 1. Beihefte der Bonner Jahrbücher 10/1. Köln, Böhlau: 30–35.
- Smolla G. 1980. Das Kossinna-Syndrom. — Fundberichte aus Hessen, 19/20 (Wiesbaden, Jg. 1979/80): 1–9.
- Smolla G. 1984. Kossinna nach 50 Jahren. Kein Nachruf. — Acta Prähistorica et Archaeologica, 16/17 (Berlin, 1984/85): 9–14.
- Smolla G. 1990. Analogien und ihre Grenzen. — Saeculum (Freiburg i. Br.), 41 (3/4): 326–331.
- Soffer O. 1993. Migrations vs interaction in Upper Palaeolithic Europe. — Chapman J. and Dolukhanov P. (eds.). Cultural transformations and interactions in Eastern Europe. Avebury, Ashgate Publ.: 65–70.
- Sollas W. J. 1909. Ancient hunters and their modern representatives. — Science Progress, III: 326–353, 500–533, 667–686.
- Sollas W. J. 1911. Ancient hunters. London, Macmillan (3d ed. 1924).

- Sørheim H. 1988. Synkrone og diakrone analogier i arkeologisk teoridannelse. — Universitets Oldsaksamling Årbok 1980/1981. Oslo, 1981: 169–177.
- Sorre M. 1954. Les migrations des peuples. Paris, Flammarion.
- Soudský B. 1973. Higher level archaeological entities: Models and reality. C. Renfrew (ed.). The explanation of culture change: models in prehistory. London, Duckworth: 195–207.
- Spaulding A. S. 1960. The dimensions of archeology. — Dole E. and Carneiro R. L. (eds.). Essays in the science of culture in honour of Leslie A. White. New York, Thomas Y. Crowell: 437–456.
- Stampfuß R. 1935. Gustaf Kossinna. Ein Leben für die deutsche Vorgeschichte. Leipzig, Kabitzsch.
- Stampfuß R. 1937. Besprechung der Clemen-Festschrift. — Mannus 29: 453–454.
- Stampfuß R. 1942. Germanen in der Ukraine. — Germanen-Erbe, 7: 131–135.
- Steward J. H. 1942. The Direct Historical Approach to archaeology. — American Antiquity, vol. 7: 337–343.
- Stiles D. 1977. Ethnoarchaeology: a discussion of methods and applications. — Man, vol. 12 (1): 87–103.
- Stodiek U. 1993. Zur Bedeutung des ethnologisch-prähistorischen Vergleichs bei der Rekonstruktion jungpaläolithischer Speerschleudern und Speere. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 34 (2): 200–212.
- Stratum plus 1999, 4
- Strong W. D. 1936. Anthropological theory and archaeological fact. — Lowie R. H. (ed.). Essays in anthropology presented to A. L. Kroeber. Berkeley, University of California Press: 359–370.
- Struve K. W. 1955. Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen Beziehungen. Neumünster, Wachholtz.
- Studien zur Ethnogenese (Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wiss., Bd. 72). Opladen, Westdeutscher Verlag.

- Sulimirski T. 1933. Die schnurkeramischen Kulturen and das indoeuropäische Problem. — La Pologne au VIIe Congrès International de Sciences historiques. Varsovie, v. 1. Varsovie: 287–308.
- Tabaczyński St. 1972. Gesellschaftsordnung und Gütertausch im Neolithikum Mitteleuropas. Neolithische Studien 1. Berlin, Akad.-Verl.: 31–96.
- Taylor W. 1948. A study of archaeology (Memoir No. 69, American Anthropologist 50, 3, part 2).
- Thompson R. F. 1956. The subjective element in human culture. — Proceedings of the Prehistoric Society, 5: 209–221.
- Thompson R. H. 1958. Preface. — Thompson R. H. (ed.). Migrations in New World culture history. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): V–VII.
- Tischler F. 1948. Die menschliche Beharrungstendenz und die urgeschichtlichen Völkerwanderungen in ihren Beziehung zur Umwelt. — Forschungen und Fortschritte, Bd. 24: 28–32.
- Tischler O. 1886–1890. Ostpreußische Gräberhügel I–III. — Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, 27: 113–178; 29: 106–135.
- Trigger B. 1989. A history of archaeological thinking. Cambridge, Cambridge University Press.
- Trigger B. G. 1968. Beyond history: the methods of prehistory. New York, Holt, Rinehart & Winston.
- Trigger B. G. 1970. Aims in prehistoric archaeology. — Antiquity, vol. XLIV, no. 173: 26–37.
- Tylor E. 1893. On the Tasmanians as representatives of Palaeolithic man. — Journal of the Royal Anthropological Institute, 23: 141–152.
- Tymieniecki K. 1952. Migracje w Europie środkowo-wschodniej i wschodniej w starożytności. — Slavia Antiqua, t. III. Poznań: 1–51.
- Typen der Ethnogenese 1990. = Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bazern, Wien, Verl. der Österreich, Akademie der Wiss. Teil 1 (Hrsg.: Wolfram H. u. Pohl W.), Teil 2 (Hrsg.: Friesinger H. u. Daim F.).

- Ucko P. J. 1969. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. — *World Archaeology*, I: 262–277.
- Underhill P. A., Myres N. M., Rootsi S. et al. 2009. Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a. — *European Journal of Human Genetics*: 1–6.
- Vasmer M. 1913. Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. — *Rocznik Slavistyczny*, VI: 172–210.
- Veit U. 1984. Gustaf Kossinna und V. Gordon Childe. Ansätze zu einer theoretischen Grundlegung der Vorgeschichte. — *Saeculum*, 35: 326–364.
- Veit U. 1993. Europäische Urgeschichte und ethnographische Vergleiche: eine Positionsbestimmung. — *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 135–143.
- Veit U. 2000. Gustaf Kosinna and his concept of national archaeology. — Härke H. (ed.). *Archaeology, ideology and society. The German experience*. Frankfurt a. M., Peter Lang: 40–59.
- Virchow R. 1884. Über ostdeutsche prähistorische Altertümer. — *Korrespondenzblatt der Deutscher Anthropologischen Gesellschaft* 15 (9): 65–75.
- Virchow R. 1886. Eröffnungsrede des Vorsitzenden. — *Korrespondenzblatt der Deutscher Anthropologischen Gesellschaft* 17 (9): 67–80.
- Virchow R. 1897. Eröffnungsrede. — *Korrespondenzblatt der Deutscher Anthropologischen Gesellschaft* 28 (9): 67–75.
- Virchow R. 1900a. Die armenische Expedition Belck — Lehmann. — *Zeitschrift für Ethnologie*, 31, H. VI: 579–586.
- Virchow R. 1900b. Verwaltungs-Bericht für das Jahr 1900. — *Zeitschrift für Ethnologie*, 31 (9): 578–580.
- Vogt E. 1947. Zum Problem des urgeschichtlich-völkerkundlichen Vergleichs. — Drack W. und Fischer P. (Hrsg.). *Beiträge zur Kulturgeschichte. Festschrift für Reinhold Bosch*. Aarau, H.Sauerländer: 44–47.
- Vossen R. 1969. Archäologische Interpretation und ethnographischer Befund: Eine Analyse anhand rezenter Keramik des westlichen Amazonenbeckens (Hamburger Reihe zur Kultur- und Sprachwissenschaft, Bd. 1–2). Hamburg.

- Wace A. J. B. 1960. A Mycenaean mystery. — *Archaeology*, vol. 13 (1): 40–43.
- Wace A. J. B. and Blegen C. W. 1939. Pottery as evidence for trade and colonization. — *Klio*, 32: 131–147.
- Wahle E. 1941/1952. Zur ethnischen Deutung frühgeschichtlicher Kulturprovinzen. Grenzen der frühgeschichtlichen Erkenntnis. I. Heidelberg. — *Sitzungsberichte Heidelberger Akademie der Wiss., Phil.-hist. Kl.* 1940/41, 2 (2. Aufl. 1952).
- Wahle E. 1950/51. Geschichte der prähistorischen Forschung. — *Anthropos (Freiburg)* 55, 1950: 497–538, 1951: 49–112.
- Wahle E. 1964. Tradition und Auftrag prähistorischer Forschung. Ausgewählte Abhandlungen. Berlin, Duncker & Humblot.
- Washburn S. L. 1953. The strategy of physical anthropology. — Kroeber A. L. (ed.). *Anthropology today*. Chicago, Chicago University Press: 714–727.
- Watson P. J. (ed.). 1979. *Archaeological ethnography in Western Iran*. Tucson, Viking Fund Publications in Anthropology, 57.
- Watson P. J., LeBlanc S. A. and Redman Ch. L. 1971. *Explanation in archeology: An explicitly scientific approach*. New York and London, Columbia University Press.
- Weinberg S. S. 1947. Aegean chronology: Neolithic Period and Early Bronze Age. — *Journal of Archaeol.*, 51: 165–182.
- Wells P. S. 1987. Review of I. Rouse. — *American Archaeological Journal*, vol. 91: 332–333.
- Werner J. 1950. Zur Entstehung der Reihengräberzivilisation. Ein Beitrag zur Methode der frühgeschichtlichen Archäologie. — *Archaeologia Geographica* 1: 23–32.
- Werner J. 1954. Neue Wege vorgeschichtlicher Methodik? — *Forschungen und Fortschritte* 28: 246–248.
- Westphal-Hellbusch S. 1969. Hundert Jahre Ethnologie in Berlin, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung an der Universität. — *Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1869–1969. Teil 1*. Berlin: 157–183.

- Wheeler M. 1952. Archaeology and the transmission of ideas. — *Antiquity*, vol. XXVI, no. 104: 180–192.
- Willey G. 1953a. A pattern of diffusion — acculturation. — *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 1IX: 369–384.
- Willey G. R. 1953b. Inference and analogy in archaeology. — Tax S. et al. (eds.). *An appraisal of anthropology today*. Chicago, University of Chicago Press: 251–254.
- Willey G. R. et al. 1956. An archaeological classification of culture contact situations (Seminars in archaeology 1955: *Memoirs of the Society for American Archaeology*. Vol. XXVII, no. 2, pt. 2. Salt Lake City).
- Wobst H. M. 1978. The archaeo-ethnology of hunters-gatherers or the tyranny of the ethnographic record in archaeology. — *American Antiquity*, 43: 303–309.
- Wolągiewicz R. 1986. Die Goten im Bereich der Wielbark-Kultur. — *Peregrinatio Gothica, Białe Błota 1984 (Archaeologia Baltica, VII)*. Łódź, Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego: 63–98.
- Wolfram S. 2000. 'Vorsprung durch Technik' or 'Kossinna syndrome'? Archaeological theory and social context in post-war West Germany. — Härke H. (ed.). *Archaeology, ideology and society. The German experience*. Frankfurt a. M. et al., Peter Lang: 180–201.
- Woodall N. L. 1972. *An introduction to modern archaeology*. Cambridge, Mass., Schenkman.
- Wotzka H.-P. 1993. Zur Tradition der Keramikdeponierung im äquatorialen Regenwald Zaïres: ein Bekenntnis zur allgemein-vergleichenden Analogie. — *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 251–283.
- Wylie A. 1982. An analogy by any other name is just analogy: A commentary on the Gould — Watson debate. — *Journal of Anthropological Archaeology*, 1: 382–401.
- Wylie A. 1985. The reaction against analogy. — Schiffer M. A. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, vol. 3. New York et al., Academic Press: 63–111.
- Yellen J. E. 1977. *Archaeological approaches to the present: models for reconstructing the past*. New York, Academic Press.

- Zamojski J. E. 1995. Migracje masowe — czynnik przemian społeczeństw współczesnych. — *Migracje i społeczeństwo: zbiór studiów*. Warszawa, Neriton.
- Zeiß H. 1930. Zur ethnischen Deutung frühmittelalterlicher Funde. — *Germania* 14: 14–24.
- Zeiß H. 1931. Aktuelle Probleme der frühmittelalterlichen Archäologie. — *Prähistorische Zeitschrift* 22: 240–242.
- Zelenin D. 1927. Ostlavische (russische) Volkskunde. Berlin, W. De Gruyter.
- Ziegert H. 1964. Archäologie und Ethnologie: Zur Zusammenarbeit zweier Wissenschaften. — *Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte*, 4: 102–149.
- Zylmann P. Karl-Hermann Jacob-Friesen. Leben und Werk. — *Zur Ur- und Frühgeschichte Nordwestdeutschlands* (hrsg. von P. Zylmann). Hildesheim: 1–20.
- Абаев В. И. 1972. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов. — *Древний Восток и античный мир*. Москва, изд. МГУ: 26–37.
- Авдусин Д. А. 1953. Неонорманистские измышления буржуазных историков. — *Вопросы истории* 12: 114–120.
- Авербух М. С. 1970. Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. Опыт историко-демографического исследования. Москва, Наука.
- Агаев А. Г. 1967. Нация, ее сущность и самосознание. — *Вопросы истории*, 7: 87–105.
- Агаев А. Г. 1968. Функция языка как этнического признака. — *Язык и общество*. Москва, Наука: 124–138.
- Алексеев В. П. 1979. Историческая антропология и этногенез. Москва, Высшая Школа (2-е изд. 1989).
- Алексеев В. П. 1986. Этногенез. Москва, Высшая Школа.
- Алексеева Т. И. 1956. Антропологический состав населения Волго-Окского бассейна. *Тр. ИЭ, нов. серия*, 33: 37–72.

- Амброз А. К. 1969. Рецензия на книгу Гахмана и др. «Народы между германцами и кельтами». — СА 4: 266–272.
- Арский И. В. 1941. Вопрос о формировании национальностей в Западной Европе. — Ученые записки ЛГУ, сер. истор., вып. 12: 101–125.
- Артамонов М. И. 1947. Археологические теории происхождения индоевропейцев в свете учения Н. Я. Марра. — Вестник Ленинградского университета, 2: 79–106.
- Артамонов М. И. 1947. Вопросы истории скифов в советской науке. — Вестник Древней истории, 3: 68–82.
- Артамонов М. И. 1949а. К вопросу об этногенезе в советской археологии. — Краткие сообщения ИИМК, 29: 3–16.
- Артамонов М. И. 1949б. Этногеография Скифии. — Ученые записки Ленинград. Гос. ун-та, 85 (серия истор. наук), 13: 129–171.
- Артамонов М. И. 1967. Вопросы расселения восточных славян и советская археология. — Проблемы всеобщей истории. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 29–69.
- Артамонов М. И. 1969. Этнос и археология. — Теоретические основы советской археологии. Ленинград (Институт археологии АН ССР, Ленинградское отделение): 3–6.
- Артамонов М. И. 1971. Археологическая культура и этнос. — Проблемы истории феодальной России. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 16–32.
- Артамонов М. И. 1971. Снова «герои» и «толпа». — Природа, 2: 75–77.
- Артановский А. С. 1968. О сравнительно-историческом и структурном методе в этнографии. — Методологические вопросы общественных наук. Вып. 1. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 214–234.
- Арутюнов С. А. 1980. К проблемам этничности и интерэтничности культуры. — Советская Этнография, 3: 61–67.
- Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н. 1972. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества. — «Расы и народы», 2, М.: 8–30.

- Арутюнян С. М. Нация и ее психический склад. — Труды Краснодарского пед. института. Краснодар, вып 53.
- Арциховский А. В. 1946. Культурное единство славян в средние века. — СЭ, 1: 84–90;
- Арциховский А. В. 1929. Новые методы археологии. — Историк-марксист, 14: 136–155.
- Бадер О. Н. 1972. О древнейших финно-уграх на Урале и древних финнах между Уралом и Балтикой. — Проблемы археологии и древней истории угров. Москва, Наука: 10–31.
- Балановская Е. В., Балановский О. П. 2007. Русский генофонд на Русской равнине. Москва, Луч.
- Бауэр О. 1909. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб, Пушкинская скоропечатня.
- Башилов В. А. 1969: Принципы построения относительной хронологии в американской археологии. — Сов. Арх. I: 281–288.
- Белков П. Л. 1993. О методе построения теории этноса. — Этносы и этнические процессы. Памяти Р. Ф. Итса. Москва, Восточная литература: 48–61.
- Белявский В. А. 1967. Этнос в древнем мире. — Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР (Ленинград), 3: 18–37.
- Берг Л. С. 1948. Названия рыб и этнические взаимоотношения славян. — СЭ, 2: 62 — 73.
- Бернштам А. Н. 1949. К пересмотру формально-типологических схем. — КСИИМК 29: 17–23.
- Бернштам А. Н. 1951. Очерк истории хуннов. Ленинград, изд. Ленинградского Университета.
- Бернштейн С. С. 1961. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Москва, .
- Бианки А. М. 1991. Этюд о «кинжалах». — Клейн Л. С. Археологическая типология. Ленинград, Академия наук: 264–271.
- Богаяевский Б. Л. 1931. К вопросу о теории миграций. — Сообщения ГАИМК 8: 35–38.

- Бочкарев В. С. 1979. Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр). — Проблемы археологии, 2: 48 — 53.
- Брайчевський М. Ю. 1959. Радянська наука про походження слов'ян. Київ, Тов-во для поширення політ. і наук. знань УРСР, сер. 10, № 9.
- Брайчевський М. Ю. 1964. Біля джерел слов'янської державності. Київ, Наукова Думка.
- Брайчевський М. Ю. 1968. Походження Русі. Київ, Наукова Думка.
- Бромлей Ю. В. 1969. Этнос и эндогамия. — Советская этнография, 6: 84–91.
- Бромлей Ю. В. 1970а. К вопросу о сущности этноса. — Природа, 2: 51–55.
- Бромлей Ю. В. 1970б. Этнос и этносоциальный организм. — Вестник Академии наук СССР, 8: 48–54.
- Бромлей Ю. В. 1971а. К характеристике понятия «этнос». — Расы и народы (Москва, Наука), 1: 9–33.
- Бромлей Ю. В. 1971б. Несколько замечаний о социальных и природных факторах этногенеза. — Природа, 2: 83–84.
- Бромлей Ю. В. 1972. Еще раз о соотношении этнической и экономической общностей. — Советская Этнография, 3: 86–89.
- Бромлей Ю. В. 1973. Этнос и этнография. Москва, Наука.
- Бромлей Ю. В. 1983. Очерки теории этноса. Москва, Наука.
- Брюсов А. Я. 1935. Кризис буржуазной археологии и поиски новых путей вслепую (А. Брёггер). — Проблемы истории докапиталистических обществ 9–10: 213–221.
- Брюсов А. Я. 1956. Археологические культуры и этнические общности. — Советская Археология, 27: 5–27.
- Брюсов А. Я. 1957. К вопросу о передвижениях древних племен в эпоху неолита и бронзы. — Советская Археология, XXVII: 5–13.
- Брюсов А. Я. 1958. К вопросу об индоевропейской проблеме. — Советская Археология, 3: 18–26.
- Брюсов А. Я. 1961. Об экспансии «культур с боевыми топорами» в конце III тыс. до н. э. Советская Археология, 3: 14–33.

- Брюсов А. Я. 1965. Восточная Европа в III тысячелетии до н. э. — Советская Археология, 2: 47–56.
- Брюсов А. Я. и Зимина М. Г. Каменные сверленные боевые топоры-молоты на территории Европейской части СССР. Археология СССР. Свод археологических источников. В 4–4.
- Бубрих Д. В. 1948. Советское угрофинское языкознание. — Ученые записки Ленинградского Гос. Университета, 105, сер. вост. наук, вып. 2, Ленинград. 24–32.
- Будилович А. 1887. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Киев, типогр. М. П. Фрица.
- Бузин В. С. Этнография русских. Учебное пособие. СПб.: изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2007, 421 с.
- Бузин В. С. 2007. Этнография русских. Учебное пособие. СПб, изд-во С.-Петербургского университета, 421 с.
- Бунак В. В. 1946. Краниологические типы западноевропейского неолита. — КСИЭ 1: 51–54.
- Бунак В. В. 1951. Краниологические типы западноевропейского неолита в сравнении с более древними. — КСИЭ 13: 38–46.
- Бунак В. В. 1962. Антропологические типы русского народа и вопросы истории их формирования. — КСИЭ, 36: 75–82.
- Бутинов А. А. 1951. О первобытной лингвистической непрерывности в Австралии. — Сов Этног. 2. 179–181.
- Быковский С. Н. 1932а. О предмете истории материальной культуры. — Сообщения ГАИМК, 1–2: 3–6.
- Быковский С. Н. 1932б. Племя и нация в работах буржуазных археологов и историков и в освещении марксизма-ленинизма. — Сообщения ГАИМК 3–4: 4–18.
- Виноградов В. В., Кузнецов П. С. 1951. Языковое родство славянских наций. — Славяне, 2: 44–49.
- Воробьев М. В. 1967. Этнос в средние века. — Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР (Ленинград), 3: 58–73.

- Всемирная история 1955 = Всемирная история в десяти томах, т. 1. М., изд-во АН СССР, 1955: 244–247.
- Геддон А. 1923. Переселение народов. Петербург — Москва, Книга.
- Гейден Г. 1960. Критика геополитических экспансионистских теорий немецкого империализма. — Против современной буржуазной идеологии. Москва: 147–231.
- Гейслер А. [Хойслер А.]. 1966. Письмо в редакцию. Советская Археология, 1: 323.
- Генинг В. Ф. 1970. Этнический процесс в первобытности. Свердловск, Уральский государственный университет.
- Георгиев Э. 1941. Балто-славянско-германского родство. — Известия на Семинара по славянска филология при Университета Свети Климент Охридски в София, кн. VIII.
- Герценберг Л. Г. 1972. К вопросу языкового ландшафта в древности. — Охотники, собиратели, рыболовы. Проблемы социально-экономических отношений в доземледельческом обществе. Ленинград, Наука: 43 — 52.
- Гиндин Л. А., Мерперт Н. Я. 1984. Античная Балканистика и этногенез народов Балкан. — Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Москва, Наука.
- Гинзбург В. В. 1958. Человеческие расы и реакционная сущность расистских теорий. Ленинград, Об-во по распростран. полит. и научн. знаний.
- Горячева А. И. 1967. Является ли психический склад признаком нации? — Вопросы истории, 8: 91–104.
- Григорьев Г. П. 1964. Миграции, автохтонное развитие и диффузия в эпоху верхнего палеолита (VII Международный конгресс доисторических и протоисторических наук). Москва.
- Григорьев Г. П. 1969. Совершенствование методики изучения палеолита в СССР. — Теоретические основы советской археологии. Ленинград: 12–17.
- Гумилев Л. Н. 1964–1973. Ландшафт и этнос [14 статей в журнале «Вестник Ленинградского университета».]

- Гумилев Л. Н. 1965. По поводу предмета исторической географии (Ландшафт и этнос). — Вестник Ленинградского Университета, 18: 112–120.
- Гумилев Л. Н. 1966. Истоки ритма кочевой культуры Срединной Азии (опыт историко-географического синтеза). — Народы Азии и Африки, 4: 85–94.
- Гумилев Л. Н. 1967. О термине «этнос». — Доклады отделений и комиссий Географ, об-ва СССР. Л., вып. 3: 3–16.).
- Гумилев Л. Н. 1967. Этнос как явление. Доклады отделений и комиссий Географического общества ССР. Л, изд. АН СССР: 90–97.
- Гумилев Л. Н. 1969. Выступление в дискуссии по докладу Б. Ф. Поршнева. — Историческая наука и некоторые проблемы современности. Москва, Наука: 322–325.
- Гумилев Л. Н. 1970. Этногенез и этносфера. — Природа 1970, 1: 46–55; 2: 43–50.
- Гумилев Л. Н. 1971а. Сущность этнической целостности. — Вестник Ленинградского университета, 24: 97–108.
- Гумилев Л. Н. 1971б. Этногенез — природный процесс. — Природа, 1971, 2: 80–82.
- Гумилев Л. Н. 1973. Внутренняя закономерность этногенеза. — Вестник Ленинградского Университета, 6: 94–103.
- Гумилев Л. Н. 1988. Биография научной теории, или Автонекролог. — Знамя, 4: 202–216.
- Гумилев Л. Н. 1989а. Древняя Русь и Великая степь. Москва, Мысль.
- Гумилев Л. Н. 1989. Этногенез и биосфера Земли. изд. 2-е. Ленинград, изд. Ленинградского университета (перв. изд. 1979, ВИНТИ).
- Гумилев Л. Н. 1993. Этносфера. История людей и история природы. Москва, Экспрос.
- Гусева Н. Р. 2002. Славяне и арии. Путь богов и слов. Москва, Гранд: Фаир Пресс.
- Давыдова А. В. 1995. Иволгинский археологический комплекс. Том I. Иволгинское городище. Санкт-Петербург, АзиатИКА.

- Дебец Г. Ф. 1948. Палеоантропология СССР. Тр. ИЭ, нов. серия, т. 4. М.-Л.
- Дебец Г. Ф., Трофимова Т. А. и Чебоксаров Н. Н. 1951. Проблема заселения Европы по антропологическим данным. — Тр. ИЭ, нов. серия, т. 16: 409–468.
- Дергачев В. А. и Сорокин В. Я. 1986. О зооморфных скипетрах из Молдавии и проникновении степных энеолитических племен в Карпато-Дунайские земли. — Известия Академии Наук Молдавской ССР, 1, сер. обществ. наук: 54–65.
- Джанджильдин И. 1975. Природа национальной психологии. Алма-Ата, Казахстан.
- Джунусов М. С. 1966. Нация как социально-этническая общность людей. — Вопросы истории, 4: 16–30.
- Доклады 1953. Доклады VI научной конференции Института археологии. Киев, АН Украинской ССР.
- Дроздов И. Ф. 1968. Является ли традиция признаком нации? — Вопросы истории, 4: 16–30.
- Дьяконов И. М. 1958. Этнос и социальное деление в Ассирии. — Советское Востоковедение, 6: 43–56.
- Дьяконов И. М. 1983. Типы этнических передвижений в ранней древности (с конца IV по начало I тыс. н. э.). — Древний Восток. Ереван, изд. АН Армянск. ССР: 5–22.
- Дьяконов И. М. 1984. К методике исследований по этнической истории («киммерийцы»). — Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. Москва, Наука: 90.
- Ельницкий Л. А. 1961: Знания древних о северных странах. Москва, Географгиз.
- Захарук Ю. М. (Ю. Н.) 1964. Проблеми археологічної культури. — Археологія (Київ), — Археологія 17: 12–42.
- Иванов В. В. 1980. Единорог. — Мифы народов мира. Том I. Москва, Советская Энциклопедия: 429–430.
- Иванов К. 1985. Взгляды на этнографию, или есть ли в советской науке два учения об этносе? — Известия ВГО, 112, вып. 3: 232–239.

История СССР 1966 = История СССР, т. 1. М, изд-во АН СССР.

Итс Р. Ф. 1982. Методика этногенетических исследований (общие принципы). — Проблемы этногенетических исследований Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, Пермский университет: 3–13.

Итс Р. Ф. 1989. Несколько слов о книге Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». — Гумилев 1989: 3–13.

Кабо В. Р. 1972. История первобытного общества и этнография (К проблеме реконструкции прошлого по данным этнографии). — Охотники, собиратели и рыболовы. Ленинград, Наука: 53–67.

Кабо В. Р. 1979. Теоретические проблемы реконструкции первобытности. — Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. Москва, Наука: 60–107.

Кагаров У. Г. Фальсификация истории раннегерманского общества фашистскими лжеучеными. — Против фашистской фальсификации истории. Москва — Ленинград: 83–103.

Казанцев Д. Е. 1979. Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола, Марийское книжное издательство: 28–40.

Калтахчян С. Т. 1966. К вопросу о понятии «нация». — Вопросы философии, 6: 37–46.

Каммари М. Д. 1949. Создание и развитие И. В. Сталиным марксистской теории нации. — Вопросы Истории, 12: 65–88.

Каутский К. 1908. Национализм и интернационализм. — Научная мысль (Рига), 1: 3–32.

Киселев С. В. 1965. Бронзовый век СССР. — Новое в советской археологии (МИА, № 130). Москва, Наука: 17–60.

Кларк Гр. 1953. Доисторическая Европа. Экономический очерк. Пер. с англ. М., Иностранная Литература.

Клейн Л. С. 1970. Проблема определения археологической культуры. — СА, 2: 37–51.

Клейн Л. С. 1955. Вопросы происхождения славян... — СА, XXII

Клейн Л. С. 1955. Вопросы происхождения славян в сборнике докладов VI научной конференции Института археологии АН УССР. — Советская Археология (Москва), XXII: 257–272.

- Клейн Л. С. 1955. Вопросы происхождения славян в сборнике докладов VI научной конференции Ин-та археологии АН УССР. — Сов. Археология, XXII. Москва: 257–272.
- Клейн Л. С. 1955. Вопросы происхождения славян... — Советская Археология, XXII: 257–272.
- Клейн Л. С. 1960. Новые данные о хронологических взаимоотношениях ямной и катакомбной культуры. — ВЛУ, 20: 144–148.
- Клейн Л. С. 1961а. О так называемых ямных погребениях катакомбного типа (к вопросу о происхождении Донецкой катакомбной культуры). — Советская Археология, 2: 49–65.
- Клейн Л. С. 1961б. О хронологических и генетических взаимоотношениях локальных вариантов катакомбной культуры. — Исслед. по археологии СССР. Сб. статей в честь профессора М. И. Артамонова. Л.: 69–79.
- Клейн Л. С. 1961в. Территория и способ погребения кочевых скифских племен по Геродоту и археологическим данным. — Археол. сб. Гос. Эрмитажа, 2: 45–56.
- Клейн Л. С. 1962. Краткое обоснование миграционной гипотезы происхождения катакомбной культуры. — Вестник Ленинградского Университета, 2: 74–87 (перев.: L. S. Klejn. 1963. A brief validation of the migration hypothesis with respect to the origin of the Catacomb culture. -Soviet Anthropology and Archaeology (New York), vol. 1, no. 4: 27–36.
- Клейн Л. С. 1963. Происхождение скифов-царских по археологическим данным. — Советская Археология, 4: 27–35.
- Клейн Л. С. 1966. Прототипы катакомбных курильниц и проблема происхождения катакомбной культуры. — Археологический Сборник Гос. Эрмитажа (Ленинград), 8: 5–17.
- Клейн Л. С. 1968. Происхождение Донецкой катакомбной культуры. Автореф. диссертации ... канд. истор. наук. Ленинград, ЛОИА АН СССР.
- Клейн Л. С. 1968а. Вопросы первобытной археологии в произведениях Маркса и Энгельса. — Вестник Ленинградского Университета, 8: 38–43.

- Клейн Л. С. 1968б. Происхождение катакомбной культуры. Автореферат канд. дисс. Ленинград, ИИМК АН СССР.
- Клейн Л. С. 1969. К постановке вопроса о происхождении славян. — Проблемы отечественной и всеобщей истории. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 21–35.
- Клейн Л. С. 1970а. К информации о методике американских археологических исследований. — Сов Ахеол. 1: 298–300.
- Клейн Л. С. 1970б. Проблема определения археологической культуры. — Советская Археология (Москва), № 2, с. 37–51.
- Клейн Л. С. 1971. Феномен СМ III и вопрос о языке минойского письма А. — Вестник ЛГУ, 8: 110–113.
- Клейн Л. С. 1972а. О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии. — Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г. Москва: 14–16.
- Клейн Л. С. 1972б. Рецензия на книгу Г. Мюллера-Карпе «Руководство по первобытной археологии» 1968 г. — Сов Археол. 1: 278–281.
- Клейн Л. С. 1973а. Археологические признаки миграций (IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук, Чикаго, 1973. Доклады советской делегации). Москва, 17 с.
- Клейн Л. С. 1973б. Рец. на книгу К.-А. Муберга. — СА, 4: 294–300.
- Клейн Л. С. 1974а. Генераторы народов. — Древняя Сибирь, IV, Новосибирск, Наука: 126–134.
- Клейн Л. С. 1974б. Рец. на книгу Р. Гахмана «Готы и Скандинавия». — СА, 3, с. 278–284.
- Клейн Л. С. 1975а. Германцы в «Археологии мира». — ВДИ, 1, с. 197–203.
- Клейн Л. С. 1975б. Проблема смены культур в современных археологических теориях. — Вестник Ленинградского Университета, № 8: 95–103.
- Клейн Л. С. 1977. Предмет археологии. — Археология Южной Сибири (Известия кафедры археологии Кемеровского университета, вып. 9). Кемерово, издат. Кемеровского университета: 3–14.

- Клейн Л. С. 1978а. Археологическая теория (проблема статуса и дефиниции). — Проблемы археологии, вып. 2. Ленинград, издат. Ленинградского университета: 8–17.
- Клейн Л. С. 1978б. Археологические источники. Ленинград, издательство Ленинградского университета, 120 с., 10 табл. и рис. (второе, дополненное изд. в серии: «Классика археологии»: Санкт-Петербург, Фарн, 1995, 350 с.).
- Клейн Л. С. 1978в. Археология и этногенез (новый подход). — Методологические проблемы изучения истории этнических культур. Ереван, изд. Академии наук АрмССР: 25–33.
- Клейн Л. С. 1980а. Откуда арии пришли в Индию? — Вестник Ленинградского университета, № 20: 35–39.
- Клейн Л. С. 1980б. Третья гипотеза о происхождении скифов. — Народы Азии и Африки (Москва), № 6: 72–74.
- Клейн Л. С. 1981а. Археолого-этнографические сопоставления. — Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, издат. Томского университета: 138–141.
- Клейн Л. С. 1981б. Проблема смены культур и теория коммуникации. — Количественные методы в гуманитарных науках. Москва, издат. Московского университета: 18–23.
- Клейн Л. С. 1984. От Дуная до Индии. Отражение урнового погребального обряда в фольклоре индоариев и проблема фригийской миграции. — Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Москва, ч. I: 35–37.
- Клейн Л. С. 1987. Археология и этногенез (новый подход). — Методологические проблемы исследования этнических культур. Ереван, изд. Академии наук АрмССР: 25–33.
- Клейн Л. С. 1987. Индоарии и скифский мир: общие истоки идеологии. — НАА, 5: 63–82, 9 92–96.
- Клейн Л. С. 1988. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу. — Советская Этнография (Москва), 4: 13–23.

- Клейн Л. С. 1990. О так называемых зооморфных скипетрах. — Проблемы древней истории Причерноморья и Средней Азии. Тезисы... Ленинград, издат. Гос. Эрмитажа: 17–18.
- Клейн Л. С. 1991а. Археологическая типология. Ленинград, издат.: Академия наук СССР, ЛФ ЦЭНДИСИ, Ленинградское археологич. научно-исследоват. объединение, 448 с. (наиболее полное издание книги, впервые изданной в Оксфорде на английском в 1982 г., а затем в Любляне на словенском в 1988 г.).
- Клейн Л. С. 1991б. Рассечь кентавра. О соотношении археологии с историей в советской традиции. — Вопросы истории естествознания и техники (Москва), 1991, № 4: 3–12 (перев. на англ.: To separate a centaur: On the relationship of archaeology and history in Soviet tradition. — *Antiquity*, vol. 67, 1993, no. 255: 339–348).
- Клейн Л. С. 1992. Горькие мысли «привередливого рецензента» об учении Л. Н. Гумилева. — *Нева*, 4: 228–246.
- Клейн Л. С. 1993. Феномен советской археологии. С.-Петербург, Фарн.
- Клейн Л. С. 1995. Археологические источники. Второе, дополненное изд. [книги 1978 г.] Санкт-Петербург, Фарн (в серии: Классика археологии).
- Клейн Л. С. 1999а. Миграция: археологические признаки. — *Stratum plus* (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 1: 52–71.
- Клейн Л. С. 1999б. Норманизм — антинорманизм: конец дискуссии. — *Stratum plus* (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 5: 91–101 [в разделе: 30 лет Варяжской дискуссии (1965–1995)].
- Клейн Л. С. 2000. Археология в седле (Косинна с расстояния в 70 лет). — *Stratum plus* (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 2000, 4: 88–140.
- Клейн Л. С. 2001. Принципы археологии. Санкт-Петербург, Бельведер, 151 с., 11 рис.
- Клейн Л. С. 2004. Введение в теоретическую археологию. Книга I. Метаархеология. С.-Петербург, Бельведер, 472 с.
- Клейн Л. С. 2007. Облик Косинны на пороге нового века (новая биография Косинны в труде Г. Грюнерта). — *Археологические вести*, № 15, 2008: 234–237.

- Клейн Л. С. 2010а. Время кентавров: степная прародина ариев и греков. Санкт-Петербург, Евразия.
- Клейн Л. С. 2011. Трудно быть Клейном Автобиография в монологах и диалогах. Санкт-Петербург, Нестор-История.
- Клейн Л. С. (запланирована). Культура и эволюция. Статьи разных лет. Санкт-Петербург (рукопись составлена в 2006 г.).
- Клейн Л. С., Лебедев Г. С. и Назаренко В. А. 1970. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. — Шаскольский И. П. (отв. ред.). Исторические связи Скандинавии и России в IX — XX вв. Москва — Ленинград, Наука, 1969, с. 226–252.
- Клёсов А. А. 2010а. Откуда появились славяне и «индоевропейцы»? Ответ дает ДНК-генеалогия. — Интернетпортал: Технополис завтра (kramtp.info/news/64/full/id=6426).
- Клёсов А. А. 2010б. Читая Л. С. Клейна «Древние миграции и происхождение индоевропейских народов» Санкт-Петербург, 2007. Часть I. — Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии (Канада), т. 4, № 1: 40–65.
- Кнабе 1959. Вопрос о соотношении археологической культуры и этноса в современной зарубежной литературе. — Советская Археология, 3: 243–257.
- Кожин П. М. 1964. О технике выделки фатьяновской керамики. — КСИА АН СССР, 101: 53–58.
- Козин С. Л. 1941. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г., т. 1. М.-Л., изд. АН СССР.
- Козлов В. И. 1967а. Некоторые проблемы теории нации. — Вопросы истории, 1: 88–89.
- Козлов В. И. 1967б. О понятии этнической общности. — Советская Этнография, 2: 100–111.
- Козлов В. И. 1969а. Динамика численности народов. Москва, Наука.
- Козлов В. И. 1969б. Современные этнические процессы в СССР (К методике исследования). — Советская Этнография, 62: 69–72.

- Козлов В. И. 1970. Этнос и экономика. Этническая и экономическая общности. — Советская этнография, 6: 47–60.
- Козлов В. И. 1971а. Что же такое этнос? — Природа, 2: 71–74.
- Козлов В. И. 1971б. Этнос и территория. — Советская Этнография, 6: 89–100.
- Козлов В. И. 1974а. О биолого-географической концепции этнической истории. — Вопросы истории, 12: 72–85.
- Козлов В. И. 1974б. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса. — Советская Этнография, 2: 79–92.
- Козлов В. И., Чебоксаров Н. Н. 1982. Расы и этносы. — Расы и общество. Москва, Наука: 92–118.
- Козлов В. И., Шелепов Г. В. 1973. «Национальный характер» и проблемы его исследования. — Советская Этнография, 2: 69–82.
- Кон И. С. 1968. Национальный характер — миф или реальность? — Иностранная литература, 9: 215–229.
- Кон И. С. 1971. К проблеме национального характера. — История и психология. М: 122–158.
- Косарев М. Ф. 1972. О причинах и социальных последствиях древних миграций в Западной Сибири. — Советская Археология, 4: 19–27.
- Кричевский Е. Ю. 1933. Индогерманский вопрос, археологически разрешенный. — Известия ГАИМК, 100: 158–202.
- Круглов А. П. и Подгаецкий Г. В. 1935. Родовое общество степей Восточной Европы (Известия ГАИМК 119).
- Кузнецов П. С. 1952. Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков. — ВЯ, 5: 38–55.
- Кузьмина Е. Е. 1994. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. Москва, МГП «Калина» ВИНТИ РАН.
- Кушнер (Кнышев) П. И. 1949. Национальное самосознание как этнический определитель. — Краткие сообщения Института этнографии, 8: 3–9.

- Кушнер (Кнышев) П. И. 1951. Этнические территории и этнические границы (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, нов. сер. XV). Москва, Академия наук СССР.
- Лавров С. 2000. Лев Гумилев: Судьба и идеи. Москва, Сварог и К.
- Ласло Д. 1972. К вопросу о формировании финно-угров. — Проблемы археологии и древней истории угров. М., Наука: 7–9;
- Латынин Б. А. 1965. Архаические круглые псалии с шипами. — Материалы и исследования № 130: 201–204.
- Латышев В. В. 1904–1906. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, т. II. СПб., типогр. Академии наук (отт. Из Записок классич. Отделения Русского Археологического Общества).
- Лашук Л. П. 1967. О формах донациональных этнических связей. — Вопросы Истории, 4: 77–92.
- Левин М. Г. и Чебоксаров Н. Н. 1955. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. — СЭ 4: 3–17.
- Ленин В. И. 1907/1972. Отношение к буржуазным партиям. — ПСС, изд. 5, т. 15: 368–388.
- Ленин В. И. 1914/1961. Еще одно уничтожение социализма. — ПСС, изд. 5, т. 25: 31–54.
- Леонтьев А. Е., Рябинин Е. А. 1980. Этапы и формы ассимиляции летописной мери. — СА, 2: 67–79.
- Лесков А. М. 1964. Древнейшие роговые псалии из Трахтемирова. — Советская Археология, 1: 299–303.
- Лурье С. Я. 1990. Древняя Русь в сочинениях Льва Гумилева. — Звезда, 10: 167–177.
- Ляпушкин И. И. 1956. Место роменско-боршевских памятников среди славянских древностей. — Вестник ЛГУ, 20: 45–60.
- Ляпушкин И. И. 1961. К вопросу о культурном единстве славян. — Исследования по археологии СССР. Сб. ст. в честь проф. М. И. Артамонова. Л.: 203–209.
- Ляпушкин И. И. 1968. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства (МИА, № 152). Москва, Наука.

- Мавродин В. В. 1945. Образование древнерусского государства. Л., изд. Ленинградского университета.
- Мавродин В. В. 1956. Древнейшие сведения о славянах (К вопросу о происхождении славян). Вестник ЛГУ, 20: 25–48.
- Максимов Е. В. 1956 Обсуждение вопросов ранней истории восточных славян в Институте археологии АН УССР. — Краткие сообщения Института археологии (Киев), 5: 72–78.
- Манзура И. В. 2000. Владеющие скипетрами. — Стратум-плюс, 2: 237–295.
- Маринов В. 1982. Етнографически паралели на някои археологически находки и ситуации. — Интердисциплинарни изследвания, 9: 103–118.
- Маркарян Э. С. 1977. Интегративные тенденции во взаимодействии общественных и естественных наук. Ереван, изд. Академии наук АрмССР.
- Марков Г. Е. Проблема этнических общностей и этнических процессов. — Вопросы философии, 12: 150–156.
- Маркс К. 1870/1960. Второе воззвание Генерального Совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 17, 274–282.
- Марр Н. Я. 1926/1935. Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или классовых, в русской речи и топонимике. — Марр Н. Я. Избр. работы, т. 5. Л.: 310–322.
- Мартынов В. В. 1962. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры (К проблеме прародины славян). Минск, изд. Академии наук БССР.
- Мартынов В. В. 1964. Этногенез славян в свете новых лингвистических данных. — Вопросы этнографии Белоруссии. Минск, изд. Академии наук БССР: 85–86.
- Мачинский Д. А. 1976. К вопросу о территории обитания славян в I–VI вв. — Археол. сб. Гос. Эрмитажа, 17: 82 — 100.
- Мачинский Д. А., Тиханова М. А. 1976. О местах обитания и направлениях движения славян I–VII вв. н. э. по письменным и археологическим источникам. — Acta Archaeologica Carpathica, XVI: 59–94.

- Мейе А. 1938. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Пер. с франц. Москва — Ленинград, ОГИЗ.
- Мейнандер К. 1982. Финны — часть населения северо-востока Европы. — Финно-угорский сборник. Москва, Наука: 10–32.
- Мейнандер К. Ф. 1974. Проблема происхождения финно-угров по данным археологии. — Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М, Наука: 18–28.
- Меркулова В. А. 1965. Об относительной хронологии славянских названий грибов. — Этимология. Принципы реконструкции и методика исследования. М: 88–89.
- Мерперт Н. Я. 1961. Некоторые вопросы истории Восточного Средиземноморья в связи с индоевропейской проблемой — КСИИМК, 83: 3–9.
- Мерперт Н. Я. 1978. Миграции эпохи неолита и энеолита. — Советская археология, 3: 9–28.
- Методологические проблемы исследования этнических культур. Материалы симпозиума 1978. Ереван, изд. Академии наук АрмССР.
- Мещанинов И. И. 1927. О пользовании этнографическим материалом при археологических работах. — Известия Общ. обследов. и изуч. Азербайджана, № 5: 80–87.
- Мещанинов И. И. 1928. О доисторическом переселении народов. — Вестник Комкадемии, т. 29 (5): 190–238.
- Мещанинов И. И. 1931. Теория миграций и археология. — Сообщения ГАИМК 9–10: 33–39.
- Монгайт А. Л. 1952. Предисловие. — Чайлд: 3–18.
- Монгайт А. Л. 1963. Археология и современность. Москва, АН СССР.
- Монгайт А. Л. 1967. Археологические культуры и археологические общности (К вопросу о методике историко-археологических исследований). — Народы Азии и Африки, 1: 53–76.
- Морган Л. 1934. Древнее общество. Пер. с англ. Л., изд. Института народов Севера ЦИК СССР.
- Наука 1938. Наука о расах и расизм. Труды НИИ Антропологии МГУ, вып. VI. Москва — Ленинград, АН СССР.

- Нидерле Л. 1909. Обзорение современного славянства. СПб., типогр. Академии наук.
- Никольский В. К. 1923а. Комплексный метод в доистории. — Вестник Соц. Академии, 4: 309–349.
- Никольский В. К. 1923б. Очерк первобытной культуры. Москва — Петроград, Френкель.
- Окладников А. П. 1973. Этногенез и культуругенез. — Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока (Тезисы докладов Всесоюзной конференции 18–21 декабря 1973 г.). Новосибирск: 5–11.
- Пендлбери Дж. 1950. Археология Крита. М, Иностранная Литература.
- Першиц И. А. 1979. Этнография как источник первобытноисторических реконструкций. — Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. Москва, Наука: 26–42.
- Петров Г. И. Расовая теория на службе фашизма. — Известия ГАИМК 95.
- Петрусь В. П. 1951. Славянская языковая общность и славянские языки. — Изв. АН СССР, отд. литер, и языка, т. X, вып. 4: 354–366.
- Петрушевский И. П. 1952. Рашид-ад-дин и его исторический труд. — Рашид-ад-дин. Сборник летописей, т. I, кн. 1: 5–38.
- Пименов В. В. 1975. Еще раз об определении понятия «этнос». — Вопросы археологии Урала, 13: 27–31.
- Пиотровский Б. Б. 1961. О характере закономерностей в истории культуры. — Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г. Москва: 15–20.
- Пиотровский Б. Б. и Клейн Л. С. 1970. Соглашение. *Приведено в:* Археолог: детектив и мыслитель. Сборник статей, посвященный 77-летию Льва Самуиловича Клейна. Санкт-Петербург, издательство Санкт-Петербургского университета: 28.
- Погребова М. Н. 1977. К вопросу о миграции ираноязычных племен в Восточное Закавказье в доскифскую эпоху. — Советская Археология, № 2: 55–68.
- Попов М. 1959. Антропология на българския народ, т. I. София, БАН.

- Попов О. І. 1954. До найдавнішої історії слов'янства. «Археологія», т. 9. Київ: 54–66;
- Поршнев Б. Ф. 1969: Мыслима ли история одной страны? — Историческая наука и некоторые проблемы современности. Москва, Наука: 301–316.
- Постникова Н. М. 1967. Антропологический состав населения Болгарии в эпоху средневековья Автореф. канд. дисс. М.
- Против 1953. Против вульгаризации марксизма в археологии. Москва, АН СССР.
- Пучков П. И. 1973. О соотношении конфессиональной и этнической общностей. — Советская Этнография, 6: 51–65.
- Равдоникас В. И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры (Известия ГАИМК, т. VII, вып. III–IV). Ленинград.
- Равдоникас В. И. 1932. Археология на службе у империализма. — Сообщения ГАИМК 3–4: 19–35.
- Равдоникас В. И. 1932. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадийным развитием Северного Причерноморья. — Известия ГАИМК 12, вып. 1–8: 5–106.
- Равдоникас В. И. 1935. Археология в Германии после фашистского переворота. — СЭ 1: 140–145.
- Рашид-ад-дин. 1952. Сборник летописей, т. I. М.-Л., изд. Академии наук СССР.
- Рогачев П. М. и Свердлин М. А. 1966. О понятии «нация». — Вопросы истории, 1: 33–48.
- Рогинский Я. Я. 1969. Современные проблемы этногенеза. Москва, Высшая школа.
- Рыбаков Б. А. 1962. Работы по славяно-русской археологии. — КСИИМК, 90, 3–4.
- Рыбаков Б. А. 1979. Геродотова Скифия. М, Наука.
- Рыбалова В. Д. 1966. Костяной псалий с поселения Каменки близ Керчи. — Советская Археология, 4: 178–181.

- Сальников К. В. 1954. Андроновские поселения Зауралья. — Советская археология, XX: 213–252.
- Седов В. В. 1952. Антропологические типы населения северо-западных земель Великого Новгорода. — КСИЭ, вып. 15.: 72–83.
- Седов В. В. 1967. Рец. на книгу П. Н. Третьякова «Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге». — СА, 3: 307–315.
- Семенов Ю. И. 1966. Категория «социальный организм» и ее значение для исторической науки. — Вопросы Истории, 8: 88–106.
- Семенов Ю. И. 1967. К определению понятия «нация». Постановка проблемы. — Народы Азии и Африки, 4: 86–102.
- Спицын А. А. 1899. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. — ЖМНП 8: 301–340.
- Сталин И. В. 1913/1946. Марксизм и национальный вопрос. — Соч., т. 2. Москва, Госполитиздат: 290–367.
- Сыманович Э. А. 1970. Страницы истории отечественных исследований памятников культуры полей погребений после Великого Октября. — КСИА (Москва) 121, 1970: 82–88.
- Титов В. С. 1982. К изучению миграций бронзового века. — Археология Старого и Нового Света. Москва, Наука: 89–145.
- Тишков В. А. 1997. Очерки теории и политики этничности в России. Москва, Русский мир.
- Тишков В. А. 1999. Забыть о нации (Пост-националистическое понимание национализма). — Вопросы философии, 1.
- Тишков В. А. 2000. Нация — это метафора. Интервью Е. Звягиной. — Дружба народов, 7.
- Тишков В. А. 2003. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. Москва, Наука.
- Тодоров Ц. 1957. Принципы этногенетических исследований. — СЭ, 3: 3–9.
- Токарев 1964. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии). — Вопросы философии, 11: 43–53.
- Токарев С. А. 1949. К постановке проблем этногенеза. — СЭ, 3: 12–36.

- Токарев С. А. 1964. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии). — Вопросы философии, 11: 43–53.
- Токарев С. А. и Чебоксаров Н. Н. 1951. Методология этногенетических исследований на материале этнографии. — СЭ, 4: 7–26.
- Толстов С. П. 1930. К проблеме аккультурации. — Этнография, 1–2: 63–87.
- Третьяков П. Н. 1962. Этногенетический процесс... — СА, 4: 3–16.
- Третьяков П. Н. 1966. Финно-угры, балты и славяне на Днестре и Волге. М — Л., Наука: 17–18.
- Третьяков П. Н. 1931. Из материалов Средневожской экспедиции ГАИМК. — Сообщения ГАИМК 3.
- Третьяков П. Н. 1948. Восточнославянские племена. Москва, АН ССР.
- Третьяков П. Н. 1962. Бологовское городище. — КСИА АН СССР, 87: 36–41.
- Третьяков П. Н. 1962. Этногенетический процесс и археология. — СА, 4: 3–16.
- Третьяков П. Н. 1966. Основные итоги работ Верхнеднепровской археологической экспедиции. — Древности Белоруссии. Минск, : 114–126.
- Третьяков П. Н. 1970. Вопросы и факты археологии восточных славян. — Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, рабовладения и феодализма. Москва, Наука: 161–188.
- Трофимова Т. А. 1946. Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья по данным антропологии. — СЭ, 1: 91–136.
- Трофимова Т. А. 1948. Краниологические данные и этногенез у западных славян. — СЭ, 2: 39–61.
- Трубачев О. Н. 1959. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М. изд. Академии наук СССР.
- Трубачев О. Н. 1960. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М. изд. Академии наук СССР.
- Трубачев О. Н. 1966. Ремесленная терминология в славянских языках. М.: Наука.

- Трубачев О. Н. 1968. О составе праславянского словаря (проблемы и результаты). — Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Докл. советск. делег. М., Наука: 366–378.
- Удальцов А. Д. 1944. Теоретические основы этногенетических исследований. — Известия Академии наук СССР, серия ист. и филос., 1 (6): 252–265.
- Удальцов А. Д. 1949. Проблема происхождения славян в свете современной археологии. — ВИ, 2: 14–25.
- Удальцов А. Д. 1953. Роль археологического материала в изучении вопросов этногенеза в свете работ И. В. Сталина о языке. — Против вульгаризации марксизма в археологии. М., изд. Академии наук СССР: 16–18.
- Филин Ф. П. 1962. Образование языка восточных славян. М.-Л., изд. Академии наук СССР.
- Форд Дж. А. 1962. Количественный метод установления археологической хронологии. — Советская Этнография, 1: 32–43.
- Формозов А. А. 1957. Могут ли служить орудия каменного века этническим признаком? — Советская Археология, 4: 66–74.
- Фосс М. Е. 1952. Древнейшая история Севера Европейской части СССР (МИА 29). Москва, изд. АН СССР.
- Французова Н. П. 1972. Исторический метод в научном познании. Москва, Мысль.
- Чайлд Г. 1952. У истоков европейской цивилизации. Москва, Инстр. лит.
- Чебоксаров Н. Н. 1946. Этническая антропология Германии. Короткий исторический очерк. — КСИЭ 1: 55–62.
- Чебоксаров Н. Н. 1964. Проблема происхождения древних и современных народов (VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук). Москва.
- Чебоксаров Н. Н. 1967. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых. — Советская Этнография, 4: 94–109.
- Чебоксаров Н. Н. и Чебоксаров И. А. 1971. Народы — расы — культуры. Москва, Наука.

- Чесноков Д. И. 1965. Исторический материализм. Изд. 2-е, доработ. Москва, Мысль.
- Чистов К. В. 1972. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры. — Советская Этнография, 3: 73–85.
- Членова Н. Л. 1963. Памятники переходного карасук-тагарского времени в минусинской котловине. — Советская Археология, 3: 48–66.
- Членова Н. Л. 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. Москва, Наука.
- Шапошников А. К. 2010. Индоевропейский этногенез — свидетельствуют мифология, лингвистика, ономастика и ДНК-генеалогия. — Индоевропейская история в свете новых исследований (сборник трудов конференции памяти проф. В. А. Сафронова). Москва, МГОУ: 251–262.
- Шелепов Г. В. 1967. Общность происхождения — признак этнической общности. — Советская Этнография, 4: 65–74.
- Шенников А. А. 1967. О понятии «этнографический комплекс». — Доклады Отделений и Комиссий Географического Общества СССР (Ленинград), 3: 39–57: 39–57.
- Широкогоров С. М. 1922. Место этнографии среди наук и классификация этносов. Введение в курс этнографии Дальнего Востока, прочитанный в 1921-1922 году в Дальневосточном государственном университете. Владивосток: Свободная Россия, 1922.
- Широкогоров С. М. 1923. Этнос: исследование основных принципов изменений этнических и этнографических явлений (Известия восточного факультета Дальневосточного университета, XVIII, т. 1). Шанхай, Сибирпресс.
- Шмидт А. В. 1932. Об использовании этнографических материалов в работах по истории материальной культуры. — Сообщения ГАИМК, в. 1–2: 12–17.
- Шнирельман В. А. 1979. Методы использования этнографических данных для реконструкции первобытной истории в зарубежной науке. — Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. Москва, Наука: 126–163.

- Щукин М. Б. 1977. Современное состояние готской проблемы и черняховская культура. — Археологический сборник Гос. Эрмитажа 18: 79–91.
- Щукин М. Б. 1979. К предыстории черняховской культуры: Тринадцать секвенций. — Археологический сборник Эрмитажа, 20: 66–89.
- Щукин М. Б. 1994. На рубеже эр. СПб, Фарн.
- Энгельс Ф. 1878/1971. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20: 1–338.
- Энгельс Ф. 1883/1964. Письмо Лауре Лафарг от 16/17.2.1883. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 35: 366.
- Энгельс Ф. 1952. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., Госполитиздат.
- Эндзелин Я. 1952. Древнейшие славяно-балтийские языковые связи. — Изв. АН Латв. ССР, 3: 33–46.
- Этнография 1979. Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. Москва, Наука.
- Яйленко В. П. 1983. К вопросу об идентификации рек и народов Геродотовой Скифии. — СЭ, 1: 54–65.

Содержание

| | |
|---|------------|
| Предисловие.. | 5 |
| I. Этнос | 9 |
| 1. Этнос | 14 |
| 2. К спору об этносе | 39 |
| 3. Определение этноса | 59 |
| 4. 'Этнос' и 'культура' на Ереванском симпозиуме 1978 г. | 65 |
| 5. Этика этногенетики | 76 |
| 6. Евреи и казаки | 105 |
| 7. Этнография русских и некоторые ее проблемы | 110 |
| 8. Этнографическая наука и национальный вопрос | 118 |
| II. Косинна и косиннизм | 125 |
| 1. Археология в седле | 128 |
| 2. Облик Косинны на пороге XXI века | 243 |
| 3. Археология и идеология: немецкая археология при двух диктатурах | 250 |

| | |
|---|------------|
| III. Этногенез. | 261 |
| 1. К постановке вопроса о происхождении славян | 265 |
| 2. Этногенез и археология: новый подход | 280 |
| 3. Этногенез как история культуры в археологическом рассмотрении: новый подход | 286 |
| 4. Неолит Европы как целое | 294 |
| 5. Археология и этнография: проблема сопоставлений. . | 308 |
| 6. Этногенез и модель генеалогического древа: проблема кооперации археологии с лингвистикой | 353 |
| 7. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу (интеграция наук и синтез источников в решении проблем этногенеза) | 368 |
| 8. Проблема преемственности и погребальный обряд . . | 383 |
| 9. Была ли гаплогруппа R1a1 арийской и славянской? . . | 385 |
| IV. Миграции и миграционизм | 397 |
| 1. Археологические признаки миграций. | 401 |
| 2. Миграция: археологические признаки | 411 |
| 3. Генераторы народов | 444 |
| 4. Археологи и миграции: проблема подхода? | 456 |
| Библиография | 461 |

Клейн Лев Самуилович

Этногенез и археология

Том 1

Теоретические исследования

Научное издание

Директор издательства *Чубарь В. В.*

Главный редактор *Трофимов В. Ю.*

Корректор *Чебыкина М. В.*

Дизайн макета *Шляго А. С.*

ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

199026, Санкт-Петербург,

Средний пр-кт, д. 86, пом. 106

Подписано в печать 10.08.13

Усл.-печ. л. 38. Формат 60х99 1/16, Гарнитура «OfficinaScansC»,

Тираж 1500 экз. Печать офсетная.

Заказ № 86

Отпечатано с готовых диапозитивов

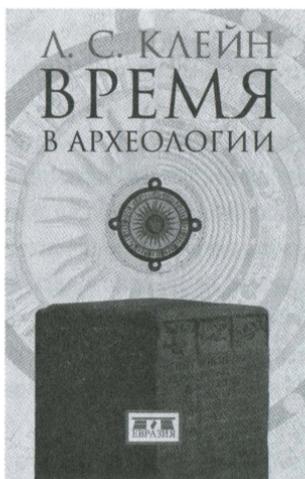
в типографии ООО «ИПК „Бионт“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 86

тел. (812) 322-68-43.

biont11@mail.ru

ВЫХОДИТ В СВЕТ КНИГА



Клейн Л. С. Время в археологии. — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. — 384 с.: ил. ISBN 978-5-91852-031-4

Одно из ключевых понятий человеческой культуры — время. Смысл этого понятия в рамках археологических исследований, развитие представления о времени и содержание различных концепций, связанных со временем, рассматриваются в монографии известного археолога Л. С. Клейна. В книге подробно обсуждаются философские проблемы времени, анализируются понятия и методы археологической периодизации и хронологии. Для археологов, историков, философов, науковедов, всех, интересующихся проблемами современного гуманитарного знания.

Из «Предисловия»

«Для тех, кто умер, будь то микроб или баобаб, человек или зародыш, время исчезает...» — высказался историк и археолог Л. Н. Гумилев (1989: 246). С этого он начинал аргументацию в пользу своего оригинального взгляда, что реально только прошлое, а не настоящее. Поскольку из умерших, приведенных им для примера, трое (микроб, баобаб и зародыш) сознанием и при жизни не обладали, исчезновение времени «для них» Гумилев не связывал с исчезновением сознания. Время исчезает у него само по себе там, где исчезает жизнь.

А так как мы, археологи, имеем дело с мертвыми вещами, нам небезразлично мнение известного археолога об отсутствии времени в археологии.

Противоположный взгляд высказала шестилетняя девочка Катя К. По сообщению палеонтолога В. А. Красилова (1979: 14), она сказала: «Даже если остановить часы, время все равно идет про себя».

В этом столкновении мнений можно увидеть спор двух концепций, отразившихся и в археологии. За рубежом сейчас часто пишут о двух концепциях времени в археологии, но всякий раз это оказываются другие концепции. То есть на деле их больше, чем две. Время как общее понятие разрабатывают философы. Но философское понимание времени свойственно не только философам (у шестилетней девочки Кати оно оказалось в духе ньютоновской концепции). И хотя прямо из него не выводятся понятия и методы археологической хронологии, но наш выбор тех и других во многом определяется подспудно нашим пониманием времени. Чтобы выбор был более точным, надо осознать и, быть может, откорректировать это понимание.

Более восьмидесяти пяти лет назад в Москве вышла брошюра геолога А. П. Павлова «Представление о времени в истории, геологии и археологии» (1920). Вопреки философскому оттенку названия, это была сводка конкретных данных о датировках возраста Земли и разных ее периодов, дополненная сведениями о разработанных для этого методах. Как пишет Роберт Скуэр, «Понятие хронологии монополизировало понятие времени и стало всеобъемлющим за его счет» (Squair 1994: 95). Вопросы археологической хронологии поднимались в отечественной науке неоднократно. Они весьма занимали и меня (Клейн 1960, 1961, 1965, 1966а, 1966б, 1968а, 1968б, 1969, 1970, 1991а и др.). Впрочем, все основные методы были разработаны за рубежом.

Лишь позже археологи заинтересовались философскими проблемами времени. В отечественной философской литературе проблемы времени, конечно, обсуждались с давних пор, в геологии — с 1970-х гг. (например, сборник — «Проблемы времени в геологии» 1979). В зарубежной археологии интерес к философским или методологическим проблемам времени разгорелся с тех же 70-х, а в отечественной литературе единственным проявлением такого интереса были краткие тезисы моих учеников Бочкарева и Трифонова (1980), так что вместе с этими тезисами мои публикации за рубежом (1978, 1994) и в отечестве (1999), так же как и предлагаемая книга, должны рассматриваться как первые опыты участия российских археологов в обсуждении этой темы. Философские проблемы времени в археологии составляют первую часть этой книги. Я использовал для нее свои опубликованные заметки, но пришлось многое сильно переработать. Текст этой части я опубликовал как статью в донецком сборнике «Структурно-семиотические исследования в археологии», т. 2 (2005). При подготовке предлагаемой книги я несколько расширил эту статью.

Иначе обстоит дело с проблемами периодизации, составляющими вторую часть книги. В советской археологии они живо дебатировались с самого ее начала. Советские археологи видели свой марксистский долг в том, чтобы подчинить археологическую периодизацию исторической, в конечном счете периодизации социально-экономических формаций и их подразделений. По странному совпадению, и на Западе многие археологи склонялись к расширению критериев и отказу от чисто «технологической модели»...

Третья часть по тематике наиболее традиционная: понятия и методы хронологии. Сюда вошли некоторые методологические заметки, которые я делал, работая над конкретными проблемами хронологии Юго-Восточной Европы (Клейн 1960, 1961, 1965, 1966а, 1966б, 1968а, 1968б, 1969, 1970, 1991а и др.), и материалы к моим лекциям в Университете. Практические трудности вызывали у меня стремление искать теоретическое прояснение проблем, а лекционные курсы всегда понуждают к теоретическому осмыслению практических задач и методов их решения. Абсолютная и относительная хронология, их соотношение, синхронизация и диахронизация, построение хронологических систем и подвохи, в них таящиеся, — вот тематика этой части. Эта часть получилась больше других, так как ее вопросы занимают (по крайней мере, пока) огромную долю труда археолога.

Хронологические изыскания в современной археологии складываются в значительной части из достижений естественных наук (радиоуглеродный метод, дендрохронология и многое другое). Но в этой книге я решил ограничиться теми понятиями и методами, принципиальные основы которых коренятся внутри археологии. О естественно-научных помещаю лишь некоторые свои соображения, касающиеся места и роли этих методов в археологии.

Таким образом, эта книга написана в основных своих частях давно и в разное время. Сведенная воедино, она была отдана в издательство «Бельведер», которое над ней много работало. Однако издательство испытывало финансовые трудности, и книга застряла надолго. В итоге я передал ее в издательство «Евразия», которое и подготовило книгу в окончательном виде к печати. Пока она, по независящим от нее причинам, претерпевала длительные мытарства в издательствах, я успел опубликовать в Донецке свой лекционный курс методики кабинетных исследований, названный мною «Археологическое исследование» (2012), и третья часть книги (о хронологии) в значительной мере совпадает с соответствующими главами первого тома этого труда.

Книга эта — не учебник, и не надо ожидать от нее полноты и систематичности, обязательных для учебника. Здесь представлены размышления о нашем предмете, которые, буде они окажутся глубокими, помогут другим понимать предмет лучше, помогут читать учебники, а может быть, и писать их.

Оптовая торговля в Санкт-Петербурге:

ООО «Мир интеллектуальной книги»,
тел.: (495) 786-36-35, e-mail: humanus@humanus.ru

Оптовая торговля в Москве:

ООО «Мир интеллектуальной книги»,
тел.: (495) 786-36-35, e-mail: humanus@humanus.ru

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:

Магазин «Книжный окоп»,

В. О., Тучков пер., 11,
тел.: (812) 323-85-84

Розничная продажа в Москве:

ТДК «МОСКВА»

Тверская ул., 8, стр. 1 (м. «Тверская»), тел.: (495) 797-87-17

«Библио-Глобус»

Мясницкая ул., 6/3, стр. 5 (м. «Лубянка»), тел.: (495) 781-19-00

Московский Дом Книги

Новый Арбат ул., 8 (м. «Арбатская»), тел.: (495) 789-35-91

Фаланстер

Малый Гнездниковский пер., 12/27, стр. 2-3, тел.: (495) 749 5721

Галерея Книги «Нина»

Бахрушина ул., 28 (м. «Павелецкая»), тел.: (495) 959-21-03

Интернет-магазины

ozon.ru

e5.ru



Фото: Дамир Гибадуллин-Клейн

Двухтомник «Этногенез и археология» представляет собою сборник статей известного археолога и филолога Л. С. Клейна, профессора, работавшего в Санкт-Петербургском университете и в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Проблемы происхождения народов составляли важную тему в его научных исследованиях. Здесь представлены как работы, напечатанные в специальных и научно-популярных журналах, так и нигде не публиковавшиеся тексты.

В первом томе собраны исследования теоретические и методологические. Это теоретический разбор понятия «этнос», методологические штудии по проблемам этногенеза и реконструкции древних миграций, о гаплогруппах, а также историографические работы о миграционизме, коссинизме и т. п.

Книга может заинтересовать археологов и историков, а также широкие круги читателей.

ISBN 978-5-91852-063-5



9 785918 520635

ISBN 978-5-91852-065-9



9 785918 520659